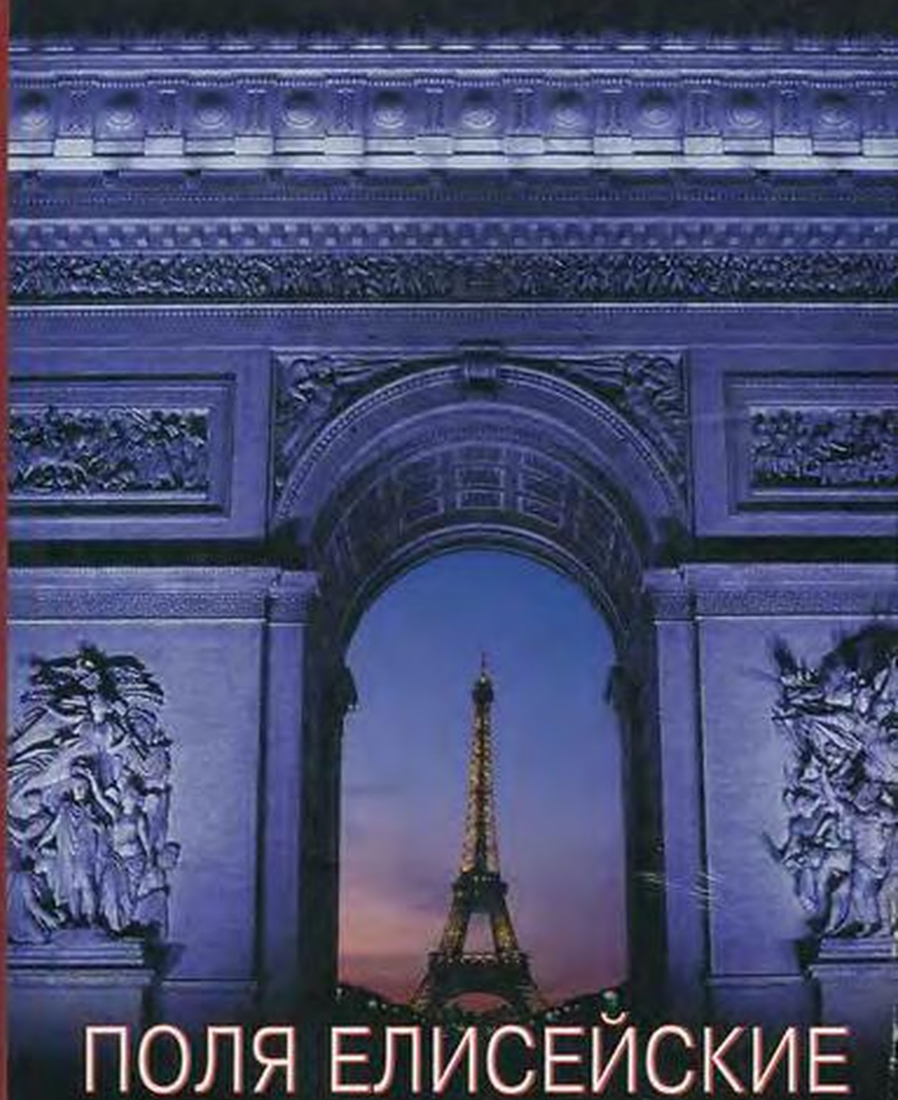
ВАСИЛИЙ
ЯНОВСКИЙ



ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ

Василий Яновский

СОЧИНЕНИЯ В 2 ТОМАХ

Том 2

По ту сторону времени
Поля Елисейские
Книга памяти

«Гудьял-Пресс»
Москва 2000

УДК 821.161.1-3Яновский
ББК 84(2Рос-Рус)6-44
Я64

По вопросам приобретения книг издательства
«Гудьял-Пресс» обращаться по телефонам:
(095) 306-91-20
(095) 306-91-21
(095) 306-91-20 (факс)

ISBN 5-8026-0099-3 (2т.)
ISBN 5-8026-0086-1

По ту сторону времени

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой солнце заходит над бором

Прошло несколько часов с тех пор, как шумные друзья отсалютовали своему командиру и, повернув черный «линкольн», исчезли за стволами розовых сосен. Отсюда Корней Ямб, согласно плану, должен был продолжать путь один в оливкового цвета «меркури», упорно поднимаясь вверх.

Дорога извивалась все круче и требовательнее; камни, небрежно разбросанные повсюду и помогавшие в распутицу, теперь мешали, угрожая аварией. Лес кругом порою впрямь заслуживал названия мачтового: каждое дерево в два обхвата легко и нарядно вздымалось ввысь. И синеющее небо с разлитой по краю славою заката бросало суровый священный отблеск.

Смеркалось неровно, скачками. Совсем недавно путник впервые заметил, что солнце начинает скатываться в пропасть; не прошло и четверти часа, а уже густая первобытная пелена осьминогом обступила машину, высасывая последние дневные соки. Впрочем, через мгновение, поднявшись спиралью по грунтовой дороге на очередной бугор, проезжий опять погружался в радугу вечерней зари.

Человек за рулем выглядел еще молодым, сильным и усталым. Выражение потного небритого лица, грязные обнаженные руки, пыльный свитер, сутулящиеся атлетические плечи — все свидетельствовало о том, что в настоящее время самым желанным для путешественника были бы душ, горячие щи, стакан вина, постель (быть может, поцелуй молодой бабенки на постоялом дворе).

Это впечатление вполне соответствовало действительности. Корней Ямб находился в пути уже неделю, и теперь ему назойливо мерещился гостеприимный трактир, жаркое, кружка пива. Все это приходило ему в голову снова и снова, даже с некоторой навязчивостью, по мере того как дорога становилась хуже и глуше, опаснее (если не для самого шофера, то для машины). В котловинах уже окончательно осела густая ночь; ветер шумел враждебно над головою. Близость теплого крова и краснощекой служанки в этих местах казалась совсем маловероятной.

«Р-р-р-роо!» — завывал мотор на второй скорости, выгребая на бугор.

«Фить-фить-фить», — развязно налетал ветер и сразу оступался в овраг.

Можно было различить много запахов, знакомых с детства, и потому, должно быть, путник чувствовал себя одиноким сиротою. Думать казалось делом хлопотливым и бесполезным: надо ехать, пока хватит горючего, стараясь не заблудиться.

Старый «меркури», крепкий, упитанный, с широким литым задом, уже несколько раз всхлипывал, заикался (на высокой ноте), что свидетельствовало о пустом баке... (Впрочем, при резком крене весь бензин уходит в один угол.)

— Этого еще недоставало, — поморщился Ямб. — Ночевать здесь, утром бежать с бидоном черт знает куда. Этого еще не хватало — вместо поросенка, вина, воображаемой девки.

Он остановил машину и, приоткрыв дверцу, выглянул, слушая, нюхая. По тому, как он спокойно и умно смотрел по сторонам, словно ощупывая лес, сумерки и шероховатую дорогу, чувствовалось, что это солдат или спортсмен, знакомый с лишениями на суше и на море, отсыпавшийся с товарищами у костра или в одиночестве на скамейке городского парка.

Кругом все так же пусто и тихо; только пахнет гнилью, туманом и смолою (или скипидаром). Неподалеку, у ложбины, две глубокие рыхлые колеи косо отходили от грунтовой дороги. Ямб включил огни и осторожно тронул машину в том направлении: свирепые концентрические фонари вырвали из небытия сонм мотыльков, закружившихся точно в русской метели: путник понял вдруг, что он не один в глуши... (Так, на другой планете, сын земли, встретив подобие боа констриктора или тарантула, родственно раскроет ему объятья.)

Перемахнув через канаву, аккуратно выложенную хворостом, машина поднялась наизволок к просеке и вскоре уперлась в землянку с одним окном, из которого торчала жестяная труба; потянуло, кажется, дымом.

Вместо окрика путешественник несколько раз подряд перевел свет фар, точно обдавая поляну то холодным, то горячим душем. (Он ценил это чувство Прометея, когда нажимаешь подошвою кнопку и сразу рождаются чудесные мощные снопы лучей.)

Из темного отверстия высунулось нечто черное и неповоротливое: человек, орангутанг или медведь. Путник рассудил, что это брат его во Христе, и крикнул:

— Где я нахожусь? Как далеко до ближайшего селения? — голос без всякого усилия звучал строго, начальственно. Лохматая тень вывалилась из землянки, выпрямилась, подтянулась и отрапортовала:

— Здесь до самых Озер только леса по обе стороны границы; леса, болота да овраги.

— А ближайший городок какой тут будет, чтоб заночевать?..

Кудлатая голова, измазанная сажею и пропахшая скипидаром, придвинулась к окошку; почесывая одной босою ногой другую, мужик нерешительно протянул:

— Тут на канадской стороне в семи милях деревня, но вряд ли там примут на ночь чужого.

— А в гостинице? — бедняге все еще мерещились борщ, водка, мягкая перина.

— Нету там ничего такого, не водится у колонистов, — извиняясь за их невежество, снисходительно докладывал мужик, почесывая твердой, как копыто, пяткою другую босую ногу. — Если угодно заночевать здесь, милости просим, — предложил, заикаясь. (Ямбу не удалось разобрать, с каким чувством было это сказано.) — Только вот комары и блохи, страсть... не стоит ехать на каникулы для такого зверинца, — теперь он ухмыльнулся явно насмешливо.

— Семь миль, говоришь? — переспросил путник, видимо уже решив ехать дальше.

— Да, сюда, вверх и в гору, но только по главной стезе, не сворачивая на тропочки помельче! — с готовностью внушал лесной человек, радуясь, что его оставляют в покое.

«Меркури» судорожно развернулся, заднее колесо было начало буксовать, но мощный мотор сразу рванул машину вперед. Осторожно мигнули огни — малиновый сзади дважды вкрадчиво вспыхнул на спуске, точно подавая таинственный, долгожданный сигнал.

Опять потянулся сказочный бор: атлетические стволы скрипят, расправляя могучую грудь; глухой шум вверху, свист налетевшего вихря, запах трясины, мха, сосны. Ухабы, колдобины, гигантские тени: словно это они кренят автомобиль, подбрасывают. А далеко в небе с бугра видно зеленое лезвие догорающего за морем, но все еще живого солнца.

Семь миль даже при такой езде не могут продолжаться больше двадцати минут. Корней закурил последний «честерфильд»: при свете спички выделилась тяжелая челюсть и большие, сло-

женные ковшиком руки. Опять унылое покачивание, сонм слепых мотыльков и гранитная глыба, выразительно склоняющаяся над обрывом.

«Фить-фить-фить» — порхает легкомысленно ветер и вдруг исчезает, свалившись в овраг.

«Уох-уох» — простонет седая сова.

Неожиданно впереди мелькнуло и дрогнуло нечто крупное и живое: высокая женщина в длинном, почти до земли, платье выступила из-под ели на дорогу. Жмурясь от яркого света фар, она величественно протянула руку вперед.

Затормозив (но не выключив мотора), Ямб отворил дверь и высунулся из машины. Тут, к удивлению и даже испугу проезжего, женщина вдруг обняла его и начала бурно целовать. Это продолжалось довольно долго, и Корней уже сам попробовал присосаться губами, но незнакомка, оторвавшись, тяжело перевела дух и счастливо засмеялась; голосом грудным, низким и ровным она произнесла:

— Вернулся! Я знала.

Ее шелковистые льняные волосы были покрыты странным кружевным чепцом; карие, широко расставленные глаза показались Ямбу грустными или испуганными. Она залилась тихим смехом, опять ловко и умело присосалась к его губам, кусая, смакуя. И путник вдруг каким-то чудом ощутил целиком все ее крупное, зрелое тело под темным платьем со шнуровкой корсажа посереди широкой, но невысокой груди.

Женщина уселась рядом и молча показала рукой на едва заметную, убегающую под изволок тропу. Корней вел машину одной рукою, почему-то упорно вспоминая сирень: представлял себе фиолетовые гроздья, подобные винограду... Вначале он подумал, что близость незнакомки навела его на эти образы, но вскоре сообразил (и с интересом отметил про себя), что они продвигаются по узкой аллее, обсаженной густыми кустами весенней сирени. Было темно, женщина нежно и жадно прижималась; душистые цветы накрывали чету подобием восточного балдахина.

Ямб осторожно правил левой рукою, другой обнимая прильнувшее к нему горячее, живое тело. Ее губы, солоноватые, мокрые, зло и щедро работали над его ртом. «Ведь подаст же Христос нищему в окно не только кромку хлеба, но целого гуся! — проносилось в ошеломленном сознании. — Вот так баба! Насквозь развратная баба! — блаженно содрогался он, радуясь именно это-

му последнему обстоятельству. — Спросить, как зовут, из вежливости, что ли? Или ничего не болтать пока? Вот так подарочек солдату на чужой стороне!». — И он все страстнее и беззаветнее припадал к податливому стану.

— Куда ты? — очень трезво и удивленно осведомилась она. — Нам сюда.

Корней повернул направо, и «меркури» начал из последних сил карабкаться по круче: фары вырвали из мрака хоровод фруктовых деревьев в провинциальных белых уборах. Вскоре выступили сбоку темные прочные строения; бревенчатый настил заскрипел под колесами: снизу мерный шум воды. Они выехали на расчищенную площадку и уперлись в огромный, крытый драницей амбар с настежь распахнутыми сквозными воротами. (Запахло сеном, молоком, навозом.)

Выключив мотор, Корней был буквально потрясен сразу наступившей весомой тишиной и неподвижностью. Сперва казалось совершенно невозможным что-либо разобрать в темноте. Но постепенно опять повисли четкие созвездия, оторвавшиеся от Млечного Пути (похожего на санный); затем в непосредственной близости обрисовались синие контуры жилого дома с громоздким крыльцом, широкими ступеньками и крытой верандой. Ямб включил было снова фонари, но женщина жарко шепнула:

— Не надо, милый, дай руку.

Он послушно побрел, спотыкаясь, точно с завязанными глазами. Переступив через порог, женщина сразу нашарила спички и, чиркнув, зажгла свечу (пахнуло серой).

Ямб разглядел овал стола, угол печи и ряд сверкающих кастрюль на стене. Кухня, в которой они очутились, казалась очень просторной и поражала полным отсутствием современных установок, приборов, кнопок. Перед таким очагом в зимние вечера долго едят и пьют члены дружной трудовой семьи: их шутки просты и вкусы неприхотливы. (Гость бегло, но внимательно оглядывал комнату.)

Из отодвинутого печного заслона полыхнуло жаром древесных углей; зашипела головешка, обданная водой и, нагнувшись, хозяйка ловко выдвинула тяжелый чугунок в ореоле пара и соблазнительного запаха. Стукнули тарелки, звякнуло серебро, и через минуту уже блеснул жирный, вкусный круг горячих щей.

Корней облил руки и шею холодной водой из ковша и, торопливо вытершись грубым полотенцем, потянулся к столу, на кото-

ром красовался нарезанный толстыми ломтями ржаной хлеб; ледяная гора масла возвышалась на блюде. В открытых солонках сверкала крупная сухая каменистая соль.

— Выпьешь нашего вина? — спросила и, не дожидаясь ответа, налила стакан бледновато-желтой яблочной водки.

Ямб с наслаждением осушил бокал «Applejack» и тотчас же, гогоча всею утробою, набросился на щи. Женщина опять наполнила стакан, и он, походя (перебирая пальцами по столу точно по клавишам пианино), выпил.

Она подсела близко, удивленно и настойчиво следя за каждым движением гостя. В перерывах между глотками и жеванием он тоже искоса обшаривал глазами всю ее фигуру. Женщина не была красива; самым притягательным в ней казалась зрелость. Тот предел развития сильного летнего бабьего тела и духа, вслед за которым обычно наступают первые заморозки и зимняя ночь. Вблизи, на табурете, она производила впечатление еще более крупной и величественной (даже чересчур).

Корнея (вообще ценившего маленьких нервных темных красавиц с точеным бюстом) теперь почему-то прельщала именно монументальность новой знакомой. Осклабившись, он вдруг усадил ее к себе на колени: развязав шнурки корсажа, начал целовать. Она осторожно потянула его к широким нарам, накрытым яркой, домашней работы тканью, у стены. По дороге, смущенно улыбнувшись, задула свечу (в печи обиженно вспыхнули хищные глаза).

Вскоре восхищенный Корней поднялся и городскими спичками (удивившими его здесь) зажег два красных огарка в тяжелых медных подсвечниках. Снова подсел к столу. Слегка только оправив платье, она охотно налила ему вторую миску супа, подбросила мяса, предложила водку.

— Как тебя звать? — покровительственно осведомился Корней, уже целясь ложкою в застывший пудинг.

Женщина, не отвечая, прошла в соседнюю комнату; слышно было, как взбивала подушки. Доски пола скрипели под ее ногами.

Обняв его сзади, она молча повела Корнея в спальню. Там, в центре, на темном вощеном полу стояла квадратная постель с альковом. Сосредоточенно разоблачившись при свете одного огарка, они жадно нырнули в жесткие холодные, сурового полотна простыни. (Над головой колыхался балдахин — будто парус полоскался.)

Тут она проявила такую наивную и безудержную страсть, что Корнею оставалось только смущенно и горделиво изумляться.

— Что за развратное существо, — шептал он при наиболее рискованных маневрах, подстрекая себя. — Насквозь развратное существо. — И эта ругань странным образом действовала на него возбуждающе. А женщина, зрелая, крупная, немного страшная, лежала рядом без слов, с решительным, почти каменным лицом.

Корней то и дело выходил на кухню, пил сидр, обливался холодною водою и, возвращаясь, порывался вести дружескую беседу. Разного рода подозрения давно уже беспокоили его. Кажется, его принимают за кого-то другого... Предположение логичное, но не все объясняющее. Возможно, что она попросту сумасшедшая. Мелькала дикая мысль: если с ним теперь покончат при помощи ножа или яда, то никто этого не узнает. Зароют или сожгут тело в дремучем лесу. Впрочем, усталость и бесстыдные объятия неутомимой, вдохновенно-страстной бабы парализовали его умственные способности. Корнея хватало теперь уже только на самое главное, чего от него, видимо, ждали. Иногда, впрочем, он становился не в меру болтливым и начинал вдруг рассказывать о приключениях в Корее или о том, как он, голодая, продавал кровь для Красного Креста в большом городе.

— Как тебя звать? — словчился он опять было спросить, но получил в ответ такого тумака, что балдахин над головою заходил ходуном. Ярость партнерши была до того непритворной, что Корнею показалось уместным всякими искусными ласками снова приручить ее. Ночь тянулась, перемещаясь из ада в рай и обратно, точно обе эти окраины лежали совершенно по соседству.

Он очнулся под балдахином, когда уже светало. Деревенская лесная тишина; кудахтанье кур и лай дворняжки за гумном. Густой студеный воздух, ароматный, как фруктовый сок (или кумыс). И звонкий, хрустящий спокойный лак добротности, полноты, ценности на окружающих предметах.

Альков над головою (вроде портативного неба) не мешал разглядывать просторную комнату с беловато-гладкими известковыми стенами. Между двумя окнами стройный бледно-желтый комод; насупротив, вдоль другой стенки, шкаф орехового дерева. Дубовый чистый вощеный пол и в тон к нему занавески на четырех окнах. Окна тщательно вымыты; они разделены на девять прямоугольников... Что-то в пропорции длины и ширины стекол

производило особенно умиротворяющее, целебное действие (как и полагается подлинному произведению искусства).

У изголовья, с обеих сторон кровати, висели в рамках две вышитые по канве цветные надписи с наивным орнаментом; близко к себе Корней легко разобрал готический шрифт:

Ипата Жамб

ко дню венчания

4/27/52

У него почему-то резко стукнуло несколько раз подряд сердце; быстро приподнялся, чтобы рассмотреть рукоделие с противоположной стороны. Но кровать жалобно скрипнула, пол прогудел в басовом ключе, и женщина, монументальная, крупная, как статуя, проснулась: села (утопая в небе), блаженно и несколько деревянно улыбаясь. Оказалась она еще крупнее, чем представлялось ему давеча, вся желтоватых красок: волосы, кожа, даже глаза (невыразительные, с маленькими, скупыми зрачками). Самым бесспорным, прекрасным в этом лице был нос: нежный и занимающий много места, нарядный, многогранный, расширяющийся и одновременно загибающийся кверху своими тонкими лопастями. Этот нос расцветал откуда-то из глубины, из внутренностей лба, казалось, распространяясь за пределы трех измерений; тоже желтоватый (слоновой кости), прозрачный, легкий и крупный, отчетливый во всех планах. Не нос, а драгоценный музыкальный инструмент. Корней опять прильнул к этому органу, мучительно утоляя ненасытную жажду любви, совершенства, оплодотворения или воскресения.

Она покорно и непричастно отдавала себя в его распоряжение, по-видимому уже озабоченная дневными обязанностями. Из соседней комнаты весьма кстати послышался крик, быть может плач.

Женщина вырвалась из объятий; накинув глухую рубаху сурового полотна и накрыв льняные волосы чепцом, она, тяжело ступая, подошла к одностворчатой, орехового цвета двери и распахнула ее.

— Фома, — сказала она своим низким и ровным голосом. — Иди знакомиться с отцом.

Тотчас же в ответ мальчик лет семи проковылял по комнате, задрав голову на Корнея, точно перед небоскребом. Тщедушный, бледный, он хромал: правую ножку подпирали металлические бруски протеза.

Появление ребенка при таких обстоятельствах напугало и возмутило гостя. Он решил, что пора положить конец соблазнительной игре.

— Что ты, что ты, как тебе не совестно! — вскричал он, суетливо натягивая рубаху.

Но Фома, озираясь по сторонам с хитрой гримасой, уже подпрыгнул вплотную и доверчиво обнял голые ноги гостя.

— Поцелуй папу, — приказала женщина, и мальчик послушно потянулся вверх.

— Ладно, ладно, — согласился Корней, потом гневно добавил: — А теперь спроси мамочку, как ее зовут!

Мальчик шаловливо осклабился и повторил:

— Мамочка, как тебя зовут?

Выполнив долг, он, не дожидаясь ответа, нагнулся, выдвинул из-под широкой постели маленькую детскую кроватку, похожую на гробик. Там на тугих крошечных подушках лежала фиолетовая кукла в костюме матроса. Фома поднял куклу и, хищно улыбаясь, начал выворачивать ей суставы рук, ног, позвоночника, но члены арапа не ломались, только принимали самые вычурные, болезненные формы.

— Этот матрос ему теперь больше не нужен, — спокойно объяснила женщина.

— Понимаю, — поспешно согласился Корней, ошеломленный, опять ощутив какой-то зловещий ужас. «Я, очевидно, попал в сумасшедший дом, вот и все», — успокаивал себя.

— Мы должны, душечка, наконец, объясниться! — как можно проще сказал он. — Шутить детьми я не позволю.

Женщина мельком взглянула на него и опять отвернулась, подставляя профиль своего плоского, каменного, средневекового лица и нежный, нарядный, тонкий, похожий на античный инструмент, нос. Ему вдруг стало жаль ее: великолепный вымирающий зверь, которого дикарь собирается убить и съесть. Корней хлопнул мальчишку по плечу и сказал:

— Ты, молодец, ступай во двор играть, я скоро к тебе присоединюсь.

Между тем солнце ударило в угол крайнего окна, и спальня сразу заиграла (загудела) красками. Мебель вскрикнула орехово-каштановыми тонами; пол — воском, медом, лаком. А реплика цветков и орнаментов, рассыпанных по занавескам, одеялам и дорожкам, оказалась вполне кстати.

— Послушайте, — начал Корней, невольно любуясь богатством, льющимся из окна. — Пора кончать забаву. Я не позволю... — и опять уткнулся в ее неподвижный горестный лик, покорно склонившийся словно для последнего удара. Он замялся: — Как вас зовут, honey?

В это время радужные стрелы заиграли на канве с противоположной стороны постели, и Корней неожиданно легко разобрал вышитую крестами надпись:

Конрад Жамб
ко дню венчания
4/27/52

— Что это такое? — строго осведомился он.

Не поворачивая головы и словно не дыша, отозвалась:

— Это ты, неужели забыл?

— Мое имя пишется Ямб, через игрек! — гневно завопил он.

— Не знаю, — оправдывалась она, отступая. — Всегда было Жамб, через джэй, а не уай.

«Нет, здесь сумасшедший дом! — успокаивал себя Корней.— Ямб — Жамб, Корней — Конрад, что это такое, наконец?»

— Послушайте, душечка, — начал он примирительно, как всегда в трудных случаях готовый вместо гибельной лобовой атаки прибегнуть к сложному маневру, — давайте выясним теперь самое главное...

Женщина стояла перед ним в домотканой сорочке на крупном зрелом вдовьем теле, беспомощно опустив сильные голые необъятные руки; ее восковое каменное тяжелое лицо служило как бы цоколем для прекрасного, сложного, драгоценного, не умещающегося в трех измерениях носа. А глаза, внимательные, сухие и скупые, выражали предельную боль земного существования. Точно скотинка, которую долго гнали по снегу или в засуху, везли в теплушках на убой; или лучше — словно мать, вынужденная смотреть, как мучают, пытают ее первенца, не в силах помочь ему!

Эта статная фигура, знакомая и устрашающая, застыла перед Корнеем, опустив свои длинные веснушчатые хозяйственные руки и покорно дожидалась (может быть, уже годы) суда, казни.

— Послушайте, — морщась, точно от зубной боли, снова начал он, — послушайте, это все, я уверен, легко объяснить! — И смолк, боясь сказать лишнее. В сущности, его тянуло к машине: сесть и помчаться сломя голову, кто его догонит! Но память о друзьях, оставленных позади и доверяющих своему начальнику, сковала волю

Корнея. Растерянный, он, однако, продолжал, заикаясь. — Эти ласки, сударыня, поверьте, никогда не потеряют основной прелести...

— Тебе бы не хотелось позавтракать? — очень просто осведомилась она. — Меня зовут Ипатой. Ипата Жамб, или Ямб, тебе виднее.

— Позавтракать? — вцепился Корней, даже повеселев. — Отлично, можно позавтракать. Только я ничего не понимаю! — вырвалось у него вдруг. (Такое чувство, вероятно, испытывает молодой летчик, когда вдруг догадывается, что не он управляет самолетом, а сидящий рядом инструктор.)

— Ты помоешься перед едою? — опять трезво спросила она.

Ошеломленный, он схватил грубое вышитое полотенце (похожее на украинское, только пошире и длиннее).

— Где тут ваши разные удобства? — резко спросил.

Женщина повела его наружу. Уборная высилась на задворках (за сараем и другими службами). Пахло сосновой стружкой; тяжелая, похожая на жернов, крышка приподнималась с пола, открывая в досках круглую дыру, ведущую в омут. С крыши свисала сетка из толстого шнура, куда собирали бумажки (чтобы не переполнять отхожее место). Тяжелые перламутровые мухи парили над головою.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой гость знакомится с хозяевами

Корней опять уселся за обширный стол перед той самою печью с покрытыми гарью кирпичами, откуда давеча Ипата доставала жирные щи (на полке, сбоку, возвышалась милая плетеная бутыль с яблочной водкой). Во всех линиях и плоскостях этой громоздкой благородной кухни скрывалось нечто упорное, честное и успокаивающее (как, впрочем, и в пропорциях окон, дверей, балок потолка). На свежей тяжелой скатерти, похожей на шахматную доску, стояла голубая миска с большими розовыми оладьями; пахло горячим маслом и приторным кленовым сиропом. Кофейник и чашки — массивные, яркие и прочные, радовали глаз, нос и даже ухо.

— Ты любишь итальянское кофе, — сказала Ипата, поворачивая к нему каменное крупное лицо, но глазами следя за огнем в печи. — Я давно спрятала для тебя горсть зерен.

Корней промычал что-то невразумительное в ответ и отхлебнул полкружки ароматного, свежеразмолотого кофе. Оладьи тоже оказались вкусными, сочными.

— Ты ешь оладьи? — удивилась женщина. — С каких это пор?

Гость жевал, не отвечая: действительно, в общем, он не любит этого теста. «Но откуда она знает? Какой-то дневной кошмар!» — думал он. (По-английски получался даже каламбур: a day nightmare).

Фома навалил себе гору оладьев, обдал растопленным маслом, затем сладким сиропом и начал уписывать, подражая Корнею: целиком! Еда застревала в его детской, птичьей глотке, и тогда чета за столом с ужасом, но не без любопытства следила за этим комом пищи, раздувающим горло мальчика. Нос у Фомы был материнский: нежный, изгибающийся кверху (всеми плоскостями). Глаза побольше, чем у Ипаты, только пронырливые, пожалуй, наглые.

— Ты не обязан подражать отцу, — заметила, наконец, мать. — Разрезай каждую ножом на четыре части. Теперь он с тебя будет брать пример! — обратилась она к Корнею, и неясно было — довольна женщина этим или, наоборот, опечалена.

Корней уже хлебал вторую чашку кофе, дожидаясь яичницы с поджаренным коричневым салом, когда со двора донесся лай собаки, шум шагов (точно несколько человек ступали в ногу) и скрип крыльца.

— Папа идет, — возвестила хозяйка, обводя стол, комнату и завтракавших значительным взглядом. Оправив лиловый корсаж и кружевной чепец, она прошла к двери.

В кухню быстро и ловко ввалился очень крупный, тучный, похожий на раздутое голубиное яйцо великан с рыжей бородой и седой редкой шевелюрой (брови были комбинацией обоих цветов: толстые, мохнатые гусеницы, жившие, казалось, своей автономной жизнью). Голова старца (тоже похожая на яйцо), без шеи, росла прямо из плеч; багровое одутловатое лицо с темными жилками и младенческая, не соответствующая всему облику улыбка пепельно-голубых, беспомощных глаз придавали этому колоссу выражение болезненной хрупкости. Короткие ноги, обутые в бесформенные сапоги, как бы самостоятельно гнались вслед за железной палкою, спешившей впереди и словно нащупывавшей дорогу. Но продвигался старец бодро и с таким уверенным грохотом, что Корней не сразу догадался, что перед ним слепой!

— Ипата, Фома! — прогремел гигант. — Прочь! — в сторону Лабрадора, зарычавшего на чужого; и сразу повернулся всем

существом к Корнею, принюхиваясь красными широкими ноздрями.

— Отец, он вернулся, — сдерживая волнение произнесла Ипата. — Конрад вернулся вчера ночью. Я говорила — так будет.

Патриарх переложил витую железную палку в левую руку и смело протянул правую Корнею, сверху вниз.

— Добро пожаловать, сын! — прогудел он. — Вернулся. Вот, я говорил — не надо уходить. А все-таки дождались. Праздник. Как просто.

Рука старца мохнатая, теплая, розовая; ладонь Корнея утонула в ней бесследно, а по всему телу прокатилась волна детского благополучия.

— Здрасте, — развязно промолвил Корней.

— Повтори, повтори громче, — гремел рыжий старец. — Зачем шептать и скрывать мысль. Что прекраснее голоса и слов? Только человеку это дано, и птичья песня — хилый лепет по сравнению с нашей речью. Голосом надо пользоваться вовсю! — Действительно, патриарх (слегка напоминающий мамонта в музее естественной истории) гремел то нежно и вкрадчиво, то свирепо, но одинаково величаво.

— Это с тех пор, что ты ослеп, отец, — заметила Ипата, внимательно следившая за мужчинами; лицо ее было по-прежнему неподвижно и землисто-желтовато. — Раньше ты говорил гораздо тише. Мы завтракаем, отец: тебе яиц, кофе?

— Тут блины, дочь! — рокотал старец. — Фома, накорми голодного.

Фома, косо поглядывая на мать, навалил деду гору оладьев. Слепой грузно уселся, расправил салфетку и, очень ловко находя все необходимое на столе, смачно занялся едою, не прерывая, однако, беседы.

— Что же, сынок, рассказывай. Ты долго блуждал по свету. А мы здесь любили тебя и ждали. Объясни, пожалуйста.

Массивные оладьи, обданные горячим мутным маслом, сдобренные чистым, янтарным сиропом, без помехи исчезали в его широкой пасти. Дочь смотрела окаменело, но глаза ее опять напомнили Корнею раненую (стонущую) зрелую лань. Слышно было бодрое позвякивание ножей и вилок, постукивание тарелок и чашек; изредка раздавался визг Фомы, пытавшегося по-своему шутить:

— Папа, почему ты все озираешься?.. Дед, а дед, ты когда ослеп...

Могучий лоснящийся Лабрадор несколько раз сердито менял место, пока не угомонился возле громоздкого древнего веретена.

— Ну, сын, болтай! Расскажи о людях и Боге, что в большом городе.

— Вы так выражаетесь, точно готовитесь читать проповедь, — осторожно усмехнулся Корней.

— Я — пастор и проповедник, что же тут удивительного! — старец простер руки над столом, точно призывая слушателей в свидетели. Лабрадор с готовностью приподнялся и зарычал.

Ипата сосредоточенно и горестно смотрела перед собою.

— Неужели тебя это удивляет? — повторил слепой великан.

— Нет, — твердо отозвался Корней. — Но мне никто не говорил, что вы — пастор, и я вас вижу в первый раз.

Женщина поднялась, прямая, крупная, и передвинулась к окну (в комнате померкло); на стене по обеим сторонам печи неподвижно сверкали кастрюли, сковороды, котелки, таганцы. С потолка свисали пучки сухих трав, стручки, корешки, картофелины. Лабрадор опять ощетинился и прошел в противоположный угол к кадке. Фома, скаля мелкие зубки грызуна, раскатывал хлебные шарики. Все молчали.

— Ешь, ешь, Фома, — опомнился первым старец. — Что же яичница, дочь?

— Забыла, — усмехнулась та.

В комнате теперь пахло горелым. Сало обуглилось и хрустело на зубах. Ипата сразу подала теплый свежий торт с мятою; запах этот оказался приятнее вкуса. Разговор не клеился больше.

— Что ж, сынок, пройдемся по селению, — предложил рыжий. — Всяк будет рад приветствовать мужа Ипаты. Только курить при мне негоже.

Корней послушно спрятал полупустую обожженную трубку и побежал в спальню за пиджаком: ему не терпелось остаться наедине с пастором. Пригладив волосы перед зеркальцем, он вернулся на кухню, и тут его поразило бледное лицо Фомы с выпученными от страха глазами. Ипата, очевидно, спорила о чем-то с отцом: она производила впечатление величественной заложницы, готовой принять муку за свою веру. Старец, почувствовав близость Корнея, перебил дочь подчеркнуто беззаботным голосом:

— Скоро узнаем, скоро узнаем. Пошли! — стукнул он железной палкой. — Фома, в школу!

Утро наступило, вероятно, самое обычное для этого края, потому что ни грозный старец, ни Фома, ковылявший впереди, ни Лабрадор, петлявший сзади, не обращали внимания на всю славу Господню, разлитую в небе, на суше и даже над водою. Только Корней с непривычки блаженно жмурился, упиваясь блеском и запахом густого (полосами разогретого, полосами студеного) воздуха, соединяющего в себе память о лесе, прудах, пшеничной муке и черемухе; он бессознательно подражал движениям слепого гиганта, с легкостью зрелого бизона лавировавшего между островами трав, цветов, огородов, стремительно пересекая по узким мосткам нежно шелестящие внизу потоки. Сзади трудно было догадаться, что проповедник слеп, так легко и уверенно он шаркал сапожищами, видимо больше руководствуясь игрою света и теней, тепла, запахов, чем клюкою. (Порою Корнея охватывало сомнение: полно, слеп ли рыжий, хромает ли Фома, только ли собака Лабрадор, незримо стерегущая гостя.)

Поселок, расположенный на довольно ровной площади, был окружен грядою покрытых лесом холмов. Посередине селения простирался прямоугольником ровный зеленый пустой луг — вроде огромного пруда, обрамленного рядом мирных строений. Там, дальше, тянулся сплошной бор, изрытый оврагами и ущельями, по которым стекали ручьи, собираясь в реки и озера или образуя стоячие пруды и болота.

Луг в центре селения напоминал по форме версальский пруд (вместо лебедей по зеленой глади гордо передвигались две белые курчавые ламы). У основания этого поля, господствуя над ним, возвышалось старинное белое здание с двустворчатою дубовою дверью: туда со всех сторон, поодиночке и группами, теперь стекались дети, неся темные мешки, сумки и учебники.

— Какая прекрасная школа, — восхитился Корней.

— Это наш молитвенный дом, — поправил его пастор и резко повернул к строгому, пуританских линий восковому крыльцу.

Из желтых двустворчатых нарядных дверей с черными железными скобками показалась смуглая молодая женщина в синем платье с белым корсажем и в чепце, кокетливо сдвинутом слегка набок.

— Доброе утро, проповедник! — бойко крикнула она, разглядывая Корнея с таким любопытством, что ему почудилось: у нее, по меньшей мере, дюжина юрких миндальных смышленых глаз.

— Здравствуй, коза! — охотно откликнулся старец. — Зять вернулся вчера ночью, муж Ипаты. А это Талифа, наша учительница.

— Очень-очень приятно, — жеманно приседала смазливая учительница.

Деревянный, снежно-белый на солнце, сухой и лирический молитвенный дом; восковая дверь с железным орнаментом; на крылечке загадочно улыбающаяся хорошенькая Талифа... А там, дальше, сияющее небо, покрытая свежим лаком зелень рощ и садов, запах суровой весны и торжествующий клекот перелетных птиц. Корней был растроган; но, несмотря на это, мысленно отмечал и запоминал все особенности топографии и месторасположения.

Строения, как он уже понял, тянулись вокруг большого луга; большинство жилых домов стояло по одну сторону этой поляны; по другую — находились мастерские и склады (оттуда доносился шум молота, плеск падающей воды, визг пилы). Церковь, очевидно, разделяла эти два вида построек. А напротив молитвенного дома, за последней, четвертой стороной прямоугольника начинался лес, виднелись плотины и темнели крытые мосты, похожие на фургоны. Там сеть протоков и каналов переплеталась, расширялась, превращаясь в систему, уводящую к Большим Озерам. Меж оврагами и прудами, кое-где на гривах и холмах, обозначались еще глухие бревенчатые избушки и бродил казавшийся мелким рогатый скот. Еще дальше горы, поросшие гигантской хвойной растительностью. Площадь производила впечатление расчищенной в бору; девственный лес хотя и отступил, но беспрерывно давал о себе знать, как, впрочем, и бурные воды, которые при весеннем разливе, должно быть, подступали к самому горлу очагов, угрожая существованию поселенцев.

Наконец пастор с Корнеем отошли от крылечка: учительница, окруженная клумбой детворы, не переставала приседать и махать им вслед ручкой.

— Господин проповедник, — решительно заявил Ямб, — мы должны теперь откровенно объясниться!

Они брели по теневой стороне луга (на солнце становилось уже жарко), приближаясь к большому сараю из драниц, от которого во все стороны распространялся как бы стук упрямого сердца: тук-так, тук-так... Два молота — один потяжелее, другой полегче — ритмически падали на звонкую наковальню. Корней прислушивался к этому звуку с тем болезненным вниманием, с каким следишь за биением собственного сердца.

— Простите, я не понял, что вы сказали.

— Ну да, ну да, ты меня совсем не слушаешь, — добродушно заметил гигант. — Я сказал и повторяю — тебе придется опять привыкнуть к старому порядку жизни. Постепенно, конечно.

— Я уже несколько раз пытался вам растолковать, — начал осторожно Корней, — что меня здесь, кажется, принимают за кого-то другого.

— Ну, эта проблема нас заведет слишком далеко, — беззаботно отозвался слепой. — По утрам надо трудиться, изучать математику или теологию, а вечером, на досуге, за стаканом сидра, можно и пофилософствовать. Мы все принимаем себя и других за нечто, не соответствующее действительности. Между восприятием реальности и самой реальностью часто пролегает бездна. Редкий мудрец видит предметы в точной перспективе.

— Нет, я не об этом, — усмехнулся Корней. — Не о философии речь. Извините, пожалуйста, но я не муж Ипаты и никогда ее раньше не знал! — он облегченно вздохнул и сжал свои объемистые кулаки, словно готовясь к физическому отпору.

— Мне сказали, что у тебя была амнезия после ранения, — задумчиво произнес старец, останавливаясь на мостках вблизи амбара, похожего на губку или на огромного ежа. — Там, в Чикаго.

— Ах, вот как вас осведомляют! — рассвирепел Корней. — Нет, это у вашей дочки частичное умопомрачение, и она не припомнит, с кем прижила ребенка в Чикаго.

Тучный старец начал синеть и раздуваться самым устрашающим образом; желтые пятачки выступили на его лице, лбу (огромном, благодаря лысине посередке головы). Корней тихо продолжал:

— Отец, я отлично помню прошлое. Там нет места для жены и ребенка. В другое время я счел бы за честь, но меня смущает Фома! Дети — святыня, и я не буду шутить таким делом. Откровенно говоря, мне бы хотелось узнать, при каких обстоятельствах Ипата вернулась сюда из города.

— Ты утверждаешь, что не знал Ипаты. И приехал к ней ночью, улегся в постель с моей дочерью, так? — рыжий явно сдерживал себя, но голос его походил на рычание голодного льва. — Ты не отец Фомы?

— Вот в этом я готов поклясться. Здесь все ясно.

— Ты уверен?

— Совершенно.

— Почему, собственно? Память тебе служит порукою?

— Да, память. Восемь лет тому назад я был в Европе и не с Ипатой.

— Оставим пока Ипату. Поговорим о твоей жизни! — пастор опять остановился в тени: через несколько шагов начиналась прогалина, вся открытая жаркому солнцу (он, по-видимому, это почувствовал или — знал). — Ты говорил ночью, что продавал свою кровь Красному Кресту? — нетерпеливо спросил он.

— Ну да, — подтвердил Корней, отмечая с удивлением, что старику уже известно это. — Я хотел поведать, как люди ловчат в городе, когда нуждаются в деньгах. Так многие делают, что тут плохого!

— А семени там никто не покупает?

Корней вдруг содрогнулся: точно внутри его лопнула тетива и гибкий лук, разогнувшись, хлопнул его по самым чувствительным органам.

— Раз было, — мучительно выдавил из себя. — Я пришел к знакомому доктору и получил, кажется, пять долларов.

— Как же быть уверенным теперь? Любой младенец может быть твоим! — рокотал рыжий старец, оглушая собеседника. (Корней молчал, ошеломленный, но все же отметил сеть плотин и каналов, расширявшихся и умножавшихся вдали.) — Вот твоя хваленая память! — торжествовал проповедник. — Куда она тебя ведет? Помнишь ли ты о своем существовании до рождения, бессмертное, безначальное существо?

Откуда-то пахнуло вдруг разогретой сиренью. Корней сообразил: дорога, по которой он давеча приехал, и эта, простирающаяся впереди, соединяются где-то позади оврагов.

От плотин, из амбаров и высоких, крытых драницей мастерских выступали парами и в одиночку тяжелые дяди, разного возраста, но все одетые словно статисты в старинном историческом фильме. Чистые голубые (в полоску) рубахи и такие же свежие штаны; серые фартуки (сурового полотна) и кепи, синие, белые, серебристые. Вытянувшись лентою на манер религиозной процессии, они, наконец, приблизились и грозно обступили беседующих у обочины прозрачного луга.

— Я понимаю, — соглашался уже Корней, быстро оценив опасность положения; со стороны школы бежали две женщины в чепцах: Ипата и, должно быть, смазливая учительница. — Мне хотелось только подчеркнуть, что совсем неизвестно, кто я на самом деле. Вот, например, один говорит — «Я». И другой гово-

рит: «Я»... Чувствуют ли эти люди нечто различное при этом или совершенно то же самое? Вот в чем, так сказать, вопрос! По каким признакам «Я» узнает и находит себя?

— А я утверждаю, что это просто шпион, опять подосланный к нам, — задумчиво произнес мужик с одутловатым бритым лицом, весь посыпанный тончайшей белой пудрой и пропахший свежей пшеничной мукой. — Распластать его на лесопилке, и концы в воду.

Толпа дружно сомкнулась, молчаливая и угрожающая; только из задних рядов, куда затесались подростки, слышалось озорное, легкомысленное гоготанье. Рыжий проповедник наклонил слепую львиную голову и уперся всем весом в землю, точно ища там какое-то недостающее ему звено. Корней почувствовал, как несколько грубых шершавых ладоней погладили его сзади, примериваясь.

— Стойте, стойте, каины! — кричала Ипата. Запыхавшись от тяжелого бега, она принялась расталкивать народ, пробираясь к центру. — Что вы делаете, ироды, сколько вас надо учить!

— Каины! — разразился, наконец, и рыжий, разглядев, по-видимому, таинственные письмена у себя под ногами. — Каины! — он палкою вертел во все стороны, и толпа, вздыхая, медленно расступилась.

— На легкую жизнь польстились! — продолжала громко Ипата. — Гады.

Народ опять разбился на пары и живописные группы и, мирно беседуя, расходился по всем направлениям; подростки кувыркались в траве, и селение вдруг приобрело патриархальный, даже райский вид, чему особенно способствовали откормленные ламы, благодушно проплывшие по лугу.

— Я бы не советовал продолжать в этом духе, — зловеще произнес старый джентльмен с узкой грудью и таким же вытянутым длинным зеленым лицом, похожий на средневековое привидение; вопреки преклонному возрасту, у него, по-видимому, уцелели все зубы, крупные, желтые, как у аллигатора.

— Это мой дед, Аптекарь, — заманчиво улыбаясь, представила его учительница. — Дед прав, надо быть осторожным с простым людом, — щебетала она, радуясь, что оставила душную классную комнату и явно стараясь растянуть перемену. — И то сказать, Ипата, войди в его положение. Приезжает контуженый или больной ночью, на него набрасываются сразу жена, семья, сообщают

разные новости. Естественно, Конрад смущен, — уверяла добрая Талифа, беря под свою защиту гостя. Ипата молча и неодобрительно слушала; проповедник, наоборот, казался довольным вмешательством шустрой девицы. Корней глубоко дышал, все еще смакуя перипетии избегнутого самосуда.

— Беда в том, что твой муж привык слишком полагаться на свою память, — учительница хихикнула.

— Он сказал, что не понимает, — вмешался Аптекарь, — не понимает, в чем разница между одним человеком и другим. Этот говорит: «Я», и тот утверждает: «Я»; этот проглатывает рюмку водки, тот пропускает стопку рому, оба испытывают удовольствие и уходят в постель. В чем же заключается священная особенность? Если абсолютная личность существует, то где и в чем она заключена? — Аптекарь, очевидно, являлся местным еретиком, либералом.

Талифа, не переставая жмуриться и улыбаться солнцу, поддержала:

— Проповедник, вы сами в молитвенном собрании высказывались насчет тайны «Я» и «Мы».

— Да-а, — согласился рыжий великан, видимо польщенный. — Я о личности говорю на Троицу.

— Ну вот, — кокетливо внушала учительница, — поговорите об этом в следующее воскресенье. И он все поймет. Смотрите, какой он сильный, хороший, несчастный, — увещевала она, шутливо поглаживая могучие плечи Конрада.

— Вопрос о личности — страшный вопрос, — вмешался между тем Аптекарь зеленоватым шепотом. — Здесь ключ к тайне! — Он, очевидно, любил мудрствовать на досуге.

Одна Ипата не принимала участия в разговоре: стояла неподвижно со своим непоколебимым, твердокаменным, скуластым, тяжелым лицом розовато-желтого цвета и нарядным, прозрачным, загибающимся носом. Руки ее, щедрые, хозяйские, покорно опущенные, выражали стоическое борение и страх.

— Хорошо! — согласился старец, похожий на Саваофа. — Надо помочь, и я все расскажу в следующее воскресенье. А теперь за дело! — гремел он уже по-привычному. — Ипата, принимай мужа.

— Пройдем по работам, — не то спросила, не то приказала она. — Познакомишься. Не бойся, — почти улыбнулась (а глаза сухие, скупые). — Они совсем не страшные.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

в которой происходит знаменательная встреча

Медленно, взявшись за руки, как Адам и Ева в редкие мирные дни после изгнания из рая, чета гуляла по зеленой, лоснящейся на солнце траве; вскоре они свернули в сторону сарая с распахнутыми воротами, откуда весело доносился бой кузнечного молота.

Человек в старом, дырявом (прожженном) кожаном фартуке стоял, криво склонившись к наковальне (потом выяснилось, что он слеп на один глаз), и постукивал молотком по незаметной части. Он выглядел карикатурой на кузнеца. Юноша-подмастерье с трудом тянул к земле веревку мехов, точно раскачивал огромный колокол. Мастер выпрямился, оставаясь, впрочем, таким же щуплым, кривым.

— Добро пожаловать, хозяин, хозяюшка, — пропел он фальшиво-приветливо.

— Доминик, это Конрад, мой муж, вернулся, — нашла нужным пояснить Ипата; обращаясь к подростку, спросила: — Что, Амврозий, нравится тебе ремесло?

— Добро пожаловать, — повторил Доминик криво; Амврозий только смущенно поклонился.

Конрад пожал им руки; потом обошел мастерскую, внимательно оглядывая железные прутья, лом, скобы и подковы, лежащие у стен или подвешенные на гвоздях.

— Здесь кладовая, — показывал Доминик, видимо польщенный вниманием гостя. — Храним старые шипы, бруски, части. Мы больше не делаем своих подков, покупаем фабричные.

— Так гораздо лучше и дешевле, — подтвердила Ипата.

— Да. Но тогда можно и сапоги, и белье, и утварь покупать в городе, дешевле и лучше! — возразил Доминик.

— Дешевле, может быть, если считать, что время — деньги, но не лучше, — как заученный урок говорила Ипата. — Посмотри на это полотно. Или вот кожа. Сносу нет. У нас производят вечные вещи. Запомни это.

Конрад добросовестно ощупал передник и башмак Ипаты. Доминик робко заметил :

— А как же насчет электричества? Неужели свечи продолжительнее? — не дожидаясь ответа, он поплевал на обожженные руки и дернул за конец веревки. Угли в горне сразу вспыхнули

фиолетовым, потом красным, желтым, наконец бледно-белым накалом.

— Ишь ты, большие меха! — восхитился гость.

— А вы знакомы с нашим делом? — ласково и фальшиво обратился к нему опять Доминик.

— Да, когда-то, в Европе еще... — Он смолк, заметив взгляд Ипаты.

— А уголь там какой, неужели древесный? — интересовался Доминик и, почувствовав неподдельную симпатию, добавил: — Как вас величать-то, хозяин?

— Корней Ямб, — вырвалось у него непроизвольно.

— Звать его Конрад, Конрад Жамб. Я — Жамб, и он — Жамб, и Фома — Жамб, — заявила Ипата ровным, но не допускающим возражения голосом.

— Ну Жамб так Жамб, — добродушно подмигнул Доминик. — Разница невелика. Не угодно ли гвоздочек отделать, мы здесь коляску чиним.

Ипата задумчиво и, пожалуй, нежно смотрела, как Конрад, постукивая молоточком то по железу, то по наковальне, ловко отбил грубый, но вполне соответствующий назначению толстый гвоздь. Доминик объяснил, как загнуть головку, и вся операция была произведена при одном только накале.

— У нас во дворе была кузница, — точно его понукали, сболтнул Конрад. — Там работали зимой и летом от зари до темени. В осенние сырые студеные вечера отойдешь на пять шагов от горна и попадешь в лужу, в снег, в ночь. Кругом тьма, холод, мерзость неорганизованной Вселенной. А из кузницы рвется пламя, стучат на двух наковальнях (лоб в лоб) вдохновенные мастера и поют простуженными, пьяными, злыми голосами.

— Где это все, в Европе? — полюбопытствовал Доминик.

Ипата, сердито стуча большими башмаками, рванулась из сарая, взмыла, точно давно не летавшая тяжелая птица.

— Вам не следует вспоминать про эти глупости, — фамильярно шепнул Доминик. Выглянув за дверь и убедившись, что Ипата ушла, он достал из-под фартука табак и скрутил папироску. — Курите, — предложил он Конраду, — теперь можно, — он погрозил пальцем ухмыляющемуся подмастерью. — Жена ваша, ой-ой! Но я все-таки предпочитаю ее старику. Рыжий не спустит никому: строг. У нас многие Ипату больше любят. Только не огорчайте ее.

Забудьте про вашу родину: вы никогда там не были. Официально у вас другая биография.

— Какая? — морщась от табака, спросил Конрад. — Это мне может пригодиться.

Доминик долго выдувал густой дым из ноздрей, рта, даже, может быть, из ушей; неторопливо сообщил:

— Вы жили в Чикаго, там женились на Ипате, приехали сюда, а через неделю пропали без вести.

— Но если я докажу, что...

— К чему это! — умоляюще сложил свои непропорционально большие руки кузнец. — Доказать можно все, кроме самого главного. Сумеет ли человек доказать, что он — христианин, Божье творение и бессмертен? К тому же, если вы действительно явились сюда, чтобы собрать некоторые сведения, то лучше молчать, а то наш народ темный, лесной! — Доминик загадочно подмигнул и, опять повернувшись к Амврозию, свирепо погрозил ему пальцем.

— Да, это, кажется, правильно, — процедил Конрад. — Но странно, что вы такое говорите мне. Совсем непонятно...

— Вот догадайся, — усмехнулся кривой кузнец и, отстранив зазевавшегося Амврозия, повис на мехах. Угли начали синеть, краснеть и бледнеть. А Доминик тоненьким религиозным голосом пел про электрический свет, сверкающий во тьме.

— Я хотел бы встретить Бруно, — неожиданно вырвалось у Конрада. — Я заплачу.

Доминик только укоризненно покачал криво сидящей костлявой головой и продолжал напевать.

Постояв в нерешительности, Конрад тихо вышел; нарядная узкая тропинка извивалась в сторону, и он медленно побрел по ней.

Обширное деревянное двухъярусное строение привлекло его внимание; дубовые окна и двери, обитые тяжелыми, прочными скобами. Судя по вывеске и ряду наклеек, это был главный магазин селения.

Отворив низкую прилипшую дверь, Конрад замер в нерешительности: можно было подняться на пол-этажа выше или, наоборот, спуститься в подвальное помещение. Там было прохладно, аппетитно пахло рыбой и дегтем, виднелись разных калибров кадки, мешки с сушеными овощами, сбруя... Сошел вниз.

Огромный узкий прилавок тянулся, изгибаясь под прямым углом (продолжаясь из комнаты в комнату). Несколько женщин, покупательниц в чепцах, шептались, разглядывая товар. В даль-

нем углу, слева, отгороженном для надобностей конторы, виднелся письменный тяжелый стол. Конрад заметил на нем скопище похожих на библии бухгалтерских книг и большие деревянные счеты. Тут же на двух бочках лежала снятая с петель дверь, на которой стояла шахматная доска с фигурами в самых естественных положениях. На меньших, опрокинутых вверх дном порожних бочках сидели друг против друга в воинственных позах шахматисты. Одним из них был зеленый Аптекарь; второй тоже показался знакомым: бритый, обсыпанный с ног до головы свежей мукой, с одутловатыми мешками в подглазьях.

Над головой висели круглые сыры, окорока, глиняная посуда. Пахло сушеной рыбой, мылом, кофе и кислой клюквой. Пестрели тюки шерсти, полотна, куски ситца. На полках у стены выстроились стеклянные банки вроде аптечных: с латынью и адамовым черепом. (Чудилась ромашка, мята, камфора).

— Здрасте, почтеннейшие, — игриво поздоровался Конрад, возбужденный одним видом порхающих по квадратам неуклюжих фигур. — Можно присоединиться старому грешнику?

Аптекарь с челюстью аллигатора, любезно оскалившись, привстал на согнутых коленках: и все-таки он достал желтовато-седым ежиком до столетней балки потолка.

— Садитесь, конечно, — он показал рукою на место рядом. — Ходят слухи, что вы — отличный шахматист.

Мукомол, который давеча настаивал на быстрой расправе с Конрадом, теперь только повел ноздрями в сторону пришельца и, не отрывая мутно-бледного взора от доски, бросил:

— Вряд ли вам интересно. Мы — народ темный... темный, — повторил он и двинул черного слона на диагональ. Обрадовавшись сделанному ходу, уже гораздо вежливее обратился к гостю. — Мы всё от скуки затеваем. От скуки чуть вас не угробили, — озорные искры вспыхнули в его водянистых заплывших глазках. — Позвольте представиться, Джонатан Финн, главный мельник, здесь мы все пока начальники, — он опять лукаво подмигнул.

Конрад пожал мягкую пыльную ручку мукомола, по привычке озираясь, обшаривая взглядом темную лавку. В разных местах, у полок, покупатели (чаще женщины) выбирали товар: посуду, кружева, ленты, мыло. Должно быть, от сильного запаха (керосина, краски, скипидара, мяты) ему вдруг показалось, что он видит все это во сне или, наоборот, что он узнает кругом себя людей и предметы, снившиеся ему давно и часто.

— Вы, надо полагать, — обратился он к Аптекарю, теперь на покое, в отставке?

Аптекаря в подвале звали Фредериком; он ответил с натугой, не отводя глаз от фигур:

— Я и здесь по мере сил тружусь. Собираю травы, корешки, стручки и прочие ценности растительного царства. Но, конечно, это пустяки, — он твердо взглянул на своего собеседника. — Когда-то, на Среднем Западе, я владел знаменитой аптекой. Не такой, где продают мороженое и ваксу, а подлинной мастерской художественных мазей и эликсиров. — Он нерешительно потянулся к пешке, но передумал и снова обратился к Конраду: — Мои пластыри признаны мексиканской фармакопеей!

В это время к беседующим приблизилась сухая старушка на тоненьких ножках, похожая на девочку, подражающую взрослым; она застенчиво улыбнулась и, склонившись к уху Конрада, прошептала:

— Претерпевший до конца — спасется.

Аптекарь двинул, наконец, пресловутую пешку.

— Тут сегодня прибыл новый товар, и бабы шляются, — недовольно заметил Финн. — Эта Шарлотта всем надоедает... надоедает, — повторил он и хищно схватил пешку. — Не угостить ли нам нового партнера? — благодушно предложил он, довольный обменом.

— Можно, конечно, можно, конечно, — сосредоточенно откликнулся Аптекарь. — Сидра или меда?

— Нет, благодарствую, вот папироску я бы закурил.

— Кто отказывается от лишнего, обеспечивает себе необходимое, — опять восторженно улыбаясь, на ходу бросила Шарлотта, ковыляя мимо мужчин.

— У нас пользуются только нюхательным табаком, — строго объяснил мельник; пошарив в карманах, он достал квадратную табакерку из лубка.

Конрад отказался.

— У вас тут мало совсем молодежи, — сказал он. — Юношей, девиц лет 18—20 незаметно кругом!

— Нет, отчего, молодежи здесь достаточно, — примирительно ответил Аптекарь, конем загребая королеву противника.

— Умный недоговаривает, глупый все излагает, — уронила опять восторженная Шарлотта. То пропадая в недрах катакомб меж ящиками и тюками, то снова появляясь у стола, она подава-

ла очередную реплику, словно автомат, предсказывающий за пятак, иногда удивительно кстати, судьбу обывателя.

Мельник яростно крякнул:

— Играем мы или не играем, черт возьми!

— Извините, — твердо заявил Конрад. — Но партия, в сущности, закончена. Можно мне сразиться с победителем?

— Ах, ты! — грозно протянул мельник напудренный кулак в сторону приближающейся Шарлотты; та метнулась по кругу, провалилась в какую-то щель. — Я на размене запутался, — настаивал Финн.

— Знаете, я действительно отведаю вашего сидра. Замороженного, конечно! — шепнул Конрад, потирая руки перед расставленными фигурами.

— Понятное дело, — потакнул Аптекарь; лицо мельника вдруг осветилось доброй улыбкой.

— Кто сеет рожь, пожнет хлеб, — предварила их Шарлотта, стремительно огибая снятую с петель, покоробленную дверь на пустых бочках.

Аптекарь нырнул под прилавок и достал кувшин драгоценного «Applejack» (держа его несколько на отлете, точно раскаленную жаровню). Чокнулись, выпили и все одинаково крякнули, что им, по-видимому, доставило особенное удовольствие. Конраду попались черные фигуры; мельник серьезно уставился на доску, точно ожидая оттуда откровения. Аптекарь двинул ферзевую пешку.

— Что, повторим? — предложил гость; все с готовностью согласились. — Я давно не играл по-настоящему, — рассказывал Конрад, отпивая из толстого синеватого стакана. — Последние разы я играл с русской женщиной, и мы все брали ходы назад, ха-ха-ха. Так что между нами бывшее становилось небывшим.

— Нет, мы здесь играем всерьез, — цедил Аптекарь, примериваясь к доске: при других условиях из него бы, вероятно, получился гроссмейстер.

— Рай — для рыбаков, ад — для рыб, — сообщила старушка со сбитым набок чепцом, изнеможенно продолжая свой бег.

— Дайте срок, опять привыкну, — обещал Конрад. — Только не тяните. Еще рюмку?

— Можно, — охотно согласился мельник и даже как будто бы просиял из-под белой муки. Аптекарь воздержался.

— А все-таки я возьму эту пешку, — решил Конрад. — А как же насчет молодежи, вы утверждаете, что они все теперь работают?

— Мы ничего не сказали насчет молодежи, — припухшие глазки Финна угрожающе остановились на госте.

— Я вам дам качество за пешку, — не совсем убежденно заметил Аптекарь, и уже другим тоном добавил: — Не советую задавать зря вопросы. Конечно, вы — муж Ипаты, вроде сына проповеднику, — это хорошая рекомендация. А все-таки люди здесь подозрительные и, главное, темные. Не дай Бог, опять рассердятся.

— Камень на шею и в воду — очень просто, — задумчиво согласился мельник.

— Небо и земля нынче торжествуют, ангелы и люди весело ликуют, — уверяла Шарлотта, кокетливо улыбаясь.

— Да пошла ты к черту! — сердито отмахнулся Аптекарь от ее назойливого щебетания. (Конрад отыграл пешку при размене ферзями и теперь давил его своим качеством.)

— Будто бы амнезия, — грубо заметил Аптекарь, обращаясь к невидимым слушателям. — А шахматных комбинаций не забыл!

Конрад уже вел партию к естественному концу, когда в лавку вбежала, стуча каблучками, девушка-подросток, — смуглая, гибкая, с высокой тонкой шеей. В ней чудилось столько праздничного, девственного ликования, что Конрад даже удивился ее присутствию в этом подвале, где пахло кожей и рыбой. Первое впечатление было, что она красавица; позднее Конрад понял, что ошибся. Поток счастья и неудержимой энергии создавал вокруг нее обаятельное магнетическое поле: он сразу ощутил притягательную силу этой милой, стремительной, жертвенной фигурки.

Девушка легко и деловито пробежала к прилавку (Конрад заметил ее голые смуглые щиколотки и круглые стальные маленькие икры); перегнувшись на другую сторону, она о чем-то тихо спросила приказчика, занятого у полок. Получив товар, девушка сразу отошла к высокому узкому окну, рассматривая на свет кусок бумажной ткани: серьезная, строгая, практичная и по-детски лукавая.

— Кто это? — осведомился Конрад, подаваясь всем телом вперед.

— Янина, — ответил зеленым шепотом Аптекарь. — Вам полагается ее знать — это сестра Ипаты.

— Янина! — протянул Конрад. — Янина! — он тяжело шагнул к ней с распростертыми объятиями.

Та поглядела на него большущими светлыми строгими и влажными глазами соблазненной монахини и отрицательно покачала головкою (кроме глаз и вздернутого короткого возбуждающе-

го носика в этом лице не было ничего примечательного). Через минуту, держа сверток обеими руками, легко и радостно простучала башмачками по толстым дубовым ступенькам наверх, опять обдав Конрада и строгим и хмельным взглядом.

— Сдаюсь, — заявил Конрад. — Когда-нибудь потребую реванш! — Он спокойно допил водку и, церемонно поклонившись, удалился из подвала. (Мукомол, казалось, обрадовался этому и пересел на его место.)

Янина медленно шла по направлению крытого моста (похожего на фургон). Конраду нетрудно было бы ее догнать; но у гигантского, похожего на старинное почерневшее кружево гумна с распахнутыми сквозными воротами ему преградил путь старый бритый батрак с лицом породистого бульдога. В синей куртке и опереточном голубом фартуке он стоял на тропинке, опираясь о грабли.

— Поспешаете? — пожалуй, насмешливо, осведомился.

— Нет, я так, прогуливаюсь, — ласково улыбался Конрад. — Как тут замечательно пахнет, точно в родном селе! — ноздри его дрожали, втягивая не только воздух и запах, но и вкус, и свет.

— Пахнет обыкновенно, ригой.

— Вот именно, — потакнул Конрад, — соломой, зерном, мышами.

— Грехом, — подсказал бульдог. — Верьте слову Карла, здесь пахнет грехом.

— Вы — Карл, как же, как же, — подхватил Конрад, поспешно пожимая ему руку: он почему-то робел перед этим колоссом на толстых, точно глиняных ногах.

В амбаре было прохладно и чисто; в самом центре, словно ценный экспонат сельскохозяйственной выставки, блестели пестро раскрашенные маленькие сани с криво загибающимися кверху полозьями; оглобли, оставлявшие место для, казалось, исключительно узкой лошади, были черные, лакированные. Конрад сел на облучок, запахнул пиджак и чмокнул губами.

— Знаете, когда я в последний раз ехал на розвальнях? — спросил.

— Конечно, знаю, — отозвался непоколебимо Карл. — Ведь это я вас тогда возил.

— Вот как? — Конрад внимательно его оглядел. — Где это было? Здесь или в Чикаго?

— Нет, сударь, в Карелии. Да-да, — осклабился он; потом продолжил со вздохом, словно отвечая на вопрос: — Чувствую я себя

отлично. Вот только когда поднимаюсь на горку, начинаю задыхаться и голова кружится. И, конечно, с бабами уже не то, совсем не то, — старик сделал циничный жест.

— Если прямо так идти, как далеко отсюда большая дорога? — грубо спросил Конрад. («На редкость неприятная гадина», — подумал он, отводя глаза.)

— Зимой или летом? — хихикнул Карл: что-то жестокое, азиатское, ханское, равнодушное и любопытствующее промелькнуло в его круглом обветренном лице с выцветшими тупыми глазками. — Ипата вас ждет там, а не здесь! — сказал он вдруг, выразительно поднимая вверх грабли (теперь он был похож на дьявола: не христианского производства, а китайского или индусского).

— Собственно, почему мне нельзя пойти за Яниной? — пробовал уговорить его Конрад, но безуспешно.

Выйдя в другие ворота, Карл неторопливо запряг пару волов (стоявших привязанными у плетня). Волы выглядели невинно и благодушно, похожие на бычков Киевщины или Херсонщины (мелкие, молодые). И хомут казался игрушечным, легким. Заскрипела высокая арба, и Конрад с бритым идолом зашагали понуро назад, к центру городка.

У молитвенного дома их дожидалась крупная и величественная Ипата с беспомощно опущенными руками.

— Тебе нельзя ходить за пруды, — сказала она, не меняя выражения светлого желтоватого твердокаменного лица с прекрасным, сложным и почти прозрачным носом. — Лучше не ходи пока туда! — несмотря на ровный голос, Конрад понял: угроза.

Бритый дьявол снял картуз (словно кланяясь), почесал редкие мягкие волосенки, надел его и, хлопнув чудовищным бичом, погнал бычков вниз, к огородам.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой слепой пастырь поучает народ

Несколько дней промелькнуло в бесцельных прогулках и досужих разговорах; Конрад Жамб вел себя гораздо осторожнее, стараясь не возбуждать подозрений в угрюмых поселенцах.

Городок, весь открытый взгляду с холма, на котором высился дом Ипаты, казалось, лежал на серебряном блюде (точно хлеб-

соль, преподносимая ненавистному генералу). Нежно-зеленый луг посередине и синий бор по краям; строения, словно две протянутые для объятия руки. Все на виду, и ничего не понятно. Улыбаясь, по-старинному кланялись мужики в блузах и фартуках и бабы, одетые в оперные корсажи, чепцы. Утром выходили на нерентабельные работы; аккуратно прерывали занятия в полдень и вечером (когда мычала скотина и тянуло декоративным дымком).

В сумерки высекали огонь, зажигали самодельные разноцветные свечи или грубые керосиновые лампы; в печи пылали сухие поленья. Ставили на стол пахучие, густые, требующие внимания яства.

Народ при встречах держал себя любезно, с оттенком родственной непринужденности; обстоятельно и с достоинством отвечал на вопросы. И несмотря на это, Конрад ничего не мог прибавить к отрывочным сведениям относительно быта селения, полученным им в первый же день по приезде. А вопрос о молодежи неизменно вызывал в собеседнике припадок подлинного гнева. То же насчет Янины: ему никак не удавалось напасть опять на ее след.

Разумеется, прибавилось много новых знакомых... На мельнице и лесопилке (приводимых в движение водяной турбиной), в конторе почтового дилижанса, отправлявшегося раз в месяц к пристани на Больших Озерах. Главный конюх Хан, его сын, почтальон Эрик; жена Хана, Луиза, специалистка по кружевам. Еще мастера, вязавшие крепкие веники из особой травы, ткавшие нитяные ковры, отливавшие свечи и оловянные ложки, выдувавшие стеклянные изделия. Все эти обитатели, кроме основных профессий своих, славились еще искусством выделки особой крепости водки, которой и угощали щедро горожанина (все, за исключением одного лишь Хана, возненавидевшего Конрада). Простые труженики, они быстро и совершенно пьянели, но все же особых тайн не выбалтывали гостю, что даже удивляло последнего.

Больше всего, разумеется, открылось Конраду в его собственном доме, от общения с Ипатою и Фомою. Кстати, обнаружилось, что до своего пресловутого бегства из городка Жамб выполнял короткое время обязанности помощника пресвитера, помогая недавно ослепшему пастору в его разнообразной деятельности. На некоторые темы Ипата распространялась довольно охотно, стремясь, по-видимому, пробудить угасшую память контуженого мужа; однако иные вопросы возбуждали в ней припадки уже зна-

комого ему гнева. Так, она не любила, когда он по ошибке именовал себя Ямбом или расспрашивал об их совместной жизни в Чикаго. Злобное твердокаменное молчание служило ответом на всякое упоминание о Янине или юноше Бруно, судьба которого интересовала Конрада. В минуты горестного отчаяния, ей, однако, случилось проговориться:

— Никакого Бруно не знаю. Если речь идет о Мы, то лучше на время забудь о нем, иначе тебе проломят череп у прудов.

Эту тихую угрозу Конрад воспринял как целительный бальзам, подтвердивший все его расчеты; однако решил не слишком рисковать и больше не настаивал. Хотя сознание, что дни бегут, друзья мучительно где-то ждут вестей, а он вынужден бездействовать, приводило его в бешенство. Все же можно было, пожалуй, считать доказанным, что Бруно существует и ключ к позиции где-то за прудами.

Ипата оказалась превосходной работницей: утром и вечером—мать, днем—хозяйка, а ночью—жена! Чего желать большего... Попадая в ее владения — днем за столом, ночью в постели, — Конрад растворялся в этом потоке щедрой зрелой страсти, хозяйственной нежности, практической мудрости. Но разговаривать с ней было подчас мукою: внезапно (как ему чудилось) отстранялась, обособлялась, запиралась в себя — точно столбняк находил на нее! Всегда, когда вспоминал что-то некстати из предполагаемого прошлого. Удручало также, когда Ипата (совершенно лишенная чувства юмора) начинала вдруг шутить, кокетничать, стараясь отвлечь внимание мужа от опасных тем. В этой роли она была исключительно смешна: Конрад предпочитал уже нудный столбняк ее (состояние зоркого, напряженного полуобморока).

Присутствия сестры, Янины, где-то в селении Ипата не отрицала, только гневалась, если Конрад выражал желание с ней встретиться.

Странное дело, Конраду чудилось, что причиною ссор являлась не одна тайна Бруно (или прудов), а самая первородная, лютая ревность, тем более острая и унизительная, чем безосновательнее она возникала. Впрочем, зерно, брошенное Яниной, впечатление, оставленное ее страстным маленьким личиком, ее круглыми стальными икрами, давало уже свой плод; так что тревога Ипаты отчасти была оправдана.

Несмотря на внешность футболиста и повадки простачка, Конрад в своем кругу славился хитростью и мягкой настойчивостью.

Он умел с достоинством, умеренно польстить, помолчать, сказать, недоговаривая, или без лишних слов внушить нечто важное, хотя и ускользающее. Особенно он отличался даром маневра и диверсии: углубляясь в один план или сектор, он мог добывать сведения или руду из соседнего. Эти способности и выдвигали его, естественно, на положение главаря.

Теперь он чувствовал себя точно перед глухой стенкой и бесился. Но когда в ответ на спокойные упреки Ипаты все в нем готово было возмутиться, Конрад, сжимая кулаки, говорил себе: «Вот я уже сержусь и выкрикиваю грубую ругань, пожалуй, ударю ее...» — и сразу получалось, словно не Конрад все это проделывает, а некто другой. Сам Конрад отодвигался на место постороннего умного свидетеля! Бывало, когда хохотал над чьей-то шуткою, он научился сразу отмечать мысленно: «Вот я смеюсь, потому что рассказали или сделали то-то и то-то...» — и тогда его роль в общей беседе приобретала особенности соглядатая, давая ему несомненные преимущества (что, впрочем, бессознательно ощущалось всеми). Но, разумеется, настоящего удовольствия от такого смеха нельзя было испытывать; и постоянное напряжение изматывало силы. Даже когда он расспрашивал о Бруно, целовал Ипату или мысленно опять смаковал встречу с Яниною (она бежала против ветра с выпиравшими под ситцевым платьем сосками отроковицы — как в «Песне Песней»), даже в такие минуты Конрад повторял себе, чтобы не потерять голову: «Вот я задаю опасный вопрос... укладываюсь с Ипатою... мечтаю о любви...». Этот самоистребляющий постоянный контроль должен был помочь ему в любом случае не отклониться от главной цели экспедиции.

По вечерам и праздникам Конрад возился с Фомою, готовил с ним уроки (это, кажется, столетия тому назад называлось правилом трех), играл, бегал, боролся или, самое замечательное, — брал грязную ручку ребенка в свою лапу и отправлялся чинно гулять, осязая, как из этой маленькой горячей ладони, подобной куску портативного солнца, переливается в его (Конрада) душу счастье, бессмертие, нежность, восхищение. Вот в такие минуты Конрад, пожалуй, не замечал, что это именно он преображается, и не отстранялся. Тут он отдыхал, наконец, душою, возрождаясь.

По воскресным дням все обитатели городка тянулись славить Господа. Молитвенный дом — серо-белое, простое, строгое здание; внутри все обрамлено скупыми линиями и прямыми углами, представляя из себя непонятное чудо искусства и хорошего вкуса.

Двухъярусный зал был занят тремя рядами скамей, перегороженных таким образом, что они представляли из себя отдельные ложи (с дверцей, как в открытом кабриолете). Зимой для защиты от лютого мороза прихожане приносили с собою раскаленные и завернутые в одеяла кирпичи. Галерея, окаймлявшая амфитеатр, служила вторым этажом: там, на скамьях, производивших впечатление покатых, помещались молодежь и холостые.

Спереди скромная черная трибуна с пультом, на котором вечно возвышалась, подобная утесу, монументальная Библия.

Больше всего нравились Конраду опять-таки окна: чистые, сверкали под самой крышей, уходящей косо вверх. Пропорции ширины и длины каждого стекла вселяли в душу смутную веру в осмысленность преходящего мира. Словно древние секреты пифагорейцев (и Атлантиды) заключались в этих числах и мерах: утерянная тайна, доступная теперь по наитию только художникам.

С боку трибуны дремал маленький черный столик, на котором покоилась массивная деревянная шкатулка.

Конрад обычно приходил в эту церковь загодя. Они с Фомою весело взбирались по крутой лестнице на галерею; от ступеней и стен несло запахом свежей пшеничной муки, так что представлялось: эти балки и бревна раньше, долгие годы, служили остовом для мельницы. Наверху тоже выстроились скамьи, но не все в том же порядке... Пол галереи был покат, благодаря чему создавалось впечатление, будто скамьи, на манер салазок, летят с разных горок навстречу друг другу: вот-вот сшибутся.

С райка проповедник не был виден; прорез посередине, огороженный бледными перилами, позволял только слушать. Но над головой светили те же волшебные стекла, подпирающие холодную синеву мироздания.

Конрад с душевным трепетом представлял себе, как в тоскливые осенние вечера обманутая девушка или соблазненная жена сидит тут наверху, прислушиваясь к синайскому грому проповедника, глядя на священные пропорции окон, не ожидая уже пощады. А кругом, за стеною, свирепствует канадская вьюга и надвигается огромная ночь.

На Рождество здесь распевают древние каляды, надевают самодельные тулупы и ездят за околицу на санях; выпив лишнее, все немного оживают и буйствуют. А над бором и скованными льдами озерами неподвижно висит восковая луна.

В первое же свое воскресное посещение церкви Конрад снова увидел Янину. Она простучала каблучками по лестнице с высокими ступенями: опять мелькнули девичьи круглые, маленькие, крепкие икры... За ней по пятам следовал мешковатый, рыхлый очкастый юноша, производивший впечатление чужестранца, застрявшего на денек в селении: до того непохож он был на местных жителей. (По-барски тучный, мягкий, казалось, сонный увалень — тюлень с ластами вместо рук.) Они скрылись на хорах и волнение, оставленное в душе Конрада каждым из этих двух различных существ, не сливалось, а словно подчеркивало друг друга. Напрасно он запрокидывал голову вверх: сидевших на галерее нельзя было увидеть... Только окна под самым дубовым переплетом и синева летнего утра.

— Святые грешники и грешные святые, помогите мне! — восклицал Конрад, устраиваясь на скамье в своей ложе.

В ответ на его злую молитву слепой рыжий пастор вышел на подмостки и начал шуметь. Служба открылась несколькими торжественными фразами на органе: играла Талифа, школьная учительница, смазливая девица, оказавшаяся женою старшего сына Хана. Затем последовала молитва, импровизация патриарха. Все дружно скандировали «Отче наш».

Опять гимн. Теперь наступал черед для проповеди. Рыжий, спотыкаясь, грузно перебирался на другой край трибуны. Конрад послушно вставал, когда полагалось, пел, заглядывая через плечо Ипаты в сборник гимнов с нотами, выведенными от руки (Фома держал собственную тетрадку). Запах пшеничной муки, треск сухих досок, сияние чистых окон, подпирающих синеву, — все приводило Конрада в состояние умиления.

— Текстом к сегодняшней проповеди нам послужат слова апостола Павла: членов много, а тело одно, и если члены начнут считаться и ссориться с телом, то что же получится... — горестно, точно подделываясь под кого-то другого, жаловался пастор; сделав паузу, он уже продолжал в своем обычном, уверенном, шумном духе: — Некоторые среди вас спрашивают: «Кто Я, какое Мое настоящее имя, благодаря чему Меня можно безошибочно отличить от соседа?..» Им чудится, что если не знать ответа на эти вопросы, то произойдет несчастье. Многие даже верят в воскресение из мертвых во плоти, но желали бы понять: «Кто же, собственно, воскреснет, когда мое Я воспрянет из гроба...»

Человек проходит через разные образы: от младенческого состояния до зрелого и дальше — старческого! Он меняет воззрения, симпатии, вкусы, вес, даже убеждения или религию. И в то же время ему мнится, что главное в нем остается неприкосновенным. Вот некто произносит: «Я». Что означает это «Я»? Оно любит прохладный сидр летом и горячую уху зимою. Что же, разве его сосед по-иному ощущает холодное в жару и жирное в мороз?

Вот одно Я ласкает женщину. Что же, оно воспринимает это иначе, чем другое Я? Немного сильнее или слабее, страстнее или тупее, неужели в этом вся разница, объясняющая борьбу, злобу и ревность, отталкивающие разные Я в нашем мире? В конце концов, даже один и тот же человек может по-разному переживать свои удовольствия и муки, в зависимости от настроения, возраста, вина. Стало быть, не это выражает особенность личности. Аминь! — Пастор торжествующе простер в слепое пространство короткую дрожащую толстую руку, и толпа внизу рявкнула тоже: «Аминь!»

— Но, может быть, сочетание одних черт с другими, как отпечаток пальца руки, определяет личность? Увы, по теории вероятности, комбинации чисел и черт в бесконечности постепенно должны повториться. На каком-то миллиарде людского населения полиция обнаружит два совершенно совпадающих отпечатка пальцев. А личность ведь, если существует, неповторима.

У Эрика, дескать, такое лицо, такие ноги, глаза, может быть, даже горб, подумаешь! Неужели это важно, неповторимо и бессмертно? Как часто понимаешь, что наружность, улыбка, лысина, запах изо рта не только не выражают данную личность, а, наоборот, искажают ее, создавая ложный плоский образ. Шрам или ругань, даже горб или бородавка часто только освобождают человека от накопляющейся злости и страсти, очищая его сущность.

А то, что Маргарита чувствует, говорит или думает, изменив через год свое мнение, неужели это является обязательной частью ее личности и подлежит воскресению? Сегодня она грешит, а завтра подвижница. Кто она? Где она? В чем она? Аминь! — опять победоносно простер он длани. — Тогда мудрец заявляет: «Не знаю, кто Я и откуда взялся, и куда несусь, но, однако, всегда узнаю себя». Благодаря чему мудрец узнает себя? На это отвечают: память! Память, дескать, свидетельствует о том, что Конрад назывался Корнеем, родился столько-то лет тому назад в Европе от таких-то, а не иных предков, изъясняется на трех языках, играет

на фортепьяно; уроки ему давала старая дева с искусственной челюстью; от нее пахло водянистым ландышем. Возникшие таким образом ассоциации, сознательные и дремлющие, создают бесчисленные завитушки и орнаменты в душе человека, характерные для него, как почерк. Но не есть ли это, в конце концов, тоже комбинация точек и черт, подверженная закону повторения... Иначе говоря, память также мешает личности, как и внешний вид, не только редко выражая ядро человека, но даже подчас уродуя, искажая его.

Обратите внимание, братья, сестры! Когда человек начинает помнить себя? Что он помнит за пределом младенчества или зачатия? А ведь личность, если она бессмертна, не имеет и начала. О другом существовании в нашей обыденной памяти не найти как будто заметных следов.

И все-таки, Я уверяет, что узнает себя безошибочно, вопреки всему, ночью и днем, зимой и летом, на экваторе и на полюсе, в темноте, очнувшись от сна... и как будто не ошибается в этом. А те, что теряют себя, не находят всегда, почитаются больными и безумными. Аминь.

— Аминь, — рявкнули дремлющие прихожане.

— Вопрос сознания, осознавания чрезвычайно раздут современными фарисеями, — продолжал рыжий старец. — Утверждают, что если существо под влиянием похоти, страсти, любви, отчаяния, азарта отдается всецело потоку, захлестнувшему его, то оно этим самым уподобляется собаке, кошке, буйволу или пауку; но если человек во власти тех же стихий, совершая смертный грех, преступая заповеди, сознает, однако, что вот он теперь, дескать, превращается в Каина, то есть словно видит собственное искажение в зеркале, то он этим самым сразу отделяется от бесформенного, бездонного биологического потока и становится будто бы личностью, способной выбирать.

Бессознательное не имеет начала, не имеет конца; оно уже существовало вместе с тьмою, небытием, вакуумом. Только сознательному, быть может, угрожает забвение, предел и казнь. Но в то же время, если Я не сможет себя найти и вспомнить на Страшном суде, то и суда для этого Я не будет, а равно оправдания и воскресения. Однако, вспомните, дорогие, было множество святых типа дурачков, блажных, юродивых, калек разной масти, бессознательно, как бы во сне или в детском состоянии воплощающих заповеди Бога жизни и любви. Что же станется с ними? Не будучи созна-

тельными и памятливыми, они не унаследуют Царства Божия? И Спаситель сказал: будьте как дети! Дети никак не могут служить примером сознания и памяти. Царство ребят ближе к царству животных, чем к миру Сократа, Бергсона и Фомы Аквинского. В чем заключается личность младенца? По каким приметам его узнает мать через десятилетия на другом континенте? И узнает ли?

Рыжий тучный патриарх взволнованно прошелся по мосткам.

— Аминь! — воспользовавшись паузой, рявкнули угрюмые слушатели.

— Вот Елена Келлер. Не видит, не слышит, не говорит и, вероятно, лишена многих восприятий, о которых даже не догадывается. Значит, органы чувств не являются обязательными для существования личности. Личность реальна не благодаря сознанию, памяти, слуху, зрению, телу и симпатиям, а, может быть, вопреки этому всему. Какова судьба парализованных, ампутированных, мычащих наследственных кретинов, монстров, юродивых и недоносков? Каспар Хаузер жил в погребе, не знал речи, помнил только тень загадочного сторожа... Сколько среди нас здесь Каспаров Хаузеров! Слава Богу...

Нынче государства производят опыты, готовясь к межпланетным путешествиям; изучают новые физические условия и влияние последних на организм. Установлено, что астронавты, закупоренные в испытательных кабинках, под влиянием резких гравитационных и скоростных изменений теряют чувство собственного Я как определенной ограниченной и разумной системы. При стремительном повороте кровь, отхлынув от мозга, кожи, глаз, конечностей, как бы застывает, тем самым мгновенно лишая пилотов способности определять направление, время, вес и свое положение в пространстве. Кто он? Откуда? Зачем заперт под прессом? Что означают эти приборы? Где его корни? За что он борется? И кто такой: Он? На эти вопросы летчик не сразу может дать удовлетворительный ответ. И первым делом их тренируют быстро «находить себя». Этого требует не бессмертие личности, а стратегический успех. Вот для чего нужно знать себя и помнить: для победы над врагом в падшем мире. Выживет тот, кто первым очнется! Но при чем тут бессмертная, безначальная личность?..

Где же таится, наконец, эта пресловутая личность и что действительно неповторимо в данном человеке? Обязана ли она вечно отмежевываться от потока ей во многом подобных? Один уверяет, что он — Корней, а его воспринимают в качестве Конрада...

Холостяк? А у него где-то семья, дети. Что является последним критерием? Сознание, память, успех? Вздор. И еще, братья, сестры! Если не знать себя, то как можно рассчитывать распознавать друг друга на новой земле, под новыми звездами. Бог есть любовь, и Бог есть свет. Свет расходится волнами. Волны разные, а свет один. Бог во всех один. Здесь мудрость, вникайте.

Конрад даже привстал от волнения, ожидая, что патриарх сейчас в нескольких словах посвятит его в желанную тайну. Возможно, что так бы и случилось, но в это самое время сверху послышались шум борьбы и ругань; создавалось впечатление, будто на галерее по полу катаются громоздкие туши. Как потом выяснилось, Эрик, почтальон, неоднократно бывавший с дилижансом в людном городе, проникся тамошними оппозиционными настроениями социалистического толка; он давно порывался высказаться. Молитвенное собрание показалось ему подходящим местом; но пока он пробирался к перилам, брат его Ник (муж Талифы), давно следивший за Эриком, преградил последнему путь. В результате чего завязалась свалка с участием посторонних. Эрик все-таки выскользнул из тисков и, перегнувшись через перила, успел крикнуть над головой маститого пророка (словно вылил ушат холодной воды):

— Позор! Что мне потусторонний мир? Известно ли вам, отец, что в Азии не хватает риса для страдающих поносом детей! В Нью-Йорке мальчики-пуэрториканцы спят со своими сестрами в одной постели...

Тут тяжелая и страшная длань первенца Хана, Ника, зажала рот юноше с бледным и вдохновенным (хотя несколько щупленьким) лицом. Недолго слышалась еще возня, стук, всхлипывание, потом топот по лестнице, и все стихло.

Рыжий, могучий, слепой пастор, встряхнувшись, точно сенбернар, вылезший из воды, опять положил короткую толстую руку на пульт и продолжал.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой бесконечности сравниваются, умножаются и делятся

— Всякий раз, когда человек приближается к познанию тайного, дьявол вмешивается и преграждает путь! — снисходительно

гремел пастырь. — С дьяволом легко бороться, если только сразу узнать его. Однако можем ли мы быть уверенными, что это он, а не благие духи остановили нас? Здесь тоже мудрость. Да, — прочувственно, видимо устав, тянул слепой проповедник: при вздохе его грудь раздувалась, как бочка, во все стороны. — Да, братья, сестры, Елена Келлер будет гораздо легче руководствоваться без глаз, ушей, языка в других измерениях: у нее развились особые черты, отсутствующие пока у нас. То же, вероятно, происходит с дурачками, калеками, блажными, Каспарами Хаузерами, неразумными детками, забывающими здесь, кто они и чьи. Даже атлеты, готовящиеся к межпланетному полету и постоянно теряющие себя, могут оказаться в лучшем положении.

А между тем легко допустить, что Бог, создавший нас, всегда и всюду узнает своих детей: каждого в отдельности, и не нуждается в родимом пятнышке. Простая мать к этому способна, не то что Всемогущий Творец. А мы, со своей стороны, без труда отличаем Бога на любом расстоянии, при любых обстоятельствах. Мы Его узнаем в повседневной жизни, когда удачно молимся. Или когда помогаем ближнему.

Итак, согласимся, что Господу известна всякая созданная Им личность, а мы, в свою очередь, без труда разглядим Отца издалека. Это две постоянные точки, два ориентира в мире туманов и снов. Отныне личность есть взаимоотношение человека с Богом... Впрочем, в космосе действительны только пропорции. Наука, искусство, философия, религия стараются выяснить отношение определенной массы ко всей массе данной души — к Богу, Творцу ее, принимая во внимание притяжение, любовь, температуру, направление, быстроту движения. Таким образом, вечная и неповторимая реальность личности определяется единственностью и неповторимостью Бога, в постоянной связи с которым она находится. Вникайте и славьте: здесь все! Через Бога мы различаем друзей и родных, врагов и братьев, тоже существующих в Боге. Строение человека сложно, нераздельно и неслиянно. Он здесь и не здесь, он там и не там, он здесь и там, и нигде; он движется, переливается в частях, ограничен и абсолютен.

Простая логика, здравый смысл, ум пахаря, эмоциональное познание, интуиция, память интеллигента, сознание философа — все это только бирюльки, которые пора сдать на хранение в этнографический музей. Какая польза от разума или интуиции, не объясняющих простейших форм отсутствия времени или про-

странства, а тем паче загадки возникновения безначальной души. Логика хромает, а психология мешает познанию безмерных величин и приливов, орошающих материки времени. Только абстрактная математика может приотворить дверь в один из перекрученных космосов. Это — трансреальная логика, побеждающая наивные интуиции и пресловутый здравый смысл. Слава, слава Творцу, аминь!

Корней исподтишка разглядывал своих мрачных соседей, Ипату, Фому; все сидели чинно и с достоинством слушали, ничуть не удивляясь, по-видимому, уже знакомые с такого рода речами. А старый громовержец продолжал:

— Братья, сестры, вы не забыли великие откровения Кантора, который сравнивал разные бесконечности и доказал, что одни из них бывают больше, другие меньше. Логика, где твое жало? Математику легко доказать, что бесконечность четных чисел и всей совокупности чисел — одинакового порядка; но бесконечность точек на прямой и кривой в пространстве разной величины! Верьте или не верьте, дурачки, а это так. Интуиция и узаконенный разум вам мешают.

Братья, сестры! — нежно и особенно торжественно возгласил пастырь; прихожане встрепенулись. Конрад заметил отблеск улыбки на некоторых суровых лицах. — Братья, сестры! У одного хозяина гостиницы было бесконечное число номеров для постояльцев, и все они однажды оказались заняты. К вечеру разыгралась вьюга и подъехал еще один пилигрим, попросившийся на ночлег. Как хозяину бесконечного множества номеров (но всех занятых) освободить комнату для странника? Хозяин нашел единственный выход: он передвинул всех своих постояльцев в следующий по порядку номер и опростал таким образом первую комнату, куда и поместил вновь прибывшего паломника. Так последний становится первым по Писанию, аминь!

— Аминь, аминь, — повторили кругом.

— Но дьявол не сдался и продолжал строить козни! Только что все улеглись на постоялом дворе, как в ворота стучит уже караван с бесконечным множеством усталых путников, жаждущих крова. «Пусти, — молят они. — На дворе метель». И хозяин опять нашелся, перехитрив коварного врага. Бесконечность своих старых постояльцев он перевел в бесконечность четных номеров, а вновь прибывших поместил в бесконечность нечетных комнат. Воистину можно утверждать: в доме Отца моего много обителей,

и для всех хватит места; если бы это было не так, я бы вам сказал. Аминь.

— Аминь, — весело отозвались прихожане.

— Теперь я вам покажу штуку, которая 50 лет тому назад перевернула вверх ногами все мое существо, — рыжий гигант протянул вперед руки, с которых свисала узкая длинная лента. — Я беру бумажную полосу, которой склеивают пакеты, и скрепляю концы, предварительно, однако, завернув ее раз вокруг собственной оси. Получается большое кольцо; ножницами я начинаю его разрезать в длину на две части. Вы видите, что я скоро пройду вдоль всей ленты. Не ясно ли вам уже, что получится, когда я закончу эту операцию?

— Два кольца! — весело рявкнул народ; все оборачивались к Конраду и даже дружелюбно ему подмигивали.

— Логично, — согласился проповедник. — Два кольца. Ничего не скажешь против такого мнения. Разум и воображение нашей земли подсказывают один и тот же ответ. Но вот я заканчиваю работу, откладываю ножницы и разнимаю обе части. Что получилось?

Проповедник вместо ожидаемых двух колец (более узких, чем первоначальное) держал в своих коротких, чудовищной силы руках только одно кольцо, но вдвое больше прежнего.

— Братья, сестры! — умоляюще протянул вперед толстые ручки пастор. — Вот что получается в перекрученном падшем мире. Логика, интуиция и добрая воля играют роль только в равномерном космосе; люди, думающие, что Вселенная одинакова повсюду, — милые бараны. В вывихнутом космосе, закрученном порою несколько раз, нетрудно запутаться. Там наши чувства и мысли — часто только лишний балласт. Молитва, откровение и отвлеченные выводы математики еще спасают. Так в тумане ведут судно, руководствуясь не слухом или зрением, а хрупкими навигационными инструментами, вопреки интуиции и предчувствиям. Изучайте это кольцо. Аминь.

— Аминь! — рявкнул хор.

— Аминь! — откликнулись сверху. Некоторые свешивались с перил, кивая и подмигивая Конраду: непонятно было, издеваются они или, наоборот, подбадривают.

— Личность — тоже закрученный, а не простой космос; природа ее не сложнее и не проще туманного пятна или Млечного Пути. Бог есть свет. Свет распространяется волнами или зернами! Что такое волна? Волна — чудо. Она здесь и там. Она уже там, но

еще здесь. Посмотрите на полосу прибоя: волна перебегает от мели к берегу. Не вода передвигается, а только изгиб, вибрация воды: волна! Она тут и не тут, она реальность и отсутствие. Она здесь, заливает, топит, опрокидывает, и в то же время ее еще нет. Она подобна личности.

Бог есть любовь. Любовь, как свет, распространяется волнами; и волны нераздельны, неслиянны, как Бог и как личность. Один не может любить Другого, ибо в любви исчезают обособления. Я не любит Тебя или Его; в любви тает Я и Ты, и Оно: все становится Одним.

В любви Я и Ты уже отсутствуют, организм преобразился. И это новое существо любви есть личность. Речь идет об одной личности всех любящих: нераздельной и неслиянной... она всегда существовала и воскреснет во плоти, когда настанут сроки. Отдельные индивидуумы называют себя «Я»; они, подобно клеткам больного тела, отгораживаются, образуют воспаления, воюют, спорят, кто лучше, умнее, талантливее и кто заслужил Нобелевскую премию. У апостола Павла мы читаем: «Дары различны, но Дух один и тот же; И служения различны, а Господь один и тот же; И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех».

Человек, если у него ампутировать руку или ногу, потом все еще чувствует боль как бы в пальцах отрезанной конечности. Это зовется фантомной болью. Но боль эта на самом деле совсем не мнимая, а свидетельствует о глубокой подлинной трансреальной памяти. Мы все испытываем большую или меньшую мучительную неуютность в этом мире, доказывающую, что где-то, когда-то, кем-то была произведена над нами страшная, пожалуй спасительная, но суровая операция. И эта наша фантомная боль — величайшая реальность, которой и следует руководствоваться как космической памятью взамен плоской, индивидуальной, короткой, бытовой.

Что же ты, несмышленый, уверяешь: я не тот, а другой, мое имя пишется иначе. Это не моя жена и чужой ребенок! Ах, я не могу вспомнить, не могу себе представить. Не могу понять! Моя интуиция, мой опыт и память свидетельствуют о другом! Дурак, — искренне сокрушался слепой пастор. — Дурак, образумься. Мир сложнее твоего воображения. Вспомни только это бумажное кольцо, вывернутое всего один раз.

«Все же сие, — говорит апостол, — производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо как тело одно,

но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело...» В этом наша вера, аминь!

— Аминь! — гаркнул народ, точно огрызаясь; на Конрада больше никто не глядел, но он чувствовал себя почему-то в опасности.

— Дух один от Бога, и тело одно — Христос, — продолжал грозный старец. — «Тело же не из одного члена, но из многих... Но Бог расположил члены, каждый в *составе* тела, как Ему было угодно... Но теперь членов много, а тело одно». Здесь тайна личности. Все остальное — бред. Индивидуальностей, жаждущих все как один того же самого — приятного щекотания, много, а личность одна. «И вы — тело Христово, а порознь — члены... Ревнуйте о дарах бóльших, и я покажу вам путь еще превосходнейший!» — говорю вслед за апостолом. А заботы о том, кто где родился и с кем парился в бане в 1927 году; память о скамейке в парке или слезах матери при разлуке — весь такого рода личный опыт не имеет решающего значения в настоящем, реальном мире. Благословение Отца нашего, Любовь Сына и соборность Святого Духа ныне, присно и во веки веков... Аминь.

— Аминь, — облегченно загудели сверху, снизу и сбоков. — Аминь.

— «Господь помогал нам темной ночью», — запели молящиеся гимн номер 211. Конрад слышал ликующий, щедро лившийся девичий голос с галереи; почему-то уверенный, что это поет Янина, он страстно вдыхал ноздрями вместе с разогретым воздухом эти звуки: ему чудилось, что она касается его, проникает насквозь, уносит.

Не успел проповедник оповестить собрание о денежных расходах и сборах, как опять торжественно загремел бахообразный орган, подчиняясь миловидной Талифе (так хрупкий индус ведет за собою огромного слона).

Конрад, опережая семью, ринулся к выходу по узкому коридору между двумя рядами лож, толкаясь, словно в кинематографе. Он очутился в сенях, по обеим сторонам которых поднимались две крутые, звонкие дубовые лестницы, ведущие на хоры. Оттуда спускалась уже стайка молодежи. Среди подростков легко было узнать тонкую сияющую Янину, стройную и нарядную; ее смуглое маленькое личико с огромными зеленоватыми глазами показалось Конраду родным и желанным. Действительно, она лукаво

кивнула ему головкой, точно дразня коротким, неприлично вздернутым носиком. Быстро и твердо пробежала наружу, а рядом, пыхтя, неуклюжий, как утка, переваливался огромный одутловатый юноша с большой круглой головою и темными на выкате блестящими глазами оленя (он держал в руках синие очки).

Дверь захлопнулась, Конрад сердито толкнул ее и выглянул наружу: ветер раздувал колоколом юбку девушки. На солнце голубизна корсажа, казалось, сливалась с небесной; только ноги Янины были земными и желанными: стройные, тонкие, крепкие, с круглыми стальными икрами. Юноша в темных очках, семенивший за нею, неряшливо шаркая тяжелыми подошвами, чудилось, хромал на обе ноги. Так они продвигались навстречу ветру, в сторону прудов: туда, где за мельницей и лесопилкою синел крытый мост, похожий на фургон.

Между тем народ повалил из церкви; некоторые степенно обменивались замечаниями, образуя живописные группы на широком крылечке с узкими ступенями. Вскоре показались Ипата с Фомою; Конрад знал, что их ждут у проповедника к чаю и пирогу. Янина с очкастым медведем уже скрылась за первыми соснами у плотины.

— Кто этот увалень с твоей сестрой? — спросил Конрад. — Я его где-то встречал.

Ипата ничего не ответила; только Фома недоверчиво уставился на отца. Все молчали; на краю селения, у прудов, синее, зеленое и голубое незаметно сливалось.

За чаем в гостиной рыжего старца собралось несколько знакомых уже Конраду, по-видимому, влиятельных лиц... Аптекарь с музыкальной внучкой, Финн и Луиза, конюх Хан с Ником (мужем Талифы). Кроме того, почетным гостем являлся канадский констебль, приехавший из города по служебным пограничным делам. Была еще чета молодоженов: Матильда с Гусом. Причем Матильда, хотя и старшая (под шестьдесят), так и кипела, переливаясь гормонами; а муж ее, выглядевший рядом мальчишкой, производил впечатление хилого, заспанного, обиженного создания.

Конрад с удивлением заметил в комнате множество книг по математике и физике; также разные научные инструменты, микроскопы и даже маленький телескоп; чай заварила и разливала Ипата. Пирог был тот же: с мятою.

Разговор вначале касался безумных выкриков Эрика; все его осуждали, за исключением пастора, с наслаждением цедившего

свой чай и молчавшего (что почему-то удручало отца Эрика — Хана).

Кружева Матильды недавно удостоились медали на соседней выставке; поговорили о возможностях завоевания нового рынка для местного производства.

Проповедник все так же шумно прихлебывал горячий чай из стакана; внимательно «оглядывал» гостей своими мутно-голубыми (пепельно-перламутровыми) глазами и улыбался, видимо, вполне удовлетворенный. Конрад нашел нужным поблагодарить его за проповедь:

— Теперь мне будет легче разобраться в мучительных вопросах существования, — заверил он старца.

— Основное чудо все-таки в свободе выбора, — вмешался констебль; шестидесятилетний атлет военной выправки, он явно чувствовал себя неловко в штатском платье и поминутно оправлял на себе пиджак. — Здесь мера личности в отличие от животного или растения.

Конрад ему улыбнулся в ответ и отошел к окну с чашкой чая; там Матильда, краснощекая, грудастая (хотя и совершенно седая) завела с ним жеманно-кокетливый разговор, полный недомолвок и намеков. Конрад галантно отшучивался, прислушиваясь к внезапно заинтересовавшей его застольной беседе: констебль сообщил, что давеча в лесу ему повстречалась большая американская машина с литерами Иллинойса, наполненная пассажирами весьма подозрительного толка. Поскольку та часть дороги вне его юрисдикции, констебль ограничился тем, что позвонил предержащим властям.

Аптекарь и Хан горячо заспорили: последний предлагал немедленно снарядить экспедицию в погоню за бандитами. Аптекарь же советовал только ограничиться обычными мерами предосторожности: поставить караул и выслать дозор. Финн соглашался то с одним, то с другим, раздражая обоих.

— Я не понимаю, чего они так боятся? — осведомился Конрад у своей веселой дамы. Та, не отвечая на вопрос, вдруг быстро и горячо шепнула ему на ухо:

— Хочешь, я скажу, что ты был моим мужем в Боффало и отобью тебя у Ипаты?

Конрад в ужасе отпрянул назад, а она тряслась всем старческим, опустошенным, аппетитным, как подогретое блюдо, телом; мягкие редкие седые кудряшки падали на ее припудренное,

красное и потное лицо. — Их-хи-хи, — заливалась Матильда циничным, жестоким смехом. — Слышишь, Гус, я нашла тебе помощника!

— Нельзя ли выйти погулять, — обратился Конрад к жене, занятой у стола. — Я устал от болтовни.

Все на него посмотрели с неодобрением; Ипата объяснила, что время уже готовить обед.

— Ну, тогда я пойду с Фомою, — решил он и, не мешкая, взял мальчика за руку.

Опять это чувство блаженства от прикосновения маленькой ладони. Радость блудного сына, может быть, бледнеет перед ликованием падшего отца.

Они шли по кривой, огибая зеленый остров с белыми ламами. Зрелый день начала лета был пропитан негою, довольством и ароматом; казалось, отныне так будет всегда: тепло, светло и празднично... Только край неба далеко над рощею уже таил в себе возможные противоречия ночи и холода. Фома болтал с присущими ему нотками горечи и сарказма. Это умиляло и пугало Конрада: где и когда уже успели так обидеть мальчугана? Однако он старался не расспрашивать ребенка, заметив, что Фома обычно молчит в ответ на прямо поставленный вопрос. Если же вести себя осторожно, не выпытывать, то мальчик беззаботно и много говорил, иногда сообщая ценные сведения относительно местности, по которой они проходили, или поселян, попадавшихся навстречу и их обычаев. (Так, например, от него Конрад впервые услышал про «Ничье Время»: между 1-м и 13-м января календарь в селении точно останавливался и 14-е опять оборачивалось днем Нового года... Выходило, что в течение почти двух недель аборигены могли возвращаться назад по собственным следам, исправлять вольные и невольные ошибки, каяться в грехах, преображать уже завершенное и бывшее делать словно небывшим.)

У рубежа, над первым крытым мостом, задом к мрачному, глубокому обрыву стоял как будто новый, но явно не законченный многоэтажный дом; похоже было, что жили только в одном крыле этого строения: все остальные части еще достраивались или ремонтировались. «Там, — сообщил по своей инициативе Фома, — квартирует вся семья Хана уже много лет».

Подойдя к площадке, на которой были разбросаны бревенчатые службы, принадлежащие этому капитальному дому, Фома ре-

шительно заявил, что здесь конец дозволенным прогулкам: дальше только сплошной лес!

— Тут Ипата ждала часто, — добавил он, ухмыляясь, показывая на пустырь, заросший до самого оврага бурьяном, лопухом и репейником; пахло сыростью и полынью.

— А, — равнодушно откликнулся Конрад, демонстративно зевая, — одной сидеть поди скучно.

— Какой ты странный, — заливался Фома, тормоша его. — Ведь здесь ты пропал, когда я еще не родился. Вошел в этот дом и не вернулся!

— Да? — Конрад опять попытался зевнуть. — Знаешь, сынок, — скрывая внутреннюю дрожь, присовокупил он, — ведь я этого почти не помню.

— Велика важность, подумаешь, — успокоил его Фома. — Амнезия. Душа не связана с прямой памятью. Ты слышал, что дед говорил!

— Побеседуем о том, как я ушел отсюда, — предложил Конрад, улыбаясь сыну. — Мне это часто рассказывают, а я все забываю.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

в которой ребенок ведет взрослого

Фома охотно щебетал, морщась и посмеиваясь. Нетрудно было догадаться, что эту историю он слышал еще в колыбели, вместо сказки, и полюбил ее. (Мальчик, в сущности, был подвижный и юркий; во время рассказа он ни минуты не стоял спокойно, однако из-за металлического протеза казалось, что он все время неловко подпрыгивает на одном месте.)

— Осенью, в ненастный, бурный вечер постучали в дверь, — говорил быстро и уверенно Фома...

Опасно захворал Фредерик, зеленый Аптекарь, требовался человек для последнего напутствия. Конрад тогда исполнял обязанности помощника пресвитера, заменяя только что ослепшего деда, — так что он с женою (на сносях) отправился к больному. Фонарь сразу задуло налетевшим вихрем с далеких озер; тропинка, залитая грязью, выглядела незнакомою. У этого злополучного, до сих пор не законченного дома Ипата уселась вот здесь, под навесом, а Конрад прошел по мосткам к квартире страждущего. Одно окно наверху было освещено керосиновой лампой: видно

было, как косой сетью ниспадал осенний дождь. Ипата заметила, как отворилась наружная дверь, мелькнула лохматая голова Хана и качнулась огромной тенью над оврагом. Опять стало темно; через минуту свет повис в окне на уровне второго этажа, затем исчез и появился выше, на открытой площадке с неубранными еще лесами. Оттуда им надлежало перейти по коридору на другую сторону дома, где находились жилые квартиры: две гигантские горбатые тени поплыли поверх рощи. И опять наступила кромешная тьма, нарушаемая только шелестом воды наверху, внизу и посередине.

— Становилось неуютно, — серьезно сообщил Фома, и Конрад узнал голос Ипаты.

Ветер налетал отдельными порывами откуда-то с неба, и голые деревья звенели стеклянными ветвями. Ипата закуталась в шаль и прошлась под навесом. Кругом навалены доски, кирпичи, мешки с цементом; пахнет краской, сосновыми опилками и гнилью. Молодая женщина закурила папиросу: тогда, после жизни в Чикаго, она еще курила (Фома уморительно подмигнул). Снова смирно уселась на бревнах: до следующей папиросы. Сколько требуется времени для пресвитера в таких случаях? Рыжий отец обернулся бы в пять минут. Конраду надо дать четверть часа. Если произойдет заминка, он даст знать! Ипата задремала.

Ей показалось, что уже светает, когда очнулась. Несколько крупных капель попало за ворот. В прореху облака выплыл молодой месяц, смакуя непогоду. Ипата удивленно оглядела дом, против которого дежурила: лампа потухла, окна зияли черными дырами — чудилось, что там, внутри, гораздо темнее и сырее, чем снаружи.

Она попробовала добраться до дверей, но провалилась в глубокую лужу. Уже осязая неминуемую беду, Ипата выбралась на тропинку и побежала в селение. Разбудила отца: слепой был тогда еще совершенно беспомощен. Ударили в набат. Пока собрались люди, снаряжались, вздыхали, расспрашивали, начало светать. Всем поселком ринулись к единственному многоэтажному строению (задуманному страховым обществом в городе, но незавершенному). Дверь открыл конюх Карл (тот самый азиатский дьявол, который будто бы возил Конрада на салазках в Финляндии).

Вскоре появился Хан; босой и в расстегнутой на волосатой груди рубахе, зевая и поеживаясь, он рассказал, что молодой пресвитер действительно заглянул к больному давеча: пошептался

минут пять и ушел без провожатого, потому что у него был отвратительный карманный фонарик, какие продают в городе. Это все, что Хану известно, если не считать того, что Аптекарь, по-видимому, чувствует себя теперь значительно лучше.

На вопрос, можно ли выбраться из этого дома через другие двери, Хан не без гордости показал путь по мосткам над лесами, довольно опасный даже днем. Выход этот вел по черной лестнице к самому обрыву над краем селения. Там, дальше, как всем известно, начинаются дебри и трущобы, изобилующие диким зверем, бурными потоками, заросшими мохом трясинами. (Конрад внимательно посмотрел на уходящий отвесно и заросший кустарником яр: грунтовая дорога, очевидно, проходила там где-то впереди и, может быть, не очень далеко за ущельями, трясинами и горными ручьями.)

На склонах оврага, в ямах, залитых бурной водою (довольно складно повествовал Фома), нашли одежду Конрада, его картуз, трубку. Народ в один голос решил: погиб, до весны даже следов его не сыщешь. После ледохода в этих местах обычно находят несколько обгрызенных хищниками остовов скитальцев, замерзших, пропавших без вести бродяг или злоумышленников.

Только одна Ипата отказывалась верить этому. «Он ушел, может быть, выполняя одному ему известное поручение, — заявила она решительно. — Он когда-нибудь вернется, и тогда все откроется и объяснится; самое непонятное станет простым и естественным». Конрад отлично себе представлял, с каким видом Ипата выговаривала эти слова: тяжеловесная, упрямая, желтовато-светлая, твердокаменная, одинаково тихо сосредоточенная как во сне, так и наяву (словно чары другого мира просвечивались через кожу этого широкого большого лица с прозрачным, изгибающимся, тонким носом).

Вскоре она разрешилась от бремени мальчиком.

— Я здесь условился встретиться с Яниною, — сказал вдруг Конрад, прерывая Фому и протягивая руку по направлению плотины, туда, где большое тонкое силовое колесо легко вращалось, питая энергией лесопилку (из плоского бревенчатого сарая, наполовину повисшего над водою, доносились прерывистые голоса). — Я подожду, а ты, если хочешь, беги домой, — предложил он вкрадчиво.

— Зачем ждать! Она здесь, за хутором! — неожиданно вырвалось у ребенка: он, видимо, еще находился под впечатлением рассказа.

По мосткам они добрались до плотины, пересекли ее, замочив подошвы, и снова по доскам вышли на дорожку, усыпанную щебнем и крупнозернистым бледным песком; лесная тропинка извивалась между двумя тихими обширными прудами, лоснившимися из-за деревьев (Конрад заметил вдали новые срубы).

Неожиданно открылся спуск в миниатюрную долину с игрушечной речкой внизу; по заливному лугу райски бродил рогатый скот. Дальше опять начинался крутой подъем, каменистый, едва прикрытый чахлой растительностью; там, на повороте, у вставшего на дыбы плоского валуна их встретила Янина. На ней был новый желтый корсаж и голубой (в мелких полевых цветках) ситцевый фартук поверх длинной синей юбки; и все-таки ноги то и дело обнажались! (Загорелые стальные точеные щиколотки, такие тонкие, что Конраду казалось возможным захватить их целиком пястью).

— Вот ты куда ведешь гостя, — нежно упрекнула она племянника.

Фома испуганно обхватил ее руками, зарываясь личиком в фартук.

— Ступай играть, — ласково сказала.

Мальчик, хромая, поскакал к ручью. Оправив короткие (в манжетах) рукава блузки, раздувающейся у плеч, Янина зашагала вперед, очень уверенно и женственно покачивая узким станом; юбка на подъемах развевалась, открывая взору маленькие стальные круглые икры.

Эти ноги почему-то приковывали все внимание Конрада: они, казалось, жили автономной жизнью двух благородных, независимых, веселых, умных близнецов. Он болезненно улыбался, переводя взгляд с ног на лицо Янины: маленькое, страстное, бледное, жертвенное и неуклонное, с большими озерами глаз — зелеными, бесстрашными и виноватыми (точно соблазненной монахини). Иногда улыбка Конрада переходила в зачаточный вздох, стон.

Пахло сыростью, сеном, сосной (разогретой на солнце); Конрад взял ее руку: покорилась, как бы содрогнувшись. Они шли уже по роще, почти бежали по трудной дорожке, изрытой корнями, канавами, кое-где перескакивая через пень или поваленную колоду. Неслись, тяжело дыша, задыхаясь от огромной ноши, навалившейся вдруг, стремясь добежать до места, где можно ее сбросить. Мелькнуло стадо рябых березок, они замедлили шаг.

— Ты знаешь, что я тебя полюбил с первого взгляда, — выговаривал он, морщась от ненужного словесного хлама. —Ты знаешь все: с первого взгляда и навсегда! Надо решить, и чем скорее, тем легче и лучше. Ничто не станет яснее завтра или через год, только сложнее и мельче. Мы суждены друг другу, и я не понимаю, как нам сегодня расстаться.

— Может быть, ты прав, — притворно соглашалась Янина, ведя его без дороги по лесу. — Допустим. Но, между прочим, ты женат, у тебя семья: Ипата, Фома, — она засмеялась. Гневные, зеленовато-серые и влажные глаза, огромные по сравнению с личиком; нос короткий, только начинал загибаться вверх и сразу обрывался, оставляя очень раздражающее, волнующее, слегка вульгарное впечатление. Но когда она улыбалась, все существо, казалось, изливало доброту, нежность, узаконенную страсть и детское кокетство (под ее взглядом Конрад вдруг начинал ценить себя и жизнь: уважать). — Ты женат на моей сестре, помнишь? — между тем не без лукавства продолжала Янина.

— Кто поверит в этот бред! — возмутился он.—Я ее никогда не видал раньше, клянусь! Ты знаешь, я тебе не буду врать, не могу! Она встретила меня случайно ночью на дороге. Я устал, и к тому же у меня здесь дело в этом селении: опасное поручение. Товарищи ждут только сигнала там, у озер. Мы увезем Бруно и тебя. Повенчаемся в городе и навеки останемся друг с другом. Помоги только нам. И сразу, потому что времени не хватает. С кем ты была в церкви? — наступал Конрад, не давая ей вставить слова. — Юноша лет девятнадцати, сведи меня к нему.

— За это здесь могут убить, — тихо прошептала она и приникла к его груди: горячий жизненный поток ощутимо лился из нее. Он начал осыпать поцелуями ее лицо (носик), шею, плечи и, наконец, дорвался: опустился на мураву и, обхватив ее ноги, долго ласкал, кусал, лизал. Янина стояла неподвижно; сухой, напряженный жар исходил от нее, обжигая его лицо и руки. Однако когда, наконец, отпрянул, она упрямо проговорила:

— Нет, я не могу помочь.

После этого она тоже опустилась на колени и прижалась к нему, прилипла: губы к губам, руки к рукам, грудь к груди.

— Почему, почему? — страстно лепетал Конрад. — Любовь все преображает.

— Меня убьют, — очень трезво объяснила она в промежутках между сухими, неумелыми, болезненными лобзаниями. — Ты не знаешь их.

— Мы убежим. Ты будешь моей первой женой, первой и последней. За Бруно мне обещали деньги. С деньгами в городе путь к счастью открыт. Ты и я. Навеки. У нас будут дети: настоящие, наши. И друзья: веселые, сильные, храбрые влюбленные пары, подобные нам. А когда наступит срок, вместе умрем. Вот так, обнимемся и отойдем, с музыкой, вином, после причастия, — шептал Конрад, покрывая всю ее короткими злыми поцелуями.

Изнемогая, она все еще боролась.

— Разве тебя действительно тянет в город? Разве тебе не нравится здесь?

— Нравится—не нравится, — это не имеет отношения к делу, — грубо возразил он, припадая к ее маленькой обнаженной груди.

— Вот видишь, — лепетала она бессвязно.

— Вот видишь, — уверял он восторженно. — В городе нам никто не помешает, а здесь невозможно. Бруно нам принесет все нужные средства.

Молча она пыталась еще сопротивляться, но все соки ее молодого тела рвались к нему навстречу.

— Сведи меня к Бруно, — требовал между тем Конрад. — Мы втроем убежим, я знаю, он согласится.

— Никакого Бруно нет! — почему-то возмутилась Янина, на минуту приподымаясь с девственного мшистого ковра. — Ты имеешь в виду Мы. Тот, кого ты ищешь, зовется Мы. А про Бруно я ничего не слышала.

— Пускай Мы, какая разница. Это он, я знаю. Мне за него обещали миллион, — соврал Конрад. — Мне и моим товарищам. Даже десятой доли этого хватит на счастливую жизнь, поверь. Я люблю тебя, твои глазищи: два зеленых пруда на страстном, бледном, невзрачном личике. Люблю твои ноги с круглыми, маленькими, как груди, икрами. Люблю даже твой странный акцент французской Канады или славянских духоборов. Я тебя одену, как куколку, в шелка и меха, стану возить в лимузине с опущенными занавесками, чтобы никто не смотрел больше на твой вздернутый неприличный носик. Мы будем беспрерывно заняты друг другом: днем и ночью, зимой и летом, в городе и в поле, клянусь!

Она счастливо засмеялась и, наконец, приняла на мху ту позу, которую он считал наиболее целесообразной. И вскоре точно почва задрожала под ним, заходила ходуном; раздался вопль, клич, рев победы, торжествующий смех, ошеломив Конрада, даже напугав (ему почудилось: катастрофа, землетрясение, обвал). Только че-

рез несколько мгновений он сообразил: это она завершила впервые свой плотский райский круг и теперь блаженно стихала.

— Милый, драгоценный, — восторженно всхлипывала Янина. — Что это, небо или земля?

— Небо и земля воедино, — солидно поучал Конрад. — И это мы будем с тобою повторять повсеместно, дай срок.

— Неужели то же самое происходит со всеми? — недоумевала она, покрывая его руку мокрыми поцелуями. — Почему же они злые?.. Ты с Ипатой то же проделываешь?

Он хотел подняться, оправиться, считая сеанс законченным, но девушка всполошилась:

— Нет, дорогой, теперь я хочу проделать для тебя тоже что-то подобное, райское.

Конрад не ожидал, что так легко, от одной брошенной искры, вспыхнет вдруг огромный древний костер. Растроганный и польщенный, он отдался ее ласкам.

Уже солнце склонялось за горы, тени безобразно удлинились, и на сухих прошлогодних шишках вспыхнули розовые зайчики. Пахло теплым дерном, муравьями, парной землей. Долго еще они, как плот без рулевого, кружили на одном месте, потеряв чувство меры, времени, себя и окружающего (по-новому воспринимая все). Смутно Конрад вспоминал Ипату, Фому, потом Бруно... и пытался растолковать Янине, что в этом нет ничего предосудительного, даже наоборот. (Ему представлялось, что эта быстрая и жаркая связь с Яниной стала возможна только благодаря предварительной близости с Ипатою, подготовившей его, смягчившей душу.)

— Милый, — между тем внушала Янина. — Мы должны вести себя осторожно; хитро и тихо! Не доверяй Ипате, милый! — ее слова звучали убедительно.

Наконец, точно насытившись и приняв важное решение, она отстранилась:

— Помни, — сказала, усаживаясь рядом, почти голая: стройненькая, смуглая и стальная. Чета первозданных людей, Адам и Ева в северном раю, падшие и благодарные. — Помни! — мрачная складка легла над ее вздернутым смазливым носиком. — Помни! — в третий раз произнесла, не повышая голоса, но с напряжением. — Ты можешь еще отступиться. Или же поклянись Богом и Святой Троицей, что не предашь никогда нигде меня и детей, которых мы уже зачали.

Он пробовал отшутиться, но Янина поднялась и сказала, неприятно хмуря неровный лобик над влажными большими глазами падшей монахини:

— Произноси за мною: «Проклята, проклята моя судьба, если я изменю Янине и детям, если оставлю их на день без хлеба или ласки». Повтори.

Она стояла как изваяние, с темным, перекошенным, страстным лицом; только ноги, стройные, легкие, крепкие, делали понятным и действительным все, что произошло между ними.

— Ну, клянусь, — неохотно сказал Конрад.

— Нет, так: «Проклята моя душа, если я изменю тебе и детям, как изменял Ипате и Фоме».

Конрад вяло повторил этот бред; потом провел ладонями по ее личику, телу: складки и тени магически исчезали под его рукою. Янина облегченно вздохнула и опять просияла счастливой улыбкой.

— Ну, веди к Бруно, или Мы, скорее! — потребовал он. Янина молча и споро приводила себя в порядок, глядясь в него точно в зеркало.

— Ты знаешь, — объясняла она погодя, когда они уже взбирались по другую сторону котловины (Конрад шел сзади). — Я связана клятвою. Мне поручили уход и надзор за Мы. Но ради тебя я изменю слову. Будь что будет. С первого взгляда я поняла, что ты — моя судьба. Как они могут утверждать, что ты ее муж! — возмущалась она, забывая про Бруно. — Ипата сошла с ума. Старик слеп. А остальным на все наплевать, только сохранить бы наследство Мы. Я им дам наследство, лентяям. Я помню мужа Ипаты, — опять начинала она волноваться. — Когда тот меня усаживал к себе на колени, мне всегда делалось жарко и стыдно, точно я сидела на горячей плите. Мне было тогда одиннадцать лет, и я ничего еще не понимала, и все-таки мне было стыдно. А с тобою мне совсем не стыдно. Совсем, — заглянула ему в глаза, улыбаясь смело и вопросительно.

— Конечно, это не я, — солидно поддержал ее Конрад. — Я родился в Европе, русский. Могу легко доказать. Все это бред, поверь. Хотя мне иногда начинает чудиться, будто я всех вас уже где-то раньше встречал. Но это вздор. Какая разница, кто я, откуда, чем занимаюсь... Главное — быть счастливым. С тобою вся полнота моя и осуществление. Без тебя — гроб. Нам остается только уговорить Бруно и бежать отсюда при первом удобном случае.

— Ты не сделаешь ему зла? — неожиданно спросила Янина, опять нахмурившись. — Он ведь особенный, — в ее голосе послышались виноватые нотки.

— Нет, что ты, что ты, — заспешил Конрад. — Мы его только увезем. Ему, наверное, тоже скучно здесь. Ты знаешь, ведь по завещанию он — богатый наследник и сможет воспользоваться всеми преимуществами современной цивилизации.

— Ему это неинтересно, — покачала она головой. — Он другой, совсем другой.

— Ты только познакомь нас, — успокаивал девушку Конрад. — Дай нам поболтать на свободе, это все, что требуется. А зла ему никто не станет делать, поверь.

Теперь они шли по широкой аллее, меж двумя рядами высоких, даже гигантских кедров. Белка, еще наполовину в зимней шубке, прыгала с ветки на ветку, не отставая; синее небо вдруг потемнело. Приближался вечер. Янина остановилась, обняла Конрада и требовательно подставила губы.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

в которой едят сотовый мед и пьют ключевую воду

Бруно, или, как его здесь именовали, Мы, был сыном немецкого миллионера (еврея), которого родители во времена Гитлера вынуждены были подкинуть «арийцам». Чете пришлось скитаться много лет с континента на континент. Из Франции в Китай, из Шанхая в Южную Африку и в Малую Азию. По странному совпадению, ступив на берег Священной Земли, родители Бруно сразу скончались от бубонной чумы, оставив все свои текстильные миражи единственному отпрыску, неведомо где обретавшемуся.

Между тем наследник, взращенный на первых порах шумными баварцами, тоже проходил ряд превращений. Ибо симпатичная немецкая супружеская пара вскоре пострадала от лап гестапо за католический уклон и ребенка переслали контрабандою в бельгийский монастырь. Среди обширной его родни, однако, нашлись кузены, воинствующие протестанты, укрывшиеся в Голландии; последние путем подкупа будто бы и обмана отбили Бруно и бежали с ним в Швейцарию (где след ребенка потерялся). Именно в это время родители мальчика, умирая, завещали ему

фантастическое наследство, буде он жив (а в противном случае — государству Израиль).

Имущество сохранилось настоящее, огромное: фабрики, производящие по сей день добротные ткани в обеих Германиях и даже в Польше. После гибели тысячелетнего рейха хозяином всего этого богатства в Западной Германии оказался старый бухгалтер, служащий, «ариец». Он отклонил иск Израиля под тем справедливым предлогом, что гибель Бруно еще официально не доказана, — к тому же имеется ряд других, даже близких родственников.

Постепенно количество адвокатских контор и учреждений, оспаривающих права на это наследство, возрастало; некоторые располагали персоной соответствующей биографии, претендующей на роль Бруно. Другие же предъявляли неоспоримые доказательства своевременной гибели последнего.

В деле принял участие и Ватикан, имевший основание утверждать, что юноша, которого все ищут, католического вероисповедания, теперь проживает в Канаде и вскоре достигнет совершеннолетия, так что он сам решит вопрос о своем будущем, как материальном, так и духовном. Протестанты располагали, в свою очередь, двумя подходящими кандидатами (методисты и английская High Church). Израиль же энергично отстаивал не только денежные интересы, но и веру своих чад, погибших мученической смертью.

Так как спорное имущество находилось и за железным занавесом, то к охоте присоединились также русские или, если угодно, советские стрелки. Появление москвичей на горизонте магическим образом привлекло и американскую контрразведку. Клубок до того запутался, что только несколько дорого оплачиваемых специалистов в штабах и министерствах еще знали, в чем заключается сущность пресловутой «Affaire Bruno»: почему, собственно, столько серьезных и сердитых дядей спорят, интригуют, крадут, совершают подлоги и даже убийства в связи с этим делом. Ибо к тому времени в Амстердаме, Нью-Йорке и Иерусалиме уже несколько невинных свидетелей благополучно скончались при загадочных обстоятельствах. Все эти вечерние жертвы приписывались союзными разведками «Bruno Case» (чем они даже, вероятно, злоупотребляли).

Для ясности следует добавить, что поиски Бруно начались лет десять спустя после его бегства из Европы, что, разумеется, зат-

рудняло работу добросовестных контор. Кстати, в Чикаго существовала многочисленная ветвь родных наследника (по матери); люди со средствами, те, по сентиментальным соображениям, не жалея денег, тоже искали своего племянника или двоюродного племянника.

Постепенно благодаря подвигам федеральных и частных агентов стало доподлинно известно, что Бруно осел в Канаде, на границе США, и является членом одной малочисленной суровой евангельской секты; обнаружилось, что он там играет почетную роль кого-то вроде христианского Далай-ламы и его строго охраняют, тоже питая надежды на законное наследство.

Контора, нанявшая Конрада, помещалась в Чикаго: там его подрядили, туда он должен был сдать товар (живым). Но кого представляли эти люди, оставалось неясным: родственников (добрых или злых, ибо имелось два лагеря), враждующие церкви, красных, Израиль, гангстеров? Впрочем, Конраду и не хотелось знать этого. С присущей ему практической смекалкой он догадывался, что всей ораве акул придется идти на сговор или компромисс, и поэтому руководствовался самой разумной моралью, служившей ему верным компасом: кто платит, тот и хозяин.

А деньги Конраду с друзьями обещали большие, авансы выдавали щедрые на содержание и снаряжение экспедиции. Сентиментальные же или теологические соображения Конрада теперь уже совершенно не занимали (то ли дело лет десять тому назад!). Интересуется ли Ватикан имуществом или вечной жизнью Бруно, озабочен ли Бен Гурион приобретением еще одного израильтянина или только мануфактурой последнего, хотят ли родственники обрести племянника или, наоборот, угробить его — все это для Ямба теперь не имело никакого значения. Только ему одному было легко среди многих идейных и азартных игроков сохранять душевное спокойствие.

Трудность предприятия усугублялась еще тем обстоятельством, что колония сектантов, где проживал Бруно, по слухам, не принимала у себя посторонних; все попытки сближения кончались для смельчаков довольно плачевно. Вообще, проникнуть в те края представлялось возможным только месяца четыре в году, а провести чужому ночь в селении и уйти без увечий почиталось чудом. Так, по рассказам, местные изуверы защищали свою апостольскую чистоту, мужественно отгораживаясь от ветхого Адама. К тому же здесь некоторую роль, вероятно, играл и Бруно или его

права на имущество. Несколько храбрецов, подступивших без приглашения слишком близко к рубежам поселка, пропали без вести или почти без вести; их останки, обглоданные хищниками, обнаружили следующим летом в лесу (иногда вспухшая туша всплывала у далеких пляжей Больших Озер).

Приблизительно все это знал Конрад в ту памятную ночь, когда он, расставшись с верными помощниками, подъезжал темным лесом к спящему поселку, решив сыграть ва-банк. Свершилось чудо. Женщина (Ипата) его встретила на дороге как законного мужа и повела в свой дом. Ямба, по-видимому, приняли за другого, и это временно спасло непрошеного гостя. Несмотря на весьма естественное отвращение к чужой роли, Конрад старался как можно дольше не спорить, но появление мальчика (Фомы) его смутило, испугало: ему казалось, что он попал в сумасшедший дом, и минутами он начинал сомневаться даже в собственном душевном равновесии.

Однако, несмотря на все это, Конрад чувствовал себя необычайно счастливым и вполне здесь на месте! В самом деле, всю жизнь он мечтал о приятном труде и осмысленном подвиге, а тут вдруг, походя, умеренно трудясь на лесопилке и в кузнице, ему случилось даже спасти пьяного Эрика, свалившегося с плотины.

Ипата вместе с горькой страстью всколыхнула со дна его души всю дремавшую там без дела нежность, отвагу, лирику, так что когда гость увидел Янину, эта готовая арматура влюбленности, уже созревшая и организованная, могла быть немедленно использована, без подготовки и трудного роста. Его здесь почему-то звали Жамбом, ему приписывали незнакомые паспортные данные, но зато он впервые ощущал полноту собственной жизни.

Теперь Конрад шагает по лесу, обнявшись с молодой, гибкой девушкой; он мнит себя удачливым пионером, выступающим против мира косной материи, гадов и ядовитой ткани. Скоро они с Янинoю пересекут экватор, выйдут на жирные пастбища и положат начало новой империи.

— Вот он, — шепнула Янина.

Посередине поляны рос старинный, в три обхвата дуб, и под ним Фома играл с коричневым медвежонком: зверь ревел полукапризно-полугневно, катаясь кубарем в густой траве. Вслед за ним, издавая веселый визг, кувыркался хромой мальчик, ловкий и цепкий.

С края чернела бревенчатая стена с подобием навеса (позже Конрад узнал, что к пещере, уводящей под землю, была пристроена терраса с покатой тесовой крышей).

Прислонившись к срубу, на широкой завалинке под мутным квадратным окном, освещенным последними солнечными стрелами, сидел тучный, казалось, с усилием переводивший дыхание человек, по некоторым признакам явно молодой. Глаза вытаращенные, темно-блестящие, воловьи; лицо оливкового цвета, грудь круглая, выпуклая, похожая на бочку. Одет он был в стеганую ватную куртку защитного цвета, на макушке крупной головы держалась старая меховая ушанка, знакомая Конраду с детства.

В роще уже заметно потемнело, над горой вдруг повис молодой месяц и бросил вниз несколько серебряных перьев; воздух кругом дрогнул, ветер зашевелил тяжелые листья дуба, перемещая кружево теней под ним. Оливковое лицо под окном казалось задумчивым и удовлетворенным.

Конрад с Яниной еще не успели пересечь озаренную теперь двумя источниками света поляну, как из-под навеса им навстречу выступила, согнувшись на пороге (и сразу выпрямившись), Ипата: замерла, крупная, с беспомощно и драматически опущенными руками (голыми и выразительными). Простоволосая, в подоткнутой юбке, словно крестьянка, солдатка, только что мывшая полы или ставившая хлеба.

— Так вот, шлюха, где тебя носит, — начала она, причитая на манер вышеупомянутой бабы, вдовы, хозяйки. — Вот где ты шляешься с полюбовником. Жду, жду не дождусь дома, одно воскресенье да и то испортили, паршивцы. Всю неделю гнешь спину то на мужа, то на ребенка, то на скотину, стирать, печь, варить, днем хозяйка, ночью жена... А ты, сука, сестра родная, с чужим мужем гуляешь. Вот, блажной сидит здесь без огня и еды, скотина стоит некормленая, недоеная. Сука, в кусты с ним лезешь прямо из церкви, а домой приходишь, когда уже темно. И ты хорош, — продолжала она привычным бабьим говором, — вчера со мною, сегодня с ней. Вот обсеменишь и опять сбежишь, как бугай. Небось, ублажили плоть в крапиве, теперь сюда пришли поесть или сидра попить, гады.

— Ты там, потише, — сконфуженно заметил Конрад. — Не очень-то тоже расходись, не твоего ума дело! Хоть бы Фомы постеснялась, говорить такие слова при младенце, еще мать называется. Лучше вот представь меня квартиранту. — Он замялся: ему

3 Зак. 2385

не хотелось больше называть того Бруно, а Мы представлялось фальшивым. — Познакомь нас, как полагается в порядочном обществе.

— Ты, псица, зачем привела сюда чужого? Забыла, что тебе приказали? — продолжала Ипата монотонно, точно играя на сцене в скучной пьесе. — Ты что, шкуры своей не жалеешь? Ведь убьют тебя, пропадешь очень даже ловко.

— Какой же он чужой? — нагло возразила Янина. — Ведь муж, говоришь.

— Чей муж?

— Известно чей, твой, — страдальчески сморщила брови в ответ девушка: ее большие, холодные и влажные глаза казались еще более выразительными в полутьме.

— Думаешь, я сама не могла его привести сюда? — продолжала задумчиво Ипата. — Ты — отступница. Была и останешься ею всегда, запомни. Погубит она тебя, — обратилась она вдруг к мужу порывисто. — Так и знай, погубит.

— Ну, не всех губила, — огрызнулась Янина. Медвежонок и Фома молча стояли рядом, держась за лапки, напряженно прислушиваясь, Бруно как сидел на завалинке, так и остался, прислонясь к толстым бревнам. Серебряное крыло месяца шире раскрылось над поляной: наступил вечер, светлый, голубой, точно опутанный тонкой паутиной. — Ну, не всех губила, — повторила Янина и пробежала по траве к завалинке.

— Мы, — торжественно и нежно обратилась она к Бруно, приседая перед ним с такой проникновенной грацией, что у Конрада ревниво сжалось сердце. — Вот наш новый друг, о котором я рассказывала. Он приехал издалека, чтобы с тобою познакомиться.

Тот послушно приподнялся и медлительно протянул теплую, пухлую, влажную ладонь. Голос у него был грудной, словно исходящий из глубоких, живых недр:

— Мы рад вас приветствовать. Мы уже слышал о вас... — Конраду вдруг стало весело от этого приветствия; он впервые с чувством собственного достоинства огляделся по сторонам.

Фома опять покатился в объятиях медвежонка с бугра: они проваливались, точно исчезали в пропасти, затем появлялись с другого конца — ползли гуськом, подвижные, мохнатые. И снова пускались кубарем, оглашая окрестность блаженным райским ревом.

Ипата, постояв еще с минуту пригорюнившись, вдруг спохватилась и, что-то бормоча, хозяйственно заспешила с подойником

за каменную ограду, тянувшуюся вдоль сплошных кустов ежевики. Оттуда донеслись ее строгие лаконичные окрики, обращенные, должно быть, к скотине; она то появлялась под навесом, то снова исчезала за оградою, не обращая, по-видимому, больше внимания на усевшихся у сруба собеседников. Месяц уже повис над дубом, становилось прохладно и по-вечернему уютно.

Вот Ипата приблизилась опять к разговаривающим и швырнула на чурбан миску с сотовым медом; послушав немного, о чем речь, она примирительно обратилась к сестре:

— Ты бы хоть воды свежей принесла, тоже хозяйка.

Янина тотчас же поднялась, взяла кувшин и, шумя юбками (Конрад знал, что их две, кроме передника), помчалась уверенно и стремительно по тропинке в лес. Вскоре вернулась с холодной, саднящей зубы ключевой водой. Судя по времени, источник находился ярдах в трехстах от пещеры. «Этот ручей должен соединяться со всей водной системой», — сообразил Конрад, ласково слушая Бруно. (Недаром его избрали начальником экспедиции, и семь отважных юношей дожидались его распоряжений.)

Прошлогодний мед оказался пахучим, сладким и горьким одновременно: отдавал ягодами, даже скипидаром немного, оставляя после себя во рту бесформенную, безвкусную массу воска.

Конрад внимательно следил за разговором, иногда подавал реплику, заставляя себя по привычке отмечать все особенности местности и обстановки; но знакомой радости от этого двойного существования он не испытывал больше. Наоборот, в сердце дергалась какая-то болезненная жилка, толкавшая отдаться, вполне и бесконтрольно, жизни в этот единственный вечер, завершающий великолепный и драгоценный воскресный день.

Теперь Конрад не видел уже ничего искусственного в имени Мы и запросто так величал юношу; кроме того, судьба Вселенной, отдельных звездных систем или Млечного Пути его начала действительно беспокоить, так что он даже невольно усмехался, замечая в себе этот внезапно возникший наивный страх за будущее Земли или соседних планет.

Вначале Мы охотно и твердо сообщил некоторые данные своей биографии, зная, что они интересуют новых знакомых. Мы не помнит первых пяти лет жизни; надо полагать, что он прозябал в темноте, в душном подвале, потому что врезалось в память (и в кожу) дуновение живого ветерка, когда открывали наверху люк и свежий воздух вместе с каким-то блеском (светом) ударял во все

его существо. (Мы теперь не расстается с темными очками: глаза слезятся, словно там осел навеки песок.)

— Так, перебравшись на Марс или Венеру, человек должен будет надевать разные предохранительные аппараты, — заметил Конрад.

— Мы и является жителем другого небесного тела. Впрочем, не один Мы, — он солидно качнул огромной головой на короткой тучной шее.

Янина, плывя и приседая по поляне, словно в русском балете, наполняла тяжелые глиняные кружки студеной водой; Ипата доила за перегородкою козу: слышен был прерывистый удар струи о стенку подойника.

— То есть как это разуметь: с другой планеты, что ли? — осведомился Конрад, глядя в упор на темные (лиловые под луною) очки Бруно.

— Ну не планет в теперешнем понимании. Других веков, что ли, приливов, эонов; тогда праматерия еще не поделилась на знакомые нам образования, — улыбаясь, объяснял Мы. Точно такая же снисходительная улыбка отразилась на сияющем под луною маленьком (с огромными таинственными глазами) личике Янины. Конрад остро почувствовал, что эта пара связана одной вещей мыслью (истиной). А он, любовник, здесь чужой, отщепенец.

Бессознательно, чтобы заявить о себе, он несколько раз грубо хватал девушку за стан и силою усаживал к себе на колени; Янина сопротивлялась, и он опять чувствовал всю силу ее живых стройных стальных ног. Посидев с минуту безучастно, отчужденно, девушка вскакивала при первой возможности и отходила к Мы, продолжавшему свой медлительный рассказ (только голос его еще углублялся, точно темнел или синел на мгновение).

— Что вы подразумеваете под эонами? — настаивал Конрад, словно эти сведения могли ему пригодиться немедленно. — Впрочем, если это секрет...

— Нет, отчего же, — очень серьезно объяснял собеседник. — Можно уточнить. Ведь Мы не имеет начала, значит, Мы существовал еще до этой формы Земли. Тогда был другой эон. А все действительное можно восстановить. Надо только вообразить и вспомнить вертикально, вверх, по ту сторону Полярной звезды. Только начало трудно. А там произойдет цепная реакция, и пленное Я превратится в свободное Мы, на манер отдельных органов

и существ, монстров и каракатиц, превращающихся в светлых легендарных драконов.

— Что же Мы рассказывает о том вертикальном времени? — осведомился Конрад, внимательно оглядывая собеседника на завалинке.

— Мы помнит себя белокурым ребенком на берегу трехгранного океана. По одну сторону зыбкая бесконечность все ускользающих (и вечно возникающих) волн; по другую дымится твердь. Там каменеет лес, испаряются болота, полные гнилых огней. Над огромными, тянущимися у самой воды хвощами, похожими на оцепеневших гадов, плывут желтые туманы и пролетают гигантские птицы с красными глазами. Мы помнит: белокурый ребенок прохаживается по узкой отмели между двумя пожирающими друг друга безднами. По розовой песчаной косе, кроме Мы, бегают еще юркие, подобные мышам кулички, скачут креветки, сигают раскрашенные, как старинные витражи, рыбки, и, поджав одну ногу, заснула на часах усталая цапля; у болота растут ядовитые огромные пионы, напоминающие яркие зонтики модных пляжей.

— Как же ребенок там жил один? — усомнился Конрад. Янина одобрительно кивнула головой, видимо, гордясь Бруно. Медведь и Фома, подкрепившись медом, давно скрылись в лозняке, откуда доносился смех.

— А очень просто, — откликнулся Мы. — Представьте себе беспризорного или сиротку. То же самое, только немного хуже, вот и все. Ночь страшна. Но ведь тогда не только ребенок слеп и устрашен: не видят также никого и бездны, обступающие Мы с двух сторон. А в темноте еще можно расти. Помните, не забывайте: в темноте надо расти! Кроме того, и это, конечно, главный секрет: Мы не был один!

— Да, я догадываюсь, — вырвалось у Конрада.

— Мы слышит голос как будто другого Мы, но гораздо больше. Голос разлит повсюду и грохочет явственнее подземной лавы, вырывающейся наружу. Борода нового Мы подобна Ниагаре, а кудри, как ледники гор, сползающих в фиорды. Глаза его — два солнца внутри эллипса (очерченного бровями и подглазницами)... Два центра, два фокуса, куда нельзя смотреть; но законы этой геометрической фигуры можно изучать на песке. Эллипс — ключ к разгадке, и дитя с белокурыми волосами решает свою первую и последнюю теорему. Второй Мы склоняется над чертежом и говорит голосом, подобным грому:

«Вот где прячешься! Трудно тебе здесь. Хочешь назад? Приближается новая полночь, драконы с дымящимися очами поднимаются из смрада, огненный пепел льется из прободенной луны, горы трясутся от жара. Уходи, пока не поздно, отступи опять до поры до времени».

Но Мы смиренно отвечает: «Не боюсь. На этот раз останусь. Мы не хочет больше уступать. Мы любит играть на золотистом песке, чертить эллипсы над бездной и гнать барашков по пастбищам Млечного Пути. Пот Мы скоро превратится в хлеб и вино».

Другое Мы с огромной голой грудью, покрытой веснушками вроде созвездий, рокотало издалека:

«Образумься! Мы не может еще заняться тобою на этой узкой полосе между двумя безднами. Приближаются громоздкие падения тел и душ. Повремени немного».

Но ребенок смиренно отказался:

«Мы не хочет отступить. Мы решил победить в этом эоне».

И другое Мы заплакало: две звезды отделились из глаз и покатились, образуя туманные пятна. Печальная тень простерлась за Млечным Путем; вселенные закрутились спиралью, образуя лакуны во времени и пространстве. Тот Мы скрылся, и его голос, погружающийся в пучину, походил на шум большого оркестра, когда музыканты перед концертом настраивают свои инструменты.

— А дальше, что дальше? — тормошил Конрад смолкнувшего Бруно.

— А дальше, вот, мед и вода, — предложила Янина, грациозно приседая с деревянным подносом перед мужчинами.

Конрад не стал есть; угрюмо молчал, пока все (в том числе Ипата и медвежонок) закусывали. Бруно невозмутимо насыщался. Только подкрепившись и прополоскав рот, он снова заговорил, обращаясь, впрочем, ко всем, а не исключительно только к Конраду.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

которая служит дополнением к предыдущей

— Тогда Мы, казалось, остался один на прибрежной полосе, — повествовал дальше Бруно. — Червяки погрузились опять в океан, птицы увязли в хвощах. Наступила предпоследняя ночь, обжигающая то жаром темных газов, то стужею космического полюса.

Мы страдал от сонма превратностей, но мучительнее всего было то, что голос другого Мы смолк надолго.

Мы запомнил только однообразное страдание, безымянное, все нарастающее, словно на ногу одели тесный башмак, а нога медленно растет. Иногда Мы призывал другого Мы, обращаясь то к горам, то к пескам, то к архаическим кострам или к водам и льдинам, к болотам и маревам. Два солнца в эллипсе больше не показывались. Но раз над океаном всплыло подобие одного: это солнце поднималось, как песня победы, оставляя в море багряную дорожку. Тогда Мы узрел, что он больше не дитя с кудрями девочки, а юноша, победитель, сирота, помнящий могучего Деда, игравшего на песке между двумя безднами. А тем временем из джунглей выползали также освобожденные по-своему боа-констрикторы, аспиды и рогатые кошки; они несли в себе прасемена всех болезней, жадности, ревности, смерти, Каина, Маркса, Фомы Аквинского, Фрейда, Павлова, Дарвина, Гегеля. Но Мы упорно поглощал их, преображая...

Ипата, Фома, медвежонок смирно выстроились на голубоватой траве и слушали торжественный сказ Бруно, блаженно улыбаясь, как в сказке. Конрад сидел рядом на бревне, а Янина у ног юноши.

— Странно, — произнес Конрад; Янина испуганно оглянулась, точно удивляясь его присутствию. — Даже удивительно. Мы помнит, пожалуй, слишком много, Ипата вспоминает не бывшее, я ссылаюсь только на очевидные факты, а Янина никакого прошлого еще не знает, собираясь лишь начать жить. И, тем не менее, все мы, по-видимому, души, рассчитывающие на бессмертие. Стало быть, неповторимость личности, ее бесконечность явно не имеют ничего общего с памятью! — Все на поляне посмотрели на Конрада с недоумением, даже медвежонок в кустах испустил, казалось, иронический возглас. — Значит, память не определяет личности, и то, что позади, не ведет к тому, что впереди, — нерешительно бормотал он, чувствуя вдруг, что повторяет, только на свой манер, слова, сказанные утром проповедником.

— Тайна личности в том, что в ней не остается места для Я, — снисходительно поправил его Бруно. — Разве вы не поняли: личность — это Мы. Мы — это личность. Прошлое же находится впереди человека, а не позади. Иначе он бы не видел своего прошлого, а видел бы будущее: если б оно было перед его глазами! Будущее за плечами, и потому он его не лицезреет. Чтобы про-

двигаться вперед, в неведомое, человек должен пятиться назад; так это выглядит для неземного наблюдателя. Выпьем еще этой целебной воды и отведаем лесного меда, — предложил тихо Мы.

Вода все еще была холодная, с оскоминой. Янина прикорнула на траве, светясь под нарядной голубой луной. Ипата опять где-то хозяйничала: раздавались глухие удары топора.

— Ипата, — позвала счастливая сестра, — ты бы посидела с нами, послушала.

Ипата огрызнулась:

— Нет у меня времени блох считать. За неделю все тут обвалилось, а ты небось не поправишь, белоручка.

— Вы утверждаете, — начал Конрад, мучительно стараясь наконец понять, — личность — это Мы, Я — не личность. Но ведь личное противопоставляется общему...

Мы снисходительно махнул рукою; поерзав на бревне и шумно несколько раз вдохнув густой воздух, он, наконец, продолжал своим задушевным низким голосом:

— Личное не есть отрицание общего. В мироздании совсем нет противоположностей. Тезисы и антитезисы — выдумка, ничего общего не имеющая с действительностью. Этими монстрами о двух головах пугают только детей, не хуже драконов и летающих Дарвинов.

Разве холод противоположен теплу? — изумленно спрашивал Бруно. — Оба эти состояния расположены на той же прямой температуры. А прошлое и будущее? Точка настоящего движется по кривой времени. То же происходит с Я и Мы. Чем является наслаждение? — вопрошал Бруно, почесывая вздутую (представлялось, волосатую) грудь. — Борется ли оно с болью, уничтожает ее? Отнюдь нет. Щекотание вызывает приятное чувство. А если сильнее поскрести, поцарапать, начнется страдание, мука. Точка ощущения движется по одной прямой от радости к агонии, отнюдь не противоборствуя и не враждуя. Аромат, как и смрад, только различные точки на той же линии. Жизнь и смерть, тьма и свет — не противоположности. Что такое черное, и как оно становится белым? Они родственны и соприкасаются, а не поражают друг друга в вечном поединке.

Вот почему надо без устали твердить: Я и Мы не враждебны и не противоположны. Точка передвигается по прямой от Я к Мы и тем самым становится личностью, бессмертием, неповторимостью. Личность в постоянном движении, в пути, в устремлении.

Только движение реально в мире, движение под определенным углом. В физике это называется вектор. В мире действительности существуют только векторы. Личность, если она реальность, должна тоже представлять из себя нечто вроде вектора.

— Я, кажется, начинаю понимать, — пробормотал Конрад, украдкою гладя затылок Янины, растянувшейся на земле.

— В здешнем космосе все развивается по прямой линии, — печально уверял Бруно. Что-то в его голосе заставило Конрада отстраниться и не давать волю рукам. — Я должно катиться в сторону Мы, если оно дорожит вечностью. Важно направление, все остальное приложится.

«Откуда этот увалень берет все это? — думал между тем Конрад. — И увалень ли он? И тот ли, которого ищут?»

Луна плыла над дубом, и тени кругом стали овальными, похожими на зонтик. Деревья, травы, цветы, строения резко выделялись, точно вылепленные или высеченные в трехмерном мире. По небу с юга на север растянулся широкий молочный путь, точно запорошенный первым благодатным снегом. Бруно говорил, не поворачивая головы на толстой короткой шее, обращаясь в одинаковой мере и к слушателям, и к залитой воском поляне, и к изнемогающему от собственного совершенства звездному небу. Все трехмерное выпуклое пространство кругом было ощутимо набито дымчатой субстанцией отраженного света.

— Смерть предшествует жизни, — торжественно возвестил Бруно. — Тьма — преддверие дня. Будущее — позади, впереди — прошлое. Мудрое Я пятится по канату в сторону неповторимого Мы, а кругом — свет, свет, свет, распространяющийся, по-видимому, прямыми линиями.

Волна есть ключ к одной из тайн Вселенной. Математика, физика, геометрия необходимы для истолкования Священного Писания. При помощи наших чувств, интуиции, здравого смысла нельзя понять даже доли реального. Да, волна, — восторженно повторил Бруно, — волна образуется благодаря вибрации частиц, без перемещения среды. Морская волна быстро перебегает от Мексиканского залива на север; но воды Гольфстрима медленно движутся туда же. Бросьте скорлупу в океан: волна через минуту ударит о берег, а скорлупа останется еще долго почти на том же месте. Волна, ты здесь и не здесь, ты там и не там. Неслиянна и нераздельна со средою.

— Действительно, — обрадовался почему-то Конрад, — это верно.

Фома и медвежонок весело загоготали.

— Люди постоянно говорят о круге и центре круга, ставят туда Бога, или себя, или даже солнце. Эту ошибку древних, не знавших высшей математики, повторяют до сих пор. А между тем основной геометрической фигурой нашего космоса является эллипс, имеющий два центра. И белокурое дитя на песке нашло уже взаимоотношение этих двух разных центров к окружности. Имеющий уши, да слышит. В мире действительного нет круга с одним центром. Тайна — в эллипсе. И когда вы дойдете до спирали, помните: это тоже система эллипсов. Отрекитесь от круга и одного центра, — наставлял Бруно.

— Очень интересно, — похвалил Конрад, расправляя онемевшие члены, но не решаясь встать. — Я полагаю, что пора ознакомить цивилизованный мир с учением Мы. Грех ограничиться пределами одной общины.

— Да, Мы хотел бы встретиться с образованными и духовно живыми людьми, — кротко согласился Бруно. — Мы должен уйти отсюда хотя бы на время.

— Вот-вот, — подхватил Конрад, озираясь и понижая голос, — я помогу Мы попасть в большой город. Янина, конечно, поедет с нами. — Янина с ужасом и удивлением взглянула на говорившего: ей казалось одинаково героическим и преступным такое грубое вмешательство. Она вдруг сообразила, что все это время Конрад не только наслаждался беседою, но еще упорно преследовал свою цель. Между тем тот продолжал заговорщицки: — В культурных кругах, или, скажем, эллипсах, постоянно спорят о сущности личности. Там ежевечерне собираются умные люди. Мы сможет выступать в университетах, по радио или телевидению. Люди жаждут откровения теперь больше, чем когда бы то ни было. Учение Мы распространится с молниеносной быстротой на пяти континентах, а может быть, и дальше; больше: есть слух, что за нашей Землей следят межпланетные посетители, и, кто знает, может, они еще больше нуждаются в новом истолковании действительности. Надо спешить, — уверял Конрад, и голос его (чудилось Янине) был до неприличия вкрадчив, убедителен.

Чувствуя себя уже победителем, он вдруг протянул руку и ласково ущипнул девушку за ягодицу и сразу понял, что этого не следовало делать. Мы, с ужасом вытянувшись вперед, словно остолбенел:

— А-ахх! — вырвалось у него, и он сполз на землю, стих. Грузный, вздутый, он лежал под луною, как ночью в зоологическом саду отдыхают носороги, бегемоты или другие, выпирающие из места и времени допотопные существа.

— Что случилось? Что я сделал? — вопрошал испуганный Конрад.

— Ты не должен меня так трогать, — объяснила Янина. — Ты не должен на меня даже так смотреть в его присутствии. — Она заплакала.

— Я больше не буду, — растерянно шептал он и, склонившись к Бруно, с достоинством произнес: — Мне бы хотелось еще слушать Мы.

— Не надо. В другой раз, — грустно ответил Бруно, поднимаясь: — Если Янина согласна, Мы поедет с вами в город.

Конраду полагалось бы обрадоваться успешному завершению переговоров, однако он испытывал чувство раздражения, недовольства собою; с досадой взглянул на Ипату, погнавшуюся вдруг за расходившимся Фомой и давшую ему звонкого шлепка.

— Нам пора, — твердо позвала она. — Конрад, нам пора домой.

— Хорошо, — покорно отозвался тот, вставая. — Только как мы теперь будем встречаться? — взмолился он искренне. — Я без Мы не смогу больше жить. Прости меня! — он поклонился в ноги жене. — Я должен их всех видеть.

— Приходите каждое воскресенье после службы, — уверенно произнес Бруно. — Вас пустят.

Ипата утвердительно кивнула большой головой с восковым, нежно светящимся, как во сне, лицом. Конраду хотелось прикоснуться к Янине перед разлукою, но та, словно почувствовав это, отошла подальше в сени (стукнув на пороге подкованным низким каблучком).

Фома уцепился за руку отца, и тот сразу точно попал в полосу покоя, довольства, счастья. Они шли назад другой дорогой, и Конрад старался отметить и запомнить топографию местности. Луна, уже описав свою кривую, опять опускалась за рощу, и цвет ее из бледно-воскового внезапно принял оттенок фиолетово-медный, обиженный, зловещий; вскоре она совсем исчезла: стало темно, буднично и сыро. Так на следующий день после закрытия Международной выставки прохожий, случайно попавший на опустевшую площадку, где недавно красовался шведский павильон, не может поверить, что еще давеча здесь взвивался яркий фейер-

верк, шумела блестящая толпа иностранцев и завязывались веселые знакомства.

Светляки, на редкость крупные, тяжело и медлительно проносились, опускаясь в траву, точно изнемогая от собственного содержания. Можно было догадаться, что они были теперь во власти сложных переживаний. Ночные комары и мелкая гнусь гудели над Конрадом, неистово кусая. Ипату насекомые не тревожили. Она шла быстро, упрямо, впереди, часто спотыкаясь (даже раз упала, после чего выругалась). Конрад следовал за нею, ведя Фому; ручонка мальчика, сухая, жаркая, вероятно грязная, служила ему опорой в этом непонятном царстве.

Конрад вдруг сообразил... До сих пор он учитывал только рельеф почвы, огнестрельное оружие, психологию противника; теперь обнаружилась еще одна опасность, быть может главная: слабые ручонки цепляющегося за него ребенка, которого он будто бы ведет ночью.

Спереди донеслись странные звуки, словно Ипата икала или всхлипывала.

— Мама, ты опять! — закричал и заплакал Фома. — Мама, не надо!

Сразу стало тихо; они бежали домой уже по открытой лужайке (очевидно, огибая центральную поляну с другой стороны). Вдруг опять раздались какие-то громкие голоса, даже взвизгивания, и мелькнули тени, перебегающие близко дорогу.

— Это Ник гонится за Талифой, — объяснил Фома очень спокойно. — Она не любит мужа, а он требует! — говорил мальчик рассудительно. — Каждое воскресенье так.

Ник (сын Хана), должно быть, вскоре настиг ее, потому что окрестность огласилась торжествующим гневным ревом мужика и каким-то горестным, безнадежным завыванием смазливой учительницы.

Окна изб были тускло освещены; народ уже отужинал и собирался спать. У ворот их встретил Лабрадор, с достоинством зарычал.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

в которой дни идут своим чередом

Самым неожиданным и привлекательным в новой жизни Конрада было, пожалуй, разнообразие его деятельности. Ему при-

ходилось регулярно выполнять многочисленные ремесленные и сельскохозяйственные задания; кроме того, несколько часов ежедневно поглощали пресвитерские обязанности, весьма забавлявшие Конрада. Под руководством слепого пастыря молодой пресвитер усердно читал вслух надлежащий текст из Библии; на этих скопищах присутствовало все взрослое население городка (за исключением дежуривших на промыслах или больных). Бруно с Яниною, впрочем, редко являлись.

Конрад равнодушно читал отрывки из Священного Писания, но следовавшие затем комментарии и споры привлекали его необычайно. Впрочем, слепой старец внимательно следил за импровизациями своей паствы и безжалостно пресекал слишком дерзкие вылазки. В частной беседе рыжий неоднократно повторял, обращаясь к зятю: «Подожди, уйду, тогда ты станешь хозяином». Предполагалось, что, вопреки молодости и неопытности, Конрад обладает подлинной теологической интуицией и подает большие надежды. (Это с гордостью сообщил отцу Фома, повторяя слова своей учительницы Талифы.)

Вечернее собрание обычно начиналось с того, что старый патриарх рассказывал анекдот или притчу, имевшие непосредственное отношение к последним событиям в селении (болезнь, ссора или проступок). Затем Конрад по знаку слепого громовержца читал соответствующий пассаж из Ветхого или Нового Завета (часто апокриф, которые здесь вообще были весьма в фаворе). После этого слушатели должны были постараться установить связь между приведенным текстом и вышеупомянутым происшествием в городке. Тут наступало самое подходящее время для интеллектуальной джигитовки. Грозный пастор предоставлял каждому возможность стрельнуть раз в цель, никого не прерывая (за исключением слишком уж увлекавшегося Конрада).

Прихожане особой догадливостью не отличались, так что рыжий старец вынужден был давать свои исчерпывающие объяснения. Конрад, однако, нередко пытался оспаривать авторитеты, проявляя несомненные диалектические способности и склонность к ереси. Патриарх, громоздкий и крепкий, как многовековый дуб, скрипел и гудел под ударами метафизического шторма; его тяжелая маститая голова с розовой лысиной посередине и кудрями по краям багровела и бледнела на короткой вздутой шее. Ему было бы легко прогнать Конрада, заставить его замолчать, но что-то в его разглагольствованиях привлекало

старца; так что он до поры до времени терпел, скрипя зубами, кусая клоки рыжей бороды, даже издавая мучительные стоны. Но вдруг, когда чаша его терпения переполнялась, пастырь издавал хищный рев и буквально сметал с трибуны легковесного Конрада. Эти семейные поединки очень развлекали аудиторию, так что публика начала даже аккуратнее собираться и возгласами, выкриками подстрекала противников. Положение Конрада благодаря такого рода словесным вылазкам явно укрепилось, что легко можно было заметить по разным оказываемым ему знакам внимания.

В первое воскресенье каждого месяца на обязанности пресвитера лежало также, после особой молитвы пастора, смешать в медной чаше хлеб и вино и с ложечкой быстро обежать стоящих в испарине прихожан. Эта часть его деятельности особенно нравилась Конраду, наполняя сердце чувством смирения и благодарности (так радуется честный лекарь, впрыскивая бедному ребенку кем-то в больших университетских центрах разработанную сыворотку или вытяжку из желез).

Причастие в этой общине носило только символический характер; такое либеральное толкование Конраду решительно претило, и он упорно стремился влить в дырявые местные меха ушат острой метафизики. Он даже прочитал несколько пособий по этому вопросу (украдкою пользуясь богатой библиотекой старца) и на собраниях в будничные вечера ему часто удавалось отстаивать с честью свою теологию. Но кончалось все довольно комично: рыжий патриарх палкою прогонял зятя с мостков при одобрительном гомоне паствы.

Впрочем, случалось, что группа почтенных завсегдатаев (из породы наиболее молчаливых, равнодушных и загадочных) вдруг тоже приходила в волнение и начинала как-то сумрачно спорить; тогда Конрад опять чувствовал знакомое уже дыхание самосуда над самым затылком. Но старец немедленно отдавал себе отчет в назревающей опасности и шуткою, соленым словцом или попросту ударом дубинки успокаивал азартных оппонентов.

В частности, опыт показал, что о финансовых возможностях Бруно (вернее, Мы) лучше не упоминать; тут дело легко могло дойти до жестокой драки. Конрад теперь отдавал себе вполне отчет, что в случае неудачи побега никому, вероятно, не удастся уцелеть. Идти с едва передвигающимся верзилой и женщиной через топи и дебри, найти всю партию, потом выбраться к озеру

(где ждет яхта) — на это потребуется много мужества и еще больше счастья.

По мере своего знакомства с обитателями городка Конрад начинал находить в них индивидуальные особенности и различия. Некоторые явно тяготели к проповеднику и, как ни странно, почти ненавидели Бруно или даже Ипату; другие, наоборот, предпочитали последнюю, дожидаясь полноты ее власти. Третьи же буквально обожали Мы и готовы были лечь костьми за одно его имя. Но это все выражалось в отдельных кружках, дома, за стаканом перебродившего сидра; в присутствии же старших или именитых граждан противоречия магически сглаживались (что иногда даже поражало Конрада).

Кроме уже упомянутой деятельности, пресвитер еще должен был навещать больных, страждущих, дряхлых (духовно и физически), поддерживать связь, оказывать благодеяние советом или продуктами. К умирающим и вообще безнадежным захаживал сам слепой и вел беседу на свой манер, словно вскрывал гнойник, чем вызывал восхищение у Конрада (и недовольство у партии Аптекаря).

Вот там, в частных разговорах за пологом, Конрад многих узнал досконально и окончательно возненавидел. На обязанности пресвитера лежало решить опасный ли это случай и, если да, позвать рыжего. Здесь нетрудно было человеку внове совершить непоправимую ошибку. И действительно, конфузы такого порядка имели место, вызывая нарекания и даже ожесточение паствы. Так, к концу лета заболел гриппом (как представлялось Конраду) Аптекарь и неожиданно умер; Талифа (школьная учительница) отказалась наотрез разделять супружеское ложе с Ником (сыном Хана) под тем предлогом, что она его не любит. Ее труп с раскроенным черепом потом нашли в овраге. Проповедник в обоих случаях не был предуведомлен, что, разумеется, поставили в вину новому пресвитеру. Но если одни возмущались Конрадом и требовали наказания, то другие почему-то именно за это прониклись к нему доверием и симпатией.

В селении по вечерам мерцали разноцветные, собственного производства свечи: зеленые, красные, синие, желтые. Их отливала чета Гусов. Конрад не мог принимать участия в этой работе из-за седой Матильды, пристававшей к нему самым неприличным образом даже в присутствии своего молодого чахлого мужа.

Летом жирная земля глубоко пропитывалась живительными соками. Из дворов пахло дымом, волами, сеном, рыбою; над рощею стояла голубая мгла, вся пропитанная парами сосен, можжевельника, гнили. В лужах плавали дебелые утки, наивно блеяла овца.

Старинные уборные — навесы, пропахшие сосновой стружкой — протекали; сквозь щели можно было следить изнутри за тем, кто проходит мимо снаружи (и по какому делу).

В постели с холодными, сурового полотна простынями докучали похоть и мошкара; ночью трижды пели петухи и лениво тявкали огромные, с жирной шерстью лабрадоры. На рассвете где-то в стороне, но близко над головою мощно гудел самолет, проносясь через горную цепь на своих четырех моторах (и людям со сна мерещилось, что жизнь имеет еще одно измерение).

Однажды Конрад в праздник, один, бродя по опустевшему дому, нашел в темном чулане на полу совершенно новенький черный лакированный телефон с толстым витым шнуром, ведущим в подполье. Он поспешно отпрянул, как школьник, нашедший в ящике отца непристойную картинку; ступая на цыпочках, чтобы не оставлять следов, он вернулся в жилые комнаты.

Из мастерских Конрада больше всего привлекала кузница; играя щипцами, стуча молотком и сыпля по сторонам металлические искры, он мнил себя равным Вулкану (по крайней мере, родственным ему). Однако характер работы ему вскоре приелся; производство шло по шаблону, даже орнамент был раз навсегда установлен, и настоящей нужды в этих старинных крючках и гвоздях не чувствовалось. Надоедал также Доминик своей бесплодной хитростью и наивной жаждой реформ (в виде телевизоров и холодильников).

Труд на лесопилке казался легким и создавал впечатление творческого. Тонкая пила с коротким визгом превращала ствол в доски: от ароматной древесной пыли хотелось кашлять. Конрад, родившийся в лесных областях, был знаком с выделкой фанеры; он предложил оборудовать станок, но его план встретили враждебно. Обычный подход к делу: улучшить качество, производить больше, дешевле — здесь, по-видимому, совершенно не годился.

А по вечерам в молитвенном собрании Конрад поднимался на трибуну и перед огромной Библией возглашал:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа вонмем... (дальше следовал текст).

На панихиде по Талифе ему даже удалось произнести целиком собственную проповедь, воспользовавшись рассеянностью удрученного патриарха:

— Жил человек по имени Иаир, и у него была единственная дочь, — рассказывал Конрад. — Дочь по-арамейски значит «талифа». Девушка занемогла и, по-видимому, скончалась. Ее хотели похоронить как можно скорее по обычаю субтропиков. Но опечаленный жених девицы решительно воспротивился, не доверяя собственным очам и суду благочестивых соседей. Некоторые герои борются за свободу, равенство и братство, они радикалы или революционеры. Но смерть они легко признают узаконенной владычицей. В этом гуманисты и реакционеры, максималисты и консерваторы одинаково сходятся, доказывая однородность своей природы. Смерть есть последнее прибежище негодяев, подравнивающее правых и неправых, героев и ублюдков, вот почему они бессознательно так дорожат этим заповедником.

Но жених, любивший девицу, к счастью, был сделан из другого теста. Поблизости проходил Христос, и юноша (вместе с отцом девицы) обратился к Нему: «Если Ты — Спаситель, спаси! Если Ты — жизнь, оживи! Если Ты — воскресение, воскреси!» Христос приблизился к ложу, где покоилась мертвая, и сказал: «Талифа, куми... девица, встань!»

И та поднялась. Евангелие не повествует о том, что произошло дальше. Можно только себе представить радость влюбленной пары, их свадебный пир, не уступающий Кане Галилейской, и дальнейшую жизнь супругов, обращавшихся отныне друг с другом по меньшей мере, как с драгоценным сосудом...

Так импровизировал Конрад, чувствуя себя подобно туристу, забредшему в исторический парк с фонтанами и скульптурами. Путнику бы хотелось подольше остаться, но боязно: на каждом повороте красуются дощечки с надписью: «Посторонним вход строго воспрещается».

Между тем рыжий старец уже начинал проявлять признаки нетерпения или беспокойства. Внизу сидят прихожане с тихими, мрачными, хитрыми, тупыми, святыми, красивыми лицами. Одни — толстые, грубые; другие — аскетического, рыцарского склада. И все немного похожи на статистов в старинной оперетте. (Семья Хана собралась в передней ложе, и у Ника щеки лоснятся от жира.)

В центре, наверху, квадратом возвышаются перила галереи, похожие на ряд желтых свеч; там скамьи сбегают с трех сторон

навстречу друг другу, точно салазки с горы (вот-вот столкнутся). На голых досках сидит молодежь (Янина, Бруно, Эрик), слушают Конрада и жужжание мух; там шепчутся, оглядываются, кивают знакомым с радостью, презрением или равнодушием (как в любом другом селении).

Конрад молчит с минуту, зажмурив глаза (подражая пастору). Представляет себе, как Талифа сидела годами на хорах, слушала проповедника; потом спустилась вниз, в ложу к Нику (как это Аптекарь допустил). Теперь ее тело с раскроенным черепом надо, условно выражаясь, предать земле. Отказалась жить с Ником. А Конрад то с Яниной, то с Ипатой. И как будто все довольны, временно. А дальше, если побег увенчается успехом? Брак с Яниной? А Бруно? Его убьют в городе, нечего себя обманывать. Он учит, что Я и Мы — точки на одной и той же прямой. То же самое холод и жар, жизнь и смерть. Тут что-то новое, важное. Как это связать с текстом: о, если бы вы были холодные или горячие, но вы теплые... то есть ни мертвые, ни живые.

Четыре окна под высоким бревенчатым сводом; в пропорции стекол музыка или магия, идущая от Египта или, еще раньше, — Атлантиды. «Талифа, куми». Яблоко, восстань: не дерево, а плод воскресни!

Встряхнувшись, Конрад медленно продолжает:

— Такова повесть второго воскресения из мертвых. На земле не переводится потомство этой четы: у них во сне и в состоянии бодрствования одно и то же выражение лица — восковое, мечтательное, сомнамбулическое. Зато о другом воскресшем, о Лазаре, у нас собрано гораздо больше данных; вся его семья нам хорошо известна. А сам он, как говорится, уже смердел. Найден даже верный апокриф, согласно которому, — здесь Конрад должен был спешить, чтобы успеть закончить свою импровизацию, прежде чем рыжий пасторь его прервет громким криком или ударом дубинки, — согласно которому не Иуда в действительности предал Христа, а Лазарь... Подумайте и содрогнитесь, дети земли, насколько это правдоподобнее и убедительнее.

— Споем гимн номер 216, — рычал слепой патриарх, и Конрад, пятясь от железной палки старика, легко прыгал с подмостков; собрание шумно выражало свое одобрение (неизвестно чему: его речи, действиям проповедника или совокупности всего). Потом ехали хоронить тело Талифы, но Конрада на кладбище не взяли.

А утром опять работа в мастерской или в поле; и это чередование пресвитерской деятельности с физическим трудом (преимущественно на открытом воздухе) составляло главную прелесть жизни в селении. У Конрада создавалось впечатление, что не случайно его попеременно использовали у разных станков, точно гнали по кругу: в этом чувствовался вполне продуманный план.

Дома по хозяйству, запущенному долгим отсутствием мужчины, тоже было много хлопот (хотя такого рода занятия ему нравились гораздо меньше). Вообще, Конрад, если не считать некоторых ночных часов, боялся оставаться наедине с Ипатою и под разными предлогами избегал ее, рискуя даже откровенным разрывом или очередным болезненным припадком, по-видимому угрожавшим самому ее существованию. Сущность припадка заключалась в каком-то совершенном, неземном, кататоническом, зачарованном покое, овладевавшим Ипатою. Она лежала неподвижно, с открытыми глазами, не плача и не смеясь, пожалуй не дыша. Конрад не сразу догадался, что здесь дело, по-видимому, в какой-то ненормальности: в темноте сообразить было совсем трудно. Но Фома (если он присутствовал) визгом и стоном возвещал приближение этого знакомого ему и пугающего состояния матери; так что очень скоро и Конрад научился отличать это состояние (когда Ипата словно проваливалась в таинственную щель).

В постели они все реже и реже сближались: замирали в своих углах, лежа с открытыми глазами и думая о чем-то метафизически враждебном друг другу (взаимно уничтожающем). Конрад вспоминал Янину, ее страстное бледное личико и неприличный носик, поверял план бегства. Однако после случайных супружеских ласк Ипата на некоторое время менялась, оживала, прощала многое и даже сводила с Бруно.

Вообще она не любила, не умела разговаривать и морщилась от лишних слов, которыми Конрад обычно обезболивал противника перед тем, как нанести ему удар. Только глаза ее над тяжелыми нежными скулами от горя или обиды расширялись, увеличивались, даже голубели, становясь вдруг похожими на торжествующие, праздничные глаза Янины. Это подстрекало мужа, разжигало заведомо неудовлетворяемую страсть. Он, наконец, засыпал под альковом, усталый атлет сорока с лишним лет, агент враждебного стана, пресвитер, любовник, странник, отец, хозяин, точка, свободно и стремительно несущаяся по космической прямой.

Днем ему было легко ускользнуть от жены. В каждой мастерской Конрада встречали радушно: работал он хорошо и как-то смачно (весело). Веселило, разумеется, главным образом, чудесное превращение: из кузнеца в пахаря, из конюха в ткача, затем мельник, дровосек, а в ненастье даже смолокур. Потом сразиться у прилавка general store в шахматы, прислушиваясь к заумной речи Шарлотты и осушая кувшин яблочной водки.

После школы Фома находил отца в каком-нибудь углу селения, потного, довольного, сдержанного (внимательного). Они вместе отправлялись купаться, спускаясь все дальше и дальше от дозволенных прудов к путанице каналов, связанных ощутимо с огромным, пульсирующим, излучающим мрак и холод телом Больших Озер. Там они в течение часа сачком доставали сотню упрямых, истерических рыб, поднимающихся сюда, быть может, из недр Саргассова моря, чтобы метнуть икру и умереть. (Так постаревший эмигрантский поэт мечтает издать в Москве книжку стихов и отдать Богу душу.)

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

в которой принимают тихое участие короли, дамы и валеты

По-прежнему часто, хотя и с меньшим увлечением Конрад играл в шахматы; проигрывать он не любил, а его выигрыш настраивал обитателей селения на воинственный лад. Играли они в большинстве случаев скверно, а результаты воспринимали даже с какой-то болезненной мнительностью.

Помещение всеобъемлющего general store напоминало легендарную лавку, способную удовлетворить потребности самых разнообразных покупателей. В одном отделении на опрокинутом бочонке восседал Аптекарь, нечто вроде интеллектуального острова в примитивной глуши. Прошлое, о котором он вздыхал, было грубой, неприкрашенной борьбой за существование, но представлялось им всегда подернутым лирической дымкой. И действительно, рассказы этого зеленого рыцаря о пистолетных сражениях и диких погонях за дилижансами умиляли слушателей.

По разным соображениям Конрад почти ежедневно наведывался в этот клуб. Там за стаканом яблочной водки можно было выслушать сплетню, собрать ворох сведений как будто всем известных, но для чужого очень полезных.

Изредка ему удавалось проникнуть к Бруно на пасеку или даже в пещеру; там он оставался, пока его не гнали прочь. Обычно они лежали на поляне, лицом к небу (Бруно в дымных очках) и лениво беседовали. Все голоса кругом (собственный, Янины и даже Фомы) звучали одинаково родственно, усвоив глубокие чистые интонации Бруно.

Мы тихо повествовал о начале и конце ряда вселенных: процесс развития, напоминающий арифметическую или геометрическую пропорцию. Медвежонок капризно визжал, требуя внимания или меда. Фома отбегал и затевал игру с мохнатым другом. Вскоре Бруно тоже застывал на полуслове с открытыми (под стеклами) выпуклыми глазами: Янина это называла медитацией.

Тогда Конрад, не теряя времени, ускользал с возлюбленной в кусты. Один взгляд на Янину, в ее большие серо-зеленые влажные лукавые и виноватые глаза на маленьком (муравьином) личике с неприлично вздернутым носиком восхищал его, опустошал, обновлял. Душа изнемогала от сладостной боли, а страх вечной разлуки порождал счастье. Ее маленькая головка была туго стянута косынкою; бледное от страсти строгое личико, требовательное и жертвенное. Конраду чудилось: Вселенная становится ценнее и значительнее именно потому, что она его любит, может любить. Да и он сам приобретает от этого вес и форму, начинает щадить, уважать себя. Эта любовь умножала богатство окружающего мира, укрощала его, по-новому утверждала небесный свод.

Обновленный, возвращался Конрад домой, повторяя слова Бруно жене и даже относясь к ней с удвоенным вниманием; Ипата глядела, слушала, целовала его все с тем же твердокаменным, нежно-восковым, завороженным лицом.

— Мамочка, не надо! — выкрикивал Фома, если она становилась слишком уже спокойной.

Как общее правило, жители деревни, с которыми Конраду приходилось довольно часто встречаться, производили впечатление людей хитрых, скупых, себе на уме (может быть, благодаря своей неразговорчивости). Практичные, туповатые, внимательные соглядатаи, они все, казалось, были посвящены в некую тяготившую их тайну. Но секрет этот, как ни ловчился Конрад, не удавалось открыть; так что иногда он приходил к заключению, что никакой загадки, в сущности, нет! Только тишина, замкнутость и внимательный, настороженный, пустой взгляд. За праздничным столом, когда их собиралось побольше, Конрада

неоднократно поражала какая-то особенная, густая, вязкая тишина и пустота окружающих его темных, неподвижных, едва очерченных глаз.

Однажды у Аптекаря в подвале играли в карты; случилось так, что у Конрада собрались картинки: дамы, валеты, короли. Пиковый валет представлен в профиль, нос с горбинкою, воинственный повеса, готовый к невеселой дуэли; два короля тоже в профиль, с опухшими от хронического нефрита подглазницами, и в царственных кольчугах. Только все дамы расположены в фас. Конрад впервые обратил внимание на их глаза; ему вдруг представилось, что они все вышли из царства теней и еще несут в зрачках отражение беспредметного ужаса, холода, темноты и, главное, молчания подземного мира. Переведя глаза с карт на лица своих партнеров, Конрад, наконец, понял, кого эти люди всегда ему напоминали: именно игральные карты. Тот же ощутимый беспрерывный поток вечной тишины лился из их подглазниц.

Он не мог лучше или подробнее описать этого впечатления; именно тишина в глазах этих людей соответствует немоте игральных карт, стоически продолжающих носить свои пестрые доспехи. А в это время кругом козыряли и слышны были только циничные шутки восьмидесятилетнего Карла (возившего будто бы Конрада на салазках) и трезвые замечания столетней давности Аптекаря; иногда Шарлотта проносилась, как подстреленная птица, и бросала свою поговорку:

— Ибо в царстве теней нет тени, — повторяла она ожесточенно.

«Ибо в царстве теней нет тени», — напевали все хором строчку из распространенного здесь романса.

Кстати, баллады в селении пользовались успехом; их культивировали, разучивали, повторяли со школьного возраста. Пели на промыслах, дома после еды, за кружкой сидра, в лесу, на плотине; пели угрюмо, но в унисон. Всеобщей любовью пользовался романс о парубке, требовавшем в приданое еще и серого мерина и таким образом упустившего прекрасную невесту:

Young Johnny the miller he courted of late,
A farmer's fair daughter called beautiful Kate.

Она была готова идти под венец, но парень потребовал себе лошадку впридачу, а упрямый отец отказал. Так расстроилась свадьба:

About a year later or a little above
He chanced to meet young Katy his love.

И любовь с прежней силой вспыхнула в сердце неразумного жениха: он готов уже забыть про серого мерина. Но гордая дева прошла мимо, не моргнув бровью:

Your sorrow, says Katy, I value it not
There's young men enough in the world to be got.

Хор старух, детей, остававшихся до сих пор на заднем плане, тут дружно и даже, пожалуй, весело, подхватывал:

So fare you well Johnny, so fare you well Johnny
Go mourn for your fate...

Почему именно эти стихи так нравились обитателям поселка, трудно сказать. Здесь, надо полагать, была удачно выражена какая-то заветная и родственная их душе мысль. Впрочем, возможно, что Конрад преувеличивал значение этой баллады в жизни деревни, как и других случайных явлений, что постоянно случается с иностранцами, замечающими вдруг одну мелкую народную черту и раздувающими ее до размеров гигантской лжи. (Так французская женщина будто бы легкомысленна, немецкий бюргер добропорядочен, а русский — бунтарь, хорошо поет и весьма религиозен.)

Особенно нравился Конраду другой местный романс, так что он даже научился его напевать под аккомпанемент старинного инструмента (нечто среднее между мандолиной и балалайкой, только с четырьмя струнами). Там речь шла о молодой нежной женщине, по-видимому рано скончавшейся, но оставившей по себе лирическую память:

Here's the Bower she loved so much
And the tree she planted,
Here's the harp she used to touch'd
Oh! how that touch enchanted.

Но смерть не разбирает добрых и злых, хватает все, что подвернется. Лучшие разумеется, уходят раньше, а старикам остается песня:

Years were days when here she stay'd
Days were moments near her;

Heaven ne'er form'd a brighter maid,
Nor pity wept dearer.

Особенно отличалась на этих интимных вечеринках безумная Шарлотта, степенно танцуя в паре с улыбающимся зелеными зубами Аптекарем.

— Ибо в царстве теней нет тени! — неизменно заканчивали они книксеном, как в придворном менуэте.

Усталого от пляса и сидра Аптекаря приходилось потом уводить домой; жил он все в том же недостроенном доме: мансардная комната под самой жестяной кровлей. Там осенью Конрад его навестил, больного (пожелтевшего), в последний раз: была ночь, и безвыходный дождь барабанил над самой головой.

Никто не знал точного возраста Аптекаря; считалось, что ему под сто. Молодость его протекла в Канзасе, где он снабжал красавиц чудодейственными эликсирами и пластырями. В связи с этим ему приходилось неоднократно бежать, оставив на произвол судьбы запасы сырья; в те годы белых еще линчевали, а с индейцев сдирали скальпы.

Эти дикие нравы претили Аптекарю: он любил вспоминать о своей научной карьере, о смелых и удачных экспериментах, о странных болезнях кожи, исцеляемых малоизвестными декоктами, о тайных травах, действующих положительно на плод. Он первый восстал против парикмахеров-хирургов, пускавших кровь пациентам при всяком удобном случае.

Аптекарь отлично играл в шахматы, и Конраду было приятно с ним сражаться; одна беда, свидетели принимали поражение своего земляка уж слишком трагически. Так что приходилось даже прибегать к различным уловкам, чтобы скрыть истинное положение дел на доске (по инициативе Аптекаря часто откладывали безнадежную партию и затевали игру в фанты или шашки). Конрада неизменно поражало сочетание черт жестокости и добродушия, вульгарной грубости и детской наивности в его согражданах. Вели они себя с несомненным, даже преувеличенным чувством собственного достоинства, но в гневе совершенно терялись, превращаясь в подобие пещерных предков. Радовались они искренне, наивно, неумеренно, точно дети. И только глаза, глаза сохраняли навеки свою таинственную *тишину* игральных карт...

Аптекарь ведал складом сушеных продуктов, представлявших значительную долю местного экспорта. Целебные корни, травы, грибки, ягоды, листья, стручки. Над полками стояло облако эфир-

ных масел, ромашки, мяты, камфоры: там в углу, словно русская икона, висела цветная гравюра, изображавшая Данте Алигьери, растиравшего в ступе серый порошок. Аптекарь даже у этого древнего нетесаного прилавка выглядел членом ученой корпорации.

— Артисту фармакопеи больше нет места в современном обществе, — желчно замечал он, отпуская товар. — Мастерство умирает, уступая место фабричному производству. Безответственная машина убивает прозрение артиста, — продолжал он, обращаясь преимущественно к Конраду. — Что остается на нашу долю? Заворачивать пакеты в красную бумажку и перевязывать их зеленой тесемкой. Ах, Данте, Данте, где ты...

Вот жирные мази от секретных болезней, которыми пользовались еще граф Сен-Жермен и Казанова. Вот чудодейственные пластыри, настои, кровососные банки, потогонные... Все это упразднили, как Австро-Венгерскую империю.

Аптекарь отворял шкаф, похожий на несгораемую кассу, где мерцал ряд сосудов разных цветов и форм; в сумерках пахучего подвала их пурпурные и малиновые стенки пропускали райские лучи.

— Здесь основа всей фармакопеи, — хвастал он. — Хотите кортизон или фолликулин? Пожалуйста, милости просим! Мы не знали почему, но часами отваривали почки телят и давали пить отвар нефритикам. Хотите гормоны? Вот вам гормоны. Я сам их приготовлял.

Видите эти фигуры, выжженные на этрусской вазе? Здесь хранилась древняя белладонна, и рисунок художника объясняет действие последней. А эти ступы... Сперва каменные, пещерные, затем глиняные, бронзовые, медные. Видите, пестик, точно версальская фрейлина, перетянутая корсетом. Неужели безразлично, кто и с какими чувствами растирает ядовитую корицу в порошок? А если нападут недобрые люди, то легко, размахнувшись таким инструментом, и череп проломить злоумышленникам. Случалось, грешным делом...

Аптекарь заливался беззвучным циничным смехом (тогда Конрад начинал верить, что ему действительно сто лет). Аудитория кругом тоже блаженно гоготала, опорожняя стаканы.

— А вот наши весы: нехитрая штучка! А попробуйте на тех же весах отвесить и фунт, и гран. Для этого надо быть истинным артистом, с опытом и талантом. А теперь что... На этой дощечке с желобками мы готовили пилюли: надо порошок и жидкость,

взвесив и отмерив, смешать, как тесто. Растираешь, бывало, часами с молитвою или проклятиями. Потом вытянешь жгутом смесь наподобие макароны, положишь на желобки и сдавливаешь этой пластинкой: все поделится на двенадцать почти равных частей. Остается только скатать шарики, припудрить, вот и пилюли. Глазомер и чутье, личная ответственность и никакой бумажной волокиты.

Полюбуйтесь моим пластырем от лумбаго или втиранием против перхоти. Лучшего и теперь не найдешь. Этот эликсир может повлиять на пол эмбриона. Хотите девочку или мальчика? Или, быть может, урода с двумя птичками? Могу... ха-ха-ха...

Народ добродушно смеялся, все любовно чокались, гордясь Аптекарем, так что Конраду ничего другого не оставалось, как тоже приветствовать местного ученого и опорожнять стакан. Только один Бруно, казалось, не очень-то жаловал фармацевта и редко захаживал в лавку, а зеленый мудрец, в свою очередь, недолюбливал юношу в темных очках. Аптекарь, как догадывался Конрад, принадлежал к стану Ипаты и даже позволял себе иногда либерально критиковать слепого пастора:

— Пляшет под дудку того... — шипел он (то есть, что рыжий старец находится под влиянием Мы). — Не одобряю.

Впрочем, встречая Бруно, Аптекарь вел себя с примерной почтительностью, как и все в деревне в присутствии старших и влиятельных членов общины. Как ни странно, гибель внучки (Талифы) никак не отозвалась на внешнем поведении Аптекаря, но пережил он ее ненамного.

Обдумывая ход на шахматной доске, Конрад внимательно следил за всем, что происходило в магазине и делал свои выводы. Так, если в подвал забегал школьник, значит, Фома уже тоже дома: Ипата теперь занята, можно пройти к Янине. Или: Эрик приехал с почтою, среди счетов и газет может быть весточка от друзей.

По магазину струились, не смешиваясь, резкие, приятные и отталкивающие запахи (точно по дну озера — холодные и теплые течения). Кожа, мыло, ситец, шафран... все это почему-то напоминало детство, Россию, Испанию, Вогезы, и Конрад содрогался от нетерпения, точно блудный сын, приближающийся к знакомым окраинам.

— Забавно, — шептал он, улыбаясь, Аптекарю. — Я здесь на чужбине, а счастлив, словно возвращаюсь на родину. И шахматы, и запахи, и рассказы — все мне любо.

Скаля свои острые длинные зубы аллигатора, Аптекарь строго поучал:

— У человека несколько родин: в каждом мире, по крайней мере, одна. Поэтому, кстати, не надо искать одного смысла или одной цели существования и одного ответа. Образ наш гораздо сложнее.

— Особенно в постели, — хихикал заиндивевший мельник с запорошенными нежной мукой ресницами и бровями.

Матильда, одетая в яркий не по возрасту сарафан, кричала Конраду на ухо:

— Сказать, что ты был моим мужем на Аляске, ха-ха-ха?

Конрада прошибал горячий пот от ее близости и декоративных корешков во рту (как будто их нарочно такими ей вставили). Тогда мысль о светлой, нарядной, благородной Янине с восторженными глазами и раздражающим носиком придавала ему силы; он продолжал упорно и осторожно шахматную борьбу. Иногда ему чудилось: все эти шутки, споры, намеки и угрозы на самом деле только попытка психологического воздействия со стороны Аптекаря, ведущего игру одновременно в нескольких планах. И Конрад не сдавался, подготавливаясь еще к другой схватке: приближалась осень, скоро начнутся упорные дожди, и побег больше нельзя откладывать! А между тем связи с друзьями, оставленными позади, не удавалось возобновить, и решительную дату приходилось откладывать, сообразуясь с погодой и луной.

На конторке рядом с играющими, между деревянными счетами и бухгалтерскими книгами ин-фолио, лежали разрозненные колоды карт и таро: веер дам, валетов, королей со взглядом тихим, молчаливым... Существа, прошедшие страшное испытание, с честью выполнившие свой последний долг и теперь являющиеся только потусторонними, обескровленными свидетелями бессмысленной, тщетной забавы. Решительно наклонив голову, Конрад передвигает символическую фигуру; в ответ, после мгновенного шепота удивления, раздаются сразу смешки, постукивания, скребки, наглые подстрекания.

— Молчите, хамы, пошла, мужичка! — отмахивался Аптекарь, благородный соперник Конрада в этом подвале. — Прочь! — грозил он кулаком в сторону Матильды. — Это тебе не свечи лить, убирайся! — И давал ей ладонью раза по вислому заду. Та с визгом отскакивала, жалуясь и чертыхаясь. А мельник, весь покрытый сдобным инеем, ронял:

— Двадцать лет тому назад ты бы не гнал ее от себя.

Иногда в лавку захаживали проповедник или Ипата, Бруно, ребята из школы за сластями; тогда завсегдатаи немедленно подтягивались, приводили себя в порядок и начинали обращаться друг к другу с подчеркнутой вежливостью (мистер), не позволяя себе вульгарных оборотов. Вообще, у Конрада создалось впечатление, что местная элита даже не представляет себе, в каком грубом состоянии пребывают еще низшие слои населения.

В присутствии именитых граждан муж Ипаты опять начинал себя чувствовать влиятельной персоной, в чем его никто не осмеливался разубеждать (только Матильда продолжала шипеть из угла, говоря что-то, вероятно, неприличное). А Шарлотта, по обыкновению описывая круги, точно подбитая птица, возвещала во всеуслышание: «Яков пасет чужих яков», или: «У доброй матери всякое чадо впрок».

Часто прибегал Фома с поручением: пресвитера зовут к больному, или: Ипата ждет мужа немедленно. Изредка в лавку заглядывал Бруно. Тогда все старались проявлять самые верноподданнические знаки внимания. Экономически, казалось, будущее этих людей зависело от него.

Аптекарь угрюмо помогал Бруно усесться на порожнем бочонке, что, принимая во внимание корпуленцию последнего, было делом сложным. Его сразу обступали поселяне, почтительные, с придурковато открытыми ртами; только глаза их, тихие, молчаливые, отражали мрак подземелья; что, кажется, удручало Бруно. Отдышавшись, примерившись с минуту к шахматной доске, он неизменно начинал свою речь, словно тараня кремневую стену, не глядя, впрочем, на своих слушателей.

— Наш человек существует только десять-одиннадцать тысяч лет, —рассказывал Бруно.

У Конрада быстро-быстро стучало сердце, как у влюбленного: он знал, что теперь сюда скоро придет Янина.

— Одиннадцать тысяч лет — это четыре миллиона дней, — грудным, мягким голосом говорил юноша в дымных очках; кругом бородатые, усатые, красивые и уродливые, странно одетые люди блаженно улыбались, поддакивая. — А Вселенной уже 20 миллиардов лет. Сравните, души. Двадцать миллиардов лет и четыре миллиона дней. А нашему техническому прогрессу всего только двести или триста лет. То есть меньше 75 тысяч дней. Детский возраст, но как далеко мы ушли.

Сначала все шло необычайно медленно, человек жил во сне и в полусне. Потребовалось тысячелетие, чтобы приспособить колесо или стержень; потом, набирая скорость, шибче и шибче, в геометрической прогрессии. Вспомните предание о шахматной доске, — Бруно протягивал тучную волосатую руку в сторону играющих. Аптекарь, угрожающе скаля зубы, озирался, словно защищая свое право закончить партию. — Если на первый квадрат положить одно зерно, на второй два, на третий четыре, то, по расчету древних мудрецов, на последний квадрат потребуется столько злаков, что всех житниц Европы, Америки, Азии и Африки не хватит. А ведь наша жизнь от сотворения мира развивается именно путем такой пропорции, к вящему конфузу мудрецов и специалистов. Зерно яблони, племена людей и цветы их творчества разрастаются в геометрической прогрессии, и есть даже слух, что 64-й квадрат не является последним.

На этом месте завсегдатаи обычно начинали одобрительно гоготать; неизвестно почему, но судьба 64-го квадрата их особенно умиляла.

— Двадцать миллиардов лет тому назад на первый квадрат доски положили чудесный и единственный атом водорода. Теперь мы где-то посередине доски и начали угрожающе расти, стремясь к опасным, критическим рубежам. За последние полвека техника проделала скачок, равный всему нашему предыдущему развитию за истекшие четыре миллиона дней. Ибо последний член геометрической пропорции почти совпадает с суммою всех предыдущих членов ряда. Если развитие будет продолжаться таким образом, то уже в ближайшие десятилетия летающие диски станут нашим привычным способом передвижения...

Конрада этот разговор волновал до такой степени, что он легко мог проморгать фигуру; особенно его бесило, что слушатели (за исключением одного только желчного Аптекаря) никак не были в состоянии оценить мыслей Бруно и все-таки упорно, с застывшими от напряжения лицами прислушивались, точно ожидая разрешения какого-то мучительного личного вопроса.

— Если Мы вам сообщит, что в течение ближайшего столетия человек освоит все планеты Солнечной системы, то вы, вероятно, не слишком изумитесь. Отсюда можно легко заключить, что если на тех планетах существуют равные нам разумные существа, то они должны тоже вскоре посетить нас и, разумеется, они бы уже давно подавали сюда разные сигналы! Но этого не случилось; и

если это не случится теперь, то можно считать доказанным, что Земля наша исключительное по удаче небесное тело, а мы, земные обитатели, — высшее достояние Творца неба и тверди. Радуйтесь и ликуйте, отныне опять здесь центр священного эллипса.

— Аминь, ура, тьфу-тьфу, слава Отцу и Сыну, кто рано встает тот много жует... — слышалось со всех сторон из подвала; суровые граждане поздравляли друг друга, точно на Пасху. Шарлотта неистовствовала, носясь по кругу с подбитым крылом. Только один Аптекарь (подставив фигуру), сдерживая накипавшую досаду, осведомлялся вкрадчиво:

— А что думает проповедник на этот счет?

— Мы и проповедник учим одному и тому же, — отвечал Бруно, подумав; потом продолжал: — Земля — песчинка в звездной пустыне, волна в космическом океане, и все же она является исключением, избранным островом, первородным атомом среди туманных монстров, пожирающих собственный хвост. Вера древних в свою исключительность, по-видимому, оправдывается. Земля — как бы духовный центр Вселенной, хотя нам уже известно, что миров много, а круга нет.

Мы вам сообщил, что через 36500 дней будет освоена Солнечная система. А через тысячу лет или десять тысяч? Ясно, что через миллион лет, если мы просуществуем без финальной, очередной катастрофы, все проблемы, возникшие в нашем быту, все мечты и грезы, замаячившие еще в туманном сознании Адама, будут благополучно разрешены и организованы. Нет границ возможностям при условии геометрической пропорции ряда. Конечно, миллион лет — срок большой, но ведь просуществовала же Вселенная биллионы лет. Подумайте, с чем сравнится искусство и величие человека, если ему позволят совершенствоваться еще двадцать тысяч лет...

Здесь простолюдинов опять охватывал наивный восторг, но последующие слова Бруно вызывали разочарованные вздохи и даже стоны.

— Ясно, что нам даже тысячелетия не отпущены на этой Земле, — тихо заключал Бруно, не глядя на слушателей. — Катастрофа, описанная во всех духовных пособиях, подстерегает человека где-то близко. Землю ожидает гибель. Об этом толково говорится в Священном Писании. Вообще, конец описан гораздо полнее и понятнее, чем начало бытия. Можно утверждать, что первая книга утеряна. Смерть вошла в мир вследствие грехопадения, но последнее имело место в космосе задолго до изгнания Адама из рая. Век Адама исчисляется сотнями тысяч лет, а мерт-

вых муравьев мы находим в янтаре: они были залиты этой смолою двести миллионов лет тому назад, когда янтарь еще растекался по берегу Балтийского моря.

В туманный, раскаленный, душный день сытый муравей выполз по своей надобности на окраину розового леса. Тогда еще не было семьи Адама; кругом высились только утесы и пахучие деревья, похожие на кипарисы, из которых капала на песок янтарная смола, смываемая прибоем темного моря. Судьбе угодно было, чтобы тяжелая капля этого сока попала на избранного муравья и замуровала навеки, сохранив его для музея естественной истории. Адам еще не родился, а смерть уже хозяйничала в мире; спросите у сонма ракообразных и паукообразных, составляющих слой меловых отложений, спросите у них, кто согрешил задолго до Адама. Мы только знает, что Агнец был заклан при основании мира, 20 миллиардов лет тому назад: принесен в жертву до первого реального греха. Здесь тайна: до грехопадения смерть была неотделимой частью жизни.

— Аминь, аминь, — дружно выкрикивали свидетели; Конрад нерешительно передвигал фигуру (пора кончать).

— Итак, великолепной земле, полной аромата и святости, света и чуда, угрожает гибель, — возвещал Бруно. — Надо спасти ее ценности, краски, стихи и молитвы, мысли и фрукты, храмы и детвору. Надо перенестись в другие точки космоса, в другие созвездия и туманности. Уйти, вовремя подготовить переселение. Заразить нашими клетками и лучами другие небесные тела. Кто здесь спрашивает: чего Бог от него хочет? Вот перед нами Луна, сухая пустыня, засохшая лава, без воздуха, воды и жизни. Там надо разбить сады и цветники, оплодотворить почву, огласить музыкой и смехом, любовью, игрой и творческой мыслью согреть камни. Это ли не Божье дело? И человечье. Пасти антилоп на Марсе и кенгуру на Нептуне; повсюду цветы, злаки, добро и любящий взгляд разумных детей.

Чей это голос вопит: «Так что же мне делать?» Мы отвечает: обсеменить еще одну вселенную, творить новые миры, создавать жизнь за пределами Млечного Пути и даже там, где кончается материя или наше пространство, куда свет еще не распространился. Не сокращаться и сворачиваться по завету Мальтуса, а, наоборот, расти и крепнуть. Самое редкое и духовное в мире — это материя; самое чудесное и ценное — жизнь! Смысл истории в том, что душа, сотворенная Богом, выползает на самые окраины бытия для последнего боя или преображения.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ,

в которой беседа продолжается

Поучая, Бруно незаметно уничтожал огромное количество изюма и сушеных фруктов, которыми Аптекарь охотно угощал гостей (в присутствии именитых членов колонии яблочная настойка с прилавка исчезала). Наконец в подвал спускалась Янина, так тихо, что Конрад замечал ее, только когда она начинала хозяйничать, прибирать вокруг играющих или вытирать мокрой тряпкой пыльные фиги, предназначенные для Мы. Фома грыз орехи на полу между кадками (оттуда долетало урчание — не то его, не то кошки). Пахло мышами, цикорием, сельдями, мылом, кожей. Аптекарь желчно скалил зубы аллигатора, однако зорко следя за каждым движением противника: последний, кажется, задумал обменяться ферзями. Еще один трудно разрешимый вопрос, подобно браку, разводу, карьере: стоит это или не стоит, лучше будет или нет...

— Вот видите, — продолжал Бруно, — королю потребуется восемь ходов, чтобы пройти по диагонали, и столько же, чтобы одолеть шахматную доску по прямой. Это вполне опровергает нашу плоскую геометрию, где гипотенуза всегда больше катета. Нечто подобное происходит и в духовном плане. Еще, прошу, обратите внимание... Когда соперники сражаются в шашки, скажем, на черных клетках, то они совсем не думают о сети белых клеток рядом. А между тем на этих светлых полях, пожалуй, тоже ведется другая, полная смысла и азарта борьба. Можно себе представить доску, на которой одновременно разыгрываются две шашечные партии: одна на темных, другая на светлых квадратах. И фигуры этих разных систем никогда не столкнутся, хотя действуют по соседству. Так отгороженные миры совсем не перекликаются между собою, хотя почти соприкасаются.

— Как Мы рассматривает взаимоотношение Я и Ты? — спрашивает строго Аптекарь, стремясь отвлечь внимание присутствующих от шахматной доски.

Бруно отвечает:

— Давно как-то, но в наших измерениях, Мы сидел в парикмахерской и вдруг узрел пред собой блеклого подростка, болезненно умного и вялого. Мы сразу отстранился, как всегда в непосредственной близости к постороннему, хотя, впрочем, испытывая

на этот раз жалость или даже сочувствие к блеклому привлекательному соседу. И тогда Мы сообразил, что отделиться нельзя, ибо это *он сам,* отраженный в зеркале. Сострадание сразу исчезло: образ и субъект слились воедино, установили общую циркуляцию. Больше не было симпатии и соболезнования, как при встрече с чужим, милым, обреченным чудаком; осталось только ровное, органическое, само собой подразумевающееся чувство единства, спаянности не на живот, а на смерть.

Любовь есть слияние воедино. Такой сплав, где нет уже Я или Ты, и начинаешь страдать от малейшего признака возможного отпада. Сказать: «Я Тебя люблю» — абсурд! Я Тебя может только жалеть, ненавидеть, ругать, преодолевать, ласкать, щипать. Я видит Его и часто жалеет, ибо подставляет Себя на место Того. «Давай, — говорит Я, — выручать симпатичного прохожего». В любви же этого нет, потому что Я и Ты исчезают, становятся Мы, высшей формой жизни; такое Мы и есть личность, подлежащая воскресению, неповторимая, ибо единственная: единая. Без любви нет Мы, то есть нет личности.

Самая реальная любовь, разумеется, — любовь к Богу. Последнее Мы, зрелость личности — это слияние Я с Богом, любовь к Нему. Такая новая личность, конечно, бессмертна и легко познает себя в Боге. Поэтому нет большей заповеди, чем любовь к Богу.

Шарлотта осторожно приближается к Аптекарю и, бросая в него сушеной горошиной, сюсюкает:

— В море туманы, в жизни обманы.

Аптекарь испуганно шарахается.

— Пошла к черту! — кричит мукомол. Конрад тяжелым взглядом охватывает Янину, от ее вздернутого носика до маленьких стальных икр.

Бруно, на минуту заикнувшись, продолжает:

— Сказать: «Он себя ужасно любит!» — невежественный вздор. То же самое: «Я Тебя люблю». В любви нет разделения на объект и субъект. Такая вивисекция отражает отдаленное прошлое, когда пещерные люди стремились любой ценой положить начало разговорной речи, даже путем отказа от реального соотношения понятий. Они достигли своей цели, но, повторяя условный вздор, попали в собственные сети и запутались в призрачном мире. Здесь грехопадение, то есть первый отпад от Бога: конец любви, разделение. «Дорогая, Я Тебя люблю» — выдумка. Это — царство обмана и смерти.

4 Зак. 2385

Примитивные психологи все еще говорят: «Он заметил в себе; он подумал о себе; он нашел истину, ответ внутри себя; он обманывал себя». Все это вымышленные образы, приносящие теперь больше вреда, чем пользы. *Кто* ищет, и *как* ищет, и *что* именно он нашел — все это неразрывно, являясь органом одного неделимого целого. Истина — не только результат, но и самые поиски, путь, образ действия. Люди так привыкли разрезать друг друга на части, что продолжают это делать даже по отношению к себе, испытывая удовольствие от своеобразного харакири. «Он боролся с собой; он обожает себя; он противен себе; он недоволен собой».

Эта часть учения Бруно вызывала обычно сплошное ликование; трудно сообразить, что так радовало и смешило слушателей. В ответ немедленно раздавался торжествующий хохот и гомон; некоторые вставали с мест и, прохаживаясь по доске, как по канату, покачиваясь, жеманно шептали: «Он обожает себя, он презирает себя». Шарлотта, потная, неряшливая, со сбитым набок чепцом, прыгала на одной ноге, ликующе распевая: «В той чаще отчасти горилла горела от страсти». Аптекарь дрожащей рукой наливал себе рюмку под стойкой, держа бутылку как неприличную посуду. Карл или Хан сжимали свои темные кулаки над самым теменем Конрада и бубнили: «Он нашел себя, он ищет себя». Матильда голосила: «Она презирает себя, она ушла в себя». Среди этой разнузданной толпы, казалось, только Бруно и Янина походили на существ, знакомых и родственных Конраду. Но стоило ему заглянуть в глаза расходившейся черни, как опять его поражала внятная *тишина* (и молчание) ледяной ночи, лившейся через край оттуда. А над головой повсюду под тяжелым потолком свисали рыболовные снасти, похожие на изделия гигантских пауков.

— Наше время — время излучений, — продолжал уверенно Бруно, — но вскоре наступит век света, уничтожающего все тени, объединяющего форму и сущность!

— Расскажи про немца с глазами, — просит мукомол, подмигивая окружающим. Его поддерживают разные голоса:

— Да, да, про немца, про ученого, ха-ха.

— Человек не должен подглядывать за собой в щелочку, — сразу начинал Бруно, — ибо тот, за кем он следит, и то, чем он подсматривает, да и самая щелочка, и манера воспринимать результаты — все это тот же нерасторжимый, неделимый, целый человек. Вы слышали, что кристаллик глаза, повинуясь законам оптики, должен переворачивать зрительный образ вверх нога-

ми, — замедлял вдруг Бруно течение речи. Слушатели опять начинали хихикать, щелкать языками, делать смешливые, издевательские жесты. — Однако уже ребенок видит мир в соответствии с действительностью, — продолжал Бруно спокойно. Обитатели только потирали руки, трясясь от беззвучного хохота, предвкушая дальнейшее. — Немецкие ученые, люди прямолинейные, решили, что это объясняется практическим опытом живого существа. Младенец, дескать, воспринимает обязательно все наоборот; только постепенно, под влиянием толчков и пинков он расставляет вещи по местам, в надлежащей перспективе. Нашелся даже один герой, профессор, который надел на глаза призму, переворачивавшую мир наизнанку, наглухо прикрепил бинтами эти очки и оставался в таком состоянии несколько месяцев. По мысли смелого экспериментатора, перевернутые предметы должны были после известного промежутка времени под влиянием непосредственного опыта опять занять свойственное им в пространстве положение. Но этого, однако, не случилось.

Вот такую немецкую глупость проделывает весь мир ежеминутно. Люди ошибочно воображают, что Я притаилось только за порогом кристаллика, где-то в мозгу, и регистрирует подаваемый ему извне образ. Какая подлая ложь! Я — и в оптическом нерве, и спереди кристаллика, да и сам кристаллик, по существу, — Я. Электрические, химические реакции клеток, ассоциации, отбор, интерпретация, — все это части органического Я. Я не только вывод и осознание, но и путь со всеми многочисленными узлами.

То, что любит себя, и То, что любимо, и чем и как готово любить, все — одно нерушимое целое, уничтожаемое делением. Поэтому «люби ближнего, как самого себя» — только условный оборот речи, не отражающий последней реальности. Ибо в ту пору язык человеческий еще пребывал в младенческом состоянии.

Эту мысль надо продолжить всячески вглубь и вдаль. Нельзя любить мир или Бога, если они в тебе и ты в них. Человек не может больше подсматривать в щелку и познавать Вселенную как чужое, внешнее тело. Отныне мы учимся постигать Бога и людей уже другими путями, вне разделения и отсечения. На одном конце прямой — интегралы, любовь и жизнь, на другом — дифференциалы, грех и смерть.

Пока мир разделен на Я и Ты, будут процветать жалость и жестокость, сомнения, страдания, идентификация, сочувствие, вздохи, преступления, казни и несовершенные попытки исправления.

Но не будет единства, не будет любви, не будет Бога и света. В Мы Бог, и мир, и Я еще раз сливаются воедино. Это —личность. Так что со смертью личности кончается не только Я, но как бы и Бог, и мир: весь космос меркнет, меняется. Не человек умер, а целая вселенная. И в мире, где единство любви — реальность, так неукоснительно и получается.

Много зла приносят старинные неточные выражения. Пора очистить допотопный словарь. Церковное «Верую» утверждает: «Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым». Здесь, надо полагать, подразумевается Творец космоса, постигаемого и не постигаемого нашими органами чувств. А между тем упоминаются только глаза.

Искусство, наука, религия, философия в последнем счете должны раскрыть действительный мир и его Творца. Как параллельные линии пересекаются в следующем измерении, так на высшем уровне встречаются все течения творческого усилия. Сие есть программа, которую Мы предлагает народам.

— Я поддержу Мы, — шепчет Конрад, поправляя фигуры на доске. — Следует организовать комитет, а затем партию трансреального мира. Кто знает, быть может, Мы еще станет президентом Соединенных Штатов или его наставником.

— Это хорошо, — соглашается Мы. Народ кругом угрюмо молчит, темнея как-то изнутри.

Аптекарь еще больше зеленеет от страха и вопит:

— Вы тронули коня!

Конрад неохотно уступает, толкает фигуру на соответствующее поле через головы королевы, туры и пешки (опять удивляясь этому узаконенному чуду).

— Но почему президентом только Соединенных Штатов, а не всех Объединенных Республик? — недоумевает Бруно. — Суверенитет отдельного государства — абсурд, грех и пережиток.

— Это можно устроить, — опять шепчет Конрад, — у меня много влиятельных друзей.

Присутствующие с упрямыми лицами Каинов и тихими глазами игральных карт стягиваются петлей вокруг стола; шахматистам почти нечем дышать. Аптекарь истерически вскрикивает:

— А боль, что мудрый Мы скажет о боли и высокой температуре? О страданиях, корчах, рвотах, поносах... В ночные часы, когда все спят и только обреченный старается отгадать, что его ждет по ту сторону агонии.

— Боль и радость лежат на одной прямой, — охотно разъясняет Бруно; народ кругом отступает, лица смягчаются, некоторые начинают опять улыбаться и поддакивать. Конрад жадно ощупывает взглядом литую фигурку Янины, сидящую чересчур близко у ног учителя (ревность возбуждала в нем похоть). А Бруно продолжает: — Ощущение движется во времени и, подобно настоящему мгновению, оно тоже — абстракция, хотя и весьма мучительная абстракция или нереальность. Настоящее движется между прошедшим и наступающим, оно тут и не тут, как летящая пуля. Обычно полагают, что прошлое позади, а будущее впереди. Но в таком случае все бы видели перед своими глазами будущее, а не прошлое! На самом деле человек не лицезрит свое будущее, а только — прошлое. Следовательно, прошлое впереди нас, а будущее — за спиной. В трехмерном плане это выглядит так: человек, чтобы продвигаться вперед, должен пятиться задом. (Бруно часто повторял эту мысль.)

— Что же, все мои ощущения — обман и фантазия?! — возмущается Аптекарь, меняя свои краски, как хамелеон (бедняга, вероятно, заболел разлитием желчи в связи с этими спорами).

— Нет, конечно, — успокаивает его Бруно. — Это только означает, что не следует делать последних решительных выводов на основании непосредственных восприятий.

— А бессознательное, иррациональное, вернее? — осведомляется Янина; Конрад с радостным удивлением пожирает ее глазами.

— Бессознательное вечно, оно существовало, может быть, еще до сотворения времени, здесь и начинается ускользающее, волнообразное море реальности.

— Что же служит нам верным компасом, ориентиром? — сердито спрашивает Конрад. В конце концов, он приехал сюда по делу, его друзья пропадают где-то в лесных дебрях, и эта болтовня начинает его утомлять.

— Только математически голые взаимоотношения, — отвечает Бруно своим грудным голосом, — чистая алгебраическая фраза без эмоций, интуиций, здравого смысла, линейной логики или предчувствий. Только эта стрелка компаса заслуживает доверия и ведет к Божественной реальности.

Янина встает и, перегнувшись через прилавок, высыпает из мешка на тарелку остатки изюма: с минуту перед глазами мужчин мелькают ее голые живые ноги с магическими круглыми стальными икрами. Бруно резко поднимается и довольно быст-

ро направляется к выходу; народ, погуторив еще слегка, осушив на прощание стакан яблочной водки, тоже начинает расходиться из подвала.

Иногда, впрочем, появление Ипаты прерывало беседу в самом начале. Она с достоинством ступала по тяжелым половицам и молча останавливалась неподалеку от играющих с твердокаменным восковым лицом и беспомощно, но укоряюще опущенными сильными руками. Мужики начинали быстро тянуться к выходу, обходя ее с почтительным поклоном. В конце концов у конторки обычно оставались только Аптекарь, Конрад, Бруно с Яниной (изредка — мрачный Хан). Тут между сестрами происходило некое подобие дуэли. Сперва они только глядели друг на друга в упор, потом обменивались несколькими словами и упреками, постепенно переходившими в драматическую ругань. Случалось, дело кончалось дракой, и Конраду (с Фомой, если последний присутствовал) только с трудом удавалось их разнять. Бруно не вмешивался: сидел на отлете камнем, обрубком, только бочкообразная грудь его всхлипывала при каждом астматическом выдохе. Аптекарь же совершенно лишался дара речи и угрожающе скалил зеленые зубы (участвовать в свалке он никак не мог по ветхости).

— Сестра, ты погибнешь! — заявляла Ипата, протягивая вперед голые зрелые руки.

— Чья бы корова мычала! — отзывалась Янина.

Этот диалог имел для них, по-видимому, особое значение, и сестры опять были готовы вцепиться друг в друга.

Плотоядно озираясь, Конрад уводил жену домой.

Во время одной из таких перепалок Аптекаря вдруг схватили острые и весьма конкретные колики в области печени; боль (лежавшая на одной прямой с наслаждением) оказалась такой интенсивной, что он быстро погрузился в обморок, перемежающийся бредовыми выкриками. Желтизна Аптекаря приняла юмористический оттенок, напоминая закат над песчаной пустыней.

Умер он, не приходя в сознание, денька через два. Конрада его кончина застала врасплох, он не успел сообщить о болезни проповеднику (за что последовал жесточайший разнос). Несмотря на бессознательное состояние, было очевидно, что Аптекарь ужасно мучился до последней минуты.

Конрад все надеялся, что удастся пригласить лекаря из административного центра, но это оказалось совершенно не в нравах

селения, да и вряд ли бы помогло. Несколько старух во главе с безумной Шарлоттой лечили Аптекаря, поили настоем из трав, пускали кровь, ставили банки. Пока старушки работали не за страх, а за совесть, народ дежурил у крыльца, взволнованно перешептываясь.

Осенний вечер надвинулся вплотную, полная луна вставала поздно. Было темно и сыро, холодно и мерзко, когда Аптекарь, наконец, отдал Богу свою древнюю душу. И сразу Шарлотта вместе с сонмом других баб занялась туалетом покойника; по законам селения труп надлежало предать земле немедленно после завершения гигиенических обрядов. Как ни торопились, а приготовить тело раньше полуночи не удалось.

— Братья, сестры! — говорил охрипший от тумана пастырь; изо рта его вырывались клубы гнилого пара. Дюжина разноцветных огарков теплилась вдоль стен молитвенного дома. Ветер обрушивался на крышу сразу со всех четырех сторон, налетая откуда-то с Лабрадора, Новой Скотии и Святого Лаврентия. — Братья, сестры! Перед этим омерзительным явлением, каковым является смерть, нам остается только стиснуть зубы и пропеть молитву. Слава Творцу и Его святым! Слава земле, небесному телу, поднявшему тяжесть плоти! Слава Агнцу, закланному на подступах к жизни! Слава Святому Духу, дышащему повсюду, где мы! Отче наш иже еси...

Проскандировали древнюю молитву (несколько на православный лад), и слепой старец, бодро ковыляя по мосткам, словно Голем, преследующий собственную тень, продолжал уже своим обычным громовым синайским убедительным голосом. Даже пар больше не вырывался из его рта, может быть потому, что в церкви потеплело от вздохов многочисленной паствы.

— Братья и сестры! Мы хороним сегодня нашего дорогого Аптекаря. Что значит хоронить? Это как провожать на вокзал друга, уезжающего в Австралию. Люди постарше невольно думают: конец, разлука навсегда; даже если он вернется когда-нибудь, нас уже не застанет здесь... А я отвечаю: старики, вы увидите Аптекаря, и гораздо скорее, чем молодежь! Но в царстве иных измерений как мы узнаем друг друга? Ведь все там подвергнется изменениям, а органы чувств больше не подпора. Как же мы увидим, услышим, обнимем старых друзей и врагов? Кто встретит там Аптекаря и скажет уверенно: «Вот брат из моего селения, он готовил хорошие сиропы и не обсчитывал»? На это отвечаю согласно

Писанию: всемогущий Бог, создавший все и вся; неужели Ему трудно опознать Свое творение? А вы, братья и сестры, неужели вы не различите присутствия Божьей славы? Ночью, в темноте, между созвездиями, за порогом Млечного Пути, в другой бесконечности все встретят и прославят своего Создателя. Но если это так, то и друг друга мы узнаем через Бога. В Боге вы увидите и себя, и Аптекаря; в последнем раскрывается и Бог, и вы сами. Правильное разрешение этого вопроса для нас важнее здесь, на земле, чем в другом мире, ибо оно нас учит, как жить сегодня, тут! А теперь споем гимн: «Беззащитны, тьмой объяты, бедствуют ученики».

— «Помнишь ли Ты нас, Учитель, помоги, зовут они», — отчетливо подхватили озабоченные прихожане.

Затем слепой продолжал, бодро и шумно:

— Я вам часто объяснял, что бесконечностей мною и они разного калибра. И как бесконечность точек на линии меньше бесконечности кривых в пространстве, так, скажем, неповторимость человеческой личности разнится от таковой же Господа Бога. Первое доказал математик Кантор, но в другой форме то же самое утверждал и апостол Павел. Аминь.

— Аминь.

— Если бы чужой и посторонний вошел теперь к нам сюда и спросил: какую память оставил Аптекарь в селении, то мы должны были бы прежде, чем ответить, подумать. Ибо наше слово зачтется ему на Страшном суде. И я говорю: Аптекарь, ты был на земле подобен своим весам, взвешивая тела безупречно, с точностью ангела. Как и весы, ты должен был стоять на ровном месте и соразмерять всегда собственное суждение с внешними условиями давления, температуры и притяжения. За это тебе хвала и прощение грехов.

— Аминь.

— Если под влиянием страха, горечи или алкоголя ты становился на топкий грунт, то стрелка весов начинала немедленно плясать, и этим объясняются ошибки твои, вольные и невольные. Но в трезвом состоянии Аптекарь отмерял с точностью Божественного провидения, в особенности когда дело касалось ядовитых специй. Он ухитрялся верной рукой отделить и отвесить десятую долю грана, распределяя ее поровну между дюжиной пилюль. За эту верную руку и мудрую душу артиста — Бог его помилует. Аптекарь славил Отца сиропами, пластырями и на-

стойками подобно поэту, воспевающему Создателя в стихах. Аптекарь доказал свое божественное происхождение тем, что, подобно своему Творцу, умел извлекать добро из зла, пользуясь ядовитыми и взрывчатыми веществами для целебных надобностей. Из слюны кобры или сока кураре он изготовлял чудесные эликсиры, доказывая этим, что в мире все добро; дурно только применение этих опасных частей, искаженных в своей пропорции. Даже смерть и грех, подобно стрихнину, в малых долях могут оказаться во спасение...

Старик, несмотря на всю свою жизненную силу, заметно ослабел; возможно, что неожиданная для него кончина Аптекаря, с которым его связывала чуть ли не полувековая дружба, подействовала на него особенно удручающе. Во всяком случае он часто прерывал свою речь и жадно глотал студеную воду из стакана. Конрад заметил (с профессиональной прозорливостью), что, когда голос начинал изменять проповеднику, он обращался к прихожанам с требованием спеть гимн (что давало ему временную передышку); Конрад знал эту тяжесть и ответственность командира в походе, не желающего показать свою слабость, и весьма сочувствовал пастырю.

— Не забывайте, что Аптекарь с юных лет имел в своем распоряжении средства, способные угробить любого недоброжелателя. Я знаю, что на Дальнем Западе ему случалось убивать врагов в честном бою. Но он никогда не пользовался дарованными ему Богом талантами для сведения личных счетов. Слава Богу, аминь.

— Аминь, — пропел хор слушателей.

— Аптекарь умел искусно разбавлять страдания сном и галлюцинациями; он блаженством обморока сглаживал углы жестокой жизни. Его деятельность служила доказательством общности боли и радости, сна и бодрствования, видимого и скрытого. Он всем помогал, но ему никто не сумел помочь. Не стало искусных рук, чтобы отмеривать и отвешивать освященные дозы: мастер изнемог. И только другой Мастер в состоянии теперь его оживить, повернуть смерть в жизнь, грех во спасение, ложь в правду, используя, если нужно, даже слюну Гога и Магога. Тот великий Аптекарь, что сотворил все травы и корни, хотя и не назвал их, не описал, сказав только: «Добро зело». Плоды исцеляющие, соки спасающие, зерна омоложающие, стручки воскрешающие, зелье, отмывающее все грехи, белее снега убеляющее. Этот великий Фармацевт отмерит на глаз и будет точен; отрежет без аршина, и

придется впору. Он владеет чудодейственным эликсиром, секрет которого всю жизнь неутомимо искал наш Аптекарь. И это зачтется нашему брату, ибо сын идет по стопам Отца. В новой жизни, под новыми звездами Аптекарь рядом с ангелами станет раздавать целебный бальзам всем даром! Жаждущий истинного облегчения получит его. А наша заслуга сегодня в том, чтобы опознать без ошибки по едва заметным следам божественное в человеке, человечное в звере, животное в растении, растительное в минерале и кристаллообразное в газе. Все во имя Отца, Сына и Святого Духа.

— Аминь! — рявкнул хор, радуясь и гордясь.

Темная ночь уже посинела и словно вылиняла, готовясь к дальнейшей метаморфозе, когда грубо сколоченный гроб с останками понесли вокруг селения, останавливаясь у изб ближайших друзей Аптекаря. Там женщины голосили, прощаясь с телом до поры до времени, а мужики угрюмо пели гимны, и их глаза при свете дымящихся плошек и факелов опять напоминали о тихой тайне карточных королей, дам и валетов.

— Ибо в царстве теней нет тени! — выкрикивала Шарлотта, по-видимому, довольная всем происходящим.

Затем гроб понесли к прудам и погрузили на пышную, разубранную коврами большую плоскодонную лодку. В сопровождении неожиданно появившейся целой флотилии легких суденышек процессия пустилась вниз по каналам и протокам в сторону Больших Озер; там на заливном лугу, в самом незащищенном месте, далеко от села было расположено кладбище. На этот раз Конраду позволили участвовать в похоронах.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Похороны

Уже светало. По склонам гор и холмов виднелись сиротливые полоски культивируемой земли: бревенчатые крепкие избы одиноких хлебопашцев сползали в долины. Из лощин, сверкая белыми жабрами, высовывались узкие потоки воды; иногда мелькала туша многоцветного озера, резко обрывающегося над самым лесом. Рогатые головы коров плыли в воздухе над котловинами; их ноги еще утопали в тумане. И все неровное пространство вдали,

словно выставленное напоказ, производило впечатление картинки из хрестоматии.

Воздух, перемешанный с туманом и светом, лениво слоился кругом. Проходили века и эоны, а здесь все оставалось по-прежнему. Пахарь ковырял сохой чернозем, орошая потом свои поля и поля истории (вне большого текста) в стороне от столбовой дороги жизни, без рыцарей, поэтов, готики, гладиаторов и борьбы классов. Рождались дети, и если вырастали, то продолжали труд предков или уходили прочь, исчезали навсегда за лесом, за озером, за горами.

Конрад жадно дышал густым, тяжелым воздухом, чувствуя себя Гулливером в стране крошек; отсюда ему было видно приблизительное направление водного пути. Убегая, им предстояло, в сущности, преодолеть только несколько критических узлов, подъемов и спусков, все остальное уже не представляло особых затруднений (разумеется, если не будет погони и перестрелки).

А между тем пышная лодка с останками Аптекаря плыла по рекам и осколкам озер, похожих на разбитые блюдца, из которых течет молоко или мед. По-осеннему голые и озлобленные деревья шумели над самой головой в узких протоках; флотилия плоскодонок, еще озаренная дымными пахучими факелами, проносилась в громе религиозных гимнов, ведомая неистовым слепым проповедником и грозной Ипатой на манер большой истории человечества, шествующей мимо изб и нив оглушенных крестьян, закоснело ковыряющих свой огород.

Кругом все напряженно струилось — вода, воздух, дым, песня и свет раннего сурового нового дня. В некоторых местах переправлялись через пороги и водопады; несмотря на гомон и внешнюю сумятицу, вся работа производилась споро и ловко.

Кладбище, как уже объяснили Конраду, было расположено в непосредственной близости к Большому Озеру. Поле, вероятно, было тоже когда-то покрыто водой и теперь, неровное, производило впечатление изрытого клыками вепрей. В дождливые месяцы, когда разбухают ручьи, погост опять окатывают волны и уносят далеко освобожденных из своих домовин покойников. Иногда отважные путешественники или купцы, возвращаясь из опасного плавания, встречали прикованные ко льду скелеты с пустыми, тихими (как у королей, дам, валетов) глазными впадинами.

Небо над озером было грозное, словно на картинах Делакруа. Шум обитателей селения становился громче и неистовее. Кстати,

по пути они не только пели гимны, но и часто прикладывались к плетеным бутылкам. Хмелея, люди становились одновременно и шумнее, и угрюмее. Одни орали так просто, без смысла; другие пели псалмы; третьи палили из ружей и даже из старинной пушки. Она стреляла маленькими ядрами, которые увечили только при прямом попадании; разумеется, этот чугунный апельсин мог прошибить борта лодки. Но предельную дистанцию и точность прицела Конрад установить не мог.

Похоронив, как полагалось, Аптекаря у подножия большого камня (вероятно, занесенного сюда еще арктическими ледниками), народ уселся на лугу в виду необозримых мутных вод и занялся богатой, разнообразной закуской. Соленая, вареная, копченая рыба, грибы, ягоды, корешки, овощи, сало, телятина, баранина, птица. И, разумеется, опять плетеные бутылки.

Молодежь быстро развела несколько больших и ярких костров, и сразу начались танцы, песни, хороводы. А затем состязания в ловкости, силе или талантах. Парни прыгали через ямы, наполненные водой, метали пудовые камни и мешки с ядрами, стреляли из луков. Девушки боролись, бежали наперегонки и плясали.

Старики и старухи неукоснительно прикладывались к флягам и постепенно разогревались. У главного костра, где восседала элита, велась степенная беседа о Царстве Божьем, о двух Лазарях, о гласе вопиющего в пустыне. Конрад, переусердствовавший в отношении яблочной настойки, целовал попеременно то Янину, то Ипату, то даже Матильду в скрипящем корсете; он звал Хана и мельника на шахматный бой, уверяя, что без ферзевого гамбита тризна по Аптекарю не будет совершенной.

Янина блаженно посмеивалась, иногда, впрочем, отрываясь от Конрада и ухаживая за Бруно, подавая ему пирог или окорок. Ипата возвышалась рядом с мужем как тяжелое и нежное изваяние. Старики таинственно мигали, моргали тихими глазами; проповедник устало ходил от костра к костру, подбадривая одних, призывая к порядку других (иногда даже пользуясь своей железной витой палкой). Только Бруно, по-видимому, страдал, с трудом переводя булькающее в груди дыхание; он сидел, как пленник, которого дикари привели в свой стан и теперь готовятся зажарить. Строгим вопрошающим взглядом обводил юноша прилегающую местность, точно гадая, откуда еще может прийти избавление.

Волны озера бились за песчаной грядой; доносился злобный короткий вой обиженной, рассчитывавшей на больший простор стихии. Было ясно, что при весеннем разливе от этого кладбища не останется и мокрого места: останки Аптекаря поплывут за тридевять земель. Конрад, наконец, догадался, что это не случайность, а, по-видимому, так нарочно подстроено в соответствии с волей патриарха. Но мужики и даже Ипата, которых он расспрашивал, только удивленно отнекивались; особенно настаивать Конрад не решался даже в разгар праздничного веселья, зная уже подозрительность и крутой нрав своих односельчан. Теперь для него не оставалось никаких сомнений насчет того, какой путь бегства избрать; все казалось вполне достижимым.

Конрад несколько раз дружески и покровительственно потрепал по плечу мягкотелого Бруно, даже шепнул:

— Скоро, скоро кончатся твои страдания здесь.

Янина возвращалась из хоровода веселая и вспотевшая, излучая жизненную священную энергию. Местные женщины отлично плясали, но чувствовалось, что они принимают участие в какой-то приятной, но требующей упражнения спортивной игре. А Янина танцевала так же естественно, как другие ходят или стоят. Конрад любовался ею до того откровенно, что даже оглядывался на соседей, на Ипату или слепого пастыря, точно приглашая их разделить свой восторг, что смешило мужиков кругом, а некоторых и начинало сердить. (Впрочем, то тут, то там уже возникали унылые драки, и палка проповедника мелькала над кустами все чаще и чаще.)

Огонь в кострах шипел, дымил, припадал к обожженной земле и вдруг снова вспыхивал убедительным пламенем (в него вместе с мокрыми дровами подсыпали горсть пороха). Водка и состязания разжигали в толпе древние отклики. Даже Конрад, чужестранец, испытывал влечение к подвигу и славе: захотелось чем-то отличиться. Так как он с самого начала решил не показывать согражданам своей физической силы, то теперь выступил с подобием литературного произведения — что-то вроде белых стихов, выговариваемых речитативом.

Впрочем, все свершилось неожиданно, точно его подталкивали таинственные, незримые, но реальные силы. Дождавшись конца баллады, исполненной Шарлоттой и Домиником, Конрад, перебирая струны старинной гитары, начал так:

Юноша жил тогда еще в родной семье,
Окна дома выходили в темный переулок.
Ворота на запоре, и ночью надо перелезть через забор.
Как только юноша сворачивал в тупик,
Уже издалека ударял навстречу свет из окошка.
О, сияние родных окон, о, сияние дорогих очей,
О, сияние Бога, сотворившего свет!
Свет расходится волнообразно. Мир исполнен света и Бога.
Понесем свет за пределы бытия и Бога, в царство тени, аминь.

— Аминь! — подхватили старцы и старухи у костров. — Аминь!

— Юноша знал, — выговаривал Конрад, перебирая металлические струны, —

Дома его ждет хлеб, мясо и, может быть,
(оставлена отцом) рюмка самогона.
Отец уже в постели, читает старые речи Милюкова,
Заодно ругая Ленина и Керенского: «Мерзавцы, до чего довели!»
Две сестры заканчивают день эмигрантского плена:
Чем меньше посуды, тем чаще ее мыть,
А две пары белья надо латать и латать.
Толстый молодой кот прыгает с койки под стол:
«Мяу-мяу, идет брутальный юноша, полный сил».
— Вернулся, — скажет отец (поверх золотой оправы
российских очков), — вернулся новобранец.
Видишь, и уходить не стоило, я говорил:
Сидели бы вместе, в карты или шахматы сыграть...
Корнею после угара собрания, где читали «Двенадцать»
Блока (провожая Марину, первый поцелуй в женскую грудь),
Чудится: действительно, и уходить незачем было,
Сидели бы все вместе, шлепая королями, валетами, тузами.
Тогда жизнь представлялась еще юноше, как блистательный бой:
Он — прапорщик с горстью пехоты, бегущий на штурм
(Полковое знамя полощется над головой).
Вот уже близка цитадель: науки, искусства, любви и добра,
Совершенства и силы, духовной, биологической. Ура!
Играет оркестр, еще и еще; через вал и в штыки.
Ура и ура, с нами Бог и Жанна д'Арк.
«Если возвращаюсь, то незачем было уходить», —
Шепчет юноша, бредя темным переулком навстречу

Освещенному окну, где продолжается
еще знакомая жизнь.
Рядом в соседнем дворе обретался пегий пес,
Голодный, презлой и обездоленный:
Он цеплялся за своих грубых хозяев,
Не получая хлеба или ласки взамен.
Если бы пожелал, мог бы, воистину, называться ничейным,
Но он выбрал подданство, ненавидя переселенцев,
Явившихся издалека и пьющих чай далеко за полночь.
О, скольких таких потомственных псов
Юноша встречал, передвигаясь на запад и за океан!
Создавалось впечатление, что эти пегие собаки —
Часть почвы и стихий: без них зерно не умрет.
А если не умрет, то и не воскреснет.
Раз совершенно бесшумно, точно в древней сказке,
Кобель подкрался к юноше и вцепился в икру.
Корней глубоко понимал тогда метафизику этого пса
И даже не смазал йодом укус (вопреки советам отца и сестер).
«Не бешенство, а Ленин, Адлер, Фрейд и Павлов двигают собаками,
И только собаками!» — уверял юноша и повторял потом
На других континентах, когда его кусали пегие ищейки.
Тогда юноше впервые померещилось... Он бредет по окраинам
Млечного Пути; сзади подкрадывается чудовище с тонкой
Вытянутой шеей, как у созвездия Пса, и молча вонзает острые зубы.
Страшная битва предстоит Корнею на новом пустыре.
А вдали
Одно окно сияет: там тоже отец в постели, две сестры за посудой
И толстый молодой кот прыгает с койки на теплую лежанку.

Так закончил Конрад, сам удивляясь силам, вызвавшим к жизни эту поэму. Как ни странно, декламация под аккомпанемент гитары произвела плохое впечатление на подвыпивших слушателей; все только ждали знака проповедника или Ипаты, чтобы обрушиться на новоявленного сочинителя. Фома ловко отполз к другому костру, ожидая немедленной потасовки (где и притаился на манер беспомощной ядовитой змейки).

Конраду не полагалось упоминать о своей мифологической жизни у рубежей Европы. «Надо, однако, узнать подробнее мою биографию», — брезгливо хмурясь, подумал Конрад, сердясь на себя за нелепый промах, совершенный исключительно под влиянием алкоголя. (Кроме того, что он жил в Чикаго, где встретил-

ся с молодой Ипатой, а потом уплыл в Корею, ему ничего не было официально известно о своем прошлом.)

К счастью, Бруно, все время молчавший и, видимо, плохо переносивший перипетии тризны, вдруг вмешался и в свою очередь начал вспоминать эпизоды из детства или, точнее, прадетства. Народ вокруг костров охотно слушал его рассказы, не меняя, впрочем, хмурого и грозного выражения лица и не забывая то и дело прикладываться к фляге.

Ребенком с розовым обнаженным пузом Мы играл на песчаной отмели возле отца или деда, чья голова напоминала вершину горы, покрытую ледниками. Солнце уже исчезало, заливая косым сиянием пурпурный океан, покрытый крупными складками, словно ступенями, что делало его похожим на выпуклую безграничную лестницу жизни. Рыбы, крабы, лангусты, креветки ковыляли, уплывали, скакали, пятились назад вслед за уходящим морем. Змеи, драконы, тиранозавры, жующие папоротник киты уползали, уносились, убегали, прятались в хвощах. Гнусы, мотыльки, птицы улетали в прибрежные заросли, пропитанные испарениями кратеров.

— Ну как ты останешься один! — вздыхает дед, чья борода похожа на Ниагару. — Уйди назад, отступи на время.

Дитя заливается звонким смехом:

— Нет, на этот раз я останусь.

— Но тебя съедят, — говорит могучий старец. — Аспиды сигают в кустах.

— Никто Мы уже не слопает, — возражает дитя с розовыми пятками. — Опаснее всего была Твоя любовь.

— Страшно оставить малютку среди чудовищных теней, — все еще сомневается великий собеседник. — Помни, сын уже был заклан при сотворении мира.

— Ну, будет, чего там, право, — утешает крохотный Мы с льняными волосами.

— Вырастет Каин, невесело это. Значит, не боишься?

— Зачем бояться? Ты ведь в Мы, повсюду эллипсы с двумя центрами. Зачем бояться?

— Ну, поедим, дитя, — решает старец и крошит в лоханку сухарей, льет соленой водицы. Мы ест чудесную тюрю, равной которой он уже никогда не едал больше.

— Я помню, как Мы восхищался марсельским буйабесом перед отъездом сюда, — торжественно прерывает слепой проповедник. — Мы тогда говорил: «Божественная уха!»

Мы снисходительно оглядывается, не отвечает. При тусклом свете осеннего дня меж клубами дыма виднеются суровые, сердитые, простые и красивые лица охмелевших людей с тихими глазами; они молча жуют, глотают и словно примеряются к рассказам Бруно.

Уже перевалило за полдень, но от этого не стало теплее или уютнее. Туман низвергался с гребня гор в долину, ломаясь по пути на осколки, образуя отдельные миры, континенты. Одна мгла стояла над самой землей, другая плыла в небе, третья опускалась в озеро, четвертая змеей уползала в ущелье.

Торопливо и как-то внезапно собрались домой. Против течения тяжело было выгребать; в некоторых местах таскали лодки на себе через узкие водоразделы.

Там, далеко, на склонах пухлых холмов, добродетельные крестьяне что-то такое делали, неторопливо и с достоинством; снизу их занятия представлялись вроде праздничного хоровода или другой лирической забавы.

В трудных местах Мы, Ипата, проповедник выходили на берег и брели скользкой тропинкой, предоставляя хамам таскать суденышки. У одного такого подъема Конрад с Яниной свернули в кусты; когда они догнали остальных, все уже сидели по местам, готовясь к последнему звену пути по прудам, соединенным каналами. Бруно, тяжело переводя дух, сказал:

— Хочешь, делай скорее! А так дальше Мы не согласен.

Янина, сидевшая рядом с ним, радостно шепнула:

— Все уже решено. Больше нельзя ждать. Я беременна, пойми! — Конраду не были слышны ее слова, но по жестам и гордой радости в больших влажных глазах он догадался, о чем речь, и тоже утвердительно кивнул головой, успокаивая Бруно. Пора, пора бежать. С его стороны все давно готово. Эрик после обильного угощения и малой толики денег согласился передать цыдульку на американскую сторону, друзьям. Теперь ждали сигнала оттуда, который запаздывал. (Пускаться в опасный путь Конрад намеревался только при более или менее полной луне.) Было уже упущено время месяц назад, и пришлось сызнова налаживать связь.

И вот, наконец, луна опять повисла, почти совершенно круглая, пухлая (трехмерная) и ослепительная. Рощи и воды простирались, подернутые сиреневатой пеленой. Были такие две ночи после похорон, когда весь городок словно очумел от жестокого

полнолуния и притаился еле живой, раздавленный меж складками гор. Лес, оголившись, отступил подальше от околиц, и взору поселенца открылись вдруг глухие недоступные трущобы далеко внизу. Деревня едва дышала своими дымоходами, напоминая хитрого слабого зверька, застывшего на ладони охотника и притворяющегося мертвым. Дождь прекратился, туман рассеялся, и пыльца лунного света ощутимой тяжестью падала на поверхность земли. Люди, звери, растения страдали от бессонницы и наутро выглядывали из своих хат, логовищ, расщелин изнуренные, точно после стихийного бедствия.

Впрочем, никакой катастрофы в действительности не произошло; маятник, качнувшись высоко в одну сторону, начал очень быстро падать. Несущественно, что пишут в учебниках; обитатель селения знал, что для полного ущерба потребуется всего три-четыре дня. И глядя на изуродованный, откушенный профиль луны, он со вздохом вспоминал, что еще только вчера мир был залит густым воском и медом — отражением славы Господней.

А между тем дневная жизнь в селении проходила по раз и навсегда заведенному трафарету, и крайняя раздражительность Конрада легко объяснялась именно очередным полнолунием, действующим тягостно даже на старожилов.

Янина с Бруно совсем не показывались в городке, скрываясь на хуторе. Фома был обременен школой, где новый учитель (Гус) все больше и больше задавал уроков (или это так казалось, потому что дни укорачивались).

Одна Ипата могла бы заметить перемену в настроениях мужа, но она совершенно отвернулась от Конрада, почти не разговаривала с ним и только тихо передвигалась по дому (точно с опущенными руками), отлично, впрочем, справляясь с работой. Глаза ее, глубоко сидящие, острые, горели теперь торжествующим мстительным огоньком. Она перестала беспокоить Конрада по ночам, почти не являясь к нему в спальню, что его отнюдь не удручало.

Ипата довольно часто теперь подвергалась своим припадкам столбняка; она застывала совершенно неподвижно и в самой неудобной позе, точно окаменев или расторгнув узы с телом. Фома очень боялся этого полного отсутствия матери, ее кататонического покоя, а Конрад иногда даже подносил зеркальце к губам, чтобы убедиться, жива ли она еще. Его прикосновение заставляло женщину сразу брезгливо встряхнуться, отстраниться; она те-

перь довольно часто распевала балладу о дереве, на котором растут и зреют бесчисленные плоды. (Плоды умирают и гниют у корней, а дерево вечно и свято.)

Естественно, Фома страдал от этих семейных отношений и под предлогом трудной арифметической задачи уходил к тетке, где оставался ночевать; чудилось, что он готов навсегда связать свою судьбу с беглецами.

Однажды в самый разлив осенней слякоти, в полдень у Ипаты в доме за столом собралась вся семья; рванув дверь (не входя на кухню), слегка подвыпивший Эрик подбросил долгожданную телеграмму на имя доктора Корнея Ямба. Конрад тут же небрежно развернул ее и прочел вслух: «Sale accepted money deposited taxes deducted Sultan».

— Выпьем! — предложил он, развязно поднимая стакан.

— Что такое, какие налоги? — всполошился рыжий пастырь, шаря обеими руками (точно крабы) по скатерти.

Ипата с твердокаменным лицом и беспомощно опущенными руками стояла неподвижно и молча у открытой печи.

— Мое имущество — лес, дачу продали, наконец, — радостно объяснил Конрад, наливая себе еще сидра. — Вот куплю всем подарки, Фоме моторную лодку.

— Ну, — равнодушно отмахнулся слепой старец, — деньги — грех! — и снова принялся за пудинг.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Бегство и свадебный пир

В эту ночь Ипата пришла к нему, и они долго боролись без слов; у него было чувство, что он принимает участие в поединке и отступиться нельзя. Все, что могло пригодиться в постельном творении, было пущено им в ход, а она требовала все больше и больше; казалось, только молитва могла спасти Конрада, даровать ему победу. (И он молился.) Наконец, словно насытившийся сосцами волчицы щенок, Ипата отвалилась и блаженно замерла в кататоническом покое; Конрад готов был поклясться, что даже сердце в груди ее остановилось на время. Осторожно он высвободился, оделся и, как было условлено, за час до рассвета прибежал задворками к Бруно в пещеру.

Там его уже давно ждала Янина в платке и пальто, обутая в знакомые полусапожки («Надо будет сразу купить весь гардероб», — успокоил себя Конрад). Бруно был ростом больше шести футов, весил 240 фунтов. Но закутанный в шаль, неловкий и беспомощный, он чем-то напоминал Фому, которого покорно держал за ручку. Все они несли по маленькому узелку с личным скарбом.

Городок окоченел на полуобнаженном скате горы; стояла особенная тишина холодного рассвета. Ветер менялся где-то далеко под влиянием океанского прилива; после минутного затишья он ударил с удвоенной силой с противоположного конца. Луна, еще раздутая на три четверти, жестоко сияла. Обнаженные деревья со стоном пригнулись, застигнутые врасплох новым порывом вихря; вся роща взволнованно шумела, готовясь к таинству жестокой зимы. Вверху, несколько в стороне, осторожно мигая цветными огоньками, мужественно рокоча, пронесся тяжелый самолет с ракетным двигателем. Конрад с удивлением и завистью поглядел ему вслед.

Беглецы гуськом добрались к трехэтажному недостроенному зданию, где обретался Хан с многочисленными домочадцами (там, по преданию, когда-то исчез без следа отец Фомы). С трудом приоткрыв разбухшую дверь, Конрад проник на широкую лестницу и первым устремился вперед; с площадки они по мосткам спустились на вторую сторону, к нежилому флигелю, и пробрались на заднее крыльцо, расположенное почти у самого края оврага. Из окна жилой половины свесился букет маститых голов, должно быть, Хана, Карла, Ника и нескольких баб; они беззвучно смотрели вниз, выдыхая серые клубы пара.

Беглецы быстро перемахнули через полусгнившие кладки и сразу очутились над яром, поросшим сухими теперь кустами ежевики; оттуда ударил запах гнили и рев взбесившегося ручья.

— Туда? — доверчиво спросила Янина. Конрад догадывался, чего стоило жителю селения переступить этот запретный рубеж.

— Да, — бодро подтвердил он, прислушиваясь к гомону сзади: Хан, Карл и Ник о чем-то спорили.

Схватив под локоть Бруно, Конрад ринулся вниз. Янина с Фомой следовали за ним. Покатились вглубь, точно в сырую могилу; лозы хлестали в лицо. Холодная испарина плотно припала со всех сторон к телу. И этот пряный запах — перезрелых роз или разлагающегося трупа. Точно кругом много и долго распадались на составные части грибы, корни, цветы, живые существа и теперь шла магическая медленная работа по их восстановлению.

Несколько раз падали, ударялись о сук, пень или поваленное дерево. Траурный свет луны под пологом кустарника и лозняка все же помогал выбирать направление. Но время совершенно потеряло свое значение: казалось, действие происходило по ту сторону часов. Упав на дно и захлебнувшись в первом горном потоке, они выбрались на сухую площадку и здесь немного отдышались; постепенно сознание собственной жизни, кожи, расположения вещей и органов вернулось к ним, но без надлежащей стойкости. По мере того как беглецы выбирались из трясины на кочку, из леса на гранитные утесы, из тьмы в полумрак, их ощущения тоже претерпевали соответствующие метаморфозы, то совершенно теряя привычные формы и представления, то опять ступая твердой ногой на знакомый берег сознания. И в памяти сохранилось именно это чередование различных миров с несходным протяжением времени и пространства.

В какую-то страшную минуту они наткнулись на катившегося кубарем за ними с горки медвежонка, друга Фомы; Конрад жестокими криками и даже палкой заставил его отстать, несмотря на просьбы мальчика. (Бруно и Янина молча смотрели, как косматый зверь, поняв, что от него требуют, пополз опять наверх; Фома всхлипывал.)

Перебравшись благополучно через сеть мелких потоков, беглецы чуть не утонули в одном покрупнее и глубоком, внезапно развернувшемся в стремительный канал. Это их задержало на лишний час; Конраду пришлось дважды переплыть этот рукав, выгребая наперерез течению: то с Бруно на спине, то с Фомой (Янина сама справилась). Над водой уже рассвело.

Промокшие, озябшие, усталые, но бодрые, выползли они на противоположную, покрытую лесом сторону, где их встретил рой насекомых, жаливших с яростью ос. Отбиваться от этого сонма дьяволов было, как сражаться с тенью, стараясь ее рассечь саблей. Несмотря на визг Фомы, пришлось продолжать путь напролом. Родного селения одно время не было слышно совсем; однако с некоторых пор оттуда вдруг начали доноситься глухие шумы, словно бой набата или отрывистый женский вой (в котором Конрад боялся признать голос Ипаты). Не сговариваясь, путники ускорили бег. Бор становился глуше и запущенней; несколько торфяных болот заставили их опять плутать. В одном месте Бруно увяз по пояс в трясине, и Янина, первая подавшая ему помощь, чуть не угодила туда тоже.

И вот, наконец, они выкарабкались на широкую, утрамбованную грунтовую дорогу. Солнце вполне освещало верхушки статных сосен и пробитый путь; но там, внизу и в глубине, откуда они только что выползли, все еще парил ядовитый туман.

Вблизи, как часто бывает в настоящем лесу, все выглядело просто, ясно и торжественно, словно в пустой церкви со множеством потушенных больших свечей. Фома уверял, что они приближаются к сказочному замку в заколдованном парке. Конрад, который теперь был весь в движении и действии, не мог по заслугам оценить этот образ: вспомнил о нем лишь несколько лет спустя.

Где-то здесь поблизости предполагалось встретиться с друзьями (если, конечно, беглецы не слишком отклонились в болотах). Конрад послал Янину с Фомой вверх по дороге, а сам (с Бруно) пустился в другую сторону.

Янина, подхватив мальчика, скрылась за поворотом; вообще за все это время, несмотря на чрезвычайные препятствия, она ни разу не отстала. (Только вид у нее был, пожалуй, чересчур торжественный, обреченный.) Конрада всегда в критические минуты тяготила не конкретная опасность, а мысль о слабых спутниках и возможном предательстве, вольном или невольном. За свою подругу ему явно нечего было бояться.

Пробежав за руку с послушным Бруно около четверти мили и не встретив ничего примечательного, Конрад повернул назад. Шагах в двухстах от места, где они расстались с Яниной, им послышались звучные голоса, и вскоре на дороге зачернел лакированный большой лимузин (только теперь Конрад сообразил, что интонации речи были в селении совершенно иные. Даже Бруно неожиданно улыбнулся навстречу бодрому и веселому смеху).

Посередине шоссе стояли Янина с Фомой, окруженные молодыми, бородатыми, атлетического сложения и роста людьми; несколько таких же отважных и оживленных лиц выглядывало из окон машины (причем их бородки казались особенно живописными на фоне черного «линкольна»).

Сид подкинул высоко Фому и бережно поймал его: тот нежно прижимался к богатырской груди. Янина улыбалась влажными, счастливыми глазами и беспокойно озиралась (издалека маленькая головка ее напоминала муравьиную). Султан, размашисто жестикулируя, рассказывал что-то девушке; он был примерно в два раза выше ее и значительно тяжелее: их фигуры рядом заставили Корнея залиться счастливым смехом. Свершилось! Ведь он

ждал этого, рассчитывал, подготавливал кропотливо. Но когда они сошлись на условленном месте почти с математической точностью, ему стало ясно, что произошло нечто чудесное. Чудо воплощения мысли и усилия. Божественное чудо акта, творения, материализации духа.

Другие, может быть, не чувствовали того же самого или не могли этого объяснить, но у всех было ликующее настроение, словно победа уже обеспечена вполне. А между тем за ними по пятам или в обход (наперерез) давно уже мчалась погоня, и трудностей было еще столько впереди, что Корней отказывался даже их обсуждать. Он вдруг заметил в стороне у обочины свежеободранную (еще в кляксах свернувшейся крови) медвежью шкуру; что-то знакомое почудилось в этой лоснящейся, с синеватым отливом шерсти. Конрад сделал незаметный знак, и двое его друзей, сразу сообразив неладное, свернули мех и упрятали в багажник; Фома ничего не видел, влюбленно припадая к могучему торсу Сида. Только Янина удивленно покачала головой, все так же влюбленно улыбаясь Корнею, что удивило последнего (ожидавшего слез или упреков за нелепую расправу с медвежонком).

По данному командиром сигналу все поспешно уселись в лимузин; машину вел похожий на гладиатора Сид. С ним рядом сидел его друг детства Султан (герой многих революций на Карибах) и Янина с Фомой. Сзади, кроме Корнея с Бруно, поместились еще трое: Нунций, Клим и Нил. Их сильные и гибкие тела ловко расположились в самых неудобных позах.

На ходу раскупорили бутылку и вторую нью-йоркского шампанского, чокнулись. Еще раз. Друзья, перебивая, обменивались вопросами, ответами, замечаниями и шутками, возможными между людьми, разделяющими те же интересы и навыки. Чувствовалось, однако, что Корнея не только любят, но и почитают как старшего.

По давно утвержденному плану выбраться отсюда им предстояло водою. В десяти милях на запад в неглубокой бухте путешественников ждал старый двухмачтовый бриг, вполне оборудованный для плавания по Большим Озерам; на борту имелся даже маленький дизель для маневрирования. Командовал судном Андрей де Кастер (сын пресловутого адмирала и учителя жизни Боба Кастера), тайком от родителей согласившийся участвовать в этой авантюре.

Если добраться к «Сигору» (так звали яхту), опередив погоню, и успеть поднять парус, то удача казалась обеспеченной: на ко-

рабле имелось огнестрельное оружие. Но, по уверениям Янины, знакомой с местными нравами, туземцы устремятся на своем легком флоте в губу залива (волоча лодки через перешеек), норовя отрезать таким образом беглецов от подступов к гавани. Обычно эта уловка вполне удавалась проповеднику или Ипате, когда они преследовали важного отступника. И горе ему, настигнутому родными фанатиками в этом лабиринте бухт, мелей, зарослей и утесов.

Тут, в крайнем случае, Корней рассчитывал использовать последний козырь — Фому, которого он и прихватил как ценного заложника. Отправляясь в опасную экспедицию, начальник приготовил несколько вариантов защиты, но неожиданное завоевание Янины смешало все планы и открыло новые возможности, что сразу, без ложного стыда, поняли его товарищи.

Опять и опять чокались молодые люди, опорожняя изрядный запас шампанского; один Сид не пил, держа обеими руками тяжелый руль и, не замедляя хода, вел могучую машину по излучинам падающей вниз лесной дороги. Кругом друзья пели и читали стихи, прославлявшие любовь и отвагу, молодость и счастье. Султан рассказывал, как он под утро голыми руками задушил бросившегося на него медведя (Корней только искоса глянул в сторону Фомы: тот безмятежно спал). Опьяненные радостью, они воспринимали как доброе предзнаменование все, что попадалось навстречу (даже неприятное). Так, гигантская колдобина, заполненная жирной грязью, вызвала общий смех, хотя пришлось вылезти из машины и поднять увязший задок. В другом месте беглецы заметили мертвого опоссума, брезгливо лежавшего у обочины спиной к проезжающим, к дороге, к жизни; зимнее солнце нежно играло в его холодной, потускневшей уже шубе. Даже это обстоятельство вызвало восторженные клики всей компании, поспешившей опять наполнить стаканы.

Чокались и пили, галантно целуя руку Янины, восхищаясь ее красотой, умом и молодостью, поздравляя начальника с такой добычей. Особенно умилял молодых людей старинный акцент девушки — многовековый сплав древнефранцузского, великобританского, голландского с какими-то южнорусскими интонациями.

Сид, не прикасавшийся к вину, внезапно громко запел балладу о влюбленной паре, спешащей в церковь к венцу лунной ночью, снежной зимою, на розвальнях... А волки окружили сани с

тройкой ретивых коней... Вот жених отрезает постромки одной пристяжной, второй. Верхом на кореннике прискакал он к храму с нареченной.

Фома, проснувшись, блаженно смеялся; ему нравились эти сильные, веселые великаны. Красивые и мужественные, они, казалось, вышли из сказки. Даже Бруно снял очки и по-новому оглядывал этих добрых и учтивых богатырей. А дорога между тем бежала под шинами, то обожженная морозом, то вся липкая от грязи, извиваясь меж холмами, поднимаясь и опускаясь. По склонам гор росли карликовые деревья, уроды, исковерканные непогодой: с одной стороны пухлые и сочные, они с другой стороны (откуда дул зимний ветер) представляли из себя жалких сухих горбунов. Вдали, отступая в серо-золотистом тумане, неуклонно обнажались враждебные гребни гор, а в центре возвышалось огромное плато, покрытое сиреневым снегом. Меж шапками гор висели неподвижные, толстые, как дирижабли или киты, пепельные тучи, из-под которых сочилась в долину ядовитая мгла. На поворотах «линкольн» вдруг повисал над обрывом; там, внизу, прямо из гранита прорастала цепкая ель, а из болота кривая береза, и пахло все сильнее разлагающимися минералами, растениями, животными. Даже время и пространство в глубине, по-видимому, распадались на составные части.

После шести бутылок нью-йоркского шампанского и целого часа кружения над ущельями с бешеной скоростью в 18 миль в час, лимузин оказался, наконец, на прямом спуске к долине, незаметно переходящей в огромную и серую тушу воды. Там, за скалами и камышами, через перешеек, отсюда невидимая, гарцевала, точно молодая кобылица, двухмачтовая яхта под командой штурмана пресной воды Андрея. (Почти рукой подать.)

По утверждению Янины, водной сетью до этого места от селения всего пять часов пути, а беглецы проплутали часть ночи и пол-утра; ясно, что встречи с погоней не избежать!

И действительно, руководствуясь слухом и полевым биноклем, Корней разглядел вскоре на бледных дюнах темные пятна разбитых на несколько отдельных групп поселян; подвижные фигуры отчаянно метались по пляжу, казалось отдавая последние распоряжения. Насколько можно было сообразить, народ, вооруженный дубинами и ружьями, выстроился на перешейке, загораживая путь; дальше, в лагуне, две-три пустые плоскодонки кружили, вероятно оторвавшись от берега.

Это был, пожалуй, самый критический момент: идти под обстрел туземцев, на прорыв, Корнею очень не хотелось. Янина в упоении показала рукой в сторону и быстро-быстро начала объяснять. Внизу, на гигантской скале, яйцеобразный старец с развевающимися космами, подняв к небу длани, благословлял (или проклинал) народ перед боем.

— Где семейная лестница? — прокричал Корней; ветром относило слова.

Янина не могла в точности объяснить, но бралась провести туда партию. Об этом секретном выходе к воде она сообщила ему только накануне.

Корней приказал всем (за исключением Сида) вылезти из машины. И повел друзей целиной в обход, по кустарникам, утесам, расщелинам и дюнам. Сид, не дожидаясь результата маневра, развернул «линкольн» и ушел назад: ему надлежало доставить лимузин в Чикаго сухим путем.

Время от времени останавливаясь и советуясь с Яниной (игравшей здесь часто ребенком), Корней упорно вел своих людей на север; потом по ее указанию круто повернул налево и вскоре оказался высоко, почти над самым перевалом, отделявшим тони и каналы от залива (где, словно на выпуклом покоробленном деревянном блюде, гордо и легкомысленно топталась на якоре красавица яхта).

Спуститься в этом месте было совершенно немыслимо. Но с одного карниза, отвесно, на самом недоступном склоне висел толстый канат с узлами, прикрепленный к скале стальными крюками альпинистов (видимо, купленными в большом городе). Об этой лестнице знала только семья проповедника, и Янине достался этот секрет в приданое.

Несмотря на близкую опасность, беглецы остановились и трижды прокричали: «Ура Янине!» В ответ со стороны перешейка раздался злостный вопль. Корнею почудилось, что он различает твердокаменные ровные нотки Ипаты. Судя по всхлипнувшему Фоме, это была действительно она. «Ура Янине!» — еще раз прогремело. Лицо девушки было бледно и страстно, как в пору жарких объятий; глаза ее, большие, зеленые, на этот раз были совершенно сухими.

Все без особого труда спустились по отвесной стене к воде; со стороны бухты к ним бежали поселенцы, размахивая рогатинами и топорами. У самого берега вертелись без цели порожние лодки;

раздобыть одну, покрупнее, не представляло особой хитрости. Беглецы погрузились и начали поспешно грести, стремясь обойти перешеек и выйти в большой залив. Стоя на плоскодонке, Корней заметил, что другая группа туземцев в утлых челнах шла со второй стороны косы прямо к «Сигору», готовясь не только помешать им подняться на палубу, но, быть может, и атаковать парусник, пока тот маневрирует в гавани. Но у этой флотилии не было достойного предводителя: пастор с Ипатой остались на берегу.

А на яхте вдруг все ожило, и густой беглый огонь из охотничьих ружей заставил преследующих остановиться вдали. Лодке Корнея удалось благополучно пристать к «Сигору», и все поднялись на палубу. Было чувство возвращения на родину, хотя эта родина вся обледенела и представлялась весьма неустойчивой на первый взгляд. Радовался экипаж судна, приветствуя прибывших, ликовали беглецы; даже Бруно и Фома громко выражали свой восторг, хотя им вряд ли угрожала настоящая опасность от рук поселенцев.

Андрей, смуглый, очень красивый для мужчины, напоминающий свою мать Сабину Кастер, сразу пустил в ход дизель, одновременно отдавая приказания относительно парусов; яхта начала медленно разворачиваться, когда еще звенели якорные цепи. Вот она упрямо поползла к выходу; несколько моряков во главе с боцманом Лукой готовились поднять главный парус.

Корабль огибал уже сторожевой мыс, служивший воротами в залив, когда рядом из тумана вынырнула флотилия суденышек; впереди на боте стояли, держась за руки, Ипата и слепой старец с развевающейся львиной гривой. Все кругом двигалось, прыгало, взлетало, только они выглядели непоколебимыми, словно вылитыми из бронзы, — судьи или мстители. Внизу вопили, свистели, стреляли из луков, ружей и пищалей; то и дело пушечка изрыгала апельсиновое ядро (после чего бот сильно черпал воду). Чугунный снаряд тяжело взлетал и шлепался впереди или позади кормы.

«Сигор», гордо выпятив грудь, без паруса принимал на себя яростный удар мелких злых волн, теснившихся у выхода на простор и словно расталкивавших друг друга локтями. Ветер с озер налетал отдельными вихрями, неся горсти крупного дождя или мокрой крупы, больно хлеставшей лицо. Вдруг над самым краем воды, низко, выплыло яркое холодное солнце, и сразу с противоположной стороны под макушкой высокой горы зажглись две короткие толстые радуги. Точно два протянутых обрубленных пальца.

— Это век излучений, — бормотал Бруно, кутаясь в шаль. Нил, полуфилософ-полуактер (ему было поручено приглядывать за пленником), весело поддакнул. — Это век излучений. Наше время — время иррадиаций, мощных, благодатных и разрушительных. А Бог есть свет. Похоже и непохоже.

Нил с беспокойством оглядывался по сторонам: парус все не удавалось поднять. Волна и ветер били прямо в нос корабля, «Сигор» шел на своем дизеле, но этого явно не хватало. К тому же утесы и мели, тянувшиеся вдоль мыса, тоже, по-видимому, представляли опасность, судя по зигзагам и маневрам штурмана. К свисту непогоды начали примешиваться стоны и крики обитателей селения, осадивших корабль и готовившихся к рукопашной.

— Что делать? И немедленно? — спрашивал себя Корней; ему очень хотелось избежать настоящего кровопролития не только по сентиментальным, но, главным образом, по юридическим соображениям. То же недоумение испытывали, вероятно, и все остальные спутники, оцепеневшие на палубе. Многие славные мужи по-разному отвечали на этот вопрос (и с переменным счастьем), но их всех объединяла одна таинственная черта, чуждая непосвященным.

На этот раз реплика была подана, совершенно неожиданно, Яниной. Стремительно подбежав по косой палубе к Фоме, прикорнувшему под тентом рядом с Бруно, она спокойно надела ему через голову спасательный круг и, подняв (сверкнул металлический протез), швырнула племянника за борт. И сразу послышался рев Ипаты, снизу заметившей сына в хлестких волнах.

— Фома, Фома, Фома! — вопили на разные лады у кормы. Одни удивленно, другие возмущенно, третьи даже радуясь неожиданному развлечению. Только голос рыжего старца не звучал в унисон (пока ему не растолковали, в чем дело). А Ипата все заливалась, словно в страшном сне: «Ффооо...» — не в силах закончить слова или произвести движения.

Только теперь становилась понятной быстрота течения: мальчик пробкой уже нырял далеко позади. Проповедник, пошептавшись с кормчим (Домиником), отдал, наконец, приказание, и бот на всех веслах понесся вслед за мальчиком, барахтавшимся на манер кота в мешке.

И точно в награду за античный подвиг Янины, счастье сразу улыбнулось морякам: парус был поднят, и ветер щедро ударил в полотнище, так что судно, резко дернувшись, уже ровно скольз-

нуло против волны, охотно повинуясь воле руля. Через минуту пресловутый мыс остался уже за плечами; в лицо бил туман, волны расступались, «Сигор», весело поскрипывая, точно на цыпочках, бежал вперед прямо, как выяснилось, на огромную одинокую скалу, угрюмо торчавшую из воды.

«Господи! — взмолились души, еще не успев прийти в себя от только что пережитого волнения. — Христос и Посейдон, спасите, помилуйте!»

Чтобы избежать неминуемой аварии, пришлось положить руль резко направо (не укорачивая главного паруса). Судно наклонилось, черпнуло воды и еще больше припало к волне: вот-вот перекувырнется (или лопнет руль). В эту минуту Корней случайно взглянул вверх на рею и заметил весело расположившегося там курносого отрока, с застенчивой улыбкой игравшего на маленькой свирели. Как бы в ответ на его усердие (музыки не было слышно), палуба мгновенно выпрямилась, главный парус расправился и, легко подхватив корабль, бросил его за порочный рубеж, слегка только чиркнув бортом о камень.

«Кто этот подросток?» — подумал было Корней и сразу забыл, дела было много. Прежде всего следовало узнать, не повреждено ли судно. Когда он снова взглянул на рею, то увидел там только слепо мотавшиеся концы снастей и желтый туман, оседающий вниз.

«Сигор», содрогаясь и скрипя всеми позвонками, резал носом мутную волну; ветер крепчал по мере того, как стихали подлодикие вопли пропавшей уже из виду флотилии поселян. Ипата, рыжий патриарх, пушка на носу плоского бота, захлебывающийся Фома — все исчезло за романтической бесовской дымкой. Двойная радуга на горе медленно бледнела, растворяясь в ртутных красках. Капитан Андрей что-то приказывал экипажу, в гуще аврала пронзительно звучал свисток боцмана. Паруса были закреплены под нужным углом, дизель выключен, и бег яхты стал ровным, уверенным.

Команда могла, наконец, перевести дух; сменившиеся с вахты люди снимали робы. Одни мылись или натирали тело жиром, другие располагались на отдых. Мулат Монблан (с большим бельмом на вытаращенном глазу) обходил пассажиров с горячим кофе и ромом. Друзья собрались в рубке и опять троекратно прокричали «ура» в честь Янины, обязанные ей своим спасением. Ее подвиг поразил этих привыкших к героическим передрягам мо-

лодых людей, и все искренне восхищались этой маленькой царственной иностранкой.

Корней, переговорив наедине с капитаном, сообщил экипажу, что собирается немедленно обвенчаться с милой подругой. И юный Андрей Кастер по установленному с незапамятных времен обычаю обручил влюбленных, соединив их руки и прочитав наугад страничку из Библии своего отца. После обряда состоялся банкет, и Корней между обильными возлияниями под общий хохот представлял жене новых друзей.

— Это Султан, — показал он на волоокого гиганта, поражавшего своими размерами даже по соседству с атлетического сложения друзьями. — Он силен, красив и добр, — продолжал Корней. — Единственный его недостаток тот, что он верен слову и не понимает шуток.

Все за столом хохотали, громче остальных — пучеглазый великодушный Султан.

— Перед нами второе поколение, — невозмутимо объяснял Корней. — Первое поколение — отцы. Они были героями, люди действия, они совершали подвиги во имя идеи. А здесь собралось второе поколение, жажда дела и способность к подвигу остались, но идеи выветрились. Поэтому мы пальцем о палец не ударим без прямой выгоды. За деньги мы добудем вам философский камень и доставим его к сроку на луну.

Опять кругом смеялись, даже Бруно чему-то улыбался под темными очками, сидя по левую сторону от новобрачной.

— А это неразлучные товарищи Клим и Нунций, Дон Кихот и Санчо Панса; только если толстый и простоватый сражается с ветряными мельницами, то благородный аскет весьма хитер и себе на уме. Рядом — Нил, самый положительный из всех. С его мнением почему-то всегда считаются серьезные и влиятельные бюрократы. Хотя учился он мало чему в школе и давно забыл пройденный курс. Вот, например, спросите у любого здесь: какая завтра будет погода? Мы ответим неубедительно: солнце, дождь, снег, град — вероятно, кажется. А вот, Нил, скажи, какая завтра предвидится погода, а, Нил? — обратился к нему Корней сухо, как старший к подчиненному.

Нил, тяжелый, круглолицый, краснощекий, с мохнатыми бровями, неторопливо поднялся из-за стола, солидно выглянул наружу, внушительно потер лоб ладонью и с чувством собственного достоинства произнес:

— Так что никак не известно, какая будет погода завтра.

Компания разразилась дружным смехом: Янина, Бруно, Корней, негр Монблан, капитан Андрей — все по-разному веселились. А Нил между тем величественно возвратился на место и спокойно осушил стакан вина.

— За красоту Янины! — поднял бокал Свен, молодой юнга, безусый, весь в крупных веснушках: обычно молчаливый и застенчивый, он, однако, быстро пьянел и тогда становился шумным и придирчивым. Глаза его, маленькие под красными веками, были почти того же оттенка, что и у Янины: серо-зеленоватые, блестящие и влажные.

— За красоту новобрачной! — поддержали его все в кают-компании. В самом деле она казалась им и прелестной, и умной, и желанной подругой. — За ее молодость и большое сердце! За ваше семейное счастье! За наше общее счастье в будущем!

— За героев и их подвиги! — возвестил Султан.

— За благополучное плавание! — раздался голос Андрея (почти не пившего вина).

— Ура!

— Еще! Еще и еще! За нашего вождя и его молодую!

Они чокались, опорожняли американское шипучее, которого вместе с провизией было припасено вволю. Нунций и Клим представляли в лицах, как Янина подхватила калеку мальчика и, высоко подбросив, отдала волнам. Смеясь и несколько удивляясь, все расспрашивали ее, как это она сообразила и когда... Вот молодец баба.

— Поздравляем начальника с драгоценной добычей! — пропищал опять Свен.

— Да-да, ура!

Нил обстоятельно рассказывал Бруно про свою невесту на юге; Бруно сидел молча, нахохлившись. Кто-то сунул ему в руку стакан вина, и он все держал его, ежась и кутаясь в старинную шаль.

— Ура, ура! — повторялось кругом.

Корнея начинал тяготить этот преувеличенный восторг; его настойчиво расспрашивали про жизнь в диком селении и как он впервые встретился с возлюбленной. Красавица, дочь патриарха и даже богатая: в приданое — драгоценный Бруно, соболья шуба и алмазное ожерелье в тяжелой оправе. Действительно, Янина к венчанию надела свои лучшие вещи.

Ее заставляли произносить самые обыкновенные слова, восхищаясь акцентом и странными оборотами. Незаметно как-то Султан и она затянули старинную песню про рыбака, уплывшего

за море, и о невесте, ждущей его по вечерам на берегу. Дуэт произвел чарующее впечатление на подвыпивших друзей. Даже капитан Андрей был тронут.

— Желаю здравствовать, — сказал он неловко, — вам и вам! — Ему было всего двадцать лет; сын знаменитого Боба Кастера и красавицы Сабины, он редко дома имел возможность выражать вслух свои чувства. — Желаю вам вечного счастья, — добавил он и беспомощно повел головой. Корней, знавший его мать, увидел вдруг ее в мягком, девственном повороте высокой шеи юноши.

Еще пели о Млечном Пути, вымощенном лакированными звездами, и о человеке, пробирающемся задворками домой; пегий пес лает за околицей. Султан бренчал на гитаре. Темнело. Волны бежали позади парусника, послушные, словно бараны. Электрическая лампочка отражалась в круглом стекле, беспокоя и раздражая Корнея (что-то напоминая). Улучив минуту, он подошел к ссутулившемуся на табурете Бруно и сказал:

— Я видел курносого отрока на рее в самую критическую минуту плавания. Светлый, почти прозрачный на сером небе, он играл на маленькой свирели и застенчиво улыбался мне.

Бруно утвердительно кивнул головой; опухшее лицо его было красно от укусов насекомых в лесу. Но вся его грузная фигура выглядела непоколебимой среди бесконечного общего вздрагивания и покачивания.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

«В море туманы, в жизни обманы»

Уже пятый день они носились по волнам Верхнего Озера при резком боковом ветре. Недаром говорится: кто в море не бывал, тот Богу не молился! Это особенно верно в отношении озер, стесненных, ограниченных и потому бунтующих предательских стихий. Стужа, снег или дождь, туман мчатся над самой водой. Навстречу попадаются похожие на чудовищ свежевырванные с корнями деревья, плывет сало, а иногда и слоеный пирог грязноватого льда.

Ответственность за управление судном несли Андрей, Лука и Нунций: остальные бездействовали, скучали, ели, пили и спали. Главной отрадой была Янина, единственная женщина в маленькой вселенной. За ней по-рыцарски ухаживали, докучая Корнею.

В связи с этим раза два даже возникали ссоры, к удивлению Янины. Но она многому научилась за короткое время. Сознательно молодая женщина никогда не давала повода к ревности, только муж для нее существовал всерьез. Даже к Бруно она изменилась, помогая ему лишь в самом необходимом. (Без нее пленник становился совершенно беспомощным.)

Места на паруснике было в обрез, и чета разделяла свою каморку с Бруно. В двух других чуланах за переборками ютилась остальная команда, шкипер с юнгой спали в кают-компании.

Магическая прелесть, шарм Янины, физиологическая радость, источаемая ею в этот период беременности, были такого порядка, что действовали возбуждающе на скученное общество. Как часто бывает при таких обстоятельствах, даже ее недостатки казались привлекательными. Все служило поводом для восхищения. Люди, свободные от вахты или других обязанностей, слонялись за молодой красавицей по палубе или, сидя на полу тесной каморки, шутили, пели, надоедая Корнею беспричинным воодушевлением. Впрочем, еще больше страдал (или ревновал по-своему) Бруно.

К этому времени никто кругом уже не сомневался, что огромное, неловкое, драгоценное для них тело Бруно не удалось бы благополучно и мирно вести за собой без участия Янины. Ее мягкие сильные ручки умиляли друзей, служа доказательством торжества метафизического начала.

Мелкие недоразумения, постоянно возникавшие между Нилом и Бруно (не отстававшим ни на шаг от последнего), или разногласия в связи с диетой показали наглядным образом, что пленник легко может разрушить самого себя, не руководствуясь обычными соображениями; он, вероятно, даже не испытывал по-настоящему боли или страха. А ведь потеря Мы свела бы на нет усилия и подвиги всей экспедиции. Между тем Янина вела за собой Бруно, точно дрессированного медведя, на легкой, почти незаметной цепи. Увалень в дымных очках следовал за ней, сразу проясняясь от ее внимания, забывая вымышленные или действительные заботы. Птица в таком настроении начинает петь, художник — живописать, а Бруно ласково объяснял, как он однажды переплыл настоящий безмерный фосфорический океан. Друзья собирались кругом и задумчиво слушали.

— Представьте себе бесконечных измерений шарообразную пучину, внутри которой тонет Мы. Чтобы всплыть, есть только

одно средство: всосать в себя весь этот гигантский пузырь, обхватить его целиком. В этом — решение вопроса. И Мы сумел справиться с трудной задачей. Но Боже, Боже, какое мучение! Много эонов спустя нечто подобное представится ребенку в дифтеритном бреду. Навстречу бьет лучистый туман, залезая во все поры кожи (или это Мы пробивается сквозь эти молекулы). Единственное спасение — начать излучать собственный свет, свои волны, отражая чужие. Огромные скопления звездных туманностей лежали, миниатюрно свернутые; они выглядели как микроскопические препараты саркомы или рака на картинке в медицинском учебнике.

Поэтому Мы утверждает: злокачественная опухоль несет в себе клетки преображения, воскресения на манер всепожирающих космических туманностей, кладущих начало новым мирам.

Бруно жмурил под темными очками красные глаза, воспаленные от космической пыли, которая осела там давно и никак не отмывалась.

Он повествовал о лиловом граде (величиной с голубиное яйцо), что падал в продолжение биллионов лет; внутри градинок помещается океан желтка, вытянутый на манер эллипса с двумя центрами. В одном из центров приютилась душа мироздания, дожидаясь отлива, чтобы высадиться на пляже. Голос старца гремел над бездной: «Души, оседайте на тверди; когда созреете, постарайтесь взрастить плоды, подобные себе, только в улучшенном виде. Сие моя тайна».

Бруно пел псалмы собственного сочинения о пустой Вселенной, где ночью расцветает голубая яблоня; плоды ее пропадают в кипящем котле, а древо вечно. Души стоят во времени, как деревья в пространстве, и не могут передвинуться по собственной воле.

Вот гора с бородой отца наклоняется под нары, шарит рукой, точно ищет сапоги; нащупав спрятавшегося там в сумерках Мы, говорит, точно выжигая слова на камне: «Ты здесь, сынок! Хочешь домой?»

«Ничего, — возражает Мы, — подожду. Только помоги, а то голыми руками трудно оттребаться».

«Дай срок, помогу!» — ласково рокочет гром; молния зажигает тальник.

Друзей развлекали эти пестрые картинки, хотя они и не понимали связи между отдельными частями вдохновенной импровизации Бруно. Они все принесли много жертв в течение трудного

похода и ждали, разумеется, причитающегося вознаграждения. Но теперь, познакомившись с пресловутым наследником, молодые люди искренне гордились его исключительностью.

Каждый из участников экспедиции оставил дома близких — родителей, жену или воображаемую невесту. Теперь они ждали соответствующей платы, мечтая обзавестись домом, семьей, наладить приличную жизнь (или закончить образование, уехать в Бразилию, где в джунглях теперь строят небоскребы). Все чувствовали необычайный прилив сил и ждали впереди самого приятного, что объяснялось общей молодостью, вином, удачной борьбой со стихиями.

То, что их добыча, Бруно, по-своему — чудо, им тоже льстило, хотя в беседах друзья неоднократно сознавались, что ждали именно чего-то подобного. Недаром ему такая цена и все за ним гоняются. Тем временем «Сигор» благополучно пробирается под резвым ветром и скоро уже Мичиган Лэйк. Ура!

Один Корней изредка со страхом поглядывал на Мы, гадая, что того ждет в Чикаго. Слишком много враждебных влияний скрещивалось над головой фантастического юноши; живой и свободный, он явно кому-то становился поперек глотки. Стало быть, опять рабство или страшная смерть в подземелье? Корней знал, что джентльмены, подрядившие его, не постесняются руками верных рабов душить, насиловать, мучить целые области, если этого потребуют сложные интересы концерна. Современные гангстеры гигантского масштаба тем и характерны, что они действуют в рамках закона, часто влияя даже на законодательство.

И дело не только в судьбе милого Бруно; вероятно, и Корнея с компанией попытаются обмануть, обсчитать или предать. Самое худшее, если за это время обстановка совершенно изменилась и живой наследник там почему-либо уже не нужен. «Впрочем, — утешал себя Корней, — не в пример восточноевропейским или китайским бандитам на Западе всегда руководствовались правилом, что дешевле откупиться от врага, чем стрельнуть ему в затылок. Удобнее, безопаснее и рентабельнее».

К тому же казалось логичным, что всю команду вместе с Корнеем и Яниной немыслимо зараз уничтожить, стереть с лица земли, даже если это выгодно. Нет, удобнее торговаться, заплатить и мирно расстаться до следующего маневра. Но в бессонные ночи Корней снова и снова перебирал всевозможные варианты, смакуя наиболее обидные и жестокие. За переборкой мощно храпели

сытые атлеты; неожиданная волна вдруг поднималась из тайников Большого Озера и перекатывалась с разбойничьим визгом через палубу; рядом мирно дышала, посапывая, точно младенец, Янина, а на полу безжизненно раскинулось тело Бруно. В беспокойные дьявольские предрассветные часы поневоле чудится всякая дрянь. Почему принимать во внимание только одну возможность? А что, если в городе кое-кому из них заплатят мелочью, дадут аванс под новую работу, другим стрельнут под левый сосок, третьих же просто пугнут, изобьют, прогонят?

Днем Корней иногда с удивлением оглядывал своих, прислушиваясь к их шуткам, и думал:

«Кто из вас, дорогие, погибнет смешной смертью? Кто предаст близких? Кто совершит глупость или подлость? Матерь Божия, спаси и помилуй!» — Беспокойство его, казалось, увеличивалось от того, что все лица кругом были красивые, мужественные, благородные; по внешности они, скорее, годились в герои, чем в палачи. Но Корней знал, что в юности вор и сутенер тоже подчас выглядят вдохновенными или влюбленными. К тому же атамана в последние дни особенно раздражали глаза его верных товарищей: смелые, ясные, полные огня и веры. Странное дело, он с нежностью вспоминал бесконечную тишину взгляда грубых жителей селения, похожих на королей и дам в колоде карт. Бывало, они его смешили или пугали, а теперь его тянуло назад к этой холодной правде без преувеличений и сюрпризов. Там Корней как будто знал, чего ждать впереди; здесь же каждый (против собственного желания) мог обмануть. Из мудрых разглагольствований Бруно убедительнее всего прозвучало замечание последнего относительно будущего: оно расположено позади, иначе мы бы его видели *перед* глазами (подобно прошлому).

Янина в это время чувствовала себя совершенно спокойной и счастливой. В своей простоте она считала, что теперь (после бракосочетания) основные задачи жизни разрешены: за Бруно дадут деньги, а их любовь все покрывает и освящает. Беременность служила последним доводом в пользу этого. Их ждет только хорошее. В таком духе она неоднократно высказывалась под шумное одобрение экипажа, догадывавшегося о тяжелых мыслях командира.

Молодая женщина давно знала и любила Мы, а теперь точно отошла от него, отвернулась, хотя и продолжала заботиться о его комфорте. Порой это даже удивляло Корнея, упрекавшего ее в легкомыслии. Между тем под грудью Янины нежно зашевелился

плод — новый член экипажа, расположившийся, согласно Бруно, на манер звездной туманности или космической саркомы. Этот новый мир сотворен Богом и Яниной с Корнеем; он — сам по себе, но каждая его клетка способна воспроизвести опять самодовлеющий мир, только в лучшей, совершенной форме. (Так учил Мы под одобрительные клики кают-компании.) «Значит, — прямолинейно рассуждала Янина, — это дитя и Мы, и всех близких красивых друзей, желающих ей счастья. Фома захлебывается в воронке — жертва, искупившая ее дитя! И проповедник, отец, благословляет бегущих. Даже Ипата косвенно способствовала зачатию. Значит, это — новое Мы, целый чудесный мир. И Янина дарит его всему миру. А Корней будет принадлежать ей и семье».

Уверенная в своей правоте и логике, она впервые в жизни кокетничала с ухаживавшими за нею милыми юношами, высекая из Корнея (в каморке) такие искры, от которых легко могло бы воспламениться суденышко, если бы не сплошной густой туман, беспрерывно лившийся сверху на воду. Примечательно, что храпевшие рядом за переборкой соседи совсем не стесняли Янину выражать свою страсть, до того она была уверена в своей правоте. Все это начинало угнетать Корнея, и он мечтал уже о перемене обстановки.

Янина тоже с нетерпением ждала высадки в Иллинойсе, представляя себе, однако, что все будет как бы продолжением предыдущего, только еще лучше, полнее, ярче.

А между тем корабль весело бежал под резким боковым ветром, неустанно преодолевая пучину. На шестой день волны стали многочисленнее (и мельче), ветер порывистее, хотя и теплее: они вошли в Мичиган Лэйк.

«Утонуть в таком месте, — думал, невесело улыбаясь, Корней, — это как погибнуть в Корейскую кампанию: ни славы, ни смысла! То ли дело Тихий океан (или Отечественная война)».

Но он ни с кем не делился такого рода мыслями. Два дня команда без устали и сна боролась с взбалмошным осенним озером, и, наконец, к вечеру в понедельник (через неделю после памятного ночного побега) Корней с женой и товарищами высадился в уединенном заливе штата Мичиган неподалеку от Чикаго; выгрузили весь подозрительный багаж, и парусник порожняком ушел туда, где его, надо полагать, поджидали таможенники.

Пришвартоваться непосредственно в Чикаго Корней считал рискованным не только из-за предержащих властей, но и потому,

что конкурирующие шайки рыскали по воде на моторных лодках, вооруженные и падкие на легкую поживу. Как потом выяснилось, действительно, банда головорезов задержала яхту, обыскала ее и на прощание ранила в щеку Андрея Кастера, так что отныне молодой женственно-красивый моряк отмечен был багровым шрамом, как тавром.

Заночевав в мотеле у большой автострады, друзья на следующее утро отправились в Мичиган Харбор; где на Мэйн-стрит между аптекой и банком заметили большой черный лимузин, единственный в своем роде. В ближайшем баре они обнаружили Сида, как всегда спокойного, внушительного и почти невероятно высокого. Его путешествие завершилось без всяких приключений: туземцы были слишком заняты кораблем, а потом откачиванием утопленника, чтобы преследовать машину, несколько дробинок и шальных стрел попало в крыло, вот и все.

Корней был по-настоящему растроган встречей: одно дело обдумать все, составить план, схему, а другое — увидеть это воплощенным до мельчайших подробностей. Он не только крепко пожал руку Сида, но и нежно погладил кузов лимузина, носившего следы многочисленных кровоподтеков и ссадин (словно ветеран героической кампании). Янина, во всем подражавшая мужу с тех пор, как они высадились, не только потрепала передок машины, но даже облобызала один из фонарей, что привело в восторг сперва Сида, одичавшего в одиночестве, а затем и других молодцов, успевших отлучиться и осушить несколько стаканов в баре. Янина, заметив недовольную гримасу мужа, испуганно отпрянула; с тех пор, как они ступили на чужую землю, молодая женщина чувствовала себя неуверенно и спешила учиться обычаям новой родины.

В холодный блеклый полдень «линкольн» въезжал в Чикаго; зимнее небо светило болезненно-тусклыми красками. Караван облаков быстро, испуганно несся над беспомощными небоскребами.

Друзья пронеслись по-праздничному авеню вдоль озера и свернули в бесконечную цепь чахлых домишек. Остановились у деревянного двухэтажного коттеджа, пропахшего кошками и отбросами. Там их встретила сестра Нила, вдова профессора местного университета, изобретателя особой линейки (на манер математической), при помощи которой, располагая данными относительно возраста, образования и семейного положения,

можно сразу на шкале увидеть, сколько этот гражданин должен зарабатывать, тратить и откладывать в любой период своей карьеры. Профессор связался с одной темной страховой компанией и в результате сложной склоки вынужден был бежать за железный занавес, не оставив соломенной вдове ничего более ощутимого, чем свою линейку (упорно показывающую, что ему полагалось теперь располагать весьма солидным капиталом). Увы, покинутую женщину кормил бедняга Нил, за что она его прямо-таки боготворила.

В этом дряхлом особнячке друзья обосновались. Вскоре к ним присоединились списавшиеся с корабля Свен и Лука; штурман Андрей с Фролом уплыли назад, на север к Св. Лаврентию, где была приписана яхта. Лука хвастливо рассказывал, как он зашивал ножевую рану на щеке Андрея. Корней, знавший отца мальчика (Боба Кастера), с ужасом предвидел в отдаленном будущем возможную встречу со знаменитым адмиралом.

В связи с новосельем и общей встречей выпили изрядное количество шипучего вина, сравнивая и оспаривая преимущества калифорнийского шампанского и нью-йоркского. Корней, однако, пил мало и не особенно веселился. Теперь начиналась для него новая полоса деятельности: опять кризис, с очередным узлом, который надлежит распутать. Всем инстинктом командира он чувствовал слабость занимаемых позиций и общую неопределенность. За протекшее время, вероятно, произошла перегруппировка основных сил, в игру, может быть, вошли новые люди с неведомыми намерениями. Ясно, что на данном этапе самое главное — это произвести глубокую разведку. Раздобыть языка! Иначе они не смогут с честью довести начатую партию до благополучного конца (короче говоря, их обсчитают самым безжалостным образом при сдаче Бруно).

— Друзья, — говорил Корней, стараясь выражаться торжественно (что нравилось подвыпившим атлетам), — друзья и товарищи! Мы благополучно завершили побег, но еще не время праздновать победу, впереди другие трудности! Мы прав: мир и война, покой и буря, аромат и вонь не противоположности, а только точки на той же прямой, и между ними можно всегда втиснуть еще одну такую же точку. Гегель разбит, но осторожнее, чтобы и нам не остаться в дураках. В чем дело, бойцы? Мы требуем обещанной суммы за товар! А желают ли с нами честно расплатиться, и, главное, нужен ли там еще этот товар? Кто от-

гадает? Стало быть, полагается произвести разведку в тылу противника. Понятно?

Так говорил Корней, а душа его сжималась, взирая на родные усталые лица соратников, на тусклые стены дома, на овощи и фрукты в корзине, на похудевшее муравьиное личико Янины с огромными, все еще влажными и сияющими, но как будто вылинявшими глазами. Его вдруг потянуло назад, в селение, в кузницу или на лесопилку, точно он по глупости оставил подобие рая и теперь должен начинать все сызнова.

За окном стремился поток автомобилей в сторону парка и богатого авеню у озера; слышен был беспрерывный шорох шин, скрежет тормозов, визг сирен. Воздух, камень, дерево, стекло — все вибрировало, пронизанное содроганиями ультравысоких частот. Волны разных планов и назначений накрест пронзали и распинали друг друга. Эта агония длилась 24 часа в сутки. Над миром стояло зарево — зрительное, акустическое, электромагнитное, биологическое (беспрерывного роста и разложения). «Век излучений» — как учил Бруно; на Бруно теперь было жалко и страшно смотреть — точно рыба на песке (так, по крайней мере, чудилось Корнею).

А в сонном селении тем временем тупомордые мужики собираются у General Store. Городок окружен хвойным бором. Дорожка вьется задворками на хутор и пасеку. Фома, как ящерица, ползет навстречу. Стальные икры желанной девушки. Шишки падают с великодержавных сосен, орешки с кедров. Утреннее солнце ласково. Да, там была тайна, и он ее добровольно оставил, предал (не раскрыв).

Янина сразу побежала в гигантский магазин и накупила уйму дешевых тряпок; она теперь носила чулки даже дома. А Бруно за несколько дней полинял, точно меняя кожу. Было жалко глядеть на него, когда он порывался вразумлять случайных знакомых относительно века излучений и грядущих перемен. Его теперь мало слушали; все разбегались с утра, жадные до городских развлечений.

Вначале Бруно порывался наружу, в парк или церковь, стремясь говорить с людьми, поучать, выполнять свою миссию. Но его никуда не пускали, держали пока взаперти. Ибо ценного пленника могли украсть или подколоть. Янина это быстро сообразила и приняла меры, но Мы не понимал таких сложностей, и его приходилось держать под замком. Обнаружилось, что Бруно

недолюбливает порядок, закон, власти, полицию; он часто теперь распевал гимн о зарождении первой молекулы воды: стражник на коне долго не давал водороду и кислороду объединиться.

Корней плохо спал по ночам. В темноте и относительной тишине его осаждали, точно призраки, возможности неудачи и провала. Не уследят — и Бруно выскользнет на улицу; его сманят, увезут, убьют. Простота и благородство Бруно помогли Корнею; враги могли воспользоваться этими же особенностями пленника.

Между тем человек, который подрядил Корнея, теперь отлучился во Флориду, что могло казаться вполне естественным, принимая во внимание близость Рождества. Но все-таки странное совпадение. Не стараются ли *там* выиграть время? И почему? Пока не ответишь на эти вопросы, надо выжидать; самое ужасное, что теперь упущена инициатива.

Остальные участники экспедиции требовали денег на карманные расходы, начиная понемногу проявлять нетерпение. Бруно жаловался на отсутствие аудитории. Янина жаждала личной жизни без посторонних, с мебелью и домашним доктором (роды приближались). Мы опять лежал на соломенном тюфяке в чулане без окон при электрическом свете: он спал, не снимая дымных очков.

Когда Янина в своих ярких дешевых платьях вбегала к нему на минутку, он недоверчиво косился, потом укоризненно качал головой:

— Мы опять теряем Мы, — говорил он со вздохом.

Янина нетерпеливо перебивала, помогала с бельем или едой и спешила уйти. Ее беспокоило: вернулся ли уже Корней от адвоката, скоро ли деньги, купить ли дом.

Она часто бродила по магазинам, рассматривала мебель, серебро, ковры, прицениваласъ. Янина успела все обсудить и решить: в два дня при средствах можно все собрать и переехать. Особенно ей нравились дешевые вещицы из пластмассы за пятак или гривенник, она приносила домой горы этих безделушек, щедро даря их.

Вскоре денег уже не хватало на ежедневные расходы; тогда друзья и соратники начали понемногу выступать с нареканиями. Янина варила огромные котлы макарон и гречневой каши (знакомой ей с детства); молодые люди вежливо уплетали ее обед, но вина и табака требовали получше и в большом количестве.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ,

в которой ведутся деловые переговоры

Тем временем на горизонте появился адвокат Ральф; он отрекомендовался представителем известной конторы «Ральф, Смит и Ральф», которая уполномочена вести переговоры относительно Бруно. Прежний агент (с болгарской фамилией) будто бы скончался в Майами от коронарного тромбоза.

Мистер Ральф, по внешности любезный и толстый холостяк лет пятидесяти пяти, вел себя вежливо и даже чутко; но платить отказывался, уверяя, что сначала полагается принять товар.

— Впрочем, задаточек, если угодно, с величайшим удовольствием, свои люди — сочтемся.

Корней возражал:

— Единственный веский аргумент в моих руках — Бруно! И с ним я не расстанусь, пока не получу сполна наличными.

Кроме того, велись разговоры о предполагаемых новых кампаниях и аферах. Корней представлялся заинтересованным.

Несмотря на взаимные препирательства и обвинения, мистер Ральф явно отличал Корнея и всячески показывал свою благосклонность. Вообще, Ямба любили в обществе гангстеров второго поколения, то есть тех, кто уже редко прибегает к помощи пистолета или кистеня: теперь их капиталы и предприятия застрахованы самым законным образом. (Так молельня старообрядцев или духоборов, бывало клеймивших технический прогресс, нынче защищена самым усовершенствованным громоотводом.)

Корнея ласкали и угощали в этой среде, несмотря на его учтивую прямолинейность и тихую сметливость: может быть, именно благодаря этим чертам. В нем ценили удачливого, дерзкого атамана, умеющего вести за собою разнузданную вольницу. Но в то же время кое-что в характере Корнея явно удивляло и возмущало мистера Ральфа. Например, воодушевление, с которым он описывал нравы селения или Бруно, честность по отношению к соратникам и, наконец, брак с Яниной. Соблазнить девочку для надобностей сообщничества — хорошо и похвально!

— Но зачем венчаться? — приставал мистер Ральф, страдальчески морщась и наполняя стаканы холодным мартини. У него была дочь, судя по многочисленным фотографиям, — прелест-

ное, анемичное существо, которая уже несколько раз затевала семейную жизнь и неудачно. Теперь Корнею чудилось, Ральф рассмотрел в нем подходящего зятя и заигрывал.

— Ну, ничего, это мы все еще устроим! — добавлял отец, посмеиваясь. — Положитесь только на меня, не пожалеете.

Но Корней ему не доверял, и это особенно бесило и привлекало пухлого адвоката. Оголенный модернистический особняк мистера Ральфа был убран абстрактными произведениями искусства. В огромном зале стоял концертный рояль (Иоланда серьезно занималась музыкой). Бар в кабинете занимал всю стену, незаметно соприкасаясь с книжными шкафами: корешки книг и ярлыки бутылок дополняли друг друга, подкрепляли. Это сопоставление огромных комнат с гигантскими силуэтами мебели, рам, ковров и зеркал особенно привлекало Корнея; ему хотелось обзавестись чем-то подобным.

В камине полыхал веселый костер, из сложного ящика со многими разветвлениями тихо струились Бах или Вивальди (Ральф знал толк в музыке). В кабинете современного головореза под успокаивающий хмель сухих мартини Корней трезво отстаивал свои права (и права друзей). Мистер Ральф, ласково похлопывая по плечу собеседника, говорил:

— Вы мне напоминаете меня самого, когда тридцать лет тому назад я начинал. Вот почему я вас полюбил и питаю родственные чувства. Неужели вы думаете, что я хочу вас обидеть?

Корней возражал, любуясь всадником на стене: он остановился у воды, чтобы напоить лошадь, а давно зашедшее солнце все еще освещало ясным пурпуром дальний угол картины.

— Лично я вам верю, откровенно скажу, вы мне вроде старшего брата или отца. Но вот моих компаньонов вы не постесняетесь обобрать.

— Бросьте их за борт, ваших товарищей, — ворковал Ральф, опытный шармер. — Я вам, entre nous, подкину лишних пять тысяч. У меня Иоланда, у вас Янина, — заливался веселый холостяк.

Корней избегал ссоры с этим монстром. Суля по тем данным, которые Ральф счел нужным сообщить, синдикат, нанявший Корнея с товарищами, ликвидировался (в связи с очередным скандалом в сенатской комиссии).

— Хах-ха-ах, — в три па смеялся адвокат. — Фирмой временно заведует Паризи, отлучившийся по делам в Монте-Карло и Сицилию; вернется он только весной, если вообще вернется здо-

ровым и невредимым, хах-ха-ах! За это время Бруно могут украсть, убить, обменять, даже женить. Да и все дело принимает смешной оборот: стороны в Риме или Иерусалиме вдруг догадались затеять личные переговоры и, по-видимому, согласны на уступки. Разумеется, если этот Бруно настоящий, то он еще ценность представляет, но ведь это надо доказать, хах-ха-ах!

Мистер Ральф только по своей исключительной симпатии к Корнею предлагает щедрое вознаграждение, Паризи и этого не даст.

— Берите, душа моя, берите, честью прошу! — И вдруг, точно вспомнив нечто смешное, не имеющее отношения к данному делу, мистер Ральф опять заливался добрым рассеянным смехом. Потом, опомнившись, продолжал серьезно: — Пока Бруно в чулане, за него никто гроша не даст, а показаться ему на улице опасно. И главное, надо спешить! Я только из одного благородства согласен дать отступного. А то — держитесь с этим выродком. Что вы из него, колбасу будете делать, что ли?

— На худой конец я стану возить Бруно по ярмаркам и циркам, покажу его простому народу. Устрою такую рекламу, что все побегут на него смотреть. И останутся довольны. Мы расскажет им секреты прошлого и будущего. Про розовый песок на узком пляже между безднами, про эллипс с двумя центрами. И Отца с бородой, ниспадающей как Ниагара. Вот вы думаете, что будущее впереди? Хах-ха-ах! — Корней довольно удачно подделал звук, издаваемый Ральфом вместо смеха. — Хах-ха-ах! А что вам известно про век излучения и как спастись от лучевой болезни? Это модная тема. Я не позволю себя обмануть. У меня еще есть козыри, и такой умный мужчина, как вы, должен об этом догадываться.

Как ни странно, это производило впечатление на мистера Ральфа, он как бы поджимал хвост и начинал ласково журить Корнея, называя его то братом, то сыном.

— Ну, возьмите по пяти тысяч на душу, — уступил он, наконец, пугливо озираясь: гигантский секретарь Ральфа с перешибленным носом боксера стоял у притолоки, сложив выразительные руки на груди и сонно покачиваясь. — Хватайте, пока я в хорошем настроении. Где вам выдержать упорную осаду! Денег даже на сухари не хватит. А молодежь обожает шампанское, хах-ха-ах! Молодой женушке тоже хочется, хочется, хочется, иначе зачем бежать из священного селения? Она скоро должна рожать, — взгляд мистера Ральфа теперь выражал явное презрение, а голос по-прежнему убаюкивал. — Ей полагается норковая шубка или

модное белье, летом — дачка, заморские страны. А там, говорят, у вас крысы бродят у бывшего профессора! У меня тоже дочь! — вдохновенно вспоминал он. — Как любящий отец, обращаюсь к будущему примерному отцу, послушайтесь меня и уступите.

Корней честно советовался с друзьями, обсуждал все предложения с Яниной, даже с Бруно. Последний был вполне осведомлен о переговорах с Ральфом и принимал в них даже некоторое участие, вполне признавая, что его особа является достоянием всей группы.

Особенно трудно стало под Рождество, когда цивилизованный город начал безумствовать, и в предпраздничной суматохе магазины буквально брались штурмом, а деньги швырялись без счета. Вот когда послышались настойчивые голоса в пользу компромисса:

— Взять по пяти тысяч на брата, и баста!

— До весны дотянем, а там что-нибудь другое подвернется!

И Бруно вдруг определенно высказался за соглашение. «Больше нельзя ждать», — решил он. Ему надоело жить в чулане без окон, без деятельности, без учеников. Янина давно уже склонялась в пользу мира; почему-то она ужасно боялась Ральфа и беспокоилась, когда муж застревал у того до полуночи. Кроме того, ей не терпелось поскорее уйти из старого деревянного гнезда и зажить наедине с Корнеем в ожидании ребенка, без героев и веселых атлетов, добрых, но шумных и прожорливых.

Был такой вечер (уже под самые Святки), когда в гостиной уютно мигал разворошенный камин, друзья сидели за круглым столом с кружками пива или вина без пиджаков, в шерстяных клетчатых рубахах дровосеков. Корней устроился по обычаю на отлете, у капитанского сундучка в углу. Янина вязала что-то крохотное, а Бруно, загадочно улыбаясь, чертил на цветной оберточной бумаге эллипсы разных калибров и убедительно рассказывал о потустороннем быте:

— Не только забываешь панораму, расположенную в здешнем трехмерном пространстве, но, главное, начинаешь по-иному интерпретировать жизнь, так что многое из бывшего становится небывшим и время теряет свое жало. Впрочем, нечто подобное случается с нами и теперь: вспомните город, который вы знали и любили, давно покинули. Невероятно, как быстро стираются основные черты: станция сабвея, перекресток авеню, родной сквер, дом, подъезд! Все уплывает, покрывается матовым инеем, прора-

стает травой, подобно упраздненной дороге, по которой уже давно не ездили. Вспомните теперь ваши детские обиды. Возмущение, оскорбление, боль, испытанные в юношеском возрасте. Взрослому это часто представляется уже в другом свете, грустно-поэтическом, точно потерянный рай! В потустороннем существовании земные страдания, подлости, преступления и пошлости подернуты лирической дымкой и принимают совершенно иную форму. Школьник, провалившийся на экзамене, близок к самоубийству, а потом, стариком, он вспоминает об этом с блаженной улыбкой, точно о первой любви...

Слова Бруно весьма понравились собранию, но последующий разговор, как обычно с некоторых пор, незаметно перешел на Ральфа и его предложение.

К общему ужасу и удивлению, обнаружилось, что больше никто не возражает, не спорит. Будто вода подточила камень или колоду, и поток хлынул, освобожденный. Очевидно, решительные сдвиги, изменения в сознании давно уже произошли, надо только иметь мужество это признать.

— Бери деньги, поделим, — решился заявить даже Свен, самый молодой веснушчатый паренек.

— Поделим, что дают, — настаивали Клим и Нунций. Их лица смешным образом дополняли друг друга: у Нунция была круглая рожа с фасолью носа, так что он казался совершенно лишенным профиля, лицо же Клима, тонкое, узкое, сухое, наоборот, оживало только в профиль.

— Сегодня здесь, а завтра там, ведь наша жизнь двойная шутка, — гремел бас Султана.

— Давай кончай канитель! — раздавались нетерпеливые голоса.

Корней пытался спорить, но вдруг заметил, что ему нечего сказать, да и неохота. Так решилась судьба Мы. Янина, не умевшая шутить, тотчас же приблизилась к Бруно и положила руку на его пухлое плечо, словно ставя точку. Друзья немедленно разошлись по своим комнатам, без дальнейших шумных тостов и обычных шуток.

За ночь выпал снег, и работники санитарного отдела в спешном порядке чистили улицы, посыпали солью мостовые, стуча моторами, лопатами, сапогами. К десяти часам стало ясно, что это все зря: теплый туман опустился с неба и самостоятельно пожрал выпавший снег. Но там, где работники успели убрать огромные сугробы, образовались желтые горы льда, которые было невозможно разбить и вывезти. Пользуясь этой переменой в по-

годе, горожане побежали за последними подарками в разукрашенные елками магазины, чихая и кашляя.

Именно в это утро Бруно вышел впервые из заточения, точно на казнь. Корней и Янина вели его, каждый за руку. Они уселись в сильно помятый, но величественный «линкольн». После получасового кружения остановились на углу тихого, все еще запорошенного снегом бульвара в виду особняка Ральфа, дожидаясь условного знака: в окне второго этажа должна была вспыхнуть электрическими свечами маленькая елка. Сид и Султан держали заряженные охотничьи ружья: Корней никогда не прибегал к помощи револьвера, на который требовалось особое разрешение.

— Что будет с Мы? — спросил вдруг Бруно, и душа Корнея дрогнула, как бывало в детстве, когда замычит обреченный на убой теленок.

— Мы все выполняем свой долг, — счел он нужным ответить. Янина предательски погладила юношу по плечу.

Они вышли из лимузина и поплелись к заднему крыльцу особняка вдоль зимнего поредевшего парка, ветер швырнул в лицо мокрую крупу; впечатление было — точно плевок! Меж кустами вдали мелькнул хам в кожаной куртке и с большими садовыми ножницами; Корней знал, что все это место охранялось верными псами Ральфа.

— Мы ничего не видит, — сказал Бруно. Очки запотели, и он попробовал освободить руки.

— В свое время Мы увидит свет, — успокоил его Корней, волоча маленький, но тяжелый чемодан Бруно.

Янина с большим животом, заметным даже под теплым пальто, гордо и жестоко выступала рядом: ее бледно-желтое лицо напоминало теперь по краскам сестру Ипату.

Что-то знакомое почудилось Корнею в этом шествии. Бруно остановился, нерешительно оглядываясь. Солнца не было видно, низко над городом трепетал сноп бледно-оранжевых струн: казалось, вот-вот раздастся соответствующий звук в басовом ключе. И действительно, низко летевший тяжелый самолет испустил какой-то торжественный гул. Вдруг Бруно тихо сказал:

— Когда Авраам водил Мы на заклание, не было снега.

— Когда это было? — вырвалось у Корнея, но ответила Янина, изучавшая Библию под руководством слепого отца:

— «Он сказал: вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения? Авраам сказал: Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой».

— Мы опять приносится в жертву, — не то спросил, не то заявил Бруно.

— Мы помнит ангела на рее, игравшего на дудочке? — осведомился Корней. — Отрока со вздернутым носом и застенчивой улыбкой?

Бруно весь просиял под темными очками. Челюсти Корнея свела судорога, еще минута, и он бы всхлипнул. Но Янина, прямолинейная и без особого чувства юмора, упорно продолжала:

— «И возвел Авраам очи свои и увидел: вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Овна принес в жертву, — многозначительно повторила женщина, — а сына твоего я вынесу под сердцем.

— Мне всегда было жалко этого нелепого овна, так некстати запутавшегося рогами в чаще, — смущенно признался Корней (в течение беседы он ни на минуту не упускал из виду окна, в котором должен был зажечься свет).

— Очень даже кстати подвернулся баран! — вызывающе возразила Янина. — Очень даже кстати!

Характер ее от городских похождений или беременности явно портился; с некоторых пор она как будто начала раздражать Корнея своей бестактностью (часто даже просто интонацией).

Бруно, молчавший под своей крылаткой и бурой шалью, неожиданно произнес:

— Похули Бога и умри.

— Кто это сказал? — встрепенулся Корней, задетый за живое.

— Жена Иова, первая Ксантиппа, — добродушно осклабился Бруно. — А Бог все-таки белее снега убелит все это.

— Вот стерва! — невольно вырвалось у Корнея.

— Стерва не она, а мужики, что тянутся к сладкой малине, — вульгарно заявила Янина.

Корней с откровенным отвращением прислушивался к ее акценту (тому самому, что прежде казался преисполненным благости и шарма). Да и вся она целиком, исхудавшая в одних частях тела, опухшая в других, пожелтевшая, маленькая, но упрямо живучая, напоминала ему теперь насекомое. Только глаза, пожалуй, оставались еще источником волшебных вдохновений: серо-голу-

бые, с зеленой искрой, огромные, влажно сияющие, требовательные и благодарящие. А носик, неприлично вздернутый, как у горняшек, все еще действовал возбуждающе на встречных мужчин.

— Ну хорошо, помолчи немного, — взмолился Корней, сдерживая себя.

— Меня никто не может заставить молчать! — крикнула она — гордая дщерь патриарха.

— Я поверну назад! — пригрозил Корней. — Пойдешь одна к Ральфу.

— Подумаешь, испугал! Пойду одна, если понадобится.

— И деньги принесешь, — хихикнул муж.

Янина боялась Ральфа, бессознательно ненавидела его, почти бесновалась, когда случайно упоминали имя его дочки, Иоланды.

А между тем Бруно тихо уверял:

— Те, что раз удостоились лицезреть ангела, могут снова его встретить. Любое место в городе в любое время можно превратить в фокус истории, в один из центров мироздания, где снуют ангелы, где Данте на дырявом мосту встречает единственную Беатриче, где Ньютон видит падающее с дерева червивое яблоко и Пушкин вспугивает присевшую рифму, точно болотную утку. Каждое мгновение может стать для кого-то необратимым, а все необратимое — эсхатологично. Вот сейчас в соседний банк, может быть, входит Султан с пистолетом в руках и говорит шепотом кассирше: «It's a hold up». Старуха, поднимаясь по лестнице, вывихнула себе ступню. А над всем этим — Бог, святой, белый, животворящий.

Со стороны улицы раздался вдруг неясный крик, скрежет тормозов, глухой стук; обернувшись, Корней разглядел две машины (одна желтая, вероятно такси), наехавшие друг на друга; одуряюще запахло бензином. Из парка вынырнул тяжелый холуй в кожаной куртке и побежал на шум голосов. А Бруно продолжал:

— Ангелы высовываются из щели в штукатурке. От Мы зависит признать любое мгновение единственным и вечным, вдохновенно подготовить его к воскресению. Секунда и вечность, тело и дух, рай и ад, начало и конец — все это ближе, чем предполагают мудрецы.

Внезапно Корней резко подхватил за локоть тучного юношу в темных очках и потащил его на заднее крыльцо: окно во втором этаже вспыхнуло рождественскими огоньками. Мокрый снег покрывал двор, мощеная дорожка не была еще прочищена, и Бру-

но грустно печатал своими огромными штиблетами по грязи. Сколько бы ему ни покупать обуви и любого качества, через несколько дней это опять превращалось в тот же унылый башмак со стоптанным каблуком. Его пиджаки были одновременно и куцы, и длинны; брюки висели мешком и сползали, но штанины казались чересчур короткими, и пуговицы неизменно болтались на тоненькой ниточке. Собственно, следовало бы ему шить одежду по особому заказу, но на это не хватало средств. Вообще, туловище Бруно выпирало изо всего, точно не умещаясь в трех измерениях.

Он сосредоточенно подвигался по лужам, солидно и чрезвычайно серьезно, словно ребенок, играющий роль взрослого; производил впечатление чего-то допотопного, огромного и хрупкого (как кит на суше). Крупный и дородный, рассеянно и гордо шагающий, Бруно все же едва поспевал за своими поводырями, молча поддерживавшими его под локти.

Небо, земля, дорога, редкие деревья — все кругом было покрыто мокрым пологом того же серо-бурого цвета; солнце давно скрылось, день, собственно, кончился, но и очередная ночь не наступила. Корней чувствовал себя похороненным на дне тяжелой бочки, опущенной на дно другой, еще большей кадки, и так далее, так далее, может быть до бесконечности: что пользы пробивать дно, выбираться на свободу. «Как хорошо было за Бруно, за его вздутыми плечами, — шептал Корней уже в прошлом времени. — Больше не за кого будет прятаться, когда стемнеет».

Янина, вероятно, тоже испытывала нечто подобное, но, имея еще другого шептуна под сердцем (изредка шевелящего ножкой), только грубо торопила спутников. Двое молодцов в кожаных куртках степенно прошли мимо, не глядя на гостей.

Исковерканные штиблеты Бруно теперь ступали по усыпанной цветным гравием площадке; его следы тотчас же заливала вода. Корней вспомнил, как Мы с отцом, подобным Эвересту, гулял по пляжу вдоль прибойной полосы; отец оставлял узловатые мозолистые следы на розовом песке, которые тотчас сглаживала волна. Но Бруно лично видел эти отпечатки и торжественно засвидетельствовал о них, дабы никто не усомнился. «Аминь!» — заканчивал Мы свой рассказ. «Аминь!» — откликалось суровое селение.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

в которой день незаметно догорает

Особняк мистера Ральфа при первом посещении производил впечатление модернизованного дворца, обитаемого знатными, благородными существами, ценящими прежде всего духовные или интеллектуальные достижения. Живопись от фламандцев до французов, от примитивов до субабстрактных мастеров. Знаменитые холсты висели в скромных рамах на необъятных голых стенах; гобелен или скульптура над лестницей подчеркивали прямые линии архитектурного замысла.

В огромном зале, куда ввели посетителей, тянулись бесконечные нарядные полки книг. Концертный рояль стоял на возвышении, готовый взвиться и улететь. Цветы и люстры, камин с мигающими, шипящими розами и добротная пиренейская (голубая) овчарка на шкуре белого медведя. Музыка лилась из труб, щекоча не только ухо, но, кажется, и нос, словно благовонные духи. Бар сверкал аристократическими бутылками и ярлыками, посудой, хрусталем, льдом. Только из окон (узких, глубоких, подобных бойницам) видны были какие-то несуразные вышки, грязные рытвины и мерзкие лица садовников в кожаных куртках. Корней догадывался, что прямо из гостиной или кабинета, где царили Гоген и Верди, можно, подняв трап, отправить тело конкурента непосредственно в Мичиганское озеро.

Кроме мистера Ральфа и его секретаря (с перешибленным носом) в комнате находились еще две девицы: Иоланда (Корней узнал ее по фотографии) и ее подруга Стелла, тусклая красавица с лицом и мыслительными способностями, казалось, плоскими, точно доска. Она, очевидно, подражала известной голливудской звезде и вместе с бровями совершенно выкорчевала собственный облик.

Иоланда же выглядела гораздо лучше, чем на фотографии. Темная, мягких линий, женственная и живая (почти не раскрашенная), с внимательным умным взглядом темно-серых (мышиного цвета) глаз. Весь свой интерес она сразу и не таясь сосредоточила на Янине (Корнея она точно и не заметила).

Как добрая лошадь зимой в степи, издалека чуящая приближение матерого волка, вдруг закусывает удила и несется без дороги, так Янина сразу начала проявлять чрезмерные признаки беспо-

койства и нетерпения. Упрямо отказывалась сесть, несмотря на самые обворожительные улыбки Ральфа; вытянулась против книжной полки, точно пристально разглядывая тисненые корешки классиков, враждебно озираясь, почти огрызаясь на любезные замечания хозяина. По наивному представлению Янины, им теперь надлежало получить пачку кредиток и, оставив Бруно, удалиться: о чем тут, собственно, болтать. Позже, оправдываясь и стараясь объяснить свое поведение, она заявила, что Ральф ее ненавидит, а Иоланда нагло оскорбляла: словами, улыбками, даже взглядом.

Больше всего раздражало Янину то, что и муж находил естественным шутить, отпивать из стакана и обмениваться ничего не значащими лживыми утверждениями с этими дурными, испорченными людьми.

Беседа поначалу не клеилась, но спас положение Бруно, чувствовавший себя в новом обществе всегда просто и весьма на месте. Над камином висела картина, изображавшая всадника у реки. Опустив поводья, молодой гусар задумался, его розовое лицо мечтательно улыбалось, будто вспоминая что-то приятное; рыжая лошадь, выгнув упругую шею, пила воду из голубоватого потока и косила крупным умным оком. На заднем плане — каменный мост романского происхождения и берег в лирической дымке. А там дальше, на горизонте — розовато-пурпурное пятно только что скрывшегося благодатного южного солнца.

Бруно, блаженно ухмыляясь, уставился на это полотно, и лицо его отражало мечтательную лень всадника (хотя и без золотистых красок). Мистер Ральф тотчас же любезно сообщил, что картина написана Хуаном де Хернандидо, молодым современником Гойи, сумевшим освободиться от влияния своего гениального соотечественника.

Бруно, не обращая внимания на болтовню хозяина, вдруг сказал, непонятно к кому обращаясь:

— А они затрудняются поверить, что Иисус Навин остановил солнце! Вот, художник более ста лет тому назад приковал уже почти скрывшееся светило к краю неба, и оно все еще там пребывает!

— Не совсем понимаю, — осторожно возразила Стелла, допивая бледное мартини. — Здесь изображен типичный испанский закат, отраженный и разлитый повсюду. Когда я попадаю на Мальорку...

— Это век излучений, — продолжал убежденно Бруно. — Какие убийственные стрелы! Туман насыщен и начал рассылать ощутимый блеск. Время тоже распространяется при помощи волн.

— Ах, как интересно! — вскричала Иоланда, усаживаясь с бокалом у самых ног пленника.

Янина презрительно оглянулась, будто огрызаясь. По парку гулял широкоплечий садовник, озираясь по сторонам.

— Есть материки времени и есть океаны антивремени, подобно антиматерии, — спокойно продолжал Бруно. — Когда уничтожается материя, освобождается энергия. Когда распадется время, снова выделится скованная им жизнь. Растение прикреплено корнем к одному месту почвы. Так и человек в отношении времени напоминает еще растение: не может по своей воле передвигаться. Тут земное существо ведет еще вегетативный образ жизни. Но человек может надеяться. Обезьяны и примитивы безнадежны, потому что они созрели окончательно: они уже обрели равновесие. Типичные кролик, бульдог, немец, русский, англосакс — погибшие существа. Величие человека в том, что он еще не достиг совершеннолетия и должен расти еще и еще. Посмотрите, бессмертие в технике достижимо. Можно построить мотор, который бы работал без отказа столетия; существует уже давно вечная спичка и неперегорающая долгие годы электрическая лампочка. А человек или его умная клетка неужели хуже?

— Действительно, — солидно подтвердил Ральф, — вечная спичка существует, она только нерентабельна.

— Обратите внимание, — смущенно продолжал Бруно; Корнею показалось, что он стыдится повторять всем известные истины, — обратите внимание: после ампутации калека еще долго жалуется на боль в отрезанной конечности. Это называется призрачной болью, хотя она вполне действительна. В космическом плане происходит нечто сходное. Нам всем ампутировали в прошлом конечность или, вернее, бесконечность, и таинственные муки, переживаемые каждым Мы, есть только проявление подлинной реальности.

Слушатели кругом доброжелательно отпивали из стаканов, удобно расположившись против камина. Мистер Ральф одобряюще кивал чистой седеющей и лысеющей головой (он был в цветном сюртуке с золотыми пуговицами и в мягком воротничке с рыжим бантиком). Ральф, видимо, во всем соглашался с гостем. Иоланда искренне наслаждалась необычными речами, но, отхо-

дя к бару за новым мартини, не забывала обратиться с каким-нибудь вопросом к Янине, которая ее тоже интересовала. Янина испуганно фыркала и отстранялась. Возвращаясь назад к Бруно, Иоланда, мило морщась, точно ребенок, сознающий собственную беспомощность, осведомлялась:

— Неужели можно вспомнить свое десятибиллионное прошлое? — Она прошла разные формы психоанализа, и этот вопрос ее действительно волновал.

— Надо забыть все, что относится непосредственно к рождению, детству и недавнему прошлому. Следует освободиться от собственных косных границ, подобно атлету, ставящему мировой рекорд, — говорил Бруно. Как ни странно, эти чужие легкомысленные люди слушали его вполне серьезно и даже с удовольствием. — Когда вы хорошо играете в теннис, вы не следите за вашим бэкендом; когда вы косите траву или стреляете в цель, вы не управляете каждым мускулом руки и тела, если вы опытный рабочий или стрелок. Точно так же поступайте с памятью: отстранитесь от нее, забудьте ее, освободите, и тогда она заживет по-настоящему. Для этого хорошо было бы, например, переселиться временно на другую планету, чтобы порвать с местными ассоциациями, мерами, символами, запахами.

— Кто же будет нас снабжать там мартини? — спросила Стелла. — Доктора, что ли? Ведь без этого скучно...

— Священники, священники, — не выдержал, наконец, Ральф и пустил свою знаменитую трель. — Хах-ха-ах! Священники, священники, — он склонился над Корнеем, наполняя его стакан и незаметно подмигивая.

Атлетического вида секретарь с перешибленным носом позволил себе тоже хихикнуть. Корней заметил, что ему не давали мартини, а наливали только фруктовый сок, как Сталину в Ялте.

— Как это занимательно! — вскричала опять Стелла, уже опьянев. — А что, Бруно пьет вино, можно ему предложить?

— Нет, нельзя! — грубо выступила вперед Янина: большой живот, огромные зеленоватые глаза на маленькой головке со вздернутым носиком.

— А мы его здесь научим пользоваться благами жизни, — решила повеселевшая не в меру Стелла, усаживаясь на ручке кресла Бруно (почти на его коленях).

Но с тем вдруг начался знакомый припадок: он еще больше потемнел и распух, шея вздулась, точно налитая синими черни-

лами, глаза вытаращены (очки сползли). Бруно, видимо, не дышал. Через минуту он блаженно улыбнулся и сполз на шкуру полярного медведя. Янина нагнулась над ним, хлопоча, зная, как себя вести в таких случаях. Но мистер Ральф сделал властный знак пухлой ручкой с кантиком белоснежной мягкой манжеты и тяжелый секретарь, точно застоявшийся рысак, охотно рванул юношу с пола и понесся с ним из залы.

— Не волнуйтесь, — успокоил дам Ральф, — у них огромный опыт со всякого рода обмороками, хах-ха-ах! — И чтобы окончательно убедить Янину, выдвинул ящик ажурного столика на тонких ножках и достал оттуда семь аккуратно перевязанных толстых пачек банкнот.

— Пять тысяч на брата, хах, — произнес он кисло. — И для миссис тоже пай!

Янина завороженно коснулась одного пакета, подняла, точно взвешивая.

— Вы не собираетесь считать? — удивился хозяин. Корней впервые услышал его настоящий, простой, естественный голос.

— Не надо! — отмахнулся он, краснея за подругу. И, сделав усилие над собой, спокойно обратился к хозяину. — А как же Сид?

О Сиде давно велся ожесточенный спор: Сид прежде служил у Ральфа и, несмотря на участие в экспедиции, продолжал получать жалованье шофера. «Поэтому он не может рассчитывать на другое вознаграждение», — рассудил мистер Ральф. Корней, разумеется, возражал, ссылаясь на чрезвычайные опасности похода. Все доводы за и против до сих пор еще не были исчерпаны полностью.

Иоланда подошла к Корнею и, впервые улыбнувшись ему (точно давняя приятельница), стала тихо что-то говорить. Мистер Ральф деликатно отвернулся, не желая мешать молодежи. Янина с ужасом вытаращила глаза, большие, зеленые, влажные, но, благодаря складкам и морщинкам на лице, отнюдь не прекрасные в это мгновение. Иоланда умоляюще шептала:

— Не надо теперь спорить. Я знаю папу, он потом уступит, ручаюсь, я с ним поговорю! — И, повернувшись к ошеломленной Янине, громко спросила: — Собственно, при каких обстоятельствах вы познакомились с Корнеем? Говорят, что вы утопили своего племянника и выдали секреты семьи.

— Вас по какому обряду венчали? — пристала в то же самое время Стелла, точно опытный футболист, получая и передавая мяч все ближе к воротам. — Вы, кажется, ждете ребенка?

— Нас венчал де Кастер, капитан «Сигора», — растерянно объясняла Янина, переводя беспокойный взгляд с одной красавицы на другую.

— Как это романтично, не правда ли, Иоланда? Совсем как у сэра Вальтера Скотта!

— Скажите, какое это чувство, когда предаешь родной город? — приставала Иоланда с подлинным любопытством.

— Корней, идем! — догадалась, наконец, Янина.

Не оглядываясь, она устремилась к выходу; красавицы, выше ее ростом, съежились, уступая дорогу.

— Приходите, обязательно приходите! — заливался Ральф, очень довольный результатом свидания. — Приходите с супругой или один, хах-ха-ах!

— Непременно, я жду вас, — многозначительно сказала Иоланда и протянула душистую руку.

— Приходите завтра, я скоро уезжаю в Калифорнию! — почему-то заливалась смехом Стелла, бледная под румянами и растрепанная, несмотря на дорогую прическу.

— Не беспокойтесь, — шептал многозначительно Ральф, ведя гостей по анфиладе комнат, то устланных коврами, то скользких, точно каток. — Найдем работишку для вас, мы своих людей отличаем, — он покровительственно кивал головой.

Корней резко остановился и, твердо глядя мистеру Ральфу в глаза, громко произнес:

— Отныне я вас считаю лично ответственным за судьбу Бруно. Надеюсь, вы понимаете меня.

— Я его сегодня же передаю дальше! — беспокойно завертелся тот. — Купил и продаю, только несколько дороже, хах-ха-ах! Вот и все мое участие в этом грустном деле.

— Не теперь, — опять шепнула Иоланда, — мы вместе это обсудим. Приходите. Я знаю папу.

— Вы католик? — неожиданно спросила Стелла.

Янина вдруг пустилась бегом по коридору. Корней едва поспевал за нею, держа в руке тяжелый чемоданчик с деньгами.

— Хоть взглянуть в последний раз на Мы, — сказал он задумчиво.

— Нет, так лучше, — решила Янина, — я знаю, так лучше.

Его покоробило. «Этого не надо было говорить, даже если она трижды права», — мелькнула злобная мысль. И Корней понял вдруг, что когда-нибудь эти слова Янины ему пригодятся, облег-

чат его вину, может быть, даже освободят. На мгновение ему стало страшно: он ощутил, как много еще впереди совершенно неизвестного и неожиданного (точно оно не перед глазами, а позади, за теменем).

«Линкольн» подкатил, как только чета вышла на бульвар. За рулем возвышался веселый Сид, как всегда опрятный, выбритый, готовый услужить. Ему, конечно, не терпелось узнать про свою долю, но проявить любопытство он считал для мужчины недопустимым.

Корней, угрожающе поглядывая на Янину, сообщил ему следующее: пять тысяч Сида еще не уплачены, но Ральф обещал нажать на все кнопки, чтобы удовлетворить и эту претензию. Пока же друзья дадут Сиду из своей доли каждый по 600 долларов, которые он потом вернет товарищам.

Султан одобрительно кивал большой лимонообразной головой, Янина порывалась что-то вставить, но муж ее грубо оборвал:

— Ты не могла понять всего, что там говорилось. Это большой город, а не ваше селение. И главное, помолчи немного!

Сиду было тягостно прислушиваться к этим голосам; он нажал на скорость, и тяжелая машина плавно помчалась по широкой аллее мимо университета. Янина плакала.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ,

в которой жизнь продолжается

Деньги, как всегда, подействовали ободряюще. Молодые люди опять пировали за гигантскими бифштексами и холодными бутылками белого бургундского. Мелкие купюры занимали много места: чудилось, хватит надолго! К тому же мистер Ральф обещал новую работу, не так ли? Фрол и Клим собирались в Голливуд. Сид давно мечтал прокатиться по Южной Америке. Султан стремился в Мексику (даже, может быть, в Испанию).

Выплатив каждому полагающуюся долю, Корней (по настоянию Янины) купил новый коттедж вблизи университета, в чистом квартале. Домик стоил двадцать тысяч, и погашать задолженность можно было в течение двадцати лет, что казалось безумием, но Корнею не хотелось больше спорить (вообще, он внезапно почувствовал себя постаревшим, усталым).

В Чикаго слонялись еще Лука, Свен и Нил, но они редко захаживали к Ямбам, избегая семейных сцен и запаха предполагаемых пеленок; эта тройка все глубже погружалась в омут бытового анархизма. Они вдруг появлялись в новых костюмчиках с бриллиантовыми запонками и брошками, сохраняя еще загар Флориды или Вест-Индии. Куба, Санто-Доминго, перонисты, — эти слова приобретали в их устах особый деловой оттенок.

А между тем Янина благополучно разрешилась двойней; ребята поначалу хворали, и только неустанные заботы матери спасли их от гибели. Корней наведался раза два к Ральфу, но тот после родов и внезапного прироста семьи Корнея потерял интерес к неопытному отцу. Иоланда укатила на зимние каникулы в Мексику и вдруг сообщила, что остается там навсегда: она влюбилась в местного трубача-виртуоза и выходит замуж. Ральф привык к таким сюрпризам. Корней ему теперь был даже противен, хотя он честно вручил обещанные через дочь пять тысяч для Сида и несколько рекомендательных писем. О Бруно он не любил распространяться, только раз сообщив Корнею, что в Польше нашелся еще один наследник.

Рекомендательные письма, как всегда бывает, не помогли, но благодаря им; подслушивая в приемных, где он дожидался, знакомясь с новыми людьми, Корней узнал несколько случайных адресов, впоследствии пригодившихся.

Работа, которую Ямб искал, даже ему самому представлялась в очень расплывчатых очертаниях; ясно, что она должна хорошо оплачиваться. Рискованная, но не явно беззаконная. И хотя собственной артели у него уже не было под рукой, все же предполагалось, что в случае нужды он сможет ее быстро собрать.

Огромную брешь в бюджете оставили роды. Корней требовал самого лучшего. Доктор, госпиталь, сестра. А другого критерия в этом предмете, кроме цены, не было. Стало быть, чем дороже, тем совершеннее. Янина боролась с такой безрассудной тратой денег; обнаружилось, что она почти скупа. Но в ту пору жизни она еще вполне доверяла мужу и поэтому в конце концов уступила.

Янина чрезвычайно легко и, кажется, даже в отсутствие врача разрешилась двумя мальчуганами, Петром и Павлом. Живя в селении, она бы, наверное, родила походя и через денька два занялась уже привычным делом. Здесь же пришлось взять на первые шесть недель няньку, которая по-настоящему оккупировала дом.

Корней сделался вдруг подозрительным и во всем видел интриги. Почему, собственно, доктор не предупредил, что будет двойня? Детей, впрочем, он принял с похвальным умилением и подарил матери нитку жемчуга: бусинки мелкие, но настоящие, старинные. Янина опять вытянулась, похорошела и напоминала ту девочку с круглыми стальными (но уже не смуглыми) икрами, которую он когда-то преследовал в селении. Прогнав, наконец, няньку, Корней всецело отдался было знакомой страсти, стараясь удержаться в разнузданном потоке времени (и даже вернуться назад). «Напрасный труд, — говорил он себе почти вслух. — Это похоже на то, как если бы при сильной жажде пить морскую воду». Но личико Янины было опять туго стянуто и бледно от страсти, а глаза благоухали огромными влажными розами, расцветавшими от счастливого изнеможения.

Душным летом, когда Чикаго в своей котловине разлагался на составные части, выделяя сложные испарения, Корней в приемной у поставщика музыкальных машин (где требовались верные парни) подслушал разговор, из которого догадался, что Бруно умер и похоронен где-то в трясинах Джорджии.

Зарядив крохотный бельгийский браунинг и пристроив его в очень укромном месте, Корней, ни слова не говоря Янине, отправился с визитом к мистеру Ральфу. Парк казался густым бором; не было ни Сида, ни «линкольна»: как все передвинулось за эти полгода.

При входе садовник обыскал посетителя. Мистер Ральф его принял, впрочем, без особого энтузиазма.

— Чем могу быть полезным? — спросил он довольно кисло; бледный, с расстегнутым воротом, он, может быть, страдал от похмелья.

— У меня одно секретное дельце, нельзя ли наедине, — сказал Корней, глядя хитро, но не подмигивая.

Ленивый секретарь с носом боксера-тяжеловеса, кротко вздохнув, скрылся за портьерой, точно носорог в камышах. Корней держал револьвер у самого виска жизнерадостного Ральфа и спрашивал:

— Кто убил Бруно?

Как и следовало ожидать, Ральф ничего не знал положительного; впрочем, смерть эта совершенно натуральнейшая, имеется даже свидетельство специалиста по обмену веществ.

— У него был диабет, — шептал Ральф с ужасом, но держа голову неподвижно, как истукан. — Понимаете, диабет оказался!

Ему бы инсулин впрыскивать, а давали новые пилюльки ориназа. Вот и сыграл в ящик. А насчет работы я уже придумал, можно даже авансик теперь.

— Пять тысяч! — приказал Корней. Оба перевели дух.

— Не боишься, значит, за Янину? — К Ральфу вернулось его обычное благодушие и он пустил свое «хах-ха-ах!».

— Не боишься за Иоланду? Султан, кажется, в Мексике.

Ральф понял. Корней мирно сидел за бокалом джина с тоником, пока секретарь собирал пять тысяч мелкими купюрами.

— Мы теперь квиты, — сказал хозяин на прощание. — Совершенно и абсолютно квиты и, кажется, незнакомы, понятно?

— Понятно, — согласился Корней. — Однако с Иоландой я еще надеюсь встретиться, — добавил он неожиданно.

В большом особняке исправно работала охладительная система и ему страшно было сунуться наружу.

Дома под гул вентилятора Корней бережно пересчитал и разделил на отдельные пачки по сто заработанные деньги. Янина сидела с шитьем за столом, и вся сцена ему напомнила знаменитую фламандскую картину в Лувре: жирный бюргер считает выручку, а жена в чепце перелистывает Библию.

Вскользь сообщил о гибели Бруно.

— Давно это знаю, — отозвалась Янина, перекусывая острыми влажными (как и глаза) зубами нитку.

Студентка, слушательница последних монологов Мы, приехала из Афин (Джорджия) в Чикаго на курсы и наведалась к Янине еще в госпиталь. Передала последнюю записку Бруно. Он знал, что обречен на мучительную смерть. Девица плакала.

Она рыдала и теперь, когда Корней в тот же вечер нашел ее и попросил рассказать все, касающееся Бруно. История была довольно темная. Молодежь из университетского городка повадилась ездить по ночам на виллу, где проживал Бруно, один, с садовником. Среди девиц преобладали подруги футболистов университетской команды. Последние, имевшие обычные счеты с «интеллигентами», однажды под праздник тоже собрались в гости к Мы. Они застали там целое общество за проникновенной беседой (и даже за шахматами). Послушав с четверть часа о Я и Мы и о двух центрах эллипса, футболисты, каждый по очереди, стукнули Бруно кулаком по черепу. Особенно отличился левый крайний с перешибленным носом, оказавшийся сыном садовника, охранявшего Бруно: этот стукнул дважды или трижды. На суде

спортсменов оправдали, ибо они действовали без злого умысла и не пользовались оружием (только кулаками). Бруно умер в бреду от кровоизлияния в мозг, повторяя довольно кстати: «Мы уподобится постоянно возвращающемуся логарифму». Его даже оперировали, но неудачно. Тысяча студентов и студенток несли за его гробом цветы; судя по венкам, его смерть оплакивали в Риме, Иерусалиме, Париже и Гонконге.

Передавая эти подробности, девица-южанка всхлипывала и восторженно всплескивала руками, напоминая Корнею чем-то Талифу, бедную Талифу, ушедшую от мужа и растерзанную в овраге.

Больше дома о Бруно не говорили. С течением времени Янина становилась все суше, тяжелее, окаменевая на манер Ипаты: та же поступь, кость, величественность (не в размерах, а в пропорциях). Но страсть их вспыхивала часто с прежней силой, преображая будни. Как два заговорщика среди непосвященной толпы, они ходили, избегая глядеть друг на друга, чтобы не выдать тайны. Неожиданно скоро Янина опять родила девочку, четырехугольную кубышку, энергичную, властную. Ее окрестили Радой.

А средств уже совсем не хватало. Корней поменял несколько мерзких (обыкновенных) служб, больше не рассчитывая на Ральфа и его организации. Последние переживали очередной кризис в связи с приближающимися выборами. По слухам, Иоланда развелась со своим трубачом и теперь изучала католическую живопись в Сорбонне, что обрадовало ее отца.

Корней начал почему-то работать в магазине дамской обуви, примеривал на разные ноги и ножки туфли, стараясь догадываться, чего, собственно, покупатель жаждет. В магазине не было окон, ровно горели многочисленные лампы, не оставляя места для тени. Он вспоминал: «Ибо в царстве теней нет тени». (Очевидно, и в царстве всестороннего света тоже отсутствует тень.)

Рядом с Корнеем трудились фантастические отцы семейств, благословляющие хозяина, город и отечество. («Ибо рай для рыбаков — это ад для рыбы», — повторял Корней довольно часто и другое утверждение болезненной Шарлотты.)

Летом вентиляторы в Чикаго шумели, как пропеллеры устаревших бомбовозов; раскаленный воздух метался в подвале, точно в мышеловке. Входили распаренные дамы и протягивали Корнею вместо приветствия ногу. Он разглядывал чужую пятку, как сокровенную тайну, не зная минутами, что с ней делать: укусить, что ли... Р-р-р-р — рвались бомбовозы за океан.

По пятницам все выстраивались у решетки кассы за чеком. На его личной карточке значилось: «Корней Ямб, год и место рождения —1918, Эстония».

Дома Петр, Павел и Рада его называли «daddy». У Янины — восковое каменное лицо (только носик по-прежнему счастливый, девичий); на ней дешевый передник из пластмассы. Еда безвкусная. Пили теперь пиво или местное виски. Неужели это он вел храбрых воинов к подступам селения, проник в стан врагов и увел вместе с пленником красавицу, дочь патриарха, раскупоривая по дороге бутылки шампанского? Теперь он — честный труженик, живет под собственным именем и глубоко несчастлив; а тогда, когда он был авантюристом, выдавая себя за другого, он был доволен и делал людям гораздо больше добра.

После обеда, совершенно опустошенный, Корней дремал перед телевизором, дожидаясь ночи и сна. Янина злорадно улыбалась, освещая комнату влажными глазами; иногда роняла замечание в духе Бруно, безотчетно, по-видимому, думая о нем.

— Если человек по-настоящему желает чего-то, — начинала она осторожно, точно пробуя ногой почву, — если он действительно стремится к этому, то ему надлежит всецело сосредоточиться на этом предмете, отстраняя все другие помыслы и грезы.

— Ну и что же? — благодушно спрашивал Корней.

— То же самое должно делать Мы всего человечества. Раздвоение личности существует и в Мы: это настоящая шизофрения, болезнь лучевого века.

— Выпей лучше виски, — предлагал со вздохом Корней.

Но она продолжала, точно повинуясь чьей-то воле:

— Грех отрезать палец от руки, руку от туловища, туловище от головы, Я от Мы, даже если потом заботиться о благополучии этих частей. Одно и то же древо дает познание добра и зла.

Корней минутами узнавал голос Бруно. Его это одновременно сердило и восхищало. Казалось допустимым, что этот выпиравший из всех пиджаков увалень еще и по сей день изливает свои чудесные соки. Корней устало допивал виски и отправлялся в постель. Ночью его мучили видения: боевые товарищи, постаревшие, изуродованные, приходили издалека и протягивали к нему окровавленные руки. «Я не виноват! — взывал атаман. — Я вел вас к победе почти без жертв». Потом являлся Бруно, он был, как живой, только немного синее и расплывчатее. «Поверьте мне... phantom pain, призрачная боль... — радостно шептал очкастый

монстр. — Не ждите сразу полного откровения! И в другом мире недостающие звенья — своя реальность!»

Янина лежала рядом с мужем, хозяйственно прислушиваясь к дыханию детей в соседних комнатах; спальни были расположены на втором этаже. Иногда в полночь над крышей пролетал одинокий самолет, и тогда чудилось, что он держит курс в горы, к родному селению.

Именно в это время, хотя Корней принимал самые конкретные меры предосторожности, Янина сообщила, что опять забеременела. Он был в совершенном отчаянии и поэтому, должно быть, побежал к мистеру Ральфу. К счастью, знаменитый гинеколог одного провинциального центра был связан с фирмой «Ральф, Смит и Ральф».

— Мы это устроим, — задумчиво говорил адвокат. — Не стоит благодарности, свои люди. Когда-нибудь и мне понадобится услуга, хах-ха-ах!

Корней повез жену на аборт (в ночь перед операцией они опять бурно лобызались без всяких уловок).

Пасха в этом году была поздней. В середине поста Ральф вдруг сообщил, что в Нью-Йорке ему нужен верный человек для работы директором дешевого кабаре для подростков. Жалованье пока восемьсот в месяц, но большие, если дело пойдет, перспективы.

— Кстати, Иоланда вернулась из Парижа и осела в Нью-Йорке, — рассеянно заметил мистер Ральф. — Вам, наверное, будет приятно с ней встретиться, хах-ха-ах!

Корней к этому времени был готов возобновить знакомство с самим дьяволом, и потому он согласился на все условия. К удивлению, жена сразу признала разумной эту разлуку. (Расходы росли вместе с детворой.) Было решено: через несколько месяцев либо он вернется назад, либо семья переедет в Нью-Йорк.

— Из восьмисот долларов ты нам можешь высылать пятьсот, — решила Янина.

— А почему не семьсот? — изумился Корней. — Мне что нужно? Ресторан ведь там при деле, нетрудно иметь харчи и все, что полагается. Ну, и другие оказии подвернутся.

Это возмутило жену:

— Только, пожалуйста, без других оказий! — заявила она возмущенно. — Знаю я твои другие оказии.

— Ну и не надо, — быстро согласился супруг. И укатил, чмокнув жену и чад в щечки.

Должность его в Гринич Вилидже (что можно было предвидеть) оказалась шаткой и темной. Неизвестно было, в чем, собственно, заключаются обязанности Корнея. Ночной клуб (поддерживаемый даже разными психиатрическими и социологическими обществами) был рассчитан на молодежь, официально ставя своей целью борьбу с преступностью в этой среде. Здесь требовался человек сильный, бывалый, способный без особых кулачных расправ авторитетно утвердить себя в роли не то надсмотрщика, не то дядьки, не то старшего друга; кроме того, разумеется, надлежало хорошо торговать дозволенными и недозволенными товарами. (Разрешение на продажу спиртных напитков еще не было получено.)

Противоречия такого рода давно уже не угнетали Корнея; отныне он верил, что утро вечера мудренее, поживем — увидим, выше пупка не прыгнешь... Вся эта мудрость, когда-то вызывавшая его презрение, теперь казалась ему справедливой и, во всяком случае, обеспечивающей насущный хлеб. (А бывало, Корней считал своей обязанностью идти именно по линии наибольшего сопротивления.) Как радикально меняется человек (а личность его остается все той же).

Обнаружилось, что жалованье выплачивали довольно не аккуратно и отнюдь не сполна. Предприятие это зависело от разных других смежных коммерческих начинаний; интересы разных заведений переплетались, и отчетность оставалась неуловимой, неясной. Получив очередной аванс, Корней почти целиком переправлял его Янине, но этого было мало, а объяснить ей истинное положение вещей он боялся, зная, что она со свойственной ей прямолинейностью немедленно посоветует возвращаться назад.

А между тем работы было много, особенно по ночам, когда требовался настойчивый такт или то, что Корней в шутку называл «музыкальным кулаком». Притон этот («Кураре») пока не отпускал вина; юноши обычно приносили свою бутылку и напивались украдкой в компании с полупрофессиональными девочками. Заведение такого рода (под другим именем) процветало раньше в соседнем квартале, но было, наконец, прихлопнуто полицией; кто-то из распорядителей еще сидел в тюрьме. Теперь в «Кураре» работали новые, неизвестные нью-йоркской полиции люди (впрочем, вешалкой заведовала дама, неоднократно злоупотреблявшая наркотиками).

Корней был чужим в этом городе, без уголовного прошлого; пока к нему трудно было придраться. Борьба шла где-то в административных центрах, между должностными лицами, филантропами и рвачами. В подвале же кабачка все находилось в состоянии неустойчивого равновесия, угрожая рухнуть в любую минуту или, наоборот, разлиться по всему многоэтажному кварталу.

По вечерам играл оркестр, подростки серьезно танцевали; лесбиянки нежились у столиков, оставляя это занятие, только когда намечалась легальная жертва в виде студентика. Корней следил, чтобы прятали бутылки, не слишком похабничали и не курили гашиш. Под его началом находилось двое молодцов, которые и выполняли в случае нужды грязную работу. Притон закрывался на рассвете. Корней снимал комнатку рядом, на Шеридан сквер.

Незаметно в заботах протекло лето в Нью-Йорке. Корней честно слал домой куцые чеки вместе с еще более тусклыми письмами. «Терпение! — твердил он. — Скоро выяснится, стоит ли продолжать тянуть лямку, но тогда, наверное, подвернется что-нибудь другое».

Надо прямо сказать, что без Иоланды его жизнь в этом тропическом пекле была бы невыносимой. Она застряла в Нью-Йорке, потому что ей было совершенно безразлично, где скучать (так она объясняла); теперь Корней с ней встречался почти ежедневно.

Иоланда жила в одном из огромных домов на Сэнтрал Парк Саус; если пересекать парк с севера вниз ночью, это здание кажется глыбой сотового воска, из которого искусно вынули мед, а внутри зажгли бледные электрические лампочки. Рядом высятся такие же гигантские вощины, озаренные более ярким или блеклым светом.

Туда, на 24-й этаж, поднимался Корней отвести душу. Под утро Иоланда с компанией веселых трутней и пчелок в мехах часто заезжала в «Кураре» и увозила Корнея на раннюю мессу в церковь св. Франциска Ассизского, а потом к себе наверх. В этом году уже на Labor Day забарабанили унылые дожди, и усталый Ямб, после бессонной ночи и первого мартини, высунувшись из окна 24-го этажа, почти доставал рукой до пухлых туч, бесшумно плывших у самых небоскребов. После нескольких мартини вперемежку с поцелуями, Корней падал буквально замертво на диван, окруженный монументальными пепельницами, похожими на этрусские урны.

6 Зак. 2385

Случилось так, что на День Благодарения Рада (дочь) внезапно заболела какой-то легкой формой энцефалита и пролежала (если верить письмам жены) в безжизненном состоянии целых три недели. Приближалось Рождество; в среде, где вращался и работал Корней, жизнь в этот период требовала полного напряжения сил. Он, конечно, не мог отлучиться, и, заняв у Иоланды пятьсот долларов, переправил их в Чикаго, думая, что это облегчит положение. Действительно, Рада вскоре оправилась, но Янина, не советуясь и не предупреждая, ликвидировала дом со всеми современными удобствами и в начале января прикатила с тремя детьми к мужу в Нью-Йорк.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ,

в которой бравые ирландцы борются с огнем

В течение двух часов Корней должен был наладить новую жизнь, найти и снять квартиру, устроиться в ней с относительным комфортом (при трех малышах), и все это — не запуская текущей работы. А в «Кураре» к началу масленицы, как назло, было шумно, молокососы даже раз затеяли перестрелку, так что требовалось особое внимание и усердие со стороны служебного персонала.

— Напрасно ты это затеяла теперь, — объяснял Корней жене позже, в постели. — Еще бы месяц-два повременить. Как тут прожить: одна квартира стоит сто восемьдесят долларов, спасибо мистеру Ральфу, помог, милый человек.

— Знаем мы этого мистера Ральфа, — цинично отозвалась Янина вульгарным каким-то, охрипшим, простоволосым голосом. Щеки сморщенные, руки огрубели, вообще она быстро старела и чахла.

Корнею необходимо было собраться с мыслями, понять свое положение, решить, чего он хочет и как выйти из окружения. Для этого надо было оторваться от противника и перегруппировать силы. Но как тут оторваться: квартира маленькая, верхний этаж над какой-то мастерской в боковой улочке, почти у самого Сентрал Парк Вест. Снизу доносится сплошной рев детворы, играющей на мостовой чуть ли не все 24 часа в сутки; собственные ребята тоже не сидят смирно.

Какая несправедливость: именно теперь, когда намечались кое-какие выгодные комбинации, вокруг него воцарились пеленки, капризное хныканье и неряшливая жена в халате, болезненно желтая, с обнаженными, но, увы, уже не стальными круглыми икрами (когда-то восхитившими его).

Иоланда, как нарочно, в последнее время по-особому нравилась ему. Она отбилась от своей шумной ватаги, охотно просиживала наедине с ним часами. Понимала его с полуслова и считала достойным лучшей участи. У Иоланды в прошлом был большой и горький опыт неудачной любви, и в течение зимы она поделилась с ним всеми перипетиями своего романа. В свое время она прошла курс глубокого психоанализа и теперь самоотверженно помогала Корнею разобраться в собственном подсознании. Ему нравилось лежать в непосредственной близости от этого пахучего существа, потягивать из бокала зеленую жидкость или целовать ее в умелые губы и жаловаться на свою судьбу.

Согласно выводам их кустарного анализа получалось, что Янина совершенно не подходит к его характеру; надлежало как можно скорее расстаться с нею в интересах самой же Янины.

Соблазн был велик: заполучить понятливую, в дорогих мехах Иоланду со всеми импрессионистами на стенах и связями. Мистер Ральф повадился налетать ненароком из Чикаго на уик-энд (часа два самолетом). Хохоча, он твердо поклялся сделать Корнея вице-председателем; надо полагать, что это означало нечто выгодное и привлекательное. Разумеется, велись беседы о поездке в Европу к Средиземному морю, где, как уверяла Иоланда, — карие глаза и родина гуманизма. Корней знал Монте-Карло при совершенно других обстоятельствах; теперь предполагалось жить в собственной вилле, с прислугой и машиной. А отставной семье ежемесячно приличный чек! Это conditio sine qua non. И Ральф и Иоланда понимали чувства Корнея и вполне одобряли их. Вот, собственно, одна возможность.

А с другой стороны — пеленки и «Кураре». Дела в притоне все усложнялись. Чем пока поддерживать жадные рты? Одних башмаков три пары (не считая взрослых), и детвора их буквально уничтожала: едва наденешь, уже требуются новые туфли. Между прочим, Корней обещал Янине достаток, когда умыкал ее из родного селения. Конечно, разлука при таких условиях несколько обидна, но постепенно, с деньгами, все устроится к лучшему и семья, может быть, тоже прокатится в Швейцарию (там, говорят, хорошие школы).

Под предлогом небрежной езды Корнея уже несколько раз останавливала полиция в Гринич Вилидже и раз даже допрашивала в участке; он должен был доказать, кто он такой (причем документы не принимались во внимание). Это оказалось почти невозможным и весьма мучительным. Свидетели, на которых он ссылался, в последнюю минуту отступились, сознаваясь, что, в общем, знакомы с Корнеем всего несколько месяцев. После часового интимного диалога с полицейским чином у Ямба создалось впечатление, будто он купался в одной ванне с многочисленными прыщеватыми субъектами.

Корней, наконец, понял, что почти невозможно доказать, кто он такой: он и сам уже начал сомневаться в себе. Во всяком случае, в полиции его утверждения звучали неубедительно. При обыске в машине Иоланды нашли фляжку с коньяком, что оказалось противозаконным, и на этом основании Корнея опять вызывали на допрос.

В гостиной у Иоланды горят уютные лампы; бар, подарок отца, распростер крылья над целой стеной. На книжных полках стоят первые американские издания Диккенса, Шекспира, Лонгфелло. Утрилло и Брак (оригиналы) скромно повисли в бледных рамах; знакомая уже испанская картина (Хуан де Хернандидо) смотрит на Корнея. Там закат разливается ровным и вечным внутренним огнем, точно так же, как во дни Гойи или в тот сумрачный час, когда Бруно его впервые заметил.

Корнею не хочется уходить в свою мансарду над гаражом. Стало быть, надо решиться, отрезать негодный ломоть. Но почему-то боязно: над Яниной и детьми теперь изредка склоняются тяжелые головы Ипаты и рыжего патриарха. Они шепчут, колдуют, грозят. Корней знает, что это вздор, но вот поди же... Однажды в парке ему показалось, что за ним следует слепой пастырь в сопровождении черного Лабрадора. Схватив Раду на руки, он побежал домой опрометью. Случилось, что позвонил телефон, и на его вопрос: «Кто это?», никто не ответил, и спустя минуту повесили трубку. Самое обыкновенное явление в большом городе, но Корней не мог отделаться от чувства, что это Ипата прислушивается к его сумасшедшему возгласу: «Кто, кто это?» (Ему все чаще представлялся темный новенький телефон на полу в чулане в селении; он даже заговаривал об этом с Яниной, но та не знала о существовании аппарата).

Корней бы еще долго тянул и откладывал решение, но приезд семьи приблизил кризис. Жизнь превратилась действительно в

сплошную муку; ограниченное свободное время приходилось делить между домом и Иоландой. Таиться, лгать, играть роль: днем, ночью и в праздник (только служба спасала). Даже телефонный звонок становился преступлением. Все, все страдали и неизвестно почему! Янина грубо жаловалась детям на отца, отсыпающегося в полдень где-то у вымышленных друзей (а вернее всего, у полюбовницы). В свою очередь, Иоланда тоже вдруг начала проявлять признаки мелочной ревности, и после оскорбительного звонка на дом к Ямбам Корней заставал ее в слезах, возмущенной, выкрикивающей словечки, ничего общего с модным течением в психоанализе не имеющие. Она вела мстительную бухгалтерию, задерживая его в самое неподходящее время, пользуясь то алкоголем, то блудом, и даже жаловалась отцу.

— Так продолжаться не может! — заявлял мистер Ральф многозначительно. Корней пугался и просил оставить Янину в покое, он сам на днях уладит этот вопрос.

— Так продолжаться не может, — повторяли ему близкие по «Кураре» люди, с которыми он успел сойтись. И давали добрые советы, диктуемые симпатией к директору.

Любопытно, что Корнею его случай представлялся необычайно сложным, сверхъестественным, тогда как все кругом него, оказывалось, либо сами прошли через нечто подобное, либо слышали о еще худших семейных неурядицах. Это как будто утешало Корнея, служа некоторым оправданием.

В кабаре движение начиналось только к десяти часам, так что директор почти до самого вечера мог отдыхать дома. Поначалу новая обстановка и жизнь семьи развлекали немного. Двойня уже толково болтала, путая слова и пухлые ножки; Петр и Павел были свежи, упрямы и озорны. Их мышиного цвета глазищи напоминали Янинины в молодости. В акценте детишек (несмотря на улицу и парк, где они играли) слышались отзвуки далекого селения, что раздражало отца.

Дочь Рада, по-видимому, пошла в Корнея: сильная, с ясными, без выражения глазками и очень себе на уме; только неизвестно откуда взялись бесчисленные веснушки, рассыпанные, точно гроздья или созвездия, по всему ее голубовато-сиреневому тельцу. (Янина утверждала, что рыжий патриарх в отрочестве тоже был отмечен такими гроздьями.)

Корнею с детьми было скучно; то чувство, которое он испытывал, когда вел за ручку Фому, больше не возвращалось. Они

жили на третьем этаже пустовавшего домика. Внизу лениво догорала какая-то слесарная мастерская; весь этот квартал был обречен на снос. До парка было сто шагов, и, пробираясь по нему с детьми на юг, можно было, словно невзначай, наткнуться на Иоланду, шедшую с двумя собаками-афганами вверх по аллее. Впрочем, встречи эти оставляли горький осадок, и только аристократические псы лаяли, стремясь уйти подальше.

Обнаружилось, что Янина отлично осведомлена обо всех передвижениях мужа: кто-то из окружения мистера Ральфа посылал ей анонимные письма. На рассвете Корней укладывался рядом с дремлющей женой; у него было чувство, точно за ним подглядывают в щелку. (Нечто подобное он испытывал возле Ипаты перед самым бегством.) Несколько раз он больно наказывал ребятишек, явно без толку и несправедливо; Янина тихо и неестественно улыбалась во время этих расправ. И Корней почему-то пугался. Чтобы загладить вину, брал мальчиков в парк, покупал игрушки, мороженое. И драгоценный свободный день исчезал.

А денег никак не хватало; притон теперь работал лениво, что отчасти объяснялось Великим Постом. По некоторым признакам, хозяева потеряли интерес к «Кураре» (так и не добившись разрешения на продажу вина) и затеяли новый кабак (для педерастов) в другом конце околотка.

Капитал, привезенный Яниной из Чикаго, по ее утверждению, весь разошелся на обзаведение в новом городе (Корней ей не верил). Нищета, самоограничение во имя детишек, счет каждому никелю — все это он органически не выносил, страдая, точно от хронического флюса. Как сохранить человеческое достоинство, если отказываешь себе в папиросе или рюмке бренди? Мужчина в расцвете сил и лет поневоле потеряет к себе уважение и станет неврастеником.

Корней, в сущности, не переоценивал значения денег. Но был некий оптимум, который он почитал обязательным, и отклонение (в любую сторону) от нормы казалось ему мучительным. Порядочному человеку ежедневно требуется большой бифштекс плюс два сандвича, кофе, коктейли, выглаженный костюм, ну, еще пиджак, две рубахи — вот и все, пожалуй. Не больше и не меньше (немного счастья разве). То же самое, разумеется, для членов семьи, с соответствующими видоизменениями: вместо виски — лекарство или игрушка. Отсутствие этого минимума угнетало Корнея, оскорбляло, как вши, неизлечимая болезнь, старость, смерть,

наконец. «Смерть, — учил Бруно, — только движение жизни; смерть тоже распространяется при помощи волн: материя послушно передает эти колебания частиц, но сама не умирает... Так вал быстро достигает берега, но плавник остается далеко в море».

Нищета, рак, немощь, лохмотья, язвы, уродства — все это точки на одной линии, ведущей к смерти. И Корней их ненавидел. Разумеется, в молодости он знал, что святой принимает на себя болезни, нужду и смерть, чтобы освободить от них мир; но случилось, что лет десять тому назад он отвернулся от такого разрешения вопроса.

На пасхальной неделе в день больших скачек Корнея тоже потянуло на ипподром (туда повадилась ездить Иоланда с гостившим в Нью-Йорке отцом). Заплатив за вход в павильон пять долларов и проиграв сразу четырнадцать в первых двух заездах, он вынужден был в дальнейшем совершенно воздержаться от игры, даже не поставив на любимую лошадь в главной скачке сезона (за весь знойный день не осушив кружки пива).

Он ходил чужестранцем меж кресел и скамеек, трезво смотрел на вспыхивающие доски тотализатора и с вожделением на пьющих евнухов рядом с раскрашенными дамами в перьях, ставивших крупные куши. Все походило на африканский религиозный танец. Разные губы, молодые и старые, бессильные, властные и трясущиеся, шептали те же заклятия, а в небе сиротливо металась одинокая тучка, спугнутая ржанием гигантской кобылицы с развевающейся гривой. В центре, у весов, где фотографировали победителей, сидела полуобнаженная Иоланда в мехах под обширной, как зонтик, яркой шляпой. Кроме Ральфа ее окружала группа охочих самок и дебелых кобелей, впрочем, уже явно отяжелевших от содержимого многочисленных стаканов, сверкавших на солнце. Компания откровенно смаковала жизнь, игру и вино; мужчины то и дело срывались и убегали в направлении стодолларовых касс, отмахиваясь от бескорыстных советов взволнованных дам. Мистер Ральф, лоснящийся и пахучий, с белой гвоздикой в петлице синего шелкового пиджака с золотыми пуговицами, добродушно хлопнул Корнея по увядающему плечу и, озираясь, точно боясь быть подслушанным, сказал:

— Хотите перекочевать к нам? — Не дожидаясь ответа, он упорхнул к окошку кассы, сверяя свои записи с цифрами на доске тотализатора.

Корней с удивлением и завистью глядел, как он перебегал от окошка к окошку, распределяя ставки. Возвращаясь назад в ложу, проверяя и озабоченно рассовывая по карманам билеты, Ральф, однако, ухитрился краем рта хохотнуть в сторону предполагаемого зятя.

Вот и егерь в красной ливрее протрубил сбор, лошади неровно, то парами, то в одиночку, нервно протрусили на поле и растянулись ниточкой вдоль трибун; потом повернули назад, опять пронеслись мимо с приподнятыми на коротких стременах раскрашенными гномами и ушли к старту. Издалека видно было, как быстро и споро всадники исчезали в металлических клетках.

— They're off! — раздался сдержанно-трагический возглас диктора. Толпа (по Толстому) встрепенулась, точно птица, расправляющая крылья. С горьким чувством туриста, присутствующего на историческом собрании чужого парламента (утверждающего новую конституцию), Корней слонялся меж скамьями, мешая кровно заинтересованным туземцам. Он старался не пропустить мгновения, когда лошади высунутся из закромов и растянутся пунктиром вдоль рельса. Но, как полагается, зазевался и разглядел крошечных бурых всадников, когда они уже заняли определенные и для многих роковые места.

Там, на противоположной стороне поля, все выглядело прохладным, тихим и мудрым; лошади казались заводными, жокеи — игрушечными (как пашни хлеборобов у Больших Озер, мимо которых неслись лодки селения с телом Аптекаря, подражая многовековой истории, не останавливавшейся в тех краях).

Но из громкоговорителя вырывалась злоба дня: около трех четвертей миллиона было поставлено на фаворита, и народ начинал уставать от античного напряжения. Еще несколько пустых возгласов в микрофон, и вот уже лошади выходят на прямую: теперь они должны утвердить себя в частном, как их прапрародители (эмбриологические клетки) некогда отстояли себя в общем.

Невольно Корней вместе с сонмом шестидесяти тысяч любителей вытянулся душою в струнку, наддавая за мифическую, почти неуловимую в движении вдохновенную лошадь. «Выдержишь ли ты? Выдержит ли Мы? Выдержит ли скакун, жокей, дорожка, сердца стареющих спортсменов? Выдержит ли мироздание (как во времена Бруно) еще и еще раз это напряжение последних благородных сил?» — так в разных вариантах и по-разному выражаясь, загадывали вокруг Корнея (да и сам он в первую очередь).

Корнею слишком больно смотреть на яростно рвущих землю из-под собственных копыт лошадок и на припавших к их тонким шеям пестрых карликов, размахивающих хлыстами, точно дирижерскими палочками (какая героическая фуга!). Корней плывет против течения и, как всегда, отворачивается назад, к трибунам. Он зрит как бы голову Отца, описанную Бруно: борода сползает вниз по скамьям, на щеках морщинки и веснушки, а от мраморного лба отражается яркое солнце.

«Это Ты, Отец?» — спрашивает Корней, застенчиво улыбаясь (вспоминая курносого отрока на рее «Сигора»).

«Отец здесь был, — отвечает Бруно. — Он оставил следы на розовом песке».

«Выдержит ли кудрявое дитя?» — спросили некогда Мы на отмели. Там шныряли кулики, пятились крабы, порхали первые рыбки, а в хвощах мелькали хари будущих тиранов и лжеучителей.

«Выдержим! — отвечает Корней. — Выдержим! Каждая клетка во мне жаждет повторения себя, только в усовершенствованном виде. Бруно, Мы, ты — во мне, как все — в Отце».

«Бойтесь лучевой болезни!» — вещает знакомый голос, удаляясь.

Неожиданно стая растянувшихся лошадей, липнущих к внутреннему рельсу, почти ударила в глаза и, точно вылезая из собственного остова, пронеслась к мете. Корней слушает, затаив дыхание, как огромная слепая птица на трибунах, разинув клюв, стихийно воет: «Ооуyaaииыыоо!» Это — рев пещерных сборищ, футбольных состязаний, римских цирков, коммунистических митингов, нюрнбергских торжеств, черной, синей, малиновой сотни. Из тростников выползают лжепочитатели Дарвина, Маркса, Фрейда, Павлова. А между тем благородные победители пришли к финишу.

Отряхиваясь от наваждения, Корней быстро шагает к выходу. Ветер рвет, кружит обрывки газет, пособий, оберточной бумаги. Цветные билетики лежат сугробами: неудачные суждения, расчеты, ставки тысяч людей, свободно, по глупому выбору рискнувших собственной кровью (сбережениями) и обманувшихся в оценке действительности. Какие-то сумрачные оптимисты роются в этой груде, надеясь на двойное чудо.

После такого дня близость Янины и детей воспринималась им как пытка. Жена мирно спрашивала, почему он опоздал или забыл сироп для Рады, и Корней не мог себя заставить толком объяснить. Она пускалась в разные домыслы, подстрекаемая рев-

нивыми предчувствиями, что его возмущало. После ссоры он убегал на улицу. Но в конце концов человеку хочется отоспаться. Раза два ему случилось ударить Янину.

По делам «Кураре» Корней встречался с опытным (хотя и незадачливым) адвокатом Рубиным. Тот хорошо знал семью Ральфа и в молодости, по-видимому, был с ним на равной ноге. («Не повезло, — объяснял он грустно, — кишка тонка».)

От него, будто бы случайно, Корней узнал, что брак его с Яниной (на корабле) не может считаться легальным; иначе говоря, если бы он теперь без промедления обвенчался с Иоландой, то не совершил бы акта двоеженства.

Корней поначалу не обратил особого внимания на эту новость, но какие-то тайные сдвиги все же впоследствии произошли и образовали еще одну пустоту. В один душный и уже не весенний день ему вдруг представилось, что если сегодня жениться на Иоланде, то, собственно, ничего в его жизни не изменится. И в жизни Янины тоже. Наоборот, чек увеличится в три или четыре раза, уж это будьте покойны.

Иоланда оказалась совершенно в курсе настроений Корнея и без лишних слов поддержала его. Как-то в субботу они отправились на нью-джерсийскую сторону, в Хобокен, и, наняв двух свидетелей, сочетались гражданским браком. Затем скрылись на уикэнд в Атлантик-Сити.

Было начало июня, Нью-Йорк залила первая волна жары, и отчаянные прохожие, вынужденные сунуться на улицу из охлаждаемых помещений, бродили по тротуарам в совершенно растерзанном виде. Медленно, точно приближаясь к провинции, пораженной стихийным бедствием, открытая машина Иоланды опять пересекла Гудзон и нырнула в пекло Манхэттена.

После этого краткого медового месяца Корней с ожесточением погрузился в текущие дела, желая поскорее все уладить и полететь на Ривьеру. В «Кураре» он уже не работал, и жирный чек для Янины пришел непосредственно из конторы Ральфа. Жена, впрочем, думала, что кабаре находится в стадии летнего ремонта и поглощает все внимание Корнея. Он действительно несколько раз заглядывал туда, чтобы пристроить Клеменс, жену или, вернее, молодую вдову Султана, продавщицей папирос.

Корней раза два за это время приходил, будто бы отсыпаться, домой. Иоланда, скрепя сердце, его отпускала, уверенная, что все скоро кончится: они уедут, и возврата к старому не будет. (По со-

вету психоаналитика она решила теперь обзавестись настоящей семьей, то есть стать, наконец, матерью.)

В июле Ямб сообщил жене, что собирается по важному делу в Европу (на несколько недель); чеки будут направляться непосредственно на ее адрес.

Поездка планировалась с таким расчетом, чтобы провести в Париже 14 июля. За два дня до отлета Корней забежал на минутку к Иоланде, мечтая о ледяном бесконечном коктейле, и застал ее в чем-то похожем на истерический припадок. Смеясь и рыдая, она невнятно, но толково рассказала, что в ее гостиной только что побывала Янина в резиновом фартуке и сандалиях на босу ногу. Заняв античную позицию у дверного косяка, с воздетыми к потолку руками, Янина произнесла невразумительный, но угрожающий монолог, сверкая зелеными глазищами, после чего яростно плюнула, растерла подошвой плевок и так же внушительно скрылась, не причинив, впрочем, никому вреда. Но Иоланда чрезвычайно вдруг перепугалась (и рассердилась), звонила отцу, своему доктору и адвокату. А теперь требовала от Корнея принятия самых решительных мер.

С нелегким сердцем приближался Корней поздно вечером к своему дому — боковая улица возле парка, почти у самой границы цветного квартала. Он собирался строго поговорить с женой и в то же время боялся этой встречи, ничего хорошего впереди не ожидая.

Еще издалека в парном воздухе летнего Нью-Йорка резко запахло гарью; красные (с медью) машины пожарных в сплошном необратимом вое промчались, картинно заворачивая на углу. И вот в глаза ударил столб языческого пламени (словно костер на кладбище селения). Корней вдруг сообразил, что именно этого он уже давно опасался.

В мастерской внизу, очевидно, хранились какие-то горючие вещества, потому что весь домик пылал весело и угрожающе, как стог сухого сена. Так иногда в хрестоматиях изображают пожар в деревне; в довершение сходства растерзанные фигуры метались во все стороны, спасая собственных детей, скарб, собак. Пахло полицейской смертью, судебной медициной, моргом и тропическими, давно гниющими лианами.

Толпа соседей и любопытных, в большинстве негров, с ужасом и древним восхищением глазела, вопила, протягивая руки к верхнему этажу, где за синим окном мелькала уродливая тень Янины.

Пожарные бодро развернули шланги навстречу огню, защищая, впрочем, главным образом соседние здания. Стены дома зашипели и почернели: третий этаж заметно сжался, пошатнулся, готовясь рухнуть. В это время из окна высунулась растрепанная (Корнею показалось седая), похожая на ведьму в детской сказке женщина в корсаже и со знакомым чепцом на макушке. Взмахнув руками на манер крыльев, она, словно птица, взмыла вверх, но через минуту, повинуясь законам тяготения, описала резкую кривую, камнем хлопнулась о мостовую, подпрыгнула, перевернулась и покатилась к противоположному тротуару.

Толпа, не в силах шевельнуться, завороженно ревела, выла, улюлюкала (Корней вспомнил гул с трибун на скачках или нюрнбергских торжествах).

И сразу наступила тишина: только шипение тлеющего бревна, под которое текла вода (и словно страдающего от этого). Народ, наконец, очнулся, все засуетились, заговорили и кинулись вперед (зной, будто отступивший на мгновение, опять поплыл по темени за воротник).

Корней приблизился к тому, что осталось от Янины, склонился: тело смято, исковеркано, окровавлено, только голые икры каким-то чудом уцелели и при неровном свете казались смуглыми, стальными.

Детишек нашли только к утру, запертых в чулане; зажаренные, обугленные, они, по-видимому, сперва задохнулись (сразу после начала пожара). Их трупики напоминали голубей или чаек, неосторожно пролетевших над кратером внезапно проснувшегося вулкана.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ,

в которой проливаются слезы раскаяния

В газетах печатали грозные передовицы, жалуясь на старую электрическую проводку и преступную халатность городского управления. Впрочем, власти в свою защиту ссылались на то, что квартал, в котором произошел пожар с человеческими жертвами, давно обречен на слом: там предполагается выстроить ряд дешевых и удобных муниципальных домов.

Иоланда сочувствовала горю Корнея и старалась, чем могла, облегчить его страдания. Что и говорить, злой рок преследует

все ее начинания. Очевидно, придется опять отложить поездку в Европу.

Знаки внимания и соболезнования выражались множеством друзей и товарищей Корнея, одна телеграмма была даже отправлена с Алькатраса, острова-тюрьмы, что на Тихом океане против Сан-Франциско: там только что водворились на двадцатилетний срок Нунций и Клим, пойманные на границе Мексики с грузом урана.

После похорон Корней еще раз вернулся на старое пепелище с разбитыми стенами и зияющими дырами дверей; окно с прибитыми накрест двумя досками казалось вытекшим глазом с черной повязкой. Иоланда хотела сопровождать его, готова была дожидаться («сколько угодно») в соседнем баре, но он резко отказался. Был восьмой час вечера, из промчавшегося автомобиля прозвучала вдруг «Марсельеза», и Корней вспомнил, что сегодня в Париже, должно быть, празднуют падение Бастилии. Моросил парной, испаряющийся над камнями мелкий, трухлявый дождик. Ядовитая пыль застревала в порах влажного тела, в горле, в мозгу. Одновременно знобило и бросало в пот, усыпляло и бесило. Смеркалось.

Среди пахнущих гарью головешек Корней обнаружил пушистого медвежонка с жалобно улыбающимися фаянсовыми глазами; этого мишку он купил Янине сразу по приезде в Чикаго, что вызвало восторг всей молодой колонии. (Еще Бруно рассеянно гладил плюшевую спину игрушки, может быть возвращаясь к полянке, где с ревом состязались Фома и серый медвежонок.) Полюбили этого зверька сперва близнецы, затем Рада; несмотря на многочисленные ампутации и вывихи, он все еще олицетворял собою условное счастливое детство.

Корней отряхнул прах от своих ног и вышел за ограду, неся покалеченного и явно живого медведя. Шагал без усилия и без цели; к Иоланде он пока не собирался.

Брел по ночным улицам, не считая кварталов, часов, не замечая усталости. Время опять казалось вывихнутым и потеряло свою определенность. Его тяготило одиночество, но еще больше раздражали свидетели; Корней входил в кафе или бар и сразу выбегал оттуда, едва осушив кружку пива. Все, что происходило там внутри (вплоть до телевизора в углу), представлялось несущественным, несуществующим; впрочем, все, что случилось с ним за последние годы, казалось ему тоже нереальным и лишенным смысла.

Только память о славной экспедиции по лесам и ущельям за легендарным Бруно все еще тешила самолюбие и радовала, как удачно завершенное творческое дело. Он не был преступником, он родился отважным исследователем; не вина Корнея, если все его подвиги и достижения искривлялись, искажались злой силой.

Где они, боевые товарищи, честно делившие лишения, опасности, деньги и славу? Где они, сильные и отважные спутники, следовавшие за вождем без колебания? Всего четыре года минуло, а следов уже никаких! Музыканты перевернули страницу, и оркестр продолжает играть; опоздавшие даже не догадаются, какой мажор прозвучал в увертюре.

Корней слышал, что Нил и Свен открыли гараж в Индиане, женились, вели ровную, счастливую жизнь. (Может статься, что иногда ночью или в праздник они с гордостью вспоминают и рассказывают про экспедицию по ту сторону Больших Озер.)

Лука приходил раза два к Корнею в гости — небритый, полупьяный заика с поднятым воротничком пиджака и в дырявых башмаках. Он кормился супом в «Католик Воркер», и любая серьезная помощь, оказываемая ему, пропадала зря: через неделю он опять опускался на прежнее место среди отщепенцев. Иаков боролся со своим ангелом только раз, Луку же трепала алкогольная лихорадка многократно, и, победив ее сегодня, все равно приходилось назавтра начинать поединок сызнова.

Султан осел на юге в Сент-Луисе и там погиб. Клеменс, назвавшаяся его вдовою, приехала в Нью-Йорк совсем недавно. Корней ее устроил при вешалке в «Кураре». История этой четы растрогала всех.

Они, рассказывала Клеменс, сразу после первой встречи поженились и были счастливы. Два жалованья для семьи, состоящей из двух человек! Но вскоре родился ребенок и остался только один чек на трех членов семьи. К тому же мальчик оказался с дефектом (в мозгу и спине). Психологи, психиатры, неврологи, госпитали. Султан доверял только частным докторам, хорошо оплачиваемым. Клеменс тогда минуло 22 года, и она опять забеременела.

Как это началось, ей трудно вспомнить: переговоры, приготовления, сначала в шутку, потом все серьезнее, велись довольно долго. И вот в субботу вечером старый «додж» остановился на углу против liquor store в бедном квартале; Клеменс сидела за рулем, как было условлено, а Султан, неся завернутый в серую упа-

ковочную бумагу большой, военного образца револьвер (точно сандвич, приготовленный дома заботливой женой), бесшумно отворил дверь и, сперва заглянув, быстро-быстро (Клеменс почудилось — на цыпочках) пробежал вперед, туда, где у телевизора сидела чета виноторговцев.

Ей не было слышно, что он говорил, да и плохо видно было. Супружеская пара виновато подняла руки и попятилась в уборную, что в конце узкого магазина, хорошо изученного Клеменс. Султан скрылся за ними туда же и затворил дверь. В это время к витрине подошел грузный высокий господин в полушубке и, поглазев на выставленные бутылки, тихо вошел в лавку; остановился перед полками с винами, разглядывая ярлыки, точно корешки книг в хорошей библиотеке. Клеменс решила, что все пропало (мотор работал на холостом ходу).

К дверям приблизился еще один покупатель, отворил дверь, толкнув ее ногой. Это, должно быть, услышал Султан. Он показался из чулана, бережно неся перед собой серый сверток. Клеменс видела его лицо, невозмутимое и торжественное (обреченное); он был одет в старую шинель и черную шляпу, ей незнакомые. Султан подошел к самым дверям, внимательно ощупывая взглядом тротуар за витриной. У порога он обернулся и, достав из бумажного мешка тяжелый пистолет, осторожно поводя им, что-то сказал.

Клеменс видела, как, удивленно озираясь и неумело поднимая руки, эти двое тоже побрели в уборную. Дверь захлопнулась за ними, и опять наступил как бы антракт (Клеменс знала, что Султан в это время обыскивает их одной рукой, а в другой держит наготове оружие; вынув деньги из бумажников, он должен был бумажники тут же бросать на пол в чулане). Тихо работал мотор, каждое мгновение было бесконечным, душа подгибалась под этой ношей. «Святая Дева, бедный Патрик, пресвятая Дева», — шептали узкие потрескавшиеся губы бледной ирландки (Патрик — их сын). И снова: «Святая Дева, пресвятая Богородица, бедный, бедный мальчик».

Вот, наконец, показался Султан, ведя за ворот маленького хозяина магазина. Тот покорно открыл ящик металлической кассы. Султан одной рукой сгреб содержимое. Сердце Клеменс вдруг запрыгало от счастья; еще минута, и случится самое благодатное чудо в ее жизни.

Султан отвел маленького торговца назад в чулан, захлопнул дверцу и придвинул к ней столик с телевизором. Только в это

время Клеменс заметила по обеим сторонам широкой витрины (чуть-чуть высовываясь, с револьверами в вытянутых руках) темные силуэты двух полицейских; дальше, у противоположного тротуара (очевидно, уже давно) стояла машина и оттуда вылезали огромные страшные люди, крадучись, перебегали улицу и занимали выгодную для стрельбы позицию, приседая на корточки за прикрытием. Султан все так же тихо и торжественно подходил уже к наружным дверям, бережно неся свой сверток, точно дар жене. Клеменс зажмурила глаза.

В протоколе говорилось, что первым выстрелил ее муж. Султан упал на мостовую почти у самого «доджа», где сидела за рулем Клеменс; лежа, он продолжал отстреливаться. Отличный стрелок, он, однако, никого не задел. Клеменс видела, как он вдруг повернул револьвер дулом к себе и обеими руками точно зарыл его в своем животе; этого выстрела она не слышала.

Ее судили; Патрик скончался в сиротском доме, она скинула в тюремной больнице, так что присяжные нашли уместным оправдать несчастную вдову и мать.

«Мои боевые товарищи! — тихо пела душа Корнея, пробиравшегося ночью по отвергшему их всех большому городу. — Мои дорогие соратники, где, когда вы сложили буйные головы? Куда девались ваша удаль и сила? Река, носившая нас к подвигам и славе, иссякла, мы дышали еще некоторое время в мокром иле, а потом и дно высохло. Где она, эта река, как подняться опять к ее истокам? О, необратимое время, как тебя оседлать и повернуть вспять? Бруно, Мы, откликнись, помоги!..

Мои боевые спутники! Теперь я скитаюсь без пристанища и еще не решил, стрельнуть ли себе в живот (как Султан) или, подобно Луке, поступить в сумасшедший дом, сперва санитаром, потом пациентом. Боевые друзья, теперь очередь за вашим командиром, не порицайте меня и не слишком торопите!»

Действительно, по сей день в относительном благополучии пребывал только один Корней, по крайней мере ему так казалось. Теперь его черед: в 46 лет все безнадежно испорчено. Его обманули, или он обманывал всех? Как это началось и где, почему? Кто сделал первый шаг? Он? Но когда именно? И кто он? Его лучшая пора — это когда он жил с Ипатой под чужим именем. Только тогда его жизнь была реальностью, а не сплошным вымыслом.

Корней то бежал, то, спотыкаясь в темноте, брел по ночному городу, изредка присаживаясь на скамью возле парка или кладби-

ща, заворачивая в бар за глотком пива, и снова устремлялся вперед, точно спеша в определенное место. Дождь становился крупнее и обильнее, но от камней снизу поднимались горячие пары.

Дорога пролегала вдоль мрачного пустыря, покрытого загадочными тенями, на окраине Бруклина; за оградой Корней разглядел, наконец, скопище ободранных, развороченных автомобилей — кладбище старых машин. Здесь годные части отбирали для продажи, а хлам сжигали.

Корней пролез через дыру в ржавой решетке (одинокий фонарь светил у лужи); подобие аллеи вело между двумя рядами уже отслуживших кузовов — точно ложи в молитвенном доме патриарха. Впрочем, присмотревшись, Корней нашел, что эти машины без колес, опрокинутые или опустошенные, скорее напоминали подбитых, дряхлых, мудрых царственных зверей, дожидающихся кончины. В одном месте он вдруг задержался, узнав благородный остов «линкольна» 1948 года: эта модель увозила их от диких поселян над Большими Озерами. Четыре двери, большой, того же выпуска, величественный, черный. Корнею почудилось, что он даже различает вмятины от камней и стрел преследовавших беглецов суровых жителей селения. Да, конечно, там, на заднем сиденье, прикорнул Бруно, Янина с Фомой устроились спереди.

«Мои боевые товарищи!» — опять запело сердце.

Усталый и мокрый, Корней подлез под кузов верного «линкольна», скрываясь от света и непогоды. Старое железо жалобно скрипело, пахло ржавчиной и грязью; бойко, даже нагло хлестал дождь, и с веселым шумом стекала по сторонам вода. Там, плашмя, на мокрой земле, сторонясь лужи, он лежал с закрытыми глазами, и ему чудилось: вот он опять подъезжает к селению. На дорогу из леса выступает Ипата, обнимает его. Янина спешит по лестнице. Почему ее икры ему представлялись такими одухотворенными? Корней уже давно не играл в шахматы. Рыжий слепой могучий патриарх бежит по селению, размахивая тростью. Лабрадор обнюхивает початок кукурузы. Как хорошо и покойно было за крепкой спиной властного старца.

А там, дальше, на другом континенте — тоже отец, две сестры: когда-то все было по-своему радостно и понятно. Вот Корней опять заворачивает в кривой переулок и видит впереди родное окно, освещенное керосиновой лампой. Юноша осторожно ступает по русским лужам, вглядывается и прислушивается: не бежит ли исподтишка пегий обиженный пес, чтобы куснуть. Вот Корней

перелез через забор; стая знакомых собак с горячими зевами обступает его, словно совещаясь: а что с ним, собственно, делать. Эти полуголодные ищейки ведут жалкое существование: днем на цепи, ночью их спускают, и они радуются любому развлечению во мраке.

О, собаки нищих стран! Простите Корнею и его соотечественникам грубость, жестокость, варварскую косность. Что с вами проделывали Великие богдыханы Китая, России, Турции, Африки, Южной Америки! Комони киевских княжеств и мужицкие клячи Московии (или СССР)... вас, по Достоевскому, все еще хлещут пьяным кнутовищем промеж глаз. Российская социал-демократическая партия (большевиков), куда вы девали всех болонок Святой Руси?

Вот Корней из темных сеней проходит в большую комнату с земляным полом; там в центре — стол, накрытый скатертью из сурового полотна, в углу — печь. У двух других углов кровати отца и старшей сестры; для Корнея и младшей ставят на ночь козлы, обтянутые парусиной. На них зимою холодно: сколько ни укрывайся, все не помогает, дует снизу. Отец еще сидит за газетой; поднимает глаза поверх очков в золотой оправе:

— Вернулся, — задумчиво произносит, — вот видишь, я говорил, не стоило уходить.

Он умер накануне войны в Прибалтике.

— Сидел бы с нами, — ворчливо жалуется старшая, — чего слоняться по чужим дворам.

— Ничего, — ввязывается его любимица, младшая, — главное, что вернулся и опять все вместе.

Она погибла от немецкой подлой пули.

Корней разувается, моется в тазу из кувшина, садится к столу. На него уставлены три пары любящих, понятливых и загадочных глаз. И он жадно смотрит в ответ, точно стараясь проникнуть через дымную завесу. Лица у родных милые, будничные, ясные, усталые, но глаза — неподвижные, тихие, молчаливые, точно боящиеся поведать всю правду...

— Ох! — вскрикивает Корней, вскакивая и больно ударяясь головой о железную часть «линкольна». — Это глаза из селения, — шепчет он, волнуясь, размазывая по лицу грязь и кровь. — Ибо в царстве теней нет тени, ибо в царстве теней нет тени, — повторяет он напев безумной Шарлотты. — И рай для рыбака —ад для рыбы...

— А что, ежели вернуться теперь к Ипате? — задает он себе неожиданно вопрос и содрогается от радостной боли. — Что, убьют меня? Казнят? Хан выкрутит суставы, посадит на кол? А здесь что меня ждет?

Это показалось ему вдруг убедительным. Как все люди, привыкшие действовать, Корнею, раз приняв решение, уже не терпелось его поскорее привести в исполнение. Даже жители селения ему теперь представлялись милыми, добрыми, понятливыми, чуть ли не родственными существами. В самом деле, вернуться назад: там он себя чувствовал как дома! И Конрад был ближе, нужнее Корнея.

— В доме Отца моего обителей много, — повторяет он, стараясь подражать манере проповедника. И представляет себе гостиницу с бесконечной анфиладой занятых постояльцами номеров, а во двор заворачивает еще один жаждущий крова путник.

Корней спешит выбраться из-под лимузина, но там что-то сдвинулось и кузов осел вниз всей добротной тяжестью; напрягая мышцы груди и живота, Корней борется из последних сил, догадываясь, впрочем, что ему одному не поднять в таком положении грузной машины. И вдруг он видит рядом бродягу, чем-то похожего на Бруно: растерзанные штиблеты, короткие штанины и пухлая туша. Напевая, тот нагнулся (шея вздулась) и с натугой подкинул передок; через минутку, прихрамывая, уже пошел прочь, повторяя свою песенку:

«В той чаще,
Отчасти,
Горилла горела
От страсти».

— Вздор, вздор! — вопит Корней, догоняет его и сует ему пушистого медвежонка.

Тучный нищий с комфортом устраивается на соседнем выпотрошенном «форде» и, достав пинту вина, громко отпивает из горлышка, потом снова поет:

«В той чаще,
Отчасти,
Горилла горела
От страсти».

Протягивает початую бутылку Корнею, тот с благодарностью прикладывается к ней.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ,

в которой солнце опять заходит над бором

Двухдверный «шевроле» с трудом взбирался на кручу; дорога извивалась меж гигантскими валунами, окруженными густым кустарником и редкими уродливыми соснами. Вдали на склонах гор или в теснине лирически приютились избы, мирно дымя трубами; виднелись вспаханные чистенькие полоски, лежащие совсем рядом, точно кубики в детской. Корней осторожно вел машину.

Мелкие озера внизу похожи на разбитые блюдца с пролитым молоком. Небо блестит северным серо-серебряным светом заката. Грунтовая дорога вьется, то припадая к утесам, то отходя к самому краю обрыва: оттуда тянет гнилью, грибами, мокрыми шкурами, доносится неровный рокот потоков.

В долине пахари уже возвращаются ко дворам; там, вероятно, стемнело, потому что в окнах замигали огоньки. А здесь, под самым небом, Божья Слава еще вязала стогранные снопы из золотистых колосьев.

Подъем все круче и мрачнее. Лес гуще; коренастые лиственницы уже шумят, как снасти в бурю. Солнце скрылось, а небо в серебряном блеске. У обочины в голубых сумерках неподвижно свернулся енот. Его теплая шкурка еще кажется живой, до того она насыщена соками и красками; зверька, должно быть, ударили колесами совсем недавно. И он лежал, точно натянув по самые уши меховое одеяло, брезгливо повернувшись спиной к проезжей дороге, к людям, к жизни.

Опять плешина перевала с посвистывающим ветром в кустах; затем спуск на дно синей котловины; «шевроле» выгребает всеми старыми цилиндрами, догоняя ставший невидимым, но вполне реальный свет. Корней внимательно смотрит вперед и назад, иногда даже высовывается из окна, цепко держа руками отзывчивый руль.

В сущности, опасно продолжать путь в темноте, но и остановиться нельзя: лес, да овраги, да ветер, точно над океаном.

Вот на поляне у выводка рябых берез чернеет землянка. Корней повернул машину, пробуксовал, пятясь задом к самому жилью.

— Эой! — мелодично пропел он, подстрекаемый далью и горами. — Эой!

Волосатый, измазанный гарью смолокур вылез наружу и хриплым голосом, почесывая одной голой ногой другую, объяснил, что до ближайшего селения не меньше семи миль.

— А то здесь заночуйте, — предложил он, насмешливо сверкая разбойничьими белками глаз.

Корней толкнул педаль газа, и машина двинулась, ощупывая желтоватый валежник своими сильными фарами (как только он зажег огни, кругом сразу наступила ночь).

Однообразный подъем, спуск зигзагом и снова крутой бугор (Корней представляет себе эту же дорогу зимой или осенью, в распутицу).

Стемнело, и все-таки изредка откуда-то (чуть ли не снизу) вспыхивает вдруг пучок ярких солнечных стрел. От большой дороги то и дело отбегают тропинки помельче, и глупый советник все подстрекает Корнея повернуть на одну из них, сюда или вон туда. Но Корней не доверял чувствам и интуициям странствующих в темноте. Особенность этих мест, по-видимому, и заключалась в том, что путешественник быстро начинал сомневаться, на правильном ли он пути (и ссылаться на предчувствия).

Неожиданно сбоку открылась большая площадка, от которой под косым углом вели две глубокие колеи; Корней затормозил, осторожно ощупывая фарами новую тропу. В это время спереди от гигантской могучей сосны вдруг оторвалась темная фигура высокой статной женщины и, выступив на дорогу, легко побежала к машине. Корней отворил дверцу, напряженно всматриваясь. Ипата обняла его шею, голову обнаженными щедрыми руками:

— Вернулся, — шепнула.

— Да, я... — и смолк, подчиняясь ее сосредоточенному поцелую.

Через минуту она уверенно уселась рядом с ним, и Корней медленно повернул в темную душную аллею. (Это здесь когда-то на него пахнуло сиренью.)

— Налево, — поправлял он сам себя, — куда ты, налево!

Простучав над самым краем картофельного поля, «шевроле» вдруг резко уперся фарами в громоздкий, крытый драницей амбар; рядом из окна жилого дома брезжил огонек керосиновой лампы. Тявкнула дворняжка, радуясь неожиданному развлечению. Дверь на крыльце скрипнула, и Корней содрогнулся от знакомого громового, преисполненного любви голоса проповедника:

— Кто тут? Кто шляется под окнами? Что нужно проходимцам в этот час?

— Это я, — слабо откликнулся Корней, — Конрад, Конрад Ямб.

— Какой такой Ямб? — недовольно расспрашивал патриарх. — Вот спущу собак на нечестивца.

— Это мы, отец, — отозвалась Ипата. — Жамб вернулся.

Помедлив, пастырь решил:

— Ладно, входите, коли так.

На столе перед лениво мигающей редкими угольками печью собран был ужин. Конрада молча усадили возле чахлого Фомы, налили густых щей с убоиной, отрезали ломоть хлеба и придвинули плетеную бутыль. Три пары глаз тихо и внимательно смотрели на него.

— Видишь, вернулся, — сказал, наконец, слепой пастырь. — Напрасно только грешил.

— Мне казалось...

— Сколько мук!

— Да, отец, сколько лишних мук. Но я готов...

Фома вдруг захныкал. Ипата строго приказала:

— Ступай спать, поздно! — И тот поспешно юркнул за темный порог спальни.

— Ты что, все болел памятью? — опять спросил старец.

— Да, и памятью.

— А теперь выздоровел, все вспомнил? — насмешливо настаивал хозяин.

— Ну и ладно, стало быть, нечего болтать, — вмешалась Ипата, швыряя на стол свой знаменитый пудинг с мятой. Конрад украдкой ее оглядел: почти не изменилась, даже, чудилось, похудела, помолодела.

— Мальчик не погиб, уцелел? — осведомился он нерешительно.

— Ешь, ешь, Жамб, — откликнулась только Ипата.

А наутро старик, Ипата с Фомой повели его по селению. Кузнец, мельник, конюх — все выглядели именно так, как себе представлял Корней. Самой отрадной была встреча с джентльменом в шотландской юбке, заведовавшим отделом лекарственных трав в Grocery Store (он играл в шахматы не хуже зеленого Аптекаря). Конраду мнилось, что он видит наяву старый, тревоживший его давно и часто сон.

Знакомые рожи приветствовали гостя с заметным интересом; их глаза опять излучали тишину и молчание карточных королей, дам и валетов (что теперь даже утешало Корнея).

— Вот, Конрад приехал из города, — представлял его проповедник. — Ничего не поделаешь, избранник Ипаты.

— Опять изменников несет, — цедил сквозь зубы Карл, хлопая в воздухе огромным кнутом.

Народ тесно обступил их, дыша в затылок, и Конраду чудилось: вот-вот сверкнет лезвие предательского ножа.

Со стороны школы вдруг донеслось пение детворы, и все бросились по тому направлению. Там на длинном узком и высоком дубовом крыльце по случаю приезда констебля школьники разыгрывали пантомиму из Священного Писания. Молоденькая учительница Эллин (тоже смешливая и хорошенькая) произнесла трогательный спич, впрочем, речь свою она вынуждена была скомкать, потому что чиновник торопился дальше в путь по неожиданному и важному делу.

Все общество тронулось провожать констебля. У окраины, где начинались плотины (и крытый мост, похожий на фургон), попрощались с отъезжающим. Пошли назад, огибая поляну, по которой плыли белоснежные отяжелевшие ламы.

Городок стихал, приближался полдень, и обыватели степенно расходились по своим избам; в отворенные окна виднелись накрытые столы (караваи хлеба и дымящиеся судки). Перед печью усаживались довольные, угрюмые, усталые, бородатые или молодые поселенцы, готовясь священнодействовать вилками, ножами, челюстями. Запоздавшая Шарлотта со сбитым набекрень чепцом пронеслась мимо, вещая на ходу:

— Ибо рай для рыбака — ад для рыбы!

Конрад с Ипатой (и мальчик) свернули в сторону, прошли по густой траве на просеку и присели у полусгнившей колоды (против Конрада за кустом очутился большой пегий пес и угрожающе зарычал). Рядом лежал объемистый камень, и в тени его Конрад вдруг заметил почерневшую ноздреватую глыбу снега. А кругом играло солнце, пахло теплой землей, сосновым тесом и травами.

— Снег? — изумился он.

— Да, мы в этом году еще не заглядывали сюда, — спокойно объяснила Ипата.

«Нет, здесь все-таки что-то происходит не совсем понятное», — опять усомнился Конрад, но в это время внимание его было отвлечено четой путников, выступивших вдруг из рощи по ту сторону оврага и начавших легко взбираться по голой тропе на крутой холм. Несмотря на дальность расстояния, Конрад явственно разглядел (как сквозь чистое стекло) Янину и Бруно. Поднявшись на

самый верх, они через мгновение скрылись уже по другую сторону бугра, только Бруно замешкался было на перевале, раза два украдкой оглянувшись.

— Неужели Бог может сделать бывшее небывшим? — шепотом, точно боясь быть услышанным, спросил Конрад.

— Разумеется, — легкомысленно отозвался Фома, — ведь Он Бог и бывшего, и небывшего, и ничейного времени.

— Бывшее преходяще, — неохотно подтвердила Ипата, — а небывшее вечно. Таким образом, временное становится вечным. Вообще, при другом освещении и бывшее и небывшее преображаются. Отец не любит на этот счет распространяться.

— Но что же тогда происходит с душой человека? — взмолился Конрад.

— Тебе надо отдохнуть! — заявила Ипата, беспомощно опуская свои голые щедрые хозяйственные руки.

Пегий пес все не переставал скалить зубы и рычать. Ухмыляющийся Фома палкой отогнал его, и Конрад с облегчением растянулся на живой траве; мальчик с Ипатой разместились у его изголовья.

Отдохнув, даже вздремнув, он, наконец, неохотно поднялся, взял мальчика на руки и тяжело зашагал вслед за женой. У недостроенного трехэтажного городского здания их встретил крик Хана. Высунувшись из незастекленного окна, он, грозя кулаками, вопил:

— Прочь отсюда, творящие беззаконие!

Фома заплакал; Конрад его благодарно прижал к груди. Ипата тихо сообщила:

— Пока я здесь, нечего его бояться.

Солнце уже цеплялось за дальний лес, тени удлинились. С мокрых лугов возвращалось пестрое стадо, слышалось блеяние, мычание. Повеяло сыростью, парным молоком, навозом.

— Алек, куда ты девал топорище? — звучно разносился бабий визг за гумном. — Чтоб тебя, стервеца, разорвало!

Надвигалась бесспорная ночь; северный закат еще разливался по сю сторону неба, а с того края уже заметно проступила клякса беспросветной темени. На задворках хор подростков пел:

Слети к нам, тихий вечер,
На мирные поля.
Тебе споем мы песню,
Вечерняя заря.

После трапезы, ночью, Конрад в рубахе с засученными рукавами вышел на крыльцо. Яркие созвездия сверкали над самой головой, висели, точно гроздья заморских ягод. Чудилось, эти сверкающие чистотой миры раздуваются, увеличиваются, приближаясь, и снова сжимаются, отступают, удаляясь, подавая свои невнятные сигналы.

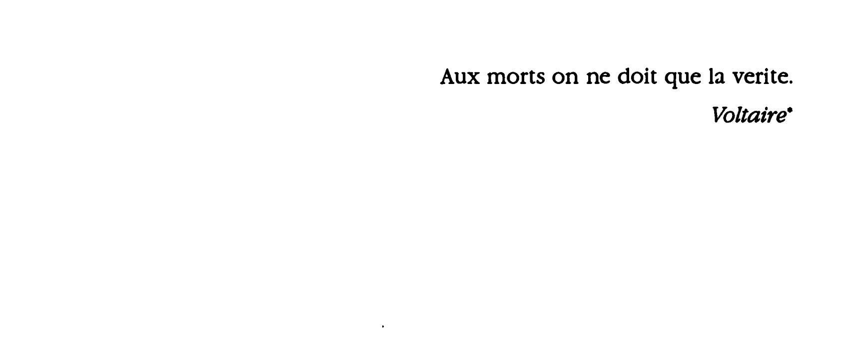
Из труб вперемежку с легким дымом вылетали озорные светляки. Старый слепой проповедник стоял на террасе и, простирая мощные длани, благословлял селения вместе с разной живой тварью вдоль Млечного Пути.

Ипата уже управилась с хозяйством. Фома спал в низком корыте, бормоча несуразные слова о буром медвежонке. Громоздкий увалень в огромных синих очках ловко шагал по теплым крышам домов, собирая в горсть веселых светляков.

Зеленые звезды, подобные рождественским снежинкам, торжественно плыли вниз. Свет распространялся чудесными волнами. Бывшее и небывшее преображалось.

Поля Елисейские

Книга памяти



Aux morts on ne doit que la verite.

Voltaire[*]

Я должен вас предупредить, чтобы вы не удивлялись, если я буду о мертвых повествовать, как о живых.

В. С. Я.

---

[*] О мертвых — только правду.

Вольтер (фр.).

I

Мыс Доброй Надежды. Мы с доброй надеждой
Тебя покидали. Но ветер крепчал...

Борис Поплавский

Великая русская эмиграция вымирает. Один за другим ушли, «сокрылись» классики и эпигоны. Кладбища распростерли свои братские объятия. Кто упокоился под Парижем или Ниццею, кто за Нью-Йорком и в Калифорнии. Над прерией звучит призыв трубача:

«И кому суждено будет во поле лечь, того Господь Бог помяни...»

Вот Бердяев в синем берете, седой, с львиною гривой, судорожно кусает толстый, коротенький, пустой мундштук для сигар. Вон Ходасевич нервно перебирает карты больными, обвязанными пластырем зелеными пальцами; Федотов пощипывает профессорскую бородку и мягким голосом убедительно картавит. Фондаминский, похожий на грузина, смачно приглашает нас высказаться по поводу доклада; Бунин, поджарый, седеющий, во фраке, с трудом изъясняется на одном иностранном языке.

Где они...

А между тем внутри себя я всех вижу, слышу, узнаю. Правда, я не могу больше пожать их теплые руки, прикоснуться к плоти, ощутить запах. Но нужно ли это?

Ведь такой нежности, которую я испытываю в настоящее время, такой боли и жалости я тогда, в пору общения, в себе не обнаруживал. Значит, смерть и время, отобрав одно измерение, прибавили другое... И теперешний образ всех наших былых спутников если и несколько иной, то отнюдь не менее реальный, не менее действительный.

Что остается на долю художника, продолжающего свою бесконечную тяжбу с необратимыми процессами? Воплотить в своей памяти этих собеседников вместе с вновь осознанным чувством боли, нежности!

И пусть эти живописания часто искривляются, подчиняясь законам искаженной (личной) перспективы. Чем больше таких откровенных, субъективных свидетельств, тем шершавее, грубее,

быть может, образ, но и массивнее, полнее. Так, два глаза, направленные под несколько различным углом, воспринимают отдельно предмет плоско, но воспроизводят его в конце концов объективно и выпукло, уже в трех измерениях.

По воскресным дням одно время молодые литераторы часто встречались за чайным столом у Мережковских. Выходили примерно к пяти часам все сразу и оседали на часок-другой в близком «извозчичьем» кафе. Продолжали ранее начатую беседу, а чаще сплетничали.

— Заметили, как бывший верховный главнокомандующий взял меня за пуговицу и не отпускал? — спрашивал Иванов, польщенный вниманием Керенского, но и считая долгом подчеркнуть свою независимость.

— А Закович по ошибке чмокнул руку Мережковского.

— И Мережковский ничуть не удивился, — подхватывал Поплавский, мастак на такого рода шутки.

Иногда я с Вильде усаживался за партию в шахматы; Кельберин следил за игрою, что, впрочем, не мешало ему принимать «живейшее» участие в болтовне. Рядом, на маленьком, «московском», бильярде с лузами подвизались Алферов с Мандельштамом: последний играл во все игры одинаково страстно и плохо; Фельзен сдержанно закуривал свою «желтую» папиросу в мундштучке и склонялся к уху соседа, улыбаясь, как расшалившийся во время урока школьник; Червинской обязательно нужно знать, что он сказал Адамовичу, когда тот собирался уходить. Адамович, живший далеко, у Convention, уже убежал: он сегодня угощает обедом каких-то милых господ!

Оглядывая мысленно эту залу в зеркалах, ярко освещенную и в то же время мглистую от табачного дыма, сотрясаемого смехом, возгласами и стуком бильярдных шаров, созерцая все это теперь, я поражаюсь, до чего ясно кругом проступали уже черты всеобщей обреченности. Мы часто хвалились умом, талантом, даром, но что земля уходит у нас из-под ног, Париж, Франция, Европа обваливаются в черную дыру — этого мы не желали разглядеть! А между тем пятна пара, оседавшие высоко на зеркалах, принимали какие-то подозрительные буквообразные очертания.

— В зале, где много зеркал, всегда чувство, точно сидишь на сквознячке! — смачно преподносил Бунин еще московскую находку. Такие штучки он ценил.

Мы с остатками упоения цитировали старого Блока с его мятежами, метелями и масками, восхищаясь пророчеством, а нового зарева над христианской Европой не разглядели вовремя. Впрочем, теперь мнится — все знали, только не осознавали этого.

Мы сидели в кафе в одинаковой позе, в одинаковой комбинации, с почти одинаковыми речами десятилетия, словно давая судьбе возможность хорошо прицелиться. И она жестоко ударила по нас.

Нет спору, жизнь была гораздо снисходительнее к людям старшего поколения и эпигонам. Они почти все успели отхватить кусок сладкого российского пирога. Сорвали дольку успеха, признания, даже комфорта. Потом, в эмиграции, они уже считались обер-офицерами — царского производства. Им давали пособия, субсидии из разных чехословацких, югославских или ИМКА фондов.

— Ах Тэффи, ах Зайцев, как же, как же!

Зимой 1961 г. в доме поэта Уистона Одена я познакомился с одной милой культурной дамой, членом советской литературной миссии, отлично разбиравшейся в тайнах англосаксонской поэзии. На мой вековой вопрос, что она знает о русской зарубежной литературе, последовал вежливый ответ:

— Ну как же, у вас были Аверченко, Игорь Северянин.

Бунина и Шмелева, прополов, издают теперь в Союзе полумиллионными тиражами. Россия еще долго будет питаться исключительно эпигонами. Ей нужна детская литература для хрестоматий.

Вероятно, минет столетие, прежде чем СССР опять станет Европою; лишь тогда Россия «откроет» своих мальчиков, никогда не прерывавших внутренней связи и с Европой, и с родиной. Для эмигрантской поэзии этот срок наступит раньше.

К семи часам наиболее солидные начинали расходиться из шоферского бистро... Время обеда. Но кое-кому все еще не хотелось расставаться, так бы профуфукали царство небесное за путаным разговором, когда чудится, что дело делаешь. И может, это верно.

В начале 30-х годов так случилось, что Поплавский, Фельзен и я, иногда Шаршун, повадились еще заканчивать вечер у Ремизова, в том же квартале. Мы пересекали туманный сквер; там на углу шумел проточной водой ржавый писсуар на две персоны. Туда мы решительно направлялись. Фельзен входил первый как старший возрастом, а может, и по другим причинам. Затем я впереди

заколебавшегося Бориса. Он оставался извне и барабанил по гулкой жести нашего пристанища, шутливо и матерно ругаясь. Только что он галантно уступил мне место, а уже негодует!

Теперь мы с Фельзеном уже дожидаемся Поплавского: смех, ругань последнего, шум воды и газового рожка, весенний шорох каштанов (или осенний скрип голых стволов). Все это залегло узлом в моей душе, зреет там и мнится — вот-вот прорастет новыми, преображенными побегами.

Фельзен еще обычно исчезал к себе на часок подкрепиться — он жил у своей богатой сестры. Мы с Поплавским заправлялись у стойки чашкой шоколада с круассанами. Потом слонялись, жадно впитывая творчески живое парижское небо. Болтали... О любви, о Маркионе, о Прусте и раннем Зощенко — все сдобренное стихами, остротами и, главное, литературными сплетнями.

Часам к девяти опять сходились у Ремизова. Гениальный Алексей Михайлович тогда, казалось нам, был уже «разоблачен» вполне. Одно время, но недолго, считалось модным увлекаться его наружностью, игрушками и даже прозою. Но в 16-м аррандисмане это единственное место, где мы могли еще собраться вечером. Повторяю, нам порою было мучительно расставаться. Как будто знали уже, до чего эфемерно это интеллектуальное счастье, и предчувствовали близкий конец.

В самом деле, разве трудно было на исходе этого воскресного дня вдруг узреть, что Мережковские—Ивановы останутся верными себе и начнут пресмыкаться перед немецкими полковниками; а наши «патриоты» Ладинский—Софиев при первой оказии уедут в Союз! Мать Мария и Вильде, Фельзен и Мандельштам — погибнут; и каждый по-своему. А первым уйдет Поплавский. Право, это легко было предсказать!

Итак, Ремизова мы уже «разгадали» и не любили, постепенно только, по обычной неряшливости, прерывая установившуюся привычку, связь. Там в доме царила всегда напряженная, ложная, псевдоклассическая атмосфера; Алексей Михайлович притворялся чудаком, хромым и горбатым, говорил таким чеканным шепотом, что поневоле душа начинала оглядываться по сторонам в поисках другого, тайного смысла. Предполагалось вполне доказанным, что у него много врагов, что Ремизова ужасно мало печатают и все обижают!

Чай Алексей Михайлович разливал из покрытого грязным капором огромного чайника. Серафима Павловна — тучное, зап-

лывшее болезненным жиром существо с детским носиком — неловко возвышалась над столом, тяжело дыша, постоянно жуя, изредка хозяйственно, зорко улыбаясь. К чаю ставили тарелку с фрагментами сухого французского хлеба или калачей, даже бубликов, но все твердокаменное. Поплавский, умевший и любивший посплетничать, уверял, что его раз угощали там пирожными, но их поспешно убрали, когда раздался звонок в передней; впрочем, нечто отдаленно похожее передавал и Ходасевич.

Шутки и выдумки Поплавского запоминались, как-то прилипали, даже если не совсем соответствовали истине! Особенно прославился его апокриф, посвященный Мережковскому... Три восточных мага приехали будто бы на квартиру Дмитрия Сергеевича (11-бис Колонэль Боннэ) и затеяли с ним беседу.

— Что есть первая истина? — осведомились маги. И Мережковский, не моргнув бровью, открыл им эту тайну.

— Что есть вторая тайна? — продолжали допытываться мудрецы.

И опять русский мыслитель легко удовлетворил их любопытство.

— А куда идут деньги с вечеров «Зеленой лампы»?

Тут Мережковский не смог ответить и заплакал.

Поплавского вообще привлекало зло своей эстетической прелестью. В этом смысле он был демоничен. И участвуя в черной мессе или только являясь непосредственным свидетелем ее, он улыбался гордой, нежной, страдальческой улыбкою, будто зная что-то особенное, покрывающее все.

Наружность Бориса была бы совершенно ординарной, даже серой, если бы не глаза... Его взгляд чем-то напоминал слепого от рождения: есть такие гусляры. Кстати, он всегда жаловался на боль в глазах: «Точно попал песок...» Но песок этот был не простой, потому что вымыть его не удавалось. И он носил темные очки, придававшие ему вид мистического заговорщика.

Говорят, в детстве он был хилым мальчуганом и плаксою; но истерическим упорством, работая на разных гимнастических аппаратах, Поплавский развил себе тяжелые бицепсы и плечевые мускулы, что при впалой груди придавало ему несколько громоздкий вид.

В гневе он ругался, как ломовой извозчик, возмущенно и както неубедительно. Подчас грубый, он сам был точно без кожи и от иного прикосновения вскрикивал.

Влияние Поплавского в конце двадцатых и в начале тридцатых годов на русском Монпарнасе было огромно. Какую бы ересь

7 Зак. 2385

он ни высказывал порою, в ней всегда просвечивала «творческая» ткань; послушав его, другие тоже начинали на время оригинально мыслить, даже спорили с ним. Это в первую очередь относится к разговорам Бориса. Когда-нибудь исследователь определит, до чего творчество наших критиков и философов после смерти Поплавского потускнело.

Его многие не любили при жизни, или так казалось. Постоянно спорили, клевали, наваливаясь скопом, завистливо придираясь, как полагается на Руси. А он, точно сильная ломовая лошадь, которую запрягли в легкий шарабан, налегал могучим плечом и вывозил нас из трясины неудачного собрания, доклада, даже нищей вечеринки. Дело могло кончиться скандалом, но все-таки у многих в сознании на следующее утро, как в саду после грозы, обнаруживались вдруг свежие, творческие побеги.

Поплавский, выступая на собрании, говорил монотонно, напевая под нос и как бы задыхаясь к концу длинной фразы. Когда он начинал задыхаться, то ускорял речь и повышал голос, чтобы успеть пояснить мысль и затем лишь перевести дух. Но это повышение и ускорение как-то всегда совпадали с наиболее острой его мыслью, а может, она представлялась таковою благодаря удачно затрудненному дыханию.

Стихи свои он читал тоже с монотонным напевом и под нос, как бы через свирель, вдруг ускоряя темп; впрочем, в начале строфы голос его мог звучать, как у школьника. Я умел хорошо подражать его чтению; но с годами эта способность пропала. В те времена «Черную Мадонну» или «Мечтали флаги...» повторяли на все лады не только в Париже, но и на «монпарнасах» Праги, Варшавы и Риги.

Поплавский был чуть ли не первым моим знакомством на Монпарнасе. И с того же дня мы перешли на «ты», что не было принято в русском Париже; в ближайшие десять лет он, вероятно, остался моим единственным «ты». И это, конечно, не случайность для Бориса.

Мне пришлось быть свидетелем, как в продолжение целой ночи в удушливом подвале на Пляс Сен-Мишель, куда мы прошли после собрания в «Ла Болле», Борис говорил Фельзену «ты», а тот вежливо, но твердо отвечал на «вы». Много лет спустя Фельзен, оправдываясь, объяснял, что он не любит, когда его заставляют! (Как, должно быть, ему было мучительно в подлых немецких лапах.)

Эта ночь подобно кошмару тянулась без конца; Поплавский был точно на пороге эпилептического припадка, словно вся его жизнь, вечная, зависела от того, откликнется ли его собеседник на братское «ты».

В конце двадцатых годов Фельзен был еще новичком на Монпарнасе, известно было только, что его уважают Адамович, Ходасевич и многие богатые меценаты. Это, конечно, могло вначале повлиять на Поплавского, но дальше тяжба его была уже не карьерного порядка.

А беседа, между прочим, велась совсем неподходящая для Фельзена того периода. О святой Софии, о разбойнике на кресте, о римском патриции, осужденном на смерть и боящемся казни; его любовница вонзает себе в грудь кинжал и, улыбаясь, говорит: «Видишь, это совсем не страшно...» (Любимая история Поплавского.) Все эти его речи были пересыпаны интимнейшим «ты» в ожидании немедленного чуда, отклика, резонанса.

Поплавский приходил ко мне, часто в неурочный час, на рю Буттебри и слушал мои первые рассказы. Он находил в них «напор». После выхода романа «Мир» Борис повторил несколько раз, что я похож на человека, которому тесно: он постоянно всем наступает на ноги!

В его «Аполлоне Безобразове» воскресший Лазарь говорит «мерд»! В «Мире» у меня есть нечто похожее, и Поплавский жаловался на мою «плагиату». Когда я по рукописи доказал, что о прямом заимствовании не могло быть и речи, он грустно согласился:

— Да, все мы варимся в одном соку и становимся похожими.

Ссоры с ним регулярно сменялись полосами дружеского общения. Мы расхаживали по бесконечным парижским ярмаркам и базарам, по ботаническим и зоопаркам, прицценивались к старинным мушкетам или к подзорным трубам эпохи армады. Иногда отдыхали в синема или подкреплялись неизменным кофе с круассаном. Я тогда верил в медицину, и в февральскую стужу — чтобы предупредить бронхит, пил, обжигаясь, горячее сладкое молоко. Он издевался, придумывая разные забавные, а иногда и злые ситуации, потом распространял их как действительно имевшие место.

Придешь в следующую субботу к нашему общему другу Проценко — такой малороссийский Сократ, «учитель жизни», — не отличавшемуся, казалось, никакими формальными талантами, а

оказавшему большое влияние на многих... Только зайдешь, еще стакана вина не предложили, а уже Проценко с деланной строгостью спросит:

— Что это, Василий Семеныч, неужели у вас в рассказе герои пьют конскую мочу?

До меня уже дошли слухи о новой проделке Поплавского, и я горько отбивался:

— Там сказано: «От запаха конской мочи першит в горле»... вот и все!

Любимым анекдотом Бориса был разговор, будто бы подслушанный им в Монте-Карло:

— Вы тоже мистик? — спрашивает один.

— Нет, я просто несчастный человек.

Или другая выдумка: монаху за молитвою все время является соблазнительный образ женщины.

— О чем просит этот анахорет? — осведомляется наконец Бог Саваоф.

— О женщине, — докладывают Ему.

— Ну, дайте ему жжеенннщиину!

О каждом из своих друзей Поплавский знал что-то сокровенное или злое; впрочем, преподносил он это почти всегда снисходительно и мимоходом.

На мой вопрос, действительно ли фамилия одного нашего литератора чисто итальянская, Поплавский, сладко и болезненно жмурясь, объяснял:

— Он кавказский армянин. Знаешь, как Тер-Абрамианец, Тер-Апианец.

И улыбка падшего ангела озаряла землистое, одухотворенное лицо с темными колесами глаз.

В 1941 г. я прочитал объявление в «Кандиде» о вернисаже выставки знаменитого художника Тер-Эшковича в Лионе... и вспомнил вдруг Поплавского. Кстати, Борис учился рисованию и хорошо разбирался в живописи, что, разумеется, не случайность в его жизни.

Чудилось — у Поплавского огромный запас витальных сил: вот-вот легко и походя опрокинет ставшего у него на пути... Но вдруг что-то срывалось: совсем неожиданно и ощутимо! Лопалась центральная пружина, и Поплавский застывал на всем бегу, точно зачарованный медиум, улыбаясь сонной улыбкой. И сдавался: соглашался, уступал, уходил!

Его мистическая жизнь была полна пугающих противоречий, и часто вокруг него собирались исключительные по насыщенности темные силы. Мне всегда чудилось: не устоит, не осилит! Ясно, что тут речь шла о другом плане, ибо в таланте или даже в гении ему никто не отказывал. Внутренне он чересчур спешил, тщась развить духовные мускулы так же непропорционально, как и свои бицепсы.

Отношения с Поплавским не могли быть ровными. С ним, единственным, кажется, из всех парижских литераторов я дрался на кулаках в темном переулке у ателье Проценко, где веселились полупоэты и полушоферы с дамами. В этот вечер уже с самого начала Борис был уязвлен, приход Адамовича раздразнил его еще больше. Он вообще был чрезмерно чувствителен к отзывам печати, совсем не стараясь этого скрывать. Даже статейка заведомо глупого или ничтожного собрата все-таки действовала на него завораживающе. Эта черта, свойственная всей русской литературе, она в эмиграции развилась до уродства именно по причине совершенной тщетности и бесплодности нашей деятельности. Ну, похвалит тот, другой... Никаких обычных последствий ведь нельзя ожидать — то есть увеличения тиража, гонорара, почета!.. Сплошное какое-то почесывание пяток друг другу. Главное, рецензии эти воспринимались как последнее мерило, ибо не было еще одной инстанции — читателя!..

Что отношение может быть другим, я понял только позднее, попав в страны англосаксонской культуры. Там независимые джентльмены почитают за долг относиться равнодушно к тому, что другие джентльмены пишут о них по обязанности. За все время существования американской литературы вы не найдете статьи в духе того, что писал, скажем, Салтыков-Щедрин о своем современнике Достоевском.

Одно из самых потрясающих признаний, сделанных Буниным (их было не много), относилось именно к этой теме. Раз в «Доминике» поздно ночью, пропустив последнее метро, он мне сказал:

— Даже теперь еще... а сколько было... как только увижу свое имя в печати, и вот тут, — он поскреб пядью у себя в области сердца, — вот тут чувство, похожее на оргазм!

Что же обвинять Поплавского! Никто ему не подавал другого примера. К западу от Рейна постепенно укоренилось мнение, что

если христианские отношения пока еще не установились в нашем обществе, то надо, по крайней мере, хотя бы вести себя прилично. Русское понимание comme il faut* относилось главным образом к чистой обуви и перчаткам, а отнюдь не к fair play**. А между тем, с этим свойством общество не рождается, fair play можно только прививать.

Что греха таить, на родной Руси люди по сей день испытывают особое удовольствие, если им удастся неожиданно совершить подлость или повести себя неприлично. Устами воображаемого героя Достоевского: «Вот мы с вами только что обсудили все высшие материи и настроились на европейский лад, а я вот возьму, ха-ха-ха, и сделаю гадость, хе-хе-хе». Сталин, по свидетельству авторитетных лиц, почитал за высшее наслаждение обедать с человеком, которого уже приговорил к расстрелу или пыткам. Перехамил или перекланялся — так определял Поплавский собственный недуг.

Вернее было бы — перехамил и перекланялся одновременно.

Георгий Иванов, человек, интимно связанный со всякого рода бытовой мерзостью, но по-своему умница, с удовольствием повторял слова Гумилева: «Войти в литературу — это как бы протиснуться в переполненный трамвай... А заняв место, вы в свою очередь норовите спихнуть вновь прицепившегося».

Увы, эти «трамвайные» нравы не были свойственны только литературе. И в русской политике — правой или левой — требовалась та же «гимнастика», натуральная борьба, византийские джунгли, хе-хе-хе.

Эти рудименты пещерной культуры характерны для всего Востока, но особенно они удручают в России, где звание писателя ставится необычайно высоко, чуть ли не на одном уровне с пророком, святым, борцом за правду. На Западе совсем иное отношение к литературе. Хемингуэй пишет хорошие рассказы, но ему не придет в голову указывать современникам, за какого президента голосовать. Пруст поместил свой капитал в публичный дом и жил с прибыли, что дало ему возможность написать гениальный роман.

Какое это было откровение, когда я двадцатилетним юношей впервые услышал, что писатель может играть на бирже и воло-

---

* Приличие, хороший тон *(фр.)*.

** Честная игра *(фр.)*.

читься за мальчиками... И совсем не нужно обязательно проповедовать, страдать, клеймить, идти на каторгу или делать вид, что страдаешь, жертвуешь. Причем, парадокс — именно эти вежливые писатели, отдающие деньги в рост, никогда не бросают «подлеца» своим собратьям и не ловят их на грамматических ошибках.

Среди парижских писателей было несколько заведомых джентльменов: Осоргин, Фельзен. И какое это было чудо отдохновения с ними общаться: парадиз, остров ровного доброжелательства среди соборного царства перехамства.

— Вот, — говорил мне Поплавский, хвастливо протягивая письмецо. — Если делать дело, то надо его делать как следует.

Письмо было от Алданова к Зеелеру (секретарь Союза писателей и журналистов, по внешности Собакевич из «Мертвых душ»). Марк Александрович рекомендовал Поплавского как талантливого поэта и поддерживал его просьбу относительно единовременного пособия в размере ста франков. Алданов любил такого рода благодеяния и никому, даже негодяям, в них не отказывал. Мне он раз даже дал список своих переводчиков на иностранные языки. «Все мертвые души!» — узнав об этом, хихикнул Иванов.

Думаю, что следует пояснить наше тогдашнее отношение к чужим деньгам и вообще к услугам посторонних... В те годы получить субсидию или подачку почиталось лестным! Помню скандал, устроенный Смоленским, когда ему ничего не уделили из собранной суммы. На возражение Фельзена (председателя), что Смоленский теперь работает и не очень нуждается, последний трагически завопил: «Поэт я или нет? Неужели я хуже Кельберина? А раз не хуже, то и мне полагается!»

Вспоможествования, милостыня становились в нашем обиженном сознании чем-то вроде чинов и орденов чеховской Руси. Случаев гордого отказа от таких денег почти не бывало. Впрочем, все знали, что Осоргин и Алданов никогда ни от каких «обществ» или частных жертвователей субсидий не получали и не желали получать. Но это вызывало только циничные замечания Иванова, стригшего без зазрения совести и трусливых овец, и блудливых волков.

Только потом, в США, увидав, как по пятницам выстраиваются скромные, веселые люди разных мастей у окошечка в конторе и с достоинством получают свой чек за недельный труд — от 40 до 90 долларов, причем за 10 долларов можно купить обувь или простое женское платье, а за 50 мужской костюм... — только тог-

да мне что-то открылось! Наивные американцы должны еще рассчитаться окончательно с налоговым инспектором, и все же при всяком удобном и неудобном случае они любят повторять, что никому ничем не обязаны и ни о чем не просят... Это некий местный идеал (как ратовать за народ в России), одинаково обязательный для поломоек и для поэтов, преподающих Creative Writing* в колледжах для черных лифт-боев и седых дантистов.

Нам в детстве твердили про героев, затыкавших пальцем пулемет, бросавших бомбы в генерал-губернаторов, или о святых, раздававших мужичкам свое заложенное имение. Но о том, чтобы трудиться целую неделю, а в пятницу, получив чек, заплатить по счету, гордо заявив: «Я, слава Богу, никому ничего не должен и ни в чьей помощи не нуждаюсь...», о таком варианте гражданской добродетели мы не слышали. А жаль.

Зато в США люди выглядят примитивами, когда заводишь разговор о мистике падения, о национальной идее, о соборности искусства и об уходе Толстого из Ясной Поляны. Тоже, конечно, жаль.

Итак, Поплавский на вечеринке в ателье Проценко, где днем красили галстуки и шарфы, был особенно раздражен. Статья Адамовича, задевшая его, стакан вина из нового запаса, привезенного таксистом Беком (бывшим русским подводником), или «постоянная» девица, не отстававшая ни на шаг от Бориса, все это могло подействовать на него удручающе. Кстати, девица эта изъяснялась по-русски с невозможнейшим акцентом; о ней мне Поплавский повторял, зло и страдальчески жмурясь:

— Она питается моими экскрементами.

Началось с того, что я разговорился с Адамовичем; тот считал, что похвалил Поплавского. Вообще, критику в эмиграции жилось подчас очень несладко: все вместе, все на виду, каждый день жмешь руку... Если выругаешь А, то Б надо еще больше покрыть; а похвалишь С, то Д следует опять-таки выделить особо. Все взвешивается мгновенно на чутких, точных, хотя и нематериальных весах, и сразу предъявляется претензия. Кроме того, существуют редакции, старики, зубры, снобы, радикалы. Как тут сохранить равновесие и популярность! Причем все равно писатели никогда не удовлетворены.

---

* Писательство *(англ.)*.

Однажды Адамович выделил строку Поплавского «Город спал, не зная снов, как Лета...», указав, что последние слова звучат точно «котлета». Остроумно. Но Борис в истерике заявил, что он опозорен навеки. «Ты не понимаешь, я поэт, и все воспринимаю иначе».

Мое уединение с критиком ему не понравилось. У Поплавского была такая черта ревности. Около полуночи он со своею девицей вылез наружу в глухой переулок, что у метро Censier Daubenton. Да, в сексуальном смысле у нас не все обстояло благополучно. Грустный факт заключался в том, что за пределами литературных дам, которые не были созданы для вульгарных отношений, на нас никто не обращал внимания. И немудрено: плохо одеты, без денег, и главное, без навыка к легкой жизни и приятным связям. А между тем Париж был полон взволнованных иностранок, приезжавших туда, чтобы разделаться со своей опостылевшей добродетелью. И нам именно этого хотелось! Но, увы, они, казалось нам, предназначались для другого сорта мужчин — удачников (что часто означало почему-то — пошляки, бездарности).

Еще одна черта восточного Гамлета: культ недотеп, мстительное презрение к удаче! Большевики, судя по дипийцам, с этим, кажется, покончили.

Но иногда мы натыкались на тревожный парадокс: удачные удачники. И талантливы, и умны, и мистически подкованы, а жар-птица им все-таки дается в руки. Тогда мы не знали, как себя вести, выдумывая разные оговорки, кидаясь от одной крайности в другую: перехамив и перекланявшись! На этом, в сущности, была основана безобразная травля в Париже «берлинца» Сирина.

Итак, Борис вышел с девицею в переулок и уселся в пустое такси Бека, дожидавшееся своего хозяина. Потом Бек мне жаловался, что они заблевали подушки в машине: «А ведь мне еще работать пришлось».

Там, на заднем сиденье, Поплавский полулежал с дамою сердца, когда я тоже выполз проветриться. Из озорства я несколько раз протрубил в рожок, мне тогда это показалось остроумным и даже милым.

Но Поплавский вдруг неуклюже, точно медведь, вывалился из такси и полез на меня, матерясь и возмущенно крича:

— Ах, какой хам... ах, какой хам...

В его страдальческом голосе были нотки подлинного отчаяния.

Мы несколько минут сосредоточенно и бесцельно боролись, он зачем-то рвал на мне ворот рубахи и даже вцепился в волосы.

Наш общий друг Проценко в это время как раз освежался у забора. От совершенной неожиданности, любя нас обоих, он опешил, буквально парализованный, не зная, что предпринять... Так он мне потом объяснил свое состояние. Вино, разумеется, тоже сыграло некоторую роль.

На нашу возню из ателье высыпали другие литераторы, шоферы, дамы. Всеволод Поплавский, брат Бориса, весело картавя, вопил:

— Обожаю русскую речь...

Бек нас разнял; он потом уверял, что только из уважения к выдающемуся поэту не избил последнего за испорченные подушки. И это очень польстило Борису.

— Неужели мы когда-нибудь войдем в людное собрание как настоящие, общепризнанные знаменитости? — спрашивал он меня вполне серьезно.

Внутренне он спешил, чересчур спешил.

В те десятилетия мы много ходили. Пройти ночью с Монпарнаса к Шатле, где Поплавский тогда жил, было не только экономией, но и удовольствием. По дороге он покупал в кафе-табак полые французские свечи. Они стоили гроши, и этой мелочью я его иногда ссужал. Кстати, пустые парижские свечи вызывали ожесточенную ругань среди наших правых «почвенников». «Смотрите, — кричали они. — Разве такая нация сможет воевать с немцами?»

С деланной грубостью Борис произносил на прощание:

— Вот ты дрыхнуть идешь, а я еще буду писать роман.

Старая квартира Поплавских — совсем близко к Halles — освещалась газом, который мать на ночь выключала не только по соображениям безопасности или экономии, но и чтобы досадить сыну — так мне казалось.

После литературных собраний мы почти всегда выходили вместе. Помню, раз Горгулов читал в «Ла Боллэ» поэму, где черный кот все хотел кого-то или что-то у м я т ь. Эту поэму Павел Бред (его литературный псевдоним) задумал как оперу и уверял, что уже нашел соответствующего композитора. Комната кафе, где висела жуликоватая доска с именами прежде здесь собиравшихся знаменитостей — Верлен, Оскар Уайльд, — квадратная комнатка буквально сотрясалась от глумливого хохота современных российских поэтов.

Председательствовал совершенно случайно Дряхлов, тогда член правления, — человек очень русский со всеми надлежащи-

ми прелестями и недостатками. Вообще на редкость бестактный и угловатый, он вдруг становился предельно нежным и природно аристократичным, когда дело касалось униженных или обездоленных. А через минуту опять скабрезно осклаблялся.

Вот он, Валерьян Федорович — мой друг, поэт, с которым мы много и зря ссорились за шахматами или Блаватской, — неистово стучал костлявым кулачком по дубовому, рыцарскому, столу, призывая собрание к порядку.

Тогда Горгулов поднялся во весь свой богатырский рост, и сидевшие близко испугались: гигант, тяжеловес, вот-вот схватит длинную скамью и начнет крушить — мокрого места не останется!.. И в то же время смешно: этакая несуразность! Образцовая физическая машина, а в мозгах явная недохватка. Ну, зачем он пишет поэмы?

В эту ночь Поплавский, Горгулов и я долго бродили по Тюильри. В Париже была такая черточка — немедленно завоевать нового человека! Особенно старался всегда Борис.

Горгулов окончил медицинский факультет в Праге — он был несколько старше нас — и, естественно, старался получить у меня ценную информацию относительно практики для иностранцев, госпиталей и экзаменов. В собственном литературном призвании он не сомневался, а наши заслуги игнорировал.

Некоторые его вопросы, впрочем, сбивали меня с толку.

— Кто здесь делает аборты? Какие у вас девочки? Почему сегодня хорошеньких не было?

Увы, мои ответы его явно не удовлетворяли. Становилось както очень грустно: чужая формация, нам не о чем разговаривать. Вдруг Поплавский резко остановился под лучшею аркою Парижа — Карусель — и начал облегчаться. За ним, сразу поняв и одобрив, Горгулов и я. Там королевский парк и Лувр со всеми сокровищами, а над всем хмурое небо неповторимого рассвета — пахнуло вдруг полем и рекою... А трое магов, прибывших с Востока, облегчались в центре культурного мира. Наш ответ Европе: лордам по мордам.

Поплавский был гениальным медиумом и легко подпадал под влияние чужих лучей, вибраций. Он бессознательно и точно оценил Горгулова и сразу сдался.

Силы у Горгулова не переводились, но куда их девать — вот вопрос. Через несколько месяцев он застрелил президента республики, невинного и седовласого старца Думера.

Бывало, слоняясь по историческим фобургам, мы старались понять, как чувствовали себя «аристо», когда их везли по Парижу к гильотине. И вот случилось: член парижского объединения писателей и поэтов всходит на высокие мостки. Карьера противоположная, но по блеску почти равная карьере Сирина-Набокова.

Толпа на бульваре тихо, но взволнованно рокотала; бистро были открыты всю ночь. Раздраженный и раздражающий смех грубо накрашенных женщин, не разберешь, кто шлюха, а кто дама общества. Грубоватые окрики озабоченных корсиканцев, гадающих о собственной неясной судьбе. Атмосфера торжественности, как в церкви, и азарта, точно на скачках.

Уже светало, когда с ним покончили. Издалека, по движению ставшей одним телом толпы, можно было догадаться, что не все протекает в соответствии с расписанием. Последние минуты тянулись немыслимо долго... Кругом шепотом объясняли, что нож заело, что надо начинать сначала. Но наутро газеты объяснили: крупное тело Горгулова не умещалось в ложе гильотины... Шея казака не влезала в раму под нож.

Как-то недавно в нью-йоркском госпитале мне пришлось укладывать отказавшегося после операции дышать тяжелого грузчика в «искусственные легкие» для автоматического дыхания. Никак не удавалось втиснуть это гигантское тело в нечто отдаленно похожее на станок гильотины. Тогда я вспомнил моего современника Горгулова. Дело в том, что наши аппараты, инструменты — в казни и спасении равно — увы, рассчитаны только на «среднего» человека.

Горгулов умер среди толпы чужих, на манер Остапа Бульбы («Слышишь ли ты меня, батько?»). В другое время, под иными звездами, в знакомой среде из него вышел бы, пожалуй, герой.

Если современное общество допускает возможность преступлений, за которые главным образом ответственны условия существования, детство, родители, болезни, то тем паче это должно быть верным по отношению некоторых подвигов. То есть надо прямо сказать, что многие герои не заслужили ни награды, ни почета, ибо на этот славный путь их тоже поставили «объективные условия». Или человек лично ответствен за все свое дурное, или он и похвалы не всегда лично заслуживает!

Говорю это в связи с русской историей последних ста лет: какая героическая эпоха! Что ни юноша, то революционер, то святой, жертва, светлый мученик. Ведь они все шли на каторгу — за

идеи, за народ... Те самые, что сейчас бегают по Нью-Йорку, стараясь перебить друг другу аванс под новый казенный «прожект». Бывшие подвижники превратились в нечто похожее на подрядчиков времен Крымской войны, о которых так проникновенно писал ужасный Салтыков-Щедрин.

— Подметки на ходу срезают! — восхищенно объяснил один дипиец, тоже с крепкими локтями. — А ведь считались деликатными интеллигентами.

Кто знает, может, действительно иногда решает время, эпоха, эон, а не усилие отдельного человека, особенно если последний отнюдь не оригинален и поддается влиянию моды.

Весна и осень в Европе прекрасны, в Париже и лето порою чудесно, вопреки угару и зною. Поплавский даже воспевал это застывшее пекло. Мы бродили по рынкам и бульварам, исполненные юношеского восторга, в поисках идеального воплощения подвига и греха.

Поплавский вдруг увлекся православной службою. Он не следовал за модою, а сам ее устанавливал. Постился, молился, плавал и поднимал тяжести до изнеможения, хлопотал над гимнастическими аппаратами, убивавшими плоть, но и, о чудо, развивавшими мышцы. Он сочинял для себя нечто похожее на вериги, а пока приходил на Монпарнас, щелкая трудной машинкой для ручных упражнений. Проговел всерьез весь Великий Пост, так что его даже в кафе почти не видели.

— Фу ты, дьявол, — отдувался он удовлетворенно. — Это тебе не латинские книксены — отстоять русскую службу.

Тогда уже все увлекались парижской школой православия, как несколько позднее кинулись в масонство. Был такой поэт Пуся, или, вернее, Борис Закович — друг, ученик, раб Поплавского и автор нескольких волшебных стихов (ему Поплавский посвятил свою вторую книгу стихов — щедрый дар верному спутнику). Когда я называл Заковича Пусей, тот твердо возражал, что было смешно, ибо казался он существом музыкально-уступчивым, из ртути, что ли:

— Для вас я не Пуся, а Борис.

Пуся играл прескверно в шахматы, а так как бесплатно я не играл с бездарными противниками, то он и проигрывал изрядные по тогдашним понятиям суммы и часто отказывался платить, ссылаясь на Поплавского:

— Боб сказал, что я не должен платить, нечестно играть со мною на деньги!

Вот Закович тоже тогда увлекся литургией Василия Великого, что не помешало ему вскоре вступить в масонство вместе со многими другими литераторами.

Поплавского масонство всегда волновало и притягивало; он проповедовал, что мы живем в эпоху тайных союзов и надо объединяться, пока не наступила кромешная тьма. Но «генералы» ему не верили — характер неподходящий! Во всяком случае, несмотря на все хлопоты и истерики, в масоны его не пропустили. Пусю приняли вместе с десятком других энтузиастов.

Софиев и Терапиано еще до того числились вольными каменщиками разных толков. Осоргин собрал ложу, кажется, Северных братьев. Теософы, антропософы имели свои ячейки. Понемногу все объединились: архиправые кинулись в ложи, надеясь изнутри овладеть Троей. (Во Франции, разумеется, масонство вполне легальная организация.)

Говорили, что недавно приехавший в Париж берлинец «лезет» во главу русского масонства, в чем ему будто бы помог Авксентьев. Все это ужасно волновало Поплавского, и, вероятно, тогда он начал принюхиваться к кокаину. Отец Пуси был дантистом и после смерти оставил множество каких-то подозрительных пакетиков.

— Может, он не был простым дантистом, — с прекрасной, задумчиво-злой усмешкой, невесело объяснял Борис.

Кроме того, он еще неудачно влюбился. Барышня уезжала в Союз к своему жениху, но перед отъездом еще почему-то уединялась с Вильде, что чуть не привело к дуэли.

Фельзен и я тогда организовали издательство при нашем — молодом — Объединении. Мы устроили Выставку книг зарубежных изданий: продажа, ежегодная подписка и входная плата по замыслу должны были обеспечить издание новых книг.

Поплавский вручил нам рукопись своего романа «Домой с небес», надеясь, что мы его издадим. Он писал бурной, размашистой лирической прозой большого поэта, со всеми преимуществами и недостатками такой манеры (от Андрея Белого до Пастернака включительно).

Когда на Монпарнасе ругали редакционную коллегию за то, что мы в первую очередь издаем свои книги («Письма о Лермонтове» и «Любовь вторая»), Поплавский неизменно нас защищал, повторяя громко и внятно:

— А что, они не писатели, что ли?

Потом приходил на выставку и ругал этих «зануд».

Но все же мы не могли поднять его романа, слишком велик и не окупится подпиской. Вместо «Домой с небес» мы в следующий год выпустили Агеева «Роман с кокаином». И это было для Поплавского предательским ударом.

Теперь мне просто непонятно, как это мы отвергли его рукопись по экономическим причинам! После гибели Поплавского его литературным наследством ведал Татищев, всячески, казалось бы, старавшийся издать роман, что ему, однако, никак не удавалось; психоанализ объяснил бы это бессознательным «блокированием», торможением. Во всяком случае, и мы с Фельзеном книги этой не «подняли».

Интересно еще следующее... Приблизительно в это самое время Фондаминский, похоронив супругу, решил организовать «Круг» — нечто вроде литературно-философско-религиозных бесед, соединив впервые силы уже подросшего нового поколения с начинающими стареть интеллектуальными бонзами эмиграции. Фондаминский усердно советовался с нами, составляя списки приемлемых членов, встречаясь со многими из нас отдельно и группами... Он расспрашивал, сравнивал отзывы, сверял и, наконец принимал решение в соответствии с общим впечатлением.

Вот тогда же мы все, в одиночку и коллективно, дали Поплавскому такую рекомендацию, что он в «Круг» не попал. Вероятно, впоследствии, в разгаре встреч он все-таки был бы принят, слишком уж вся эта стихия была ему конгениальна. Но факт все-таки остается: вначале мы его не пригласили, забраковали. Осенью того же года Борис умер.

Притча о камне, отвергнутом строителями, одна из самых «экзистенциальных» в Евангелии. О ней придется вспомнить опять... Когда «Круг» удачно просуществовал два сезона, зародилась мысль выделить некое ядро «Круга», внутренний центр в духе, скажем, нового ордена. Кружок этот должен был связать людей, жаждущих не только разговоров, но и готовых актом закрепить свои чаяния и верования. При этих условиях дружба, даже любовь между членами ордена казались обязательными.

Но когда предложили кандидатуру Вильде в этот внутренний «Круг», то вдруг раздались возражения... Говорили, что характер у него неясный, темный, надо сперва выяснить, что да как — не капитан ли Копейкин!..

Эти возражения были выдвинуты единственный раз и по отношению к единственному человеку из нашей среды, ставшему вскоре вождем французского резистанса и погибшему в активной борьбе со злом.

Два скверных анекдота! И они меня многому научили... Вильде мы, впрочем, тогда приняли в содружество. Мне и Варшавскому, кажется, было поручено инициативной группой встретиться с ним и «выяснить» все. Что мы могли выведать? Не потенциальный ли он предатель, оппортунист?

Мы выполнили наказ, честно посидели в неурочный час, выпили что-то и «прозондировали» почву. В результате нашего доклада, на квартире Фондаминского, Вильде был принят во внутренний «Круг». Но об этом после.

Весною я вдруг, манкируя экзаменами, начал писать рассказ о дьяволе, формально о шахматах. Отправил свое произведение в «Современные записки» и тотчас уехал в Кальвадос, как мне чудилось, на вполне заслуженный отдых: плавание и велосипед до изнурения меня потом поддерживали всю зиму!

В августе я получил письмецо от аккуратнейшего В. В. Руднева вместе с моею, уже потерявшей девственную свежесть рукописью «Двойного нельсона». Рассказ недостаточно хорош для «Современных записок».

Руднев был честнейшим, милейшим, добрейшим русским интеллигентом, дворянином, земским врачом и эсером. Как почти все из этой среды, он мало смыслил в искусстве и не высказывал суждения о живописи или стихах. Но проза казалась ему делом простым и нехитрым. Вообще, литература в России ведь только придаток, аппендикс к другим силам, ведущим борьбу с произволом. И этот честнейший зубр занимался редактированием единственного в эмиграции толстого журнала. Из других редакторов только поэт М. Цетлин был на своем месте. Несколько лет спустя мне удалось поместить этот рассказ в «Русские записки». Тогда Ходасевич при памятных для меня обстоятельствах пригласил меня к себе для беседы. Он относился серьезно к своим обязанностям критика и считал нужным выяснить некоторые темные места, прежде чем писать статью для «Возрождения». Узнав, что «Современные записки» мне когда-то вернули «Двойной нельсон», он пришел в бешенство.

— Ну, зачем они берутся не за свое дело? Ну, зачем они берутся не за свое дело! — повторял он с отвращением.

Я знаю, что в разное время Ходасевич писал нежные письма и Вишняку, и Рудневу, а может быть, и Милюкову. Он, вероятно, начинал так: «Дорогой Н. Н...», и завершал: «Уважающий Вас В. Ходасевич». Но заключить отсюда, что поэт любил этих общественных деятелей или уважал их, могут только очень ограниченные люди.

Гнев его в ту пору был направлен, главным образом, против Вишняка. Впрочем, на последнем вымещали почему-то злобу многие, словно он один или в первую очередь он был ответствен за все исторические пасквили нашей эпохи. А это, конечно, неверно. Есть такие существа, которые без особых причин кристаллизуют вокруг себя весь общественный гнев. Я встречал множество вдумчивых людей, которые относились к российскому Учредительному собранию с яростным презрением только потому, что М. Вишняк отождествляет себя с этим благородным, но почти мнимым учреждением.

Итак, я получил назад в Кальвадосе рукопись своего рассказа, — точно щелчок по носу. Я очень ценил «Двойной нельсон». Адамович и Ходасевич потом на редкость единодушно и безоговорочно его похвалили. И поэтому я впервые в своей жизни написал редактору, жалуясь... Знают ли эти «принципиальные» герои, что они делают? В нашей фантастической действительности одобрение, признание могут иногда спасти писателя даже от самоубийства. «Творчество в эмиграции не имеет ничего общего с тверским земством!»

Вернувшись в Париж к началу сентября, я в следующее же воскресенье очутился у шоферского кафе, рассчитывая встретить друзей, по которым соскучился. Но оказалось, что многие еще в отъезде или отвыкли ходить сюда за лето. Экономя, я решил не усаживаться за столик. Поплавский меня проводил до дверей. Я тогда заметил, но только потом сообразил, его неестественную бледность. Лицо серое, как гречневый блин, с темными, узкими, неприятными усиками, которые он себе вдруг отпустил.

Он был молчалив, сдержан, как-то непривычно солиден. «Числа» больше не выйдут. «Современные записки» ему вернули роман. Впрочем, он теперь интересуется спиритизмом, во вторник, кажется во вторник, он приглашен к одной даме на сеанс. Если я хочу, могу с ним пойти.

— Зайди ко мне к пяти часам, — были его последние слова. — Погуляем еще до того.

На этом мы расстались: он застыл у порога — бледная маска с усиками инка или ацтека как бы висела на высоте человеческого роста.

Позже я сообразил, что это, вероятно, наркотики так преобразили и цвет, и состав его тканей. Помню мертвенно-неподвижно-гладкую кожу лица, без очков.

Игра Поплавского с наркотиками не случайность, началась она очень рано. Его всегда тянуло к прекрасному сну или прекрасному злу. Зло — сон, сон — прекрасен. Его отталкивали грубые безобразия жизни; действовать в жизни — значит безобразничать. Борьба с уродством жизни приводит также к умножению уродства. Ах, уйти, уйти. Повесть о дьяволе — трудная литература. И Поплавский это знал как никто лучше. Дьявол прекрасен, а красота — омут. Да, хороши святые! Но именно благодаря ревности дьявола.

— Вообще, хороши матросы, но не будем говорить о них, — повторял он с восторгом строку из своего любимого «стоика» Гингера.

Смерть неизбежна и прекрасна, даже если она зло. Будем умирать как новые римляне: в купальном трико, на камнях у бассейна с заправленной хлором водою, заснуть, улыбаясь сквозь боль. (Возвратимся к знакомым снам.)

Я иногда встречался с Борисом у общих друзей — Проценко, Дряхлов. Там мы, бывало, закусывали, пили вино, играли в белот или шахматы, спорили, ругались, шельмуя друг друга. Вообще агапы эти протекали гораздо приятнее, когда одного из нас, Поплавского или меня, не было. При разных обстоятельствах я видел его пьяным.

Иные, опьянев, чувствуют смертную истому и всячески сопротивляются, часто даже безобразно... Вздыхают, стонут, бегают в уборную, кланяются подоконникам, суют себе палец в рот, поднимают, как выразился бы Поплавский, метафизический гвалт.

Другие застывают в мертвом покое, сдаются сразу, покорные и по-своему прекрасные — на полу, в кресле, под стеною! Не двигаясь, не ропща, почти не дыша; и такие же они в агонии. Поплавский принадлежал к последним.

Во вторник я не пошел на спиритический сеанс, а ведь если бы не забыл, то все могло бы получиться иначе.

Поплавский тоже, по-видимому, передумал. Вместо эзотерической дамы встретился с новым другом, отвратительным русским парижанином, продававшим всем, всем, всем смесь героина

с кокаином и зарабатывавшим таким образом на свою ежедневную дозу наркотиков. Говорили, что этот несчастный давно собирался кончить самоубийством и только ждал подходящей компании. Есть такая черта у некоторых выродков — захватить попутчика. Для этой цели он только удвоил или утроил обычные порции порошков.

Не думаю, чтобы Борис подозревал о предстоящем путешествии. Он был все-таки профессионалом и в последнюю минуту вспомнил бы о дневнике или незаконченной рукописи.

Под вечер они явились вдвоем на квартиру Поплавских (семья жила тогда рядом с русским земгором, где, кстати, в каморке ютилась редакция «Современных записок»). Вели себя несколько странно, возбужденные, раздраженные. То и дело выходили наружу в уборную и возвращались опять веселые, обновленные. Старики спокойно улеглись спать и больше ничего не слыхали. Наутро нашли два остывших тела.

В «Последних новостях» появился портрет Бориса. Тогда я впервые понял, что наша жизнь тоже является предметом истории, не только бородинское сражение, и подлежит тщательному изучению, так как и о ней могут быть два мнения.

Когда я пришел на квартиру покойного, там уже собрался народ; Шаршун и Кнут рылись в кипе бумаг, подобные навозным жукам. Старик Поплавский, желтый, опухший, с расстегнутым воротом рубахи, зачем-то поднимал высоко к окну старые штаны сына, показывая присутствующим, как они просвечивают. Потом я узнал, что он и другим демонстрировал эти брюки, словно некий метафизический аргумент.

Затем были похороны с огромным ворохом дорогих цветов: розы действительно пахли смертью. В русской церковке нельзя было протолкаться. Барышни рыдали; многочисленные иноверцы стояли с напряженными лицами. Поплавский любил евреев и умел, подражая Розанову, пококетничать на тему Христа, крови и обрезания.

Служил о. Бакст — кажется, из протестантской семьи. Он произнес «резкую и бестактную» проповедь, клеймя кокаин, что возмутило некоторых девиц и они попытались демонстративно выйти из переполненного храма. Особенно гневалась та, что, по словам покойного, питалась его экскрементами.

О. Бакста я во время войны встречал в Марселе. Ему я приношу благодарность за мирный чай и нежную русскую беседу в

осажденном варварами мире! В воскресенье 22 июня 1941 г. после литургии милые соотечественники в Марселе, как и в Ницце, целовались, поздравляя друг друга с Пасхою духа.

Смерть Поплавского хоть и закономерна, но совсем не характерна для него, тут возможны были разные варианты. Продолжались бы «Числа» или замышлялось бы другое способное увлечь дело, Борис бы не погиб. С той же легкостью он через год уехал бы в Испанию. А под немцами безусловно подвизался бы в резистансе, со взлетами и метафизическими истериками, может быть, с падением вроде Червинской...

Он оставил несколько прелестных стихов, но ценность Поплавского не исчерпывается ими. Он написал десяток страниц вдохновенной прозы, но и романы его — не все! Поплавский имел «некое видение» и силился его вспомнить, воплотить, часто путаясь, отчаиваясь и прибегая к лживой магии. Больше, пожалуй, он себя выразил в статьях типа «Христос и Его знакомые» и, конечно, в бесконечных, бессмертных, разговорах.

Еще теперь, четверть века спустя, в блестящих импровизациях некоторых зарубежных примадонн я все еще нахожу крупицы того золотого песка, который так щедро, небрежно и назойливо рассыпал Борис Поплавский.

II

Laissons les belles femmes aux hommes sans imagination.

*M. Proust**

Юрия Фельзена — псевдоним Николая Бернгардовича Фрейденштейна — я встретил впервые на собрании «Кочевья», в пору расцвета этого кружка, то есть в конце НЭПа и двадцатых годов.

До чего ошибочным может оказаться первое впечатление! Даже наружность его при более интимном знакомстве и с годами менялась к лучшему, несмотря на то, что краски серели... Вот он сухой, похудевший, сутулясь, доброжелательно слушает собеседника, никогда не теряя себя или контроля над своими мыс-

* Оставим хорошеньких женщин мужчинам без воображения.
М. Пруст (фр.)

лями. В его костлявых, но крепких пальцах дешевый мундштучок с вечной голуаз жон. Если бы потребовалось одним словом или одной фразой определить его сущность, то я бы сказал — нечто обратное предательству. Как по отношению к ближнему, так и к себе.

У него развивалась какая-то болезнь спинного хребта, вернее, связок позвонков, так что он слегка согнулся хордою и не мог уже целиком выпрямиться, что подчеркивало его барственную неподвижность и вежливую внимательность.

Свой первый рассказик Фельзен напечатал, кажется, еще в «Новом корабле», и раза два читал это произведение на собраниях: разворачивал перед собою аккуратно завернутый в газету журнальчик и внятно, четко, спокойно, однако с большим внутренним жаром оглашал синтаксически странные, искусные фразы.

Писал он о любви, сдобренной самоубийственной ревностью, и в этом смысле плелся в хвосте Пруста; но связь с последним дальше не шла. Хотя предложение Фельзена было длинное и трудное, но прустовское постоянное сравнение предметов одного ряда с явлениями совершенно другого ряда у Фельзена отсутствовало; мир его был линейным. Вот его типичная фраза: «Леля во мне перестала нуждаться, и вся ее дружественность исчезла, как раньше — с концом любовного раздвоения и совестливой борьбы за меня — исчезла ее раздражительность: я оказался попросту лишним и — трезво это понимая — к ней, по слабости, не мог не приходить, а Леля, упоенно-радостно-щедрая, мне дарила, словно подаяние, свое столь живительное присутствие».

Я упоминаю о Прусте потому, что Николаю Бернгардовичу часто приходилось туго от этого своего стилистического (типографского) сходства с любимым, великим и модным писателем. Так, улыбаясь, он рассказывал: в Союзе молодых писателей (Данфер Рошро) после чтения Фельзена выступил Г. и заявил, что это сплошной Пруст! А несколько лет спустя Г. сознался ему, что в ту пору еще Пруста не читал.

Вообще о Прусте в конце 20-х годов слагались легенды, но читали его немногие. Так во время русско-японской войны валили все на подводные лодки, которых еще никто воочию не видал.

Проза Фельзена без красок: серый рисунок острым карандашом... Скучная отчетливость. Поплавский выразился: «Кто может выслушать целый концерт для одной флейты!» Для такого рода литературы надо было локтями расчищать дорогу. И Фельзену в

этом чудесным образом помогали разные часто враждебные друг другу влиятельные люди. Адамович, Ходасевич, Гиппиус, Вейдле. Все они старались хоть раз в год похвалить его, даже чрезмерно. Что казалось иногда несправедливым! Любопытно, что со времени падения Парижа и гибели Фельзена никто из оставшихся в живых маститых критиков ни разу не посвятил статьи его романам, это даже неприлично, принимая во внимание предыдущие комплименты. Думаю, что главный талант Фельзена, не выраженный в книгах, заключался в его умении вызвать к жизни в собеседниках их лучшие черты характера. Великая и редкая человеческая способность. И мы все бессознательно были ему за это благодарны.

Практичный, умный и зоркий, он всегда честно разыгрывал свои карты, не упуская ни одной взятки, или, по крайней мере, так чудилось.

В бридж он играл лучше всех нас, в шахматы совсем слабо. Благодаря картам он свел и помирил таких исконных врагов, как Адамович и Ходасевич. Было особенно приятно иметь его своим партнером против любых противников, даже профессионалов. В чем тут секрет?

Ходасевич за картами обычно нервничал, кривился, ерзал, когда его партнер ремизился. А Фельзен всегда торжествующе сиял, точно напроказивший гимназист, ускользнувший от наказания, и собирал взятки; только в конце, чтобы подразнить, скажет:

— Главное, я выиграл совершенно без карт. Никогда еще такая дрянь не лезла в руки.

Подчас он выглядел первым учеником, которого все преподаватели одинаково хвалят. Но это была только внешность. Независимый, во многом упрямый, осведомленный, трезвый и честный даже в мелочах, когда требовали обстоятельства, он умел отличнейшим образом отстаивать свое мнение, часто сероватое на фоне наших пышных мифов, без компромиссов, и отвечал, пусть символической, но все же пощечиной, на каждый хамский тумак поднимающего уже свою рудиментарную голову древнего гада.

Фельзен, сын петербургского врача; в 1912 г., очень молодым, он окончил юридический факультет. После Октября семья переехала в Ригу, где отец продолжал свою врачебную практику. Дядя Николая Бернгардовича был владельцем портняжного магазина в столице; там шили блистательные мундиры для золотой молоде-

жи. И эти клиенты дяди сыграли, мне кажется, решающую роль в формировании Фельзена.

Сам он в эмиграции занимался коммерческими сделками; сперва в Берлине, удачно, потом в Париже, с меньшим успехом; вероятно, уже литература мешала.

Почему-то компаньоны часто обкрадывали Фельзена. В Париже он бегал на биржу, но без особого толку, потеряв на какой-то трансакции весь капитал. К счастью, один из вышеупомятутых компаньонов женился на сестре Николая Бернгардовича, в их доме Фельзен мог отныне безданно-беспошлинно обретаться.

Биржа и западная коммерческая деятельность наложили особую печать на его творчество: смесь получалась новая, по русским понятиям необычная. Деловая порядочность в Фельзене переключалась в личную и литературную.

Упоминаю об этом еще и потому, что гибель его находилась в какой-то связи с темными аферами его друзей и родственников. Разумеется, лучше всего об этих делах могла бы поведать сестра покойного или ее супруг, ныне, кажется, благополучно проживающие в Швейцарии или в Италии; во Францию они не вернулись, опасаясь суда и следствия.

В романах Фельзена герой, привыкший к хорошей жизни, продолжает подвизаться на коммерческом поприще, но без особой удачи; он влюблен — из книги в книгу — все в ту же нестареющую Лелю (предмет постоянных шуток на Монпарнасе).

Портрет этой Лели — «чистая химия», с гордостью объяснял он. Иначе говоря, к основному типу, проживающему в Риге, были прибавлены черты разных других дам, с которыми судьба сталкивала автора.

Серия его произведений должна была, по замыслу, составить один роман. Фельзен искал и не мог найти объединяющее заглавие, по удаче равное «A la Recherche du Temps Perdu»*. Кроме этого творческого занятия было у него еще одно — влюбляться. И в своих личных романах он постоянно повторял ту же ситуацию — страдающей, ревнующей жертвы. Подобно Прусту, его сладострастно влекло к такого же рода мукам, и он смаковал роль свидетеля, из угла в гостиной наблюдающего за «Лелей» — как она любезничает с другими самцами.

---

* «В поисках утраченного времени» *(фр.)* — название романа М. Пруста.

Основную, первую Лелю, мы встретили на Монпарнасе, когда она приезжала в Париж. Она потом погибла от рук наци в Риге, что, разумеется, придает ее облику новое измерение. В «Доминике» она мне показалась несколько крупной дамой с «выигрышными» ногами, по выражению Фельзена, о которой можно только утверждать, что она хорошо сложена, практична и, по-видимому, с характером... Тайна личности, успеха сказывается в творчестве, страдании и в любви! Эта тема одинаково интересовала Фельзена и меня, и мы часто вдохновлялись ею.

Собственно, в таких интимных беседах и заключалась главная прелесть общения с Николаем Бернгардовичем. С Поплавским хотелось спорить, ругаться, а уйдя, в виде мести создать новый мистический вариант Вселенной. С Фельзеном, наоборот, конкретный, тихий обмен мнений порождал немедленный, самоокупающийся духовный уют.

Слушая его рассказ, казалось естественным вспоминать нечто похожее, параллельное из своего прошлого и сообщить ему. А Фельзен умел слушать, все понимая. Не на лету, не с полуслова, а задавая дельные, точные вопросы: подумает и кивнет головой — приняв это, укладывая в ряд с личным опытом.

В 30-х годах мы с ним встречались почти ежедневно. Я только что закончил «Любовь вторую»; отрывок под заглавием «Преображение» напечатали «Современные записки». На этом мои отношения с ними как будто прервались. Как издать книгу?

Между тем Париж ликовал, празднуя вместе с Буниным его Нобелевскую премию. Иван Алексеевич пил шампанское с утра: особый хмель — не без отрыжки. Вера Николаевна, уезжая с мужем в Стокгольм, заявила при свидетелях:

— Вот верьте мне, чует сердце: я еще раз поеду туда за этой премией!

(Предполагалось, что Зуров станет вторым лауреатом.)

А печататься нам все-таки негде было. Тогда это казалось главной препоной для нормальной писательской деятельности. Теперь ясно, что эмигрантская литература гибнет из-за отсутствия культурного читателя.

Наши книги продавались во все русские лимитрофы, но мы не умели использовать этого преимущества. Халатность авторов и жульничество издателей доконали рынок. Вот тогда у меня мелькнула «наполеоновская» идея. И партнером для осуществления

замысла я избрал Фельзена. Он тоже к тому времени закончил свои «Письма о Лермонтове» и понял меня сразу до тонкости.

Предполагалось организовать выставку зарубежных книг: издательства охотно предоставят нам экспонаты и соответствующий товар для дешевой распродажи. А мы проведем среди посетителей подписку на будущие издания... За десять франков они к концу сезона получат одну, две или три вновь изданные книги — в зависимости от числа пайщиков, ибо вся собранная сумма пойдет на расходы по печатанию.

Фельзен вполне оценил этот план, но по-своему, практически. В то время как я нажимал главным образом на подписку и жертвенный порыв, он интересовался преимущественно входной платой и процентом с продажи.

— Все хорошо, но где взять приличное помещение, и бесплатно?..

У меня и это было подготовлено. Музей Рериха. Там собирался раз в неделю «Пореволюционный клуб» кн. Ширинского-Шихматова. Выставка зарубежной литературы в общем послужит хорошей рекламой для музея: он стоял пустой круглый год, увешанный тибетскими полотнами художника. Рерих в эти годы хлопотал о создании чего-то подобного Красному Кресту в защиту произведений искусства. Сотрудничество с зарубежными писателями могло помочь делу музея. Но это, конечно, только в том случае, если наша выставка не будет носить характера частного предприятия.

Мы решили действовать от имени Парижского объединения писателей и поэтов. И получили для этого соответствующие полномочия. Была создана Издательская коллегия в составе Фельзена и меня. Три книги, изданные в ближайшие два года и разосланные подписчикам, носили марку этой Коллегии.

В продолжение всех последовавших деловых передряг — подготовлений, ликвидаций — мы с Фельзеном проводили вместе иногда целые дни, недели, месяцы. И надо отметить совершенное отсутствие обычного в таких случаях взаимного раздражения.

Ум его — всегда ясный, житейски мудрый и положительный, особенно в мелочах: Фельзен поражал и радовал своим savoir faire*. Когда в ресторане я заказывал курицу, а на первое просил суп, Николай Бернгардович меня наставлял:

* Умение жить *(фр.)*.

— Возьмите лучше hors-d'oeuvre!* Курицу дают четвертушку, надо же чем-нибудь насытиться.

И хотя впоследствии мне случалось попадать в рестораны, где дают целого каплуна, но все-таки по сей день я выбираю еще закуску.

В субботу ночью на Монпарнасе народ иногда выпивал лишнее и ссорился, кое-кто лез в драку. Фельзен в таких случаях выступал в роли миротворца:

— Я тут командую, — заявлял он решительно, оттесняя спорящих.

И так как его многие любили и почти все уважали, то это действовало:

— Да, да, Николай Бернгардович, вы решайте...

И он творил Соломонов суд к общему, казалось, удовлетворению. Однако раз новый человек, приведенный Кнутом на Монпарнас, капитан парусного судна, неожиданно возразил:

— Нет, вы здесь не командуете.

И вся многолетняя постройка Фельзена рухнула на манер карточного домика: все опешили...

Мы опять вернулись в «Доминик»; потасовка происходила на тротуаре у метро «Вавэн». Заказали по рюмке горькой в утешенье. Фельзен молодцевато опрокинул вверх дном стопку и лихо подмигнул... Осторожно закусив, он, посмеиваясь, начал мне объяснять всю несуразность происшествия, и я, едва ли не больше всех пострадавший, с хохотом внимал этой воистину смешной истории.

Некий полумеценат и полудатчанин, знакомый Фельзена, прикатил в Париж с молоденькой и стопроцентной розововолосой датчанкой. Спор разгорелся оттого, что меценат, нагрузившись, пожелал наконец увезти эту девицу в отель. Но вышеупомянутый капитан и его друг Куба решили, что нельзя отпустить такую прелестную блондинку, вдобавок сильно выпившую, одну с этим полупавианом!

— Подумайте, — посмеивался Фельзен, неохотно ковыряя вилкою в остатках русской селедки. — Подумайте, ведь он ее привез из Копенгагена, они живут в одном номере... Ну не чушь ли это!

У него было особенно развито чувство уважения к «правилам игры». Regles du jeu, Rules of the game**, ему представлялись автономными ценностями: нарушение этих законов приводит к сплошному безобразию!

---

* Закуска *(фр.)*.

** Правила игры *(фр.; англ.)*.

На Монпарнасе сплошь и рядом возникали критические положения. Часто надо было кого-то «спасать», выкупать, примирять. То Иванов попался на «трансакции» с Буровым, то Оцуп угрожает пощечиною Ходасевичу, то Червинская разбила несколько чашек и блюдец в «Доме»... Чтобы урезонить Лиду Червинскую, иногда требовалось выяснить в с е отношения, на что после полуночи были способны только люди с железным здоровьем.

Так, раз я наткнулся на Фельзена в темном проулке возле «Монокля» или «Сфинкса»: он тащил за руку упирающуюся поэтессу и, узнав меня, присел на завалинке... С трудом перевел дыхание, затем спокойно, ожесточенно сказал:

— Я больше не могу! Я решительно больше не могу! — и, не дожидаясь ответа, скрылся в тени, словно унесенный предутренним вихрем.

Помню, как, зайдя в «Дом» по личным делам, я вдруг наткнулся на сцену, которую нетрудно было сразу оценить по достоинству: груда посуды на полу, гарсоны в угрожающих позах, а высокая, сутулая Червинская, похожая на Грету Гарбо, стоит у пустого столика, точно дожидаясь приговора.

Заикаясь, я немедленно объяснил, что это все очень легко уладить. Без денег такой поступок с моей стороны граничил с геройством. К счастью, Куба, прятавшийся где-то сзади и виновник припадка Лиды, подскочил и вручил нам требуемые франки.

О русском Монпарнасе слагались легенды. На самом деле жизнь там протекала на редкость пристойно и даже скучно, если не считать основного развлечения: страстные, вдохновенные беседы.

Обычно литераторы просиживали до последнего метро за одной чашкой кофе. Иногда, пропустив последний поезд, шли в «Доминик». Там нас встречал коренастый Павел Тутковский, с которым я объяснялся отчасти по-латыни, используя все знакомые пословицы. Тутковский, юрист старой русской школы, знал и любил латынь.

— Вита нostra бревис эст!* — скажешь ему для начала.

— Бреви финиатур**, — охотно поддержит он. — Прикажете той самой?

Люди с деньгами заказывали водку. Смоленскому случалось выпивать за счет дам. Но даже при средствах неловко было напи-

* Наша жизнь коротка *(лат.)*.

** Вскоре закончится *(лат.)*.

ваться, если рядом сидит голодная душа, а такие у нас бывали. Нагружались систематически только слабые и безобразники да кое-кто из дам.

Милейшая Марья Ивановна, жена Ставрова, любила повторять:

— Вот говорят, что на Монпарнасе происходят оргии, — тут она презабавно кривлялась, подражая воображаемым сплетникам. — Ну, переспят друг с другом, подумаешь, оргии!

И действительно, ничего противоестественного на Монпарнасе не происходило, жизнь протекала на редкость размеренная и высоконравственная, по местным понятиям.

Чтобы прожить, надо было как-то работать... А писать! Тоже каторжный труд, особенно прозу. Некоторые еще бегали в Сорбонну.

— Я не знаю, когда я пишу стихи, — брезгливо морщил свое лицо утопленника Иванов. — Я их пишу, когда моюсь, бреюсь... Я не знаю, когда я пишу стихи.

Увы, прозаики знали, что для этого требуется определенное место и время; страдали от ненормальных условий.

Обычно Фельзен с дамой приходил на Монпарнас попозднее, они где-то обедали с водкой и чувствовали себя отлично.

— Вы до или после? — шутливо осведомлялся я.

Они отвечали, посмеиваясь:

— После, после.

Кругом разговор о разбойнике на кресте, о Блоке перемежался очередной литературной сплетней; за соседним столом разместились бриджеры и просят не мешать.

— Почему вы даму не взяли? — желчно осведомляется Ходасевич.

— А чем ее возьмешь, пальцем, что ли? — голос Яновского.

Адамович торопится между двумя сдачами рассказать про свой недавний сон... Играет будто бы в бридж против Милочки и Романа Николаевича, раскрывает карты, а там одна сплошная масть со всеми онерами! Сердце стучит, как перед большим шлемом, но вдруг он замечает, что масть эта совершенно незнакомая, зеленого цвета, и неизвестно, какую следует назначить игру...

— Ха-ха-ха, ну давайте играть, — нервничает Ходасевич.

То, что эти славнейшие эмигрантские критики сидят рядом за мирной партией в бридж, следует рассматривать как некое чудо. И совершил это чудо — Фельзен: он свел обоих врагов!

Причин для исконной вражды было много: метафизических и практических... Разные литературные школы, разные биографии, разные темпераменты, вкусы.

На основе своих теоретических размышлений Адамович должен был бы установить очень почтенную иерархию ценностей: самое главное, скажем, евангельская любовь, затем философия или наука, потом игра, секс, наконец, искусство — на последнем месте... Скромное занятие и совсем не позорное. Но, увы, тут начинался парадокс. Как только человек, созвучный этим настроениям, посвящал себя «творчеству», он сразу пускался в погоню за «самым главным», «на последней глубине», переворачивая всю пирамиду ценностей вверх ногами, доказывая единым существом своим, что именно искусство есть самое важное в жизни: ему-то суждено все преобразить, все объяснить, спасти! Иначе не стоит вообще этим заниматься.

Вот на такого рода противоречия, если не ошибаюсь, пытался обратить наше внимание Ходасевич. Логика его укладывалась целиком между Аристотелем и Ньютоном.

Кроме философских расхождений были, конечно, и вульгарно-обывательские поводы к распре. Адамович вел критический отдел в лучшей и более приличной газете; Ходасевич, разумеется, не удовлетворял общество возрожденческих сотрудников, за малым исключением. А обе газеты конкурировали, и участники вступали в групповые полемики.

Ходасевич в конце концов мог простить Адамовичу, что тот перехвалил Шаршуна: пусть его тешится. Но панегирик Иванову — это возмутительно! Иванов, по мысли Ходасевича, вышел из Фета (и не лучшего Фета). Кроме того, именно Георгий Иванов по своим нравственным особенностям опровергает всю эстетику Адамовича «что бы Толстой сказал?..». С своей стороны Жорж Иванов тоже не дремал и шептал, шептал, шептал на ухо другу...

Ходасевич, одно время совершенно изолированный, отгребался как умел и даже пустил остроумную сплетню о богатой старушке, убитой в Петрограде. Это вконец взбесило капризного Адамовича... Но годы и такт Фельзена сделали свое дело; ко времени Народного фронта оба зоила начали дружески общаться на Монпарнасе — отчего мы все только выиграли.

По утрам, встречаясь с Фельзеном, в кафе, до открытия выставки, мы пили неизменное какао; он закуривал свою голуаз жон

(«из приличных сигарет это самая дешевая») и медленно отпивал горячую бурду. Поглядывая на прохожих, обстоятельно рассказывал последние новости... Вчера, по дороге домой, он еще забежал в «Мюра», где сражались в бридж «профессионалы»; не успел он подсесть к Ходасевичу, как в подвал спустился Оцуп и начал хамить, даже полез драться, так что пришлось вмешаться. Ходасевич в последней статье написал, что Оцуп занимается деляческим и живет с «Чисел».

— Как ни странно, Оцуп, по-видимому, ожидал, что мы поддержим его, — задумчиво улыбаясь и внимательно взглядывая на севших неподалеку парижан, продолжал Фельзен. — Что значит выбыть из строя! Он потерял контакт с действительностью.

О том, что случилось вчера в «Мюра», я мог узнать от десятка свидетелей. Но последнее замечание, что Оцуп рассчитывал на нашу благодарность и помощь, — это было типичным образцом фельзенизма. Вся его литература держалась на «психологизме»; высшей ценности он еще, кажется, не знал и в этом был верен себе. Он и Лермонтова так любил, потому что видел здесь начало русского психологического романа.

Но гораздо забавнее было слушать Фельзена, когда он делился впечатлениями прошлого. Повествования такого порядка жили в нем как некая автономная реальность: я чувствовал это тогда не меньше, чем теперь, и все еще не понимаю, в чем их подлинная ценность. Что таковая имеется, я уверен.

— Она мне давно нравилась, — мог начать Фельзен. — Мы изредка встречались у общих знакомых, ее муж разъезжал по торговым делам, и она часто приходила одна. Раз, прощаясь, я сказал: «Выслушайте и не сердитесь, пожалуйста. Уже поздно, дома вас сейчас никто не ждет, что, если бы мы провели остаток ночи вместе?..» И она без всяких ужимок согласилась. Очень мило, но у подъезда вдруг передумала. «Нет, неловко! В той же квартире, нехорошо както. Да и соседи могут заметить». Это бывает, — объясняет Фельзен, — но я знал такой отель невдалеке. Кликнул такси, поехали. Только что заняли номер, она опять заметалась, чуть ли не плачет: в первый раз на такое решилась... Ну что это такое? Даме за тридцать, надо знать, чего хочешь. Тут я ее в сердцах ударил, — рассказывал Фельзен. — И представьте себе, она сразу успокоилась. Все сошло отличнейшим образом. Потом она мне сама признавалась, что я был совершенно прав. И у нас установились прекраснейшие отношения.

Другой эпизод, для сопоставления.

— Я вообще никогда не набрасывался на женщин. Наоборот, даже был чересчур застенчив... Вот раз сижу в «Ротонде», перелистываю журналы, а за соседним столиком молодая женщина поглядывает в мою сторону. Я заговорил с ней. Жена музыканта, он постоянно в турне. Живут у метро «Мюэт». Любит Скрябина и увлекается русским балетом. На прощание обменялись телефонами. Я не обратил особого внимания на все это, а через неделю за обедом вдруг звонок. «Вы уже пили кофе?» — «Нет еще». — «Приезжайте ко мне». Я купил бутылку «Курвуазье» и отправился. Ну, кофе, коньяк, поцелуйчики. Наконец, она извинилась и вышла из комнаты; через минуту возвращается уже в одном халатике. И так неожиданно все вышло очень хорошо, хотя я, признаться, тогда был занят другими, важными для меня отношениями... Но слушайте дальше, — остановил он меня, предположившего, что это конец истории. — Вдруг она начала очень серьезный и даже грустный разговор. Она меня отнюдь не обвиняет, никто этого не мог предвидеть, но так вышло. «Я вас прошу забыть все, больше этого не случится! Если мы встретимся еще как-нибудь, то просто как старые друзья. Пожалуйста, извините, но не настаивайте». Я согласился! — Фельзен несколько иронически развел руками. — В конце концов я никаких претензий не мог предъявить...

И представьте себе, — после паузы торжествующе продолжал он, — через несколько дней опять звонок: нам надо встретиться! Условились в той же «Ротонде». Длинное объяснение... с мужем давно не живет. В сущности, много обо мне думала все это время. Если мне это тоже подходит, то она согласна продолжать отношения.

— Ну! — ахнул я обрадованный и недоумевая, как следует в таких случаях поступать. — Что же вы?

Фельзен снисходительно улыбнулся:

— Я ответил, что уже свыкся с мыслью о разлуке и теперь мне будет трудно перестраиваться на другой лад.

— Ну! — простонал я, чувствуя, что это был именно тот ответ, который надлежало дать.

Рядом с виллою, где Фельзен проводил лето с сестрою, поселилась молодая буржуазная чета, бездетная, но с пуделем. Обе семьи перезнакомились и проводили вместе много времени; а осенью разъехались и в Париже больше не встречались.

— И вот представьте себе, на днях я узнал, что они не женаты и в городе никогда на одной квартире не жили. Сестра случайно

ее встретила, она теперь совершенно одна. Нет больше ни виллы, ни мужа, ни даже собаки: пудель тоже оказался чужим...

Фельзен несколько раз повторил последнюю фразу, словно с болью прикасаясь к тайне людских отношений, всегда интересовавшей его. Самый факт, что он рассказал об этой чете только теперь, несколько лет спустя, узнав, что «даже пуделя нет больше», очень характерен.

Он обычно приходил на свидание в кафе первый и немедленно доставал из бокового кармана сложенные вдвое листки бумаги, покрытые ровным, мелким, разборчивым почерком: черновик. Где и когда он его писал, не знаю!.. Над этими строками, остро очиненным карандашом, он выводил все новые и новые слова. Подумает, почистит резинкою только что написанное и опять нанизывает буквы на том же месте. Благодаря острому карандашу правка получалась четкая и точная. Вот почему он ежеминутно прибегал к услугам крохотной машинки, которой пользуются школьники для очинки карандашей. Впрочем, эти паузы давали ему возможность оглядеть прохожих и подумать. Фраза Фельзена, синтаксически вывернутая наизнанку, все-таки производила впечатление четкой и как бы сделанной резцом.

Во время «смешной» войны он работал над новой книгой, предполагая ее назвать «Повторение пройденного».

— Я сообщил Адамовичу про это заглавие, и он сказал: «Оригинально», — говорил Фельзен.

Разумеется, он не врал, но я догадывался, что если бы Георгий Викторович отозвался неодобрительно, то Фельзен бы промолчал. Он никогда не повторял нелестного отзыва о себе; мы же, пореволюционное поколение, постоянно этим грешили. А Фельзен в таких случаях смотрел на нас с удивлением и жалостью.

Когда коллега, которого Фельзен дожидался в кафе, приближался к его столику, он рассеянно-приветливо улыбался, приподымался, пожимал руку и говорил «здрасьте»... Немедленно затем прятал в боковой карман свои листки до следующего удобного случая.

Время от времени распространялся слух, что Адамович, Ходасевич и Вейдле устраивают вечер, посвященный его творчеству. В Париже такого рода затеи, конечно, не возникали спонтанно. Недаром Ходасевич — по другому поводу — сочинил неаккуратное четверостишие:

Сквозь журнальные барьеры
И в Париже, как везде,
Дамы делают карьеры,
Выезжая на метле...

Стало быть, Фельзен должен был как-то подготовить всех этих лиц, обработать. Что он и делал, но незаметно, умело, с большим достоинством. В результате чего Гиппиус самым чудесным образом усаживалась на трибуне рядом с Ходасевичем и вторила Адамовичу в его анализе нового писателя.

В былые годы такого рода нелепости меня возмущали. Я не был более завистлив, чем любой другой русский литератор. Но меня угнетала безответственность этих начинаний, не менее безобразных, чем фашизм или коммунизм. Любимая цитата Адамовича из Пушкина: «Литература прейдет, а дружба останется...» — мне казалась родственной «Гавриилиаде»! И тут, и там — против Святого Духа. К тому же все это явная гиль. Не разберу, где теперь дружба Пушкина к Дельвигу и сочинения последнего, но стихи Пушкина — то есть литература — по-видимому, остались.

— В литературе, как в гимназии, — доброжелательно объяснял мне Фельзен, — очень важно первое впечатление. Иногда в начале года получишь скверный балл и потом уже носишься с ним до перехода в следующий класс, а то и до выпускных экзаменов — так трудно переубедить наставников.

В «Круге» Фельзен часто должен был себя чувствовать неловко. По существу, он казался арелигиозным человеком, совершенно лишенным теологической интуиции и чуждым церковно-философским спорам. Он поддерживал формальную демократию, уверяя, что этот режим — наименьшее зло из всех существующих, и руководствовался всегда трезвым, честным разумом, в век, когда мифы воздвигали тысячелетнее царство. В социальных вопросах он старался тянуться за нами, но души в это не вкладывал, ему как-то не верилось, что вследствие голода и эксплуатации люди начинают ненавидеть и уничтожать себе подобных... В наших спорах о христианстве он почти не участвовал; мне он признался, что Наташа из «Войны и мира», ее любовь к князю Андрею ему открыли почти все евангельские истины. Меня это поразило и восхитило.

Несмотря на свою формальную ограниченность, Фельзен пользовался в «Круге» авторитетом и любовью. Он был с нами и

8 Зак. 2385

в правлении «Круга», и в редакции. Во внутренний «Круг» его не пригласили.

В редакцию альманаха вошло все правление и еще Адамович, кажется, хотя он не был членом правления.

Вот на этих многолюдных редакционных заседаниях, когда Адамович по обычаю отсутствовал, Гершенкрон цитировал древних греков, а я ссорился с Терапиано, вот тогда Фельзен неторопливо и трезво занимался делом. Аккуратный, умный, практичный, с очень тонким вкусом, он мог бы при других обстоятельствах стать выдающимся редактором большого журнала. Конечно, гнул определенную линию, защищал свое понимание искусства как в прозе, так и в стихах; причем и личных интересов не забывал.

Так, при первом еще номере возник вопрос, в каком порядке печатать материал: алфавитный хорошо для прейскурантов и эпигонов. Мы не должны бояться указать лишний раз на самое главное.

Фельзен предложил начать отрывком из покойного Поплавского и продолжать в порядке родственности к искусству последнего... В результате вторым после Поплавского оказался сам Фельзен, хотя трудно себе представить большую противоположность между восприятием жизни и преображением ее, чем у этих двух авторов.

После собрания редакции или правления, на 130, авеню де Версай, я часто попадал еще в кафе «Мюра», где шла серьезная игра. Там всегда подвизалась теща Алданова — живая, добрая старуха. Это она мне открыла великую истину, что с тремя тузами без другой поддержки не стоит открывать игры. Ее совет я воспринял с благодарностью, как всякое откровение, основанное на личном опыте.

Фельзен здесь, в жестоком подвале, все-таки «держал пропорцию», подчас выигрывая.

— Как ни странно, я опять выиграл, — сообщал он, довольно усмехаясь. — Главное, совершенно без карт!

Он мне раз сообщил, что выиграть много неприятно: как Иван Ильич у Толстого. Ходасевич постоянно проигрывал, и хотя это ему было не по карману, все-таки по-своему наслаждался.

Зная, что там собираются литераторы, Бунин с Алдановым иногда после ужина спускались в подвал, возбужденные вином и уткой, старчески болтливые, довольные и легко обижающиеся. Алданов в обществе Бунина претерпевал изменения.

— Пьесы Толстого довольно слабенькие, — сказал я им раз после проигрыша.

Надо было видеть священный ужас Алданова.

— У Толстого все хорошо!

Эта их любовь к Толстому становилась вредною, ибо она оборачивалась равнодушием, даже ненавистью ко всему последующему в литературе. Бунин по-гусарски рубил:

— Вот мне прожужжали уши: Пруст, Пруст! Ну, что ваш Пруст? Читал, ничего особенного! Надо еще Кафку посмотреть, наверное, тоже чушь.

Он напоминал героев Зощенко: «Театр? Знаю, играл».

А в это время Фельзен разыгрывал свои карты, к концу с силою шлепая каждую отдельно по столу и приговаривая: «Пики, пики и опять пики...» — озорно, но не раздражающе.

Странное дело игра, карты. На Монпарнасе были поэты, писатели, обожавшие всякого рода азарт; а рядом такие же талантливые люди, никогда — формально — в игре не участвовавшие... Толстой и Достоевский — такие разные, а отношение к картам почти одинаковое. Бунин и Алданов, Зайцев были совершенно стерильны в смысле игры. Некоторые, как Фельзен, например, любили только коммерческие игры; Адамович, Ходасевич, Вильде, Ставров, Варшавский, Яновский играли во все — хоть в три листика. Не прикасались к картам Иванов, Ладинский, Терапиано и все наши дамы.

Летом семья Фельзена уезжала, и мне случалось заночевать у него; я спал в комнате племянницы. Утром прислуга подавала опять какао с круассанами. Догадываюсь, что к этому напитку в их доме привыкли с детства (в России, что ли).

Благодаря выставке зарубежных изданий мы превратились в каких-то специалистов. Секретарь Archives Internationales de Danse* предложил нам устроить у них выставку книг, посвященных балету... (И маленькое жалованье.) Я не в меру удивился такой удаче, а Фельзен, подумав, сказал:

— Это всегда так в делах, надо только попасть на рельсы, тогда вас уже понесет!

Я любил эти его сравнения и обобщения, чувствуя, что за ними стоит настоящий внутренний опыт. Такой опыт мы тогда ценили, быть может, чрезмерно.

---

* Международный архив танца *(фр.)*.

Изредка он приносил на Монпарнас сверточки с крохотными сандвичами — черная икра, сыр, паштет. Это у его сестры был прием, и остатки «буфета» Фельзен притащил к нам. Ему доставляло удовольствие смотреть, как мы уписывали помятую снедь... В таких поступках было, вероятно, больше христианской любви, чем во многих наших эсхатологических разговорах.

Я тогда помогал доктору З., старому русскому врачу — непосредственно из Берлина — начать практику во Франции. Умница и неудачник, очень опытный и слегка циничный, он пытался связать воедино разные, противоречивые терапевтические школы. Пациенты доктора З. были заняты весь день гимнастикой и салатом из тертых яблок, так что у них не оставалось времени, чтобы хандрить. Я к нему посылал кое-кого из литераторов и меценатов.

Фельзен пошел разок к нему, а потом привел сестру, которая и начала после этого прыгать голая по квартире, шлепая себя мокрыми полотенцами. Вот тогда Николай Бернгардович пустил свою знаменитую шутку:

— Надо иметь железное здоровье, чтобы лечиться у доктора З.

Когда поздно вечером мы выходили из «Селекта», направляясь в «Доминик», в кафе еще оставались двое литераторов: Шаршун и Емельянов. Фельзен, улыбаясь точно расшалившийся гимназист, тихо говорил, указывая на них глазами:

— Веселые ребята.

И это было очень смешно, ибо все что угодно, но веселья эти «ребята» не навевали.

В парижской жизни уборные почему-то играли большую роль; раза два за длинный вечер все спускались туда — помыть руки, пригладить волосы, наконец, быть может, заговорить с какой-нибудь шикарной девочкой. Там на торцах или решетках лежали свернувшись европейские нищие, разительно похожие на евангельских... Над их головой тихо шумела вода. В предутренние часы, после зря потраченной ночи, хотелось проникновенно молиться. Такие настроения Фельзену были решительно чужды.

Пользуясь любовью всех нас, и даже «генералов», он, однако, не растерял своих старых биржевых связей. Фельзен был среди них белой вороной, но все же пользовался и там уважением.

Какие-то громоздкие, странные люди иногда подходили к столику Фельзена, широко улыбаясь, здоровались, заговаривали по-немецки. Кое-кого он приглашал сесть; появлялась бутылка коньяка (приезжие вместо рюмки заказывали целую бутылку, гарсоны

уже этому не удивлялись). Червинская воцарялась в центре, другие скромно устраивались на отлете, но с полными стаканами.

Вот не без какого-то отношения к этим спекулянтам и собственным родственникам Фельзен и погиб! Вскоре после начала войны сестра с мужем перекочевали в Швейцарию, где они проживают, кажется, и по сей день. Фельзен с глухой старушкой-матерью остался в Париже — ликвидировать дела своего «бо фрера»*. Он должен был получить какие-то миллионы или миллиарды франков и отвезти их в Женеву. Но деньги ему все не давались: аферисты откладывали окончательный расчет. Тут следует отметить, что в разбазаривании Франции в годы оккупации иностранцы принимали живейшее участие, как и в героизме резистанса. Французы часто не умели или не желали общаться с немцами... Картины, которые Геринг собирал для своей тысячелетней коллекции, прошли через многих и неожиданных посредников.

Весною 1941 г. я встретился с Адамовичем в Ницце; он мне показал открытку от Фельзена: «Я теперь не бываю у Мережковских, — минорно оповещал Фельзен. — Там теперь бывают совсем другие люди».

Кстати, тогда же Адамович мне рассказал об открытке, полученной недавно Буниным от Б.; она приглашала Ивана Алексеевича вернуться из свободной зоны в Париж, уверяя, что «теперь объединение всей русской эмиграции вполне возможно».

— Стерва, еще подводит идейную базу! — решили мы, посмеиваясь. Но письмецо Фельзена прозвучало очень грустно.

Судя по рассказам, часть денег все-таки была собрана Фельзеном, а остальные ему обещали доставить в Лион. Устроив мать в Париже на попечении доброй души, он перебрался в Лион, где опять застрял, теряя драгоценное время, дожидаясь вестей от жуликов. Может, были еще какие-то причины его медлительности, но никто об этом до сих пор не сообщил.

Наконец, Фельзен со всеми суммами или только частью, не знаю, отправился в Швейцарию. Меньше ста лет тому назад тою же дорогой, но дилижансом, бежал Герцен.

Фельзена ждали к чаю в Женеве, так утверждает Е. Кускова в ее споре со мною («Новое русское слово», 1955 г.)... Но не дождались. С тех пор след его не отыскался. По-видимому, немецкий дозор задержал всю группу; впрочем, если бы Николай Бернгардович

* Шурин *(фр.)*.

оказался в плену, то дал бы о себе знать хоть раз. Думаю, что он там же погиб, на границе.

Однажды, перед войною еще, Национально-Трудовой Союз, где нашел себе единомышленников Иванов, устроил в Лас Казе собрание, посвященное почему-то литературе... На этом вечере главным образом и ожесточенно ругали Адамовича, награждая его всеми милыми сердцу эпитетами — от Смердякова до Иуды... Из задних рядов бросали и «подлеца», и «жида». Тогда Фельзен попросил слова, защищая не столько Адамовича, сколько нашу новую литературу, обязанную всем Адамовичу! Он говорил тихо, твердо и с обычным чувством меры, так что даже импонировал довольно дикой, смешанной аудитории.

Я хочу сказать, если бы Юрий Фельзен вздумал скрыть от немцев свое еврейское происхождение, то это бы ему наверное удалось.

Не знаю, где и при каких обстоятельствах погиб Николай Бернгардович, но не сомневаюсь, что, умирая, он не изменил своему природному мужеству и чувству собственного достоинства, не проявил ни слабости, ни страха и, главное, не просил у врагов пощады.

III

Пушкин — это Империя и Свобода.

Г. Федотов

Худое, моложавое лицо; густые византийские брови. Доцент с ленинской бородкою. Вкрадчивый, мягкий, уговаривающий голос с дворянским «р». Общее впечатление уступчивости, деликатности, а в то же время каждое слово точно гвоздь: прибивает мысль — ясную, определенную, смелую.

В статьях Георгий Петрович был чересчур литературен, цветист и этим подчас раздражал, особенно незнакомых. Но если услышать стоящий за фразою голос с неровным дыханием (сердце, сердце!), мягкий, музыкальный и в то же время настойчивый, там, где дело касалось последних истин, то к произведениям Федотова прибавлялось как бы еще одно измерение. И независимо от того, соглашались ли мы с «лектором» или нет, у нас зарождалось какое-то горделивое, патриотическое чувство: какая-то великолепная смесь, новая и вполне знакомая — Россия и Европа! Та-

кие люди, соединяющие музыкальную податливость с пророческим гневом, ненависть и любовь к родной истории, встречались, главным образом, на той Руси, которая всегда чувствовала себя Европою. Печерин, Чаадаев, Герцен, может быть Соловьев.

Кстати, Германия, несмотря на весь свой исторический блуд, не выдвинула ни одного крупного мыслителя, который бы отважился покаянно изобличить свой общенародный грех, вскрыв основную национальную язву.

В Федотове внешне все было переменчиво, противоречиво и неустойчиво, все, кроме его вселенского православия и формально демократических убеждений. Соединение этих двух начал, вообще, несколько необычайное, создавало еще одно мнимое противоречие, отталкивающее многих возможных союзников (но и кое-кого из врагов привлекавшее).

В Париже тридцатых годов я часто встречался с Георгием Петровичем, почти ежевечерне. На собраниях «Круга» и «Внутреннего Круга», в «Пореволюционном клубе» Ширинского-Шихматова и т. д.

Это был единственный современный религиозный философ из близко знакомых мне, который в основном признавал ответственность православия за русскую историю. И с какой радостью он цеплялся за все новое, прекрасное, пускавшее ростки вокруг нас в эмиграции.

— Вот теперь, — взвизгивал он, — после матери Марии социальное дело вошло уже навсегда в православную церковь и другим остается только его продолжать...

К разряду редких явлений относилась также исповедуемая Федотовым идея демократии. Впервые в русской мысли православие сопрягалось, в идеале, с формальной демократией, доказывая этим на деле, что нет никаких канонических причин обязательно цепляться за кесаря, наместника или главу.

Чем могло бы стать такое православие, свидетельствует тот факт, что в Париже тех лет почти все кинулись в лоно русской церкви. И не только равнодушные, коренные скептики, но и французские католики, русские — еврейского вероисповедания, даже воинствующие атеисты.

Принято говорить об особой ноте парижской литературы (или поэзии), но это явное недоразумение. Особая парижская нота наблюдалась и в философии и теологии, в политической деятельности и в живописи, даже в шахматах. Весь дух был другой, и происходила на наших глазах чудесная метаморфоза. Ла-

тинская прививка к родному максималистскому полудичку обернулась творческою удачей. В этом смысле о. Булгаков, мать Мария или Федотов не менее животворящи для будущей, новой, Европейской России, чем наша молодая литература.

Белый французский хлеб и красное винцо питали всех одинаково, а римское восприятие национальности как юридической принадлежности, без критерия расы или религии, оказалось настоящим откровением.

Георгий Петрович в этом творческом расцвете сыграл свою роль, может быть, именно благодаря своей внешней двойственности. Он стоял посередине между философией и теологией, между историей и поэзией, литературой и политикой, одинаково дорожа русским ранетом и бургундской грушею «дюшес», прошлым и будущим, бытом и бытием, ничем, в сущности, не желая поступиться в рамках европейского христианства.

Недаром Поплавский раз в виде упрека ему сказал:

— Вот вы, если бы это понадобилось, никак не согласились бы ради своих убеждений взорвать Шартрский собор!..

И сидевший тут же Мережковский обрадованно поддержал:

— Вот, вот, видите, в чем дело.

Не помню, что ответил Георгий Петрович, думаю, что он действительно не был способен взрывать готические соборы. И не обязательно по малодушию.

А во время испанской войны Георгий Петрович написал статью о Пассионарии, признавая за последней историческую правду. Это выражало тогда чувства большинства из нас.

Испанская кампания была поворотным пунктом в жизни многих европейцев. Мы очнулись от прекрасного религиозно-поэтического обморока. Гражданская война застучала безобразным кулаком по кровле нашего быта, и приходилось выбирать в союзники меньшее зло. Некоторые сразу уехали в Мадрид; другие все собирались туда. Кровно, идейно и традиционно большинство из нас было связано с законным республиканским правительством. История повторялась: опять — ни Ленин, ни Колчак. Демократия еще раз профуфукала страну. А если вовремя ограничить свободу граждан, арестовать генералов и коммунистов с анархистами, железною рукой направить экономику, давая работу и хлеб населению, то, пожалуй, удастся еще спасти режим... Но что же тогда останется от демократии? В этом заключалась квадратура круга. «Христианство и демократия» — утверждал «Новый Град» Фонда-

минского и Федотова, и им вторил из Германии Степун. Но что это означает на практике? Где и когда такой режим осуществлялся? Если обязательно нужны полицейские и работники ассенизационного обоза, то не лучше их заводить автономно от Евангелия и Святой Троицы...

Статья Федотова о Пассионарии эмоционально отвечала на многие «проклятые» вопросы, примиряя со злейшими противоречиями. Многое кругом становилось если не яснее, то хотя бы приемлемее. Недаром один профессор православного института, где преподавал Георгий Петрович, некая светлая личность, потребовал исключения Федотова, «тайного масона и марксиста». Богословский институт поддерживался англиканскими филантропами и одернуть эту «светлую личность» оказалось делом не трудным. Но потасовка такого рода стоила Федотову много внутренних сил; впрочем, она же сблизила его с молодыми литераторами.

Фондаминский ежедневно затевал новое эмигрантское объединение, а идеологически его оформлять должен был все тот же бедный Георгий Петрович, вплоть до юбилейных спичей и поздравительных адресов. Приходилось часто удивляться, как его хватает на такой подвиг. Но душа заметно уставала от сплошных «банкетов» под опекою Ильи Исидоровича. К тому же надо было жить и кормить семью, что тоже изматывало живую силу.

Летом Федотовы уезжали на дамских велосипедах к Луаре и дальше, по долине реки, мимо рыцарских замков и средневековых церквей. Георгий Петрович обожал галльскую землю, ее импрессионистскую зелень и строгую готику, ее белый хлеб и кисленькое вино, сыры и вспыльчивых, горячих, но изумительно толковых французов, где в сутенере и проститутке звучит логика Паскаля и Декарта.

Бунин выпивал бокал «Клико» и залихватски клялся, что в Москве и шампанское лучше! А стерлядь, а икра, а Волга... За сим следовал весь кухмистерский вздор казака Крючкова.

Федотов знал величие французской истории. И не спорил, когда я доказывал, что культура началась вокруг Средиземного моря у народов с карими глазами. Но он всегда, с непоколебимым мягким упрямством, старался обратить наше внимание на ужасы революций латинского мира. Вопрос, была ли в Англии когда-либо революция, занимал нас тогда всерьез. Тема сводилась к одному: можно ли очеловечить похабный режим без братоубийственных мутаций?

Наступили роковые осенние дни 1938 г., кончившиеся после частичной мобилизации полным поражением в Мюнхене. В разных эмигрантских углах сразу зашевелились многочисленные аспиды, готовясь присоединиться к обозу Гитлера. Федотов, единственный в нашем кругу, был за Мюнхен. Этого мы долго не могли простить ему. Пассионария и Мюнхен; обе эти половинки одинаково важны для уразумения Федотова.

Рассуждения его приблизительно сводились к следующему: современная, глобальная война приведет к окончательной гибели старой неповторимой Европы, независимо от победы или поражения. Так что лучше отсиживаться за линией Мажино и продолжать молиться, строить соборы, писать стихи — пока есть еще малейшая возможность всем этим заниматься!

А мы возражали: «Даже если линия Мажино отвечает своему назначению, от затхлого воздуха разлагающихся рядом живых и мертвых трупов задохнется любое свободное творчество, иссякнет последняя вдохновенная молитва, потеряют убедительность лучшие архитектурные монументы».

Зимой того же года был создан наш внутренний «Круг», некий орден, которому надлежало конспиративно существовать и бороться в надвигающейся долгой ночи. И мы все единогласно высказались против кандидатуры Г. Федотова.

— Это же курам на смех! — вопил Фондаминский. — Вы С. Жабу принимаете, а Георгия Петровича забраковали. Это ведь курам на смех! — повторял он свое любимое выражение. — Вы разошлись с Федотовым по одному вопросу. Но Мюнхен миновал: это уже прошлое. Теперь возникают новые темы, где Георгий Петрович может оказаться впереди нас всех...

Действительно, получался анекдот. И Федотов с супругою были приглашены в наш «Внутренний круг». Очень знаменательно для наших тогдашних настроений, что Е. Федотова (как я уже, кажется, писал) на первом же организационном собрании резко осведомилась:

— Меня, главным образом, интересует, будем ли мы и здесь только болтать или, может быть, начнем бросать бомбы?

Уже в Нью-Йорке к концу войны мне пришлось «экзаменовать» Федотова. Тогда И. Манциарли, Елена Извольская, Лурье и я начали издавать «Третий час», журнал экуменического и пореволюционного толка. В каждом номере, подчас на разных языках, мы печатали статьи Бердяева, а Федотова, бывшего здесь, рядом,

не приглашали даже на наши собрания, наказывая его за непримиримое отношение к Советскому Союзу — в пору Сталинграда!

Вспоминаю, как Федотов раз днем пришел к Извольской: мы с ней, по-видимому, должны были выяснить, подходит ли он для «Третьего часа» — достаточно ли хорош!.. Федотов был уже очень болен, после очередного припадка говорил неровно, спадающим голосом и отпивал маленькими, быстрыми глотками красное винцо, которым «Третий час», верный старой парижской традиции, всегда угощал собравшихся. Невесело посмеиваясь, Федотов говорил:

— Вы меня не принимаете, а Казем-Бека печатаете...

И я услышал старое «курам на смех» Фондаминского. Расставаясь, он с грустью как бы подвел итоги беседы:

— Теперь между нами настоящих расхождений еще нет. Вы хотите разгрома немцев и торжества сил демократии, того же и я жажду. Наши расхождения начнутся на следующий день после победы.

Подобно Черчиллю, но значительно раньше, Федотов утверждал, что советскую Россию надо держать подальше от Европы, а Европу целиком временно заморозить, иначе все прогнившие части развалятся и не будет больше Европы! Я с ним спорил. Но теперь вынужден признать, что основная его интуиция была правильной. Вообще, всей своей правды о России, о ее истории, церкви, даже народе Федотов, по-видимому, не решался высказать.

— Россия должна надолго вернуться в Европу школьницей, младшей сестрою или ее спеленают, отбросят на Восток, расчленят!

Так я понимал подчас его речи, и они мне казались бредом. Только в свете последних «китайских» ходов истории пророчества Георгия Петровича становятся полной реальностью. И никакие спутники Луны здесь не помогут, как не помогли немцам «Фау-1» и «Фау-2». Погибает тот, кто борется против всего мира на два фронта.

* * *

Вся тяжесть идеологической борьбы в «Новом Граде» покоилась на плечах Федотова. И. И. Фондаминский был, главным образом, организатором, планировщиком. Георгий Петрович должен был лить живую воду в проложенные трубы.

Илья Исидорович считался у эсеров блестящим оратором, что вместе с красноречием Керенского тоже относится к загадкам

эпохи. Мы слушали Фондаминского с улыбкою. Когда раз перед ответственным выступлением я посоветовал ему говорить покороче и отнюдь не больше сорока минут, он искренне удивился:

— Мне случалось говорить подряд четыре часа, и тоже все слушали, — застенчиво похвалялся он.

И он не врал, конечно. Солдаты на фронте перед летним наступлением пьянели от речей Керенского, а матросы носили на руках комиссара Черноморского флота Фондаминского. Затем Чхеидзе... Все тогда считались Жоресами русской революции. Наваждение? Глупость? Глупость отдельных людей или целой эпохи?

Мне было неловко слушать Керенского или Фондаминского, точно перед голым королем — вот-вот народ догадается об этом. Оба они были эмоционально очень талантливы, но по-разному ограничены или просто неумны. Я всегда страдал при их выступлениях, с нетерпением дожидаясь конца, точно признавая и свою долю ответственности за этот детский лепет.

Павел Николаевич Милюков звучал совсем в другом ключе: нечто чужое, трехмерное, но практически устойчивое, защищенное, если не от урагана, то хотя бы от случайного дождя.

Фондаминский распылял свои силы, стремясь проникнуть в максимальное число организаций или кружков, чтобы повсюду рассказывать о русском гуманизме, о демократии, о великом интеллигентском ордене. Предполагалось, что если его или нас приглашают, то этим самым еще одна позиция завоевана — светлыми силами!

Я упорно указывал на то, что в сущности нет ни одного места, за пределами квартиры Фондаминского на 130, авеню де Версай, где мы могли рассчитывать на 51 процент голосов. И это ставит под сомнение разумность нашей тактики. Кроме того, мы литераторы, и совершенно нелепо подвизаться в стольких кругах и кружках, не имея собственного журнала.

Фондаминский этого не понимал: к тому же создавать конкуренцию своим «Современным запискам» ему, разумеется, не хотелось. Будучи «профессиональным оптимистом», он неизменно повторял:

— Подождите, подождите, мы скоро завоюем «Современные записки».

Но меня поддержал Федотов; присоединилась и молодежь, главным образом, активный в келейных переговорах Софиев. Не помню подробностей, но на очередном собрании правления Фондаминский заявил нам, что будет альманах — «Круг»!

По инициативе Георгия Петровича мы начали регулярно собираться раз в месяц на агапы. В библиотеке Фондаминского расставлялись столы, накрытые скатертью, на них бутылки красного вина, сандвичи, фрукты. Вместо обычного доклада «Круга» с прениями только дружеская, непосредственная беседа за полночь. Минутами чудилось, действительно: любовь, Каритас, витает кругом и преображает... А время, между тем, приближалось паскудное. Многие из присутствующих уже были отмечены роком: мать Мария, Фондаминский, Вильде, Фельзен, Мандельштам... все одинаково и каждый по-своему.

Увы, другие, подобно Иуде, позвякивали новенькими сребрениками, обеспечив себе место в обозе Гитлера.

Когда я мысленно разглядываю все эти лица, одухотворенные предстоящими страданиями или отмеченные печатью Каина, меня поражает, главным образом, полное отсутствие сюрпризов в нашей среде. Все карты были давно на столе и открыты: в этом смысле игра велась почти честно.

Раз в неделю, кажется по вторникам, Федотовы принимали у себя в «студии». Там, вокруг девиц, дочки Нины и ее подруг, басили срывающимися голосами семинаристы православной академии; заглядывали туда и монпарнасцы, часто Софиев.

Георгий Петрович вел себя подчеркнуто наставником и отцом, только на минутку позволяя себе увлечься разговором, сразу стихая и поблескивая загадочными, византийскими глазами под гусеницами бровей.

Софиев там и романсы пел, и стихи декламировал, вел себя не то молодым офицером, не то студентом — вообще, пользовался успехом у дам. Благодаря ему и будущие батюшки проникались тоже романтическими тенденциями. Бывала там молодая, хорошенькая женщина, мать двоих ребят, а в числе семинаристов являлся уже в монашеской рясе некто Ж. Он жадно мечтал о карьере иеромонаха и писал свою диссертацию на тему монашества, сравнивая эту желанную дщерь с невестой Господней из Песни Песней. Итак, Ж. увлекся молодой матерью, и она сбежала от мужа. Но Ж. потом стал жертвою еще других соблазнов: он уехал в Англию, женился на дочке англиканского пастора и стал священником епископальной церкви.

Этой атмосфере молодежи и флирта хозяин не только не мешал, но даже каким-то эзотерическим путем способствовал...

Внешне Федотов со своей бородкою всегда выглядел профессором среднего возраста, серьезным мыслителем, публицистом. И одевался он совсем не романтически; даже, вернее, скверно, неряшливо одевался. Новое платье мы все в Париже редко себе покупали. Главным местом снабжения являлся блошиный рынок, где иногда попадались замечательные вещи из богатых и спортивных домов. Но Георгию Петровичу и это не подходило. А костюмы, которые ему дарили добродушные меценаты, были все как на подбор темные, скучные и, главное, не по мерке.

Вообще, я бы сказал, в нашей среде царил стиль добровольной бедности (или чего-то близкого к этому). Даже некоторые имевшие деньги как бы стыдились своей материальной обеспеченности. В том, что деньги — грех, никто в русском Париже не сомневался. Так, Фондаминский наконец появился в новеньком коверкотовом костюмчике и долго виновато объяснял:

— Друзья заставили заказать... Мне это совсем не нужно, но они говорят: «Стыдно вам щеголять в рубищах!»

Поплавский злословил: «Дай русскому интеллигенту пояс к брюкам, и он все-таки напялит еще помочи, ибо нет у него ни уважения, ни веры к собственному брюху».

Действительно, в летнюю жару, когда Федотов снимал пиджак, на нем красовались и пояс, и подтяжки. Но объяснялось это, главным образом, тем, что брюки были чужие, совсем не по мерке. В Нью-Йорке чуть ли не при первой нашей встрече Федотов у вешалки напялил на себя пальто с таким необъятным клешем, что все кругом только развели руками.

И вот, несмотря на свою подчеркнутую внешность пожилого профессора и неряшливую одежду, какие-то определенно сексуальные, податливые, убаюкивающие, женственные флюиды щедро истекали из Георгия Петровича с ощутимой силой. Есть такая русская линия эротизма — от Достоевского, Соловьева, Розанова... Тут древние боги уживаются с Византией, церковью и ветхим заветом. Вот такое магнетическое поле явно ощущалось вокруг Федотова.

Был это, в сущности, не совсем на своем месте человек, не сумевший или не отважившийся вполне выразить себя. Думаю, что Федотов вздыхал с огромным облегчением, когда оставался наконец наедине с книгой и стаканом невкусного чая.

Припоминаю, как однажды на Вест Сайд, в Нью-Йорке, к Федотову ввалились громоздкие носильщики, не то чтобы увезти

пианино, не то чтобы его перетащить на другой этаж. Нина Федотова в молодости усиленно музицировала. Начались переговоры между дамами и черными атлетами. Какие-то формальности не были соблюдены, и возникали мелкие затруднения. В это время профессор, подхватив единым, несколько унизительным движением и чай, и книгу, и полы халата, вознамерился незаметно юркнуть к себе в комнату, но дочь и жена тут же, в один голос крикнули: «О, трус!» — чем обратили мое внимание на эту знаменательную сцену. В разных сочетаниях я еще несколько раз в жизни наблюдал такое его вихревое, «предательское» движение прочь в самый разгар каких-то житейских, практических передряг. Это не было только трусостью: он отдавал себе отчет в своей полной деловой беспомощности.

Приближалась страшная осень 1939 г. Еще в августе лучшие экспонаты скандинавских блондинок наводняли Париж: такой жажды греха и продолжения жизни Монпарнас, по утверждению старожилов, давно не испытывал. Люксембургский сад изнемогал под тяжестью цветов и похоти.

Наконец радио передало о дружеской встрече Сталина с Рибентропом в Москве. И вскоре в актюалитэ мы увидели, как поляки пускали свою конницу против тяжелых танков Круппа. Всадники, по экипировке похожие на ахтырских гусар, бросались на стальные башни, извергавшие огонь, и тут же превращались в дымящееся мясо. И только глупцы типа Сталина и Гитлера могли думать, что им удалось покончить с рыцарской Польшей.

А первого сентября, кажется, в газетах мелькнула наконец энигматическая фраза: «Англия и Франция находятся в состоянии войны с Германией» — dans un etat de guerre. Mobilisation generale*.

Скрещенные силуэты двух трехцветных флажков на афишах: в который раз! Все двинулось и поплыло с ружьями на тесемках и без обойм, в голубых бумажных мундирах 1918 г. На забранном досками окне соседнего бистро надпись мелом: закрыто, pour la duree**.

В Люксембургском саду бассейн, где плавали осенью жирные карпы. Эта игрушечная водная гладь, оказывается, может служить

* — в состоянии войны. Всеобщая мобилизация *(фр.)*.

** На неопределенное время *(фр.)*.

ориентиром в лунные ночи для вражеской авиации. (Правительство все предвидит!) Бассейн распорядились немедленно осушить: первая всенародная казнь рыб!

В кустах против Сената расположилась противовоздушная батарея. И солдатики в обмотках и тяжелых башмаках, вооружившись сетками, зашагали по колено в воде, вдохновенно выуживая отупевшую рыбу. От зноя спины взопрели, тонкие, юношеские шеи под расстегнутым воротом гимнастерок темнеют крестьянским загаром. И только чуть-чуть крупные, тяжелые, но приплюснутые носы галльских, франкских и южных хлеборобов свидетельствуют о том, что это Европа, Запад, Франция, первая дочь католической церкви, а не православная, хозяйственная, кондовая Русь, согнанная из деревень мудрым начальством для борьбы с исконным врагом.

А рыба, между тем поднятая из воды, страдала, с упреком разевала рот и грозно-жалостливо обозревала безоблачное небо: неизгладимое, романское, благоухающее небо Парижа.

Я спешил на собрание правления «Круга» и явно опаздывал: никак не мог оторваться от мудрой толпы, от этого исторического детского сада, от волшебного сияния чужой и благодатной стихии. (Впрочем, потом, когда бедствия захватили народ всерьез, толпа начала разыгрывать свою роль по классическим образцам: за день до прихода немцев я у метро Конвансион пережил нечто напоминающее казнь Верещагина.)

Итак, я спешил на собрание «Круга», но не попал туда — завертелся в общем героическом и праздничном вихре. В парке, перед дулом одного противовоздушного орудия, торчала ветвь молодого деревца: ее собирались уже отпилить. Но солдатик вдруг догадался и торопливо подвязал бечевкою ветку, так что зелень больше не мешала панораме. (Даже стройный фельдфебель блаженно улыбнулся, радуясь спасению невинного деревца.) Где ты, милый пуалю из Ланд или Прованса? Кто через год сбросит твой окоченевший труп в тесную немецкую могилу? А может, ты убежишь из плена и станешь героем черного рынка, уверяя, что не стоит воевать за евреев и иностранцев?

Уже с самого начала войны мы сразу как-то магически закружились. Личная и деловая жизнь претерпевала коренные изменения. Многие были мобилизованы или записались добровольцами, другие ожидали повестку с вызовом в армию и чувствовали себя настоящими рекрутами. Менялись условия работы, и открыва-

лись новые сексуальные возможности; семьи перетасовывались, как картинки в колоде карт. А интеллектуальные встречи становились все реже и жиже: музы смолкают в обществе пулеметов.

Но Фондаминский затеял новый кружок — франко-русский. Там эмигрантские «генералы» должны были спорить с французскими intellectuels*. Из последних я знал только Габриель Марселя, ставшего вскоре вождем католического экзистенциализма. Нас, молодых, Фондаминский за недостатком места не пригласил. Я счет это оскорблением и явился на первое собрание непрошеный. Фондаминский только вздохнул, впуская меня.

Когда я пожаловался Федотову, он, понимающе посмеиваясь, сказал:

— Он и со мной так поступает. У Ильи Исидоровича для каждого особый балл. Вам, скажем, дается десять, а мне двенадцать, вот и вся разница.

Эти собрания не оправдывали моих надежд, и я перестал их посещать. Бердяев говорил о национальной душе. Габриель Марсель (и еще кто-то из Сорбонны) возражал очень трезво:

Все это очень мило и интересно, однако мы теперь находимся в состоянии войны с безжалостным врагом и должны его победить любой ценой.

Такого рода практические речи производили нехорошее, скучное впечатление — слишком уж просто и плоско. Несмотря на то, что все мы приветствовали эту войну и считали ее священной, о конкретной победе никто не думал и общее настроение было вполне апокалипсическое. Можно утверждать, что, наученный горчайшим опытом, весь русский спектр эмиграции бессознательно ждал катастрофы и в победу не верил. «Да, — думали многие из нас, — солнце когда-нибудь взойдет. Но пока наступает длинная ночь, и надо через нее брести».

Наступила зима «смешной» войны, в которой, впрочем, ничего забавного не наблюдалось. Новый, 1940 год я встречал у Федотовых. Из наших старших пришла только одна мать Мария. Фондаминский обещал заглянуть, но застрял по пути. Была еще семья Ольденбургов с Зоей, тогда скромной лицеисткой, а теперь знаменитой французской писательницей. Мы с женой привели еще кого-то с Монпарнаса — для девиц. Водка, вина. И селедка, сала-

* Интеллектуалами *(фр.)*.

ты, винегреты, ветчина — все как полагается, но радости не было. Эта встреча Нового года, скорее, походила на похороны. Мы крепились, старались по-обычному шуметь, веселиться, пели, произносили патриотические речи, чокались. Но что-то не клеилось: наше нутро знало некую правду, которую сознание отказывалось принять.

Для многих это был последний год во французском Париже, а для некоторых вообще последний год жизни. И мы хоронили старую, прекрасную, нищую, творческую галло-русскую жизнь и заодно с нею блистательный европейский гуманизм. Навстречу нам шагали неоканнибалы, неокаины, неопримитивы. История кружила по спирали. Герцен так описывает встречу Нового, 1852 г.: «Подали обычный бокал в двенадцать часов — мы улыбнулись натянуто, внутри были смерть и ужас, всем было совестно прибавить к Новому году какое-нибудь желание. Заглянуть вперед было страшнее, чем обернуться».

У нас в полночь Георгий Петрович заставил себя произнести спич с обычным в таких случаях условным пафосом. Затем говорила мать Мария. Повязанная черным платком, болезненно румяная, курносая, русская, она все же походила на св. Терезу Испанскую. Не помню, что она сказала, но особого оптимизма она тоже не проявила.

Кое-как, то увязая клювом, то хвостом, перевалили через эту «смешную» зиму и заплатили с трудом весенний квартирный «терм».

В Париже по-обычному расцвела сирень. В сумерках газовые фонари бросали зеленый свет. Жизнь торжествовала, и аборигены перестали таскать с собою противогазы в нелепых коробках.

А 10 мая немцы прорвали фронт у пресловутого Седана и ринулись к морю. И денька через два-три все обыватели догадались, что война почти проиграна: Париж будет сдан.

В гараже, у метро Пастер, на соломе, уже спали беженцы из Лилля... До чего похоже на вшивые русские вокзалы или на общежития времен испанской кампании. Вообще, в бедствиях народы становятся похожими друг на друга. Это только удача и богатство развивают в них новую спесь.

После долгого перерыва я отправился к Фондаминскому собрать нужную информацию: в конце концов, эти ветераны катастроф имеют связи и должны знать досконально, к чему теперь надлежит готовиться.

У Ильи Исидоровича днем в освещенной весенними лучами солнца столовой я застал Соловейчика, Ивановича и еще несколько такого толка знакомых. Они были углублены в странное занятие: сверяли по спискам имена разных людей, преимущественно, зубров. Как я понял из дальнейшего, Керенский еще в начале мая отправился в комиссариат полиции 16-го аррондисмана и сделал заявку на пропуск из Парижа для «всей группы».

После объявления войны иностранцам, разумеется, было запрещено разъезжать по Франции без особого позволения. И теперь Соловейчик отправлялся в участок получать желанные свидетельства, решив предварительно сверить по списку имена зарегистрированных, ибо некоторые воспользовались уже другими оказиями и давно смылись.

Фондаминскому не пришло в голову включить кого-нибудь из нас, молодых, в эти списки; позже прислали из Америки «чрезвычайные» визы опять-таки только для уже известных всем, заслуженных деятелей.

Между прочим, я именно в эти дни старался выпроводить свою беременную жену из столицы и не мог получить sauf conduit*. О себе, разумеется, в смысле разрешения на выезд я не беспокоился.

Однако Фондаминский с умеренной заботливостью меня спросил:

— А вы что собираетесь предпринять?

В понедельник, 10 июня, под вечер, я очутился у Федотовых. Кажется, я пытался включить жену в караван друзей, покидающих Париж легально.

Оказалось, что Георгий Петрович не успел еще получить своего пропуска и собирался завтра смотаться к Фондаминскому за документом. Я советовал выезжать пораньше, поездом, невзирая уже ни на какие комиссариаты и не теряя драгоценного времени:

— Выйдите на улицу и понюхайте пустые улицы, — сказал я, — вы поймете, что ворота города открыты.

Это выражение понравилось Е. Н. Федотовой, и она, в сердцах споря с мужем, повторила:

— Вот именно, выйди и понюхай! Никаких удостоверений больше не надо.

---

* Пропуск *(фр.)*.

На этом мы расстались. На следующий день мне удалось усадить жену в поезд. Сам я выехал всего только на день позже, 12 июня. 13-го, к вечеру, немцы были уже у застав Парижа.

В Пуатье многие русские высадились; в сущности, мы не знали, что происходит. Мне все еще мерещилось, что на Луаре будет оказано сопротивление: новые армии займут левый берег и мы все выполним свой долг. Это отсутствие правильного понимания обстановки, вероятно, стоило жизни многим милым людям.

В Пуатье я и семья Гржебиных, к которым меня прибило, потеряли несколько драгоценнейших дней (в течение которых «оптимисты» получали транзитные визы и переходили границу у Ируна). Там, в Centre d'Accueil*, я столкнулся с заблудившимся Гершенкроном, ценнейшим сотрудником «Круга», он собирался поселиться в знаменитом монастыре под Пуатье. Всегда болезненный, он теперь был не в меру раздражен и тоже не отдавал себе отчета в происходящем. Как общее правило, никто не мог сразу примириться с мыслью, что Франция капитулирует. Кроме того, увы, наши материальные дела не были в блестящем состоянии. Так, Гершенкрон почти сразу начал жаловаться на мать Марию: они встретились на Лионском вокзале, случайно, в толпе. Уезжали Мочульский с Юрой, сыном матери Марии, — она оставалась в Париже. У них у всех были заранее приготовленные билеты вместе с пропусками Керенского. Но Юре не хотелось покидать Париж и он упросил мать позволить ему остаться. Тогда Гершенкрон, бедняга, купил Юрин билет, заплатив наличными.

— Зачем мне нужен был этот билет! — негодовал он теперь в Пуатье, очевидно издержав уже последние деньги, — проехали же вы без всяких билетов.

Вот там, в Пуатье, на площади у кафе, где беглецы отдыхали в полдень, общее внимание вдруг привлек странный караван, состоящий из трех дамских велосипедов и одного мужского: чета Федотовых в первой паре, а за ними нордическая, растрепанная блондинка Нина и похожий на алжирца Вадим Андреев. На вокзал они уже не пробрались и весь путь из Парижа проделали на «педалях» в четыре, пять дней — благо подвернулся толковый спутник.

Дороги Франции до колдовства хороши летом; но все же карта Мишлэн пестрит от стрелок «крутых подъемов». Этот пробег

* Приемный центр *(фр.)*.

на велосипедах — и не для осмотра готических замков — был последним спортивным упражнением профессора Федотова. В Нью-Йорке он вскоре заболел коронарным тромбозом, от которого впоследствии и умер.

Там, в Пуатье, мы опять попрощались; Федотов побежал в винную лавку и вышел оттуда, неловко вертя в руке, сам ей удивляясь, какую-то необычайной формы пузатую бутылку ликера. Нина делала нелестные замечания, очевидно не одобряя покупку.

Они решили отправиться на запад, к Ла-Маншу, а не на юго-запад, где обосновался за Бордо Фондаминский. Андреевы и Сосинские теперь проживали на острове Рэй, туда направились дамские велосипеды — к самому оплоту будущей атлантической стены.

Эта наша встреча происходила точно в бреду. Да и вся Франция в эти сказочные июньские дни походила на злой вымысел. Шарль де Голль мучительно и медленно перерождался из захолустного полковника в легендарного принца.

А кругом толпа, высохшие горожане, старики, дети — ночью, на земле, на соломе, на траве. С близкого шоссе слышен шорох библейской саранчи: это миллионы обывателей брели дальше на юг, неся свои чемоданы и артриты.

Кто моложе, покрепче, тому было легко: топтал отстающих и пробирался вперед. Утешительно, конечно. Надо только хорошо рассчитать, так, чтобы наибольшие социальные, политические и геологические перевороты падали на тот период жизни, когда мы в расцвете своей биологии, физиологии и духа.

Эти недели, несмотря на все лишения, остались в памяти многих из нас как лучшая пора отпуска, каникул, освобождения от городского плена. Закусывая у фонтана галло-римской эпохи, попивая теплое винцо в обществе находчивых и понятливых южан, нетрудно было еще благословлять юг, Францию, жизнь! Но людей, вынужденных проходить через такого рода испытания в Польше, Бельгии или Маньчжурии, я воистину жалею. Какая несправедливость в судьбе народов, даже если предположить, что основные грехи — жадность, глупость, похоть, зависть, гнев — те же приблизительно повсюду.

В самом деле, может ли что-нибудь заменить пейзаж латинской Европы, ее климат, позволяющий не только заниматься живописью круглый год, но и собирать два-три урожая картофеля? (В таких землях не может быть хронического, регулярно повторяющегося голода, как, помните, в России, все равно — татарской, царской или со-

циалистической.) А снег и метель оставим для зимнего спорта: месяц в году. Ведь сама Татьяна, владевшая несколькими сотнями душ, все-таки не могла объяснить, почему она любит крещенские морозы; есть у меня думка, что если бы ей удалось вырваться и очутиться «под небом вечно голубым», то она, пожалуй, стала бы невозвращенкой. (Пушкину безоговорочно отказывали в заграничном паспорте; Гоголю и Тургеневу в этом смысле повезло.)

А через год Федотовы прикатили из Парижа в Марсель получать американскую визу, оттуда они мне прислали длинное письмо в Монпелье, давая разные практические советы и обещая свою помощь.

Нужные пароходы шли редко. Елена Николаевна очень беспокоилась за судьбу мужа. Так что Федотов сел на первое подвернувшееся судно и таким образом сразу попал в лагерь в Африке (под Дакаром).

Моя жена, бывшая в то время в Париже, рассказывала мне потом, что Фондаминский опять уже мотался по разным собраниям и довольно часто посмеивался над незадачливым профессором:

— Вот Федотов убежал отсюда в Африку и там попал в лагерь! Подумайте, в Африке! А мы еще здесь, здесь еще можно работать!

Когда я с семьей добрался наконец до Нью-Йорка, в июле 1942 г., на пристани нас приветствовала Е. Н. Федотова, вручила мне 20 долларов, собранные среди друзей; в этот первый год второго изгнания мы еще часто встречались. Но особой близости уже не было. Точно всем было стыдно за какие-то лишние слова, сказанные впопыхах. А слов чужих и лишних произнесено было много.

В Америке всем нам предстояло выдержать еще раз экзамен... Задача заключалась в том, чтобы сохранить личную классификацию при общей ревизии ценностей. И впервые за мною не было ни кружка, ни общества, ни другой объединяющей силы. Тут были свои бонзы и обер-офицеры, требовавшие уважения и даже почитания. Литературный стиль, здесь царствовавший, понаслышке, напоминал Ригу, а теперь хлынули «европейцы», и, разумеется, число обиженных или недовольных становилось с каждым днем больше.

Георгий Петрович, конечно, примкнул к «Новому журналу», но не было Фондаминского, и Федотов должен был себя там чувствовать одиноким, как белая ворона.

Статьи Федотова, его выступления меня беспокоили. Я выехал из Франции, когда раздавались первые артиллерийские залпы по Сталинграду и вся Европа опять прислушивалась к шуму битвы на поле Куликовом. Все знали: там теперь решается судьба гуманистического наследства. Сталин, не желая этого, защищал Иерусалим, Афины и Рим.

У марсельского консула я встречал беженцев, с ужасом и надеждою осведомлявшихся у меня:

— Как вы думаете, отстоят Севастополь?

Случилось так, что американская администрация, опасаясь провокаций или шантажа, ввела новое правило, по которому лица, родившиеся на территории, уже захваченной немцами, не могли получить визы. В результате пышно расцвели фабрики фальшивых метрических и других свидетельств. Так что австриец, осведомлявшийся, отстоят ли русские Крым — место его нового рождения, — был кровно заинтересован в утвердительном ответе.

Не только Севастополь или Россию отстаивали тогда советские народы, но все, что было в мире униженного или преследуемого. И молитвы святых, равно как слабых, грешных жертв или героев, были тогда с Россией, за Россию, опять святую, великую, в последнем стремительном броске всегда исправляющую свои ошибки, искупающую вину в братском союзе с просвещенными державами Европы.

Так было во времена татар и Карла шведского, шедших покорять весь мир. То же случилось с Наполеоном и дважды на нашей памяти против немцев. Всякий раз Россия, необъяснимым чудом подстрекаемая ангелом или архангелом, в последнюю минуту выпрямлялась и занимала свое ответственное место рядом с традиционно христианскими, гуманитарными народами. (В частных и более мелких случаях князья, цари и комиссары, увы, грешили, и даже очень.) И это повторится опять, завтра, в решительной схватке с китайцами или марсо-венерианскими полчищами...

Ночью я шагал по безлюдным улицам Монпелье, подметаемым резким морским ветром. Я возвращался из кафе, где играл в шахматы с испанскими эмигрантами. Восток прояснялся и, казалось, вспыхивал от многочисленных взрывов тяжелой артиллерии. Я почти ощущал эти далекие удары, а от воздушных воронок начинал задыхаться. Чудилось в небе: вот огромная, вставшая на дыбы кобылица, отбивающаяся передними копытами от стаи

волков, огрызающаяся и жалобно ржущая в снежной степи... она осторожно пятится к Волге, а лицо кобылицы прекрасно и из ноздрей вырывается пламя!

В таком настроении мы отплывали в Новый Свет. А Федотов позволял себе оставаться при особом мнении, как в пору Мюнхена. Впрочем, спор шел не о настоящем, где нам предстояло бороться и во что бы то ни стало победить. Этого он не отрицал; расхождения начались в связи с будущим — гадким и постыдным, по утверждению Федотова.

Нам представлялось, что после такого светлого подвига в паре с Европою что-то неминуемо тронется с места, сдвинется, даже в сталинской Руси. СССР вернется по праву в Европу, и Европа опять сольется с Россией.

Именно это Федотов желчно отрицал. Он умолял, грозил и проклинал. По его вещему слову, как я уже писал, Россию надо всячески удерживать за пределами Европы, не пускать ее дальше исторических границ: иначе конец западной культуре!

По мнению Федотова, даже этнический тип русской толпы в больших городах уже изменился, судя по кинорепортажам и снимкам в журналах. Азия изнутри перерождала Россию — пожирала часть Европы.

Споры такого порядка, в то время как близкие нам друзья умирали в лагерях, в плену или на поле брани, порождали чувство гнева и даже вражды.

Мы с Георгием Петровичем жили на одной улице, Вест 122, рядом с теологической семинарией, где он преподавал. Он был уже очень болен и часто отлеживался или отсиживался неделями в своей комнатушке, похожей на келью, только с остатками вечного, неприбранного чая.

К тому времени из Мюнхена прибыла чета И., которым Федотов усиленно помогал устроиться, и они все быстро подружились. Федотов часто выводил И., протежировал ему, возвращался поздно ночью и, видимо, уставал.

Объяснялось это, главным образом, жаждою учеников. В России к словам Георгия Петровича прислушивались бы два поколения студентов, что и составляет секрет удачи любого властителя дум. От нас, парижских своих друзей, Федотов такого признания не мог ожидать. Наши отношения, всегда, вообще, будь это Бердяев, Шестов или Мережковский, были основаны на обмене: каждый из нас имел свое мнение и норовил его протолкнуть. Полу-

чалась здоровая циркуляция, залог живой культуры: give and take*... Одни давали меньше и брали больше, но все участвовали в круговой творческой поруке.

И. был учеником Федотова, и это должно было утешить профессора на последнем этапе жизни. Федотов нашел панацею для России: Пушкин! «Пушкин — это империя и свобода», — определил он. И ученики повторяли с воодушевлением: «Империя и свобода!»

В Париже я однажды спросил Федотова: «А что, если империя борется со свободою? «Клеветникам России», «Гавриилиада» — что делать с этим хламом?» Впрочем, относительно Польши Георгий Петрович отвечал не колеблясь: «Это наш грех!»

Изредка в сумерках я встречал одиноко бредущего Федотова: он шел в сторону Амстердам-авеню в дешевый ресторан, а затем в темное, полунегритянское синема — ныне уже разрушенное. Мы беседовали несколько минут у моего крыльца, точно на бульваре Сэн Мишель.

Федотов:

— То, что вы находите у апостола Павла элементы гностицизма, это хорошо. Вот если бы их было много, тогда плохо.

Я указывал на то, что в бл. Августине больше манихейской ереси, чем в Тертуллиане—монтанисской.

— Тут важно направление. Первый шел от ереси к церкви, а второй, наоборот, удалялся, — объяснял Георгий Петрович и смеялся моему замечанию: «Мне все «африканцы» напоминают Дзержинского».

В те годы в «Новом журнале» еще печатался мой «Американский опыт»; и все, что было бездарного в нашей эмиграции, ополчилось против него. Георгий Петрович был одним из моих немногочисленных заступников. После выхода в свет очередной книжки журнала Марья Самойловна Цетлина приглашала к себе от имени редакции всех сотрудников для обсуждения изданного номера. Как полагается для истинных демократов, меня, автора большого, спорного романа, она не приглашала.

В отсутствие Яновского многоуважаемые и бездетные зубры уже ничем не стеснялись. Так что бедный редактор М. Карпович вынужден был даже на время приостановить печатание «Американского опыта», пропустив один или два выпуска. Атаки против

* Давать и брать *(англ.)*.

меня велись, главным образом, под знаком американского «патриотизма», и обвиняли меня в сочувствии фашизму.

Только благодаря Федотову и еще нескольким доброжелателям, кажется Извольской и Александровой, Карповичу удалось довести роман до конца. Надо отметить, что со смертью моего старого знакомого М. О. Цетлина стало легче вести дело с редакцией «Нового Журнала», то есть с М. М. Карповичем.

— Это наша принципиальность тому виною, — невесело улыбаясь, поучал Федотов. — Наше несчастье — принципиальность русской интеллигенции. Эта принципиальность делает из культурных, благородных людей цензоров и жандармов. А Карпович пришел из совсем другой среды.

Как-то в самом начале моего пребывания в Нью-Йорке я отправился на вечер «приехавших из Европы»; когда собрание кончилось, мы все застряли у вешалки по вине Георгия Петровича.

— Что, калоши ищете? — пошутил я (По свидетельству Н. Федотовой, отец ее в Новом Свете первым делом побежал и купил себе калоши, напоминающие «Треугольник».)

Но оказалось, что Федотов потерял номерок и не может объяснить, как выглядит его пальто. Пришлось дожидаться, пока народ разбредется; да и тогда Георгий Петрович воспринял свое пальто с долею недоверия, ибо он именно в это утро получил его в дар от какого-то благотворительного общества и не успел толком разглядеть. Анекдоты с одеждою — не случайность в жизни Федотова, они преследовали его до самого гроба, поэтому я о них упоминаю.

По болезни Георгий Петрович часто пропускал занятия в Институте богословия. Его непосредственный начальник о. Флоровский, единственный современный крупный русский теолог, вышедший из среды иереев, а не бывший «интеллигент, писатель, общественный деятель», человек желчный и обиженный «разными Бердяевыми», почему-то не доверял болезни Федотова, во всяком случае, не проявлял особой нежности и грозился его исключить. На этой почве между ними даже возникали распри, ничего общего с патристикою не имеющие. Так что когда о. Флоровскому пришлось отпевать Георгия Петровича, то некоторые восприняли это как временное торжество врага.

В Си Клиффе собрался очередной съезд, кажется, студенческого движения. Я поехал туда, рассчитывая встретить многих старых друзей. Был жаркий летний день, и я остановился у ресто-

ранчика над заливом. За соседним столиком сидел В. Г. Терентьев, тоже освежаясь каким-то холодным напитком. Это он мне сообщил: «Вчера в госпитале скончался Федотов».

Из всех участников съезда наиболее удрученным и даже растерянным выглядел М. М. Карпович: в недалеком будущем ему предстояло последовать за Георгием Петровичем.

Тогда же, в Си Клиффе, я познакомился с одним из бывших учеников Федотова, о. Александром Шмеманом, с которым потом уже часто встречался в нашем философско-религиозном кружке. Таким образом, культурная преемственность оказалась установленною.

Судя по последним письмам Федотова к жене, он ушел от каких-то знакомых, где отдыхал летом, в местную маленькую больницу: «Благодаря Синему Кресту здесь почти бесплатно, и уютно, и чисто, и тихо...»

— Под вечер, — рассказывала медсестра, — он сидел на диване в общей гостиной, с книгою и обязательной чашкою чая.

Это был некий чудесный и сложный акт в жизни Федотова: чай и книга — нераздельные. Сестра в последний раз видела его именно за этим занятием: пил глазами и губами, изогнувшись в халате. Когда спустя минут пять она вернулась в залу, Георгий Петрович был уже мертв.

Оставалось перевезти тело в Нью-Йорк и похоронить. Этим занялся один из новых друзей Федотова, Зубов, не знавший основных фактов биографии Георгия Петровича. Комнатка, где ютился профессор, при теологическом институте, оказалась запертою, а ключ застрял где-то в вещах покойного; между тем похоронное бюро настаивало на том, чтобы усопший был облачен в черную пару (как говорится, dignified*). И местный друг Федотова, ничтоже сумняшеся, купил в магазине готового платья новенький темный костюм для покойного. По американскому обычаю, ему подкрасили щеки и губы; в гробу, посредине собора (на Ист Второй улице), Федотов полулежал, как-то неосновательно, почти порхал. Я знал, что за последнюю четверть века Георгий Петрович ни разу не обзавелся новым платьем по мерке. И было больно смотреть на этот добротный пиджак, в котором его собирались хоронить.

* Облагорожен *(англ.)*.

IV

Напишите так, чтобы каждое слово пахло!

И. Фондаминский

Фондаминского в двадцатых годах я редко встречал. Говорили, что, хоть он и числился редактором «Современных записок», о беллетристике не берется судить — не считает себя компетентным! И это мне нравилось.

Обычно в эмигрантских изданиях приличного толка господствовало убеждение, что только в оценке стихов требуется специальная сноровка или культура; прозу же любой честный общественный деятель способен прочесть и забраковать. Зарубежная поэзия от этого явно выигрывала; стихи отправляли экспертам или же их печатали «на веру», руководствуясь мнением ведущих критиков... Верстали рифмованные строки между отрывками прозы — на манер виньеток. Разумеется, главное преимущество виршей заключалось в их портативности. Они занимали мало места и не мешали вести точный подсчет советским преступлениям.

В прозе же, извините, Вишняк-Руднев («Современные записки») и Слоним («Воля России») сами хорошо разбираются и в консультантах не нуждаются: на мякине их не проведешь! Результаты оказались совершенно плачевными для «Воли России»; в «Современных записках» эта установка была постепенно сломлена сплошным напором молодой литературы и еще благодаря поддержке Фондаминского, на собственный вкус не полагавшегося и прислушивавшегося к общественному мнению...

Истина заключалась в том, что для оценки художественного произведения у этого типа поколения людей (в другом плане весьма замечательных) совершенно отсутствовали соответствующие органы. Мне всегда казалось, что если бы иной редактор долго нюхал рукопись, то он бы понял гораздо больше, чем только читая ее.

На крупном смуглом лице Фондаминского не последнее место занимал нос с мягкими раздувающимися ноздрями; весь облик его был несколько чувственный, яркий, похожий на горца, чеченца — статный, красногубый, с темным горячим взглядом из-под совиных дугою бровей. Позже, уговаривая нас писать статьи для «Нового Града» или «Новой России», он обязательно добавлял:

— Только напишите так, чтобы каждое слово пахло! — И прижимал сложенные в щепоть пальцы к живым, красивым ноздрям, смачно втягивая воздух, точно наслаждаясь воображаемым ароматом нашего будущего творения.

Другие редакторы «Современных записок» были настроены скорее скептически и не ждали от нас проку... Руднев был деликатнее Вишняка, осторожнее, глубже, но в сущности страдал той же болезнью непогрешимой «принципиальности». Он только стелил мягче и умел выслушать человека, не сразу прерывая его. Когда Руднев заявлял: «Этого я не понимаю...», — то, естественно, всем объяснениям наступал конец. Эти люди в целом как поколение на редкость ограниченные, главным образом полагались на свой разум. То, чего Зензинов «не понимал», не существовало, не должно было существовать в приличной литературе.

Был Руднев честнейшим, порядочнейшим русским интеллигентом, социалистом, земским врачом. Мне случалось видеть на лице его следы подлинного страдания, когда он возвращал рукопись молодому писателю, которого считал талантливым. Но увы, «этого я не понимаю...».

Долг прежде всего, причем долг именно в собственной интерпретации, без поправок и компромиссов.

Бытовым образом В. Руднев тяготел к православию, любил русскую церковь и ходил туда по большим праздникам; но не понимал, как это можно спорить о религии или заниматься теологическими тонкостями. Религия — частное дело гражданина, личное! Она должна быть отделена от государства и всей общественной жизни человека. Более преступную чепуху трудно себе представить, хотя исторически она, по-видимому, оправдана.

Разумеется, при таких настроениях появление Бердяева, Федотова и мистически настроенной молодежи в недрах «Современных записок» (и из номера в номер) можно счесть за чудо! Здесь сказалось влияние Фондаминского.

Впрочем, время работало всецело, увы, недолго, на нас. И к 1936 году появились книжки журнала без единого «старика», все сплошь молодежь. А в статьях только «мистики и мракобесы». Никаких Шмелевых, и даже без Алданова. А тема Учредительного собрания незаметно сменилась мистикою демократии, равенством Богом сотворенных душ и грядущим тысячелетним идеалом.

И Руднев с Вишняком не могли не почувствовать себя обойденными...

В начале тридцатых годов Фондаминский редко показывался на нашем Монпарнасе. Амалия Осиповна, его жена, мучительно умирала от туберкулеза и поглощала все внимание домашних. В 1933 г., кажется, ей стало совсем плохо, и тогда решили прибегнуть к услугам И. И. Манухина, просвечивающего селезенку рентгеновскими лучами. (Это он якобы спас Горького и доконал Екатерину Мансфильд.) Реакция организма на эти лучи такой силы, что больной либо незамедлительно умирает, либо поправляется.

После нескольких сеансов жене Фондаминского стало совсем худо, и она вскоре скончалась. У Фондаминского проживал В. М. Зензинов, друг семьи, платонически влюбленный в Амалию Осиповну, близкие его прозвали «старой девой»; оба они тяжело, но по-разному переживали потерю.

Зензинов удалился в свой кабинет и засел писать воспоминания «влюбленного террориста», как мы шутили. А Фондаминский ринулся, точно носорог, в общественные джунгли, не разбирая тропинок, нагружая на себя множество лишних обязанностей и поручений. Постепенно, будучи человеком впечатлительным и компанейским, он искренне увлекся этой деятельностью, вначале задуманной в целях терапевтических.

Вот тогда он затеял «Круг»: место встречи отцов и детей — где спорили и беседовали на религиозно-философские и литературные темы.

В связи с этим начинанием весною 1935 г. мы с ним часто сходились на террасах уютных кафе. Фондаминский прибегал озабоченный, помятый, раскладывал листки бумаги на столе перед собою, называл фамилию и внимательно слушал, часто, впрочем, отводя глаза; затем делал значок — рядом с другими крючками — против имени очередного кандидата в «Круг». Советовался он со многими, сопоставляя наши суждения и пожелания, критически их взвешивал, а потом принимал собственное решение.

В главном мнения наши, очевидно, совпадали: мы, не сговариваясь, единодушно забраковали Поплавского.

Тогда мне казалось, что приятного человека надо обязательно пригласить в «Круг», даже если он не блещет особыми талантами. Ибо талантов на Руси хоть отбавляй! А любезных собеседников мало. Этого Фондаминский не мог понять, хотя не спорил со мною. Только много позднее я догадался, до чего такой подход должен был казаться ему наивным или глупым. Он крепко верил в «способности», «миссию», «работу», «заслуги», «чины»...

По отношению к Мережковским споров тоже не было: никто их не желал в «Круге». Иванова без Одоевцевой пригласили: его идеологию почему-то никогда не принимали всерьез.

К концу лета и был организован «Круг». Кстати, названия этого никто не придумывал: оно возникло само собою и оказалось идеальным. С осени мы начали собираться у Фондаминского на 130, авеню де Версай — каждый второй понедельник.

Итак, «Круг», а также внутренний «Круг» и альманах «Круг», «Современные записки», «Русские записки», «Новая Россия». Наряду с этими делами у Фондаминского еще была уйма забот. «Православное дело», младороссы («Круглый стол») и бывшие младороссы, «Новый Град», «Пореволюционный клуб» Ширинского-Шихматова, русский зарубежный театр... Любое эмигрантское объединение приличных форм, то есть не погромное и не раздаривающее немцам или японцам кусков России, обращалось к Фондаминскому за моральной и материальной помощью. И он поддерживал всех в разной мере — на худой конец ограничиваясь только советами организационного и практического порядка. Он выступал на бесчисленных вечерах: развивал, убеждал, усовещивал, сеял «разумное, доброе, вечное», даже шел в «зарубежный народ»: ездил по провинции с наивными докладами. Во всем этом им руководствовали исконно русские, народнические и христианские идеалы.

Не знаю точно, когда началось его увлечение православием, но к этому времени он уже говел в русской церкви. Кружок «Православное дело» с матерью Марией и бывшим католическим священником, ставшим православным иереем, собирался регулярно на 130, авеню де Версай и, вероятно, тешил сердце Фондаминского больше всех других организаций и клубов.

Он был историком по образованию и призванию; его «Исторические пути России» не лишены особой ценности даже теперь. Но «актуальная» история всю жизнь ему мешала заниматься научным трудом. Сперва подполье, «Земля и Воля» заслоняли предмет истории. Во время бунта «Потемкина» он съездил на один из восставших военных кораблей и произнес соответствующую речь — за что был судим военно-полевым судом и только чудом избегнул виселицы. (Фондаминский рассказывал, что, сидя в одиночной камере, дожидаясь смерти, он впервые на опыте ощутил реальное присутствие живого Бога и, кажется, молился.)

В эмиграции общественная и политическая сутолока опять-таки помешала ему отдаться любимому детищу: истории!

— Я знаю, что приношу больше пользы этой деятельностью, — говорил он со вздохом. — Вы думаете, мне интересно возиться с актерами и меценатами... Вот вы, писатель, но иногда надо принести жертву и пойти к чужим людям, попробовать их наставить, просветить.

Так он подгонял нас и даже вводил своеобразную общественную нагрузку. Фондаминский был неисправимым оптимистом:

— Подождите, подождите, все будет: и журнал, и издательство, и читатели, и даже правительство...

Материально он был совершенно обеспечен, что, конечно, питало оптимизм, но и бередило традиционные центры покаяния. Семья Фондаминского имела прямое отношение к чаю Высоцкого. В те дела он совершенно не вмешивался — за что, как утверждали, ему фирма выплачивала приличное содержание. Разумеется, после встреч днем и ночью с эмигрантской нуждой, даже в среде ближайших соратников, Фондаминскому, должно быть, часто становилось не по себе. Так что его поневоле приходилось жалеть. (По вещему слову Шаляпина одной дряхлой просительнице: «Вы думаете, что просить тяжело? Нет, отказывать еще тяжелее!»)

Для себя лично Фондаминский ничего уже не желал, никаких выгод не искал, что ставило его в роль почти беспристрастного арбитра. Мы и другие группы неукоснительно выбирали его своим председателем, и было совершенно ясно, что без этого замечательного человека все немедленно перессорятся и гордо разойдутся по своим медвежьим углам. Что и случилось после войны... И все слабые попытки творческого объединения рассыпались под напором смут, интриг, вожделений очередных вождей и лидеров. Ценность Фондаминского стала понятной только теперь. Такие люди необходимы для возникновения культурного центра с положительной иерархией и руководящим общественным мнением. Их нам недостает, пожалуй, больше, чем Бердяевых или Герценов.

Кстати, о Герцене... Фондаминский преклонялся перед этим великим эмигрантом и горевал, что в нашей среде «Герцена не оказалось». Когда появился Солоневич со своим первым романом-хроникой, то Илья Исидорович, любивший спешить, сразу заявил:

— А Герцен-то появился у них!

У «них» значило у крайне правых, против которых у Фондаминского не было слепой злобы: он готов был спорить с любым

честным врагом. Я его иногда встречал в самой неподходящей, получерносотенной компании: вел он себя с отменным достоинством и явно испытывал творческое наслаждение от борьбы со знакомым противником. «Принципиальность» в старом русском понимании, боязнь «загрязнить ризы», характерные для интеллигентских зубров, все это он явно порицал. И сумел перетянуть на свою сторону многих современников. На обеды «Круглого стола» с Казем-Беком Фондаминский повел уже целую группу старых и новых друзей.

Его всепоглощающая, бескорыстная, утомительная деятельность, очевидно, давала ему некоторое право обращаться с людьми как со строительным материалом (или как с шахматными фигурами). Он расставлял нас всех на доске и старался использовать для дела, сообразуясь только с качествами, влиянием и, главное, общепризнанной репутацией данного сотрудника...

Для каждого человека у него было свое место согласно особой шкале ценностей. Для Бердяева у Фондаминского была одна расценка, для Федотова и Степуна — другая, для Адамовича и Сирина — третья, для нас, наконец, — четвертая. Были люди, которых он низко ставил в русском плане, но высоко в иностранном: французском или английском. Все это создавало сложную бухгалтерию, в которой только он один разбирался, не отчитываясь. В принципе Фондаминский не отрицал возможности перехода из одной категории в другую, но не любил такого рода беспорядок и скрепя сердце подчинялся повороту общественного мнения. (Русские радикалы и бунтари, по существу, самые консервативные души.)

Это порою безжалостное отношение к товарищам и спутникам, суждение о них по внешним удачам, чинам, медалям, отзывам прессы — в революционере, чуть ли не террористе, мне кажется, подчеркивает основной парадокс, характерный для всего последнего поколения общественных деятелей... Героическое, честное, но в чем-то главном бездарное, лишенное оригинальности и независимости даже в микроскопических дозах.

Церковное христианство незаметно для внешнего взгляда преображало Фондаминского. Свой религиозный опыт он отводил далеко назад — еще к истокам и годам юности.

В наших спорах, где мистики сражались с агностиками и скептиками, он был неизменно на стороне верующих (с упором на социальную справедливость). Раза два он говорил о своей пер-

9 Зак. 2385

вой «встрече» с Богом. Тогда этого не понял, а, в сущности, из крепости он вышел новым человеком... Но потребовалась еще четверть века, чтобы все сообразить и объяснить. Его рассказы были трогательны, но не интересны: теологическая интуиция у него, кажется, отсутствовала.

Много и смачно Фондаминский распространялся на политико-социальные темы: это как будто не было главным занятием «Круга». Но вскоре — между Аншлуссом и Данцигом — геополитика стукнула нас по темени. Гады опять зашевелились совсем близко, поднимая древние головы. В воздухе запахло кровью друзей, братьев, соседей, униженных и героев... В победе демократии Фондаминский, оптимист, не сомневался.

Любил он говорить и на специальные исторические сюжеты. Фондаминский изучал эпоху Николая I и, погрязая в ней всю жизнь, постепенно влюбился в императора с мутно-свинцовым взором, которого одинаково ненавидели и Герцен, и Толстой.

Это Фондаминский мне преподал, что царствование Николая Палкина следует рассматривать психологически. В первые дни новой монархии вспыхнул бунт, поразивший и напугавший «помазанника Божьего». И вся последующая жизнь императора психологически была ответом на кощунственное восстание 14 декабря. (Поведение современных диктаторов и даже президентов станет понятнее, если вместо социологии и геополитики мы начнем уделять должное внимание житейской психологии.)

Но главный гений Фондаминского заключался в его организаторском таланте. Если бы ему суждено было стать святым, то он избрал бы подвиг не философа, вроде Фомы Аквинского, и не мистика, типа Иоанна Креста, а, скорее, хозяина и строителя, Стефана Пермского, просветителя зырян.

Он был одним из учредителей и редакторов журнала «Современные записки». Но читать рукописи и писать письма могут и Руднев, и Вишняк. А вот создать материальную базу для издания в эмиграции и объединить все живые силы литературы, философии, религии, науки не только условно левого толка — это задача посерьезнее и потруднее! Во-первых, журнал должен расходиться, а не залеживаться на темном складе... А затем надо искать новых людей, новые таланты, нужно приглядываться, прислушиваться, принюхиваться — без всяких предвзятых мнений. Этим занимался Фондаминский. И если к середине тридцатых годов «Современные записки» превратились в ценнейший толстый

журнал, лучший в истории русской культуры — и не только эмигрантской, — то в этом заслуга главным образом И. И. Фондаминского.

Он приглашал в журнал Бердяева и о. Булгакова, защищал прозу Цветаевой (читал ее Федотов), улаживал конфликты с Рудневым и Вишняком, которые постоянно выдвигали принципиальные жандармские возражения... Даже главу Сирина из «Дара», посвященную Чернышевскому, Фондаминский соглашался печатать, но Вишняк устроил дикую истерику. Примечательно, что Фондаминский уважал Чернышевского отнюдь не меньше, чем Вишняк. «Типичный интеллигент, член ордена», — говорил он с восхищением об авторе «Что делать?».

Когда из провинции приезжали меценаты, готовые затеять новое издание, Фондаминский неизменно поддерживал такую затею, другие редакторы пугались возможной конкуренции. После выхода первой книжки «Русских записок» Руднев удовлетворенно повторял:

— Ну что, какое гениальное произведение там напечатано, которое не могло бы появиться в «Современных записках»?

— Мой «Двойной нельсон», вы его забраковали! — отвечал я. В эту минуту я чувствовал, что этот добрейший, честнейший порядочнейший гражданин — мой враг!

Сотрудничество в «Современных записках» было обставлено всеможнейшими затруднениями для нас, новых писателей. Объяснялось это отнюдь не злой волей и интригами, а единственно тем, что люди старшего поколения, типа Руднева, Вишняка, воспитанные на идеалах «Буревестника» и прочей дребедени, понимали только определенный род литературы, по существу не во многом расходясь с Плехановым или Бухариным. Знаю, что и Куприн, Шмелев или Зайцев тоже не считали наши творения достойными внимания, что шепотом и высказывали неоднократно. Во всяком случае, они никого не поддерживали.

Бунин отметил только одного Зурова из всех молодых писателей за рубежом: последний писал, разумеется, в одном ключе с Буниным. О Сирине, старшем по возрасту и добившемся признания еще до войны, Бунин, кажется, никогда в печати не отозвался с решительной похвалою.

Проза всходила медленно на чужой почве: такова природа ее. Но поэты наши достигли положенного им блеска еще в тридцатых годах. Поплавский, Червинская, Ладинский, Штейгер, Кнут,

не говоря уже о старших: Ходасевич, Цветаева, Иванов, Оцуп. У них было бы чему учиться Бунину! Но Иван Алексеевич упорно отстаивал свою самобытность, не признавая никаких новшеств, — как в прошлом он отвращался от эпохи Блока и Белого. В этом диалектика зубра, не эпигона: он самостоятельно вымирает, не способный к сложным мутациям. Бунин гордился тем, что на него не оказали влияние «никакие там Прусты и Кафки». Увы, не оказали...

— Иван Алексеевич, — сказал однажды Ставров Бунину на Монпарнасе, — мы вас любим не за ваши стихи.

— И я вас люблю не за ваши стихи! — привычно отгребся Бунин. (За что же он все-таки любил монпарнасцев?)

Теперь в Советском Союзе стихи Бунина переиздаются и даже пользуются успехом. Бедный социалистический реализм!

Журнал «Современные записки», как все зарубежные издания, терпел убытки: подписка не покрывала расходов. Редакция задыхалась от количества присылаемого материала, при трех книжках в год. Один Алданов 20 лет подряд печатался там из номера в номер. Понемногу к нему присоединился (даже вытесняя) Сирин.

Конечно, Фондаминский и Цетлин, люди состоятельные, могли бы жертвовать деньги, но это бы не разрешило основного вопроса. Речь шла о том, чтобы создать коммерческую базу для журнала, найти активного читателя: продавать, а не гноить литературу на складе.

И Фондаминский создал еще один «орден» — дамский — для распространения билетов на ежемесячные доклады «Современных записок». Дам этих, в меховых саках, нельзя было раз навсегда объединить: с ними тоже приходилось встречаться регулярно за чайным столом, беседовать, поддерживать интеллектуальную связь. Кроме того, надо было снимать зал ежемесячно и находить подходящего, интересного докладчика... Даже пронумеровать стулья в Лас-Казе, потом собрать и спрятать билетики для следующего вечера. И выслушивать упреки «меховых» дам по поводу Жаботинского или Ростовцева (уклоняющихся, кажется, в фашизм).

После одного такого вечера я, жертвуя веселым обществом на Монпарнасе, предложил корпевшему над стульями Фондаминскому помочь ему привести в порядок хозяйство. Зензинов подсчитывал кассу. Илья Исидорович с благодарностью согласился, но через минуту, покосившись в мою сторону, сказал:

— Идите, идите, я знаю, вам хочется к друзьям.

И я убежал от общественной нагрузки, не выходило это у нашего поколения.

Зензинов был всегда рядом в таких случаях: молчаливый и часто хмурый, скептически настроенный. Думаю, что если бы он оказался во Франции во время последнего похабного мира, то судьба Фондаминского (или самого Зензинова) сложилась бы поиному.

«Круг» собирался через понедельник... Квартира Фондаминского на rez-de-chaussee*. Входная дверь вела в маленькую прихожую, дальше столовая, где за длинным столом мы пили чай и ели сладкие булочки до заседания. Из столовой лестница вела в подвал: там кухня и комнаты для прислуги. Следующая за столовой проходная комната Зензинова: кровать, письменный стол, машинка и пачка американских сигарет. На этом «ремингтоне» Зензинов днем писал свои воспоминания о неудачной любви, а может быть, вообще, о неудачной жизни. Я раза два опустошал его запас сладких папирос «Локки Страйк», и с тех пор он больше не оставлял пакета на виду.

У меня, писателя, в Париже не было своей пишущей машинки. (А. Толстой увез «ундервуд» М. С. Цетлиной.)

Когда я заканчивал повесть или рассказ, то обычно шел к Юрию Алексеевичу Ширинскому-Шихматову, главе Пореволюционного клуба и редактору «Утверждений». Его женой была вдова Бориса Савинкова, Евгения Ивановна. В их доме я провел много волнующих и поучительных часов, дней, ночей, погружаясь в живое прошлое двуглавой России.

Отец Юрия Алексеевича был обер-прокурором святейшего Синода, член Государственного совета, он имел привычку повторять: «Правее меня — стенка!»

Юрий Алексеевич, бывший правовед и кавалергард, проделал поворот на все 180 градусов: от «правой», почти черносотенной «стенки», до «левой», пореволюционной, национал-максималистской. Евгения Ивановна, княгиня Савинкова, как мы ее иногда называли, являлась живым преданием эпохи динамита и генерал-губернаторов; здесь имена Хомякова, Леонтьева, Каляева, Сазонова произносились словно клички кузенов.

Вот в этом доме охотно снабжали пишущей машинкой, и я мог ею пользоваться без ограничений.

* На уровне тротуара *(фр.)*.

Теперь, бывая так часто у Фондаминского, я, естественно, счел уместным попросить машинку на денек.

— Ну что вы, что вы, — урезонивал меня Фондаминский, — разве вы не знаете, что велосипед, фотографический аппарат и пишущую машинку никто никому не одалживает.

Я этого, к счастью, не знал. Кроме машинки князя Ширинского, я обычно брал еще велосипед — у доктора З... (К фотоаппаратам я питал некого рода отвращение.) По-видимому, такое благоговение перед произведениями индустрии было типичным для социалистов аграрных стран.

За проходной комнатой Зензинова находился огромный кабинет Фондаминского; там, на кожаном диване, он спал, постлав себе простыню. Из этого кабинета можно было выйти прямо в общий коридор дома, а затем на улицу, не проходя через парадную дверь квартиры. Чем мы иногда пользовались, так как у Фондаминского собирались разные фракции, порой враждебные.

Я обычно приезжал на велосипеде, с юных лет тяготея к независимости и страдая от мещанского расписания последних поездов метро. В свитере и брюках «гольф» я вносил свой велосипед в маленькую прихожую, раскрасневшийся, внешне активный и бодрый. Илья Исидорович меня несколько раз встречал одним и тем же возгласом:

— Как это вам удается всегда сохранять такой энергичный вид? (или что-то в этом духе).

Для него было загадкою, как можно переносить, не возроптав, наш образ жизни, полный лишений. Думаю, что если бы он очутился в эмиграции с самого начала нищим и одиноким, то не выдержал бы испытаний, и, вероятно, кончил бы самоубийством.

В его квартире доживала век пара сиамских кошек, любимцы покойной Амалии Осиповны. Насквозь избалованные, таинственно-развратные аристократические существа, явно бесполезные, но претендующие на особое внимание.

Я вырос среди зверей и домашних животных, люблю их и понимаю, однако стою за строгую иерархию: считаю ее справедливой — никакая демократия здесь не уместна. Собака или кот не должны сгонять человека с лучшего места; я бы даже сказал, что им полагается уступать нам первенство.

Надо было видеть удивление, даже возмущение этих сиамских высочеств, когда я их сметал с удобного кресла и сам устраивался в нем... Фельзен только посмеивался, как расшалившийся гим-

назист: «С ними, вероятно, еще ни разу в жизни так грубо не обращались», — произносил он своим тихим, твердым, с дружескими интонациями голосом.

Когда народ сходился, сиамцы исчезали внизу, где кухня.

Чай разливал Зензинов. У них был маленький самоварчик с краном, подвешенный над спиртовкою — его постоянно доливали кипятком из большого чайника: спиртовка поддерживала температуру и мурлыканье. Фондаминский озабоченно спрашивал, обращаясь ко мне или к Софиеву:

— Вам, конечно, покрепче! — что меня даже удивляло.

Только постепенно я догадался: крепкий чай был для ряда поколений русских интеллигентов, от петрашевцев до эсеров, чем-то вроде гашиша... И Фондаминский представлял себе, что мы в России пили бы чай покрепче. Увы, я не укладывался в традицию и по вечерам пил только винцо или коньяк. (Коньяк, по понятиям наших гурманов, даже Бунина, попахивал клопом.)

Постепенно все собирались; отпившие уже чай переходили в кабинет, уставленный дорогими сердцу книгами, их потом выманил у Фондаминского очаровательный немецкий полковник. Каждый постоянный член «Круга», в общем, имел свой любимый угол дивана или привычный стул, где и располагался.

— Бердяев через полтора часа должен уезжать, — оповещал нас Фондаминский со своего председательского места за письменным столом. — Так что, если мы желаем, чтобы он успел всем возразить, надо ограничить время выступлений.

Вот как Адамович в Table talk («Новый журнал», № 64, 1961 г.) описывает вечер «Круга»:

«Собрание у Ильи Исидоровича Фондаминского-Бунакова. Поэты, писатели — «незамеченное поколение». Настроение тревожное, и разговоров больше о Гитлере и о близости войны, чем о литературе. Но кто-то должен прочесть доклад — именно о литературе.

С опозданием, как всегда, шумно, порывисто входит мать Мария Скобцева (в прошлом Кузьмина-Караваева, автор «Глиняных черепков»), раскрасневшаяся, какая-то вся лоснящаяся, со свертками и книгами в руках; протирая запотевшие очки, обводит всех близоруким, добрым взглядом. В глубине комнаты молчаливо сидит В.С. Яновский.

— А, Яновский!.. Вас-то мне и нужно. Что за гадость и грязь написали вы в «Круге»! Просто тошнотворно читать. А ведь я чуть-

чуть не дала экземпляр отцу Сергею Булгакову. Хорошо что прочла раньше... Мне ведь стыдно было бы смотреть ему потом в глаза!

Яновский побледнел и встал.

— Так, так... Я, значит, написал гадость и грязь? А вы, значит, оберегаете чистоту и невинность о. Сергея Булгакова? И, если не ошибаюсь, вы христианка? Монашка, можно сказать, подвижница? Да ведь если бы вы были христианкой, то вы не об отце Сергее Булгакове думали бы, а обо мне, о моей погибшей душе, обо мне, который эту грязь и гадость... так вы изволили выразиться?.. сочинил! Если бы вы были христианкой, вы бы вместе с отцом Сергеем Булгаковым ночью прибежали бы ко мне плакать обо мне, молиться, спасать меня... а вы, оказывается, боитесь, как бы бедненький отец Сергей Булгаков не осквернился! Нет, по-вашему, он должен быть в стороне, и вы вместе с ним... подальше от прокаженных!..

Мать Мария сначала пыталась Яновского перебить, махала руками, но потом притихла, сидела, низко опустив голову. Со стороны Яновского это был всего только удачный полемический ход. Но по существу он был, конечно, прав, и мать Мария, человек неглупый, это поняла — вроде как когда-то митрополит Филарет в знаменитом эпизоде с доктором Гаазом».

Адамович почти точно передает сущность нашего спора. Он ошибается только в одном: это не было позою с моей стороны, не было «удачным полемическим ходом». Мы тогда так действительно думали и чувствовали.

После собрания, пропустив последнее метро, оставались еще самые отчаянные полуночники, а также аборигены 16-го аррондисмана, вроде Фельзена, Вейдле, или «берлинцы», квартировавшие у Фондаминского: Сирин, Степун. Опять появлялся чай, покрепче; хмурый Зензинов исчезал в своей проходной комнате.

Постоянно присутствовали на этих вечерах Адамович, Иванов, Фельзен, Вильде, Яновский, Софиев, Варшавский, Червинская, Кельберин, Мамченко, Терапиано, Юрий Мандельштам, Алферов, Зуров, Вейдле, Мочульский, чета Федотовых, мать Мария, Савельев, Гершенкрон, С. Жаба, Н. Алексеев, Шаршун, Емельянов, Ладинский... не припомню всех. Изредка появлялись: Керенский, Бердяев, Шестов, Франк, Цветаева, Степун, Извольская, Штейгер, Кузнецова, Андреев, Сосинский.

Наведывались и «деятели» из чуждых нам эмигрантских группировок, которым Фондаминский старался помочь или внушить

«доброе, вечное». Приходили загадочные личности, шпионы, подосланные из Союза, или просто несчастные беженцы, невозвращенцы. Все заворачивали в штаб-квартиру Фондаминского. Когда обнаружилось, что к телефону Фондаминского «подключились» неведомые нам родные «патриоты», он буквально расцвел. На первой странице «Пари суар» крупное улыбающееся лицо Фондаминского сияло от радости — наконец он получил давно ожидаемое признание от Эльбруса Человечества.

Хорошо помню одну русскую тетку — кубышка, грудастая, разумеется, соболиные брови и вдобавок беременная. Только что пробралась в Париж из Турции, где ее муж — Раскольников — советский полномочный представитель выпрыгнул из окна посольства, а может, бывшие его друзья спихнули посла как персону нон-грата с крыши особняка. Этот Раскольников в октябре семнадцатого года пальнул с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу и разогнал последний оплот демократического режима. Фондаминский был тогда комиссаром Черноморского флота, а Керенский — главой правительства и верховным главнокомандующим.

Беременная вдова присутствовала на нескольких наших собраниях и «чаях». Если не ошибаюсь, Фондаминский — святая душа, приютил ее на время у себя на квартире. Она смотрела пристально своими немигающими, холодными, бесцветными глазами, прислушивалась к нашим импровизациям и, я теперь понимаю, все решала: провокаторы мы или сумасшедшие, а может, и то и другое. После долголетнего советского опыта она иначе не могла, кажется, думать.

Признаюсь, трепет охватил меня, когда я впервые увидел ее в мирной столовой за стаканом чая визави учтивого Керенского. Еще один круг сомкнулся. Мне вдруг стало ясно, что история имеет смысл, часто даже противоположный нашим ожиданиям, но разобраться в этом трудно, остановившись где-то посередине процесса.

Как эта женщина прошла через годы оккупации, вернулась ли она к Отцу Народов и что ждало ребенка, я не знаю.

Здесь уместно рассказать об одном эпизоде — не историческом — из моей личной жизни, память о котором вызывает во мне подобный же «священный» трепет.

Через много месяцев после издания моей повести «Любовь вторая» я неожиданно получил письмо из Риги от весьма известного в дореволюционной России писателя Наживина. Ему моя

новая книга понравилась, и он «осторожно» мне об этом сообщал. Я ему ответил приблизительно так:

«Дорогой друг! Простите, не знаю Вашего отчества.

Спасибо за ласковое приветствие. Полагаю, что Вам «Любовь вторая» понравилась, иначе зачем было Вам писать мне. Но к делу...

Жил-был мальчик в России. При переходе во второй класс гимназии его наградили «передержкой» — надлежало сдать осенью дополнительный экзамен по французскому языку. В помощь призвали студента Бориса Гейбинера, который подрядился посвятить юнца во все тайны неправильных глаголов. Студент оказался, кстати, вегетарианцем и убежденным толстовцем. Это на меня повлияло, и я немедленно тоже заделался вегетарианцем, впрочем ненадолго. Сестры не то из родственных чувств, не то из зависти бесконечными укорами заставили меня снова прибегнуть к «питательному» мясу. Но влечение к толстовцам и их книгам сохранилось. Я мог приобретать только дешевые издания «Посредника», и я составил себе библиотечку из этих брошюр. Среди них была одна — называлась, кажется, «О чем говорят звезды», где повествовалось о богдыхане, который однажды ночью вышел из дворца и был поражен зрелищем многочисленных мигающих звезд, старавшихся ему что-то внушить. Богдыхан, разумеется, созвал магов и астрологов со всего государства и приказал им немедленно разгадать, о чем говорят звезды.

Задача была нелегкая. Мудрые старцы и кудесники приуныли, но, как полагается, среди них нашелся один посмелее и поумнее. Когда весь ареопаг собрался наконец во дворце, он выступил вперед и с подобающими книксенами сообщил богдыхану: «Звезды, великий государь, говорят о любви».

Вот эту книжонку я облюбовал и перечитывал несколько раз. Прошло много лет, гимназистик бросил свою библиотеку на произвол судьбы и, не в последний раз, переступил, с визами и без оных, много границ, окончил Сорбонну, изучил почти все неправильные глаголы, написал несколько книг, среди них «Любовь вторая», где повествуется о заповеди небесной любви для нашей земли. И вот приходит письмо, как рукопожатие, как братское благословение от автора моей заветной сказки «О чем говорят звезды».

Не знаю, как Вас, Иван Наживин, но меня эта «замедленная» духовная бомба, вдруг взорвавшаяся в парижском отеле и соединившая нас в разных временах и фазах, потрясла, вызвала душев-

ный трепет. Я убедился в осмысленности каждого нашего шага, даже бессмысленного.

Ваш В. С. Я.»

Не уверен, одобрит ли читатель это мое отступление, но я считаю его оправданным, и теперь могу опять вернуться к «Кругу» и его постоянным или случайным гостям.

Савельев, маленький, коренастый «берлинец», по своей инициативе начал вести краткие протоколы наших собраний, которые оказались столь интересными, что их печатали в «Новом Граде». Разумеется, мы остались недовольны работой Савельева, его стилем; в результате, милейший и честнейший, но чрезвычайно нервозный Савельев заявил:

— Пишите сами, я вам больше не секретарь.

Как и следовало ожидать, никто не взял на себя эту обязанность, и дальнейших внешних следов наших споров, по-видимому, не сохранилось.

Из присутствующих, однако, не все принимали деятельное участие в разговорах. Думаю, что Шаршун или Емельянов ни разу не раскрыли рта на собрании, и, однако, по-своему они тоже питали нашу беседу.

Штейгер уверял, что он мало говорит в «Круге», потому что все для него важное он высказывает в стихах... И это звучало напыщенной фальшью. Мы тоже самое нужное старались выразить в нашей основной работе. Но встречи в «Круге» служили пробой оружия, там проверяли последние, усовершенствованные модели мысли. Эти собрания несомненно заряжали и заражали творческой энергией; хотелось сразу, завтра же, сесть и доказать свою правоту.

Толстой в «Детстве и отрочестве» пишет именно по этому поводу... «В метафизических рассуждениях, которые бывали одним из главных предметов наших разговоров, я любил ту минуту, когда мысли быстрее и быстрее следуют одна за другою и, становясь все более и более отвлеченными, доходят, наконец, до такой степени туманности, что не видишь возможности выразить их и, полагая сказать то, что думаешь, говоришь совсем другое. Я любил эту минуту, когда, возносясь все выше и выше в области мысли, вдруг постигаешь всю необъятность ее и сознаешь невозможность идти далее».

Нечто подобное, мне кажется, часто происходило в «Круге». И только дурные, мертвые люди могли этого не понимать. Впрочем, парады нюрнбергских шизофреников становились все бойче и назойливее, окрашивая в бурый цвет и наши беседы. Вульгарная политика чаще и чаще отравляла наши души.

В результате этих бесконечных встреч мы действительно начали ощущать себя как некое интеллектуальное или духовное целое. Вокруг наших разговоров, самонадеянных и подчас трескучих, все же иногда носились искры оригинальной мысли, свидетельствующей о подлинной жажде не только понять жизнь, но и служить ей.

А рядом, на широких полках, теснились славные, знакомые фолианты — точно рыцари с поднятыми забралами... Там, там были наши союзники, предтечи, братья. В сущности, «Круг» был последней эмигрантской попыткою оправдать вопреки всему русскую культуру, утвердить ее в сознании как европейскую, христианскую, родственную Западу. И на этом поприще одинаково подвизались наши прустианцы и почвенники, евразийцы и неославянофилы.

Вскоре Гитлер шагнул за Рейн; кто хотел и мог примазался к его обозу. Потом Сталин вступил в Европу. И опять, кто успел или пожелал побежал за ним, часто именно те, что уже продавались немцам. Мир опять распался на составные враждебные части...

Все мы с самого начала высказались против Мережковских как членов «Круга». И Фондаминский подчинился.

От Муссолини к Гитлеру — тут, в общем, особого сюрприза нет в паломничестве Дмитрия Сергеевича.

А через год Фондаминский вдруг выставил кандидатуру Злобина. Это нас изумило. Злобин политически не лучше Мережковских и не обладает ни их шармом, ни талантами... Зачем он нам?

— Вот именно, — объяснял Фондаминский. – Мережковский сила, с ним трудно и утомительно спорить. А Злобин, кто такой Злобин? Неужели вы боитесь Злобина? Пусть сидит здесь, а потом расскажет Мережковским, может, они научатся чему-нибудь.

И Злобин к самому концу, уже перед войной, появился на собраниях «Круга», сел рядом с Ивановым на диване.

Несмотря на весь демократизм Фондаминского, он умел настоять на своем против воли большинства. Помню очередные выборы в правление «Круга» и мой наивный упрек: «Надо было все-таки им дать возможность высказаться...»

— В чем дело, Яновский, — прервал меня Фондаминский, — неужели вы не понимаете, что настоящие выборы произошли у меня на квартире в прошлую пятницу, днем. Вот тогда мы учли, кто кого представляет и кто будет полезен делу. А сегодня это пустая формальность. Если окажется, что мы ошиблись, то мы завтра можем кооптировать нового члена или исключить старого, ненужного члена правления.

«Выборы произошли в прошлую пятницу у меня на квартире» — эту роковую фразу я услышал тогда впервые и только постепенно сообразил, какой грех за нею стоит: увы, все выборы в эмиграции производились таким путем.

С одной стороны немцы и коммунисты, размахивая пистолетом предлагают: «Кто против, подними руку»... А с другой стороны мы — демократы: «Выборы произошли в пятницу у меня на квартире». Сколько зарубежных хороших дел рушилось от этого беспринципного, сволочного, большевистского (эпохи Иоанна Грозного) ловкого приема.

У нас принято перед выборами исключать ненадежных субъектов хотя бы за неуплату членского взноса. Или же, наоборот, пополнять кворум десятком новых, милых сердцу, веселых ребят. Как объяснить эту подлую практику в среде уважаемых антимарксистов? Действительно ли тут дело только в Ленине и Нечаеве?

Нет ли более глубоких, интимных причин? Достаточно прочитать про выборы казачьего атамана или приходского совета, чтобы прийти в ужас.

Легко перенять на Западе пятихвостку, импортировать ее! Но тут что-то важное ускользает от русского реформатора... Без свободы не может быть выбора. Обман и подтасовывание при голосовании так же бессмысленны, как в церковной службе — подпиливаешь сук, на котором сидишь.

После доклада и короткого перерыва начинались прения, в которых мы все отводили душу. Должно отметить, что та степень свободы, которая досталась нам в Париже тех лет, редко выпадала на долю какого-нибудь другого поколения русских людей: здесь объяснение многих удач того периода эмиграции.

Религия, сексуальность, политика, Петр Великий и Чернышевский, идеалы справа, слева и посередке — все можно было развинтить, разобрать, добираясь до последнего стержня реального.

Разумеется, в прошлом были Ницше, нигилисты и сплошные переоценки ценностей, но они исходили от немцев и бездарно упирались в абстрактный мираж. А здесь решающую роль играла великая, благословенная, цветущая, средиземноморская, свободная внешне и внутренне, вечная Франция — старшая дочь католической церкви и Возрождения...

Наши смелые домыслы в «Круге» могли восхищать или шокировать англосаксов, вдохновлять немцев, но на «французиков из Бордо» они не действовали никак. Любопытно, что тип русского «первого ученика», попав во французскую школу, оказывался в большинстве случаев где-то на задних партах.

Даже православные священники, славившиеся на Руси своей отсталостью и безграмотностью, приобрели к середине тридцатых годов во Франции и культуру, и широту взглядов, и вразумительный социальный опыт, ни в чем не уступая лучшим местным церковным властителям дум; появились иереи, интересующиеся наукой, медициной, математикой, читающие наряду с блаженным Августином и Киркегора, Фрейда, Эйнштейна.

Надо ли удивляться, что и литература парижан зазвучала несколько по-иному, вызывая порицания, а порою и отвращение эпигонов всех мастей и режимов.

За вторым, «ночным» чаем опять ели сладкие булочки. То, что Фондаминский почитал за норму, он уже щедро выставлял на стол без ограничения и экономии.

Сочетание щедрости со скупостью меня поражало в наших меценатах. Я знал в эмиграции людей без сомнения патологически скупых, которые, однако, считали долгом покупать новые книги и приходить на вечера литераторов. Мне казалось, не лучше ли одним отказывать, а другим уже помогать основательнее... Но нет, они всем отпускали по установленному тарифу и заслужили парадоксальную кличку иудушек, плюшкиных, ростовщиков.

И в это самое время многие «широкие» души, никогда наших изданий не поддерживавшие, но в кабаке иногда угощавшие подвернувшегося поэта, причислялись всеми к очень русским и очень благородным натурам.

Когда будет написана подробная история эмигрантской литературы, то станет очевидным, что выжила она — вместе с Буниным и Ремизовым — только благодаря помощи именно этих скучных, серых плюшкиных из либерального лагеря. Для «правых» наша литература в целом была проклятием, масонским или

коммунистическим заговором, отрыжкой сионских мудрецов. Кадровым правым героям вообще литература не нужна. Они уверяют, что поклоняются Достоевскому. Но фактически одного генерала Краснова им хватает с лихвою.

Вот у Смоленского «закрывают» газ, он идет к Софье Прегель или Цетлиной за деньгами. Я спрашивал этих дам: «Почему вы это делаете? Ведь Смоленский, когда пьян, бросается жидом даже в вашем присутствии...» Мне отвечали: «Как же без газа! У него дети, их надо кормить».

(Смоленского не было в «Круге», стихи его наш альманах печатал.)

Благодаря тому, что Фондаминский карьерно или материально никак не был заинтересован в своей эмигрантской деятельности, он мог оставаться как бы беспристрастным арбитром. Мысль Платона о диктатуре элиты надо понимать в том духе, что философы, жрецы и вожди, уже добившись всего и больше для себя ничего не желающие, могут чинить правый суд и устанавливать нелицеприятные законы.

Не знаю, как вел себя Фондаминский в старину, среди своей «фракции», но здесь у нас он, по-моему, ни в одной интриге не участвовал, смут не разводил и за «власть» не боролся. За ту ужасную эмигрантскую власть, которая потому уже недостижима, что является сплошной фикцией.

Вес и достоинство парижской эмиграции определялись в значительной мере отсутствием «казенного пирога». Благодаря этому мы о многих лицах той эпохи сохраним самую светлую память.

Любопытно, что с появлением «казенного пирога» в Нью-Йорке, когда разные суммы отпускались американскими организациями на нужды холодной (и теплой) войны, сразу появились рвачи, ловчилы, полугангстеры как в среде новых эмигрантов, питомцев советских школ, так и в гуще старых, изнеженных, настрадавшихся от царского режима гуманистов. Перехватить, оттеснить, получить — вот актуальные лозунги бывших комсомольцев и деликатных интеллигентов. Относительно последних это особенно удивительно, ибо в молодости они все пострадали за идеализм и сидели в тюрьмах — любили народ... Очевидно, тогда каторга и другие испытания были в духе времени, эпохи, а не личным подвигом каждого. А теперь те же самые светлые герои, сбрив чеховские бородки, перебегают от одного полуправительственного прожекта к другому, из одной радиостанции в другую,

от одного культурного «фонда» к следующему, стараясь побольше урвать для себя и для своей группы.

Из всего вышесказанного, думаю, явствует, что подвиг целого поколения тоже может быть основан на недоразумении или является только выражением условного рефлекса, подобно выделению слюны.

Теория «интеллигентского ордена», творившего русскую культуру, была если не изобретением Фондаминского, то, во всяком случае, его любимым детищем. В его определение русского интеллигента укладывались все выдающиеся деятели. Тут и Новиков, и Ленин, Чернышевский, Достоевский и Федоров, Чаадаев и протопоп Аввакум. Всех их объединял жертвенный гуманизм; все они страдали за свою веру. Рыцарский орден, неорганизованно действовавший в истории... Иногда совершенно открыто, иногда под влиянием насилия уходивший в подполье. И опять наступает время, когда тайный духовный орден сможет спасти основные ценности христианской цивилизации. Это, пожалуй, учение Фондаминского.

Религиозный кризис Фондаминского назревал долго, развиваясь — судя по внешним признакам — с перерывами и медленно... До своего заключения в лагерь Компьень Фондаминский ходил по воскресным дням в церковь, но в таинствах, кажется, не участвовал; крестился он, по-видимому, уже в лагере (1941 — 1942 гг.). Через Компьень прошла и мать Мария, и многие наши друзья. Есть слух, что Илья Исидорович и там завел кружки, доклады, рефераты, собеседования с общественной нагрузкою. Вскоре он, старый человек, занемог, так что все данные близкой смерти были налицо (даже без газовой камеры).

Люди его поколения никак не могут понять, почему Фондаминский, вырвавшийся из Парижа весной 1940 г., не уехал в Америку подобно всем «общественным деятелям». Он не воспользовался своей «чрезвычайной» визой и вернулся назад в Париж.

В июне 1940 г. Фондаминский жил возле Аркашона; туда к нему на время попала моя жена, там же осели многие друзья. Между прочим, Мочульский. Фондаминский славился всегда своим профессиональным оптимизмом. Но тут вдруг в плане личных невзгод — потери удобной квартиры, привычной обстановки с книгами — он проявляет даже детскую растерянность. Несколько раз обмолвился такой фразой:

— Как я теперь проживу? Ведь я ничего не умею делать, а люди привыкли ко мне обращаться за помощью...

Это высказывание вызвало у Мочульского даже ряд ядовитых замечаний. Выяснилось также, что в кабинете у Фондаминского в стене имелся потайной шкаф, где хранилась какая-то сумма в фунтах стерлингов. И хотя деньги были сравнительно ничтожные, но всем вдруг стало ясно, что Фондаминский забыть этого не сможет и должен хотя бы на часок заглянуть опять на 130, авеню де Версай.

Он и вернулся осенью, когда многие из его друзей тоже очутились в Париже. Снова пошли собрания, доклады, но теперь кроме православного дела или русского театра прибавилась еще если и не прямая конспирация, то некое предвкушение ее... Париж начал организовывать свои первые кружки Сопротивления (резистанса). Вскоре наш общий друг Вильде затеет свою подпольную типографию при музее Трокадеро. Все эти едва ощутимые колебания почвы Фондаминский должен был воспринимать, как боевая лошадь звук военной трубы.

— Вот Федотов сидит уже в лагере под Дакаром, а мы здесь еще работаем! — заявлял он не без насмешки. — Тут еще можно работать.

Увлечение всякого рода организациями гипнотизировало в первую очередь его самого, так что он часто восхищался враждебными ему людьми только за их умение «работать».

— Ах, какой чудный работник! — говорил он с восхищением (о заведомом дураке или даже гаде).

Не мог он не оценить германской распорядительности и сноровки на первых порах оккупации. Этим объясняется некоторое приязненное чувство Фондаминского к немецкому полковнику, приходившему к нему в кабинет и любовавшемуся русскими книгами; он мог полюбить любого пруссака, цитировавшего на память Шиллера или Гегеля. В конце концов поколение Фондаминского воспитывалось на гейдельбергских дрожжах... Размышляя над судьбой революционеров этого призыва, я убеждаюсь, что основной, исторической чертой их было совершенное неумение разбираться в людях. Та жизненная, практическая смекалка, которая помогает фермеру выбрать себе батрака и жену, а капитану судна подходящего боцмана, эта таинственная особенность ума совершенно отсутствовала у всего последнего поколения русских бунтарей. Здесь, в общем, объяснение легендарного дела Азефа — анекдот, кажется, единственный в многообразной истории центрального террора. Были Конрады Валленроды — но это другое.

Этим же обусловливаются основные ошибки так называемой февральской революции.

Из Америки прибывали письма, зовущие Фондаминского воспользоваться визой; приятели давно уже бежали из свободной зоны. Керенский еще в июне 1940 г. перешел границу Испании. Зензинов, попавший корреспондентом в Финляндию, через Швецию пробрался в Нью-Йорк. Вся фракция опять бежала, и без особых лавров.

Почему Фондаминский остался в Европе? Свидетельствует ли это о благородстве его, величии души? Или, наоборот, о глупости, параличе воли?

Как все акты, совершаемые людьми на узловых станциях жизни, это сплав разных, часто противоречивых тяготений и расчетов... Фондаминский остался в Париже потому, что вернулся в свою уютную квартиру, и потому, что там он нашел дорогих сердцу старых друзей, а также любимый труд. Фондаминский не уехал потому, что среди бежавших многие ему надоели до чертиков и он решил наконец раз навсегда от них отделаться, физически и духовно. Эти беглецы, о которых уместно сказать, что «такое не тонет», благополучно переплыли океан и занялись в Нью-Йорке привычным общественным делом после опыта России и Западной Европы... Они отнюдь не смущались и только высмеивали Фондаминского, осуждая его новую веру, объясняя «все это» старческим размягчением мозга.

А в Фондаминском давно уже разгоралась страстная жажда политического борца хоть раз в жизни не отступить с поля брани и, если нужно, умереть с оружием в руках! Хоть раз не убежать! И в этом акте личного и общественного мужества поддержало его православие той эпохи парижского плена, когда наряду со всеми святыми, просиявшими в земле Русской, мы чтили еще протопопа Аввакума и Льва Толстого. Оба отвергнутые административной машиной. Тут все не случайно и все чудесно, хотя и абсурдно.

V

> Вы — тот посыльный в Новый год,
> Что орхидеи нам несет,
> Дыша в башлык обледенелый.
>
> *И. Анненский*

Ранней осенью 1928 г. я очутился вечером в отельном номере на рю Мазарин (или Бонапарт), где мне предстояло читать свои первые рассказы; слушателями были Дряхлов, Мамченко, в чьей комнате, кажется, и состоялось собрание, Мандельштам, доктор Унковский, неоднократно фигурирующий в ремизовских снах. Позже появился Терапиано, уже тогда с натугою подставлявший одно, будто бы лучшее, ухо.

Так началось мое близкое знакомство с Дряхловым и Проценко. В трудные дни я шел в их мастерскую шарфов и галстуков на работу, что давало мне возможность протянуть от одного экзамена до другого.

По субботам мы усердно закусывали в ателье, пили красное винцо и спорили до одурения. От этих русских бесед с бранью и насмешками все-таки оставалось впечатление подлинной жажды истины и готовности жертвовать для нее многим.

Такого вдохновенного интереса к новой мысли, такого желания понять и простить «все» я уже потом не встречал в жизни. Очевидно, мы все постепенно изменились! И это словесное откровение было тем более чудесно, что перемежалось оно с откровенной бестактностью и садистической или самоубийственной откровенностью.

В том номере на рю Мазарин, тесном, дымном, перегруженном старой мебелью, с запахом малороссийского борща, который себе готовил на неделю впрок Виктор Мамченко, разводя укроп и петрушку в ящиках на подоконнике, я в продолжение трех-четырех часов упрямо читал свои произведения... Среди них «Рассказ о трех распятых и многих оставшихся жить», напечатанный в газете «За свободу».

Эта повесть посвящена Варавве, которого добрые граждане предпочли Христу. Там заложены уже начала того опыта, который мне яснее открылся лишь потом, в пору «Любви второй»... Несколько десятилетий спустя швед Lagerkvist получил Нобелев-

скую премию за роман «Варавва» — книгу, которую я никогда не мог заставить себя взять в руки по эгоистическим причинам — из привязанности к моему затерянному детищу.

Именно этот рассказ понравился Мамченко и Дряхлову, и они спорили с остальными. В общем, ни Терапиано, ни Мандельштам мне никогда не были близки. Мамченко — хорошенький мальчик, с казацкой хитрецой — держал себя всегда даже с чрезмерным достоинством; стихи его отметил Адамович, хотя были они неровны, невнятны, и в ту пору, несмотря на всю напряженность bonne volontee*, мало что выражали. Позже поэт стал ровнее, подучился ремеслу и языку и как-то утвердился на собственном месте.

Родился Мамченко на юге России и с очевидным упорством тяготел к философии, тоже косноязычной. Он даже проводил в жизнь некоторые свои убеждения с обстоятельною, несокрушимою медлительностью. Он едва ли не один из первых среди нашей молодежи заделался вегетарианцем. Мамченко уверял, что не желает причинять страданий животным, и это у него звучало убедительно, несмотря на всю наивность. Есть такие положительные люди, у которых общие места звучат веско и даже оригинально. Впрочем, рыбу он ел, полагая, что холоднокровные менее или совсем не страдают.

В те годы Мамченко не мог выразить самой простой мысли в общепринятых формах; он закручивал синтаксически и затемнял диалектически любое обыкновенное предложение, выполняя эту мучительную операцию с большим и таинственным достоинством. Одни пробовали над ним смеяться (Ходасевич, Поплавский), а другие (большинство) его уважали, особенно люди с эстетическими тяготениями (Адамович, Мочульский, Гиппиус). Была в Мамченко кроме всего еще хорошая смекалка, знаменитая хозяйская практичность. В своей отельной комнате он разводил свеклу и спаржу, цветочки и даже, кажется, табак. Его личного изделия борщ славился одно время так, что некоторые повадились к нему ходить подкрепляться, что хозяин отнюдь не поощрял.

Работал он спорадически, его подкармливала жена. Но когда мастерил или красил, то делал это отменно чисто и аккуратно. Вообще, в практических делах был полной противоположностью своей диалектической природе.

---

* Здесь: лучшие намерения *(фр.)*.

Дружил Мамченко преимущественно с такими людьми, как Шестов, Мочульский, Гиппиус. Под конец оккупации только он один из приличных людей продолжал ходить к Мережковским.

Адамович, мне кажется, давно разочаровался в его стихах, но никогда его открыто не разбранил: «Милосердие, милосердие!»

Злобно издевался над такими, как Мамченко, Ходасевич, считая их «голыми», беспомощными и отнюдь не королями. После войны Мамченко начал издавать какие-то сборники для советских патриотических возвращенцев, но сам, умница, отнюдь не «возвращался».

Дряхлов в Париже после пятидесяти лет сохранил все свои национальные черты. Уроженец Поволжья, он сочетал в себе многие отталкивающие и привлекательные свойства коренной Руси.

В разговорах мы с ним постоянно доходили до самых границ «достоевщины», в пучине которой он себя чувствовал отлично. Валерьян Федорович хорошо играл в шахматы, и мы упорно сражались, исполненные то надежды, то отчаяния, то симпатии, то ненависти; из чувства мести начинали издеваться друг над другом, касаясь и личных тем, и литературы... А когда положение на доске менялось, мы добрели и проявляли даже чуткое внимание к нуждам полупобежденного противника. Страшная вещь шахматы!

Дряхлов был компаньоном Проценко по шарфам и галстукам; он прямо заявлял, что Яновского надо прогнать, потому что его работа в убыток...

— Вот как Кнут, — ухмылялся Дряхлов очень по-татарски: ядовито и доброжелательно (у Кнута тоже была мастерская по раскраске материй). — Придет к нему поэт с Монпарнаса, он ему пять франков всунет, а на работу не возьмет, потому что сплошной конфуз.

Наш общий друг Проценко смущенно, однако и забавляясь скандальной сценою, полупьяный, размахивая обнаженными мясистыми, пропахшими красками руками, мягко успокаивал его, усовещивал, посмеиваясь, усаживал всех за стол, наливал вина. Через несколько минут Дряхлов, нежно склоняясь ко мне, говорил:

— Я знаю, вам теперь нужна работа. Не могли бы вы хоть немного аккуратнее печатать кружева, а то только плешины у вас получаются...

— Хорошо, постараюсь, — страдальчески соглашался я: мне завтра сдавать физиологию.

— Вы мои лучшие друзья, — говорил Проценко.

Его изуродованный, разделенный глубокою морщиною, словно шрамом, на два этажа лоб и шишка на шее под самым ухом напоминали Сократа... Я его прозвал малороссийским Сократом.

— Вы мои лучшие друзья, — повторял он, осушая стакан. — Вы мне ближе жены!

И начинался сумбурный русский застольный разговор, питавший нас и вдохновлявший, несмотря на свою основную порочность.

Стихи Валериана Дряхлова ко времени первых номеров «Чисел» не были лишены колдовства... Вообще, когда перелистываешь старые журналы, внимание привлекают зачастую не «ведетты», а имена поэтов, стоявших «в тени», вроде Заковича, Дряхлова, Ставрова.

Раз весною Дряхлов опасно заболел. Я поднялся к нему в мансарду на Пляс де ля Републик. У него оказалась довольно банальная zona ophtalmique. Он очень страдал. Потом вирус вызвал род менингита и Дряхлова пришлось отвезти в Hotel Dieu, где я работал. Так как при исследовании у него обнаружился еще застарелый процесс в легком, то решили, что у него начался туберкулезный менингит, недуг по тем временам совершенно роковой. Все случилось так быстро, так неожиданно, что походило на бессмыслицу: только что прошла Пасха, цвела сирень, казалось, сил хватает на оплодотворение целой Вселенной... И вот сразу — конец!

— Смысла как будто не видно, но он наверное есть! – сказал я в утешение.

И это нас всех немного успокоило. Ибо смысла мы тогда искали больше, чем примитивного бытия.

Дряхлов вскоре выздоровел; но какие-то следы поражения остались навсегда: невралгия лица, странности, головные боли. Он уже давно увлекался тайными доктринами и эзотерическими докторами — читал Блаватскую и Крыжановскую. Теперь всерьез увлекся Рудольфом Штейнером.

В Париже были разные группы антропософов, враждующие между собою, как православные церкви, объединения монархистов, демократов, врачей, инженеров, казаков, наконец. Одна группа во главе с Наталией Тургеневой, сестрой Аси, жены Андрея Белого; другая велась Киселевой, любимой ученицей доктора Штейнера, которую он якобы вылечил от туберкулеза.

Даже я одно лето ходил в студию Киселевой и выделывал буквы алфавита в соответствии с правилами эвритмии; эти легкие

гимнастические упражнения несомненно действовали благоприятно на усталых и беспомощных горожан. Кроме ритмических танцев привлекала еще сама Киселева, вся — благородная, скромная женственность. Иногда чудилось — она большая, тяжелая, подбитая птица, легко, к всеобщему удивлению, взмывающая с деревянных мостков.

Наталия Тургенева принадлежала уже к другой породе: интеллектуальная, способная оформить и определить несказуемое, сильная в теоретических спорах и не всегда деликатная в средствах... Впрочем, я Тургеневой тоже многим обязан и за некоторые эзотерические книги, «на правах рукописи» прочитанные мною, по сей день ей благодарен.

Я никак не мог стать верным учеником такого рода псевдонаучных или псевдорелигиозных школ, но пользу мне знакомство с их дисциплинами принесло. Федоров, Успенский... Никогда ко злу они меня не подталкивали и с Христом не разделяли. Хотя надо признать, что для некоторых душ опасность во всем этом несомненно кроется.

После своего чудесного исцеления Дряхлов всецело ушел в антропософию; погрузился в искусные медитации, перестал курить, пить вино, есть мясо... Одним словом, изменился человек. Может, ему действительно открылась аура цветка или «элементарного» духа, но для нас, друзей его, мирян, он был потерян: ни шутки, ни ругани, ни блеска былого. И перестал, кажется, писать (печатать) стихи.

Против всей этой «чертовщины» решительно выступал Проценко, который сам не писал, но на некоторых литераторов косвенно повлиял. При оригинальном, самобытном уме он шел почти до конца в своих логических построениях, невзирая на страх или боль. Надо ли пояснять, что выпивал он лишнее, жил безалаберно и умер рано. В какой-то период своего философствования Проценко пришел к выводу, что с кроликом и собакой в человеке не стоит бороться, изводя себя, пускай кролик, и обезьяна, и амеба живут, как положено им, а человек — как подобает ему, рядом, по соседству, не мешая и не изматывая напрасно друг друга.

Бывали в этом ателье шарфов еще Константин Иванович — добрейший, приличнейший холостяк старого закала, инженер-химик, теперь мывший бочки, и Валерьян Александрович — судья, москвич («не хотите ли восприсесть»), любитель церковного пения, клубнички и дружеских пиров... Наша общая трапеза, а за-

тем игра на бильярде повлияли на мое писательское развитие больше и положительнее, чем вся немецкая художественная проза в целом.

В тот вечер на рю Мазарин после моего чтения Мамченко решил, что я должен познакомиться с Адамовичем.

Как Адамович впоследствии мне со смехом рассказывал, Мамченко ему сообщил, что появился некто Яновский, который пишет «стопроцентную» прозу.

Я должен был явиться в отель Адамовича к полудню какого-то дня... Пришел я точно, как было условлено, но Георгий Викторович еще спал. Пришлось его будить, что критику отчасти не понравилось. Вышел в халате какого-то изумительного желтого цвета.

Догадываюсь теперь, что наша беседа в то утро для неумытого, беспрерывно запахивающего канареечные полы халата Адамовича была глубоко неинтересна. Я успел запальчиво в первые пять минут сообщить, что ставлю «Записки из подполья» очень высоко, что Алданов пишет скверные романы и что Толстой постоянно искал новую форму для своих произведений, как и подобает настоящему литератору. Разумеется, эти утверждения должны были подействовать удручающе на заспанного поэта; высказывался я в те годы очень резко и без всякого внимания к симпатиям собеседника.

Однако Адамович был по-петербургски любезен, обещал на днях прочитать мои произведения, которые я и оставил у него. Держал он эти рассказы, пока не потерял их. Но надо отдать должное его чувству чести и сознанию ответственности, самые неожиданные, но существенные черты в характере Георгия Викторовича, — через З. Гиппиус ему удалось раздобыть другие экземпляры варшавской «За свободы», где подвизался Философов, и статус-кво был опять восстановлен. Весною 1929 г. Адамович меня привел к Мережковским.

Я пишу об Адамовиче, близком и чуждом мне, которого я любил и порицал, защищал и клеймил много десятилетий. Эта смесь разнородных чувств, одновременно уживающихся, не только не исказит реального образа, но, наоборот, надеюсь, поможет его восстановить.

Адамовича в первую очередь надо благодарить за возникновение и развитие особого климата зарубежной литературы. Конечно, без него существовали бы те же писатели, поэты или даже еще лучшие, быть может, но парижского «тона» литературы, как особого и единого, всем понятного, хотя трудно определимого сти-

ля, думаю, не было бы! И за это, надо полагать, когда-нибудь многие «москвичи» ему скажут спасибо.

Шарм, которым Адамович обладал в большей степени, чем кто-либо другой в эмиграции, шарм этот не должен умалять его подлинных заслуг, несмотря на все слабости и грехи. Основным же грехом его я считаю приблизитилизм!

Кстати, я один из немногих парижан, который умудрялся без всякого заранее составленного плана быть в хороших отношениях одновременно и с Адамовичем, и с Ходасевичем, хотя и по-разному...

Адамович, как это ни казенно звучит, создал школу, или, вернее, антишколу, что почти совпадает, объединявшую вокруг себя лучших молодых людей того времени. Без Адамовича, конечно, те же писатели и поэты подвизались бы, но вне какого бы то ни было объединяющего начала. В результате родилось одно органическое сознание: нужного и ненужного, важного и не важного, вечного и временного.

Достойно внимания, что в отдельных случаях Ходасевич был, пожалуй, ближе к ограниченной — литературной — истине, искуснее и даже «честнее». Слово «честный» в применении к художнику ничего не значит, вернее, играет ту же роль, что и эпитет «храбрый» по отношению к генералам, как объяснил Достоевский в «Записках писателя». Несмотря на весь свой подвиг, Ходасевич «школы» в эмиграции создать не мог. Вернее, ту «школу», которую он создал, не стоило защищать.

Адамович ошибался сплошь да рядом, капризничал, хвалил романы Алданова, ругал Сирина, высмеивал каждого, кто старался на свое «творчество» смотреть серьезно. Адамович ставил на карту виллы и драгоценности, проигрывал свои и чужие деньги, грешил сверхъестественно, уверял, что «литература прейдет, а дружба останется», казался часто только ловким шаркуном, оппортунистом. И все же в решительную минуту мы его всегда видим в строю, на самых ответственных местах.

Адамович — неженка, шалун, ухитряется жить с эмигрантской литературы и «вести» молодежь за собою, не ссорясь ни с Буниным, ни с Милюковым, ни с другими эпигонами... Возвращаясь из Ниццы после каникул, Адамович занимает деньги у мецената якобы для лечения парализованной тетушки и спускает все в баккара. После этого доверчиво объясняет:

— Вы думаете, мне деньги нужны были для докторов, ха-ха-ха, я их профукал в клубе...

Это все при определенной антипатии к Достоевскому.

Адамович в самом начале войны, без малого пятидесяти лет от роду, записывается волонтером в Иностранный легион; там вместе с другими несчастными беженцами и наряду с разными преступными личностями — ибо Легион всех принимает и все смывает — лютой зимою 1939—1940 годов проходит военную подготовку в условиях воистину удручающих.

Капитан его спрашивает:

— Скажите, почему вы попали в Легион?

— Je hais Hitler!

— Oui, oui, je comprends, mais avez vous un Casier judiciaire?*

Casier judiciaire — значит «уголовное прошлое».

Командующий этой частью — кадровый офицер, сен-сирец — не может себе представить, чтобы кто-нибудь в здравом рассудке и с непросроченным паспортом по своей воле мог пойти рядовым в Легион.

В этой обстановке Адамович продержался всю «смешную» войну. В 1940 г. их бросили на север. В боях группа, кажется, не участвовала, да и мудрено было «участвовать», так мало длились эти бои. После развала фронта Адамович бежит назад, к Ницце, в тяжелых башмаках французской пехоты «прошлой» войны. Эту обувь Георгий Викторович мне показывал потом в Ницце и объяснял, что осенью он как-то собрался в них на рынок и не добрел: такая мучительная обуза — колодки на ногах! И вот в этих сапогах Адамович вместе с другими собратьями по оружию спешит к Средиземному морю. Немецкие солдаты их перенимают вместе с толпой беженцев. Конец... Но чужой унтер-офицер кричит французской толпе:

— Les civils par ici, les militairs f... le camps!

То есть, военные, улепетывайте до поры до времени.

И Адамович с удвоенной энергией пускается дальше в своих штиблетах.

Когда на чужом материке я пытался объяснить вдумчивым людям, не знавшим Парижа того времени, но читавшим изредка «Последние новости», когда я тщился им растолковать роль Адамовича в нашей литературе, я всякий раз испытывал чувство, похожее на то, какое бывает, если стараешься словами описать внешность, или запах, или музыку...

---

* — Я ненавижу Гитлера!

— Да, да, я понимаю, но у вас уголовное прошлое? *(фр.)*

Совершенно очевидно, что статьи Адамовича и еще меньше стихи или очаровательная болтовня не исчерпывают его роли. Для себя лично я решил этот вопрос несколько неожиданно. Если бы требовалось одним словом определить вклад Адамовича в жизнь нашей литературы, я бы сказал: «Свобода!»

Как ни странно, не Бердяев, и даже не Федотов с Фондаминским, и еще меньше Милюков—Керенский, Бунин—Шмелев с Деникиным—Красновым помогли нам усвоить и полюбить этот редкий французский воздух свободы, питаться им, ассимилироваться, перерабатывать наново в продукт живительный, хотя и непривычный для русских легких.

Этот особый воздух зарубежного, или классического, Парижа я определяю словом «свобода»! Насквозь пронизывает чувство: все можно подумать, сказать, и в духовном, и в бытовом плане, все по-иному взвесить, уразуметь, перестроить... Причем это ничего общего не имеет с надрывами Достоевского или Ницше, с пожарами над Рейном или Невою, без всяких даже теорий познания или хождений в народ, соборности и мифологии. Свобода в каком-то будничном, насущном, уютном, поэтическом сплошном потоке. Это Франция, это Париж, где все еще господствуют Декарт с Паскалем, одинаково в лачугах и дворцах, у природных галлов и у «sales meteques»*, собравшихся туда, но не случайно, со всего света как будто на пикник.

С этой стихией свободы природно был связан Г. В. Адамович — при всех своих мелочных, вздорных, капризных слабостях. Свобода... Всеобъясняющее чудо.

Таково мое восприятие «старого» Парижа и Адамовича в нем; многим оно может показаться тем более неожиданным, что Адамович только очень редко и весьма невнятно о свободе писал и говорил. Но само его присутствие освобождало. В этом суть!

Адамович, увы, слишком охотно ссылался на легкомысленное изречение Пушкина о литературе, которая прейдет, а дружба будто бы останется... Адамович часто грешил — в подтверждение этого вздора. Причем оказывал он «критические» услуги не только друзьям, а иногда просто так (любимое выражение Адамовича, выражающее чувство свободы от причинно-следственной цепи), знакомым или даже врагам.

Врагов у него было много; но, впрочем, и друзей — шарм вывозил. Многие недостатки Адамовича вытекают из его основного

* Чужаков *(фр.)*.

качества: при почти абсолютном музыкальном слухе он, естественно, больше всего боялся взять «фальшивую» ноту и предпочитал писателей, которые вообще молчали.

Один из любимых оборотов Адамовича: «Кстати, где-то когда-то, кажется, Розанов сказал...» И это «кажется» должно было спасти от всякой сознательной неточности. Здесь пример того, что я называю «приблизитилизмом» Адамовича. Кстати, Розанов и Леонтьев оказали заметное влияние на нашего критика; вообще же он на редкость мало по-настоящему читал и образование свое закончил еще вундеркиндом в Петербурге. И несмотря на все эти мелочи: «Вы — тот посыльный в Новый год, что орхидеи нам несет, дыша в башлык обледенелый...»

Воздух Парижа особый. Достаточно взглянуть на пейзаж второстепенного французского художника, чтобы убедиться в этом. Кроме красок, кислорода, азота и других материй в него составной частью еще входит сложная молекула первозданной СВОБОДЫ. Это не юридическая или политическая свобода англосаксов, не казарменная свобода прусских философов, не внутренняя свобода йогов и афонских подвижников при полном закрепощении быта, семьи, искусства.

Во Франции чувствуются еще потоки прасвободы (из которой мир спонтанно возник), чудесным образом преображающих жизнь в целом, будничную и праздничную, личную и общественную, временную и вечную.

Магический воздух, которым мы вдруг незаслуженно начали дышать, пожалуй, возмещал многие потери, порой даже с лихвой. Отсюда присущее нам чувство непрочности обретенного счастья и страха, страха перед грядущим...

Грозные предчувствия начались давно, когда Гитлер, быть может, еще упражнялся в живописи. Нам снилось: по каким-то неясным соображениям надо покидать Париж! И мы просыпались, содрогаясь от слез. Дополнительно нас мучил еще другой кошмар: почему-то очутились на родине... И вместе со слезами умиления холодное отчаяние: это непоправимая, роковая беда!

Самое подлое наказание для иностранцев — это высылка за пределы Франции: в сущности, изгнание из рая. Мы жили трудной, нищей жизнью, но не меняли этого первенства на чечевичную похлебку в Америке или Югославии. Некоторые из нас где-то в других странах оставили разные связи, иногда родных и,

вернувшись туда, могли бы устроиться с относительным комфортом. Но это никого не прельщало.

Когда поэтессе Алле Головиной приходилось на время возвращаться в родную Швейцарию, она переживала это, как приглашение на казнь; то же чувствовал ее брат А. Штейгер.

Червинской одно время, казалось, не оставалось ничего лучшего, как уехать в Турцию к вполне обеспеченным родителям... И опять слезы, припадки: потерять голодный, холодный Париж с неоплаченным отельным номером... («Кто забудет тебя».)

Адамович, возвращаясь с каникул в Ницце и попадая на людное собрание, часто повторял:

— Ах, как хорошо, что здесь все по-прежнему! Иногда, на юге, мне представляется: я вернусь в Париж, а там уже все изменилось...

Мы жили в бессознательном, вещем страхе — потери! Недаром Шаршун, одновременно шершавый и без кожи, описывал в диких бредовых отрывках, как его высылают из Франции — везут к границе СССР.

Мы знали, что предстоит еще одна утрата, но не понимали объема ее и не находили разумного обоснования для своего страха.

И однажды это случилось. Париж опустел, как разграбленный улей, как Москва 1812 г. Русские поплыли, словно щепки; они неслись впереди волны, как всякое меньшинство в любой стране, более чувствительное к переменам климата.

Через год я увидал Адамовича в Ницце; он был ласков и ясен, смеялся моим шуткам... Вспомнил, как я однажды, подойдя к бриджевому столу, сообщил: «А я сегодня читал «Бесы» Достоевского, малоталантливая книга». Такие выходки поражали Адамовича на всю жизнь. И так мы, казалось, по-обычному смеялись, разговаривали. Но что-то в корне изменилось: передо мною был старик! Горечь, характерная для всех поражений и развалов, — желтизна лица, морщинки, потухший взгляд! А ведь этот беззаботнейший человек, один из немногих в наше время, прожил жизнь именно так, как ему хотелось, и, в общем, был на редкость доволен своей судьбою.

До лета 1942 г. мы еще несколько раз встречались, иногда случайно, в казино, над самым ниццким морем. Это он мне показал открытку Фельзена из оккупированной зоны: «Я теперь не бываю у Мережковских. Там теперь бывают совсем другие люди».

Он же мне, невесело улыбаясь, передал содержание письма одной «молодой» писательницы к Бунину, в Грасс. Она приглаша-

ла лауреата назад, в Париж, уверяя, что «теперь стало возможным настоящее объединение эмиграции».

— Эта шкура еще идеологию подводит! — решили мы.

Впрочем, Адамович выразил эту мысль несколько деликатнее.

И наконец, как-то утром, перед отъездом в Монпелье, я забрел к нему. Жил он тогда на задворках, далеко от центра, и Адамович мне молча протянул открытку от Ставрова: такого-то числа Дикой после продолжительной болезни умер в больнице...

Физическая тошнота охватила меня. Здоровый, агрессивный Вильде, последовательно веселый, любящий мысль и устрицы, справедливость, вино, любовь и борьбу, теперь раскачивается на виселице или валяется с простреленной грудью во рву... Хотелось блевать, а не плакать.

По дороге назад к своему отелю на Place Massena я обнаружил очередь, где выдавали вино в обмен на просроченный купон, и получил две бутылки алжирского красного. В ресторане меня уже ждали; я ничего не сказал. Только подкрепившись военным обедом с рутабагой и стаканом вина, получив для собаки корочку и поблагодарив жертвователей («merci pour le personnel»)*, только после этого я сообщил Ирине Гржебиной о героической смерти Дикого, или, как его прозвали, — «Ванички».

Отношение Адамовича к писателям было, как и многое в нем, совершенно капризное.

Сколько раз он начинал писать обо мне с явно добрыми чувствами, но вдруг, точно образ мой или предмет книги вызывали волну раздражения, и он наговаривал кучу неприятных и не всегда справедливых истин. (Я все ему, шармеру, кажется, прощал.)

А в то же время было в Адамовиче некое чрезмерное понимание слабостей человека и готовность прощать всем все. Эта достоевщина ему лично, пожалуй, не была нужна, ибо держал он себя всегда с достоинством и даже в особо злостных сплетнях никогда не попадался. И все же это широчайшее, вселенское, распущенное всепрощение! Откуда оно взялось в нем, европейце, петербуржце, любящем приличия и комфорт... Сойдется с человеком, только вчера совершившим подлость, даже оклеветавшим его (например, Г. Иванов), и отделается усмешкою, шуткою.

---

* Благодарю от имени пса *(фр.)*.

Однако были у Адамовича и настоящие враги — литературные или метафизические — Ходасевич, Сирин, еще кое-кто. Им он не отпускал вины никак или очень неохотно.

Внешне ссора с Ходасевичем была основана на уездной сплетне... Кто-то пустил слух, что Горький прогнал Ходасевича из Сорренто, потому что застал поэта роющимся в бумагах его письменного стола. На это последовал ответ, что «оба Жоржа» перед отъездом из Петрограда убили и ограбили богатую старушку. Вот такого рода болтовня поссорила двух поэтов, и целое десятилетие они не раскланивались, во всяком случае, не разговаривали друг с другом.

С Ходасевичем, в конце концов, Георгия Викторовича и нас всех свел Фельзен. В эти годы (1936) Монпарнас представлял из себя нечто подобное облаку в штанах: согласие, мир, благорасположение царили на поверхности. Молодежь побеждала по всей линии, старики — дотягивали.

Адамович, по природе — страстный игрок, готов был в любую минуту дня и ночи поставить на карту многое. За неимением лучшего увлекся бриджем — по маленькой. Ходасевич к тому времени играл уже только в так называемые коммерческие игры. Впрочем, раза два на Монпарнасе, по инициативе фанатика Гингера, мы сражались в покер, и однажды я заметил, как Владислав Фелицианович вдруг начал рыться в уже отброшенных картах после сдачи дополнительных. Я поспешно отвернулся... Так, в Нью-Йорке, я совершенно случайно уселся в темном зале синема позади знакомого мне русского мыслителя и, к ужасу своему, разглядел, что он поводит ручкой по пухлому бюсту соседки; я сорвался и ушел в раек, откуда не мог больше за ними следить.

А вместе с тем я всегда жалел, что не совсем четкая игра Некрасова в клубе не нашла себе более полного выражения в нашей биографической литературе. Мне кажется несправедливым говорить об этих мелочах шепотом и обиняками. А в чем секрет Гоголя? (Тут гомосексуальные элементы даже не упоминаются.)

Азартничал Адамович совсем как дитя. Его явно восхищал самый процесс игры; результаты, обычно плачевные, он воспринимал вполне стоически, хотя по-другому, чем Гингер. Ему случилось в клубе проиграть в баккара огромную сумму, кажется, всю долю своего наследства. Единственный известный мне прозаический рассказ Адамовича, напечатанный в «Числах», посвящен аргентинцу, проигравшему последние деньги и тут же стрельнув-

шему себе в лоб. Рассказ, вероятно, наивный, но написанный с подлинной страстью.

Мне Адамович несколько раз передавал подробности этого своего зловещего опыта. Странно закатывая вверх большие, темные, детские глаза с тяжелыми ресницами, он улыбался, точно опять переживая застарелую зубную боль:

— Крупье почему-то слишком высоко поднимал карты, слишком высоко, — недоумевающе повторял Георгий Викторович. Его бледно-смуглое лицо, густые, синеватые волосы, расчесанные на идеальный, кажется, прямой пробор и «музыкальные» уши в такие минуты делали его похожим на азиатского божка. — Зачем поднимать так высоко карты? Вероятно, передергивал? — задумчиво осведомлялся он, впрочем, не ожидая от меня ответа.

Ходасевич играл в бридж серьезно, без отвлеченных разговорчиков, и ценил только хороших партнеров.

— Ну что это за игра, — дергался он, кривясь. — Только шлепанье картами.

Ему было трудно и больно следить за нашими самоубийственными взлетами — в разговорах, спорах. При нем беседа невольно становилась суше, прозаичнее, скучнее, добросовестнее, пожалуй. Диалог, по существу, у нас с ним не получался. И в его присутствии не могло зародиться это торжествующее чувство СВОБОДЫ. Нет, все в мире связано, переплетено причинно-следственной цепью, и чудо узаконено только в гомеопатических дозах.

Ходасевич, мастер, труженик прежде всего требовал дисциплины и от других; он мог быть мелочным, придирчивым, даже мстительным до безобразия. Но зато как он расцветал, когда натыкался на писателя, достойного похвалы.

Ходасевич не думал, что литература прейдет, а дружба останется: во всяком случае, это его не радовало.

Горечь Ходасевича усугублялась еще газетой «Возрождение», в которой он был вынужден сотрудничать. «Возрождение», чтобы отвоевать рынок, должно было, в отличие от «Последних новостей», все больше отклоняться «вправо». И газета, не задумываясь, начала щедро раздавать куски Дальнего Востока японцам, а Украины — немцам. Для такого черного передела туда постепенно начали стекаться веселые ребята, чувствовавшие себя дома в контрразведках многих тоталитарных (а порой и демократических) стран. В этой компании поневоле застрял Владислав Фелициано-

вич, который, вероятно, не будь Адамовича, сидел бы в приличных «Последних новостях».

Кстати, когда в эмиграции появился очень талантливый журналист правого толка, бывший сотрудник «Нового времени» Солоневич и описал сплошной советский балаган, «Возрождение» вернуло ему рукопись, не оценив по достоинству этого замечательного произведения; книга, разумеется, была принята «Последними новостями» и печаталась там из номера в номер, повышая тираж демократической газеты.

Держал себя Ходасевич в «Возрождении» вполне независимо. Такой независимости в органе Милюкова, вероятно, нельзя было бы сохранить: тут сказывалась «принципиальность» наших либералов. Писал он свой четверговый «подвал» о литературе, ни во что больше не вмешиваясь; но всем было ясно, что сидит он там, потому что больше некуда ему податься.

Заработка 300-400 франков в неделю хватало только на самые главные бытовые нужды. О летнем отдыхе нельзя было даже мечтать. Или приходилось клянчить, занимать, писать унизительные письма «многоуважаемым», выводя в конце «Любящий Вас»...

Можно утверждать, что Ходасевич в последние годы своей жизни просто задыхался от нудной работы. Он и стихи перестал писать: это решающий признак в биографии поэта — после чего остается только умереть.

Он всегда выглядел моложе своих лет благодаря прирожденной сухощавости и подвижности. Андрей Белый в воспоминаниях сравнивает его с гусеницей. Он имеет в виду, пожалуй, цвет лица Ходасевича — зеленоватый, отравленный, нездоровый. Маленькая, костлявая голова и тяжелые очки... если угодно, сходство, скорее, с муравьем. Впрочем, часто, по-юношески оживляясь, он не был лишен своеобразного шарма.

Это было в Лас-Казе, на большом литературном собрании, еще в двадцатых годах: я обратил внимание на очкастого господина, типа вечного русского студента, с неправильным прикусом нижней челюсти... Это оказался Ходасевич, гроза молодых литераторов, нетвердо расставлявших знаки препинания (в первую очередь, Поплавского).

Ходасевич, как я уже упоминал, редко тогда бывал на наших собраниях; он был не в ладах или даже попросту в ссоре с Гиппиус, Адамовичем, Ивановым, Оцупом... Жил обособленно, гордо и обиженно, поддерживая связь, пожалуй, только с Цветаевой.

10 Зак. 2385

Молодежь, в общем, его уважала; «Тяжелую лиру» ценили все. Но не любили ни его, ни даже его стихов, в целом. Близкие ему парижские поэты не всегда были самые интересные: Терапиано, Смоленский, Юрий Мандельштам.

О «парижском стиле», норовившем передать все или, во всяком случае, самое главное втиснуть в любую страницу, в любую строфу, пусть не на месте, но лучше, чем совсем пропустить (ведь самое главное всюду на месте или, вернее, всегда выпирает), — об этой особенности нашей литературы Ходасевич отзывался даже насмешливо. И постоянные разговоры о самом главном, вместе с общим презрением к «литературе», он не совсем понимал и, во всяком случае, порицал.

Мысль его, вероятно, можно было бы свести к следующему...

Если искусство серьезная вещь, преображающая жизнь вроде религии, — тогда надо к нему относиться с предельным уважением, холить его, и следует забыть навсегда, что оно будто бы «прейдет»! Если же искусство только некая игра, детская комедия (а главное — «та француженка, которая перевязывает чьи-то раны»), тогда нужно к искусству относиться снисходительно, позволяя профессионалам выдумывать, шутить, кувыркаться и не требовать уже здесь всегда «самого главного».

(Рассуждение вполне логичное, но увы, не удовлетворяющее).

По словам Ходасевича, мы все ему напоминали одного знакомого, с которым он раз, летом, в жару, поехал на подмосковную дачу. Тот, приятель, все время восторгался тишиной, прохладой, ароматом леса.

— Ах, какая тишина, ах, какая прелесть! — повторял он без конца, мешая, уничтожая в зародыше эту самую пресловутую тишину.

Вот этот эпизод Ходасевич обязательно вспоминал, когда при нем упоминали о честности или подлинности в литературе, — а говорили на такие темы в Париже тогда часто.

Ходасевич страдал особого рода экземой: симметрично, на двух пальцах каждой руки... и бинтовал их. Этими изуродованными пальчиками, сухими, тоненькими, зеленоватыми — червячками, он проворно перебирал карты. В тридцатых годах настоящего столетия его единственным утешением был бридж. Играл он много и серьезно, на деньги, для него, подчас, большие — главным образом, в подвале кафе «Мюрат». Но не брезговал засесть и с нами на Монпарнасе. К тому времени он уже разошелся с Бер-

беровой, и новая жена его, погибшая впоследствии в лагере, тоже обожала карты.

Мне показалось странным, что он — в этом возрасте и без средств — так быстро нашел себе другую даму, к литературе непричастную. Фельзен, считавшийся тогда специалистом по психологическому роману, объяснял нам, что есть такой тип мужчин: они наедине с женщиной становятся вдруг очаровательными, и тут ни наружность, ни возраст, ни положение или капитал роли не играют.

Оставалось только преклониться перед таким типом кавалера. А я в те годы, не имея лишней пятерки в кармане, почитал бесчестным ответно улыбнуться самой эфирной и бескомпромиссновозвышенной девице у Люксембургского сада.

Я Ходасевичу особенно благодарен за один эпизод в моей литературной карьере. Случилось так, что рассказ «Двойной нельсон», забракованный «Современными записками», вышел наконец в «Русских записках». Номер этот печатался еще в Харбине (или Шанхае) — после редакция перешла к Милюкову в Париже.

Однажды, в субботу вечером, на собрании поэтов в «Мефисто», меня неожиданно вызвал гарсон к телефону: оказалось — Ходасевич! Ему понравился «Двойной нельсон», но одно место для него не ясно; он готовит статью для «Возрождения» — не могу ли я завтра заехать к нему, объяснить... Это спешно и важно.

Чувство от этого телефонного разговора осталось у меня вроде как у Достоевского, когда к нему на рассвете явились Некрасов и Белинский, только что прочитавшие рукопись «Бедные люди». (На такое, разумеется, Адамович не был способен, ибо есть вещи гораздо важнее, чем литература.) И этот субботний вечер в подвале «Мефисто» занял в моем неуютном прошлом эмигрантского писателя место классического монумента.

Поэт жил в тесной квартирке в Пасси; он принял меня торжественно, с подчеркнутым уважением, точно участвуя в определенной, веками освященной мистерии. По-видимому, он догадывался, какое значение это имеет для меня, и радовался как старший мастер, уже прошедший искус.

Не помню, была ли его супруга там; вообще, в литературную жизнь она не вмешивалась или вмешивалась неудачно. Так, после смерти Горького Ходасевич целый вечер прождал на Монпарнасе Берберову, желая поделить с нею их общие воспоминания о Сорренто (согласовать, что ли). На кроткое замечание жены, что

в конце концов можно обойтись без этого, он только оскорбительно отмахнулся.

Выяснив все, что ему было нужно в моем рассказе, Ходасевич добродушно заявил, что если бы я поставил в нужном месте многоточие, то никаких сомнений не возникло бы:

— Это вас Джойсы и Прусты сбили с толку! — не без горечи пожаловался он. — Ничего постыдного или мещанского в многоточии нет.

Западную, современную литературу Ходасевич не знал, главным образом потому, быть может, что иностранные языки ему давались — как всем! — с большим трудом.

Вообще, легенда, что русские отлично владеют многими языками, доживает, надеюсь, последние годы. Было время, когда во Францию устремлялись аристократы и эмигранты типа Герцена или Ковалевской: они владели французским не хуже, а подчас лучше родного, русского. Отсюда возник этот миф, сохранившийся по сей день у булочников, несмотря на то, что последующие волны эмиграции — вранжель и дипи — десятилетиями заикались, объясняясь с полицией.

Бунин, через год после Нобелевской премии, поехал раз поездом — «кукушкой» на юг Франции; он не успел запастись билетом и, будучи задержан кондуктором, не смог толком объясниться, а только нелепо кричал, тыча себя пальцем в грудь:

— Prix Nobel! Prix Nobel!*

Из всей французской литературы он по-настоящему усвоил только Мопассана, да и того предпочитал в русском переводе.

Мы преклоняемся перед гением Толстого и его вегетарианством, забывая, что, кроме всего прочего, он еще был самым образованным членом своего круга — и не переставал учиться, совершенствоваться до последнего дня.

За чаем я сообщил Ходасевичу, что года два тому назад «Современные записки» мне вернули назад «Двойной нельсон». Ходасевича передернуло, как от острой боли.

— Ну зачем они берутся не за свое дело, — страдальчески повторял он. — Ну зачем?

Я тогда получил свой первый аванс в тысячу франков под роман «Портативное бессмертие» — еще от Фондаминского, перво-

---

* Нобелевский лауреат! Нобелевский лауреат! *(фр.)*

начально редактировавшего «Русские записки». И очень этим гордился. Ходасевич, неодобрительно покачивая маленькой головкой, меня просвещал:

— Вы работаете, создаете продукт, и все, что вам раз в десятилетие перепадает, — это тысчонка франков. А Вишняк ничего там не производит, только мешает и получает ежемесячный оклад! Ежемесячное! — он заскрежетал зубами, — жалованье.

(Впервые в жизни эмигрантского писателя ему сообщили, что его занятия кому-то нужны и достойны большей награды.)

Успокоенный и подобревший Ходасевич вдруг начал мне передавать содержание давно задуманной им повести; рассказ этот исходил из каких-то интимных глубин поэта и, насколько мне известно, не был написан.

К сожалению, в моем тогдашнем состоянии я не мог обратить большого внимания на это произведение, да и передавал он его урывками. Насколько помню, речь шла о знакомом нам всем типе интеллигента, горожанина, который внезапно порывает с прежней жизнью и селится в курной избе, где-то в глухих лесах. Когда, несколько лет спустя, друзья его навестили, то нашли на поляне заросшего волосом анахорета, а у ног его покорно лежал огромный, серый медведь. Что-то в этом духе — во всяком случае, для Ходасевича совсем неожиданное.

Затем он мне почему-то сообщил, как однажды навестил товарища по гимназии, родители которого содержали мелочную лавку... Из-за прилавка вышла красавица девушка, сестра гимназиста: будущая Мария Самойловна Авксентьева-Цетлин (Розанов о ней отозвался в одном фельетоне: эсеровская мадонна). Я ее, к сожалению, уже встречал только в образе «Пиковой дамы».

Ходасевич вообще знал много подробностей из прошлого эмигрантских бонз и любил позлословить. По существу, это был консерватор, и прогресс его отнюдь не увлекал. О своем отце — кажется, поляке, католике — он говорил с большой нежностью и какой-то детской беспомощностью.

В день его юбилея друзья устроили обед по подписке. Я не присутствовал на трапезе, но пришел в ресторан позже, с кем-то из молодых. Ходасевич был определенно нам рад; мы все пошли на Монпарнас и засели — в бридж. Не помню, по какому поводу зашел разговор о теореме «сумма углов в треугольнике равна 2d». Ходасевич усомнился, что кто-нибудь из взрослых способен еще доказать такую теорему. Я вытащил из его кармана блокнот, пода-

ренный ему Цветаевой — с пожеланием писать стихи, и тут же, уверенно, начертил простое доказательство; а снизу страницы я приписал: «Пора, пора, покоя сердце просит...»

Закончив свои четыре пики, Ходасевич заглянул в записную книжку и сердито обратился к Адамовичу:

— Молодежь не умеет себя вести! Вот Яновский, не спросясь, пишет в чужом блокноте, и если геометрия еще имеет какое-то отношение к разговору, то остальное совершенно неуместно.

— А что он написал? — живо спросил Адамович, человек любопытный и ревнивый.

Ходасевич прочитал вслух мою строку и добавил:

— А ведь он думает, что цитирует Пушкина...

Ходасевич страдал от люмбаго, и я его направил к доктору З., который ему вспрыснул что-то вдоль крестца, боль мгновенно прошла.

— Я спрашиваю, — обиженно рассказывал мне потом поэт, любивший поговорить о болезнях, — скажите, доктор, откровенно, это паллиатив или настоящее лечение? Господи, я ведь, слава Богу, знаю, не в первый раз имею дело с лекарями. А он отвечает: «Забудьте люмбаго навеки». И мы отправились немедленно в гости. А через два часа меня на руках снесли с лестницы и отвезли домой. Ну зачем это нужно? Говори правду, ведь я же знаю, слава Богу...

Думаю, что о слабостях профессионалов, мастеров, адвокатов, художников он действительно многое знал и готов был простить все грехи людям, вполне овладевшим своим ремеслом.

Умер Ходасевич как-то легко, быстро, неожиданно. Незадолго до того вышла его книга «Некрополь». Я вел тогда критический отдел в «Иллюстрированной России». В его книге воспоминаний были отличные главы о Брюсове, но попадались и условные, попросту серые страницы. Я так и написал в своем отчете: ведь никто не догадывался, что Ходасевич умирает.

Через несколько дней его хоронили; желчные камни обернулись чем-то гораздо более серьезным.

Его отпевали в невзрачной протестантской церкви. Когда выносили гроб, я подошел к Рудневу, решив воспользоваться случаем и спросить о судьбе своей затерянной рукописи. Но Руднев, бледный, взволнованный, печальный, мягко улыбнулся и решительно заявил:

— Не сегодня, Василий Семенович, не сегодня, когда-нибудь в другой раз.

И мне почудилось, что Ходасевич опять мучительно кривится от острой боли и вскрикивает: «Ну зачем они берутся не за свое дело! Ну зачем...»

На кладбище, уже после стука осыпающихся комьев глины, по дороге назад, у ворот ко мне проворно подошел худощавый тогда и в спортивных брюках «гольф» Сирин; очень взволнованно он сказал:

— Так нельзя писать о Ходасевиче! О Ходасевиче нельзя так писать...

Я сослался на то, что никто не предвидел его близкой смерти.

— Все равно, так нельзя писать о Ходасевиче! — упрямо повторял он.

Фельзен, шедший рядом, тихо что-то сказал, примирительно-рассудительное, и мы смолкли. Но мне поведение Сирина очень запомнилось и понравилось. Существовала легенда, что он совершенно антисоциален, ни в каких общественных делах не участвует и вообще интересуется только собой и своей графологией. Очевидно, это не совсем так. В данном случае, например, он выполнил то, что почитал своим общественным долгом.

С кладбища я, Фельзен и, кажется, Р. Н. Гринберг поехали назад в кафе «Мюрат»; там, на террасе, под тентом, мы пили коньяк и наслаждались небом Парижа, особенно прекрасным после очередных похорон. (У меня дома хранился огарок церковной свечки, которую я в первый раз зажег при отпевании Поплавского.) Думаю, что друзья после похорон должны выпить в память усопшего. Старинный обычай справлять тризну — есть блины, пить водку, петь и играть на могиле покойного мне кажется мудрым и достойным подражания.

Ходасевича-поэта я любил давно, но с годами мне стало понятным, что и в критических статьях своих он занимал особое, героическое место, ни разу в жизни, кажется, не похвалив заведомой дряни, всегда спеша первым с радостью отметить то новое, что он считал хорошим, даже если это исходило из враждебного ему лагеря. А это не о всяком русском критике скажешь.

Он первый, если не единственный, недвусмысленно отметил Сирина, назвав его труд подвигом. Это когда «Числа» во главе с Ивановым травили автора «Подвига» самым неприличным образом.

Ходасевич единственный в эмиграции критик (не считая В. Мирного) разругал так называемые романы Алданова. Статья в «Воз-

рождении», посвященная главам «Начала конца», где Ходасевич заявляет, что такому писателю нет пути в русскую литературу, наделала в свое время много шума в эмигрантском корале. Фондаминский на очередном собрании «Круга», разливая чай, оживленно осведомлялся:

— Как вы думаете, кого имел в виду Ходасевич в своей статье, героя романа или самого Алданова?

На что Зензинов в сердцах отвечал:

— Вот видишь, ты сам способствуешь распространению сплетен.

В этот вечер Алданов зачем-то забежал к Фондаминскому до начала нашего собрания: может быть, чтобы поздороваться с приехавшим из Берлина Сириным. Пожимая его руку, Марк Александрович похвалил начало «Дара», появившегося в той же книге «Современных записок».

— Замечательно, замечательно, и читаете вы замечательно! — повторял он часто и быстро, опасливо озираясь, точно ожидая погони.

Моя повесть «Вольно-Американская» тоже печаталась в этой книге журнала, и в другое время Алданов не преминул бы обратиться ко мне с прохладным комплиментом. Но теперь, после статьи Ходасевича, ему было не до западноевропейских тонкостей.

Этот сбитый с толку, раненый, неуверенный в себе, страдающий одышкою, пухлый господин в котелке, всю жизнь занимавшийся не своим делом, я разумею его романы-кирпичи типа «Ключ», напомнил мне эпизод из «Анны Карениной», когда дворяне собираются забаллотировать своего старого предводителя, а он в панталонах с галунами, похожий на травимого зверя, мечется по залу и с надеждою взглядывает на Левина, не разбирая, враг это или друг.

В этом победа писателя. Пруста или Толстого вспоминаешь почти ежечасно — в постели, на службе, в клубе... Они постепенно «перекрывают» всю жизнь.

— Почему вы так дурно отзываетесь об Алданове? — спросил меня раз Фондаминский.

Я объяснил, потом добавил:

— Через двадцать лет после смерти автора никто серьезно не вспомнит про его романы.

Фондаминский отрицательно покачал головой:

— Вы ошибаетесь. Не через двадцать лет, а гораздо раньше! — и рассмеялся.

Тут, конечно, для многих все было ясно. Но Ходасевич находил справедливым про это внятно сказать, не считаясь с «тонкой» литературной политикой. В чем она заключалась, я никогда не мог понять... Утверждали, что Алданов масон и потому его надо хвалить. Но это вздор, в литературе было много масонов и их позволялось поругивать. Хотя бы Осоргина.

Когда Адамович хвалил Алданова, ему, вероятно, казалось, что большого греха в этом нет, через пятьдесят лет все равно лопух вырастет... Для Ходасевича в литературе не было важного и не важного, большего и меньшего. Здесь все одинаково значительно. А забавляться мы будем вечером за бриджем!

Часто во время игры, когда я следил за его зелеными пальчиками-червячками, перебиравшими бубны и трефы, я невольно шептал.

Друзья, друзья, быть может, скоро
И не во сне, а наяву,
Я нить пустого разговора
Для всех нежданно оборву...

Он оборачивался ко мне и сердито бросал:
— Ну что это за игра, только шлепанье картами!

В конце 1971 г. Адамович прилетел в Нью-Йорк, где я с ним встречался. Он несколько раз обедал у нас вместе с Оденом. По-видимому, они понравились друг другу, что меня и обрадовало, и удивило. В один из этих вечеров, уже в январе 1972 г., жена сфотографировала нас. Вероятно, это последний снимок Адамовича: он умер 22 февраля.

VI

Георгия Иванова, несмотря на его нравственное уродство, я считал самым умным человеком на Монпарнасе.

Трудно сообразить, в чем заключался шарм этого демонического существа, похожего на карикатуру старомодного призрака... Худое, синее или серое лицо утопленника с мертвыми раскрытыми глазами, горбатый нос, отвисшая красная нижняя губа. Подчеркнуто подобранный, сухой, побритый, с неизменным стеком, котелком и мундштуком для папиросы. Кривая, холодная, цинич-

ная усмешка, очень умная и как бы доверительная: исключительно для вас!

Понимал он почти «все» (в разговоры теологические никогда не ввязывался). А главное, допускал «все». Сказать, что он прощал все — нельзя. Ибо существо его, насквозь эгоистическое, было совершенно безразлично к любому визави. Кроме того, простить — значит, признать реальность вины, преступления, греха. Этого Иванов не мог разглядеть, как слепой — краски. Но стихи он любил и для них, пожалуй, жертвовал многим (indirectement).

Такого сорта монстры встречаются на каждом шагу в искусстве; в Париже того времени Иванов не являлся исключением; он становился чем-то единственным только благодаря высокому классу своих стихов. Смоленский, Злобин принадлежали к той же «аморальной» семье.

Иванов — человек беспринципный, лишенный основных органов, которыми дурное и хорошее распознаются, — Георгий Иванов был членом «Круга» и даже пользовался там влиянием. Чем он это достигал, трудно сказать. В те годы многие считали, что поэтически он вышел из двух-трех строф Фета и ловко жонглирует ими (Ходасевич). Но молодежь его боялась, слушалась и любила.

Монпарнас, несмотря на внешнюю неряшливость, все же ценил «мораль», в отличие от пресловутого Серебряного века. Мы пытались мистику слить со здравым смыслом; Толстого со святым Иоанном Креста... Этим, пожалуй, определялась н а ш а квадратура круга. Ибо каждая выдающаяся эпоха бьется над своей собственной квадратурой круга, и это решает ее стиль и дух.

Так, Мережковский смущенно заметался, когда я неожиданно ему сообщил, что деяния человека свидетельствуют о его духовном состоянии: как сыпь на коже от внутренней болезни... «Ну, это очень трудно так прямо сказать», — мямлил он неуверенно.

Влияние Иванова на молодых поэтов объяснялось не только его стихами. Тут роль играл шарм и ловкость его литературной кухни. Он был умницей, поскольку можно считать умным человека, ставившего на бракованную лошадку. Лаской и таской он упорно добивался своего. Так, Варшавский, заслуживший репутацию «честного» писателя, по требованию Иванова пишет ругательную статью о Сирине (Набокове) в «Числах». («И зачем я это сделал? — наивно сокрушался он двадцать лет спустя в беседе со мною. — Не понимаю».)

Иванов обходит богатых евреев и занимает у них деньги. Потом он проделывает почти то же самое с немцами. И все-таки ему подают руку. Иванов ходит в Национальный союз трудового (или молодого, не помню уже) поколения — в те годы откровенно погромная организация... Потом на Монпарнасе он мило рассказывал, что там Достоевского называют жемчужИной русской литературы. Всякий раз, отправляясь к ним, Иванов объяснял: «Нет, сегодня я иду к жемчужИнам». Там, на открытом собрании, устроенном по инициативе Иванова, называют Адамовича Смердяковым. Но Иванову все же удается сохранить дружеские отношения с «Жоржем». Только последний, вероятно, знал всю степень духовной беспомощности Иванова.

И опять Иванов отделывается каламбуром, а назавтра распространяет злейшую сплетню и снова прибегает мириться с Адамовичем.

В жизни всякого писателя, ученого, трибуна наступает время, когда ему хочется подлинной славы: учеников, аудитории, даже памятника на площади в родном краю. Причем это не только голос честолюбия, гордыни, а некая нормальная потребность роста.

Такого признания захотелось наконец Иванову — всенародного, великодержавного. В сущности, нам всем в разное время нужна тысяча студентов и студенток, рукоплещущих, выпрягающих лошадей из коляски, несущих орхидеи на эстраду...

— Во второй раз эмигрантом я не буду! — угрожающе предупреждал он. — А в Москву я готов вернуться даже в обозе Гитлера.

Вот немцы наконец во Франции; многие друзья Иванова бедствуют, а он старается использовать новых знакомых по старому рецепту. Когда они разбиты (это ли не скверная лошадка) и бегут из Парижа, Иванов собирается немедленно записаться в Союз советских патриотов. Его отговаривает писательница Б.

А там он опять ведущий поэт, почти идеолог — на этот раз дипийцев! Иванов шармер, несмотря на свое внешнее и внутреннее безобразие, его обаяние привлекало людей...

— Вот вы написали в рассказе про человека, у которого синее лицо утопленника, — говорил он конфиденциально, вполголоса. — Сумели же вы такое увидеть.

В другой раз:

— Вы великодержавный писатель, не то что эта мразь.

По каким-то соображениям он тогда считал нужным мне польстить. А такого рода похвала пленяла и помогала многое прощать. Кстати, Иванов уверял, что лесть всегда действует положительно, даже если ей не поверят! «Польсти, польсти!» — по Достоевскому.)

В связи со скандалом Иванов—Буров я был вовлечен в грязную склоку. Я тогда встречал Бурова и знал, где он по утрам гуляет в одиночестве. Когда последний в ответ на требования денег разослал всем циркулярное письмо касательно коммерческих операций Г. Иванова, Георгий Владимирович решил встретиться с ним и наградить его оплеухой. Но я отказался выдать доверенный мне секрет, то есть место его ежедневных прогулок. Это очень удивило наших честных молодых писателей, только Адамович заявил, что я совершенно прав.

Передаю эти подробности, чтобы показать, как легко, в сущности, было сохранить хорошие отношения с Ивановым, не идя на особые компромиссы с совестью. Но «недуг» Поплавского «перехамил или перекланялся»... оставался очень распространенным.

Иванов не играл ни в какие игры, азартные или коммерческие; его сексуальная жизнь — довольно сумрачная картина.

В «Круге», явно враждебном морально-политическому облику Иванова, поэт все-таки пользовался и уважением, и вниманием. Показательно, что Ходасевича мы не пригласили, хотя печатали его в нашем альманахе.

Перелистывая Фета, я всегда вспоминаю Иванова; по сей день не могу понять, почему последний так пришелся по вкусу изголодавшейся новой эмиграции... Разумеется, это настоящий поэт, но были же у нас Ходасевич, Цветаева — не меньшего размаха! Думаю, что не в одной поэзии тут дело; читая Иванова, бессознательно чувствуешь, что все трын-трава: можно в одну контрразведку заглянуть, затем в другую, противоположную, позволительно ошельмовать кулака отца, у еврея денег перехватить, затем у немецкого полковника, в Национально-трудовой союз записаться, потом к советским патриотам примкнуть. Все извинительно...

Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих кленов шатер!
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор!

Это строки Фета, а не Иванова. И еще:

Люди спят, — мой друг, пойдем в душистый сад:
Люди спят, одни лишь звезды к нам глядят,

Да и те не видят нас среди ветвей
И не слышат, — слышит только соловей,
Да и тот не слышит: песнь его громка,
Разве слышат только сердце и рука...

Проза Иванова — трехмерная, на редкость безблагодатная («Петербургские зимы» в стороне, я разумею «романы» Иванова). «Распад атома» любопытен, пожалуй, с точки зрения автобиографической.

Тяготел он всегда скорее к «реакционному» сектору в своих взглядах, хотя убеждений, принципов у Иванова почти не было. Бессознательно любил и уважал только сильную власть и великую державу; требовал порядка и, главное, иерархии, при условии, что он, Иванов, будет причислен к элите.

После благополучного завершения войны я получил письмо от Иванова с юга Франции. Тогда печатался в «Новом журнале» «Американский опыт» и Г. Иванов похвалил его: «Вот такие именно писатели нам нужны...» Затем что-то намекал насчет возможного (при его связях) устройства французского перевода. И в заключение просил послать отрез серого сукна на костюм. Это все типичный Иванов; надо только помнить, что, если бы я ему отправил подарок, он бы мне обязательно, немедленно отплатил гадостью.

— О костюмчике не может быть и речи! — отвечал я ему.

Это был любимый анекдот одессита Ставрова... Гражданин высовывается из окна горящего здания и зовет на помощь. Ему кричат снизу, прыгай! Но он отвечает: «О том, чтобы прыгать, не может быть и речи». На Монпарнасе очень ценили эту шутку.

Вот я стараюсь, по-видимому, честно рассказать о человеке, которого знал, и чувствую, как сущность этой души, секрет ее ускользает. Неправда, что только Пушкин (Ленский) унес в могилу тайну своей личности. Мы все, и особенно такие искаженные образы, как Ивановы, храним и лелеем скрытую рану (язву), о которой можно догадаться только благодаря усердию, с которым мы толкаем посторонних, друзей и врагов на ложный след.

Я назвал Иванова совершенно аморальным; но это неверно по отношению к его труду. Для стихов своих он, вероятно, многим жертвовал и, пожалуй, признавал некоторые, хотя бы им самим

установленные, правила и законы. Возможно, что всю остальную жизнь он почитал вздором, скрашиваемым только комфортом, и поэтому ничего не стоило врать, шантажировать, предавать. Единственно, стихи свои он воспринимал как настоящую реальность и тут не жалел себя.

К концу 30-х годов, когда тень Гитлера падала уже за Рейн на французский пейзаж, наши нервы понемногу начали сдавать. В воздухе запахло кровью, быть может, кровью близких, и шуточки Иванова становились опасными; кроме того, полиция тоже вдруг, казалось, проснулась. Тогда он повел себя осторожнее; то ли дело во времена «Народного фронта» — сколько язвительных, пророческих анекдотов порождал Иванов.

В «Круге» последний год Иванов сидел молча, с каменным лицом. Только изредка подталкивал к несдержанным рейдам нашего единственного (платонического) гитлеровца — Лазаря Кельберина... Сей последний вообразил себя, временно, помесью Паскаля с Розановым.

Вот к выкрикам Кельберина обычно тихохонько примазывался Иванов, покровительствовавший ему.

Раз, придя на заседание правления «Круга», я узнал, что будет обсуждаться кандидатура нового члена — Злобина. Каким образом Иванов убедил Фондаминского и кто еще участвовал в этом заговоре, не помню; но возражать пришлось только мне, даже Федотов только брезгливо отмалчивался.

— Помилуйте, — возмущался я. — Мы не пригласили Мережковских, у которых могли бы все-таки чему-то научиться. А тут вы предлагаете кандидата со всеми пороками Мережковских, но без их заслуг...

— Вы боитесь Злобина? — победоносно спрашивал Фондаминский, зная, что я отвечу. — Ну вот. Значит, пускай себе сидит и слушает. Может, даже мы на него повлияем. А Мережковские сильные противники. Кому охота теперь с ними спорить о самых элементарных началах и терять время. Только Кельберин еще соблазнится их речами да еще кое-кто. Нет, Мережковских я не хочу здесь. А Злобин не опасен.

Его настойчивость, а главное, аккуратность, с какой он начинал опять спор именно с того места, на котором давеча прервал, действовали на многих из нас парализующе, и мы уступили.

Так, в 1939 г. появился на этих собраниях заложник Мережковских — Злобин. Человек, вероятно, в большой степени ответствен-

ный за все безобразия последнего периода жизни Мережковских. Держал он себя тихо, подчеркнуто гостем, сидел на диване рядом с Ивановым, составляя некую темную фракцию; однако изредка задавал «каверзные» вопросы, например, после доклада Керенского:

— Не думаете ли вы, Александр Федорович, что Гитлер помимо эгоистических видов на Украину искренне ненавидит коммунизм и хочет его в корне уничтожить?

На что Керенский, кокетничая беспристрастием, ответил:

— Я допускаю такую возможность.

Керенский был у нас заложником исторического чуда. Несколько месяцев он возглавлял и защищал воистину демократическую Россию, тысячелетиями превшую в тисках великодержавных шалунов. Этого уже не удастся зачеркнуть!

— Верховный главнокомандующий, — насмешливо, но и с петербургским трепетом повторял Иванов. — Вы заметили, как он меня держал за пуговицу и не отпускал? Подумайте, Верховный великой державы, во время войны.

Когда, случалось, цитировали знаменитый белый стих Ходасевича: «Я руки жал красавицам, поэтам, вождям народа...» — Иванов неизменно объяснял:

— Это он Керенского имел в виду, других вождей народа он не знал.

Как-то раз случайная дама из правого сектора сообщила за чайным столом Мережковских, что встретила Керенского в русской лавчонке — он выбирал груши.

— Подумайте, Керенский! И еще смеет покупать груши! — вопила она, уверенная в своей правоте.

В этот день обсуждалась тема очередного вечера «Зеленой лампы». Мережковский с обычным блеском сформулировал ее так: «Скверный анекдот с народом Богоносцем...»

К нашему удивлению, правая дама, запрещавшая Керенскому есть груши, возмутилась:

— Мы придем и забросаем вас тухлыми овощами, — заявила она. — А может быть, и стрелять начнем.

Но и либералы, эсеры, народники тоже запротестовали, узнав о предстоящем вечере, и пришлось уступить «общественному мнению» — из трусости.

Мережковские закончили довольно позорно свой идеологический путь. Главным виновником этого падения старичков надо считать Злобина — злого духа их дома, решавшего все практичес-

кие дела и служившего единственной связью с внешним, реальным миром. Предполагаю, что это он, «завхоз», говорил им: «Так надо. Пишите, говорите, выступайте по радио, иначе не сведем концы с концами, не выживем». Восьмидесятилетнему Мережковскому, кащею бессмертному, и рыжей бабе-яге страшно было высунуть нос на улицу. А пожить со сладким и славою очень хотелось после стольких лет изгнания. «В чем дело, — уговаривал Злобин. — Вы ведь утверждали, что Маркс — антихрист. А Гитлер борется с ним. Стало быть — он антидьявол».

Салон Мережковских напоминал старинный театр, может быть, крепостной театр. Там всяких талантов хватало с избытком, но не было целомудрия, чести, благородства. (Даже упоминать о таких вещах не следовало.)

В двадцатых годах и в начале тридцатых гостиная Мережковских была местом встречи всего зарубежного литературного мира. Причем молодых писателей там даже предпочитали маститым. Объяснялось это многими причинами. Тут и снобизм, и жажда открывать таланты, и любовь к свеженькому, и потребность обольщать учеников.

Мережковский не был, в первую очередь, писателем, оригинальным мыслителем, он утверждал себя, главным образом, как а к т е р, может быть, гениальный актер... Стоило кому-нибудь взять чистую ноту, и Мережковский сразу подхватывал. Пригибаясь к земле, точно стремясь стать на четвереньки, ударяя маленьким кулачком по воздуху над самым столом, он начинал размазывать чужую мысль, смачно картавя, играя голосом, убежденный и убедительный, как первый любовник на сцене. Коронная роль его — это, разумеется, роль жреца или пророка.

Поводом к его очередному вдохновенному выступлению могла послужить передовица Милюкова, убийство в Halles, цитата Розанова—Гоголя или невинное замечание Гершенкрона. Мережковскому все равно, авторитеты его не смущали: он добросовестно исправлял тексты новых и древних святых и даже апостолов. Чуял издалека острую, кровоточащую, живую тему и бросался на нее, как акула, привлекаемая запахом или конвульсиями раненой жертвы. Из этой чужой мысли Дмитрий Сергеевич извлекал все возможное и даже невозможное, обгладывал, обсасывал ее косточки и торжествующе подводил блестящий итог-синтез: мастерство вампира! (Он и был похож на упыря, питающегося по ночам кровью младенцев.)

Проведя целую длинную жизнь за письменным столом, Мережковский был на редкость несамостоятелен в своем религиозно-философском сочинительстве. Популяризатор? Плагиатор? Журналист с хлестким пером?.. Возможно. Но главным образом, гениальный актер, вдохновляемый чужим текстом... и аплодисментами. И как он произносил свой монолог!.. По старой школе, играя «нутром», не всегда выучив роль и неся отсебятину, — но какую проникновенную, слезу вышибающую!

Парадоксом этого дома, где хозяйничала черная тень Злобина, была Гиппиус: единственное оригинальное, самобытное существо там, хотя и ограниченное в своих возможностях. Она казалась умнее мужа, если под умом понимать нечто поддающееся учету и контролю. Но Мережковского несли «таинственные» силы, и он походил на отчаянно удалого наездника... Хотя порою неясно было, по чьей инициативе происходит эта бравая вольтижировка: джигит ли такой храбрый или конь с норовом?

Кто-то за столом произносит имя Виолетты Нозьер — героини криминальной хроники того периода (девица, убившая отца, с которым состояла в противоестественной связи).

— Вот, — заливается Мережковский и ударяет кулачком в такт по воздуху над столом. — Вот! От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер — это современная Франция.

— Ах, какой из него бы получился журналист! — не без зависти повторял Алданов, с которым я вышел оттуда. — Ах, какой журналист! Подумайте, одно заглавие чего стоит: «От Жанны д'Арк до Виолетты Нозьер».

Такими штучками — и в плане метафизическом — блистал всегда Мережковский. Но особой глубины и даже свежести, подлинной оригинальности в них как будто не оказалось. Да и правды не было, то есть всей правды. От Жанны д'Арк до Шарля де Голля — гораздо справедливее и осмысленнее. А Виолетты Нозьер были повсюду, во все времена. Но Мережковскому главное произвести эффект, сорвать под занавес рукоплескания.

Демонизм — это когда душа человека не принадлежит себе: она во власти не страстей вообще, а одной, всепоглощающей, часто тайной страсти. Думаю, что Мережковский был насквозь демоническим существом, хотя что и кто им владели в первую очередь, для меня неясно.

Собирались у Мережковских пополудни, в воскресенье, рассаживались за длинным столом в узкой столовой. Злобин подавал чай. Звонили, Злобин отворял дверь.

Разговор чаще велся не общий. Но вдруг Дмитрий Сергеевич услышит кем-то произнесенную фразу о Христе, Андрее Белом или о лунных героях Пруста... и сразу набросится, точно хищная птица на падаль. Начнет когтить новое имя или новую тему, раскачиваясь, постукивая кулачком по воздуху и постепенно вдохновляясь, раскаляясь, импровизируя, убеждая самого себя. Закончит блестящим парадоксом: под занавес, нарядно картавя.

Люди постарше, вроде Цетлина, Алданова, Керенского, почтительно слушают, изредка не то возражают, не то задают замысловатый вопрос. Кто-нибудь из отчаянной молодежи лихо брякнет:

— Я всегда думал, что Христос не мог бы сказать о педерастах то, что себе позволил заявить апостол Павел.

— Вы будете вечером на Монпарнасе? — тихо спрашивают рядом.

— Нет, я сегодня в «Мюрат».

Мережковский начал с резкого декадентства в литературе. Он был дружен с выдающимися революционерами этого века, такими, как Савинков. Считалось, что он боролся с большевиками и марксизмом, хотя во времена НЭПа вел переговоры об издании своего собрания сочинений в Москве.

Затем он ездил к Муссолини на поклон и получил аванс под биографию Данте. Рассказывал о своей встрече с дуче так:

— Как только я увидел его в огромном кабинете у письменного стола, я громко обратился к нему словами Фауста из Гете: «Кто ты такой? Wer bist du denn?..» А он в ответ: «Пиано, пиано, пиано».

Можно себе представить, как завопил Мережковский, вывернутый наизнанку от раболепного восторга, что дуче тут же должен был его осадить: «Тише, тише, тише».

Мережковский под этот заказ несколько раз получал деньги. Переводил этого Данте известный итальянский писатель, поэт русского происхождения Ринальдо Петрович Кюфферле, переводивший и мои две итальянские книги: «Альтро аморэ» и «Эсперианцо американо». От него я кое-что слышал о трансакциях Мережковского.

Сам Дмитрий Сергеевич, отнюдь не стесняясь, рассказывал о своих отношениях с Муссолини:

— Пишешь — не отвечают! Объясняешь — не понимают! Просишь — не дают!

И это стало веселой поговоркой на Монпарнасе применительно к нашим делам.

Мережковский сравнивал Данте с Муссолини и даже в пользу последнего: забавно было бы прочесть теперь сей тайноведческий труд по-итальянски.

Впрочем, вскоре поспел Гитлер, и тут родные гады откровенно зашевелились, выползая на солнышко из темных углов.

Мережковский полетел на нюрнбергский свет с пылом юной бабочки. Идея кристально чиста и давно продумана: в России восторжествовал режим дьявола, предсказанный Гоголем и Достоевским... Гитлер борется с коммунизмом. Кто поражает дракона, должен быть архангелом или, по меньшей мере, ангелом. Марксизм — антихрист; антимарксизм — антиантихрист: quod erat demonstrandum!*

О Муссолини он еще осведомлялся: кто ты есть?.. Но тут, с немцами, и спрашивать нечего: все понятно и приятно.

К тому времени большинство из нас перестало бывать у Мережковских. Кровь невинных уже просачивалась даже под их ковер, в квартирке, украшенной образками св. Терезы маленькой, любимицы Зинаиды Николаевны. Там, на улице Колонель Боннэ, вскоре начали появляться, как потом выразился Фельзен, «совсем другие люди».

Иванов, конечно, пристроился к победному обозу и собирался наконец превратиться в отечественного поэта, кумира русской молодежи. Впрочем, думаю, что вполне уютно тогда чувствовал себя только один Злобин.

Злобин, петербургский недоучившийся мальчик, друг Иванова, левша с мистическими склонностями, заменил Философова в хозяйстве Мережковских. На мои недоумевающие вопросы Фельзен добродушно отвечал:

— Мне сообщали осведомленные люди, что у Зинаиды Николаевны какой-то анатомический дефект...

И, снисходительно посмеиваясь, добавлял:

— Говорят, что Дмитрий Сергеевич любит подсматривать в щелочку.

Как бы там ни было, но Злобин постепенно приобрел подавляющее влияние на эту дряхлеющую и выживающую из ума чету. Вероятно, он ее пугал грядущей зимою: холодом, голодом, болезнями... А с другой стороны, борьба с дьяволом-коммунизмом, пайки, специальный поезд Берлин—Москва, эпоха Третьего Завета, новая вселенская церковь и, конечно, полное издание сочине-

* Что и требовалось доказать *(лат.)*.

ний Мережковского в роскошном переплете. Влияние, любовь, ученики.

Догадки, догадки догадки... Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо пошедшего за немецким чурбаном. Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горнего Ерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к «Страшной мести» Гоголя.

Недаром на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала:

— Cadavre! Cadavre! Cadavre!*

Гиппиус милостиво подавала свою сухую ручку гостям и, улыбаясь, говорила любезность: «А я вас читала сегодня» или «Хорошее стихотворение ваше...». Впрочем, кое-кому она молча совала лапку — почти с ожесточением. В общей сутолоке, среди перепутавшихся рук, прощаясь, Закович будто бы однажды поцеловал кисть Мережковского, чему последний отнюдь не удивился.

Беседуя, Гиппиус произносила имена св. Терезы маленькой или св. Иоанна Креста, точно дело касалось ее кузенов и кузин; то же о Третьем Завете или первородном грехе. Если бы Мережковский не занимался метафизикой, а марксизмом или физиологией, то Зинаида Николаевна, вероятно, заигрывала бы с Энгельсом или цитировала бы Павлова. Несмотря на всю свою поэтическую самостоятельность, теологическую заинтересованность, это первично недоброе существо я рассматриваю в порядке «Душечки» Чехова. Повествовали о ее «ангельской» красоте в молодости; вероятно, это правда. Хотя я заметил, что такое рассказывают про многих темпераментных литературных старух. В мое время она уже была сухой, сгорбленной, вылинявшей, полуслепой, полуглухой ведьмой из немецкой сказки на стеклянных негнущихся ножках. (Что-то «ботническое» все же оставалось в красках.) Страшно было вспомнить ее стишок: «И я, такая добрая, Влюблюсь — так присосусь. Как ласковая кобра, я, Ласкаясь, обовьюсь»...

Она любила молодежь и поощряла некоторых поэтов; думаю, что многие ей должны быть благодарны. Из прозаиков бедняжка похвалила одного Фельзена (до прихода немцев, разумеется).

---

* Труп! Труп! Труп! *(фр.)*

А затем немцы начали отступать, Мережковские остались одни. Даже «единомышленники» вроде Иванова скрылись, стараясь где-то застраховаться. Об этой поре гордая Гиппиус писала: «Одно утешенье осталось — Мамченко».

Так себе утешение...

Полагаю, что от стихов Гиппиус сохранится многое: больше, чем от декламации Мережковского. Но вообще что-то неестественное, духовно разлагающее характеризовало эту чету.

Раз на большом собрании не то «Зеленой лампы», не то «Чисел»... «Числа» в нашей жизни сменили «Зеленую лампу», как потом «Круг» вытеснил «Числа», но на стыках они некоторое время «перекрывали» друг друга. Итак, на большом собрании Иванович-Талин громил зарубежную литературу, утверждая, что у нас осталось всего два стоящих писателя, но один устремлен исключительно в прошлое, а другой видит в жизни только дурное. Мережковский, председательствовавший, оживился и начал расспрашивать: «Может быть, писатель, обращенный в прошлое, ищет там ответа на современные вопросы?» — и так далее, очевидно, полагая, что речь идет об авторе «Атлантиды» или «Леонардо да Винчи».

На что Талин с места крикнул:

— Меня заставляют назвать трех писателей, тогда как я имел в виду только двух: Бунина и Алданова.

И весь зал в ответ захлопал, заулюлюкал, завыл, на редкость единодушно ликуя. Алданов рядом со мною в тесном для него кресле беспокойно ерзал, вздыхая и оглядываясь.

— Видишь, а ты думал, что о тебе... — с грустной иронией отозвалась Гиппиус, сидевшая тоже на эстраде.

И серый, зеленый, согнутый Мережковский в продолжение нескольких минут вяло мямлил что-то такое, стараясь с честью выйти из неловкого положения. Было тяжело смотреть на него и противно — на ликующую толпу. Откуда эта стихийная радость всей аудитории? Почему такое всеобщее одобрение ловкому удару, нанесенному ниже пояса?

Я случайно видел Мережковского в церкви на рю Дарю. В будний день, пустой собор; и его сухое тельце в российской шубе с бобровым воротником — похожее на высохшее насекомое или на парализованного зверька!.. Он долго лежал на полу, напоминая финальную сцену из лесковского «Чертогона».

Из старших у Мережковских бывали Керенский, Цетлин, изредка Алданов, Бунин и случайные иногородние паломники.

Присутствие Керенского создавало в гостиной всегда праздничную атмосферу. Я мог поклясться, что иногда различал лавровый венок на его голове, постриженной ежиком. Есть такие счастливцы и неудачники, которые, как метеоры, как яркие кометы, проносятся по небосклону, оставляя необъяснимый, подчас незаслуженный след в сердцах. Такое чувство я испытывал при виде Керенского, Линдберга, Одена, Сирина, Джона Кеннеди, Поплавского, Вильде. Это тайна Падающих Звезд, по-английски shooting stars.

Но стоило Александру Федоровичу открыть рот, и я начинал краснеть за него. Он был во власти стихийного потока: его несло, но неизвестно куда и не на большой глубине. Он принадлежал к породе «недогадывающихся»: по-моему, он был попросту неумен.

Как случилось, что его выпустили «уговаривать» солдатскую, или мужицкую, Русь, для меня остается загадкой. Впрочем, возможно, что это объясняется глупостью, «недогадливостью» целой эпохи.

В ответ на одно такое мое высказывание он раз сказал мне: «Все, что теперь происходит в Европе и перемалывается ею десятки лет, началось в России, как в прологе к греческой трагедии, как в пантомиме, понятной зрителю только в конце представления. Если бы мы имели опыт того, что потом произошло в Италии или Германии, мы бы совсем иначе себя вели».

Я передаю его слова по памяти, но за общий смысл ручаюсь.

В Нью-Йорке мы с ним часто встречались на собраниях «Третьего часа» в тесной квартире Е. А. Извольской. Но он уже тогда начал хворать, прошел несколько операций, ослеп и неуклонно разрушался. Его партийные или идеологические друзья с ним постепенно разошлись, до того изменились его взгляды. Если не ошибаюсь, кто-то его даже обвинил в антисемитизме.

Есть такой дом для стариков, выздоравливающих, Nursing Home. На углу 79-й улицы и Третьей авеню. Туда поместили Керенского после его возвращения из Англии. Раз, очутившись в том районе, я решил наведаться к нему, в сущности, попрощаться. Мне назвали этаж и комнату и позволили подняться туда. В пустом широком коридоре не было никого. Я постучал и в ответ на хриплый возглас вошел.

— Кто это? — не то растерянно, не то испуганно.

Он сидел в кресле, с ногами, завернутыми в железнодорожный старомодный плед, и напряженно смотрел в сторону двери, хотя я уже был в центре довольно большой светлой комнаты.

— Это Яновский! — крикнул я поспешно. — Зашел вас проведать.

— А! Нет. Я очень занят теперь.

— Понимаю. Я сейчас уйду. Вас часто оставляют здесь одного без присмотра?

С профессиональной точки зрения это граничило с преступлением.

— Нет, не часто. Она пошла что-то купить себе.

В связи с нашим журналом «Третий час» мне поручили собрать некоторые сведения относительно одного эмигранта, который просился в сотрудники журнала и с которым Александр Федорович встречался в Мюнхене. Я задал ему соответствующий вопрос, и Керенский сразу оживился:

— О, это ужасный человек. Он не понимает, что нельзя американцам позволить так разговаривать с русскими. Он откровенно сознался: «Мне на все наплевать, я коплю деньги и хочу купить виллу в Италии. Все остальное меня не касается: делаю, что приказывают»... Вот какой это тип!

— Как ваше здоровье, Александр Федорович!

— О, гораздо лучше. Я сделал ошибку, что поехал в Англию. Там они меня почти доконали.

— Можно вам как-нибудь позвонить, у меня еще есть вопросы к вам.

— Да-да, позвоните, — откровенно обрадовался он,— а теперь я занят,— и он повернул головку в сторону телефона, которого он достать рукой не мог и очевидно не собирался.

Его слова мне напомнили эпизод из жизни Салтыкова-Щедрина, который умирал от мучительной болезни, и когда к нему приходили с визитом, гости слышали, как он из соседней комнаты кричал слуге: «Занят, скажите, умирает».

В коридоре я встретил сиделку-японку, ухаживавшую за Керенским многие годы. Я постарался объяснить ей, что для многих русских неудачников, вроде Горгулова, стрельнуть в Керенского было бы прямой «путевкой» к славе. Но японка меня не поняла или не поверила мне.

Бунин порой вызывал улыбку за чайным столом Мережковских, где спорили о Третьем Завете, о Прусте, о доктрине Трубаду-

ров. Следует помнить, что Бунин был конкурентом Мережковского по линии Нобелевской премии, и это не могло порождать добрых чувств. Он все реже заглядывал в эту гостиную.

Придраться к Бунину, интеллектуально беззащитному, было совсем не трудно. Как только речь касалась понятий отвлеченных, он, не замечая этого, терял почву под ногами. Лучше всего ему удавались устные воспоминания, импровизации — не о Горьком или Блоке, а о ресторанах, о стерляди, о спальных вагонах Петербургско-варшавской железной дороги.

— Это бритая лошадь! — скажет он об одном уважаемом политическом деятеле, и сразу какой-то туман прояснится: действительно, лошадь и бреется!

Вот в таких «предметных» образах была сила и прелесть Бунина. Кроме того, разумеется, личный шарм! Коснется слегка своим белым, твердым, холодноватым пальцем руки собеседника и словно с предельным вниманием, уважением сообщит очередную шутку... А собеседнику мерещится, что Бунин только с ним так любезно, так проникновенно беседует. Да, колдовство взгляда, интонации, прикосновения, жеста... До чего этим шармом была богата старая Русь, и куда все девалось? Среди новых беглецов все налицо как полагается: талант, эрудиция, подчас убеждения, идеалы, а благодати шарма, обаяния — нет и нет.

Если по соседству с Алдановым неизменно приходила в голову сказка о голом короле, то с Буниным судьба сыграла совсем противоположного рода шутку, душевно ранив его на всю жизнь... Бунин, с юношеских лет одетый изящно и пристойно, прохаживался по литературному дворцу, но был упорно провозглашаем полуголым самозванцем. Это еще в России, при вспышках фейерверка Андреева, Горького, Блока, Брюсова.

Нетрудно заметить, что именно российская катастрофа, эмиграция, выдвинула его на первое место. Среди эпигонов за рубежом он воистину был самым удачным. А в Советском Союзе теперь о Бунине пишут: «...так и просится в хрестоматию...», не догадываясь, что место большого писателя отнюдь не в школьных пособиях.

Итак, Бунин легко занял первое место в старой прозе; молодая, вдохновляемая европейским опытом, определилась только в середине 30-х годов и должна была еще воспитать своего читателя. Но с т и х и Бунина вызывали улыбку даже в среде редакторов «Современных записок». Он их, кажется, не печатал больше и не

писал до Второй Отечественной войны, когда круг исторический опять сомкнулся и снова появился спрос на отечественный пейзаж с коровьим мычаньем и запахом полыни или парного молока. Говорят, что мастера социалистического реализма теперь смакуют вирши Бунина, восхищаясь их монолитностью.

Горький опыт непризнания оставил у Ивана Алексеевича глубокие язвы: достаточно только притронуться к такой болячке, чтобы вызвать грубый, жестокий ответ.

Имена Горького, Андреева, Блока, Брюсова порождали у него стихийный поток брани. Видно было, как много и долго он страдал в тени счастливцев той эпохи.

Бунин прошел мимо всего русского символизма, не задетый им нисколько, упорно продолжая перекликаться с дубравами, березками и жаворонками. Осмеянный, но самостоятельный отщепенец, он теперь мстил своим мучителям, брал реванш. Нельзя сомневаться, что для современного политбюро стихи Бунина все еще понятнее и ближе, чем поэмы Андрея Белого или Анненского.

К чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою, оставался почти всегда самим собою: гордым зубром, обреченным на вымирание.

Тексты Бунина как будто уже знакомы нам по произведениям других, более ранних авторов. Но «делает» он свои вещи, пожалуй, лучше самых великих предтеч. Это закон эпигонов! Бунин описывает ветлы на заливном лугу и щиколотки баб, может быть, удачнее Тургенева или Толстого. У него вино пьют из фужера... Но заслуги Тургенева и Толстого не в этом или не только в этом.

Можно проделывать чистенький акробатический номер в губернском цирке над прочно растянутой сеткой... Это судьба эпигонов. То ли дело первые циркачи, которым приходилось кувыркаться с трапеции на трапецию без спасительной сетки внизу.

Замечательно, что «последователь» Бунина Зуров, то есть эпигон эпигона, еще искуснее описывает поцелуй крестьянки или зимний наст. Тут выражена какая-то закономерность.

Бунин на собраниях или в гостиной был наряден и любезен. Тщательно выбритый, с белым лицом, седой, иногда во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый, дворянин, европеец.

— Это он после того, как ему вырезали геморрой, начал себя так держать! — уверял Иванов, еще больше оттопыривая нижнюю губу.

Ночью на Монпарнасе, у «Доминика» или в «Селекте», подсаживаясь к нам, Бунин был мужественно изящен и прост. С ним

нельзя было, да и не надо было, беседовать на отвлеченные темы. Не дай Бог заговорить о гностиках, о Кафке, даже о большой русской поэзии: хоть уши затыкай. Любил он черезмерно Мопассана, которого французы не могли считать великим писателем, как и американцы Эдгара По! Что не мешало обоим этим литераторам сводить с ума Россию.

Боже упаси заикнуться при Бунине о личных его знакомых: Горький, Андреев, Белый, даже Гумилев. Обо всех современниках у него было горькое, едкое словцо, точно у бывшего дворового, мстящего своим мучителям-барам.

Он уверял, что всегда презирал Горького и его произведения. Однако лучшая по старым временам поэма Бунина «Лес, точно терем расписной...» была посвящена в первом издании Максиму Горькому. Позже, в эмиграции, он перепечатывал ее уже без посвящения.

— Не трогайте о. НН! — выкрикивал он вдруг в порыве какого-то душевного великодушия, хотя мы ничего дурного об о. НН не собирались говорить. — Не трогайте его, это мой Митя!..

Тут, конечно, любопытное противоречие, бросающее свет на процесс творчества Бунина и на ограниченность его кругозора: в «Митиной любви» герой кончает довольно банальным самоубийством, тогда как на самом деле молодой человек из его повести постригся в монахи и вскоре стал выдающимся иереем.

Натуральной склонностью обиженного в молодости Бунина было высмеять, обругать, унизить. Когда богатый купец угощал Бунина хорошим обедом, он, показывая независимость, привередничал, браковал вина, гонял прислугу, кричал:

— Да если бы мне такую стерлядь подали в Москве, так я бы...

Глядя на него, можно было легко поверить, что в России неплохие люди, единственно чтобы показать самостоятельность, мазали горчицей нос официантам и били тяжелые зеркала. А ресторатор это понимал не хуже Фрейда или Адлера.

Бунин интересовался сексуальной жизнью Монпарнаса; в этом смысле он был вполне западным человеком — без содроганий, проповедей и раскаяния. Впрочем, свободу женщин он считал уместным ограничить, что сердило почему-то поэта Ставрова.

Семейная жизнь Бунина протекала довольно сложно; Вера Николаевна, подробно описывая серую молодость «Яна», позднейших приключений его не коснулась, во всяком случае, не опубликовала этого.

Кроме Кузнецовой — тогда молодой, здоровой, краснощекой женщины со вздернутым носиком,— кроме Галины Николаевны в доме Буниных проживал еще Зуров. Последний был отмечен Иваном Алексеевичем как «созвучный» автор, и его выписали из Прибалтики. Постепенно, под влиянием разных бытовых условий, Зуров вместо благодарности начал испытывать почти ненависть к своему благодетелю. К тому же, несмотря на заботливый уход Веры Николаевны или по причине его, Зуров вдруг тронулся рассудком, подвергаясь периодически припадкам помешательства. Он уже давно писал огромную эпопею «Зимний дворец», которую по многим причинам не мог или не желал печатать в эмиграции.

В свои последние годы Бунин сообщал гостям, насмешливо кивая в сторону комнаты Зурова:

— Вот «Войну и мир» все пишет, ха-ха-ха.

Рассказывая мне об этом в Нью-Йорке, Алданов неизменно добавлял:

— Уважаю, очень уважаю, но сам я не могу десять лет работать над одной вещью.

Когда Алданов писал пьесу для театра Фондаминского, он систематически прочитывал все известные драмы: новые и классические.

— Хороших пьес нет! — сообщил он мне с некоторой печалью.

Мы сидели наверху в «Мюра». Бунин только что вернулся из Италии и с радостью повторял слова, недавно сказанные Муссолини о том, что он не позволит поделить Испанию на две части! Надо было, конечно, объяснить Алданову, почему он не заметил хороших пьес, но тут Бунин вмешался и рассказал, что тоже когда-то начал писать трагедию, но неудачно, и поэтому уничтожил рукопись.

— Вот этого я не понимаю,— хозяйственно упрекал его Алданов. — Ну, отложите в сторону, спрячьте. Когда-нибудь пригодится!

— Это бы меня беспокоило,— нехотя поучал Бунин своего друга. — А сжег, конец!

Кузнецова, кажется, была последним призом Ивана Алексеевича в смысле романтическом. Тогда она была хороша немного грубоватой красотой. И когда Галина Николаевна уехала с Маргаритой Степун, Бунину, в сущности, стало очень скучно.

Бывало, на юге, в Грассе, утром выходит из комнаты Ивана Алексеевича Кузнецова и обращается к Вере Николаевне (заикаясь, со вздернутым смазливым носиком):

— Иван Алексеевич получил очень интересное письмо из Парижа...

— Ну, если оно интересное, то он мне сам расскажет,— при людях сдержанно отвечала Бунина.

Ходасевич называл Кузнецову—Зурова — бунинским крепостным театром.

На Монпарнасе Бунин хаживал в отдельные комнаты наших поэтесс, стараясь проникнуть в местные тайны; потом говорил:

— Душечки, вы ничего нового не выдумали. Вот была у нас в Москве Инна Васильевна...

Типичнейший перебор зубров: при виде Лувра вспомнить родную каланчу; читая Пруста, похвалить симбирского самородка, спившегося 50 лет тому назад. Зайцев был гораздо культурнее, знал языки и ценил Запад, разумею, искусство Запада.

Вспоминаю эти ночные часы, проведенные в обществе Бунина, и решительно не могу воспроизвести чего-нибудь отвлеченно ценного, значительного. Ни одной мысли общего порядка, ни одного перехода, достойного пристального внимания... Только «живописные» картинки, кондовые словечки, язвительные шуточки и критика — всех, всего! Кстати, Толстой крыл многих, но обидели его не Горький с Блоком, а Шекспир и Наполеон.

— Как изволите поживать, Иван Алексеевич, в смысле сексуальном? — осведомлялся я обычно, встречая его случайно после полуночи на Монпарнасе.

— Вот дам между глаз, так узнаешь,— гласил ответ.

И этот старинный прием: между глаз... звучал, как вальс «На сопках Маньчжурии».

Единственно что меня потрясло в его речах и я вспоминаю часто, как цитату из Пруста или Достоевского, это его слова относительно критики, рецензий, отзывов:

— Вот до сих пор еще, а ведь сколько этого было, — услышал я от него раз в «Доминике». — Увидишь свое имя напечатанным, и сразу тут, в сердце, — Бунин поскреб щепотью свою грудь слева,— тут почувствуешь нечто похожее на оргазм.

Вот такие откровения чувственного мира для него характерны. И еще памятно... Раз во время оккупации в Ницце Адамович мне показал открытку от Бунина. Иван Алексеевич писал, что к ним приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя, «да и ему, вероятно, некуда идти». Последние слова я помню точно. И это прозвучало для меня,

как пушкинское «И милость к падшим призывал»... Неожиданно и прекрасно.

Когда Иван Алексеевич удостоился Нобелевской премии, все корреспонденты, и русская печать в особенности, описывали, как изящно, по-придворному, лауреат отвесил поклон шведскому королю. И фрак Ивана Алексеевича, и рубашка — все выглядело безукоризненно. Об одном почти забыли упомянуть или упоминали только мельком — это о содержании его речи. Кем-то переведенная для Бунина, может быть при участии А. Седых, и произнесенная с плохим французским выговором, она была плоска и бесцветна.

Казалось бы, вот оказия выпрямиться во весь рост, выкрикнуть что-то свое о большевиках, о войне, о подвиге эмиграции, о свободе явной и тайной. Весь мир через час услышит, прочитает, повторит.

Но нет, Ивану Алексеевичу нечего прибавить к своим произведениям. Он локальное, русское, литературное явление. Европу, Америку он может удивить только европейским фраком и придворным книксеном.

У меня с Буниным, несмотря на частые встречи, личных отношений почти не было. Раз мы просидели целый вечер одни в коридоре, дожидаясь конца собрания, на котором Адамович, Гиппиус, Вейдле и даже Ходасевич славословили прозу Фельзена (тут же прочитавшего несколько отрывков). Бунину было так же трудно переварить этот «социальный заказ» наших критиков, как и мне! Так мы шептались часа два, беседуя и сплетничая. Это был умный, ядовитый, насмешливый собеседник, свое невежество искупавший шармом.

Все, что я писал, Бунину было совершенно чуждо; его «психологические» романы казались мне повторениями века Мопассана или Шницлера по-русски, то есть с обильной закуской, жаворонками и закатами.

Когда выходила моя новая книга, я ее аккуратно посылал лауреату с любезной надписью. При встрече он благодарил, иногда делал двусмысленный комплимент. Так, о «Любви второй» сказал приблизительно:

— Хорошо у вас там религиозное преображение. А вот героиня упоминает о менструации: не знаете вы женщин, никогда они про это не заговорят.

Оставалось только томительно вздыхать и улыбаться: не спорить же с ним об этих предметах.

— Иван Алексеевич, — скажешь ему наконец. — Ведь вы только знаете русских старорежимных женщин. Сознайтесь, ведь у вас никогда не было романа с европейкой...

— Вот стукну между глаз, тогда узнаешь!.. — гласил незамысловатый ответ.

Вера Николаевна довольно часто спорила с мужем относительно бытовых подробностей того или иного описанного им происшествия: где, когда, с кем... Это была русская («святая») женщина, созданная для того, чтобы безоговорочно, жертвенно следовать за своим героем — в Сибирь, на рудники или в Монте-Карло и Стокгольм, все равно! Случилось, что на каторгу ей не пришлось идти, но, конечно, она не побоялась бы разделить судьбу Волконской и Трубецкой, даже, может быть, предпочла бы это — Грассу и 1, рю Жак Оффенбах.

Для бала Союза молодых писателей и поэтов или для наших больших общих, и индивидуальных, вечеров Бунина неутомимо собирала пожертвования, продавала билеты, просила, кланялась, с достоинством благодарила... Ходила по русским бакалейным лавкам, унося для буфета дареные рижские шпроты и польскую колбасу.

Принимала участие в судьбе любого поэта, журналиста да вообще знакомого, попавшего в беду, бежала в стужу, слякоть, темноту. Был такой сотрудник «Возрождения», ныне москвич — Рощин; это он рассказывал с гордостью, что Куприн, которого он угостил хорошим обедом и заставил прослушать свою новую повесть, Куприн, попросив еще коньяка, благодушно воскликнул:

— Пишите, пишите, пишите!

Кстати, считалось, что именно Куприн сложил не совсем лестный стишок про Рощина: «У малютки труд упрощен: сел на... и подпись Рощин».

Итак, Рощин вдруг сманил законную жену одного русского таксиста (с ребенком), а потом никак не мог их прокормить своим трудом. Вера Николаевна и этим делом занялась вплотную, о чем, думаю, Зуров или Кузнецова когда-нибудь подробно расскажут.

По окончании парижского университета мне по закону полагалось для получения звания доктора Сорбонны н а п е ч а т а т ь свою диссертацию. А для этого нужны деньги.

И Вера Николаевна носилась по тучным меценатам с подписным листом, собирая на these de Paris*. Мне было совестно; в кон-

---

* Парижскую диссертацию *(фр.)*.

це концов диплом ничего общего с литературой не имеет, зачем ей стараться! А она с холодной улыбкой на бледно-матовом лице, что-то похожее на Джоконду, объясняла:

— А мне очень приятно ходить именно по такому делу. Обычно я обращаюсь к солидным, практичным людям и прошу на какие-то стишки, которые они не знают и вряд ли когда-нибудь узнают. А тут вдруг впервые я могу их обрадовать понятным и приятным образом: помилуйте, на докторскую диссертацию, устроится человек и другим начнет помогать... Это они чувствуют!

Зуров в присутствии Бунина вел себя по меньшей мере странно: молчал, редко обращался к нему прямо, а когда Иван Алексеевич что-то рассказывал, то Зуров прислушивался с улыбкой, мною названной горгуловской. Точно Зуров знал какую-то правду о Бунине, которая противоречила всей видимости.

Позже, когда Зуров заболел, он грозился неоднократно зарезать Бунина, и на долю Веры Николаевны выпала нудная роль не только ухаживать за больными, но и охранять их от острой бритвы.

В сенях на 1, рю Жак Оффенбах, когда гость, бывало, старается повесить пальто на первый попавшийся гвоздь у вешалки, Вера Николаевна шепотом предупреждала:

— Нет, это крючок Леонида Федоровича (Зурова). Он может рассердиться. Повесьте на соседний гвоздик.

Бунину ничего не нравилось в современной прозе, эмигрантской или европейской. Похваливал (тепловато) одного Алданова. Когда начали выходить «Русские записки», то там опять Алданов, параллельно своим романам в «Современных записках», занимал по 50 страниц в номере. На Монпарнасе шутя утверждали, что после смерти Алданова в зарубежной прессе станет просторно; увы, мы не догадывались, что и другие уйдут, а в первую очередь — культурный читатель.

В связи с очередной продукцией Алданова «Пуншевая водка» я Бунина даже пристыдил и заставил объяснить, что в ней хорошего!.. Исчерпав ряд доводов, он наконец неубедительно закончил:

— Но как это написано!

— Плохо написано, Иван Алексеевич, — ответил я. — Алексей Толстой пишет божественно в сравнении с такой подделкой.

Алексея Толстого Бунин, конечно, ругал, но «талант» его (стихийный) ставил высоко. Думаю, что у Бунина вкус был глубоко провинциальный, хотя Л. Толстого он любил всерьез.

По своему характеру, воспитанию, по общим влечениям Бунин мог бы склониться в сторону фашизма; но он этого никогда не проделал. Свою верную ненависть к большевикам он не подкреплял симпатией к гитлеризму. Отталкивало Бунина от обоих режимов, думаю, в первую очередь их хамство!

В Германии, куда он поехал проведать Кузнецову, его на границе обыскали СС (залезали пальцем в анус): искали бриллианты, что ли?.. Помню, с каким бешенством он про это рассказывал. Догадываюсь, что такие эпизоды в жизни физиологически цельного Бунина сыграли большую роль, чем все теории и программы.

Мне Иван Алексеевич за все годы писал раза 2-3, и всегда кратко, деловито. Только однажды получилось иначе. Летом 1942 г. перед отъездом в США я написал ему из Монпелье, прося какой-то американский адрес, может быть Алданова. Бунин мне ответил из Грасса тотчас же, чуть ли не обратной почтой, и вполне обстоятельно. Сообщал нужные адреса, присовокупив еще некоторые от себя. «Пишете ли Вы что-нибудь, разумею — литературно?» — осведомлялся он и дальше увещевал: надо писать! Именно в такое время! Это единственный достойный ответ, доступный еще нам! Не помню дословно. Письмо это было тем более трогательно и ободряюще, что ему мои писания ни с какого боку не подходили, я это знал. Вот эта смесь природного изящества, такта, милосердия наряду с грубостью недоросля из дворян особенно умиляла в Бунине.

На балу русской прессы в Париже 13 января ночью я очутился рядом с облаченным во фрак стройно-сутуловатым, поджарым Буниным. Кругом носились полуобнаженные женщины в нерусском танце, музыка играла греховно-обнадеживающе.

— Иван Алексеевич, — обратился я к нему, — Вам не кажется, что мы, в общем, профуфукали жизнь?

Бунин не удивился этому странному вопросу и не обиделся на фамильярное «мы»; подумав, он очень трезво ответил, не отводя, впрочем, глаз от кружащихся пар:

— Да, но ведь *что* мы хотели поднять!

В те годы Алданов неизменно делал комплименты Мережковскому:

— Вас, Дмитрий Сергеевич, считают в Германии первым русским писателем, но реакционером. «Берлинер Тагеблатт» так и пишет: эйнгефлайштер реакционэр.

Мережковский польщенно осклаблялся и горько повторял: «Эйнгефлайштер реакционэр»... Он себя таковым не считал.

Когда начали печатать бесконечную трилогию Алданова «Ключ», последний одно время довольно часто наведывался к Мережковским. Раз в углу гостиной происходил такого рода разговор:

— Марк Александрович, я собираюсь выругать «Ключ», вам это будет очень неприятно?

— Очень, Зинаида Николаевна. Вы себе даже не представляете, как это мне будет неприятно.

Ну, Гиппиус, кажется, о «Ключе» не написала.

— Это, собственно, что же такое, ваш роман, авантюрный? — спрашивает Зинаида Николаевна, вертя во все стороны лорнет, не решаясь упереться взглядом в ответственного сотрудника «Последних новостей».

— Это психологический роман, — вкрадчиво объяснял Алданов, озираясь, точно боясь быть услышанным посторонними.

— Марк Александрович, — крикнет Мережковский, прерывая спор о Маркионе. — Мы решили, что Зина должна начать сотрудничать в «Последних новостях». Что вы об этом думаете?

— Многие не поймут этого литературного развода, — мягко отвечает Алданов.

Чудом карьеры Алданова надо считать факт, что его ни разу не выругали в печати, за исключением Ходасевича. Я часто, недоумевая, спрашивал опытных людей:

— Объясните, почему вся пресса, включая черносотенную, его похваливает?..

Даже дипи начали ловко вставлять в текст своих статей комплимент Алданову: концовку, вроде как бывало раньше в Союзе похвалу «отцу народов». Они дошли до этого инстинктом и уверяют, что таким образом статья наверное пройдет, и без больших поправок, даже встретит сочувственный отзыв влиятельных подвижников.

В чем тайна Алданова? Неужели он так хорошо и всегда грамотно писал, что не давал повода отечественному исследователю его вывалять в грязи (по примеру других российских великомучеников)?

Толстого ловили на грамматических ошибках. Достоевского, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Державина и Пастернака. Кого в русской литературе не распинали на синтаксисе! Но не Алдано-

ва. Алданова никогда ни в чем не упрекали: все, что он производил, встречалось с одинаковой похвалой. Что случилось с зарубежным критиком?

На Монпарнасе Иванов цитировал строчку из нового отрывка Алданова: там его героиня Муся старалась походить на женщину. Алданов, увы, был вне сексуальных тяжб. Как многие наши гуманисты, он, однажды обвенчавшись, этим самым разрешил все свои интимные проблемы: ни разу не изменив жене и ни разу не прижив с ней ребенка. Вишняк, Зензинов, Руднев, Фондаминский, Федотов, Бердяев и разные марксисты — все это люди бездетные. Сколько было скопцов в том поколении, поразительно.

И строчки, где бедная Муся кокетничает или занимается своим туалетом, приобретали зловеще-комичный оттенок в устах сумрачного Иванова; мы все кругом невесело посмеивались: Алданов занимал в журналах половину всего места, уделяемого прозе. И, пожалуй, половину критических отзывов.

Он считался образцом любезности и доброжелательства: никому отказа не было. Но и пользы большой от его предстательства не обнаруживалось. Меня отталкивала его всегдашняя, подчеркнутая готовность услужить.

Алданов, талантливейший, культурнейший публицист, почему-то задумал писать бесконечные романы. И это была роковая ошибка.

Перечитывая «Похождения Чичикова», я совершенно непроизвольно, однако всегда на тех же страницах, вспоминаю Алданова... «Приезжий наш гость также спорил, но как-то чрезвычайно искусно, так что все видели, что он спорил, а между тем приятно спорил. Никогда он не говорил: «вы пошли», но «вы изволили пойти», «я имел честь покрыть вашу двойку» и тому подобное».

Галина Кузнецова, писательница деликатнейшая, в своем прелестном «Грасском журнале», где она ни о ком не отзывается резко или худо, все же так повествует о Марке Алданове:

«Всю дорогу туда и обратно он расспрашивал. Это его манера. Разговаривая, он неустанно спрашивает, и чувствуется, что все это складывается куда-то в огромный склад его памяти, откуда будет вынуто в нужный момент. Расспрашивал он решительно обо всем: как мы здесь живем, охотятся ли здесь, ездят ли верхом, почему не охотится Иван Алексеевич, почему не ездит верхом, почему не ловит рыбу...» и так далее, и так далее...

Как не вспомнить здесь знаменитый ларчик, куда Чичиков «имел обыкновение складывать все, что ни попадалось». А в дру-

гом месте «Мертвых душ»: «Потом, само собою разумеется, письмо было свернуто и уложено в шкатулку, в соседстве с какой-то афишею и пригласительным свадебным билетом, семь лет сохранявшимся в том же положении и на том же месте».

Пошлешь Алданову свою новую книгу и обратной почтой получишь летучку или открытку с благодарностью и пожеланием успеха. Бунин если отвечал, то только предварительно перелистав или прочитав книгу.

— Над чем изволите теперь работать? — осведомлялся Алданов, и молодой литератор недоумевающе оглядывался, не зная, к кому обращаются с этим вопросом.

А получив ответ, вежливо продолжал:

— У кого предполагаете издавать?

Последний вопрос, уместный, может быть, в Москве, в наших условиях был совершенно бессмыслен.

Мне случалось наблюдать за Алдановым на одном полуполитическом собрании, и я многое понял... Союз журналистов по требованию председателя Милюкова собрался, чтобы исключить члена Союза Алексеева, заподозренного в сотрудничестве с советской контрразведкой. Заседание было «бурное», защищали Алексеева сотрудники «Возрождения», в первую очередь светлой памяти Сургучев (чьи скрипки в июне 1940 г. зазвучали по-весеннему).

Коллеги Алексеева упрямо повторяли, что обвинение не доказано.

— Позор! — выкрикивал Сургучев.

— Позор! — подхватывал спереди Мейер. И маленький зал Российского музыкального общества совсем немузыкально содрогался.

Почему-то в этот вечер присутствовало много молодых, имевших еще свой Союз писателей и поэтов. Очевидно, была произведена мобилизация «передовых» сил.

Председательствовал генеральный секретарь Зеелер, для меня тоже вышедший из «Мертвых душ» — Собакевич. Выступали разные «беспокойные» личности, путавшие и раздражавшие Зеелера. Наше отношение к чекисту было вполне определенное, и все спокойно ждали голосования. Надо отметить, что в Париже собралось несколько десятков литераторов в продолжение всей эмиграции, с посольством на рю Гренель не заигрывавших. Позже они зеленых мундирчиков не надевали и в «освободительных»

газетках не сотрудничали. Историку отечественной словесности этого периода когда-нибудь придется с похвалою отметить сей факт. То, что случилось с Маклаковым, особое послеоккупационное явление — реакция на чудесное спасение России.

В перерыве я спросил Алданова:

— А вы, Марк Александрович, что думаете по этому поводу?

— Очень грустно все это,— ответил он неохотно. — Что тут думать.

Почти то же самое он мне сказал позже, в Нью-Йорке, по поводу ссоры Бунина с Зайцевым—Зеелером.

Когда приступили к голосованию, в самую напряженную минуту я случайно оглянулся и заметил, как пухлый Алданов, похожий на моржа (с ластами вместо рук), проворно скользнул за дверь и скрылся, от явного голосования уклонившись.

В нем многое казалось и было подделкою. Его желание выглядеть петербуржцем или западноевропейцем... Утверждали, что Алданов много пьет и пишет свои произведения в кафе: совсем как poetes maudits*.

Даже на его доброжелательности, услужливости, порядочности был какой-то налет лжи, которую так ненавидел обожаемый Алдановым Лев Толстой.

— Ведь ключ к «Войне и миру» потерян, его нельзя найти! — жаловался он в минуту откровенности.

Предполагалось, что к каждому литературному произведению имеется «ключ», и если Марк Александрович его не нашел, значит, его уже никто не сыщет.

Алданов понимал, что Пруста надо хвалить, но думаю, что он его не читал. Отзываясь уважительно о Прусте, он тут же упоминал имя какого-нибудь другого писателя, которого нельзя поставить рядом, например Марквенда. Да и никаких следов, оставленных Прустом, нельзя было заметить в Марке Александровиче. Но он часто повторял, что не может себе простить двух роковых ошибок — не съездил в Ясную Поляну и не видел живого Пруста... а обе эти возможности были ему доступны. Характерно для Алданова: читать Пруста не обязательно, а поглядеть на него из угла кафе полагается.

Кстати, какой это страшный литературный анекдот — единственная встреча Пруста с Джойсом (при жизни). Их представи-

---

* Проклятые поэты *(фр.)*.

ли друг другу в людном и модном салоне. Они постояли с минуту рядом, обменялись условным приветствием и разошлись: им абсолютно не о чем было разговаривать.

Здесь уместно вспомнить эпизод из моей личной жизни на другом уровне, но тоже свидетельствующий о трагической близорукости людской породы... В июне 1942 г. мы отплыли из Касабланки в США на португальском теплоходе «Serpa Pinto». После скучных остановок на Азорах и Бермудах нас прибило к берегам Нью-Джерси в конце июня того же года, а не в июле, как ошибочно указано в некоторых очерках.

Среди наших пассажиров я обратил внимание на одну девицу, растрепанную, нечистоплотную, всегда в том же серо-коричневом, пахнущем потом платье. В довершение беды она, казалось, ни на минуту не смолкала, и хотя ее французский был безупречен — на манер Декарта или Паскаля, — но тон ее речи — ровный, без пауз, упрямо-долбящий, истерический — пугал меня не на шутку. Мы избегали ее как заразы и, завидев на корме корабля, бежали на нос (или наоборот — с бака на корму). Я ни разу не попытался подойти к ней поближе.

Имя этой девицы было Симона Вайль.

VII

Одно время я жил в Ванве, на рю де л'Авенир (см. «Портативное бессмертие»); против моего окна разверзалось железнодорожное полотно — на Медон. Если перейти миниатюрным туннелем на другую сторону дороги, то сразу начинался Кламар. Там можно было встретить Бердяева. В синем берете, серебристо-седой, величественный, красивый старец, судорожно сжимающий в зубах толстый мундштук для сигары — спасаясь этим от тика! Он выходил из своего домика с каменным крылечком, подарок американской поклонницы, и осторожно спускался по улице к станции Кламар или к трамвайной линии, бежавшей до площади Шатлэ. В другую сторону трамвай подымался до самого края медонского леса.

Бердяев один из немногих в эмигрантском Париже сохранил барское достоинство и аристократическую независимость. Ибо рядовые «рефюже» были затасканы и задерганы обстоятельствами до чрезвычайности. Процесс, в общем, напоминал метамор-

фозу еврейского племени в изгнании... Предержащие власти, модные депутаты французские, патриотические (почвенные) газетки сплошь и рядом обвиняли бывших штабс-капитанов, адвокатов, шоферов, академиков и их жен в семи смертных грехах! Какой тут может быть спор: во всем виноваты sales meteques*.

И действительно, при внешнем взгляде на эмигрантскую массу поражала общая неосновательность, лживость, даже бесчестность, какая-то особая непрочность всего существования с нелепыми затеями и грандиозными прожектами без достаточных фондов. В придачу — полное неуважение к местным законам... Страх перед городовым, неуверенность в собственных правах, просроченные документы, хлопоты о праве на жительство, о праве на труд (ави фаворабль) и обилие пораженческих анекдотов.

Все это способствовало сближению разных поколений, слоев и волн русской эмиграции, закаляя ее творческие черты, собирая в один живой кулак... Впрочем, некоторую роль играли, конечно, и воздух французский, пейзаж, виноградный сок, наконец — закон (lex). Особенность французской культуры несомненно в ее чисто римском критерии национальности: юридическая принадлежность, паспорт окончательно решают этот вопрос. А англосаксы и русские все еще главным образом руководствуются расовыми или религиозными соображениями. Здесь преимущество латинских стран при неминуемой встрече с народами Азии и Африки.

Два колосса готовятся к взаимному истреблению во имя свободы и прогресса: СССР и США. Два примитива почти одинаково материалистически настроенные. И обе эти империи не разрешили еще в основном своих племенных и расовых противоречий.

Франция подобно великому Риму руководствуется исключительно юридическим признаком. И наши доморощенные философы, списавшие Марианну в расход, может быть, чересчур поспешили, ибо примат правовых и культурных ценностей над древней генетикой в христианском мире — бесспорная истина.

Итак, во Франции наблюдался процесс «ожидовления» русской эмиграции. Процесс общий, если не считать счастливых архидюков и просто дюков, сохранивших в банках царское золото, а в Ментоне удобные виллы и живших совершенно независимо. Впрочем, до прихода Гитлера они культурно все меньше и меньше себя проявляли.

---

* Чужаки *(фр.)*.

Правая эмиграция билетов на наши вечера не покупала и литературу не поддерживала по причине равнодушия, а порой и страха. «Все вы масоны»,— говорили эти мудрецы и подмигивали многозначительно. Все, кроме генерала Краснова, им казалось уже совершенно ненужным, даже подозрительным; правда, некоторые ссылались еще на Достоевского, но вряд ли его читали.

Сотрудники «Последних новостей» изобрели подобие смешной игры; неожиданно один или одна говорили громко:

— Господа, вот отворяется дверь и входит согбенный живой Чехов с очередным материалом... осведомляется, принимает ли редактор...

Надо было найти воображаемую ответную реакцию; все хохочут и подсказывают:

— Опять старый черт приплелся со своими рассказами!

Правда этого анекдота заключалась в том, что на малом эмигрантском рынке с огромной конкуренцией, с излишком предложения и ограниченным спросом Чехову пришлось бы унижаться, как Ремизову, чтобы пристроить рукопись и прокормиться. Да, одна декада безнадежной нужды коренным образом изменила русского интеллигента, даже барина, превратив его, трезвого, в попрошайку.

Однако встречались еще и другого типа люди; даже в пресловутой игре «Последних новостей» наступала вдруг заминка, когда двери распахивались и входил воображаемый Лев Николаевич... Все мысленно расступались, пропуская его немедленно в кабинет к Демидову: тут покровительственный тон или фамильярность были явно неуместны.

Вот кем-то из этой породы «львов» держал себя в эмиграции Бердяев, и без всякого усилия — по праву. Он и происходил будто бы из царского рода Бурбонов, и вел себя соответствующе, как надлежит первому среди равных или равному среди первых.

Бердяева я впервые увидел на каком-то русском собрании. В переполненной, неуютной комнате все стулья были давно заняты, и я уселся на столике у дальней стены, глядя вперед через многоцветные эмигрантские головы на трибуну, откуда монументальный философ бросал свои короткие фразы. Вдруг я заметил, что лектор делает в моем направлении резкие, судорожные знаки головою и кистью руки, предлагая, по-видимому, слезть с удобного места. Нехотя я уступил, сетуя: «Радикальный мыслитель, а малейшей экстравагантности не разрешает даже своим слушателям...»

Об этом я и пожаловался после собрания и был встречен дружным хохотом. Оказалось, что я принял его знаменитый тик за жестикуляцию, обращенную ко мне. Этот упорный тик, направленный одновременно на каждого в аудитории, не был, разумеется, случайным явлением и свидетельствовал о каком-то давнем ушибе, оставившем неизлечимую рану. Здесь, собственно, разница между мудрецом и философом; первых было много в античном (аграрном) мире; последние же размножаются со времени изобретения печатного станка.

Мудрец живет в соответствии со своею мыслью, со своим учением. От «философа» требуются только знания, талант анализа или обобщения. Верю, что Сократ, Диоген, Толстой или Сковорода могли бы избавиться от бердяевского тика; но не Шопенгауэр или Соловьев.

Другому нашему профессору, Степуну, врачи как-то запретили курить, и он начал унизительно сосать потухшие окурки, поглядывая на хронометр, высчитывая, сколько минут осталось до следующей папиросы, жалуясь на свою судьбу, — в пору самой ответственной работы приходится отказаться от табака! Жена Федора Августовича, женщина простая и умная, в сердцах сказала ему: «Наплевать, что ты философ! Если ты не можешь преодолеть одной своей слабости, то ты просто тюфяк!» (Передаю со слов Маргариты Степун.)

Думаю, что всякий мудрец, то есть живущий в согласии со своим учением, является одновременно учителем жизни. И польза от него большая, даже если система внешне примитивна. Философ же, к сожалению, только преподает философию. Мы как-то забыли обо всем этом. А в «остальных странах», между прочим, по сей день еще полно мудрецов, то есть людей, соединяющих акт с мыслью воедино.

От Бердяева я унаследовал только одну ценную мысль социального порядка От него я впервые услышал, что нельзя прийти к голодающему и рассказывать ему о Святом Духе: это было бы преступлением против Святого Духа.

Такая простая истина указала мне путь к внутренней Реформе. Я понял, что можно участвовать в литургии и тут же активно стремиться к улучшению всеобщего страхования от болезней; борясь с марксизмом, оставаться братом эксплуатируемых...

За это скромное наследство я прощаю Бердяеву его «новое средневековье», мессианизм, особенности «национальной души» и прочий опасный бред.

Пора, пора вспомнить, что «национальная идея» — это выдумка немецкого, и очень языческого, романтизма. А мыслители, даже боровшиеся с прусскими системами и защищавшие христианскую церковь, все же ссылаются на пресловутую «национальную душу» с таким видом, как будто она является реальностью христианского опыта.

У отцов церкви или у святых, не говоря о евангелистах, понятия «национальной души» не найдешь! Этой сомнительной ценностью они не оперируют. У них упор на личное, персонально отобранное, очищенное в огне Святого Духа.

Национальная душа существует в натуральном, дохристианском, архистадном порядке жизни. «Иудеи жаждут чудес» — это национальная идея до второго рождения. «Эллины ищут мудрости...» ...«А мы проповедуем Христа Распятого». Все христиане: и эллины, и иудеи, и японцы, и римляне отныне имеют уже только одно спасительное Имя, одну дверь, один путь. В пределах христианской теологии орудовать «национальной идеей» так же бессмысленно, как укладываться на кушетку Фрейда или, задрав штаны, бежать за Дарвином.

В 1931 г. вышел мой роман «Мир», который я послал Бердяеву и удостоился нескольких писем от него. Он уверял, что я нахожусь под влиянием недавно вышедшей книги «Voyage au bout de la Nuit»[*]. Я объяснил в ответ, что, будучи подобно Селину парижским врачом, естественно, подвергаюсь соблазну тех же тем и приемов.

Вообще Бердяев относился к молодежи внимательно и в «Круге» появлялся сравнительно часто, только уезжал пораньше в свой Кламар. Читал он доклады обычно, пользуясь кратким конспектом. Заглядывал на минутку, затем продолжал свою ясную речь, состоящую из очень простых и сжатых фраз. Слушал он наши возражения терпеливо и спорил серьезно, не обижаясь.

Существует довольно распространенное мнение, что в парижскую эпоху на русскую эмиграцию влияли Бердяев, Федотов, Адамович... Это, конечно, верно; но не исчерпывает предмета. Ибо было и встречное, *наше* воздействие. Так что трудно оценить даже, кто на кого и как влиял. Я, например, думаю, что иные выступления Поплавского (и еще молодых) действовали гораздо чаще на Бердяева, Федотова и других «властителей дум» и вызывали творческий отклик.

---

[*] «Путешествие на край ночи» *(фр.)*.

В тридцатых годах в Париже артель мастеров укладывала сложнейшую и прекраснейшую мозаику; если угодно, собирали мед — все или многие, с одинаковым рвением! В этом ценность той эпохи; и только благодаря участию целой артели удалось добиться единства стиля, вкуса, красок, тона. До известной степени.

Предполагать же, что пока были живы Куприн, Бунин и Ходасевич с Мережковским, зарубежье культурно процветало, а с их кончиной — захирело... Высказывать такого рода суждения могут только люди, не понимающие основного чуда эмиграции...

Случилось так, что жена моя, которую я выпроводил из Парижа 10 июня 1940-го, через сутки попала в дом к Бердяеву (на юге); там ее не знали. После непродолжительной и вполне оправданной заминки ее впустили в дом и пристроили на несколько дней, пока она не переехала в Аркашон к Фондаминскому. В этом испытании было много соблазнов, но Бердяев из него вышел, как подобает мудрецу и учителю жизни.

Я читал в «Круге» свой «План Свифтсона», который потом печатался в «Новом граде»; Милюков, взявший «Портативное бессмертие» для «Русских записок», зачеркнул эту главу под тем предлогом, что он не разделяет высказываемых там суждений.

В этом моем плане всевозможных реформ говорилось, между прочим, что вождями наших ячеек надо избирать худших братьев, а не лучших: тогда не будет борьбы и ревности! То же относительно экуменической литургии: следует признать церковь послабее, менее удачную и принять е е ритуал. Фондаминский, веривший наивно в «элиту» (интеллигенцию), спешил выяснить именно этот поразивший его вопрос «до ухода Бердяева». Последний с улыбкой меня поддержал.

За Бердяевым стояла какая-то благодатная «подлинность»; купить этого «барина», разумеется, никому бы не пришло в голову. У Мережковского некое метафизическое продажное начало сразу бросалось в глаза.

Время оккупации Бердяев провел в героическом и почетном одиночестве. После победы, в которой русские «катюши» сыграли такую большую роль, «признание» Бердяевым сталинской империи было так же психологически неизбежно, как и визит Маклакова на рю Гренель.

В нью-йоркском журнале «Третий час» (Извольская, Манциарли, Лурье, Яновский) мы еще долго продолжали печатать на пер-

вом месте великодержавные статьи Бердяева, что возмущало Федотова. Теперь, конечно, понятно, что последний был прав. Мы посылали Бердяеву черную гречневую крупу, которую наш европейский философ бурбонских кровей прямо-таки обожал.

На панихиде по Бердяеву в кафедральном соборе ко мне подошел Федотов и с привизгом, с интеллигентским забеганием вперед, даже внешне неискренне прощая ему все, хотя Бердяев ни в чем не извинялся, восторженно заявил:

— Он умер, как солдат на посту, за письменным столом! Как солдат на посту!

Я ничего не ответил: было тяжело и стыдно. За всех и все. За Федотова с его «неосновательным» тоном или жестом; за себя и собственные беспомощные оценки. За покойника, пусть даже умершего «на посту»... Нас путала ужасная Россия, «патриотизм», родина. Что истинно в Париже, должно быть правильным в Кремле; свет для англичанина не может быть тенью для русского, и наоборот. «Наше отечество там, где наш Отец небесный». Когда десятилетие спустя кардинал Спеллман посетил Вьетнам и заявил там американским солдатикам: «Right or wrong, my Country...»*, то нам всем хотелось зажать нос от густого запаха воскрешаемого язычества. Пусть права для себя лично Анна Ахматова, не желавшая, как кошка, оставить родной дом, но трижды права и святая эмиграция, в пророческом гневе стараясь отбросить, связать дорогого буйнопомешанного, надеть на него смирительную рубашку!

А Бердяев действительно ежедневно сидел на своем посту за рабочим столом. Всю жизнь он по утрам писал! После завтрака спал часа три — усадебным сном. Потом чай и опять возвращался к своему основному занятию. Мережковский тоже регулярно по утрам часа четыре строчил. Так в продолжение 65 лет. И Ремизов. Других развлечений у этих подвижников не было. Ни спорта, ни женщин, ни вина, ни карт.

Сколько можно написать фолиантов таким путем? И что это докажет? Трудоспособность человека? Дар? Или совершенная непригодность к другой действительности?..

Мне случалось присутствовать при встрече двух мудрецов и друзей: Бердяева и Шестова. Это было весьма трогательное зрелище: оба старца говорили друг другу «ты». Что-то мальчишеское

* Права она или же не права, но это моя страна *(англ.)*. — Р. Киплинг, пер. М. Фромана.

проглядывало, когда они произносили такое необычное слово. Робко, целомудренно, неуверенно звучало это их, вероятно, последнее живое «ты».

— Почему ты не пошлешь в «Современные записки»? — заботливо осведомлялся Бердяев.

— Они уже раз меня напечатали, — объяснял, оправдывая журнал, Шестов.

Высокий, сухой, сутулый, в сюртуке, с козлиной седой бородкой, он походил на фельдшера из уезда, которому «старожилы» больше доверяют, чем врачу.

— А вы почему не пошлете в «Современные записки»? — любопытствовал я.

— Мне не надо, — снисходительно отвечал Бердяев. — Впрочем, я иногда им даю.

Бердяева охотно печатали иностранцы. Почему-то очень много в Южной Америке. Были у него поклонники и во Франции, и в Испании.

Расшалившись, старцы начинали шутить; Шестов рассказывал старинный анекдот, а Бердяев рассеянно и светло улыбался... Смутно помню нечто юмористическое про читателя. Кажется, Ремизов обращается к Шестову:

— Лев Исаакович, я вчера на Невском видел вашего читателя: он осторожно пересек проспект и остановился у витрины.

Что-то в этом роде, но гораздо смешнее.

Отсутствие читателя меня тогда еще не угнетало; предполагалось, что это временное, преходящее явление. Двести, триста человек покупали наши книги, приходили на собрания, участвовали косвенно в литературном хозяйстве. Казалось, что этого пока довольно. Главное, написать и обнародовать: бросить очередную рукопись в бутылке. А океан — время.

Георгий Иванов определял писателя как литератора, нашедшего своего издателя: без издателя ты, может быть, гений, но не профессиональный писатель!

Лишь потом, в других десятилетиях и полушариях, я понял: слово должно быть сказано и услышано (двумя или тремя), иначе оно не слово, а только звук. Вся фауна и даже флора издают звуки.

Наши читатели вымерли, увы, быстрее своих писателей; новые дипи не могли стать подлинными собеседниками. Они вернули эмиграцию к двадцатым годам, в провинцию, с ее обличительной литературой «наоборот»! Подавляющее большинство этих бегле-

цов к религиозным вопросам равнодушно и лишено теологической интуиции. Недаром Белинский и Тургенев утверждали, что «русский мужик Бога слопает». А ведь как нам одно время внушали, что это народ-Богоносец, православнейший христианин и бескорыстный подвижник... А в придачу еще великолепный бунтарь, взыскующий Правды или Истины (тут тонкое различие).

Оказалось, что русский мир — косная биологическая стихия, все принимающая в трезвом виде, мечтающая об индивидуальной телке и о полоске частного огорода. Если очень круто придется, то мы под пьяную руку разобьем чужую усадьбу, пианино загадим и заночуем в участке или в вытрезвителе.

А теологическая интуиция никому не нужна; народ, по-видимому, доволен своим социалистическим реализмом, и давно уже. Позволили бы ему только кормить поросенка под печью или в ящике письменного стола. Новый беженец, приезжая сюда, с радостью отправляется в церковь и разговляется поросенком с хреном. Но в старом русском и эмигрантском диалоге о Боге-Любви и Боге-Силе, о свободе и предопределении, о реальности очевидной или действительной, о несостоятельности энтропии и о воскресении во плоти... в этих несущественных спорах «ссыльно-каторжные» почти не участвуют.

Мистика враждебна, чужда не только комсомольцу, но и беспартийному. А понятия чести нет и не было! Тот гонор, над которым издевался Достоевский, описывая полячишек и французишек; да и Толстой не одобрял.

Без рыцарской чести и без теологической культуры обижаемый православный народ будто бы воспитал в себе чуткую «совесть», инстинктивно тяготея к справедливости и Правде... Но и это оказалось ложью в советской действительности.

В русской истории исключительную роль сыграла баба. Это она оттребалась от внутренних и внешних врагов, строила казармы и метро, кормила поросят в бане, копалась в огороде между двумя сверхурочными сменами, учила ребят мудрости Ленина и пытала «беляков» в пору гражданской войны. У бабы не бывает прогулов.

Вообще, участие женщины в истории каждого народа характерный признак. Удельный вес роли жены и мужа в разных культурах — иной! Здесь новое поле для исследователя.

Совершенно очевидно, что участие русской бабы в истории значительно превышает деятельность ее немецкой товарки. Ни-

чего отдаленно похожего на Марфу Посадницу (и Зою Космодемьянскую) у фрицев нет. А Жанна д'Арк опять-таки стоит совершенно обособленно. За прусскую историю, какая бы она ни была, отвечает в первую очередь немецкий солдат. Баба ему помогала в том смысле, что, получив с Восточного фронта пеленки и сало, запачканные кровью, она с благодарностью пользовалась этим добром. Но, по-видимому, мечты Гретхен или Маргариты не исчерпывались этими приношениями, иначе они не сходились бы так охотно с унтерменшами.

Русская баба самодовлеющая величина! Если бы кобели ее оставили в покое, она давно бы построила крепкое и практичное хозяйство-государство, оттребаясь от орд захватчиков не хуже прежнего. Без теологии, но с церковным пением, наливками, закусками, плясом и хоровыми играми: государство-хозяйство, прочное и образцовое. Русская баба имеет в себе элементы гермафродитизма, чего такие певцы дамских плеч и кос, как Толстой и Тургенев, не заметили. (Пушкин и Достоевский снизошли к дамским ножкам.)

Американская женщина в принципе гомосексуальна. Она до того развила в себе мужские черты характера, что, сходясь с мужем, в действительности спаривается с себе подобным, однополым существом.

Марфа Посадница и Зоя Космодемьянская в мирное время строят метро. А Жанна д'Арк между двумя войнами становится хозяйкой политического и художественного салона, где Монэ, Клемансо или Пруст находят себе покровителей.

Сколько русских женщин стреляли в генерал-губернаторов, а иной раз и в царя. Не хуже Шарлотты Корде. А вот среди всех святых, просиявших в «земле Русской», нет ни одной женской святой общемирового значения класса обеих Терез или Екатерины Сиеннской... А ведь задуматься над этим стоит.

В тридцатых годах русский Париж был настроен сугубо мессианистически. Бердяев немало способствовал расцвету этих «пореволюционных» настроений. Мы были готовы защищать все достижения Октября — при условии «примата духовного начала» (официальная формула того времени)! Тут получалось дикое скрещивание, гибрид славянофилов, евразийцев и западников, марксистов с христианами. Царь и Советы — другой пример такого сплава.

Шестов в этой свистопляске не принимал участия. Уходя от него после первого визита, я на рабочем столе заметил три фо-

лианта, расположенных не без драматической экспрессии вокруг листов писчей бумаги: Аристотель, Гегель и еще кто-то авторитетный.

— Вот, продолжаю с ними бороться! — сказал Лев Исаакович, добродушным жестом охватывая эти три книги и себя.

Он боролся с очевидностью и линейной логикой вполне успешно; так что гитлеровские теоретики поначалу даже ссылались на Шестова в своих мифах. Пока не разобрались точнее.

Роман «Мир» я послал философу с замысловатой надписью, если не ошибаюсь — «Льву Льва Шестова»... В ответ получил приглашение на чай. Он жил в Пасси, близко от потом поселившегося в тех же краях Ремизова.

Мы пили вдвоем чай на кухне, и он по-старинному обстоятельно, то есть с ссылками на текст, говорил о моем романе. Там встречались разные «богоборческие» дискуссии в духе классической словесности, что Шестову определенно нравилось.

Он повторил несколько раз чье-то изречение, возможно, что Достоевского: «Если хочешь, чтобы читатель заплакал, ты сам должен испытывать боль...» Или нечто в этом роде.

Высокий, сухой, сутулый старик в сюртуке и с козлиной бородкой. Немного наивный, почти смешной. А вместе с тем его тяжба с «очевидностью» была очень серьезна и опасна.

Жизнь Шестов прожил длинную, чистую и, вероятно, ни разу не произнес злого, лживого слова. И в наш «железный век» никогда не поступал дурно. Тут какое-то недоразумение. Наивный философ дорожит блестящими безделушками вроде Регины Олсен или жертвы Авраама по Киркегору, а подлинного «золотого песка» у себя в огороде не замечает! Воистину жизнь Льва Шестова самое его глубокомысленное произведение.

В те годы мне казалось, что я увлечен трагической фигурой Спинозы — Бога называвшего «субстанцией»! Собирался даже написать biographie romancee* этого упрямого шлифовщика стекол. Шестов меня поддержал, но тут же подчеркнул диалектические трудности: ему представлялось, что для такой цели необходимо овладеть всем учением философа.

— Спиноза весь в броне своего геометрического метода. Пока вы не прогрызете этот защитный панцирь, невозможно докопаться до основного.

---

* Романизированная биография *(фр.)*.

Меня увлекали в Спинозе поэтические метафоры: «...сколько общего между созвездием Пса и псом лающим животным» или «если бы падающий вниз камень мог думать, то он думал бы, что падает по собственной воле». Тут «прустианский» метод сравнения предметов или явления из совершенно разных областей. Благодаря этому возникает еще одно измерение, и действительность, подлежащая изучению, освещалась вдруг новым, неожиданным светом. Возможно, что за обоими этими поэтами-мыслителями стоит одна древняя литературная школа. Эти сравнения до того совершенны и творчески заразительны, что уже приобретают самостоятельную ценность: забываешь, по какому поводу они были приведены...

В самом деле, почему падающий камень подумал бы, что он падает по собственной воле? Где и когда такое случилось? Наоборот, нам известны обстоятельства, при которых свободные гении воображали себя инертными исполнителями чужой, объективной, воли. А падшие ангелы сплошь и рядом ссылаются на условия и среду, их якобы заевшие.

В официальной биографии Спинозы я нашел имя девицы, с которой философ одно время встречался. Потом связь резко оборвалась. Из этого эпизода я полагал возможным развить целый психологический роман; Шестову такое антраша явно не понравилось, но все же он снабдил меня несколькими трудами Спинозы. Впрочем, я вскоре остыл ко всей затее.

Для русских, а может быть и для французов, Шестов «открыл» Киркегора. Мне кажется, что он чересчур раздувал личную драму датчанина (импотенцию) — до пределов космической катастрофы. Было немного смешно слушать старца с наивной и целомудренной бородкой, рассказывающего о любовных неудачах молодой датской четы. Причем Бог-Отец, Творец Вселенной, и Бог-Любовь обвинялся в этом очередном кви-про-кво — как в злоключениях мальчика из Великого Инквизитора Достоевского.

В обширной статье по поводу книги Шестова Бердяев писал назидательно: «Может быть, в план Бога именно входит, чтобы Киркегор не женился на девице Олсен...»

Нечто язвительное в этом роде.

В Шестове можно было наблюдать редкий случай плагиата «наоборот». Изредка сочинители присваивают себе чужие достижения или труды. Но Шестов приписывал свои мысли, и наиболее блестящие, другим философам. Прочитав книжку Шестова о

Брандесе и потом приступив к чтению самого Брандеса, ей-Богу, испытываешь только разочарование.

Жена Шестова, врач, в Париже превратилась в сиделку (скудный заработок).

— Это очень легко, — чистосердечно объяснял мне философ. — Надо только по своей инициативе не раскрывать кошелька. Я покупаю только то, что мне жена велит, по списку...

Шестову тоже, как Ремизову, а потом и нам, было тяжело без читателя. И он ценил интерес молодежи к себе; а под конец страдал, чувствуя себя пережитком, нечто вроде мамонта. К нему часто ходил Мамченко, благодаря косноязычию иногда поражавший своим глубокомыслием. Очень хитрый мальчик, «ласковый», то есть сосавший двух маток. Впрочем, Шестова он, кажется, по-настоящему любил.

В связи с нашей выставкой зарубежной литературы и подпиской на издания зародилась мысль создать подобие русского Prix Goncourt*, чтобы «заманить» читателей и книгопродавцев. В жюри мы с Фельзеном наметили Шестова, Гиппиус и еще спорного третьего. Как пример наших тогдашних настроений сообщу: мы серьезно обсуждали кандидатуру Бориса Прегеля для жюри.

С Гиппиус должен был переговорить Фельзен, с Шестовым — я. По этому делу мне приходилось встречаться в самое неурочное время с добрейшим, чистейшим и наивнейшим мыслителем. Ему очень не хотелось участвовать в литературной склоке; но, с другой стороны, Шестова притягивала живая деятельность, общество молодежи, выход из почетного одиночества, разумеется, без компромиссов с совестью. Вот он и тянул, все не решаясь сказать «да» и не желая отказаться.

Я забегал к Шестову в какую-то школу, где он числился профессором, вероятно, Институт восточных языков. Там, в классной комнате, уставленной ученическими партами, он читал свой курс о Киркегоре. На скамьях сидели сплошные серые старушки с постными лицами; казалось, если им вручить даровой билет в соседнее синема, то они все разбегутся.

Я сказал Льву Исааковичу:

— Напрасно вы читаете по рукописи, получается монотонно.

Он ответил:

— Это чтоб не видеть лиц слушателей.

---

* Гонкуровская премия *(фр.)*.

В эмиграции Шестов «открыл» «Записки сумасшедшего» Толстого и его же «Хозяина и работника», он представил эти рассказы Толстого с такой проникновенной зоркостью, что мы все заговорили об «арзамасском» ужасе как о хорошо знакомом нам и близком явлении.

Шестов был очень чистым существом и, вероятно, никому в жизни не сделал гадости, думаю, никогда в жизни не испытывал в этом смысле соблазна. Не знаю, опроверг ли он очевидность — новейших теорий современной физики он избегал —и положил ли Аристотеля на обе лопатки, но в Толстом он мне раскрыл многое.

— Вы думаете, что Лев Николаевич читал Ницше? — улыбаясь говорил Шестов. — Разумеется, нет. Зачем? Услышал: «По ту сторону добра и зла...» — и этого вполне достаточно для него.

Наше предложение относительно жюри он в конце концов отверг. К его семидесятилетию друзья устроили торжественное собрание — это было похоже на похороны. Явилось несколько десятков человек постарше, молодежи почти не было.

И вдруг Лев Исаакович начал терять вес; пошел к доктору З., который лечил его тертыми яблоками с орехами. Мне З. признался, что это, «вероятно», рак, но оперировать поздно: «У него весь живот покрыт морщинами!» — что доказывало общую дряхлость пациента по мнению врача. Жена повела Шестова к специалисту; Лев Исаакович лег в частную клинику в Пасси. И через несколько дней, подобно Эйнштейну, мирно отдал Богу душу без сложных медицинских изысканий и операций. Что свидетельствует о какой-то несомненной внутренней мудрости.

Были еще философы в русском Париже. Но все они интересовались больше литературными темами, чем теорией познания. Опять Алеша Карамазов и Платон Каратаев — эти «очи черные» русской религиозной мысли.

Мочульский целиком вышел из «литературы». В двадцатых годах меня с ним свел Адамович, полагая, что религиозная тема нас объединит. Мочульскому понравился мой рассказ «Служитель культа», где священник во времена военного коммунизма кончает самоубийством, ссылаясь на евангельский текст: придите ко мне все страждущие и обремененные... Но настоящей близости между нами не было. Потом, в тридцатых годах, мы часто встречались в «Круге».

Мочульский прошел через тяжелый путь гомосексуализма. Тяжелый, потому что он сопротивлялся. Пережив религиозный

кризис, он «выправил» свой сексуальный счет, победив все такого рода соблазны.

Мочульский был близок к «Православному делу» матери Марии и проводил на рю Лурмель весь свой досуг; дружил с ее сынишкой Юрой. Они сидели в углу столовой — большой, темной, пропахшей капустой и скоблеными, мокрыми досками, — и, беззаботно посмеиваясь, играли в шахматы. В шахматы они играли прескверно, однако поучать себя никому не позволяли.

Раз я прикатил на съезд, «Православного дела» на велосипеде, Фондаминский с Федотовым ехали автобусом, то обгоняя, то отставая... Если не ошибаюсь, все собирались в загородном доме матери Марии в Nogent.

Ночью все мужчины спали в одной комнате. Я на полу. Юра, по западной привычке, без рубашки, с голым торсом, лежал на узких нарах, едва прикрытый армейским одеялом. Его молодая грудь могла, вероятно, показаться девицам соблазнительною. Рядом, под прямым углом, изголовье к изголовью, покоился уже на более удобной постели Мочульский, конфузливо хихикая в ответ на шуточки Юры.

Лежа на полу, я вдруг подумал: ведь для Мочульского это как если бы тут, рядом со мною, лежала обнаженная по пояс отроковица. И я пожалел его от всей души, даже помолился за него в темноте.

За полночь стало холодно, из щелей в дверях и окнах дуло. Нащупав рукой, я сорвал с гвоздя чье-то пальто, укутался и сладко заснул до галльских торжествующих петухов. Оказалось, что я укрылся рясой ученика православной академии Ж., мечтавшего об иеромонашестве. Вскоре он женился на англичанке и сделался протестантским священником.

— Быть вам монахом,— шутя заметил Ж., подбирая с полу свою рясу.

— Или вам грешником,— возразил я, не подумав.

Мочульский в ту пору все еще напоминал сорокалетнего, сильно полысевшего витального холостяка, из тех, что не курят и не пьют, но увлекаются слабым полом. Он отдаленно напоминал Василия Борисыча — «В лесах» Мельникова-Печерского.

В русской философской мысли он «танцевал», как уже повелось давно, только от Достоевского и Соловьева. Советские теоретики пляшут от печки Маркса—Энгельса и делают это, по-видимому, с наслаждением. Любит русский человек больше немца —

порядок, чин, иерархию поклонов и заздравниц в церкви, на пиру и в науке. Этого тоже, кажется, наши классики не заметили.

Другого порядка был голос Вейдле. Тоже «литературовед» и тоже заинтересованный в экуменизме, он, однако, меньше других танцевал от обычной русской печки Толстоевского. Вейдле отлично знал и любил западноевропейское искусство. В литературе, мне кажется, он хуже разбирался. Так, желая нас оглушить, он вдруг решительно заявил, что существует новая замечательная американская литература. Думаю, что он ошибался.

В споре Вейдле любил ссылаться на много второстепенных имен и подавлял слушателей своей обстоятельностью. Он, пожалуй, все знал, но не все понимал.

Начинал карьеру Вейдле очень скромно: статейка о лирике Ходасевича или «мозаика раннего Ренессанса». По наружности он походил на прибалтийского доцента; в минуты раздражения я называл его Генералом Пфулем. Раздражение могло возникнуть только по линии отвлеченных идей, ибо ни содержанием, ни формою своих выступлений Вейдле не давал повода к обидам и к вражде.

В своем влиянии Вейдле рос очень медленно и неуклонно. В какую бы область он ни заглядывал — религия, литература, живопись, политика, — он всюду видел первенство европейской цивилизации над остальными цивилизациями, действовавшими в истории. Это иногда возмущало, особенно если спор касался Индии времен Ганди. Но в общем он был прав.

Оживляла его, чрезвычайно неожиданно, тема любви. Лирика Тютчева с вечной, непреходящей памятью о прошлом, когда-то смертельно ранила Вейдле. В минуты волнения он начинал заикаться. И образ почтенного, гологолового, желтовато-лимфатического, веснушчатого доцента, рассказывающего, заикаясь, о старческой любви Тютчева, казался и смешным, и трагичным.

Вопреки европейской рассудительности и всем похвальным мыслям относительно религии и искусства, что-то в нем свидетельствовало о глубоком личном неблагополучии. Мне всегда казалось, что Вейдле самого главного, может быть, бессознательно недоговаривает.

Формально он сотрудничал вместе с Фондаминским, Федотовым и Степуном в «Новом Граде», но был это человек совсем другого склада. «Безумие креста» для Вейдле отражалось только в

искусстве. Федотов, отчасти бунтуя, все же принимал это «безумие» без оговорок.

В одном споре о культуре я сослался на индусских монахов и на древних христиан, не овладевших даже элементарной грамотой. Вейдле, криво усмехаясь, возразил:

— Вы сразу стреляете из пушек даже по воробьям.

Вот разговор о «воробьях» (архитектура, ноты, мозаика) без ссылки на самое главное, мне тогда казался непонятным, смешным и даже вредным. А вместе с тем здесь секрет культуры: в самоограничении, дисциплине и классификации материала.

Прискорбно, что даже Герцен, проживший всю зрелую жизнь на Западе, все же ругал европейцев за мещанскую скупость, узкую методичность, за умеренность и расчетливость. В самом Герцене было много ямщичьего удальства, как, впрочем, и в жандармах, увозивших его на тройке в Пермь или Вятку.

Главное, чего эти великие европейцы, за исключением одного Тургенева, не могли простить западному миру — это его мелочности. Скупость! Последовательная, сознательная, дающаяся только непрерывным усилием (как всякая добродетель).

Когда в Англии я впервые услышал от джентльмена, покупавшего в лавке трубку: «Нет, это слишком дорого для меня. I can't afford it...»* — я вздрогнул и покраснел от стыда: подумайте, при даме сознался в своей неполноценности! Нам с детства внушили, что порядочный кавалер может себе позволить все! Деньги не помеха, если нужно — украдет, убьет.

Пока древний султанский Восток не поймет, что «мелочность», то есть сообразование с реальными возможностями и средствами, является качеством, необходимым для ведения здорового хозяйства, духовного и материального, пока он этого не учтет, никакие пятилетки не разрубят узлов его соборного неблагополучия.

Несомненно, что лучшие русские западники во главе с Герценом единодушно отталкивались от мнимой европейской скупости. И это доказывает, что они не поняли многого на чужой стороне, проживая там знатными иностранцами. «Широта и размах» в аграрной, нищей, крепостной России вселяли радость в сердца изгнанников; даже противники славянофилов начинали уверять,

---

* Я не могу себе этого позволить (*англ.*).

что православный Восток еще скажет этим «лавочникам» последнее спасительное христианское слово, которое прозвучит убедительно, несмотря или вопреки свисту вдохновенных отечественных кнутов и шпицрутенов.

А между тем в Европе был свой период феодального размаха. Тогда викинги и рыцари дарили друг друг поселки, замки и жен. Щедро, без колебания и без расчета. Скупость Европы — позднейшего, христианского происхождения, ее осознанного быта или бытия.

В старой России простой человек, бывало, не выбросит даром сухаря, почитая это грехом. И много отечественных мессий восхищались этой чертой народа-Богоносца, как и хлебом, выставляемым за окно «несчастненьким». Вот то же происходит на Западе, только здесь, о, чудо, в этом принимают участие и высшие классы. Причем бережливость касается не только корки хлеба, но и оберточной бумаги или бечевки: грех выбросить нечто созданное Богом или человеком, все существующее должно как-то проявить себя.

Деньги, как всякий дар, можно тратить, но в меру и с толком. А если капитал собран не тобою, а предками, то он не принадлежит тебе целиком и должен быть передан дальше, достойному.

Алексей Толстой, человек очень широкий, побывал в Англии и возмущался скупостью тамошних писателей: его угостили скудным обедом — демьяновой ухой наизнанку. То ли дело у нас в Москве.

Герцен, благородный, смелый, умнейший барин, Алешка Толстой почти противоположность всего этого... Но «мелочность» англичан они порицают одинаково. Тут что-то странное и легкомысленное.

Кстати, в старину швейцарские крестьяне тоже оставляли в горных шалашах запас хлеба и дров для одиноких путников; а бретонцы клали на ночь за окно хлеб и рыбу для скрывающихся от правосудия.

Из всех наших философов больше всего внешне походил на профессора, разумеется, Степун. С Поволжья, немецкого или шведского происхождения, он представлял из себя чрезвычайно русское, исконное явление; как, вероятно, и Борис Пильняк.

Беспокойный дух, раздираемый многими противоречиями подсознания и подполья... Несмотря на дубравы классической философии, вокруг Степуна плавали сложные, ядовитые туманы декадентов.

Современник русского «серебряного века», посетитель Вячеслав-Ивановской «башни», ценитель «диалектического маятника» Гегеля, либерал, эстет, поручик, подобно Фету, и ученый, Федор Степун представлял из себя в Париже, куда он наезжал из сумрачной Германии, живописную смесь блеска, эрудиции, глубины и родного, весьма пугающего метафизического гнильца.

Федор Августович в эмиграции придерживался строгих христианских начал. Вместе с Фондаминским и Федотовым он принимал участие в построении «Нового града», а также помогал редакторам «Современных записок» в их кропотливой работе... Это он «проводил» нового автора или статью религиозного философа, может быть с «правым» уклоном, вопреки воплям Вишняка и Руднева.

Степун был не только кадровым профессором философии, но и талантливым беллетристом... С его мнением «Современные записки» очень считались. Цетлин вообще посвящал себя стихам, проза не была его стихией. Поэтический отдел «Записок» был исключительно хорош: все наши поэты в нем участвовали.

Впрочем, эмигрантская периодическая печать в целом относилась к стихам с сугубой нежностью. От рижского «Сегодня» до «Нового русского слова» в Нью-Йорке, повсюду тщательно набирали стихи Кнорринг, Червинской, Штейгера...

Но судьба прозы была совершенно иная. В прозе эсеры, эсдеки, кадеты и прочие правые-левые интеллигенты отлично разбирались, и советоваться с кем бы то ни было они не находили нужным. Здесь, как ни странно, преобладал метод, напоминающий жандармский: «Держи и не пущай».

Конечно, стихи портативны, отнимают мало места, их можно вставлять между очередным обзором неудачной пятилетки и разгоном легендарного Учредительного собрания вроде виньетки. К тому же ничего постыдного нет для старого либерала в признании, что он нынешних стихов не понимает: «Раз Адамович одобряет, мы печатаем!»

В прозе же, извините, Руднев и Слоним все постигли, их на мякине не проведешь. Вследствие этих особенностей, психологических, главным образом, зарубежная проза несла и несет двойную нагрузку.

Фондаминский и все его близкие друзья, помогали нам в меру сил и действительно постепенно к концу тридцатых годов протащили в «Современные записки» всю молодежь. В «Воле России» печатали тогда уже только переводы из Панаита Истрати.

Первую часть моего «Портативного бессмертия» я послал Фондаминскому для «Русских записок». Зензинов прочитал, но без определенного результата. К счастью, подвернулся Степун, которому Фондаминский передал рукопись... И вот мне вручили тысячу франков. Мой первый и, вероятно, последний «русский» аванс.

Вскоре Фондаминский ушел из «Русских записок», хозяином стал Милюков, при секретаре М. Вишняке. Последний брезгливо жаловался: «Что за порядки? Как это можно раздавать такие авансы?..» Он критиковал Фондаминского и за «христианство», и за дружбу с «фашистами». О себе Вишняк мне с гордостью заявил, что каким он был в 1917 г., таким он останется навсегда, ни на йоту не меняясь. Мне это показалось чудовищной тратой жизни и времени.

Итак, благодаря вмешательству Степуна я получил тысячу франков, что позволило мне летом съездить в Эльзас. Вечером мы опять сидели за чайным столом Фондаминского. Зензинов сердито проходил из уборной в свою комнату; Степун, тяжело переступая узловатыми ногами, точно сдерживаемый коренник, стоял за своим стулом во главе стола и, размахивая то одной, то другой, казалось, тоже узловатою рукой, уже охрипшим голосом доказывал, что «недействие» в эмиграции тоже действие!

— Откройте скобки, поменяйте знаки на обратные, просверлите еще одну дырку в метафизической пустоте.

Моя тема «памяти» привлекла его внимание. И, должно быть, вспомнив эти наши ночные бдения, он двадцать лет спустя писал о повести «Челюсть эмигранта»:

«Одною из самых существенных, любимых мыслей Яновского представляется мне делаемое им различие между двумя образами памяти: линейной, которая сохраняет лишь то, что свершалось во внешнем мире, и вертикальной, которая как бы при вспышке молнии вспоминает очертания вырванных из второго мира предметов» («Новый журнал», № 54, 1958).

Особенно смачно Степун изображал своих современников, представляя в лицах то Алексея Толстого, то Вячеслава Иванова. Вообще, по-видимому, что не редкость среди русских писателей, он мог бы сделать удачную карьеру в театре.

За ночь Степун, начав с Учредительного собрания и Вишняка, секретаря оного, мог докатиться до Андрея Белого и его тяжбы с Рудольфом Штейнером, что не всем присутствующим нравилось.

Вероятно вспомнив эту нашу русскую ночную беседу, Ф. Степун мне в 1958 г. написал длиннейшее письмо, которое я сохранил. Вот отрывки из него:

«В связи с основною религиозной темой меня заинтересовала Ваша близкая мне теория — двойной памяти. Конечно, жизнь протекает в необратимой временной последовательности, тем не менее ее углубленное изображение в хронологическом порядке — невозможно. Вы правы: линейная память бессильна справиться с этой задачей, потому что прошлое перестраивается в душе по вертикали, а потому и требует, как вы говорите, «вертикальной памяти»...

...Очень внятно и точно определение любви как «косой форточки в эсхатологию». Очень хорошо и ново феноменологическое осмысливание краткого мгновения, когда человек, просыпаясь, не ориентируется в своей комнате, «как тайны отделения души от памяти». В этих словах сразу приоткрывается проблема платоновской памяти и христианского бессмертия. С тайною отделения души от памяти связана и мысль, что в отличие «от всяких иных реальностей — смерть не имеет прошлого». Не иметь прошлого — значит, не иметь памяти»...

Да, такого рода беседы и письма вознаграждали нас за многие лишения.

Федор Августович лично встречал доктора Штейнера и любил рассказывать, смачно сюсюкая, как Андрей Белый однажды оборвал Штейнера, крикнув при свидетелях: «Herr Doktor, Sie sind ein alter Affe!»* Это я слышал и от Ходасевича.

Когда Гитлер пришел к власти, профессор Степун сразу подал в отставку, таким образом решительно отказавшись прямо или косвенно участвовать в немецких мифах.

Другие философы нас, пожалуй, меньше затрагивали. Франк появлялся у Фондаминского редко. Крупный, что называется, представительный мужчина, по внешности американский executive**, администратор, управляющий большого концерна. Таким же «крутым» директором выглядел и Карташев.

Франк читал в «Круге» доклад о Пушкине, препарировав его на свой салтык... По его мнению, следует различать два вида религиозного опыта: пророка, громовержца и тихого мистика, блаженного. Вот Пушкин, по схеме Франка, не был пророком, но был

---

* Господин доктор, вы — старая обезьяна! *(нем.)*

** Служащий *(англ.)*.

мистиком, что гораздо выше, духовнее разных «крестоносцев» или борцов за истину.

Мы возражали: «Гавриилиада» и бокалы, коими надлежит «залить горячий жир котлет», вряд ли совместимы с такого рода духовностью.

Определенно и всегда не нравился мне Вышеславцев, хотя он был очень популярен в ИМКЕ среди дам среднего и выше возраста. Большой, статный, длинноногий, с седеющими зеркальными висками... Правильный лоб, тяжелый скандинавский череп и, кажется, синие крупные глаза. Бог наградил его особенными, гибкими, показными бедрами, и он, стоя на эстраде, блистательно, холодно картавя о Святой Троице или Софии, премудрости Божией, кокетливо играл этими удачными бедрами, кладя то одну большую руку, то другую на свой гибкий стан. Играл тазом, но пожиже, еще Смоленский.

Во время оккупации Вышеславцев сотрудничал с немцами; ездил по странам русского рассеяния и что-то проповедовал относительно «нового порядка». Умер этот «рыцарь без страха и упрека» в Швейцарии, не решаясь вернуться в Париж и предстать перед французским судом.

Русские художники в Париже жили обособленно и с нами редко общались, разве только в Брассери де Лила за покером или иногда на больших собраниях. Впрочем, Ларионов снят рядом со мною на фотографии группы «Чисел».

Не был исключением и Юрий Анненков. Только перед самой войной он появился у Фондаминского с предложением поставить в театре Фондаминского «Скверный анекдот» Достоевского, но что-то помешало и спектакль не состоялся.

Это был загадочный, очень русский человек, хитрый, грубый, талантливый, на все руки мастер.

Раз в конце двадцатых годов я завернул к Осоргину по делу моего «Колеса». Михаил Андреевич пожаловался:

— Вот прислал литератор повесть, я бы хотел ему помочь напечатать ее, отличная книга, а неизвестно, как с ним связаться, адреса нет.

Эту повесть, не помню названия, Темирязева принесла Осоргину какая-то дама, обещала наведаться за ответом и... пропала.

— Догадываюсь, — продолжал Михаил Андреевич, — автор, вероятно, еще проживает по советскому паспорту и боится скомпрометировать себя. Темирязев, конечно, псевдоним.

Действительно, сочинение это оказалось художника Юрия Анненкова. Осоргин горячо рекомендовал эту повесть «Современным запискам», и те ее печатали, вероятно, с купюрами, как водится в свободной прессе.

Я тогда же прочел ее, отрывками: реалистическое произведение, написанное, что называется, экспериментальным, очень культурным языком, но без оригинальной, личной подлинной темы.

И в живописи, графике, в своих декорациях он тоже «делал» то под конструктивистов, то под кубистов, то под сюрреалистов, очаровав последовательно и Блока и Троцкого.

Когда новой власти понадобился ответственный декоратор советской столицы по случаю первой годовщины Октябрьской революции, Анненков почему-то назначается председателем «флажной» комиссии.

В 1921 г. власть «заказала мне портрет Ленина», вспоминает Анненков, и он ездит на сеансы в Кремль к Ильичу... Когда Ленин умер, Высший Военный редакционный совет поручает Анненкову иллюстрировать книгу, посвященную вождю.

В институте Ленина «меня прежде всего поразила стеклянная банка, в которой лежал заспиртованный ленинский мозг». Анненков его незаметно зарисовывает, а также «я незаметно переписал» краткие, отрывочные заметки, сделанные Лениным наспех».

В 1923 г. Анненкову предложили исполнить портреты главнейших руководителей Реввоенсовета и «в первую очередь, Троцкого». И Анненков всех их писал, зарисовывал, иллюстрировал. Он побывал в ставке пять раз, «если не больше». Военные и штатские сановники к нему благоволили, беседовали с ним об искусстве, культурно спорили. Зиновьев, Луначарский, Тухачевский, Радек, Склянский, Ворошилов, Енукидзе и пр. и пр.

Уже в Париже он переписывался с полпредом Раковским, который его приглашает «запросто покалякать» (11 окт. 1926 г.). Тогда же он пишет портрет Красина — посла в Англии.

Наконец, он вынужден всерьез заняться карьерой парижского декоратора, в чем он тоже успевает. Он сходится с лучшими «местными» художниками — от Пикассо до Фужита, собирает их наброски и эскизы.

Когда А. Толстой приезжает в Париж, Анненков с ним пьет коньяк, беседует, хотя знаком вполне с моральным обликом Алешки Толстого; он почему-то везет «графа» на своей машине к Вл. Крымову То же с Эренбургом, с мерзавцем, который в продолжение десятилетия обманывал и соблазнял французских интеллекту-

алов, рассказывая им про сталинский рай, хотя сам валялся в истерике, когда его вызвали на очередную побывку в Москву.

Чекист Эфрон, муж Марины Цветаевой, председатель Союза советских студентов, устраивает бал; другой чекист, пражский поэт Эйснер, сочиняет пасквиль — что-то об эмигрантской литературе на выданье... А Юрий Анненков пишет декорации. Никто из приличных людей туда не пошел. (Но Георгий Иванов, конечно, побывал там.)

В годы оккупации Анненков вел себя «тихо» и, насколько мне известно, прилично. Не как Лифарь. Он продолжал работать в театрах как декоратор, за содержание пьес он не отвечал. Удачно женился на молоденькой актрисе, писал «Дневник моих встреч». Вскоре после победы пристал к вполне приличной «Русской мысли», где вел отдел художественных вернисажей.

Без особого труда продал свой архив в Америку и пристроил в хорошем издательстве свои два тома «Воспоминаний», что не всем до сих пор удалось.

Толстой с восторгом отзывается о генерале 12-го года Дохтурове, который как бы случайно, не выставляя себя, всегда оказывается на самых рискованных и ответственных местах. Всякий раз, перечитывая эту страницу в «Войне и мире», я по странной ассоциации вспоминаю Анненкова.

«Опять Дохтурова посылают в Фоминское, и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это-то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства...»

Таким мне представляется Юрий Анненков, только наоборот (au rebours).

Я упоминаю здесь о нем с некоторыми подробностями, потому что это фигура совсем не случайная для эмиграции.

VIII

В начале тридцатых годов многие читатели «Последних новостей» обратили внимание на ряд статей, подписанных, кажется, инициалами. Некая матушка М. разъезжала по Франции и описы-

вала русский провинциальный быт; судьба этих заброшенных «колоний» была во многом печальнее нашей. Там преобладали нищета, бесправие, пьянство и доносы. Особенно волновала глава, посвященная Борису Буткевичу (в Марселе), которого автор представлял в виде безвременно погибшего типичного русского бродяги: он работал грузчиком, спился, заболел и умер (совсем как у Горького). Корреспондент лично, насколько помню, побывал в морге вместе с друзьями покойного, которые опознали труп Буткевича, маринуемого для анатомического театра.

«А между тем, — цитирую по памяти статью, — уверяли, что Буткевич был культурным человеком, сочинял рассказы, которые печатались даже в «Числах», и его хвалили известные наши критики...» Увы, все это совершенно соответствовало истине.

Буткевич до «Чисел» печатался еще в другом журнальчике, редактируемом Адамовичем и, кажется, Винавером. Помню там его рассказ о бывшем гвардейском офицере, спивающемся в Марселе; это, вероятно, лучшее произведение зарубежья того периода.

Я знал, что Буткевич исчез, растворился в Марселе, но такой дикий, «поволжский» конец меня ошеломил. Действовал и тон статьи: там были настоящая любовь, забота о человеке, соотечественнике, студенте, офицере, поэте, и в то же время полное отсутствие сентиментальности.

— Кто автор статьи? — допытывался я у знакомых.

И наконец Евгения Ивановна Ширинская-Шихматова мне объяснила:

— Это мать Мария. Бывшая эсерка, террористка, поэтесса, ставшая теперь монахиней особого толка: монахиней в миру! Она обставила дом и будет там содержать, кормить убогих. И даже похоронит их приличным образом. Вот какой это человек! — восхищалась Евгения Ивановна, вечная институтка.

От нее же я услышал, что мать Мария, для того чтобы прокормить семью, ходила по эмигрантским квартирам и выводила клопов. Давала объявление в «Последних новостях»: «Чищу, мою, дезинфицирую стены, тюфяки, полы, вывожу тараканов и других паразитов».

Вообще, в среде нашей эмиграции наблюдалась порой эта благородная национальная черта: не ходить на поклон в разные «фонды» (так или иначе связанные с идеалистическими, свободолюбивыми контрразведками), а честно заняться первым подвернувшимся физическим трудом... Моя сестра двадцать лет работа-

ла швеей в пуэрториканском ателье; Галина Кузнецова убирала беженские квартиры — по часам; а мать Мария выводила поколения клопов, уверяя, что это творческий подвиг.

— Вот какой это человек! — ликовала Евгения Ивановна, которую мы в шутку называли княгиней Савинковой.

Активная революционерка, сестра боевика эсера, спасшего из крепости ее будущего мужа Бориса Савинкова и погибшего затем на виселице, Евгения Ивановна была типичным представителем своей эпохи. Особенностью тех людей являлось, что они довольно часто совершали подвиги, но никогда не трудились сорок часов в неделю, пятьдесят недель в году, до третьего пота.

Евгения Ивановна самолично привозила из Финляндии в Петербург динамит, дружила с невестой Сазонова, терпеть не могла запаха селедки и представляла из себя некую смесь хорошего тона и подполья, конспирации и утомительной болтовни.

Мы жили тогда рядом, на стыке Кламар-Ванв и Исси-Ле-Мулино, часто встречались и все вели переговоры о новом очередном литературном журнале. Я изредка сотрудничал в пореволюционных изданиях Ширинского... А по ночам слушал рассказы Юрия Алексеевича о псовой охоте, о лошадях, о георгиевском «червячке», который труднее достается офицеру пехоты, чем артиллерии.

В кабинете князя висели два портрета: первой жены его и любимой, прославленной на выставках породистой суки (кажется, коккер-спаниель). Его философия собаководства заключалась в том, чтобы спаривать образцовую самку с ее братьями, а затем повторять это же с щенками. Юрий Алексеевич уверял, что в седьмом поколении получится опять образцовый экземпляр псицы, подобной родоначальнице.

Кавалергард, он воевал еще в «той» великой войне, когда рыцарские поединки не были совершенным исключением. Участвовал в глубоких разведках и кавалерийских рейдах. Рассказывал очень убедительно о странном чувстве, впервые испытанном им, когда юношей, спешившись и спрятавшись с разъездом в польской избе, он вдруг из оконца увидал рыжих, тяжелых немцев в касках — которых позволительно убивать!

— Похоже, как если бы нам показали молодых женщин и сказали: «Насилуйте их!..» — так приблизительно определял он этот боевой опыт.

Для меня ночные бдения в его обществе были наслаждением; я часто заставлял себя выслушать в «Пореволюционном клубе»

целый доклад относительно будущего устройства народов государства Российского, чтобы иметь возможность потом наедине продолжать интимную беседу. Быт, с которым Юрия Асексеевича связывали кровные узы, напоминал период, непосредственно прилегавший к «Анне Карениной».

Семья Ширинского-Шихматова принимала участие в придворной жизни; отец его, обер-прокурор святейшего Синода, любил повторять еще в Государственном совете, что правее его — стенка! Сам Юрий Алексеевич в первые годы эмиграции примыкал к многим реакционным объединениям. Постепенно под воздействием чудесных эмигрантских магнитных полей — тут и евразийцы, и Бердяев, и Франция, и Евгения Ивановна Савинкова, и неуклонная любовь к границам государства Российского — в нем произошли сдвиги, в конце концов приведшие его, князя, потомка Чингисхана и Рюриковичей, в немецкий концентрационный лагерь, где он и погиб.

В августе 1940 г. моя жена родила в госпитале Порт-Руаяль дочь (Машу); Юрий Алексеевич наведался к ней в палату (Евгения Ивановна смертельно заболела еще весною). В беседе с женой Ширинский-Шихматов тогда вскользь упомянул, что ищет удобного случая, чтобы надеть на рукав желтую (еврейскую) повязку. Даже если он этого впоследствии не осуществил, то все же такого рода слова характерны и для князя Ю. Ширинского, и для нашей «загнивающей» эмиграции, и для Парижа того времени, разбитого, сияющего, обреченного, но по-прежнему вечного Парижа...

Юрий Алексеевич работал таксистом, и на стоянках, в полумраке, жадно читал... Кроме славянофилов, на него большое влияние оказал Бердяев. Излучения Бердяева больше, значительнее, чище (показательнее) самого Бердяева, и поэтому я его в целом принимаю.

В своей «пореволюционности» Ширинский-Шихматов, вероятно, шел слишком далеко, в особенности если дело касалось хоть отдаленно — Третьего Рима.

В «Клубе» князя вскоре начались смуты, обычные для политической жизни Зарубежья, где в разных кастрюлях варят суп все из одного и того же гвоздя (скажем, Бердяева, Милюкова или генерала Краснова).

Нашлись «осведомленные» люди, которые утверждали, что в таком-то году Юрий Алексеевич, ничтоже сумняшеся, завернул на рю Гренель, где советское посольство. Любопытно, что большин-

ство этих свидетелей впоследствии попались на деле «Оборонческого движения» и вместе с М. Слонимом сидели в лагере, созданном французской полицией для коммунистов и попутчиков.

Мы с Юрием Алексеевичем изобрели литературную игру, которую называли гвардейской словесностью.

— Как называлась лошадь Вронского?

— Фру-Фру.

— Кто ее обошел?

Отвечать полагалось:

— Гладиатор, жеребец рыжей масти.

— В каком произведении Достоевского описана собака?.. Как ее звать?

— Из какой материи шаль, которою дорожила жена Мармеладова?

Эта игра показывала знакомое литературное поле под новым углом... А придумывать такого рода вопросы было забавно.

Кстати, Юрий Алексеевич уверял, что у Толстого неправильно описана историческая атака кавалергардов под Аустерлицем. Насколько помню, по его мнению, масть лошадей первого эскадрона неверно обозначена.

К этим разговорам иногда прислушивался подросток Лев Борисович Савинков. Я говорю «подросток» только потому, что когда я его впервые увидел, то он был совершеннейшим юнцом; но потом, как полагается, возмужал, отпустил южноамериканские усики и все чаще высказывал собственные независимые суждения. Мы были дружны... При встречах я часто затягивал шуточный куплет: «Судьба играет человеком...» А он подхватывал: «Она изменчива всегда».

Осенью 1936 г. Левушка укатил в Испанию, где честно воевал полтора года, вернулся раненый, побежденный и разочарованный. Он мне рассказывал, что «там» в тяжелые минуты иногда напевал знакомый куплет: «Судьба играет человеком...»

Летом 1940 г. Евгения Ивановна умирала от рака. Душные ночи в полуопустевшем Париже, где хозяйничали ненавистные немцы... лежать прикованной к одру, обреченной — все это было вдвойне мучительно! Тогда надо было обладать чудовищной ясностью духа, чтобы увидеть даль свободного Сталинграда.

У меня хранятся фотографии Евгении Ивановны: в фас и в профиль, снятые департаментом полиции. Тургеневская барышня с косой. Какие они все были молодые и красивые, эти девушки-революционерки. А затем ее рассказы: о первом браке, услов-

ном, паспортном; вот Борис Викторович, Финляндия, Ницца, Париж. Куда это все делось... У меня зрело чувство — все это еще здесь, за толстым стеклом, совсем видно! А коснуться, придвинуться ближе как будто нельзя.

Позже князя Юрия Алексеевича Ширинского-Шихматова, по доносу его бывших пореволюционных или предреволюционных соратников, арестовали и сослали в немецкий лагерь. Передают, что там он вступился как-то за избиваемого соседа и был аккуратно расстрелян.

Разумеется, настоящих свидетелей такого рода деяний нет и не может быть. Как и подвига матери Марии, якобы поменявшейся местами с другой, отправляемой в «печку» заключенной... Замечательно, как молва создает эти благодатные мифы. Ибо душа наша жаждет святого подвига, верит в присутствие рядом духовных воинств и ищет их земного воплощения. Что само по себе уже является чудесной реальностью.

Итак, с матерью Марией меня познакомили Ширинские, и затем, в продолжение многих лет, я встречал ее в разных местах... Крупная, краснощекая, очень русская, близоруко улыбающаяся и всегда одинаково ровная: как бы вне наших смут, вне шума, вне движения. Хотя сама она очень даже двигалась, шумела тяжелыми башмаками и длинными, темными одеждами, громко пила чай и спорила.

Монументальная, румяная, в черной рясе и мужских башмаках — русское бабье лицо под монашеской косынкой! Добрые люди ее подчас жалели именно за эти неизящные сапоги, нечистые руки, за весь аромат добровольной нищеты, капусты, клопов, гнилых досок, наполняющий целиком ее странноприимный дом. Благодаря румянцу на щеках (собственно, сетке алых жилок) она казалась всегда здоровой и веселой.

У себя, на заседаниях или лекциях, мать Мария вдобавок еще всегда занималась каким-нибудь рукоделием, никогда не сидя во время беседы просто так, без дела. Вязала, чинила темные, грубые облачения, перекусывая нитку, по-видимому, крепкими зубами.

Есть такое выражение во Франции — brave femme*: это национальный идеал женщины. Днем — хозяйка, ночью — жена, выполняющая все Богом положенные обязанности, толково и охот-

* Бой-баба *(фр.)*.

12 Зак. 2385

но. Эти femmes, матери семейств и любовницы инвалидов, сидят в кассе метро, продают билеты, но сверх того еще вяжут свитер или складывают «патроны» — для кройки платьев! Она не прочь согрешить и повеселиться, но не в убыток, а наоборот, повысив месячный заработок. Своего homme она не предаст! Переспать с другим, не вынося добра из дому, не грех; она и хахалю позволит порезвиться в меру. Если ей повезет в жизни, она станет хозяйкой литературного и политического салона.

Я часто представляю себе «брав фам» других народов: ведь на них держится быт, семья и даже государственный порядок... Конечно, мать Мария тоже brave fille*, только русская: с бомбами, стихами, проклятыми вопросами, символизмом или церковным пением.

Сравнительное изучение этих «брав фам» разных национальностей поможет разрешить многие исторические загадки и даже бросит свет на будущее, скажем, китайской империи.

В круг французской идеальной brave femme входит тяжелый, добросовестный труд на службе, затем дом, семья, homme, и тщательный туалет intime (активная и *веселая* сексуальная жизнь сама собою подразумевается).

В спокойной, хозяйственной, мужественной, всегда добродушной, румяной матери Марии, с ее прошлым поэта, анархистки, а настоящим — практичной строительницы подворья, игуменьи, мне чудился некий идеал *русской* brave femme — вечно живой Марфы Посадницы, способной, конечно, в случае нужды, солить грибы, доить коров и даже рыть метро.

Из западных святых она мне больше всего напоминала Терезу Авильскую (Жанна д'Арк не укладывается в русскую действительность).

То, что мы слышали о деятельности матери Марии, наполняло сердца чувством благодарности... Чтобы накормить своих нахлебников, она ночью отправлялась с двухколесной тележкой в Halles. Там «французики из Бордо» ее уже знали и давали безвозмездно остатки зелени, овощей, а иногда сыра и мясных отбросов с костями. (Площадь вокруг Halles надлежало очистить, вымыть — до восхода солнца.)

Погрузив всю эту пахучую прелесть, мать Мария торжественно возвращалась из похода, помогая еще своему кухонному му-

* Бой-девица *(фр.)*.

жику или «шефу», бывшему туберкулезному и душевно больному, катить тележку.

Как общее правило, ее пансионеры — отставные алкоголики и штабс-капитанские вдовы — мать Марию не любили и часто сварливо учили хозяйку истинному православию, подлинному смирению и даже экономии. Некоторые ходили жаловаться то в церковные инстанции, то в полицейские: писали образцовые русские доносы. Думаю, что святость матери Марии сказалась в мирное время в ее доме не в меньшей степени, чем потом в немецком застенке.

Помогал ей в «Православном деле» Пьянов: тоже очень красочный человек, чем-то напоминающий американского протестанта или квакера. Вообще, в США много похожего на Россию, и опыт Prohibition* по наивности своей не уступает ленинской революции. Только американская brave fille стоит особняком, постепенно вытесняя своего самца. Это она с Библией и ружьем в руках пошла на дальний запад, распевая демократические гимны и рожая детей.

В своей церкви на рю Лурмелль мать Мария сама раскрасила витражи, изучив секреты средневекового мастерства. Ее церковь казалась декорацией к «Борису Годунову», что многим, вероятно, нравилось (как в опере «Борис Годунов» — церковные мотивы).

Не доходили до меня и стихи матери Марии; она их продолжала сочинять. Даже ее прозу я не мог оценить по достоинству. Можно было ожидать, что человек с ее духовным опытом расскажет гораздо яснее и убедительнее про «Мистику человекообщения». Статью под таким заглавием она дала для нашего первого сборника «Круга». С одной стороны: несомненный религиозный опыт... А с другой: так мало внятного и ценного для действительного питания. Разумеется, вопрос не ставился, печатать или нет труд матери Марии: мы с благодарностью принимаем все, что она дает! Но... В таком духе высказались многие члены редакции. Однако Фондаминский положил конец нашим досужим толкам:

— Какой тут может быть разговор: это ее личный опыт, чего вам еще надобно!

То, что Фондаминский мог такими доводами защищать материал для журнала, доказывает, как далеко он уже успел отойти от своих бывших сверстников типа Руднева—Вишняка.

---

* Сухой закон *(англ.)*.

Статья «Мистика человекообщения» была напечатана в нашем альманахе, и я по сей день ее не дочитал до конца. Вина, вероятно, моя.

На какой-то год очередной пятилетки в России наступил лютый голод. Тогда Ю. А. Ширинский-Шихматов — человек блестящих идей и даже не без способностей к интригам, но, я бы сказал, слабый организатор, что ли, — задумал «мобилизовать общественное мнение на Западе» и, собрав необходимые средства, зафрахтовать пароход, нагрузить его крупой, жирами и отправить в подарок Ленинграду!

Собрание, посвященное этому вопросу, состоялось у матери Марии: весною, вечером, когда весь грязный Париж благоухал и любовно содрогался, как только свойственно ему.

Думаю, что был май: все цвело на шумных бульварах. В большой, пахнущей мокрыми полами трапезной, за длинным деревянным, часто скобленным столом сидело человек двадцать пять эмигрантов, неопределенного возраста и прошлого. Жена Фондаминского еще хворала, и его я тогда не встречал.

Мать Мария пристроилась сбоку, слегка на отлете — черная, крупная и спокойная — вязала что-то молча. Только к концу она произнесла несколько слов, заявив, что одобряет начинание, но примет ли прямое участие, она еще не знает, ибо должна посоветоваться с одной особой (я понял, с о. Булгаковым).

В комнату то и дело вбегали, загадочно посмеиваясь, три девицы, этакие тургеневские барышни, но полегче, пощуплее, в белых весенних кофточках; они щебетали и чему-то радовались, то выбегая на улицу, то возвращаясь в серые, нищие комнаты. Одна из девиц, дочь матери Марии, вскоре уехала в Москву, по ходатайству Алексея Толстого; там она погибла в самое непродолжительное время при не совсем ясных обстоятельствах. Эренбург, повествующий в своих воспоминаниях, с чужих слов, о деятельности матери Марии в Европе, поступил бы честнее, если бы сообщил подробности смерти ее дочери в Москве.

Между тем собрание по «мобилизации западного общественного мнения» начало заметно оживляться. На Ширинского, к моему наивному изумлению, посыпался ряд горчайших упреков самого неожиданного оттенка. Одни уверяли, что появление корабля с хлебом на ленинградском рейде во время голода может вызвать восстание, а Ширинский воспользуется этим для установления

своей диктатуры... Страсти разгорались, еще немного — и сокровенное словцо «подлец» или «диверсант» эхом прокатится под сводами. Увы, такова судьба всех эмигрантских объединений.

В «Круге» мать Мария выступала с докладами; один, помню, о Блоке, личные воспоминания. И опять непонятно: о поэте мог рассказать Ремизов, Адамович, Мочульский... Почему она занимается такими темами?

Иванов в кулуарах пускал язвительные шуточки относительно наружности Марии Скобцовой в пору ее встреч с Блоком.

Я часто спорил с матерью Марией или в ее споре с другими присоединялся к «другим». Признаюсь в этом с грустью: мне хотелось разделять ее взгляды, но на практике не получалось!

В первой книжке «Круга» появился мой рассказ «Розовые дети» с описанием собачьей свадьбы. На собрании «Круга», где обсуждался номер, мать Мария взволнованно сообщила, что редакция поставила ее в затруднительное положение: она собственноручно передала о. Булгакову альманах со своей «Мистикой человекообщения», а он наткнулся на т а к о й рассказ Яновского.

— Если бы редакция меня предупредила, — объясняла матушка, — то я бы не вручала журнала отцу Булгакову.

На это я возразил, что если христианнейшая матушка считает мое произведение воплощением зла, то она тем паче должна была бы сообщить об этом отцу Булгакову, дабы они совместно обсудили меры к спасению моей исковерканной, но достойной возрождения души.

— Вы должны были вместе с батюшкой прибежать ко мне на квартиру ночью и не оставлять меня, пока я не образумлюсь... — так приблизительно убеждал я мать Марию.

Вокруг этого спора создалось нечто похожее на легенду, и какой-то след остался до сих пор. Еще теперь при встрече с членом «Круга» мы обязательно возвращаемся к этой беседе и поединку с матерью Марией, монахиней, которая, надеюсь, через положенное число лет будет признана святой русской церкви, на чужбине просиявшей...

Жив во мне разговор, происходивший за чаем у Фондаминского: после Мюнхена, когда все чувствовали уже близость конца. Мать Мария, в общем, была вместе с нами, молодежью, против Мюнхена. Но когда это свершилось, она вдруг начала вспоминать прошлую войну в тонах скептических, явно не одобряя эпические затеи... Помню ее рассказ о своем брате, студенте, записав-

шемся юнкером в артиллерийское училище. Не желая дожидаться очереди в тылу, он тут же зачислился добровольцем в пехоту и ушел на фронт. А дома его долго разыскивали как дезертира из военного училища... Потом она его провожала на юг к Деникину.

— И что осталось от всего этого вдохновения и подвига? — спрашивала мать Мария. От горячего чая ее очки в железной оправе покрывались паром; она их поминутно снимала и вытирала, оглядывая нас выпуклыми, темными, большими, близорукими глазами. — Что осталось от всего этого горения и жертвенного подъема? Ровным счетом ничего не осталось, — продолжала она не спеша, убежденно. — Разве только еще одна могилка у Перекопа. Его гибель была совершенно не нужна и ничего не изменила. А ведь он мог еще жить здесь и с нами работать...

Эти слова «еще одна могилка» и «ровным счетом ничего» были сказаны сестрою с таким чувством, что я считаю долгом их запечатлеть.

Затем мы вместе встречали Новый, 1940-й год у Федотовых — в последний раз в свободном Париже. Старались даже шуметь, веселиться, но тени близкой европейской ночи уже покрывали наш старый эмигрантский мир.

Мы никогда не узнаем доподлинно, как они умерли: мать Мария, Фондаминский, Вильде, другие... И это совсем не нужно. Есть нечто греховное, суетное в такой жажде реальных подробностей. Несомненно, что все они давно уже шли навстречу своему мученическому концу, не уклоняясь, не отступаясь. И умерли они активной, творческой смертью.

Совершенно равнодушно прошел я мимо некоторых признанных писателей земли эмигрантской (а теперь, пожалуй, советской).

Куприн, Шмелев, Зайцев. Они мне ничего не дали, и я им ничем не обязан.

Бориса Зайцева я все же изредка встречал. Отталкивало меня его равнодушие — хотя и писал он как будто на христианские темы. Стиль его «прозрачный» поражал своей тепловатой стерильностью. Зная немного его семейную жизнь и энергичную жену, думаю, что Борис Константинович в чем-то основном жил за чужой, Веры Александровны, счет.

В 1929 г. мне было двадцать три года; в моем портфеле уже несколько лет лежала рукопись законченной повести — негде печатать!.. Вдруг в «Последних новостях» появилась заметка о новом

издательстве — для поощрения молодых талантов: рукописи посылать М. А. Осоргину, на 11-бис, Сквэр Порт-Руаяль.

А через несколько дней я уже сидел в кабинете Осоргина (против тюрьмы Сантэ) и обсуждал судьбу своей книги: «Колесо» ему понравилось, он только просил его «почистить». (Подразумевалось — «колесо революции».)

Михаил Андреевич тогда выглядел совсем молодым, а было ему, вероятно, уже за пятьдесят. Светлый, с русыми, гладкими волосами шведа или помора, это был один из немногих русских джентльменов в Париже. Как это объяснить, что среди нас было так мало порядочных людей? Умных и талантливых — хоть отбавляй! Старая Русь, новый Союз, эмиграция переполнены выдающимися личностями. А вот приличных, воспитанных душ мало.

Мы с Осоргиным играли в шахматы. По старой привычке он при этом напевал арию из «Евгения Онегина»: «Куда, куда, куда вы удалились?..» Играл он с энтузиазмом.

Чтобы достать шахматы с верхней книжной полки, Осоргину приходилось с усилием вытянуться, хотя по европейским понятиям был он роста выше среднего; его молодая жена, Бакунина, тогда неизменно восклицала:

— Нет, Михаил Андреич, этого я не хочу, чтобы вы делали! Скажите мне, и я достану.

А я, к удивлению своему, замечал, что дыхание этого моложавого светлоглазого «викинга» после любого резкого движения сразу становится трудным, а лицо бледнеет.

Работал он много и тяжело. Так же, как Алданов, Осоргин любил подчеркнуть, что никогда не получал субсидий и подачек от общественных организаций. Ему приходилось писать два подвала в неделю для «Последних новостей». Даже фельетоны его и очерки свидетельствовали о подлинной культуре языка.

Вообще, русский язык — это живая болячка отечественных писателей: все поминутно упрекают друг друга в безграмотности. Когда-нибудь я соберу и издам антологию отзывов одних знаменитых сочинителей относительно грамматики, синтаксиса и даже орфографии других не менее удачных современников. Это будет воистину грустная и поучительная книга.

Начиная с Пушкина, утверждавшего, что Державин писал по-татарски, вплоть до Ремизова, подчеркивавшего острым карандашом в журнале очередные ошибки Бунина и Сирина, — в русской словесности тянулась сплошная и безобразная междоусобица,

напоминающая лучшую пору смутного времени. Упрекать больших и даже классических писателей в незнании собственного языка редко позволяли себе литераторы западного мира.

Есть общий уровень французского языка, которого достигают все молодые люди, кончившие лицей и сдавшие башо; художники сверхкласса, вроде Пруста или Андрэ Жида, пишут лучше или чище: здесь тайна стиля... То же, по-видимому, происходит в великой английской культуре; юнцы, кончившие Кембридж или Оксфорд, могут иметь различные симпатии и верования, темпераменты и стили, но это не коснется основ языковой культуры. И главное, им не нужно идти на учебу к своему мужику, чтобы усовершенствовать или освежить речь.

Гениальный стилист Джэймс Джойс кувыркается на канате, тогда критика именно это отмечает: акробат!.. Если же неудачник не прошел общепринятой школы, то это так очевидно, что не стоит распространяться: приличные собеседники не замечают, когда рыгают в гостиной.

Как общее правило, на Западе писатели о писателях если и высказываются, то с подчеркнутой вежливостью и осторожностью, принятыми между соперниками на дуэли. Ибо всем ясно, что современники являются конкурентами: отрицать это могут единственно ханжи и лицемеры.

Только в русской литературе, где претензии относительно могучего, богатого, великого языка превышают все другие домогания, только там, из всех великих литератур, писатели сплошь и рядом затевают между собой драки, не брезгуя даже приемами ломовых извозчиков.

И объясняется это совсем не тем, что Достоевский — мистик, а Салтыков-Щедрин — либерал, или наоборот.

Зависть — вполне реальная и общечеловеческая черта. После грехопадения зависть, ревность, честолюбие подтачивали не только русскую, всеобъемлющую душу. Но к западу и к югу от Рейна, в особенности в англосаксонском мире, всем ведомо, что если один модный писатель начнет подсчитывать промахи другого, то делает он это совсем не по соображениям благородной незаинтересованности. (Даже ссора молодого Толстого с Тургеневым пример того же порядка.)

Зная все это инстинктом воспитанных людей, англосаксонские писатели вообще воздерживаются от критических выступлений по адресу своих соперников.

Впрочем, кроме низкого уровня культуры и дурных русских нравов тут налицо еще одно обстоятельство, которое следует отметить... Судя по свидетельству весьма авторитетных, хотя и заинтересованных лиц, никто по-русски не пишет правильно. Получается, что грамотно на нем пока еще невозможно изъясняться: иными словами, этот язык еще находится в стадии образования, развития.

Великим, могучим, совершенным я назову язык, который знают в совершенстве академики, а не мужики; великий, могучий, культурный язык должен иметь вполне законченный академический словарь, переиздающийся с дополнениями каждые пять—десять лет... (Старое издание можно купить на рынке за гроши.) Увы, это все достояние только англичан, французов, американцев. (Кстати, архаичный Даль ценился тогда на вес золота.)

«Колесо» прибыло из Берлина, где печаталось, и Осоргин пошел со мною в книжный магазин «Москва»; он один догадывался, что творилось с Яновским; сам я не понимал, что счастлив.

Парижская сырая зима, мокрые улицы возле Медицинской школы; рядом со мною заслуженный писатель: стройный — хочется сказать гибкий, — в какой-то заграничной, итальянской широкополой шляпе, весьма похожий на Верховенского (старшего). На рю Мэсье-ле-Прэнс мы вошли в бистро и выпили по рюмке коньяку, трогательно чокнувшись. Все, что мы тогда делали, я теперь понимаю, было частью древнего ритуала.

В «Москве» нас встретил озабоченный и вовсе не романтической наружности гражданин с бритой головою и в тесном берете. Нам вынеси высокую стопку «Колеса» — живые, еще пахнущие типографией листы. Заглавие на обложке было набрано западным шрифтом: буква «л» оказалась опрокинутым латинским «v»... Это была идея Осоргина, и он гордился ею. Я же тогда считал все вопросы касательно обложки, красок и расположения текста смешными, не относящимися к сути дела.

Михаил Андреевич достал из кармана список лиц, которым я должен был, по его мнению, послать книгу, и я начал вкривь и вкось выводить — «на добрую память... с уважением». Забавно, что Ходасевичу, с которым Осоргин пребывал в ссоре, мы не послали «Колеса».

В серии «Новые писатели» до меня вышла еще книга Болдырева «Мальчики и девочки». Предполагался еще «Вечер у Клэр» Газ-

данова, но Черток перебежал дорогу и получил рукопись для своего издательства («Парабола»).

Газданов, маленького роста, со следами азиатской оспы на уродливом большом лице, широкоплечий, с короткой шеей, похожий на безрогого буйвола, все же пользовался успехом у дам. В литературе основным его оружием, кроме внешнего, словесного блеска, была какая-то назойливая, перманентная ирония: опустошенный и опустошающий скептицизм.

Я никогда не мог признать самостоятельной ценности юмора и сатиры. Помню, как я возликовал, когда впервые услышал от Шестова:

— С каких это пор смех — аргумент?..

Болдырев, вскоре после издания своей повести, покончил самоубийством. (Звали его еще, кажется, Шкотт: мать его была шотландкою, что ли...)

С мягким, в общем, очень русским лицом, светлоглазый, медлительный Болдырев начинал всецело под литературным влиянием Ремизова. Он считался отличным математиком и давал частные уроки по этому предмету, чем и кормился. Изредка я его встречал на Монпарнасе в обществе одной незнакомой мне девицы. Однажды я ему сообщил, что предполагается издание нового журнала — не хочет ли он принять участие...

Болдырев посмотрел на меня удивленно, с натугою (в 1941 г. в Монпелье я узнал этот взгляд у Вильде, когда я попросил его передать друзьям в «Селекте» привет).

— Нет, это не для меня теперь, — медлительно ответил Болдырев. — Нет, это не для меня.

Мы постояли молча еще с полминуты и разошлись навсегда: через несколько дней он покончил с собой. Как мне потом передавали, Болдырев давно уже хворал, и доктора его уверили, что ему угрожает полная потеря слуха... Глухой, как же он проживет? Это конец. Культивируя в себе английскую отчетливость и шотландское уважение к разуму, он решил, что надо делать безжалостные выводы. И принял соответствующие порошки в надлежащем количестве.

Сколько их, людей, особенно литераторов, погибло на моей памяти, запутавшись в дебрях ложной жизненной или художественной школы. Думаю, что даже весь русский серебряный век мог бы оказаться удачею, если бы только его главные герои — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Андреев и многие дру-

гие — не следовали упрямо за выдуманной ложной школой... А в XIX веке все эти ходоки в народ и певцы заплатанных овчин — от Гоголя до Горького — сплошная жертва собственного, добровольного социального заказа.

— Я не порицаю его, — говорил, волнуясь, Осоргин, закуривая очередную папиросу с русской гильзой, — он прав! Что бы он делал здесь глухой, в этом возрасте? Клянчил бы в Союзе литераторов?

После панихиды я очутился в обществе двух странных поэтов: Кобякова и Михаила Струве. Объединяла их необычная черта — оба уже пытались кончить самоубийством, но их как-то отхаживали. В «Последних новостях» даже напечатали некролог Андрея Седых, посвященный М. Струве.

— Ошибся маленько Болдырев! — сказал, будто крякнул, Кобяков, и его огромный кадык на тонкой шее дернулся, словно клюв. — Пяти минут не рассчитал Болдырев!

— Да, — рассеянно согласился Струве. — Я тоже так понимаю.

Спорить с этими специалистами не хотелось; что-то их пугало и обижало в решительном прыжке Болдырева.

Таким образом, вся серия «Новых писателей» фактически свелась к одному Яновскому, и Осоргин сохранил некую отеческую нежность ко мне. Дал все адреса своих переводчиков, и в итоге «Колесо» начали переводить. По-французски оно вышло под заглавием: «Sachka l'Enfant gui a Faim». Только с течением времени, получив некоторые «мертвые» указания от других писателей, я смог оценить услугу Осоргина.

По его совету я послал «Колесо» Горькому в Сорренто и получил он него два письма, вскружившие мне голову.

В Монпелье однажды Александр Абрамович Поляков, которого я посвящал в тайны белота, передал мне пакет черных маслин, присланных ему Осоргиным; сам Поляков этих залежавшихся оливок не мог или боялся есть.

Я маслины использовал вполне, вымочив их предварительно в вине, и черкнул Осоргину несколько слов благодарности. Получил в ответ длинное письмо — это была наша последняя «встреча».

В Нью-Йорке я узнал о его кончине. Радуюсь, что он умер в родной Европе, в виду Луары, под благословенным галльским небом. Осоргин любил описывать прелести родной Оки или Камы. Но жил он на тех берегах едва ли больше десятка лет. И есть у меня думка: Осоргин в Москве завыл бы от тоски. (Как и

многие подлинные эмигранты: Герцен, Тургенев, Гоголь — все разные и в чем-то схожие.)

Мне кажется, что большинство безобразий в истории России объясняются ее отвратительным климатом. Поэты обманывают обывателя, воспевая снега, и мороз — красный нос, и лихую тройку с бубенцами, и жаворонка (высоко, высоко) в синем небе. А ведь, вообще, господа, паскудно жить в России — метеорологически говоря!

Кстати, периодический голод, поражающий Русь (как и Китай) со времен Ивана Калиты до Никиты Хрущева включительно, пещерный голод этот объясняется в значительной мере ее климатом. Подумайте, друзья, ведь есть страны, где собирают ежегодно по два-три урожая. (И березку там не почитают как священное деревцо.)

На Пасху я получил письмо от Алексея Михайловича Ремизова — в ответ на мое «Колесо». Трудноразбираемая, своенравная кириллица удостоверяла: «У Вас есть лирика, без нее не знаешь как прожить на этой земле...» Затем следовало приглашение: такой-то день, такой-то час.

Все воспоминания о Ремизове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым, умным взглядом... Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Руаяль и проводило в комнаты.

Но увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто, часто я просто не мог смотреть Ремизову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремизове и в его окружении... Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. По существу, и литература его не была лишена манерной, цирковой клоунады, несмотря на все пронзительно-искренние выкрики от боли.

В этом доме царила сплошная претенциозность... Вечные намеки на несуществующие, подразумеваемые обиды и гонения. Все «штучки» Ремизова, вычурные сны и сказочные монстры, в конце концов били мимо, как всякий неоправданный вымысел. Он быстро заметил перемену во мне и перестал надоедать свои-

ми рисунками, снами и неопределенными намеками. Стал гораздо откровеннее, проще и ближе.

Любопытно, что приблизительно через такое же разочарование прошли многие наши литераторы, вначале обязательно влюблявшиеся в Ремизова: иные даже кончали подлинной ненавистью, не вынося этой ложно-классической атмосферы.

В конце двадцатых — в начале тридцатых годов Ремизов был кумиром молодежи в Париже. А через несколько лет о нем уже все отзывались с какой-то усмешечкой и редко к нему наведывались. Как ни странно, о Ремизове часто отзывались таким образом:

— Вот подождите, я когда-нибудь сообщу всю правду про него.

Правды, впрочем, особой не было... Кроме той, что Ремизов постоянно апеллировал к истине и искренности, а сам непрестанно «играл» или врал.

Говорили, что Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, страдавшая сплошным ожирением тканей, оказала на мужа благодатное влияние. Она преподавала древнюю русскую палеографию, и кириллица Алексея Михайловича да и много других штучек от нее!

Я в жизни часто убеждался, что так называемое «спасительное» влияние дам в действительности почти всегда является попыткою задушить своего спутника под благовидным предлогом. Это верно от Данте с Беатриче вплоть до Оцупа с его красавицей (впрочем, Данте имел еще других, более серьезных поводырей).

Полагаю, что Серафима Павловна ответственна в значительной мере за ханжество, лицемерие и попрошайничество Алексея Михайловича. В их доме никогда ничем, кажется, не поступились для блага ближнего; а к себе Ремизов постоянно требовал евангельской любви.

Жилось им, разумеется, худо, но я встречал нищих и даже бездомных, которые ухитрялись изредка помогать другим. В доме Ремизова старались каждого посетителя немедленно использовать: хоть шерсти клок. Переводчик? Пускай даром переводит. Сотрудник «Последних новостей»? Пусть поговорит с Павлом Николаевичем, объяснит, что Ремизова мало печатают. Богатый купец?.. Пожалуй, купит книгу, рукопись, картинку. Энергичный человек? Будет продавать билеты на вечер чтения. Молодежь, поэты? Помогут найти новую квартиру и перевезут мебель. Доктор Унковский? Должен поправить старую, прогнившую резинку от клизмы: для этого пригодится именно доктор, хе-хе-хе. Кельбе-

рин? Передаст Оцупу, что тот приснился Алексею Михайловичу (и все обстоятельства, предшествующие этому событию).

Ибо у Ремизова выработалась неприятная, на границе с шантажом практика: видеть разных важных персон — во сне! Причем он мог управлять этими грезами: одни являлись в лестной для них обстановке, а другие — в унизительной. И Ремизов опубликовывал эти сны с комментариями.

Так что Ходасевич даже раз был вынужден написать Ремизову:

— Отныне я вам запрещаю видеть меня во сне! — И это, кажется, помогло.

Ремизов с детства по многим социальным и психологическим причинам почувствовал свою одинокую беспомощность, пожалуй ничтожность. И оценил значение организации, общества, союза. Присоединиться одним из равных или последних к чужому объединению ему казалось невыгодным... Он придумал собственную «обезьянью» ложу, магистром которой назначил себя; а приятным людям выдавал соответствующие грамоты. Это, конечно, была игра, но, как все в этом доме, — двусмысленная игра!

Гость, усаживающийся за чайным столом у Ремизовых, сразу начинал задыхаться от какого-то томительного чувства... Алексей Михайлович своим московско-суздальским говором, тихим, но таким внятным и четким, точно он чеканил ртом добротную монету, сообщал замысловатую историю, из которой можно было догадаться, что его опять обидели, обошли, подвели.

Само собою подразумевалось, что все благородные и умные люди только и ждут случая, чтобы вступиться за Ремизова. Предполагалось, что весь мир в заговоре против хозяина, а мы, теперь собравшись, обсуждаем меры противодействия силам тьмы и зла. Невольно каждый начинал себя чувствовать заговорщиком, что и создавало удушливую атмосферу лжеклассической драмы.

Алексею Михайловичу совсем не жилось хуже, чем другим писателям его поколения. Он занимался исключительно своим любимым делом и жил в оплаченной, правда с опозданием, квартире, с кухней и ванной.

Писал он много, очень много, так как редко выходил из дому, и, по слабости зрения, читал все меньше и меньше. Думаю, что после него осталось больше сотни ненапечатанных книжек: пересказов былин, снов, дневников и повестей. Но и издавал Ремизов изрядно: во всяком случае, не меньше Зайцева, Цветаевой или

Шмелева. Так что опять-таки его беда являлась частью общей эмигрантской болезни.

Иногда при мне он заканчивал какую-нибудь запись, близоруко переписывая ее в последний раз: тщательно выводя каждую букву отдельно... Это действовало на случайного свидетеля, заражая его энергией мастерства. Полуслепой плотный карлик, припавший выпуклой грудью к доске стола, строчит: дьячок московского приказа, быстро, быстро пишет, выговаривая губами отдельные слоги.

Уходя от него после такого урока, хотелось немедленно сесть за рукопись и вот так, смачно «ощупывая» ртом всякую букву, пропустить текст через сито ремесленного искусства.

Он учил нас обращать внимание не только на слова, но и на слоги или буквы, учитывая соотношение гласных и согласных, шипящих, избегая жутких русских причастий вроде: кажущийся, чертыхающийся, являющийся и т. д., и т. д...

— Я видел ваш почерк, — весело, на ходу, занятый более важными гостями, бросил мне Ремизов при первом визите. — Надо выписывать каждую букву отдельно, в этом секрет хорошего письма.

О «Воспоминаниях» Бунина часто отзывались с возмущением... В самом деле, ни к одному из своих современников он не отнесся с участием (одно исключение, кажется, Эртель).

Но то же самое проделывал и Ремизов: всех разносил, ругал и порицал. С той разницей, конечно, что был он типичным неудачником, без Нобелевских медалей, и ему должно прощать известную долю завистливой горечи.

Все писатели, разумеется, не знают русского языка и берутся не за свое дело... Особенно доставалось тем, кому хоть немного везло, — Бунину, Сирину. Ремизов хватал очередную книжку «Современных записок», где тогда без перебоя, из номера в номер печатался Сирин, и, читая вслух старательно подчеркнутую фразу, например, «От стихов она требовала ямщик-не-гони-лошадиного...», возмущенно жаловался:

— Вот давно избитое выражение «цыганщина», «романс» он заменяет строкой из пошлой песни и думает, что состряпал нечто новое! А все потому, что берутся не за свое дело.

В его злобном отношении к Бунину чувствовалось нечто классовое, сословное. Даже когда Осоргину, благоговевшему перед Ремизовым, привалило счастье и он сорвал десяток тысяч долларов в Америке, Алексей Михайлович немедленно обиделся...

В этих рейдах против врагов Серафима Павловна его молчаливо поддерживала. Вся она расплылась от волн жира... Без шеи, лицо, пожалуй, сохранило черты былой миловидности... детский, маленький носик.

Несмотря на свою ужасную болезнь, сущность которой заключалась в том, что она все превращала в жиры и откладывала их, или, может быть, по причине болезни, Серафима Павловна беспрерывно что-то жевала. Она ежедневно проводила несколько часов в магазине друзей, помогая у кассы и уничтожая гору изюма, пастилы, орехов.

Популярность у молодежи льстила Ремизову; на этой карте он удачно обошел Бунина. Одно время за его воскресным чаем собиралось человек тридцать новых литераторов. Но продолжалось такое оживление недолго. Уход молодежи оставил еще одну язву в обиженном сердце.

У Ремизова я познакомился с Замятиным после его приезда в Париж. Впечатление осталось: крепкий, целеустремленный ремесленник.

Покинув СССР, Замятин, однако, вел себя с примерной осторожностью, не желая или не умея порвать с потусторонней властью. От него ждали пламенных слов, смелых обличений — обвинительного акта... Чего-то среднего между Золя и Виктором Гюго. А он читал на вечерах свою «Блоху» (из Лескова) и сочинял сценарии для «русских» фильмов во Франции: «Les Batelliers de Volga»*. Он рассказывал о московских писателях. О Шолохове сообщил, что во втором томе «Тихого Дона» автор, по-видимому, использовал чужой дневник. Твердо помню, что речь шла только о втором томе и отнюдь не о «Тихом Доне» в целом.

Тогда еще были живы многие писатели, замученные «отцом народов» (увы, только ли «отцом»): Мандельштам, Бабель, Зощенко, Пильняк... Замятин догадывался о ждущей их судьбе, но этой темы он не касался. Знаю, что он дорожил успехом «Блохи» в Москве и все еще получал оттуда деньги. Над его письменным столом в Пасси висел большой советский плакат «Блохи». И своего «Обвиняю» или «Проклинаю» он так и не произнес.

Клеймить его грешно: так вели себя и другие сочинители, попадавшие проездом в Париж: Бабель, Киршон, Пастернак, Федин, В. Иванов, А. Толстой.

---

* «Волжские бурлаки» *(фр.)*.

В русской классической литературе есть разные образцы высоких подвижников: старец Зосима, Платон Каратаев, Алеша Карамазов... Это святой жизни личности, но понятия о чести они не имеют! Ибо над западной, католической честью (honneur) наши художники старого стиля считали обязательным глумиться, как и над французиками и полячишками. Посмотрите, сколько все-таки примерных бар, не только крестьян в «Войне и Мире», и ни одного стоящего француза. Наполеон с маршалами и все другие иностранцы говорят сплошную чушь, с ложным пафосом... И это у Толстого. А Достоевский — уже неприличный пасквиль или клюква!

Задолго до большевиков начали на Руси издеваться над такими буржуазными условностями, как честь и достоинство личности. До христианства и гоголевского православия не докатились, а «гонор» профуфукали: не только фактически, но, что хуже, и в идеале — метафизически!

Русский мужик, как и боярин, испокон веков верил, что от поклона голова не отвалится, а покорную голову и меч не сечет и тому подобную мудрость. Танцует Хрущев гопака вокруг стола «отца народов» и думает: «Быть мне помощником письмоводителя!» А другие кандидаты смотрят на него с одобрением и завистью.

После внезапной смерти Замятина Ремизов мне сообщил:

— Вчера я видел во сне Евгения Иваныча... Нос у него совершенно сплюснутый, раздавленный и оттуда кровь капает. Я понял — это душа Замятина... Хрящ перебит, и густая, темная кровь течет. Понимаю: страдает очень, а помочь нельзя, поздно! Он сам искалечил себя «Блохой» и тому подобным успехом.

Передаю по памяти, уверен, что среди бумаг Ремизова сохранилась соответствующая запись. Алексей Михайлович не забывал таких снов и не сжигал своих блокнотов.

Раз я не явился на его очередной весенний вечер — с какой яростью он меня потом ругал:

— А билетом моим, что я вам послал, вы в клозете подтерлись, подтерлись! — со жгучей обидой повторял он, точно речь шла Бог весть о каком кощунстве. (Билеты свои Ремизов подкрашивал и подклеивал рождественской мишурою всю зиму.)

После выхода в свет моего романа «Мир», главы которого он читал в гранках, Ремизов похвалил в нем только одно неприличное место.

— Это хорошо, что кот съел, — блаженно улыбаясь сквозь толстые стекла, говорил он. — Я вчера показал это описание Мочуль-

скому и тот просто ужаснулся: а ведь сам небось шалун... Я тут иногда смотрю на гостей и думаю: как ты, голубчик, все делаешь дома? — опять загадочно ухмыльнулся он.

Разные его позы — гнома, колдуна, болотного попика, недотыкомки — были игрой, обязательной данью того времени. Тут и Блок, Лесков, «Мелкий бес», Мельников-Печерский со всеми Ярилами и Перунами.

— Читайте мою «Посолонь», — советовал он поклонникам. — Там вся тема.

Я возражал, что, вероятно, Флобер со своим методом каторжной работы и «чистки» тоже повлиял на Алексея Михайловича. Ремизов осклабился:

— Это, что и говорить, это верно, но это потом. А начало свое, в «Лесах» Мельникова-Печерского. («Ремизов — почти гений, а учился у скверного писателя», — думал я с удивлением.)

Усвоив огромный опыт нужды, Алексей Михайлович больше всего негодовал, когда на его скромную просьбу отвечали: «Нынче всем худо». Это он считал пределом эгоизма и лицемерия.

Во время бегства из Парижа мне пришлось таскать с собою повсюду щенка, подброшенного нам в Тулузе. И люди кругом, беженцы, негодовали, а иногда и затевали драку под предлогом, что «теперь не до собак, детки гибнут...» Тогда я вспомнил и оценил вполне эту ремизовскую ненависть к обывательскому «нынче всем плохо»!

Как-то летом, во время каникул, когда все в отъезде, Фельзен начал по воскресным вечерам ходить к Ремизову с визитом. Туда же являлась одна его дама сердца. Посидев немного, они уже вместе отправлялись дальше.

А зимой на мой вопрос, почему он перестал бывать у Алексея Михайловича, Фельзен сообщил:

— Ноги моей у этого ханжи не будет больше! Звоню, отворяет дверь сам Алексей Михайлович и сразу говорит: «А знаете, Николай Бернгардович, у меня не дом свиданий».

— Ну! — ахнул я. — Что же вы?

— Я ничего, — снисходительно рассказывал Фельзен, и я понял — он прав, именно та́к надо себя вести! — Я ничего не ответил, — уверенно продолжал Фельзен. — Прошел, как полагается в столовую, там уже сидела НН. ... Поздоровался со всеми, поболтал минут пять и вышел. Больше ноги моей у него в доме не будет.

Ремизов тоже передавал мне этот эпизод со смесью гордости и страха.

— Вот вы это поймете! — несколько раз повторил он таким тоном, что я подтвердил:

— Конечно, вы правы, Алексей Михайлович.

IX

В те героические годы в Париже процветал «Союз писателей и поэтов» — организация молодых... А «Союз писателей и журналистов» состоял уже тогда из стариков, полудоходяг.

Председателем нашего Союза часто избирался Софиев. Поручик или корнет артиллерии (гражданской войны), он происходил из семьи кадровых артиллеристов, кажется, Михайловского училища; дед его — Бек-Софиев — полковник, еще был магометанином.

Стихи Софиева не лишены гумилевской нотки. Был он отличным товарищем, несмотря на естественную склонность к интриге и смуте. Рыжеватый блондин с кудрями, несколько похожий на древнего галла, он зимой, на рассвете, мыл стекла окон больших магазинов и контор со стороны улицы: кожа его рук об этом свидетельствовала. Поднаторев на мучительной работе, Софиев вполне проникся классовым сознанием, на всех наших собраниях (и даже внутреннего «Круга») он защищал интересы трудового народа...

К религиозным вопросам оставался нечувствительным. Но обожал песню, стакан вина в кругу друзей и по-гусарски просто влюблялся. Летний отпуск он проводил на велосипеде; жена — Ирина Кнорринг, тяжело болевшая диабетом, не могла его сопровождать. Возвращаясь опять в Париж, Софиев привозил вместе с памятью о виноградниках и замках на Луаре какую-нибудь вполне невинную романтическую историю... Восхищался западной готикой, церквями, каменщиками и всем колдовством «закрытого» средневекового общества. Был у них сынишка, раз при мне сказавший: «Надоело спать...» И еще: «Негрщик пришел» (то есть угольщик)...

Софиев теперь в Средней Азии (если еще жив); Ирина Кнорринг давно умерла, а мальчик их, вероятно, уже среднего возраста дядя, глава семьи и проч. (Жизнь, можно утверждать, продолжается.)

После победы парижские эмигранты (не все) пошли на поклон в советское посольство: Софиев, разумеется, был с ними...

Он подобно Ладинскому — тоже боевому офицеру — не только взял паспорт, но и честно уехал в Союз... Затем, несмотря на свой уже полувековой возраст, Софиев отправился «добровольцем» в экспедицию за Урал (Ладинский все же умер в Москве; там же обретаются Любимов и Рощин, но это уже люди совсем иной формации).

В архиве нашего Объединения хранились разные интересные документы; в какой-то год меня избрали секретарем Союза, и я тут же спросил Софиева, где эти «исторические материалы» (например, заявление Горгулова-Бреда о поступлении в наш Союз; помню выражение в конце письма: «Точка, как бочка»)...

— Я их храню отдельно, чтобы не пропали, — заверил меня Юра.

Где теперь эти уники, не знаю.

Софиева после очередной склоки обычно мучили угрызения совести, отсюда его покаянная жажда дружбы, любви, доверия.

Нас во внутреннем «Круге» он старался любить. По коренным чертам характера ему было легко словом, шуткою «предать» ближнего... Но как он винился потом и сожалел, а мы ему верили!.. Верили не тому, что он отныне будет «верным мужем, хорошим отцом, близким другом», а тому, что, в сущности, именно этого Юра жаждет.

Как председатель Объединения Софиев бдил за единством молодой зарубежной литературы... Он ставил себе целью подобно Ивану Калите «собрать и организовать» всех писателей и поэтов на чужбине сущих — под культурным водительством Парижа. Этот государственный (имперский) пафос нас смешил, но все же изредка служил причиною лютых междоусобных (удельных) войн, угрожавших благополучию монолита.

Так Терапиано с Раевским затеяли новый поэтический кружок и журнал «Перекресток». (Название это предложил Давид Кнут: «Мы сошлись на перекрестке».) Предполагалось ориентироваться на Ходасевича («Формальный метод»). Ясно, что ни Поплавский, ни Червинская туда не пошли.

Состоял «Перекресток» из пяти-шести человек; самым ярким из них, кажется, был Смоленский (Раевский, брат Оцупа, в то время часто ронял такую фразу: «Я и моя группа»)...

Вот против них-то и ополчился Софиев, клеймя попытку разбить «организационное единство». Впрочем, группа эта сама собою вскоре рассыпалась и без особых заслуг со стороны Софи-

ева. Лучшее что осталось от «Перекрестка», полагаю, тетрадь, куда члены кружка записывали коллективные стихи огорченных и веселящихся поэтов. Помню эпиграмму на меня (автор, кажется, Смоленский):

Блажен прозаик, отстранивший лиру,
Он легкой музыкой несом:
То «Колесом» прокатится по миру,
То «Мир» прокатит колесом.

Кстати, прозаиков в «Перекрестке» почему-то представлял Алферов; он появился на Монпарнасе с одним рассказом «Дурачье». И больше, пожалуй, никогда нигде не обнародовал. Иванов его прозвал «Восходящим светилом малярного искусства». Ибо кормился Алферов именно малярным ремеслом (а в то время другой «живописец» — за Рейном — добился уже полного признания).

Действительно, Алферов вскоре встретил милую и богатую русскую барышню из правого лагеря и как подающий надежды сотрудник «Чисел» без труда обвенчался с нею... Он зажил сложной, обеспеченной жизнью человека делового, вспоминая, вероятно, с ужасом свое монпарнасское прошлое.

Впрочем, многие литераторы продолжали навещать его в книжном магазине, поддерживая связь. Поначалу он охотно помогал мелочью пристававшим сверстникам, но постепенно такая роль ему, разумеется, надоела. (Мне Алферов по первому слову однажды вручил несколько сот франков на квартирный «терм», сделал это легко, просто и без напутственной проповеди.)

Было в нем что-то старинно-русское, мягкое, вернее, славянское, «откровенное» и, естественно, талантливое, так что его успех у барышень вполне оправдан. А литература его не вышла! Искусство профессиональное — вещь противоестественная.

Беседовать с Алферовым было приятно, но неинтересно — проза, как кредитный билет, требует наличия настоящего золотого запаса; только поэзии позволительно быть глуповатой.

Случилось, что Алферов наконец отказал в какой-то мелочи упорно надоедавшему приятелю НН. ... Последний это пережил как разочарование мирового порядка. Оказывается, уверял НН., он ходил к Алферову так часто единственно чтобы защищать его от налетов бесцеремонных знакомых. (Иначе говоря, НН. боялся, что без его советов и помощи Алферов раздаст всем свое имущество... В этом анекдоте много характерного для парижан 30-х годов.)

Судьба Варшавского в Париже была исключительная: все его любили и даже уважали. Причем не только как человека и гражданина, умного собеседника или благонамеренного демократа, но именно как писателя, беллетриста... А ведь за все довоенные годы он напечатал только два рассказа: книгу свою он написал уже после войны.

С легкой руки Адамовича — особенно ценившего именно то, что ставило под сомнение дальнейшее существование литературы, — Варшавского называли «честным писателем». Под «честным» в то время подразумевали серьезный, без выдумок, правдивый, на манер Толстого... Причем забывали, что сам Толстой, кроме честности и гения, имел за собою еще сумасшедшую фантазию: он постоянно искал не только Бога, но и новых форм — от «Холстомера» до «Истории фальшивого купона». Встреча Нехлюдова с Катюшей на суде тоже может показаться «надуманной».

Мне эпитет честный по отношению к писателю напоминал главу из «Записок писателя», где Достоевский высмеивает французов, в один голос твердивших, что Мак-Магон «храбрый генерал»!

«Когда про генерала можно только сказать, что он храбрый, то это означает, что генерал сей особым умом не блещет...» (Цитирую по памяти.)

Вот нечто подобное мне чудилось всегда за упорно повторяемым эпитетом «честный» (и ничего больше) относительно беллетриста.

— Что ж, написал один рассказик и всю жизнь будет считаться писателем! — возмущался Поплавский, где-то с Варшавским не поладив.

Варшавский внушал доверие своей «скромностью», подчеркнутой совестливостью, ложной растерянностью, смесью принципиальности и деликатной уступчивости.

Мысли его, не всегда оригинальные, были из лучших источников: Бергсон, Толстой. И высказывал он их с такой откровенной взволнованностью, что нельзя было не проникнуться симпатией к этому милому молодому человеку.

Раз после доклада Варшавского кто-то из публики крикнул: «Лошади едят сено!..» И Адамовичу стоило большого труда потом убедить слушателей, что даже такая простая истина не лишена ценности в наш век!

И никто, кажется, не догадался, что Варшавский больной мальчик, что он родился левшой, которого «переобучили». Что он

органически не в состоянии «закончить» работу, будь то собственный рассказ или чужое философское сочинение.

Прожив много лет без отца, в одной комнате с матерью, Варшавский упорно искал «героя», отдавая себя чересчур охотно под покровительство то Адамовича, то Фондаминского, то Вильде, то о. Шмемана или Денике и многих других. «Влюбленным» он мог быть одновременно в нескольких и слушался своих наставников не за страх, а за совесть, что последним почти всегда нравилось. Варшавский честно участвовал в «смешной» войне и, вернувшись из плена, был удостоен французской военной медали. Впоследствии, возмужав, он написал и издал две ценные книги...

Кроме удачной женитьбы Алферова припоминается мне еще один буржуазный монпарнасский брак... Адамович привел к нам именно с этой целью дочь Стравинского. И Юрий Мандельштам с ней обвенчался. Новобрачная хворала туберкулезом, совсем как в романах XIX века: через непродолжительное время она скончалась, оставив мужу младенца, девочку.

В 1937 г., кажется, я проезжал на велосипеде по Эльзасу и вблизи Кольмара наткнулся на Юру Мандельштама: там, на горе Шлютц (или что-то фонетически похожее), я подержал на руках сверток с его дочкой — четверть века тому назад. Говорили мы о Грюневальде, которого я тогда «открыл».

Мандельштам был очень предан литературе и писал с большим рвением главным образом серые стихи. Играл он с азартом в шахматы и бридж, но прескверно.

Адамович, критик, можно сказать, мягкий, тактичный («музыкальный») после десятилетия творческой деятельности Мандельштама раз написал в своей очередной рецензии: «Кстати, право, еще не поздно Мандельштаму начать подписывать свои стихи каким-нибудь псевдонимом...» (цитирую по памяти).

Но Мандельштам не собирался отказаться от своего имени. Родители его — москвичи, милейшие люди — души не чаяли в сыне и дочке (Татьяне Штильман). Из всей семьи только Юра принял православие, пережив соответствующий религиозный опыт; и он же один погиб в немецком лагере. Произошло это как ни странно в связи с бриджем... Юра обожал карты, хотя больших способностей в игре не проявлял. Раз вечерком он пробрался из своей квартиры на следующий этаж (в том же доме) на квартиру другого сотрудника газеты «Возрождение». Там вчетвером сели за

карты. А Мандельштаму, между прочим, как еврею «по расе», полагалось после 8 часов сидеть дома. Полиция случайно нагрянула и арестовала нарушителя закона. Юрия Владимировича увезли в лагерь Компень, где он имел еще возможность общаться с матерью Марией и Фондаминским. Затем они все исчезли. Какой набор бессмысленных случайностей!

Мандельштам принадлежал к «группе» Терапиано. Многие начинающие поэты, в том числе и Смоленский, отдавали себя под опеку Терапиано. Но, расправив собственные крылья, они поспешно отделывались от лишнего груза и часто платили Терапиано черной неблагодарностью... Однако Мандельштам до конца остался верным своему патрону.

Софиев мечтал о том, чтобы собрать в одну организацию все кружки зарубежной литературы, а Терапиано стремился обучить их мастерству стихосложения — на свой салтык. Тень метра, строителя стихов, Гумилева, Брюсова не давала покоя Терапиано, и это тем более досадно, что, не касаясь его поэтического дара, шармом или магией он никак не обладал.

Был Терапиано внешне тускловат; стихи он любил и, по-видимому, знал. Но к прозе на редкость был глух! Молодым поэтам, если они признавали его авторитет, он старался услужить.

Под крылом Терапиано начинал Смоленский (в лагере Ходасевича)... В характере Смоленского было нечто объединявшее его с Ивановым и Злобиным — моральное гнильцо. Но умом или даром Иванова он, конечно, не обладал. Смоленский умел с толком и смаком повествовать о собственной смерти. Эта тема казалась ему и трагической, и значительной. Но в противоположность Иванову или Мережковскому, тоже распространявшихся на этот счет, Смоленский действительно скончался молодым, что, увы, задним числом объясняет многое.

Гимназистом Смоленский влюбился и сочетался законным браком с румяною, полногрудою девицей. Тогда он пел стихи о «ласточке белогрудой»... Постепенно заинтересовался водкою, разошелся с женою. Хорошенький, смуглый мальчик во фраке, кокетливо поигрывая бедрами, декламировал с эстрады о «пьяном поэте» и что «каждая ночь бесконечна».

Знакомясь с дамою, он довольно грубо тут же начинал приставать к ней. Восседал у «Доминика» «на жердочке» и, чокаясь, порочно улыбался. А то вдруг затевал ссору с хорошенькой, туберкулезно-миниатюрной А.

— Вот это новая Анна Каренина, — глумился он...

А. еще больше бледнела и кусала свои крошечные красные губы.

— Я вам сейчас морду набью! — крикнул я раз при свидетелях. — Выйдем отсюда...

Смоленский был, пожалуй, поэт maudit*, но трусливый поэт maudit. Кривясь, он, однако, ничего не ответил. Через несколько дней «Анна Каренина» мне неожиданно сказала:

— Я вас считаю принципиальным человеком.

Вообще говоря, наши литературные дамы не были приспособлены к грубым формам жизни. Трудные условия быта, бессонница, плохое питание, табак и, главное, ежеминутное выяснение отношений убивали многие нормальные физиологические поползновения. В сексуальном отношении они становились одновременно и жертвами, и вампирами. Марья Ивановна, жена поэта Ставрова, часто жаловалась: «Говорят, что на Монпарнасе происходят оргии. Ну, переспят друг с другом, подумаешь, оргии!»

Все же Ходасевич счел возможным по этому поводу разразиться стишком:

Сквозь журнальные барьеры
И в Париже, как везде,
Дамы делают карьеры,
Выезжая на метле.

Однажды в «Селекте» к соседнему столику приблизились две «обыкновенные» девицы: с ляжками, икрами и прочими, как полагается, нормальными атрибутами. И Адамович, улыбаясь вполне бескорыстно, заметил:

— Боже мой, если бы к нам вдруг попали такие две банальные тетки, какая чудесная метаморфоза произошла бы в наших поэтах.

Перед войной на Монпарнасе начала появляться красивая сухая блондинка, новая невеста, затем жена Смоленского. Говорили, что она религиозно настроена и собирается «спасти» поэта. Может, она его действительно спасла. Но при оккупации он, как и Мережковские, Иванов, Злобин, идеологически расцвел. После победы парижане одно время их всех бойкотировали. Так, в их первом сборнике «Четырнадцать» (или «Тринадцать»?) ни Смо-

---

* Проклятый *(фр.)*.

ленский, ни Иванов, ни Одоевцева, ни Гиппиус, ни Злобин не участвовали и не могли участвовать. То же в «Эстафете»!

У Convention, чуть ли не напротив редакции «Чисел» жил В. В. Руднев. Я любил эту бездетную, тихую, приветливую чету русских интеллигентов, народников, либералов и прочее.

Однако роль Вадима Викторовича в «Современных записках» казалась мне вредной.

Руднев не скрывал, что стихов он не «понимает», и он не вмешивался в отдел лирики. Но о прозе и он, и другие редакторы, увы, имели определенное мнение...

— Вот Вадим Викторович верующий православный, — с облегчением объяснял Вишняк, — а он вполне согласен со мною, что эту метафизику печатать не следует!

Правда заключалась в том, что Руднев, связанный бытовым образом с русской церковью, считал, однако, что религиозные вопросы не являются предметом рассуждений или споров. Вера — это личное дело человека! Высказываться на эту тему при посторонних даже неприлично...

За стаканом красного вина с неприхотливою закускою мы старались мирно беседовать, не слишком раздражая друг друга; по существу, я уважал в нем честность, стойкость, неподкупность и какую-то особенную, давно исчезнувшую «старорежимную» бескорыстную чистоту. Связывала нас и медицина: он был московским, кажется, земским врачом и понимал лекарскую деятельность вроде некоего служения... Трогали Руднева, вероятно, и чрезмерные лишения, выпавшие на долю всего моего поколения.

Его жена, низенькая, коренастая — типичная русская женская фигура — с ясным «честным» взглядом, мирно прислушивалась к нашей беседе. Благодаря медицине, в каждой стране, куда меня забрасывала судьба, я сразу попадал в гущу реальной коренной жизни и видел подоплеку, скрытую от глаз иностранных наблюдателей. Мой опыт иной раз мог показаться интересным.

У Руднева, помню по рукопожатию, был какой-то дефект в пальце: кажется, недоставало части правого мизинца. Детей у них, как полагалось в той среде, не было. Чем это объяснить, не знаю, но факт, что Вишняк, Николаевский, Зензинов, Алданов, Фондаминский и многие, многие другие никогда живого потомства не производили, мне кажется совершенно поразительным и требующим истолкования.

После бегства из Парижа Руднев долго хворал в По; его оперировали, но безуспешно. Умер, как полагается русскому революционеру, в ссылке, непрестанно хлопоча о других (помогал и мне с визою). О его последних днях хорошо рассказывала Извольская, жившая тогда в По.

Похоронив мужа в Пиренеях, вдова Руднева перекочевала в Нью-Йорк, где я ее на первых порах изредка встречал. Она пробовала меня приглашать на свои воскресные завтраки, где бывали ее старинные товарищи вроде Вишняка и Зензинова... Но из этого общения ничего путного не получилось: я как-то мимоходом ругнул очередной роман Алданова, и меня тут же с позором вывели из-за стола. Алданова в своем кругу еще можно критиковать, но не дай Бог при посторонних.

Раз я очутился в помещении русского нью-йоркского клуба «Горизонт» на докладе знаменитого голлиста... После перерыва, втягиваясь опять к своему месту в креслах, я вдруг столкнулся с Рудневой, шедшей в другом людском потоке.

— Как поживаете? — успел я бодро осклабиться и, не дожидаясь ответа, прошел дальше, увлекаемый толпой.

И вдруг до меня донеслось:

— Плохо, очень плохо!

И нас развело потоком. Я даже рассердился: ну, зачем такое говорить! Вряд ли ей хуже, чем другим. «Нынче всем плохо». Однако я решил на днях звякнуть, спросить, условиться...

Несколько месяцев спустя она умерла — внезапно, на улице. Руднева работала в швейной мастерской. Изредка ходила в театр: обожала музыку. Вот, возвращаясь ночью из Карнеги Холла, она упала на Вест 72-й... Ее подобрали, нашли в кармане адрес М. С. Цетлин, живущей рядом, на той же улице. Полиция позвонила, но Мария Самойловна, глухая и больная, уже улеглась в постель. Она дала адрес Зензинова.

Зензинов у последних эсеров считался единственным человеком дела, решения, «акции», даже пистолета! Это он, кстати, в свое время прозевал Азефа и позволил улизнуть из Парижа; это Зензинов упустил Касьянкину в пору ее первого бегства, еще на толстовской ферме, так что чекисты увезли ее в консульство, откуда она уже «прыгнула».

Всякий раз, когда стареющим эсерам нужен был «мужчина», они обращались к Зензинову, прослывшему у них «старой девой». Так и теперь, Мария Самойловна дала полиции телефон Владимира Михайловича.

И Зензинов, честнейший, скромнейший, принципиальнейший Зензинов, торопливо оделся и пошел темной ночью опознавать труп Рудневой, которую, вероятно, еще знал русой бестужевкой полстолетия тому назад. («О, Боян, соловей старого времени, кабы ты эти полки воспел!»)

Из редакции «Чисел» или от Рудневых я доходил пешком до Порт де Версай, откуда трамваем к себе в Ванв, на стыке с Кламаром.

В Кламаре жила многочисленная и крепкая семья «Черновых» — дочки Чернова вышли замуж за Резникова, Сосинского и Вадима Андреева. Колония «Черновых» жила дружно, хотя бедно, и Сосинский с Андреевым, пока не взяли советских паспортов, считались «глубоко своими» и участвовали в «Круге».

Работали «Черновы» в типографии, пописывали и очень увлекались теннисом. Им удалось за гроши арендовать теннисную площадку. Там на калитке ограды висел их замок с секретным шифром: «Христос Воскрес Теннис Кламар». То есть, чтобы отомкнуть, надо было сперва щелкнуть букву «Х», потом «В» и т.д. Тогда ларчик просто отпирался. Знают ли в Союзе об этом тайном эмигрантском коде?

Рядом с «Черновыми» жил Бальмонт с дочкою Миррой, несколько раз выходившей замуж. Общаться с поэтом уже было трудно.

День рождения Бальмонта... Лето, по-видимому август: дорожки садика полны лепестков осыпающихся бледных роз. Чтобы отметить праздник этот поблекшей изысканности русской медлительной речи, «Черновы» соорудили для него послеобеденный чай — вина Бальмонту нельзя было давать.

У опустошенной клумбы сидит поэт с неряшливой, но львиной гривой. Одуряюще пахнет французскими цветами. Дряхлый, седой, с острой бородкой, Бальмонт все же был похож на древнего бога Сварога или Дажебога, во всяком случае, нечто старославянское. Земля кругом покрыта сугробами розовых лепестков; Сосинский хозяйственно собрал ведро этого французского летнего снега и преподнес поникшему отставному громовержцу. Чужой каменный божок, Бальмонт сонно улыбнулся, поблагодарил. Когда заговорили о техническом прогрессе, поэт, словно очнувшись, взволнованно заспешил:

— Чем заниматься разными глупостями, лучше бы они отправили экспедицию к берегам Азорских островов, ведь ясно, что там похоронена Атлантида!

На дереве запело, засвистело пернатое создание, и мы, молодежь, заспорили, что это за птица... Когда уже беседовали о другом, Бальмонт, вдруг очнувшись, укоризненно бросил в нашу сторону:

— Пеночка.

И опять я увидел на маленьком чурбане в саду, меж сугробами роз, потрепанного славянского умирающего бога.

Другую, тоже «развенчанную» знаменитость я встретил однажды у Ремизова — Игорь Северянин. До чего плоско все, что он писал и говорил. А какой таинственно-величественный! Стройный, крупный, сильный, любящий коньяки и лыжи; держал он себя с совершенным достоинством. А лоб, лоб, тот, знакомый мне: с невидимым, но угадываемым лавровым венком победителя (хотя бы на час). Я видел такой лоб у Линдберга, Керенского, Сирина, Одена, Кеннеди.

В чем секрет успеха? Вот вдруг тысяча студентов и студенток признают кого-то царем, духовным вождем или парикмахером, романистом, фюрером... А через 25 лет, бывает, просто понять нельзя, стыдно вспомнить про всеобщее ослепление. Король неприлично и естественно гол. Кто прав? Чувствительные солдаты, бросавшиеся в атаку по слову Керенского? Или резонеры, переводившие русские рубли на немецкие марки. И тоже потерявшие все...

«Объединение писателей и поэтов» регулярно устраивало платные большие вечера: парад-алле — от Адамовича до Сирина... Но главной приманкой служили чтения в подвалах кафе. Сперва «Ла Болле», затем «Мефисто». Там происходило нечто похожее на «Гамбургский счет». И хотя критика подчас бывала грубой, как таран, но все же она творчески насыщала, заряжала. На «интимные» вечера приходили и чужие — дикари, читавшие иногда даже смешные стихи. Так, один мальчик продекламировал «рука руку жмала».

Числился в Париже немолодой уже поэт, избравший себе псевдоним — Булкин! Когда осведомлялись, почему Булкин, он объяснял:

— Ну, Пушкин, ну, Булкин, какая разница.

У него попадались такого рода строки: «Бегу один в различных направлениях» или «В который раз неверная Далила стрижет Самсона догола»... Был он лысый, с козлиной бородкою, похожий на адвоката или врача времен Аверченко и Санина. Впрочем, он торговал, и успешно, бензином. А в разгар войны проделал чудеса

храбрости: добровольцем прошел с отрядами генерала Леклерка от озера Чад в Африке до Триумфальной арки в Париже.

В Мефисто, приехав из Берлина, впервые читал свою беспомощную повесть Борис Вильде. Длинную прозу редко слушали в подвале. Вильде называл себя тогда литератором и поэтом, имел даже псевдоним — Дикой. Читал он с ревельскими ошибками в ударениях, и слушатели запомнили только лирический припев в конце каждой главки: «У художника чахотка, у художника талант». И опять: «У художника чахотка, у художника талант».

Однажды, еще во времена «Чисел», Червинская сообщила мне, что появился новый литератор — «ужасно похожий» на меня... По ее улыбке я понял, что гордиться нечего. Да и вообще такого рода заявления вызывают только горькие чувства.

Вот тогда я впервые услышал имя Бориса Вильде. Уроженец Прибалтики, он приехал в Париж из Берлина и попал в редакцию «Чисел»... Какими-то узами он был связан с Андрэ Жидом и передал привет Оцупу от него; или, наоборот, взялся передать записку Оцупа метру.

При свидании через несколько дней мы внимательно рассматривали друг друга, скрывая обычное в таких случаях недоброжелательство. Вильде, вероятно, слышал — от той же Червинской — о своем мнимом сходстве со мною, и это ему тоже не понравилось. Увы, люди стремятся быть «единственными, неповторимыми».

Вскоре мы встретились уже на Монпарнасе вечером. Он был с бледной девицей, своей будущей женой, и мне не хотелось усаживаться за столик, тратиться на кофе для разговора по-французски. Впрочем, из наших кратких предыдущих бесед мы уже догадывались, что общего между нами мало.

Став французом, Вильде начал грубовато-бойко изъясняться по-французски. Да и по-русски он подучился в Париже.

— Так я Жиду передам, — кричал Вильде Оцупу, выходя из тесной редакции «Чисел».

Мы с ужасом его оглядывали.

Дело касалось Андрэ Жида, которому Оцуп желал что-то «внушить» через Вильде, поверив в дружбу последнего с метром. Вильде, приехав в Париж, жил одно время у Андрэ Жида в мансардной комнате (для горничных), что давало ему несомненное право обозначать свой адрес — c/o Andre Gide...

Каким образом Борис Вильде познакомился с французским писателем, исключительно скупым и необщительным, для меня

тайна, как и многое другое того периода. Вильде до того обретался в Германии и исповедовал радикальные убеждения. Там вокруг передовых блондинистых мальчиков одно время околачивался Андрэ Жид, ездивший и в Россию. Тогда он, может быть, предложил Борису кров, если понадобится, в Париже.

Это составляло почти весь капитал Вильде, с которым он высадился на Гар дю Нор — адрес Жида. И он выжал из него максимум.

Человек в первую очередь активный, деятельный, агрессивный, а не созерцательного склада, он мог бы, например, пустить крепкие корни в Америке... Жить любил Вильде в меру весело. Ценил хорошее вино, французскую кухню и всевозможных барышень. Это не только не мешало ему сочувствовать подлинным высоким идеалам и бороться за них верою и правдою, но даже как-то помогало ему. Впрочем, в нем было много нерусского.

Итак, Вильде поместил объявление: молодой студент, эмигрант, дает уроки русского языка в обмен на французский, адрес — c/o Andre Gide. На это объявление откликнулась молодая девушка с желтою косою, дочь профессора Сорбонны, по матери полурусская. И Вильде пустил корни в Париже, найдя здесь свою вторую родину, а может, и первую. Женился, принял французскую национальность — операция, которой мы, старожилы, не могли и не желали подвергаться... Успешно осваивал на Сорбонне археологию; кажется, его даже посылали на раскопки. Сильный и умный работник, со связями, он готовился к профессуре; по службе, в музее Трокадеро, он тоже выдвигался.

Затем, как полагается, Вильде на год ушел в армию. Приезжая в отпуск, он неизменно появлялся на наших собраниях, загорелый, усталый, похудевший, но физически и духовно зоркий... Он заказывал у гарсона какой-то особый «сержантский» напиток из разных ликеров, не смешивающихся в высоком стакане, плывших густыми радужными кольцами друг над другом. Смеясь, вертя в руках свое французское кепи, говорил:

— Видите, я всегда знал, что буду маршалом... (Он числился Marechal des logis — квартирмейстером.)

В самом начале, еще до женитьбы, Вильде угодил под автомобиль. Сломали ему только ключицу, но заплатили сравнительно много. Пока он отлеживался у себя в бандажах, его посещали разные литераторы, и некоторые подружились с ним. Будучи сам агрессивным, Вильде любил людей тихих и даже слабых, помогал им.

Мы с ним сражались в шахматы, и он изредка побеждал. Играл он гораздо сильнее в бридж. Поражало, как он, раскрасневшись от азарта, спокойно, методично сдавал карты... Причем держал колоду в руке не вдоль, а поперек, сдавая широким бортом, не узким, как обычно. Я больше не встречал такой манеры и не знаю, чем ее объяснить. Рядом, случалось, сидел и «стучал» Кельберин; этот зажимал папиросу не между указательным и третьим пальцами, а между третьим и безымянным, что почему-то раздражало.

В Париж — после «Мюнхена» — хлынули беженцы из лимитрофных стран. Среди них был один юноша из Ревеля, которому Вильде на Монпарнасе совал иногда незаметно пятерку... Юноша этот уверял меня, что Вильде замечательный человек.

Поплавский и Вильде как-то волочились за одной и той же русской девушкой. Вот тогда на почве чисто отвлеченного разговора оба кавалера вдруг заспорили и начали угрожающе размахивать кулаками. Поплавский пыхтел, хмурился, сердился (может, больше на себя, чем на противника), а у Вильде глаза неожиданно стали веселыми — с примесью ясного холодка... Чувствовалось, что ему ссора доставляет удовольствие. Что-то нерусское было в этом; да и весь Печорин —не русский.

Юрий Иваск, эстонец по паспорту, мне рассказывал, что он знал Б. Вильде еще гимназистом. Борис будто бы вечером подходил в парке к парочке, уютно устроившейся на скамье, и, осторожно протянув дулом вперед револьвер, говорил: «Не желаете ли купить хороший пистолет?» Кавалер, заикаясь, отказывался. Тогда Вильде просил ссудить его пятеркою.

Не могу сообщить, как часто проделывал юный Вильде такие фокусы, но вся картинка эта мне кажется характерною. Что-то от авантюризма, благородного, в нем чувствовалось при несомненном идейном и духовном богатстве. Если бы пришлось искать литературного героя, наиболее близкого по душевному складу к Вильде, то я бы назвал Жюльена Сореля из «Красного и черного».

Все вышесказанное не должно умалить значения жертвы Вильде или бросить тень на его историческую деятельность. Я не иконы пишу, а рапорт, отчет для будущих поколений, и стараюсь показать живого, страстного и очень сдержанного человека... Пунктиром обозначить путь, проделанный героем от ревельского парка до военного полигона в Монт Валери, от гимназического авантюризма до зрелого, расчетливого подвига заговорщика.

Была такая суббота весною — солнце и ветер с Ла-Манша, — когда Оцуп решил сфотографировать сотрудников «Чисел». Вильде тоже считался сотрудником журнала, и он с женою пришел в холл отеля, где нас снимали... Она сидела напротив в кресле, пока всю группу размещали, усовещивали, смотрела на нас, а мы поневоле на нее.

В первом ряду устроились бонзы: Мережковский, Гиппиус, Адамович... Червинская пыталась разрешить вековую задачу — оказаться и тут, и там. Ларионов в самый ответственный момент норовил закурить папиросу, что раздражало Поплавского, вообще ненавидевшего «жуликов» и завидовавшего им.

Я в это утро на Marche aux Puces купил зеленовато-голубой почти новый костюм и был занят рукавами: слишком длинные, сползали.

Не знаю, о чем думала жена Вильде, пока нас устраивали и дважды снимали, но она отнюдь не улыбалась. А теперь, рассматривая эту фотографию в 9—10-м номере «Чисел», я дергаюсь от боли: совершенно ясно, что все обречены, каждый по-своему...

Кстати, Вильде часто ходил к зубным врачам, и его челюсть изобиловала крупными золотыми коронками, что напоминало о черепе, скелете, остове человека.

Мобилизация в первую очередь касалась Вильде. Унтер-офицер, прошедший регулярную тренировку, он сразу надел мундир... Простоял всю «смешную» войну в Эльзасе.

Приезжал в отпуск. Была в студии у балерины Гржебиной одна голландская танцовщица, ее сестрою увлекся Вильде. Когда граждане «нейтральных» стран вынуждены были покинуть Париж после объявления войны, НН. все-таки продолжала поддерживать с ним связь, а ко времени отпуска Вильде она выхлопотала себе пропуск (дело совсем не легкое!) и прикатила в Париж зимой 1940 г.

Они встретились в студии Гржебиной и ушли на 24 часа. У жены Вильде очутился лишь сутки спустя, вероятно отлучившись из части на день раньше обозначенного в документе срока — такие вещи он умел устраивать.

Я не могу заставить себя зачеркнуть эти строки, несмотря на уговоры друзей. Мне кажется, что любая неожиданная весть, дошедшая теперь до мадам Вильде, должна доставить ей и радость, как еще одна световая волна от давно потухшей звезды.

Когда мы решали вопрос о приеме Вильде во внутренний «Круг», многие возражали. Говорили — сдержанный, скрытный,

13 Зак. 2385

чересчур удачливый. Не все ему доверяли. Так что меня с Варшавским отрядили для переговоров с Вильде... Указываю на это, чтобы еще раз подчеркнуть, как трудно современнику оценить по достоинству своего ближнего, будь он хоть трижды героем, святым или гением! Забраковал же Андрэ Жид рукопись Марселя Пруста.

Итак, мы втроем встретились в кафе на Сен Мишеле. Я хотел сесть на террасе, но Вильде, оглядевшись, повел нас вовнутрь. Я объяснил себе эту конспирацию особенностями его семейной жизни. Когда он улыбался, его нижняя челюсть отвисала и виднелись золотые коронки, как бы подчеркивавшие тяжесть костей, остова... Это чувство черепа, скелета у меня, по-видимому, всегда возникало в его присутствии.

Мы доложили Фондаминскому про наш «серьезный» разговор, и Вильде был принят в кружок: ему этого хотелось.

После развала фронта и падения Парижа я попал в Монпелье. Зимою 1940—1941 г. Ирина Гржебина мне сообщила, что получила письмо от Вильде: едет в свободную зону, «официально» демобилизоваться, будет в Монпелье. О его бегстве из плена мы уже слышали.

Я встретился с Вильде после обеда в кафе на Эспланаде. На нем была новенькая серая пара (я ходил в заплатках)... Хорошее белье, манжеты, запонки. Курил Gitane Jaune; за обедом — с Гржебиной — заказал дичь и хорошее вино.

Перечитывая книги о Савинкове, я нашел там ту же особую подпольную смесь жертвенного подвига и шампанского.

Мы пили кофе с коньяком и осторожно беседовали. Он мельком сказал, что здесь еще есть много работы, и спросил, верно ли, что я решил ехать в Америку...

Я тогда был «возмущен» Францией, легкостью, с какой она сдалась на милость победителя. От дворцов нуворишей до лачуг бедняков — все жаждали мирного труда, et qu'on me fiche la paix!* Я мечтал о регулярной армии: эту войну нельзя выиграть партизанщиной. Еще надежда — Россия! Чудовищная, тоталитарная, дикая, татарская, московская, византийская, аввакумовская Русь! Всякий раз, когда гуманизму угрожала подлинная опасность, она становилась в ряды просвещенных держав и вместе с ними, неся преимущественно потери, тузила очередного врага человечества.

---

* И оставьте меня в покое *(фр.)*.

Так было во времена Чингисхана, Карла Шведского, Наполеона, Германии Вильгельма и Германии Третьего мифа... В малых войнах Россия ошибалась, и даже очень: от Польши до Финляндии, от Кавказа до Венгрии и Маньчжурии. Но в великих конфликтах Москва чудесным образом оказывалась на «правильном» пути истории. Ангел, что ли, ее подталкивал.

Вильде спорил: Россия теперь в союзе с Германией. Она враг! Поможет нам Америка. Что США вмешаются в войну, он предвидел, но вклад СССР — проморгал.

На этом, собственно, разговор кончился; оснований для дальнейшего сближения как будто не было. Он мне только сообщил адрес человека, влиятельного в местной префектуре, если понадобится «административная» услуга. Я его спросил о друзьях в Париже, но он ответил, что никого больше не встречает.

Рассказывал, как бежал из плена, что удавалось всем, ибо миллионная армия очутилась за изгородью без надлежащей охраны. В сущности, если бы он оттуда не ушел, то, вероятно, выжил бы.

Вильде вернулся в Париж кружным путем, побывав еще в нескольких южных городах, по-видимому организуя подпольные ячейки. Несмотря на конспирацию, он все-таки изредка встречал Фондаминского — доставлял ему пропуски для легального проезда в свободную зону. Так, Федотовы прикатили в Марсель по документу, полученному от Вильде.

Представляю себе умиление Фондаминского, когда он принимал у себя жившего по подложному «виду» Вильде: третье поколение боевой, нелегальной, жертвенной интеллигенции! Есть чем гордиться: исторический опыт русского ордена гуманистов не пропадал даром. Зажженный факел борьбы за свободу, равенство и братство, принятый когда-то народниками, передан дальше молодому поколению в неприкосновенном виде. Традиционная связь «Народной воли» с современными передовыми силами истории должно считать установленной... Так по праву мог думать Фондаминский, чья квартира на 130, авеню де Версай превращалась из штаба в музей русской культуры.

Неожиданно, когда Вильде выходил из кафе, на него набросилось несколько коренастых холуев в штатском, скрутили руки и швырнули в машину... Вижу, вижу его холодный, ясный взгляд и оскал челюсти с тускло блестевшими коронками. Оттуда, должно быть, вышла моя «Челюсть эмигранта».

Весной 1941 г. (или 42-го?), проезжая Ниццу, я наведался к Адамовичу; тот молча мне протянул открытку из Парижа от Ставрова: «После продолжительной болезни вчера в госпитале скончался Борис Дикой»... Как и почему мы сразу догадались, что «госпиталь» — это тюрьма, а «скончался» обозначает — казнен! Увы, тоже историческая традиция. Радищев, Пущин, Белинский, Достоевский, Салтыков-Щедрин — все пользовались этим греческим языком. Когда в коммунистическом Петрограде разнесся слух, что «Шатер задержан» — литераторы поняли, что арестовали Гумилева.

Есть тихий городок под Парижем, на излучине реки — рядом знаменитое скаковое поле. Там, в госпитале, кажется, Фоша, работала медсестрой моя жена; я приезжал по воскресным дням... По тихой воде скользили рыбачьи и спортивные лодки, в ресторанах подавали рыбу в любом виде и, конечно, вино. Было свежо, благоуханно и очень скучно. Проходя к вокзалу, я с отвращением разглядывал военную тюрьму (или крепость) с высокой светлой стеной, отгораживающей пустую четырехугольную площадку. Мне кажется, что именно у этого места меня всегда начинало мутить, что я всегда приписывал двойной порции рыбы. И туда, вечность спустя, вывели на расстрел первую группу французских «резистантов» во главе с Борисом Вильде. В своем дневнике Вильде пишет, что предпочитает умереть теперь, в расцвете сил и решимости, а не «после», когда, может быть, сила и отвага иссякнут. Эти строки прямым образом перекликаются со словами героя Стендаля, когда ему предлагали бежать из тюрьмы.

В Париже подвизался поэт Ю. Рогаля-Левицкий. Во времена Поплавского мы втроем почему-то часто блуждали ночью по городу, шептали стихи или спорили о тибетских мудрецах. После смерти Поплавского мы, проходя от Пантеона к Сене, неизменно повторяли: «И волна жары по ним бежала...» (Из «Флагов».)

— Понимаете ли вы, как это хорошо? — осведомлялся я.

Левицкий снисходительно откликался:

— Я понимаю.

В антологию зарубежной литературы «Якорь» Рогаля-Левицкий не попал, и я вел по этому поводу переговоры с Адамовичем. Рогаля-Левицкий уверял, что если «Булкин там, то и я имею право».

В послевоенный сборник парижских поэтов «Четырнадцать» не угодили Иванов, Гиппиус, Смоленский, Злобин — как сотруднichав-

шие с немцами... Но были помещены стихи Рогаля-Левицкого с эпиграфом из Поплавского: «И волна жары по ним бежала».

А когда Мельгунов заказал ему статью, «уничтожающую» всю эмигрантскую литературу, кроме ближайших сотрудников «Возрождения», то Рогаля-Левицкий с радостью взялся за новый труд, причем мишенью избрал он именно эти строки Поплавского, очевидно издеваясь над Мельгуновым...

Упомянуть о Ю. Рогаля-Левицком мне кажется необходимо, потому что я хочу рассказать о его брате, погибшем рядом с Вильде... Раз в своем отельном номере он меня познакомил с сияющей парой не то уже обвенчавшихся, не то собирающихся обвенчаться молодых влюбленных. Все в них радовало, улыбалось и вызывало улыбку. И это несмотря на западноевропейскую сдержанность и вежливую непроницаемость. Мужчина оказался братом нашего Рогаля-Левицкого, женщина, если память мне не изменяет, говорила только по-французски. Он был ученым, готовился к кафедре и работал в музее Трокадеро. Теперь там висит доска с именами всех этих веселых и отважных русских людей, начавших борьбу за освобождение Франции. («Есть музей этнографии в городе этом» — Гумилев.)

X

Есть особая порода людей в литературе — случайных!.. Некоторое время они даже чем-то выделяются, пользуются уважением или признанием, а потом вдруг как бы проваливаются сквозь землю, исчезают с горизонта, соблазненные семейным счастьем или коммерческой деятельностью. Впрочем, порой вы опять услышите о них: даже на бирже или в конторе — они шумят.

Вот таким человеком был Кельберин. На мою память, он ничего значительного не произвел, хотя сочинял стихи и болтал беспрерывно... Однако многие влиятельные поэты — Иванов, Злобин, Оцуп — относились к Кельберину с вниманием. В последние годы перед войной он громил демократию и даже похваливал немцев, что казалось несколько смешным. Стихам своим он, кажется, не придавал большого значения. По поводу одного его эссе (в «Смотре», изданном Гиппиус) Адамович сказал в «Последних новостях»: «Если бы Хлестаков задумал соперничать с Паскалем, то, вероятно, он бы писал в таком именно духе...» (цитирую

по памяти). К чести Кельберина надо заявить, что подобные отзывы его не огорчали.

Кельберин, мистически настроенный, многократно сочетался законным браком; одной из его ранних жен была Лидия Червинская.

Червинская — бессонные ночи, разговоры до зари, пьяные и трезвые требовательные слезы. И хорошие подчас стихи.

В период «Круга» я сталкивался с Червинской едва ли не ежевечерне; она могла казаться несносною со всеми недостатками сноба, оглядывающегося на шефов литературной кухни. Но раз признав человека, она уже становилась если не верным товарищем, то, во всяком случае, занятным собутыльником.

Червинская жила в искусственном мире, искусственным бытом, искусственными отношениями. В результате ряда искусственных выдумок получалась ее весьма искусная, реальная поэзия.

Она создавала фантазией свои трагедии влюбленности и ревности, но от этого нельзя было просто отмахнуться, ибо в невоплощенной реальности порою заложено настоящее бытие.

— Ей нужна другого порядка помощь, религия, Бог, Христос! Почему вы это ей не объясните? — говорил я Адамовичу, который только что отделался от Червинской и собирался сесть за бридж.

— Такого нельзя сказать человеку, когда он обращается к вам за поддержкою, — отвечал Адамович и, вдруг приняв подчеркнуто рассеянный вид, закатив глаза, ронял: — Две пики!

Жила Червинская в это время одна. Высокая, сутулая, костлявая, с миловидным личиком и прической под Грету Гарбо. Не работала, голодала, и от скромной рюмки водки ее выворачивало наизнанку — буквально и фигурально.

На вечеринках почему-то было моей обязанностью ухаживать за «мертвецами». Бывали встречи Нового года, когда я без перерыва совал палец то в одну гортань, то в другую и лил жиденький кофе.

На квартире Андрюши Бакста Червинскую рвало всю ночь. Мы с ней высунулись до пояса из окна, и она выплевывала кислый кофе вниз на стеклянную крышу консьержкиной «ложи»... Я с ужасом следил за тем, как там, внизу, то вспыхивает, то потухает свет — быстрее, порывистее! И действительно, возмущенная консьержка вскоре явилась наверх и языком, чистым, как у Декарта, объяснила Баксту, почему она не любит sales metegues...*

* Чужаков *(фр.)*.

Ежегодный бал русской прессы — в ночь на 14 января. Там, в залах Hoches, я раз сознательно пожертвовал собою ради благополучия Червинской и с тех пор нежно ее полюбил.

В тот год я и Смоленский помогали М. Цетлиной, заведовавшей организацией очередного «Бала прессы». В Париже телефон, во всяком случае в русском Париже, не был еще распространен. Чтобы нанять оркестр или заполучить артель гарсонов, надо послать нарочного... Автомобили нам не по средствам. Так что за мелкое вознаграждение литераторы бегали по городу, помогая дамам-распорядительницам.

По вечерам мы собирались у Марьи Самойловны Цетлин, докладывали о предпринятых мерах и, слегка только закусив, обещали завтра же выполнить все новые поручения.

— Вы заметили, — сказала мне раз на таком «комитетском» сборище Тэффи, сверкая умным, старушечьи-свежим взглядом. — Вы заметили, как меняется голос человека, когда он приближается к закуске?

Действительно, только что царила сплошная скука, поскрипывал тепленький, смуглый Зайцев с красными пятнами на скулах... А вот вдруг зашумели, зашевелились: хохочет бывший нижегородский драгун, пропустив настоящую рюмку водки, и даже Борис Зайцев начал выражаться громче и определеннее.

Мне поручили нанять людей для буфета, и я вместе с несколькими профессионалами пристроил туда своего друга Ш., увы, дилетанта во всех отраслях труда... Московский судья, он теперь пел в церковном хоре или работал кухонным мужиком, но главным образом состоял на «шомаже», так что даже изменил свое мнение о Блюме.

Был он старым учителем Проценко. Там, в ателье, мы познакомились. Я любил яркие рассказы Ш. о старой Москве и о чиновничьей или студенческой, белоподкладочной, жизни. Повествовал он красочно, в лицах, перемежая речь то выкриком торговки («вишень и кореньев»), то причитанием слепого нищего, то ектенией громоподобного дьякона. Впрочем, попадалась и клубничка, но какая-то невинная, простодушная, несерьезная по сравнению с практикой последующих поколений.

Если завернуть к нему в номер на рю Мазарин (внизу инвалид продавал pommes frites*), то он встречал гостя неизменным возгласом: «Не хотите ли восприсесть?!.»

* Жареный картофель *(фр.)*.

Жил Ш. в одной комнатушке с бывшим актером и будущим монахом Свято-Сергиевского подворья, существом тоже весьма колоритным. Спали они вдвоем на узкой койке; устроили нечто вроде перегородки из картона, которую прикрепляли на постели — отмежевываясь.

Этого Ш. однажды задел легкий паралич среди бела дня, на ходу — первый звоночек! И он отсиделся на скамеечке у Шатле, созерцая разные смутные или фантастические видения. Память об одиноком страннике, в центре города на скамеечке перемогающем роковой припадок, помогла мне впоследствии найти эпилог к «Челюсти эмигранта».

Итак, я нанял Ш. на одну ночь, с 13 на 14 января, кажется, 1937 г., в буфет! Интерес этой работы заключался не в мизерном вознаграждении, а в том, что предоставлялась возможность как следует выпить, закусить, «одним словом, встряхнуться», по слову Ш.

Даже в самый день бала мы еще выполняли сложные поручения в разных концах города. Синий мертвенный парижский день — из тех, что никогда французской школой живописи не был воспроизведен на полотне. Я и Смоленский мечемся по гастрономическим магазинам, собирая полударовую закуску. И в каждой очередной русской лавчонке Смоленский изрекает:

— Что же это, в самом деле, выпьем наконец...

— Неловко, — жмурюсь я в ответ. — Ведь придется отчитываться.

И мы чокаемся. Смоленский уверяет, что все это входит в графу расходов по разъездам. Он бухгалтер и должен понимать такие вещи в конце концов.

Мы расстались только вечером, чтобы привести себя в порядок. А когда приехали на бал к десяти часам, то Смоленский, несмотря на свой порхающий фрак, был уже на втором «взводе». Я казался «больным» — по словам Зеелера. Сразу вышел конфуз с отчетностью. Марья Самойловна никак не могла понять, «почему издержано так много». Начало не предвещало ничего хорошего.

А бал, по-видимому, протекал с обычным успехом. Бунин изящно закусывал, поглядывая на обнаженные плечи бывших и будущих дам; оркестр, кажется, Аскольдова, пел о невозвратном.

— Иван Алексеевич, не кажется ли вам, что мы профуфукали нашу жизнь? — спрашивал я с проникновенностью.

— Да, — миролюбиво соглашался Бунин. — Но что мы хотели поднять!..

Иванов показывает на бритого человека в смокинге и шепчет:

— Вот самый бездарный мужчина в эмиграции.

Я хохочу: это Алехин.

Лифарь с братом покровительственно угощают пушкинистов шампанским. В общем, скучно. И вдруг я натыкаюсь на Червинскую.

— Пойдем, я тебя угощу,— вдохновенно приглашаю ее и веду к буфету, где в белом кителе и колпаке возвышался уже сильно помятый Ш.

— Валерьян, — говорю я твердо, но чересчур громко, радуясь отчетливости своей речи. — Валерьян, два, понимаешь! — И показываю пальцами количество, чтобы не было ошибки.

Валерьян Александрович понял и налил два полных «бока» из-под пива — водкою. Мы с Червинской чокнулись. Впрочем, тут я заметил какое-то недоумение в умном взгляде поэтессы... Я честно осушил свой «бок» и, сообразив, что Червинскую такая порция убьет, отнял ее стакан, она успела только пригубить, и тут же по-рыцарски, жертвенно сам проглотил содержимое. Помню еще, что я собирался «плотно» закусить, чтобы противостоять хмелю, и ухватился за куриную ножку... Но здесь наступило затмение.

Как потом передавали многочисленные друзья и заступники, мне не дали упасть, а, подхватив под локти, повели, понесли через все залы, а я, судорожно держась за куриную четверть, плевал и охал.

В шикарных залах Hoches в центре есть какая-то площадка, может, для большого оркестра... Туда меня положили — на виду у всех. Там я часа три отлеживался, как некое грозное предостережение ликующим внизу.

Время от времени Червинская, Адамович, Зуров, еще другие наведывались ко мне, давали технические советы. Впоследствии десятка два доброжелателей меня уверяли, что они меня спасали, поддерживали, укладывали.

Был такой эсер, зануда, недотепа, общественный деятель, неудачный издатель (editeurs ruines — мы, бывало, шутили) — Илья Николаевич Коварский. Интеллигент с чеховской бородкою, всю жизнь занимавшийся не своим делом; только здесь, в Нью-Йорке, вернувшись к врачебной практике, он вдруг нашел себя и стал полезным тружеником. То же можно сказать про Соловейчика, секретаря Керенского — превратившегося в способнейшего преподавателя географии в американском колледже.

Итак, Коварский, с лысинкой и язвительным, вредным смешком, рассказывал мне потом, что на этом балу он заведовал чайным столом; стол «дешевый» и помещался в коридоре. Но рядом с ним пристроился известный богатый, старый и больной меценат.

— Я ему говорю, — объяснял мне Коварский, жмурясь от удовольствия. — Я ему говорю: «Зачем вы здесь сидите на сквозняке? Пройдите лучше в залы, где танцуют». А он отвечает так решительно: «Нет, нет, я пришел на бал с единственной целью посмотреть на современных русских писателей и здесь я всех увижу». Только что он это произнес, — радостно поверял Коварский,— только что он это сказал, и вот вас уже ведут или несут в таком виде, ха-ха-ха. Вот поглядел на современных писателей!

Как бы там ни было, но для характеристики наших тогдашних настроений важно отметить, что в последующие годы я был убежден, что принес себя в жертву — «за други своя», и гордился этим. Разумеется, можно вылить вино или вообще не пить его, но это уже другой «подход».

О моем протеже Ш. скажу здесь вкратце, что он не оправдал надежд и тоже очень скоро провалился куда-то в чулан или в подвал.

Лидия Червинская тогда, кажется, решила влюбиться в НН. — человека тонкого, деликатного, слабонервного и многосемейного; она допекала его своими искусными «выяснениями отношений». НН. — известный эстет с хорошим вкусом, среднего возраста, нуждался совсем в других отношениях: он чуть ли не впервые изменял жене. Но Червинская не понимала этого. Помню, раз НН. подбежал к нашему столику и, обращаясь к Фельзену, но громко и с отчаянием несколько раз повторил:

— Я больше не могу! Я больше не могу!

Любопытно, что именно такое выражение обычно вырывалось у людей, коих Червинская заедала:

— Я не могу, я больше не могу!

В предвоенные годы между «Кругом» и Монпарнасом мы с Червинской часто досиживали ночь — до первого метро.

У Червинской было глубокое чувство «табели о рангах»... Если бы умнейший НН. не был на хорошем счету в «Зеленой лампе», она бы, пожалуй, не затеяла романа. Снобизм ее казался наивным и беспомощным, уживаясь, впрочем, с несомненной внутренней честностью.

В свои «плохие» дни Червинская приходила на Монпарнас в стоптанных туфлях на босу ногу, распространяя аромат эфира.

После ухода из Парижа Червинская жила одно время при новой семье Кельберина на юге. В Монпелье я встретился с великодушнейшим Савельевым, работавшим в Тейтелевском комитете, и устроил нескольким литераторам стипендии. Все эти писатели были христианского вероисповедания.

Через несколько дней я получил нежное письмо от Червинской, благодарившей за 200 или 300 тейтелевских франков и вспоминавшей, как я ее «спас» от стакана водки.

Был такой писатель Агеев, проживавший в Константинополе по южноамериканскому паспорту; он присылал свои рукописи в Париж, и все старались талантливому прозаику помочь. Его «Роман с кокаином» мы с Фельзеном издали отдельной книгой.

Когда Агееву понадобилось возобновить просроченный паспорт, он прислал его в Париж. Почему он не сделал это в Турции, лично, могу только догадываться. И Оцуп передал Червинской документы Агеева... Но, увы, паспорта она не продлила, а когда месяцев через шесть Агеев попросил ему вернуть вид, хотя бы просроченный, то обнаружилось, что Лидочка бумаги потеряла. Тут все не случайно. И то, что ей, доброму товарищу, доверяли, и то, что она, увидев где-нибудь Адамовича или НН., побежала за ними, забыв про сумочку, деньги и документы.

Вот эта «агеевщина» мне всегда припоминается, когда говорят о «деле» Червинской во французском резистансе и суде над нею (после войны).

Червинской поручили ответственное задание, посвятили в секрет, от которого зависела жизнь двух десятков детей. Тут вся ошибка не ее, а тех — вождей, руководителей! Поручать, в то время, Червинской ответственные, практические задания — явное безумие!

Еще до Союза писателей и поэтов бывали другие литературные кружки. На тех, доисторических вечерах гремели звезды раннего периода: Евангулов, Божнев, Гингер (Зданевич, Шаршун). В подвале кафе на столике во весь рост стоял жизнерадостный Евангулов и выкрикивал стихи на манер Маяковского. Когда в подвал спускалась дама в мехах, он прерывал строфу и говорил очень почтительно: «Сюда, графиня, сюда, пожалуйста!»

Из этих поэтов только один Гингер, пожалуй, остался. Божнева я встречал в Марселе (1941 г.); тогда он напоминал немного Фельзена, не по краскам, а по манерам... Вежливый, точный и внешне ограниченный.

Шаршун древний парижанин: еще со времен Первой мировой войны обучался здесь живописи. Живопись его не была абстрактной, а эзотерической. Он, кажется, считал себя антропософом, хотя говорить по этому поводу складно не был в состоянии.

От Шаршуна в конце двадцатых годов я впервые услышал о Кафке и за это одно должен уже быть благодарен ему.

Писал он «сюрреалистическую» прозу много и давно, но печатали его, пожалуй, только «Числа» и «Круг». Благодаря «Числам» он даже одно время превратился в модного писателя, что, кажется, его погубило. Его живопись признали только недавно.

Шаршун принадлежал к разряду авторов-«графоманов»: то есть, при несомненном оригинальном таланте, совершенно лишенных дара отбора! Повторяю, были огромные художники, не лишенные элементов графомании: Джойс, Томас Вулф, Андрей Белый, Ремизов... Сирин.

Когда отрывок из его «Долголикова» прошел в «Числах», Шаршун потащил в редакцию все, что у него лежало... и это оказалось детским лепетом.

Существо, лишенное кожи, он реагировал быстрее и резче на любое прикосновение жизни; в результате получался поток слов, который он нес к редактору с доверчивым видом седеющей лани.

Был он вегетарианцем, холостяком; вероятно, молился и совершенствовался в уединении и нужде; в его присутствии мне чудилось: чистый глубокий маленький ключ пробивается на поверхность из глубин.

Готовил себе обед из 30 или 40 овощей и сырых корешков; базой служили — молотый горох с натертой морковью... И когда вечером подходил близко, шепча: «Значит, я завтра вам занесу» или «Значит, я ему передам», то люди жмурились от свежего запаха чеснока или лука.

Раз на Выставке зарубежной литературы Шаршун мне с Фельзеном сообщил, что шведская переводчица, которую мы встретили у Мережковских и обещали повести к Ремизову, назвала потом в письме его, Шаршуна, трусливым сутенером. Мы расхохотались: так неожиданно было это определение и не подходило ему.

— Нет, не смейтесь, — удрученно повторял Сергей Иванович, поводя большой оленеобразной головой с очками в темной роговой оправе. — Нет, тут что-то она действительно верно уловила.

Кстати о его тяжелых очках с эзотерической оправой... Ими восхищался Поплавский:

— Это делает его похожим на sous-secretaire d'etat!* — уверял Борис.

Почему су-секретэр, а не полный секретэр — Поплавский не желал объяснять и начинал ругаться.

Зато Слоним носил пенсне, что смешило, или что-то весьма похожее на пенсне: легкое, деликатное.

В конце 20-х годов, в самом начале 30-х «Кочевье» Слонима процветало. Там по четвергам, в кафе против вокзала Монпарнас, собиралась почти «вся» литература. В России тогда гремели Бабель, Олеша, ранние Зощенко, Леонов, Катаев... Советскую словесность можно было принимать всерьез... Чем и занимался охотно Слоним. Но когда «гайки» были окончательно завинчены первой пятилеткой, говорить больше не о чем стало (в смысле искусства). Мы это сразу поняли; все, за исключением Слонима, человека самонадеянного и самоуверенного. И «Кочевье», захирев, протянуло ноги.

Все в Слониме было провинциально и второклассно. По любому трудному вопросу он сразу находил окончательное решение — только слегка споткнувшись... Выражал свое мнение, не догадываясь даже, что оно может оказаться глупым или преступным. Есть такая порода русских первых учеников.

На его примере я впервые понял, насколько восточный «второй» класс ниже западноевропейского. Сравнивать сверхкласс или «первый» класс бессмысленно. Кто лучше: Толстой, Шекспир, Пруст, Дон-Кихот, Давид Копперфильд... Анна Каренина, мадам Бовари... Пушкин, Мицкевич, Шевченко... Чехов, Кафка... Все «лучше», ибо дух абсолютен, бесконечен.

Но «второй» класс можно и нужно сравнивать для измерения культуры народа. И насколько этот класс на западе от Рейна лучше и выше российского! Был, есть и еще долго останется таковым, независимо от всех космонавтов.

Главным поприщем Слонима являлась политика, не совсем чистая политика. Но он находил время, чтобы заниматься также искусством, и, по-видимому, любил это трудное занятие. Причем не ограничивал себя пределами одной культуры. В самом деле, он знал толк и в французских школах, и в итальянских романах, и в американских новеллах: для русского интеллигента, успешно боровшегося с царским режимом, нет и не может быть мещанских ограничений.

* Заместитель министра *(фр.)*.

В «Кочевье» периода расцвета появлялась Цветаева. Мы все, разумеется, признавали огромный талант Марины Ивановны. Многие даже терпеливо переносили ее утомительную, трескучую прозу.

С годами дар и мастерство поэта развивались, но наше отношение к Цветаевой менялось к худшему. Неожиданно читатель, слушатель, поклонник просыпался утром с грустным убеждением, что Цветаева все-таки не гений, а главное, что ей чего-то основного не хватает!

Я постепенно начал считать ее в каком-то плане дурехой, что многое объясняло. В молодости такого рода мнения создаются легко и беззаботно.

— Позерка, — испуганно глядя поверх очков, шептал Ремизов, особенно не любивший ее прозы и манеры декламации.

Существовало убеждение, что Ремизов «изумительно читает»; читал он не как писатель, автор, повинующийся внутреннему ритму, а как актер, использующий свою образцовую дикцию. Мне такая «игра» не нравится, и поэтому я отношусь с недоверием и к свидетельству других «очевидцев», восторгавшихся чтением Гоголя, Достоевского, Тургенева. О Толстом таких легенд нет.

Как собеседник Цветаева могла быть нестерпимой, даже грубой, обижаясь, однако, при любом проявлении невнимания к себе. В разговоре, вопреки всему фонетическому блеску, интересного или нового она сообщала мало. Да и то, что могло восприниматься как ценное — тайны поэтического ремесла... — терялось, потому что преподносилось с видом сугубой находки! С резким нажимом на все педали.

В общем, близоруко-гордая, была она исключительно одинока, даже для поэта в эмиграции! Кстати, от Гомера до Томаса Вулфа и Джойса, все в искусстве чувствовали себя уродливо отстраненными. (Все пионеры.)

Мучила Марину Ивановну и назойливая нищета; но и этот недуг был знаком многим и многим художникам... В старой Москве Цветаева была одна против всех. Даже гордилась этим. То же с ней повторилось в эмиграции; а в СССР — повесилась. Ее самоубийство и гибель Есенина или Маяковского — явления, кажется, разного порядка. Эти «барды» при других обстоятельствах продолжали бы весело и приятно жить. А Цветаева убивала в себе то, что изводило ее в продолжение всей жизни и мешало общаться с миром: быть может, дьявольскую гордыню... Догадки, догадки, догадки.

«Дурехой» я ее прозвал за совершенное неумение прислушиваться к голосу собеседника. В своих речах — упрямых, ходульных, многословных — она, как неопытный велосипедист, катила стремглав по прямой или выделывала отчаянные восьмерки: совсем не владея рулем и тормозами. Разговаривать, то есть обмениваться мыслями, с ней было почти невозможно.

Цветаева была очень близорука и часто не отвечала на поклон, так что многие обижались и переставали здороваться... Это удивляло и сердило Цветаеву.

— Может, среди этих людей тоже есть близорукие, и они вас не замечают! — довольно грубо объяснил я ей.

Этого она просто не могла сообразить.

Я встречался с Мариной Ивановной частным образом у Ширинских; там я познакомился с ее «милой», как выразился Пастернак в своих воспоминаниях, семьею. Жили они близко, в Медоне. Цветаева выступала также на наших литературных вечерах в «Пореволюционном клубе» и наведывалась в «Круг».

Под «милой» семьей я подразумеваю детей Марины Ивановны; мужа ее, Эфрона, чекиста, многолетнего бессменного председателя Союза студентов Советского Союза, не помню точно названия, я видел только издалека на собраниях Союза, когда там выступали гастролеры вроде Бабеля, Тихонова и т.д.

Дочь Аля, милая, запуганная барышня, тогда лет 18, была добра, скромна и по-своему прелестна. То есть — полная противоположность матери. А Марина Ивановна ее держала воистину в черном теле. Почему так, не ведаю, и без Фрейда здесь не распутаешь клубка. Объективно это было тоже проявлением недомыслия. В особенности, если принять во внимание нежное восхищение, с которым Цветаева прислушивалась ко всякой отрыжке своего сына — грузного, толстого, неприятного вундеркинда лет пятнадцати... Он вел себя с наглостью заведомого гения, вмешивался в любой разговор старших и высказывался довольно развязно о любых предметах, чувствуя себя авторитетом и в живописи раннего Ренессанса, и в философии Соловьева. Какую бы ахинею он ни нес, все равно мать внимала с любовью и одобрением. Что, вероятно, окончательно губило его.

Аля добросовестно ухаживала за этим лимфатическим увальнем; Цветаева в быту обижала, эксплуатировала дочь, это было заметно и для постороннего наблюдателя.

В начале 30-х годов, сблизившись с Ю. Ширинским-Шихматовым, я, естественно, предложил ему создать при журнале «Утверждения» литературный отдел. Для этого, казалось, имелись все данные: недоставало только средств.

Тогда, кстати, переехал на жительство в Париж из Берлина писатель-ростовщик В. П. Крымов. О нем рассказывали, что он опять разбогател, учитывая советские векселя; маклеры получали чуть ли не 33 процента, ибо мало кто еще решался ссужать большевиков наличными — если не по моральным, то экономическим соображениям.

Вот о Крымове вдруг пошли толки, что, будучи миллионером и бездетным, он жаждет оказаться полезным зарубежной литературе... Сам писатель, он догадывается о нуждах своих собратьев и бескорыстно сочувствует им. Думаю, что эти разговоры «муссировал» сам Владимир Пименович, исходя из старой поговорки: купить не купить, а торговаться можно.

Но вскоре поползли зловещие слухи о многочисленных случаях отказа! Ибо, разумеется, все имевшие отдаленное отношение к искусству (от бывших друзей Каменева до будущих глав государства) потянулись на виллу Крымова в Шату — у самой Сены. Кстати, эти же неудачники больше всего поносили воображаемого мецената, называя его и ростовщиком, и большевиком, и раскольником, и безбожником, а главное — графоманом. Между тем его первый роман «Хорошо жили в Петербурге!» — отличная книга.

Владимир Пименович в темно-синей бархатной куртке, на английский лад, полуслепой, с толстыми стеклами «под Джойса» угощал очередного посетителя бокалом «мумма» и отказывал в деньгах. Шампанское, по его словам, действовало магически, смягчая удар, создавая ностальгическую, старорежимную атмосферу. Один именитый литератор тоже разбежался в Шату за ссудою. Крымов после, когда отношения между нами уже были совершенно ясные, так мне об этом рассказывал.

— Помилуйте, НН., — говорю я. — Ведь вы, может быть, когда-нибудь пожелаете обо мне написать статью или критический отзыв. Как же я могу вам давать деньги...

Критик уехал, отказавшись от шампанского.

В другой раз Поляков-Литовцев почему-то прискакал за ссудою. Об этом смешно повествовал Фельзен... Крымов будто бы взмолился:

— Дайте мне хотя бы переспать одну ночь с этой мыслью!

А наутро отказал.

Несмотря на искреннюю любовь к литературе и упорную жажду славы, привязанность Крымова к деньгам, его болезненная, дьявольская, смешная скупость были сильнее всего и довели писателя, мне чудится, до полного тупика. Некоторую роль тут, вероятно, сыграла и его псевдонаучность: Крымов окончил в XIX веке естественный факультет и все еще страдал наивным рационализмом.

Его издавали в Англии — он оплачивал переводы. Уверял, что «Сидорово ученье» англосаксы сравнивают с лучшими произведениями Диккенса. Крымов был несомненно талантливым литератором, с культурою языка. Но беда в том, что купцом он оказался гениальным, и это действовало на нас, искривляя перспективу.

Буров, тоже писатель-спекулянт — графоман, прославившийся своим «спором» с Ивановым, уверял, что Крымов сразу по приезде из Берлина действительно мечтал устроить у себя в усадьбе нечто вроде колонии для «наиболее способных поэтов»... Ему мерещилось: благородные люди станут приезжать на викенд, они будут есть макароны и писать под кустами рентабельные поэмы... Вечер, бутылка «мумма», а они читают сотворенное и, пожалуй, посвящают вирши щедрому Владимиру Пименовичу.

Нечто в таком идиллическом духе ему несомненно вначале мерещилось. Но когда обнаружилось, что парижские литераторы все как на подбор «хамы» и норовят только содрать и убежать, нагадив еще в беседке... Тогда Крымов, пожалуй, действительно почувствовал себя оскорбленным. Ибо, как ни странно, именно очень крутые, жестокие, даже страшные люди часто имеют душу удивительно требовательную, нежную и обидчивую. Впрочем, говорят, что к концу жизни он подобрел и просветлел.

Когда выяснилось, что у нас имеется все необходимое для издания литературно-философского журнала — все, кроме денег, — то естественным показалось обратиться к многоуважаемому Крымову за поддержкой...

И вот Ширинский-Шихматов с женою (Савинковою), Марина Цветаева и я, в морозный зимний бесснежный денек, мы отправились на стареньком рено князя в Шату на поклон. Кажется, было воскресенье, но хорошо помню на редкость лютую стужу.

С трудом, и даже чинясь в дороге, мы добрались часу во втором к цели. Крымов, его «молодая» жена и ее отец нас встретили,

радуясь гостям. День был такой (декабрь-январь), что, пожалуй, уже начинало смеркаться.

Мы сидели в библиотеке с богатыми полками книг; слушали, как удачно переводят хозяина в Англии, в рецензиях его сравнивают с Диккенсом! Мне Крымов прочитал страничку из дневника — крайне пессимистический отрывок, где человек уподобляется мухе, попавшей на липкую бумажку. Я его искренне пожалел и посоветовал изредка молиться. Но Крымов гордился своим старосветским атеизмом.

Вскоре позвали обедать. К столу села еще одна чета: он — бывший издатель или редактор чего-то в Петербурге — теперь жил у Крымова на хлебах. Факт подлинного милосердия, о котором следует помнить.

Ели телятину, но к десерту подали «мумм», Cordon Rouge (марка, бывшая в России последних лет модной). Крымов много рассказывал о великих князьях, осаждающих его просьбами о помощи. Глаза Ю. А. Ширинского-Шихматова и без того косые, ханские, еще более хищно и насмешливо сужались.

Тут отец жены хозяина сделал нам таинственный знак рукою, словно давая старт машине... И мы с князем вышли во двор и завели ручкою мотор, согревая его. С Сены дуло, точно с Невы.

Тот же добрый тесть несколько раз спускался в погреб и приносил (по одной) бутылки «мумма». За третьим или четвертым бокалом шампанского Цветаева неожиданно достала чуть ли не из-за пазухи рукопись и начала уговаривать хозяина издать ее сказку в стихах с иллюстрациями, возможно, Гончаровой. Мы с Ширинским обомлели — от страха и возмущения. Вместо единого фронта «утверждений» получалось индивидуальное, шкурное соперничество.

К счастью, Крымов сразу ответил, что знает эту сказку и не любит ее...

Наконец я решил, что наступило время «действовать», то есть рассказать о великолепном плане нового пореволюционного, литературно-философского журнала при участии Владимира Пименовича Крымова. (Как Ширинский потом выразился — «Пим-Здательство».) Но Крымов попробовал от меня легко отделаться, говоря, что после сытного обеда с хорошим вином трудно заняться серьезным делом.

— Что же, мы сюда приехали есть телятину? — довольно громко осведомился я. И хозяин явно сконфузился.

— Приедете в следующий раз, может, будет курица, — ответил он смущенно.

Догадываюсь, что у них был предварительный разговор, чем нас кормить! И Крымов настоял: дешевле телятина — все равно придется поставить шампанское, а оно все покроет... Что-то в его фигуре, тоне мне напомнило Иудушку Головлева, и я по сей день не могу от этого отделаться.

Увы, делового разговора не получалось. Решительно, помогла Крымову все та же Цветаева: ее вдруг развезло от нескольких стаканов шампанского, да так, что пришлось поспешно отступать в уборную.

Хозяин демонически сверкал своими толстыми стеклами. Не знаю, почему я завел с ним беседу о любви, о Боге, Христе и дьяволе. Крымов, радостно улыбаясь, спорил... Он утверждал, что человек, получивший высшее образование и трижды объехавший вокруг света, не может верить в воскресение из мертвых. Так, жизнерадостный Гагарин, облетев трижды землю по орбите, заявил, что он нигде в космосе не заметил Бога.

На этом мы расстались, обменявшись, впрочем, нашими произведениями с вежливой надписью.

Позже, во времена Выставки зарубежной литературы, мы с Фельзеном съездили к В. Крымову и уговорили его пожертвовать несколько сотен франков на первые наши нужды по транспорту и рекламе. Когда в Нью-Йорке я встретился с С. Прегель, то последняя, горько посмеиваясь, мне сообщила, что Крымов «заставил» ее вернуть несколько сотен франков — будто бы половину пожертвованной нам суммы! В этом пункте я безусловно верю Прегель.

По выходе в свет одного плохонького романа Крымова Юра Мандельштам основательно выругал его в «Возрождении»... А Крымов примчался к нам на выставку с жалобой:

— Помилуйте, я помогаю Союзу деньгами, а его члены меня шельмуют!

Болезненной фантазии Крымова представлялось, что отныне он купил, и весьма дешево, всю молодую литературу.

Цветаеву после этого эпизода у Крымова я обругал при свидетелях. Настроение у всех нас в течение целой недели было подавленное. Ширинский так описал общее состояние: «Точно мы все вместе выкупались в одной грязной ванне...» И это соответствовало какой-то истине.

В 1938 г. из газет стало известно, что на границе Швейцарии убит агентами Сталина выдающийся троцкист, Рейсс, кажется. А затем из Парижа бежало несколько русских: Эфрон, муж Цветаевой, поэт Эйснер и чета Клепининых. Поскольку они все уклонились от французского суда и скрылись в «Союзе», можно считать доказанной их причастность к этому мокрому делу.

Вскоре и Цветаева решила переселиться в царство победившего пролетариата, увозя с собой, разумеется, сына: дочь уехала раньше. Тут все выглядит безумием или глупостью: злодейства Сталина, социалистический реализм, муж — чекист, убийца... Ну, при чем здесь Цветаева? Можно ли было сомневаться, чем все это кончится для Марины Ивановны? И довольно скоро!

Перед отъездом Цветаевой я зашел к ней в отель где-то у метро «Пастер». Я «коллекционировал» подержанные кожаные куртки. А через Анну Присманову мне передали, что поэт хочет продать английскую куртку ее сына: мальчишка полный, тучный, существовала надежда, что куртка придется впору.

Итак, мы с Присмановой поднялись к Марине Ивановне в номер. Вещи уже были упакованы, и Цветаева не желала или не могла развязывать узлы.

Мы расстались без улыбки и без условных пожеланий: у меня слова застревали в глотке. Весь темный, как будто обугленный вид этого загнанного или одержимого, но гордого существа предвещал близкий и страшный конец. Полагаю, что она была тогда попросту больна, и если бы нашелся среди нас умный герой, достаточно привязанный к ней, то он бы силой удержал эту упрямую, несчастную, замечательную женщину от акта бессознательного харакири.

Присманова — всегда точно с флюсом: у фламандских художников попадались такие сухие, кривые, желтые женские лица на портретах, — Присманова осталась еще с поэтом наедине; догнала меня уже внизу и добросовестно похвалила стихи Цветаевой. Как будто стихи исчерпывают жизнь.

Остальное просто и ясно. Развязку можно было предвидеть. Я не знаю подробностей, но почему-то рисуется: вожжи, петля, русская конюшня... Кстати, перечитывая «Клару Милич», я всякий раз вспоминаю Марину Цветаеву.

Большие, «парадные» вечера — смотры парижской литературы — обычно устраивались в зале Географического общества

(метро «Сольферино»)... Туда еще стекались эмигранты времен Герцена и Мицкевича. Там же Адамович давал свой «бенефис» и, чтобы заинтересовать публику, приглашал для участия в прениях Керенского или Мережковского. Помню сводный франко-русский диспут с Андрэ Жидом после его поездки по советской России (когда возмущенная молодежь кричала Мережковскому: «Cadavre! Cadavre!»)

Лекции «Современных записок» тоже связаны с этим помещением; и Фондаминский по привычке его снимал для всех людных собраний — например, когда Сирин читал в Париже.

Последнего большинство из нас увидали именно там, на эстраде. Я пришел явно с недоброжелательными поползновениями; Сирин в «Руле» печатал плоские рецензии и выругал мой «Мир».

В переполненном зале преобладали такого же порядка ревнивые, завистливые и мстительные слушатели. Старики — Бунин и прочие — не могли простить Сирину его блеска и «легкого» успеха. Молодежь полагала, что он слишком «много» пишет.

Следует напомнить, что парижская школа воспитывалась на «честной» литературе. Что, разумеется, похвально, если за писателем имеются еще другие бесспорные заслуги. Но «честность» в Париже одно время понимали очень упрощенно, решив, что это исключает всякую фантазию, выдумку, изобретательность. Обвинять только Адамовича в этом не следует: он дал первый толчок, остальные уже докатились до абсурда самостоятельно.

Ссылались, главным образом, на Толстого, забывая, что у него мерин по ночам рассказывает жеребятам свою биографию, а заодно и сложные похождения барина... Какая, в сущности, неудачная «форма».

Сирин в области «выдумки» шел из иностранной литературы и часто перебарщивал, наивно полагая, что в каждом романе должен быть «фокус», ребус, подлежащий разгадыванию...

Читал он в тот раз главу из «Отчаяния», где герой совершенно случайно встречает свое «тождество» — двойника. Тема старая, но от этого не менее злободневная. От «двойника» Достоевского до «Соглядатая» того же Сирина всех писателей волновала тайна личности. Но, увы, публика кругом, профессиональная, только злорадствовала и сопротивлялась.

Для меня вид худощавого юноши с впалой (казалось) грудью и тяжелым носом боксера, в смокинге, вдохновенно картавящего и убедительно рассказывающего чужим, враждебным ему людям

о самом сокровенном, — для меня в этом вечере было нечто праздничное, победоносно-героическое. Я охотно начал склоняться на его сторону.

Бледный молодой спортсмен в черной паре, старающийся переубедить слепую чернь и, по-видимому, даже успевающий в этом! Один против всех, и побеждает. Здесь было что-то подкупающее, я от всей души желал ему успеха. И это несмотря на то, что у Сирина рядом с культурой писателей уровня Кафки и Джойса уживается и... пошлость Викки Баум.

Увы, переубежденных после этого вечера оказалось мало. Стариков образумить невозможно, хоть кол теши у них на темени. Проморгал же Бунин и Белого, и Блока. Поэтам же нашим вообще было наплевать на прозу; они вели тяжбу с Сириным за его стихи, оценивая последние в духе виршей Бунина, приблизительно.

А общественники в один голос твердили: «Чудно, чудно, но кому это нужно...»

Так, однажды на собрании «советских студентов», в том же зале Лас-Каз, выступали московские писатели... Федин, холодноватый, вежливый, немного похожий манерами на Фельзена; Всеволод Иванов, хитрый, осторожный мужичок, со смачным русским говором; Тихонов — солдат из своих баллад; Киршон — с толстой бурой шеей, больше всех партийно озабоченный и вскоре расстрелянный; подловатый Эренбург; Бабель, по внешности, краскам и дикции похожий на Ремизова и на Жаботинского. После их чтения или докладов позволялось подавать записки с вопросами; и я неизменно осведомлялся: «Что вы думаете о зарубежной литературе?»

Бабель ответил совершенно честно:

— Тут некоторые пишут чрезвычайно ловко, даже с блеском. — Все поняли, что речь идет о Сирине, печатавшем тогда свое «Приглашение на казнь». — Но к чему это? У нас в Союзе такая литература просто никому не нужна.

Вот традиционный сволочной критерий. Очень скоро сам Бабель со своими фаршированными закатами оказался в нужнике!

Когда Сирин переселился во Францию, Фондаминский, любивший преувеличивать, зловеще нам сообщил:

— Поймите, писатель живет в одной комнате с женою и ребенком! Чтобы творить, он запирается в крошечной уборной. Сидит там, как орел, и стучит на машинке.

Этим, конечно, нас нельзя было удивить: у многих в Париже и уборной своей не было. Мне это напомнило англичан, восхищавшихся подвигами Ганди, когда он питался только козьим молоком и лимонным соком... Мне индусы говорили, что по их условиям жизни молоко и лимон огромная роскошь: миллионы туземцев жуют только дюжину зерен риса в день. Кстати, один тибетский старец упрекал даже Махатму за то, что он позволил себе вырезать аппендикс, считая хирургию блажью и снобизмом.

После «Приглашения на казнь», которое мне очень понравилось, я сказал Набокову за чаем у Фондаминского:

— А ведь эта вещь сильно под влиянием Кафки.

— Я никогда не читал Кафку, — заявил в ответ Набоков и хотел еще что-то прибавить...

(Но в это время, одетый в парусиновые туфли и легкий макинтош, к нам приблизился Сирин, и Набоков отвернулся.)

Ходасевич, которому я передал эти слова романиста, осклабился:

— Сомневаюсь, чтобы Набоков чего-либо не читал.

(О силе и способностях последнего уже слагались легенды.)

Был Набоков в Париже всегда начеку, как в стане врагов, вежлив, но сдержан... Впрочем, не без шарма! Чувства, мысли собеседника отскакивали от него, точно от зеркала. Казался он одиноким, и жилось ему, в общем, полагаю, скучно между полосами «упоения» творчеством, если такие периоды бывали. Жене своей он, вероятно, ни разу не изменил, водки не пил, знал только одно свое мастерство; даже шахматные задачи отстранил.

Читая про грустную, маниакальную жизнь Томаса Вулфа, часто вспоминаю Набокова. Впрочем, у последнего — семья.

Предел недоброжелательства к Набокову обнаружился, когда Фондаминский ставил его пьесы; самого автора тогда не было в Париже. И бедный Фондаминский почти плакал:

— Это ведь курам на смех. Сидят спереди обер-прокуроры и только ждут, к чему бы придраться...

Я останавливаюсь на этом эпизоде, потому что до сих пор литературоведы считают провал «Чайки» в первой постановке постыднейшей несправедливостью... а страдания советских писателей — невыносимыми. Конечно, верно, но унижения, оскорбления зарубежного автора по-своему тоже мучительны. Следует только помнить, что в Ялте иной раз писались весьма плохие

пьесы, а романы, по качеству не уступающие «Доктору Живаго», сочинялись и в эмиграции.

Поплавский язвительно жаловался:

— Знаю, у них тоже не было денег. Андрей Белый или Блок телеграфировали в Петербург из Венеции: «Пришлите на дорогу, гибнем». Вот ты попробуй поезжай в Италию и телеграфируй оттуда.

Действительно, мы лежали как заросшие плющом камни, не двигаясь, в своей инерции представляя огромную силу. Лишенные не только средств, но и паспорта, визы, снаряжения, всей психологии, необходимой для перемены мест. Ездили по «заграницам» только обладатели приличных документов.

У Анатолия Штейгера был швейцарский паспорт, и он постоянно передвигался. Чехия, Югославия, Румыния, ну и конечно, Париж—Ницца.

В Берне по сей день сохранились туземные бароны Штейгеры; когда русские Штейгеры бежали назад в Швейцарию, впрочем не все, выяснилось, что им полагается кантонная пенсия. На долю Анатолия приходилось что-то очень крохотное по тамошним понятиям, но все же это был некий постоянный доход, позволявший уже организовать жизнь в Праге или Париже. А когда на чужбине приходилось туго, можно было спрятаться опять в полуродную Швейцарию, даже в санаторий, и залечивать разного порядка каверны. У Штейгера — туберкулез.

В жизни, в нашей жизни на Монпарнасе предполагалось, что все литераторы равны. И это, разумеется, так и было: различия обусловливались дарованием! Но все же швейцарские привилегии давали Штейгеру постоянную фору.

Он приезжал внешне жизнерадостный, загоревший, отдохнувший из Белграда, где чествовали «партийные» друзья, почитав стихи на Монпарнасе, восстановив контакт с Адамовичем, Цветаевой, Гиппиус, побывав у Фондаминского и в редакциях, он мчался в Ниццу, чтобы попасть «на чай к императору».

Штейгер — культурнейший, воспитанный, милейший и умнейший мальчик — числился младороссом; впрочем, политику воспринимал он эмоционально и эстетически.

Как младоросс, он во всех центрах эмиграции находил друзей, кров и даже харч. Так что расходы по поездке, скажем, в Бухарест, иногда сводились только к железнодорожному билету. Повсюду он находил «своих» единомышленников; в их ячейках, общежи-

тиях, странноприимных домах Штейгер попадал сразу точно в «родную» семью.

Я ставлю «родную» в кавычки, потому что поэт, больной туберкулезом эстет и шалун, конечно, должен был порою морщиться в обществе этих благородных, но часто примитивных легитимистов, присягнувших «главе» — Казем Беку.

Благодаря прирожденному savoir faire* Штейгера принимали как своего не только среди монархистов, но и у эсеров, пореволюционеров и, конечно, на Монпарнасе.

Фондаминский, растроганно моргая густыми бровями, сообщал:

— Был у меня вчера с визитом барончик! — так он называл Штейгера. — Вы бы послушали его, просто душа радуется: растет, растет человек!

«Круг» Штейгер посещал аккуратно, когда наезжал в Париж, но сидел тихо, уверяя, что все значительное он уже высказал в стихах, что раз даже возмутило Софиева. Штейгер иногда останавливался у Ширинских, он был дружен с молодым Савинковым, но стихов последнего не критиковал. Там (метро «Мюэт») я его иногда встречал в предвоенные годы, когда, вертясь перед зеркалом, он клал последние густые слои крема на свое бледно-матовое продолговатое лицо с подозрительно красными губами.

— Я должен еще забежать к Илье Исидоровичу, он продает билеты на мой вечер. А потом немедленно к Марине Ивановне, — объяснял он, облизывая алый рот.

— Билеты на ваш вечер продает весь «Круг», — поправлял я его назидательно.

Штейгер не возражает, только поглядит иронически. В связи с этой деятельностью «Круга» были у нас битвы с Фондаминским. Он требовал, чтобы все участвовали в «общем деле», то есть в данном случае — распродавали билеты Штейгера. Фактически дело сводилось к тому, что Фондаминский брал десяток билетов, еще два-три человека покупали по одному (Фельзен)... Зачем такого рода суету выдавать за коллективное предприятие «Круга»? И я спорил с Фондаминским. Главное, что Штейгера не обманешь: он отлично знал, кого следует благодарить!

Свое поэтическое хозяйство, в сущности миниатюрное, но уходящее в глубину, Штейгер вел мастерски и сумел из него вы-

* Умение держать себя *(фр.)*.

жать максимум — благодаря уму, вкусу и savoir faire. Только под конец Иванов спохватился:

— Сравнивать Штейгера с Анненским! — шептал он, брезгливо оттопыривая нижнюю губу и косо поглядывая в сторону навострившего большие уши Адамовича. — Штейгера с Анненским...

(Повторялась вечная история. Так, Оцуп ничего не имел против того, чтобы Поплавского называли первым поэтом среди молодых... Но только среди «молодых».)

Забавнее всего, на мой взгляд, бывал Штейгер, когда занимался «литературной кухней», напоминая в этом немного Иванова... И еще, когда рассказывал о своих романтических похождениях точно взволнованная тургеневская барышня:

— У «Гранд-опера»... мимо меня... и взгляд! Я оборачиваюсь. вижу — он следует за мною, — описывал Анатолий с таким наивным восторгом, что и у слушателя замирало сердце.

Умер Штейгер в разгар гитлеровских побед — на больничной койке, у самых Альп. Умер в культурной обстановке, при медсестре, градусниках и аспирине... В то время многие его друзья погибли на фронте, в подполье или в лагерях. Так что можно утверждать: во многих отношениях ему даже повезло. Не знаю. Думаю, что он бы предпочел кончить жизнь в активной борьбе с врагом, которого ненавидел, даже без шансов на победу, как чудилось тогда. Однако следует помнить, что этот образцовый поэт всегда считал свои стихи лучшим выражением всей сущности. И добавлять к ним ничего не собирался.

Говорят, что у одра Штейгера нашли пустую склянку из-под снотворного. Это произошло в разгар преподлейших отступлений союзников, и руки тогда беспомощно опускались у многих. Впрочем, при хронических больных всегда собирается коллекция пустых склянок и флаконов.

К числу немногих наших «туристов» принадлежал и Давид Кнут, кажется, румынский паспорт. Он вдруг сорвался с места и начал кочевать по странам средиземноморского бассейна.

Семья Кнута в общем странная... Его родители в Париже завели ресторанчик, и отец строго покрикивал на младшего сына, брата Кнута:

— Симха, подай битки!

Впрочем, родители вскоре заболели и умерли, а ресторан закрылся. Это о матери Кнута, агонизировавшей в университетской клинике, француз профессор сказал:

— Почему все народы согласны умирать, только один народ не согласен умирать...

И тон у него был явно обиженного человека.

Об этом эпизоде почему-то сообщили Бердяеву, и Николай Александрович, прищурившись, точно читая неразборчивую надпись, сообщил нам:

— Вот поэтому у них и родился Христос.

Когда из вежливости я иногда осведомлялся у Кнута, как поживает его брат, то получал неизменный ответ:

— Что ж, выбор у него небольшой: либо тюрьма, либо больница.

Симха действительно стал профессиональным вором по классу карманников; он работал не один, а с целым коллективом и был членом влиятельнейшего союза. Раз при случайной встрече Симха мне сообщил с гордостью, что его отправляют на гастроли в Лондон. Не знаю, что с ним сделала война. Вообще, вся семья, видимо, разлагалась. Единственной надеждой рода оставался Давид Миронович.

Маленький, темный, с тяжелым носом, он, однако, обладал недюжинным темпераментом и пользовался завидным успехом у дам.

Однажды в Люксембургском саду он мне прочитал целую лекцию, доказывая, что люди маленького роста крепче, здоровее, выносливее и живучее... высокие умирают раньше, и среди них почти нет гениев. Говорил он это все хотя убежденно, но с долей некоторого смущения — я в Европе считался выше среднего роста.

Увы, Кнут умер рано, сразу после войны. Родители его болели раком; и первая жена, добрейшая, скромная женщина, скончалась от рака, оставив двух-трех сирот. Кнут уже тогда успел с ней развестись и, перепробовав разные комбинации, женился наконец на Ариадне Скрябиной — женщине колоритной и страстной.

Внезапно он получил субсидию на издание французско-сионистской газеты, и они зажили в роскошном особняке. Скрябина, дочь композитора, приняла еврейство, причем с таким «черносотенным» оттенком, что бывавший на Монпарнасе капитан единственного израильского учебного судна с отвращением зажимал уши, когда Ариадна начинала проповедовать и убеждать «иноверцев».

Рассказ об этой русской женщине был бы неполон без характерного эпилога: по слухам, она умерла в 1944 г. на юге Франции, сражаясь с немецким патрулем.

XI

Роль, которую играл во второй половине 30-х годов «Круг», до того выполняли «Числа», а еще раньше «Зеленая лампа». Это все, разумеется, сменяясь, на стыках «эпох», перекрывало друг друга и не было строжайшим образом разграничено.

«Числа» возникли в результате стечения многих случайностей и объективных причин. Однако можно утверждать — без Н. Оцупа не было бы и «Чисел», то есть этих «Чисел».

В годы расцвета «Кочевья», под конец НЭПа, ходил на эти литературные собрания некто Рейзини, молодой холостяк, краснощекий, упитанный, явно падкий на сладенькое, но со странностями и не без «запросов». Служил Рейзини у Hachette, бойко стучал по-французски и числился одно время в Сорбонне.

Не пойму, каким образом, но Рейзини встретился с И. В. Манциарли, женщиной эксцентричной, общавшейся с тибетскими мудрецами и питавшейся исключительно рисом и заморскими травами... Выяснилось, что Ирма Владимировна не прочь поддержать деньгами русский журнал.

Я с Манциарли сдружился в Нью-Йорке в разгар войны, когда мы вместе с Е. Извольской и Артуром Лурье издавали религиозный экуменический журнал «Третий час» на трех языках. Тогда Ирма Владимировна мне созналась:

— Я думала, они будут писать, как принято среди русских студентов, нечто светлое и честное, возвышенное и приятное... А там пошла сплошная собачья свадьба, до того неприлично, что даже знакомым нельзя было показать!

Мне стоило большого труда здесь, в Нью-Йорке, эон спустя, объяснить ей, что «Числа» были лучшим журналом эмиграции.

— Почему только эмиграции? — обижался Николай Авдеевич Оцуп. — Это, вероятно, лучший русский журнал вообще...

Рейзини повел переговоры с влиятельными лицами на Монпарнасе. В конце концов Адамович и Иванов поддержали кандидатуру Оцупа как хозяина журнала — и очень удачно! Так, Алданов выдвинул на положение редактора единственного зарубежного многомиллионного «чеховского» издательства — Веру Александрову, и очень неудачно.

В рекламах и даже, кажется, на обложке первого номера «Чисел» Рейзини еще значился редактором философского отдела;

позже он совершенно исчез со страниц журнала. Чтобы покончить с ним, скажу, что вскоре у Гашетта вдруг обнаружился беспорядок в отчетности, причем самого нелепого характера: недоставали книги, иллюстрированные, роскошные! А на Монпарнасе Рейзини иногда после полуночи предлагал друзьям: хочешь эту книжонку? Бери, пожалуйста!.. и дарил художественные репродукции едва знакомым собутыльникам. Фельзена Рейзини почти заставил увезти домой энциклопедию попугаев в красках.

Между тем молодого и жизнерадостного холостяка потянули к судебной ответственности. Независимо от формального исхода дела ему как иностранцу и, пожалуй, нежелательному, угрожала неминуемая высылка. И действительно, несмотря на сумасшедшую изворотливость Рейзини и на все услуги влиятельных друзей молодому человеку пришлось оставить пределы благословенной Франции. Не помню, для какой надобности, но мы все однажды в редакции «Чисел», метро «Конвансион», собирали для него деньги, по-видимому на неотложные нужды. Позже, в Нью-Йорке, поменяв лик и даже темперамент, Рейзини — владелец шахт и кинематографов — меня сторицей вознаградил за подаренную пятерку; это оказалось моим лучшим капиталовложением!

Итак, Оцуп стал единоличным редактором «Чисел» и повел себя весьма круто, прислушиваясь только к голосам таких обер-офицеров, как Адамович или Иванов.

Адамович был, разумеется, необходим для «Чисел». Поток возмущения и ревностных доносов, хлынувший в ответ на первые номера журнала, требовал заслона. Рецензии Адамовича в «Последних новостях», его участие в открытых вечерах «Чисел» и, главное, «Комментарии» в самом журнале отражали удары. В сущности, эти его статьи после прозы Поплавского и, может быть, Шаршуна — самое оригинальное и ценное в «Числах». Хотя за «Комментариями», как уверял Мережковский, стояла тень Розанова.

Однако почему Оцуп в такой же мере слушался и боялся Иванова, я не пойму; как я в свое время не мог объяснить влияние Иванова, и отнюдь не литературного порядка, на многих других молодых поэтов.

Случилось, что Одоевцева издала свой роман в английском переводе: ее в Лондоне, по-видимому, хвалили... Вот цитаты из этих отзывов супружеская чета собрала надлежащим образом и заставила Оцупа напечатать в конце одного из номеров «Чисел»:

несколько страниц грубой саморекламы! Английское слово «genial» Ивановы очень скромно перевели «очень талантлива», приведя в скобках основной текст. Оцуп пробовал бороться, но почему-то в конце концов уступил.

То же по отношению травли Ивановым Сирина: «Числа» могли избежать такого тона в полемике. Впрочем, тут Иванову помогали многие честные и нечестные, стойкие и нестойкие, литераторы и нелитераторы. Достойно внимания, что Адамович, прозу Сирина искренне порицавший (с позиций «Толстого»), в этой склоке, где ссылались чуть ли не на матушку Сирина, прямого участия не принимал.

Лучшее в «Числах» и, пожалуй, еще уцелевшее по сей день, кроме уже упомянутой прозы, надо считать стихи, стихи, стихи... Среди поэтов «аутсайдеры» типа Заковича или Дряхлова, может быть, переживут многих зарубежных «генералов» от литературы.

«Числа» были центром, куда каждый четверг пополудни стекались жаждущие отвлеченных истин и конкретных сплетен новые, многообещающие писатели. В маленькой квадратной комнатушке, rez-de-chaussee (в другие дни она служила конторою для каких-то странных дельцов, берлинских друзей Оцупа), в этой клетке сидели где кто горазд бывшие и будущие сотрудники журнала и болтали с кем придется. Поплавский пытался «завоевать» случайно завернувшего сюда Николая Набокова или Гершенкрона; страшный господин с неприличной бородкой читал вслух свой порнографический дневник, и Оцуп зорко следил за выражением лиц присутствующих, мысленно решая трудный вопрос: стоит ли это напечатать...

Я вдруг начинал доказывать, что для Толстого не «случайность», что брат Анны Карениной, Стива Облонский, — гурман и бабник!.. Поляк, кажется, граф Чапский, художник, публицист, входил в комнатушку сутулясь (он приехал с рекомендательными письмами от Философова) и говорил, пожимая каждому с одинаковым вниманием руку:

— Вы все здесь русские писатели, да?

Для интимной беседы с Оцупом надо было выйти в коридор — туда к лестнице с лифтом, где нагромождение сюрреалистических балок, болтов и просветов вдохновляло.

Говорил Оцуп каким-то особенным басом: голос сугубо важный, сановитый, раскатистый... Его чересчур благородная, барская речь мне почему-то напоминала рассказы о шулерах, кото-

рые должны щеголять бельем голландского полотна и даже натуральными бриллиантами, иначе их в клуб не пустят. Это, разумеется, совершенно неуместное сравнение, но манеры, интонации Николая Авдеевича, весь его псевдовеличественный облик навевали на меня такого рода грустные мысли. Иванов с Поплавским любили повторять, как Блок однажды осведомился: «Что такое Оцуп?» И ему будто бы доложили: «Общество Целесообразного Употребления Пищи».

— Яновский, — снисходительно-важно, «бархатно» рокотал Оцуп у лифта, — поймите, «Числа» не могут платить обычного гонорара. Но если вам когда-нибудь очень, очень понадобится какая-нибудь мелочь, то приходите сюда, и я постараюсь вас выручить.

Кое-кому, то есть Иванову, Адамовичу и себе, он платил вполне приличные гонорары. Адамовичу, повторяю со слов Фельзена, Оцуп однажды сказал:

— Знаешь, Жорж, я пришел к убеждению, что статьи гораздо труднее писать, чем беллетристику, значит, оплата должна быть выше!

Часто приходили незнакомые или неинтересные люди, но всех их Оцуп умел как-то привлечь, использовать. Дамы уносили воззвания, где излагались цели «Чисел», и просили о поддержке. Меня Оцуп уговарил поставить свое имя на подписном листе — но неразборчиво.

— Так, чтобы можно было принять ваше имя за Яковлева.

Был такой знаменитый художник... Нелегкое дело — издавать лучший журнал в эмиграции.

Разумеется, он был рвачом, спекулянтом, но без этого «Числа» не продержались бы долго. Кто знает, как действовал бы Дягилев, не имея за собой старую, усадебно-купеческую Русь. Литература была стихией Оцупа, а вкус у него, вероятно, не хуже дягилевского.

Оцуп одно время «жил» с «Чисел», чего Монпарнас не мог ему простить. Но что же здесь, вообще говоря, зазорного: ведь он посвящал этому делу и силы, и домыслы! Однако Ходасевич выразил мнение большинства, когда однажды в своей статье определил занятия Оцупа того периода как деляческтво. Оцуп, недавно вернувшийся из поездки по Италии и не знавший всех происшедших здесь сдвигов — за это время расцвел «Круг», а Ходасевич уже играл в бридж с Адамовичем, — Оцуп кинулся в кафе «Мюрат», собираясь побить Ходасевича... Но его осадили и выпроводили собственные друзья (Фельзен).

Тут бы ему догадаться, что соотношение сил изменилось и надо начинать сызнова. Но Оцуп обиделся и гордо отвернулся... Так он завял в одиночестве, а вместе с ним «Числа», по-видимому уже сыгравшие свою роль.

Годы войны Оцуп провел в Италии, что явствует из его «Дневника в стихах» — книги по замыслу, может быть, замечательной; плоха в ней главным образом тема «Беатриче». Повторяю, я не верю, что Беатриче «спасла» Данте; не думаю вообще, чтобы женщины спасали — спасает Христос. Знаю, что бабы «губили» многих; впрочем, побольше бы такой гибели. Вероятно, Оцупа его «Беатриче» тоже искалечила.

Была такая «красавица», бывшая актриса немого синема, по представлению Оцупа — ангел и идеал мудрости или добра. Я ее видел раз мельком, и разглагольствования этой тиранической женщины среднего возраста мне тогда показались плоскими (dull).

Нет, Оцуп гораздо лучше понимал Бориса Юльевича Прегеля, крупного банкира и мецената с большими пухлыми, кровососными, руками. Когда они вдвоем вели «деловые» переговоры, — а редактору «Чисел» ведь почти нечего было продавать, — мне чудилось: я случайный свидетель при битве гигантских тиранозавров или динозавров...

Вот Прегель встает и говорит прикорнувшему в кресле Зелюку:

— Я жертвую на этот замечательный журнал тысячу франков! Теперь слово за вами.

Ей-Богу, нечто эпическое звучало в таких речах! Зелюк, владелец большой типографии, человек жестокий и сентиментальный, тоже вдруг смягчался и выражал готовность «пойти навстречу». Только гений Николая Авдеевича Оцупа сумел объединить всех этих нужных и страшных людей, использовав их для журнала.

В 1933 г. или 1934-м я раз вечером заехал к Софиеву по делам нашего Союза и застал там Софью Прегель — поэта из Берлина... Полная, добродушная, энергичная, с благородным достоинством улыбающаяся дама, несколько похожая на бывшую английскую королеву, мать теперешней Елизаветы. Оставшись один с Юрой Софиевым и Ириной Кнорринг, я узнал, что Прегель «несметно богата» (привез ее шофер в лимузине); познакомились они с Кнорринг еще в Константинополе.

Она читала свои стихи в Объединении, издавала собственные сборники. Там фигурировали, помню, добродушные старики и

старухи, что-то евшие, пившие... Так что когда Смоленский злобно заявил, что это «кулинарная» поэзия, то кругом невольно улыбались.

Софья Прегель была добрым человеком, помогала многим поэтам, и очень скоро если не ее литература, то общественная деятельность была принята парижанами без оговорок.

Мы с Фельзеном по делу выставки, а затем издания книг часто виделись с нею; принимали нас там всегда вежливо и даже радушно.

В начале войны Прегель переехала в Нью-Йорк, где издавала журнал «Новоселье»; Софья Юльевна оказалась очень толковым редактором, знающим точно, что ей нужно, и готовым за это платить. Последнего качества за Оцупом не числилось.

В личной жизни ей не везло. Обучалась она профессионально музыке или пению, но из этого ничего не получилось серьезного. После войны, вернувшись в Париж, она ввела туда Ирину Ясен, которая в свою очередь помогала разным поэтам печататься.

Брат Софьи Прегель, Борис Юльевич, делец, ученый и, кажется, композитор (как легко при деньгах отличаться на всех поприщах), однажды пришел на наш вечер в пользу молодых литераторов (в доме Цетлиных), увидал дочь Марьи Самойловны и влюбился... Своей счастливой семейной жизнью он, можно сказать, был обязан парижскому Объединению писателей и поэтов.

Когда мы собирали наш внутренний «Круг», то некоторые возмечтали о «реальной силе» и для этой цели предлагали вербовать в члены влиятельных или богатых людей... В первую очередь называли имя Бориса Прегеля. Но Фондаминский после некоторого колебания отвел эту кандидатуру:

— Я с ним разговаривал, знаете, по другим делам и смотрел на его руки. — рассказывал не совсем связно Илья Исидорович. — Вы когда-нибудь заметили его руки? Такими руками можно задушить человека. Нет, он нам не подходит...

Фондаминский, как и Керенский, и большинство эсеров, был прежде всего художником, артистом, а не политиком, стратегом, так мне всегда казалось.

Болезненная жажда псевдомогущества, псевдовласти компрометировала все лучшие эмигрантские начинания. Сколько хороших, благородных объединений разваливалось из-за этого наивного оппортунизма...

«Числа», естественно, распространялись в соседние художественные области; будь Оцупу отпущено немного больше времени, право, он бы докатился и до балета. Выставка живописи, устроенная «Числами», в общем, удалась. Некоторые из присланных картин Оцуп потом продал на аукционе в Виши при помощи энтузиастов врачей, спекулянтов, банкиров. Не обошлось без недоразумений: спустили картины и не подаренные «Числам», принадлежавшие частным коллекционерам. Так, однажды я был свидетелем при довольно томительных переговорах Оцупа с художником Воловиком, чье прекрасное масло без его ведома и позволения продали в Виши.

— В таком большом деле нельзя без ошибок! — объяснил мне Оцуп после ухода гостя, незаметно глотая воздух, вероятно ощущая сердечные перебои. Как человек, привыкший к частым волнениям азартной игры, он через минуту уже справился и, псевдобарски раскатывая «р», покровительственно закончил. — Очень мне был нужен этот Воловик, подумаешь!

Вечер «Чисел» в тот период составлял гвоздь сезона, как раньше «Зеленой лампы», — там собирался «весь» русский Париж. Чинный зал, где обычно музицировали, совершенно перегружался, так что однажды даже М. О. Цетлин должен был вернуться домой, не получив входного билета. Об этом сообщали с радостью.

На собрании по случаю выхода номера 2—3 «Чисел», где прошел мой «неприличный» рассказ «Тринадцатые», в воздухе пахло скандалом. Милюков говорил о «кризисе» в современном искусстве (pour changer), а с мест выкрикивали разную брань; Мережковский с Оцупом на эстраде свирепо заспорили друг с другом. Оцуп уверял, что преимущество Запада перед Россией в том, что здесь исповедуют принцип chacun pour soi, et Dieu pour tous*. Мережковский возражал, говоря, что это пословица консьержей. Он был прав, конечно.

Тогда Поплавский заявил, что русский народ — подлый народ. Достаточно вспомнить родную поговорку «Один в поле не воин»... Тут раздался из задних рядов томный вопль Сазоновой, сообщавшей о четырех русских беглецах, погибших героически, переплывая Дунай (о них недавно писали в «Последних новостях»). Младоросы давно уже патриотически свистели и стучали; становилось весело.

---

* Каждый за себя, и Бог за всех *(фр.)*.

Милюков, привыкший к «обструкции» чуть ли не с детства, спокойно ждал, а Оцуп довольно умело и лихо цыкнул; утихомирив недовольных, объявил перерыв.

Обычно на таких вечерах во время антрактов в задней комнатушке «для артистов» собирались все участвующие в прениях и близкие люди: разбивались на отдельные группы, теснясь вокруг общепризнанных авторитетов или редакторов журналов... Одиночки, не имевшие возможности или основания присоединиться к такому кружку, держались обособленно, гордо.

Время перерыва было, разумеется, лучшим утешением в жизни эмигрантского литератора... Тогда можно пустить острое словечко, повторить сплетню, условиться о встрече, узнать про судьбу рукописи, обменяться ценной информацией, наконец, пожать ручку приятной дамы или знаменитости вроде Шаляпина, Алехина, Керенского. Одни доклады казались скучными, другие захватывающими, но эти паузы были почти всегда одинаково интересны, хотя и не лишены своеобразной горечи.

Так, во время антракта на вечере «Чисел» мне впервые открылся некий жестокий «социальный» опыт... Помню, я стоял в гордом одиночестве, нехотя прислушиваясь к разнобою голосов вокруг Милюкова и Гиппиус, и вдруг заметил застрявшего в другом углу комнаты НН., естественно, мелькнула мысль: зачем же нам стоять отдельно, гораздо приятнее дожидаться звонка вместе! И я подошел к нему, но сразу почувствовал враждебный и недовольный косой взгляд — мне были не рады! Я немедленно удалился в свой угол, но тут ко мне подскочил ММ., фамильярно заливаясь... Теперь я на него поглядел неприязненно и на вопросы почти не отвечал. Близость ММ. окончательно «унижала» меня, как, очевидно, разговор со мною «компрометировал» НН. ... Эта сложная «общественная» механика открылась мне вдруг во всей остроте: она действует с одинаковой силой и в придворной среде, и в эмигрантском караван-сарае.

Увы, нигде снобизм, чинопочитание, местничество не развиваются так безобразно-болезненно, как в безвоздушной, беспочвенной среде, лишенной реального, казенного пирога. Смуты, дрязги, интриги, споры, конечно, ужасные грехи, знакомые еще ветхому Адаму (во всяком случае, его сыновьям), но противнее всего склока там, где совершенно нет разумных причин для какого бы то ни было соревнования... Именно в царстве грез осуществляется самый жестокий бой — китайских теней на стене.

Исключительную роль в жизни зарубежной словесности сыграли «Последние новости». Хотя бы потому, что мы все сотрудничали в них. А четверговые статьи Адамовича создавали подлинную литературную атмосферу.

«Последние новости» под редакцией Милюкова были, разумеется, политическим, демократическим, органом; естественно, что беллетристику, поэзию они представляли себе только как род приманки для дикого читателя, сироп, коим подслащивается горькая хина общественных истин. Так это и было одно время: Бунин — символ лучшего прошлого, затем Алданов, Саша Черный, Дон-Аминадо, переводной полицейский роман, все, что полагается для успешного ежедневного издания.

Но так велик был нажим все растущей молодой западнорусской литературы, что постепенно условные барьеры оказались сметены. В первую очередь «прошла» поэзия: от Поплавского до Терапиано, от Червинской до Кнорринг. Но постепенно почти вся наша проза тоже завоевала там себе место. Даже в статьях «Последних новостей» замаячили религиозные имена и темы. Павел Николаевич только неуклонно заменял повсюду выражение «отцы церкви» словами «древние мудрецы»: так ему казалось приличнее. Впрочем, такие слова, как «благодать» или «первородный грех», он попросту вычеркивал.

Приноравливаясь к этому неоэзопову языку, в газете могли сотрудничать даже умеренные обскуранты. Однако Мережковского и ему подобных Милюков так и не подпустил близко, чувствуя своим широким, толстовским носом запах не только апокалиптической серы, но и крупповских печей.

Гиппиус долго вела подкоп, стараясь одна, без мужа, проникнуть в «Последние новости». Алданов, не отказывая открыто в помощи, говорил:

— Всем покажется странным такой литературный развод.

— Она будет писать вещицы вроде тех, что Тэффи дает в «Возрождении», — убеждал Алданова Дмитрий Сергеевич.

Впрочем, и Бердяев не сотрудничал в газете; на большом собрании последний весьма толково распространялся по поводу дьявола в связи с деятельностью большевиков... И Милюков насмешливо заметил, что Бердяеву, вероятно, хорошо знакома сущность князя мира сего, если он так авторитетно о нем высказывается. Это почему-то обидело философа.

— Мне этого не нужно, — с достоинством объяснял Бердяев. — Меня охотно печатают в других изданиях.

Но газеты «своей» он не имел. И Федотову там не было места. Коротко говоря, профессиональным христианским мыслителям, за исключением одного Мочульского, кажется, ход к Милюкову был затруднен.

Это верно по отношению к «старикам»; молодые же уже с середины 30-х годов могли, соблюдая известные цензурные правила, печатать в газете свои самые характерные произведения, хотя бы по чайной ложке!

«Последние новости» тогда расходились по всем углам зарубежья. Авторитет Милюкова ставился высоко не только либеральными эмигрантами, но и многими влиятельными иностранцами. Передовицы Павла Николаевича читали на Quai d'Orsay, и газета в какой-то мере влияла даже на реальную политику.

Постоянный сотрудник «Новостей» мог добиться анемичной славы чуть ли не на пяти континентах. Поэтов перепечатывали безвозмездно в рижском «Сегодня» и в нью-йоркском «Новом русском слове». По поводу прозы, как я уже писал, провинция имела собственное мнение и в нашем творчестве отнюдь не нуждалась.

Кроме чести и славы была еще одна причина, почему мы все подходящее таскали в редакцию «Последних новостей». Гонорар!

В нищей Европе очень расчетливый, даже скупой Милюков так поставил газету, что она приносила завидную прибыль. Главной статьей дохода, как полагается в периодической печати, являлись объявления. Те объявления, о которых Дон-Аминадо писал: «За право пользоваться ванной / Даю уроки фортепьяно».

Ближайшие сотрудники газеты участвовали даже в дележе добычи; кроме того, у них имелась великолепнейшая касса взаимопомощи. Что же касается «случайных» сотрудников, то для нас был установлен минимум гонорара, которому могли бы позавидовать многие туземные литераторы. Короче говоря, труд в газете оплачивался, хорошо оплачивался.

Я начал, кажется, с 75 сантимов за строчку и вскоре перевалили за франк. А за франк, даже блюмовский, еще можно было купить livre* хлеба или литр вина; флакон духов или бутылка шампанского — 25 франков. При даровой или чудом оплаченной комнате, один «подвал» в газете давал уже возможность протянуть целый месяц. Ничего равного ни одна русская газета

* Фунт *(фр.)*.

даже в щедрой и богатой Америке никогда не предоставляла своим писателям.

Поневоле заскучаешь, если не по передовицам Милюкова, то по его умению прибыльно и честно вести коммерческое дело.

Редакция в 30-х годах располагалась у метро Arts et Metiers на втором этаже. Первая «комната», проходная, без окон, с вечной электрической лампочкой, на стене распределительная доска с телефоном... Ладинский, дежурный, между болтовней с посетителем и работой над собственным фельетоном, отрывисто, но исчерпывающе отвечал на очередной звонок, соединяя просителя с конторой, метранпажем, кассиром.

Так в этом чулане и дома по вечерам Ладинский даже ухитрился написать кроме своей лирики два романа из римской и византийской жизни.

Антонин Петрович — прапорщик Первой мировой войны; после гражданской заварушки эвакуировался с юга и застрял в Каире, где подучился английскому языку, так что иногда даже переводил очередную главу полицейского романа для газеты.

Ладинский писал лирические очерки, проникнутые ностальгической любовью к своему детству и родному Пскову; впрочем, его волновала также и «медь латыни». Как многие из служивого или чиновничьего сословия, он был кровно связан с «Империей», «великой державой», Дарданеллами, исконными границами — все глубже и дальше — и прочими атрибутами чувственного патриотизма. Разумеется, Антонин Петрович стоял за свободу личности, за ее юридические права, за ограничение государственного произвола — одним словом, за Павла Николаевича Милюкова. Но все это *потом*, когда границы империи будут на все сто процентов обеспечены, а национальные интересы защищены.

В пору советско-финской бойни Ладинский, писавший одухотворенные неоромантические стихи, из кожи лез в «Круге», оправдывая стратегию Шапошникова, уверяя, что нельзя оставить в «такое время» Ленинград под дулами выборгских орудий...

Надо ли удивляться, что эти верные сыны великодержавной России после трудной победы Красной Армии взяли советский паспорт. Ладинский, как и Софиев, даже честно поехал в Союз, где он недавно отдал Богу душу. Империализм в истории соблазнял мужчин больше, чем бабы, карты и вино, вместе взятые. А в Библии он среди смертных грехов не числится.

От Ладинского осталось два-три прелестных стихотворения, но интересного разговора с ним не получилось. Высокий, худощавый, несколько северной (шведской) внешности, но с русским красным, армейским, носом, он в ту пору напоминал Тихонова — тоже романтического поэта и солдата.

Ладинский жил исключительно литературным трудом, если считать обязанности телефониста в редакции тоже прикосновенным к отечественной словесности.

Меня удручала эта приемная без окон, с вечным электрическим сиянием. От скуки мы сплетничали. Об одном шумном литераторе Ладинский несколько раз так выразился:

— Если бы у меня была его энергия, то я бы сидел не здесь у телефона, — тут он обычно оглядывался по сторонам и понижал голос, — а там, в кабинете редактора.

Чем бы Ладинский ни занимался: телефон, перевод бульварного романа, очерк или стихи, всюду он проявлял одну и ту же «органическую» добросовестность, характерную для русского мастерового, труженика, пахаря и солдата. Существует прочно утвердившаяся легенда о национальной распущенности, о русском «авось» да «кабы», «пока», «как-нибудь»... Неаккуратность, темнота, анархизм, халатность, грубость, даже бесчестность, в сочетании с бунтом, богоискательством и жаждой абсолютной «правды». Может быть, это реально для разночинца, студента, кулака, босяка, не знаю. Но есть другая особенность, универсальная — стоять «до конца» при любых обстоятельствах, даже в николаевском Севастополе, выпускать из своих рук только совершенно исправный продукт, завершенный, отделанный, независимо от рентабельности. Это черта мастера, артизана, художника, Левши, врача, преподавателя, публициста, свойственная одинаково и Розанову, и Чернышевскому, и штабс-капитану Тимохину. Такого рода тяга к совершенству «товара», одинаковая у мужиков и интеллигентов, мне кажется, до сих пор еще не была должным образом отмечена... А в классических трудах описываются в первую очередь легендарная лень, расхлябанность, безграмотность, водка, бунт и жажда немедленной, соборной «справедливости». Здесь какая-то неувязка.

Иностранцы, наслушавшись рассказов о большевиках, об Иване Террибле и Николае Первом, с изумлением осведомляются: «Как же это случилось, что Россия по сей день еще существует и продолжает расти, крепнуть?» На это имеется только один вразу-

мительный ответ: «Спасает добросовестный труд мастера, батрака, ученого, пехотинца: в поле, на заводе, в лаборатории и, увы, на каторге.

После получасового ожидания у телефонов меня впускали наконец в кабинет к Демидову, и я облегченно переводил дух... Большая, в два окна стеклянная дверь на балкон, с видом на миниатюрную треугольную площадь, где прохладные дома стоят неремонтированные еще со времен Герцена или якобинцев.

Игорь Платонович считался моим редактором: я имел только с ним дело, и он, казалось, меня поддерживал. Не знаю, кого «читал» сам Милюков, хотя на него часто ссылались: «Папа не пропустил, папа не желает!» Папа римский, конечно, а не фрейдовский. Этот маневр всех редакций и контор особенно часто использовался эмигрантскими политиканами. В «Современных записках» таким жупелом служил Фондаминский, пока он не начал с нами встречаться.

Демидов, с бакенами эпохи декабристов, с мохнатыми бровями и мутно-зеленоватыми (цвета омута) зоркими глазами; худой, прямой («аршин проглотил»), с изможденным, аскетического склада лицом... он был похож одновременно и на сенатора времен Наполеона Первого, и на русско-византийскую икону.

Интересовался «эзотерическими» школами, масонами, теософами, хорошо говорил о Боге-Любви и зла, по-видимому, никому не желал. Такие русские сановники в старину занимались верчением столов, увлекались модными еще иезуитами или квиетистами.

Мои рассказы ему нравились, иначе их бы не печатали. Других заступников у меня не было. Но понять редактора было трудно: думаешь, вот эта вещь подойдет... Отвергнет! А другую, похуже, с отчаяния даешь — похвалит!

Был Игорь Платонович глуховат и раза два в день чистил себе уши: достанет из ящика вату, ножницы, спички. Все это аккуратно, точно, строго, деловито. В первый раз я даже подумал, что это все имеет какое-то отношение к моей рукописи. Свернет ватный шарик на кончике спички длинными пальцами — быстро, энергично... И ковыряет в ушах споро, без колебаний.

Наш любимый анекдот о Демидове... Доктор И. Манухин, лечивший всех насвечиванием селезенки, будто бы звонит весною в редакцию. Демидов кричит в трубку: «Христос Воскресе, Иван Иваныч!» Но Манухин, по-видимому, не слышит, и Игорь Платонович начинает скандировать: «Х» как Христофор, «Р» как Рахма-

нинов, «И» как Игорь... Да, да, Христос Воскресе... Что, встретиться? Не могу, очень занят! А, завтракать? Это можно, можно...»

Большим влиянием в газете пользовался А. А. Поляков, метранпаж, отнюдь не редактор, и все же «настоящие» сотрудники отдавали материал прямо Полякову и тем кормились. Людям, которым он протежировал, было гораздо легче прожить в Париже. И Поляков пользовался своими правами, руководствуясь, однако, не капризами, а профессиональными соображениями. Все, что полезно для «Последних новостей», можно и надо печатать! А что не нужно для распространения газеты, то вредно и даже глупо.

В «кочегарке» было шумно, дымно и по-своему весело. Александр Абрамович Поляков, с бритым, полулысым черепом, желтовато-бледный, серьезно-деловой, не отрываясь от «полосы», протягивает руку, улыбается, пододвигает пачку своих папирос... Опять углубляется в «русскую хронику».

Курил Поляков довольно редкую папиросу gauloise rouge. Крепкая, точно пуля из дальнобойного ружья. Был у меня друг, полицейский врач, прочитывавший на ночь газетку «Paris-Minuit», издаваемую для профессионалов; вот этот бюллетень полночных деяний и «красная» папироса соединены у меня в памяти как особенности парижской жизни, туристам почти недоступные.

Я всегда норовил при визите в «кочегарку» выкурить одну-две поляковские сигареты в странном убеждении, что это ему приятно.

Александр Абрамович принадлежал к редкому типу русского джентльмена и при всех обстоятельствах соблюдал основные правила игры (rules of the game); ко мне, как и к большинству, он относился вполне корректно, даже доброжелательно. Мой материал, по совести, не всегда можно было счесть «выгодным» для газеты; кроме того, я находился в юрисдикции Демидова, то есть невольно принадлежал к полувраждебному лагерю. Как на всякой хлебной работе, там тоже шла борьба за влияние с обычными интригами и смутами.

Часто рассказ, принятый Демидовым, застревал у метранпажа и отправлялся на суд к «Павлу Николаевичу». Я даже, грешным делом, мечтал перейти в ведение Полякова, расхваливаемого Осоргиным, Адамовичем, но это мне, увы, не удавалось.

В каждом предприятии есть такая незаметная ось, на которой все дело держится, вращается. Толстой писал, что в каждом доме имеется такая особа — нянька, бабушка. Эти «святые» люди только в работе находят оправдание своему существованию; им вооб-

ще сидеть сложа руки скучно, и часов они не считают, сверхурочных не требуют.

Возможно, что ради такой превосходной газеты, как «Последние новости», и стоило жертвовать своей жизнью. Но, приехав в Нью-Йорк, Поляков точно так же «засел» в «Новом русском слове» — сторожевым псом морали и орфографии. Ясно, что люди этой породы просто изнемогают без привычного занятия. И действительно, во время летнего отпуска Александр Абрамович почти заболевал от безделья и бросался с удвоенной энергией по кабинетам терапевтов и медицинских специалистов; перевалив через восьмой десяток, он все же надеялся захватить «болезнь» в самом зачатке.

Свою чрезвычайную мнительность Поляков обнаружил впервые после похорон полковника генерального штаба Шумского... Этого сотрудника «Последних новостей» «Возрождение» называло самозванцем, ибо Шумский был его псевдоним, академию он кончил под другой фамилией.

Итак, полковник генерального штаба Шумский «внезапно» скончался, можно сказать, на бегу. И сотрудники газеты поехали на кремацию тела в часовне кладбища Пер-Лашез. Я видел Полякова немедленно после этого обряда и почти не узнал старого джентльмена: поблек метранпаж, сдал, осунулся.

Но через недельку опять пришел в себя: сухой, уверенный, подобранный специалист, играющий интересную и ответственную партию по раз и навсегда установленным правилам игры. Только бы это продолжалось до бесконечности.

Еще подвизался в «Последних новостях», и тоже быстро, без последствий, сошел в могилу, некто Словцов: пухлый, с детским голосом, страдающий одышкой журналист. Кроме технической работы он аккуратно поставлял два фельетона в неделю — посвященные французским книгам «общего, культурного порядка»... Он следил за всеми новинками этого рода и пересказывал их содержание очень толково и умно, присовокупляя только изредка собственные комментарии, гуманистического оттенка. Мне такие работники казались чудом усидчивости. «Ce sont des as»*, — невесело шутили мы на Монпарнасе.

Надо помнить, что когда освобождалось место в газете, например во время каникул, то эти же подвижники принимали на

* Это тузы — это задницы (игра слов) *(фр.)*.

себя добавочные обязанности, не подпуская чужих людей. Словцов всегда замещал Полякова летом.

Поплавский с ужасом рассказывал мне: Словцов, уезжая в отпуск еще до реформы Блюма и платных вакаций, заготовлял восемь—девять «подвалов» впрок — на целый месяц... Таким образом он не лишался гонорара и в пору отдыха. Это значит, что он загодя прочитывал сверх обычной нормы еще 8—9 томов «общего характера» и приготовлял соответствующие статьи — кроме текущих фельетонов и ежедневной обязательной работы по составлению газеты. Занят, занят был человек — полезной деятельностью. А когда умер, никто из сотрудников ни разу не вспомнил его: будто корова слизнула языком человека...

«Последние новости» имели свою кассу взаимопомощи, куда постоянные сотрудники обращались за ссудою. Раз перед летними каникулами Могилевский (бухгалтер) при мне отсчитывал Алданову 10 тысяч франков — на поездку в Италию. Марк Александрович, конфузясь непрошеного свидетеля, быстро рассовал ручками-ластами пачки кредиток по карманам и скрылся. Вечером на Монпарнасе Адамович сообщил, что Алданов просил объяснить мне, что деньги эти он взял заимообразно: их придется зимой отработать.

Репортажи для «Последних новостей» поставляли Седых-Цвибак и Вакар, оба деятельные и по-своему очень ценные для газеты люди.

Седых писал о палате депутатов, о преступниках и беженских делах. Вакар докладывал о проделках крайних партий, о выборах казачьего атамана (уже тогда дело неверное и сложное) и о церковной смуте. Иногда за отъездом или болезнью один корреспондент заменял другого; так, злые языки уверяли, что Седых где-то в отчете написал, что «генералу преподнесли портрет Богоматери».

Седых расцвел, когда Бунин получил премию; я его видел в редакции в день чествования лауреата... Во фраке, с порхающими фалдами: создавалось впечатление, что он-то и есть виновник торжества!

Он сопровождал Бунина в Швецию, служа ему секретарем, переводчиком и даже нянькою. Лауреат на иностранных языках вообще не изъяснялся, а по-французски мог только сказать две-три корявые фразы.

Павел Николаевич Милюков до последних часов своих оставался верным себе — камнем! (Почему Павел, а не Петр?) Пытаться сдвинуть его с места казалось делом бесплодным, безнадежным.

Кое-что он понимал, и понимал гораздо лучше, чем иные друзья из его лагеря. Я подразумеваю не только политику или историю. Но были предметы, даже целые отрасли человеческой деятельности, в коих он являл себя органически глухим, слепым, даже мертвым.

Кирпично-красный, особенно с тех пор, как ему перевязали каналики, плотный, кряжистый, старчески осторожный, неповоротливый в движениях — таким я его часто встречал в новом «изгнании», на улицах Монпелье, где мы обретались по соседству... Мы рядом рылись в университетских книжных магазинах; обнаружилось, что он большой поклонник Марка Аврелия — цитирует его наизусть.

Высшая школа Монпелье — одна из старейших во Франции, и эта обстановка древности, культуры, арабско-римской схоластики создавала особенную почву для беседы, в которой Милюков, забывая о кадетах и Дарданеллах, проявлял себя с новой силой.

Он знал немного нашу молодую, зарубежную литературу. Вообще он «слышал» обо всем. Еще по делам книжной выставки я у него бывал на дому (у метро «Конвенсион»), и тогда вынес впечатление, что если это наш враг, то враг, с которым надо бережно обращаться... Впрочем, тогда он был очень любезен и все просьбы мои удовлетворил (относительно наших объявлений и воззваний в газете). Популярность в среде молодежи оказалась неожиданным козырем в наших руках, который мы незаметно потеряли с годами.

Милюков — редактор толстого журнала «Русские записки» — читал многих молодых прозаиков и составил себе о них вполне определенное мнение... В этом главный недостаток его духовной или умственной жизни: раз навсегда застывшее убеждение или верование.

Мне, к удивлению, он еще в Париже посоветовал:

— Смирите своего дьявола!

Поскольку это исходило от человека совершенно, казалось, нерелигиозного, я не совсем понимал, что он имеет в виду.

В пору наших встреч в Монпелье Сталин подбирал крохи с гитлеровского стола: вслед за Прибалтикой, Литвой и польскими крессами падали в прогнивший зев «отца народов» Бессарабия,

Черновицы... Шли глухие толки о Дарданеллах. И Павел Николаевич очень спокойно мне сообщил:

— Они делают то, что я бы делал, если бы сидел в Кремле.

Этому свидетельству я ужаснулся: не «Дарданеллам» вообще, а хладнокровию, с которым Милюков, пусть в одном пункте, объединялся со Сталиным.

В Нью-Йорке, уже после смерти Павла Николаевича, я как-то рассказал М. Карповичу об этом разговоре... И тот, подумав, огорошил меня:

— Что ж, тут ничего особенного нет. В сущности, Милюков нечто подобное говорил и писал давно!

Для американской визы требовалась «моральная» рекомендация, и Павел Николаевич написал весьма лестный отзыв обо мне в адрес марсельского консула, сохранившийся у меня вместе с Нансеновским паспортом. Кстати, Милюков свободно изъяснялся и по-французски, и по-английски.

Случилось так, что М. Вишняк (уже в США) хлопотал тогда о месте профессора истории, где-то возле Чикаго, и просил Павла Николаевича поддержать его кандидатуру... Так как Вишняк долго не получал ответа, то он обратился ко мне с просьбой узнать, как обстоит дело с благоприятным отзывом.

П. Н. Милюков на мой вопрос твердо объяснил, что он не может рекомендовать Вишняка на эту должность, о чем я немедленно оповестил Марка Вениаминовича. В связи с этой беседой Милюков выразил свое мнение относительно некоторых политических или общественных сотрудников. Было грустно (и весело) его слушать. Увы, он отдавал себе отчет в людях без всяких иллюзий... Несколько снисходительнее отозвался только об одном Зензинове.

Жил тогда Павел Николаевич с женою в одной большой комнате, питаться приходилось эрзацами. Как-то на рынке появился запас копченых угрей, и я ему принес фунтик в подарок... Оказалось, что сотрудники «Последних новостей» поодиночке уже успели ему притащить по свертку этих злополучных угрей, за которые он, впрочем, платил. Я было смутился, но супруга Милюкова («молодая») меня властно успокоила:

— Ничего, Павел Николаевич их любит и съест.

Вскоре чета переехала в Aix-en-Provence, где П. Милюков и скончался. В его обществе я себя чувствовал точно по соседству с мамонтом: ошеломляла смесь черт и способностей допотопных, могучих и загадочных существ.

В Марселе 1942 г. я познакомился с бывшим русским консулом, продолжавшим выдавать эмигрантам справки, необходимые для получения визы. Не помню его фамилии, что-то украинское; мягкий, умный, седеющий южанин, пригвожденный к постели застарелым недугом.

Обычно его дочь выполняла обязанности секретаря; но случилось так, что она отлучилась на несколько дней, и я вынужден был сам отстучать на машинке свои удостоверения под диктовку добрейшего, хитрейшего консула, державшего у своего изголовья все необходимые ему предметы: лекарства, папиросы и штемпель с бланками. У него что-то приключилось с ногами, и он не мог передвигаться.

Мы с ним подружились; в результате он мне уступил по себестоимости черноыночные папиросы и поделился местными сплетнями.

— Я хоть живу в стороне, за городом, а все важные персоны ко мне ездят сюда, даже примадонны, — рассказывал он не без иронии.

Он лежал в постели зимой и летом в перегруженной до отказа вещами (точно ломбард) комнате. За большим окном полыхали марсельские, провансальские закаты; от райского изнеможения даже птицы уставали петь, а жадные пары целоваться. Пахло изнуряюще; ароматом пропиталась сама ткань бытия, неба и земли, моря и туманов... И это несмотря на южную пыль, голодных насекомых и близость множества открытых уборных.

Вообще все наши «старые» консулы были особого склада людьми, культурными и разговорчивыми, явно не перегруженными работою. Помню, в Париже Кондауров — тучный влиятельный масон, встречал меня дружески насмешливо:

— А, а, молодой писатель, вы, кажется, верите в трех богов?..

Славился шармом и savoir-faire Маклаков, но он принадлежал к линии послов, что совсем другая семья! Его петербургский грасс мог убедить и очаровать даже префекта Кьяппа. Все же Маклаков был и бюрократом, администратором, чиновником... Черта, неожиданная для него и никем до сих пор не отмеченная.

Итак, марсельский консул продолжал свой рассказ... Оказывается, знаменитый марксист, меньшевик, получая необходимое ему свидетельство о рождении, остался недоволен его официальным западноевропейским текстом и просил добавить еще слова: «сын приходского священника».

— Ей-Богу, мне стало совестно, — поверял свои думы консул. — Верно, он сын попа, но все его товарищи евреи, и едет он по «еврейской» чрезвычайной визе, как-то стыдно отгораживаться при таких обстоятельствах! — И закончил знакомым припевом: — Бывало, русская интеллигенция... а теперь только собственную шкуру...

Тут уместно вспомнить еще другую громкую личность зарубежья — Сирина.

В «Письмах» Nabokov—Wilson (Ed. by Simon Karlinsky, Harper & Row, 1979) Эдмунд Вильсон, знаменитый американский критик и джентльмен, пишет Набокову:

«Июль, 1943. Человек по имени B.C. Яновский обратился ко мне за литературным советом. Он приложил маленький рассказ из «Новоселья», который мне кажется неплох, и нелепый «сценарий» романа, который звучит, как будто был написан для смеха. Знаете ли Вы что-нибудь о нем? Он сообщает, что в «среде русской Франции он пользовался некоторой популярностью».

Я послал Вильсону рассказ «Задание-выполнение» и краткое резюме «Портативного бессмертия».

Казалось бы, чего проще при этих условиях для русского джентльмена и писателя поддержать вновь прибывшего из Европы эмигранта и независимо от личных симпатий сказать влиятельному американцу: «Если Вам рассказ понравился, помогите литератору его напечатать».

Но нет. Это было бы слишком «пошло» для Набокова. Вот его ответ:

«Июль, 1943... О Яновском. Я часто встречал его в Париже, и это правда, что его работы оценивались положительно в некоторых кругах. Он he-man (...) Если Вы понимаете, что я имею в виду». Редактор или издатель писем поставил многоточие, обозначающее пропуск. Слово he-man трудно перевести буквально — мужчина, пожалуй, грубый человек, солдафон.

И Набоков продолжает:

«Он не умеет писать. Мне случилось сообщить Алданову, что благодаря Вам я имею возможность печатать здесь свои произведения и, надо полагать, об этом все узнали, и теперь Вы начнете получать множество писем от моих несчастных собратьев (poor brethren)».

Бедный Набоков. Тут, пожалуй, следует напомнить, что он никогда, никому, никакой профессиональной помощи не оказывал. Обо всех писателях, за исключением, быть может, одного Хода-

севича, он отзывался с одинаковым презрением. Достоевский — «третьестепенный писатель», а «Война и мир», это я слышал от него в Париже, — «недоделанная вещь». Набоков принадлежал к тому весьма распространенному типу художников, которые чувствуют потребность растоптать вокруг себя все живое, чтобы осознать себя гениями. По существу, они не уверены в себе.

Достоин внимания следующий эпизод. В тридцатых годах в Париже Фельзен и я отправились в одно французское издательство к Габриэлю Марселю — узнать о судьбе наших книг.

Там в кабинете редактора мы застали уже собиравшегося выйти Сирина.

— Вот, — сказал философ (он тогда еще не был экзистенциалистом), — вот господин Сирин предлагает нам издать его произведение по-французски, — и он указал на свой длинный стол, где с краю лежало «Отчаяние».

Нам «Отчаяние» не могло нравиться. Мы тогда не любили «выдумок». Мы думали, что литература слишком серьезное дело, чтобы позволять сочинителям ею заниматься. Когда Сирин на вечере (в зале Лас-Каз) читал первые главы «Отчаяния» о том, как герой во время прогулки случайно наткнулся на своего «двойника» (что-то в этом роде), мы едва могли удержаться от смеха.

Тем не менее Фельзен, чистая душа, быстро и решительно отозвался:

— Я знаю эту книгу. Это очень хороший роман.

На что стройный в те годы Сирин низко поклонился своим несчастным собратьям (poor brethren) и сказал:

— Merci beaucoup*.

Но это уже глава из новой книги — на другом континенте, даже полушарии. А то Замечательное Десятилетие кончилось и стало достоянием истории.

Братья, сестры последующих боен и мятежей, услышите ли вы наш живой голос?

Не жизни жаль с томительным дыханием.
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданием
И в ночь идет, и плачет, уходя...

1961 —1983 гг.
Нью-Йорк

---

* Большое спасибо *(фр.)*.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПО ТУ СТОРОНУ ВРЕМЕНИ

Впервые: «Новый журнал. 1987—1988. № 166—170

С.62. Направление в англиканской церкви, тяготеющее к католицизму *(англ.)*.

С.86. Молодой мельник Джонни ухаживал // За прелестной дочкой фермера по имени Кэт *(англ.)*.

С.87. Год прошел или около того, // И Джонни вдруг повстречал свою возлюбленную Кэт *(англ.)*.

Печаль твою, — говорит Кэт, — // я не ставлю ни во грош, // Вокруг хватает молодых парней *(англ.)*.

Так что прощай, Джонни, прощай, Джонни, // Иди оплакивай свою судьбу *(англ.)*.

Вот усадьба, которую она любила // И где она посадила дерево. // Вот арфа, которой она касалась. // О! как пели струны под ее рукой! *(англ.)*

С.87—88. Когда она здесь жила, годы казались днями, // А дни пролетали, как миги, подле нее. // Свет не видывал девушки прекрасней, // И ни о ком не печалился так горячо *(англ.)*.

С.115. Сделка совершена, деньги переведены, налоги удержаны *(англ.)*.

С.145. Ограбление *(англ.)*.

С.163. Условие, без которого нет — т. е. условие, без которого невозможно что-либо, необходимое условие *(лат.)*.

С.174. Винная лавка *(англ.)*.

ПОЛЯ ЕЛИСЕЙСКИЕ: КНИГА ПАМЯТИ

Воспоминания Яновский начал писать еще в шестидесятых годах. Фрагменты книги были опубликованы в эмигрантской периодике (Воздушные пути. 1967. № 5. С.175—202; Время и мы. 1979. № 37—38; Гнозис. 1979. № 5—8).

Полностью воспоминания вышли отдельным изданием: Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. Переиздано с предисловием С. Довлатова: СПб.: Пушкинский фонд, 1993.

I

С.189. *«Мыс Доброй Надежды. Мы с доброй надеждой...»* — первая строка стихотворения Б. Поплавского «Рукопись, найденная в бутылке» (1928).

С.190. *По воскресным дням... у Мережковских...* — О «воскресеньях» на парижской квартире Мережковских (11-bis, rue Colonel Bonne), в которой на протяжении двух десятков лет собирались молодые литераторы для обсуждения религиозных, общественных и литературных вопросов, написано множество воспоминаний. Наиболее существенны: *Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С.43—48; *Фельзен Ю.* У Мережковских по воскресеньям // Даугава. 1989. № 9. С.104—107; *Одоевцева И.* На берегах Сены. М.: Согласие, 1998. С.604—630.

Закович Борис Григорьевич (1907—1995) — поэт «незамеченного поколения», друг Б. Поплавского, в эмиграции с 1920 г.

Вильде Борис Владимирович (1908—1942) — этнограф, член Союза молодых поэтов и писателей, один из организаторов французского Сопротивления, арестован гестапо и 23 февраля 1942 г. расстрелян в форте Мон-Валерьен.

Кельберин Лазарь Израилевич (1907—1975) — поэт «незамеченного поколения», критик, секретарь редакции журнала «Числа».

Алферов Анатолий (1902?—1954?) — прозаик, в Париже с 30-х гг., участник литературного объединения «Перекресток», соредактор журнала «Полярная звезда» (1935), быстро отошел от литературной жизни, перед Второй мировой войной уехал в США.

С.190. *Мандельштам* Юрий Владимирович (1908—1943) — поэт, критик, литературный обозреватель газеты «Возрождение», участник объединения «Перекресток», во время немецкой оккупации Парижа, в марте 1942 был арестован и отправлен в концлагерь Компьень; погиб в немецком концлагере на территории Польши (Яворжно близ Кракова).

Юрий Фельзен (наст. имя Николай Бернгардович Фрейденштейн; 1894—1943) — прозаик (находился под сильным влиянием творческой манеры Марселя Пруста), критик, в эмиграции с 1918, в Париже с 1924, член Союза молодых поэтов и писателей, участник объединения «Круг». В 1942 году арестован нацистами, погиб в Освенциме.

С.190. *Червинская* Лидия Давыдовна (1907—1988) — поэтесса, чье художественное мировоззрение сформировалось под влиянием Г. Адамовича; в своем творчестве стремилась к наиболее полному выражению эстетических принципов «парижской ноты».

С.191. *...пособия, субсидии из разных чехословацких, югославских или ИМКА фондов.* — Наиболее подробно опубликованы материалы, посвященные «русской акции» в Чехословакии: Документы к истории русской и украинской эмиграции в Чехословацкой республике (1918—1939) / Сост. Зденек Сладек, Любовь Белошевская и коллектив авторов. Прага: Славянский институт АН ЧР; Еурославика, 1998.

Оден Уистен Хью (Auden; 1907—1973) — англо-американский поэт и эссеист. С Оденом Яновский познакомился и подружился в шестидесятые годы, написал о нем два мемуарных эссе.

...Бунина и Шмелева, прополов, издают теперь в Союзе... — Из всех эмигрантов Бунина и Шмелева начали издавать в СССР одними из первых, начиная с пятидесятых годов.

Шаршун Сергей Иванович (1888—1975) — живописец, обосновавшийся в Париже с 1912 г. и после войны получивший большую популярность на Западе; выступал также на литературном поприще, считая себя «лирическим поэтом, пишущим прозу».

С.192. *Маркион* (85?—165? н.э.) — один из самых знаменитых гностиков, реформатор христианства, составитель собственного евангелия, создатель особой церкви в Риме (в 144 г. н. э.). Литераторы младшего поколения на русском Монпарнасе проявляли большой интерес к учению Маркиона. См. посвященную книге В.Варшавского «Незамеченное поколение» статью Адамовича «О христианстве, демократии, культуре, Маркионе и о прочем» (Новое русское слово. 1956. 25 марта. № 15611. С.8).

С. 192. *...Мережковские—Ивановы останутся верными себе и начнут пресмыкаться перед немецкими полковниками...* — Имеются в виду стойкие антисоветские пристрастия Д. С. Мережковского и Г. В. Иванова, в начале второй мировой войны рассматривавших Германию как один из возможных вариантов борьбы с большевизмом. На практике это выразилось в единственной речи Мережковского по радио, после его смерти опубликованной в «Парижском вестнике» (1944. 8 января) под названием «Большевизм и человечество». Одним этого было достаточно, чтобы считать Мережковского коллаборантом, другие же утверждали, что «никто не посмеет сказать, что Мережковские «продались» немцам. <...>

Снисходительность Мережковского к немцам можно было бы объяснить только одним: «Хоть с чертом, да против большевиков» (*Тэффи.* Зинаида Гиппиус // Новое русское слово. 1950. 12 марта. С.2). Характерно свидетельство Тэффи, описавшей юбилейный вечер Мережковского в Биаррице, который был организован во время немецкой оккупации в отеле «Мэзон Баск» (Тэффи и Мережковские одно время были размещены там в качестве беженцев): «На огромной террасе нашего отеля под председательством графини Г. собрали публику, среди которой мелькали и немецкие мундиры; Мережковский сказал длинную речь, немало смутившую русских клиентов отеля. Речь была направлена против большевиков и против немцев. Он уповал, что кончится кошмар, погибнут антихристы, терзающие Россию, и антихристы, которые сейчас душат Францию. <...> «Ну, теперь выгонят нас немцы из отеля», — шептали перепуганные русские» (*Тэффи.* О Мережковских // Новое русское слово. 1950. 29 января. С.2).

Что же касается Г. В. Иванова, то ему инкриминировалось лишь членство в так называемом «сургучевском» союзе писателей, организованном под эгидой оккупационных властей. Отметая обвинения в коллаборационизме, в письме М. Алданову от 6 февраля 1948 Георгий Иванов писал: «Я не служил у немцев, не доносил (на меня доносили, но это, как будто, другое дело), не напечатал с начала войны нигде ни на каком языке ни одной строчки, не имел не только немецких протекций, но и просто знакомств, чему одно из доказательств, что в 1943 году я был выброшен из собственного дома военными властями, а имущество мое сперва реквизировано, а затем уворовано ими же. Есть и другие веские доказательства моих «не», но долго обо всем писать.

Конечно, смешно было бы отрицать, что я в свое время не разделял некоторых надежд, затем разочарований тех же, что не только в эмиграции, но еще больше в России разделяли многие, очень многие. Но поскольку ни одной моей печатной строчки или одного публичного выступления — никто мне предъявить не может — это уже больше чтение мыслей или казнь за непочтительные разговоры в «Круге» бедного Фондаминского» (Эпизод сорокапятилетней дружбы-вражды / Письма Г. Адамовича И. Одоевцевой и Г. Иванову (1955—1958) / Публ. О. А. Коростелева // Минувшее. Исторический альманах. 21. М.; СПб.: Atheneum; Феникс, 1997. С.495—496).

С.192 *...«патриоты» Ладинский—Софиев при первой оказии уедут в Союз!* — Поэт и прозаик Антонин Петрович Ладинский

(1896—1961) во время второй мировой войны вступил в «Союз советских патриотов», печатался в «Правде», работал в газете «Русский патриот», в 1946 принял советское гражданство. 5 сентября 1950, после запрета «Союза советских патриотов», был выслан из Франции, жил в Дрездене и в марте 1955 вернулся в СССР, поселился в Москве. Поэт Юрий Борисович Софиев (Бек-Софиев; 1899—1975) после войны взял советский паспорт и с одной из первых партий репатриантов вернулся в СССР, жил в Казахстане.

Мать Мария (Елизавета Юрьевна Пиленко, по первому мужу Кузьмина-Караваева — с 1910, по второму Скобцова — с 1919, в 1932 приняла постриг под именем матери Марии; 1891—1945). В Париже с 1923, участник РСХД и объединения «Круг», соучредитель и председатель объединения «Православное дело». В 1943 за укрывательство евреев была арестована и брошена в концлагерь Равенсбрюк; погибла в газовой камере.

С.194. *«Черная Мадонна»* — стихотворение (1927) Б. Поплавского.

«Мечтали флаги...» — из стихотворения Б. Поплавского «Флаги» (1928).

«Ла Болле» — в парижском кафе La Bolee, некогда посещавшемся Вийоном, Уайльдом и Верленом, в 1923—1926 по субботам проводились литературные собрания молодых русских писателей, первоначально под эгидой перебравшегося в Париж из Петербурга Цеха поэтов. «С появлением в 1925 году Союза молодых поэтов и писателей, который стал устраивать большие публичные вечера с докладами и чтеньем стихов, «Болле» постепенно стал распадаться» (*Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк, 1953. С.103). Но даже и некоторое время спустя, «когда «цехачи» перестали писать стихи и ударились в критику, собрания поэтов продолжали существовать в силу инерции. <...> Многие из парижских поэтов, теперь ставших «знаменитыми», то есть заслуживших два или три похвальных отзыва в газетах, начали свою «карьеру» в Болэ. <...> Возможно, что, когда зарубежная молодая литература перестанет быть молодой, о Ла Болэ не раз вспомнят с хорошим чувством» (*Леонидов А.* «Ла Болэ» // Дни. 1928. 9 апреля. № 1384. С.3).

С.195. *...В конце двадцатых годов Фельзен был еще новичком... его уважают Адамович, Ходасевич...* — Первые рассказы Ю.Фельзена были опубликованы стараниями Адамовича в парижском «Звене» в 1926—1927: «Отражение» (Звено. 1926. № 201. 5 декабря. С.7—8), «Опыт» (Звено. 1926. № 228. 12 июня. С.7—9), «Жертва» (Звено. 1927. № 5. 1 ноября. С.282—291). Адамовичу принадлежит

и первый критический отзыв о прозе Фельзена в печати: *Адамович Георгий.* Литературные беседы // Звено. 1928. № 5. 1 мая. С.243—248. Ходасевич на этот раз совпал в оценках со своим постоянным оппонентом Адамовичем и отнесся к Фельзену благосклонно.

В его «Аполлоне Безобразове» воскресший Лазарь говорит «мерд»! В «Мире» у меня есть нечто похожее.. — В десятой главе «Мира» одним из персонажей рассказывается фантасмагорическая история о том, как во время судного дня покойники противятся «ангелам с трубами и горнами громогласными» и не желают вылезать из могил. Сходным образом трактуется сцена воскресения Лазаря в романе Б. Поплавского: «Помню, опершись на локоть, он долго, выпучив губы, смотрел на меня, остановившись среди разговора, и вдруг спросил:

— Скажите, Васенька! А что, по-вашему, сказал Лазарь, когда Иисус его воскресил?

— Не знаю, а что?

— Нехорошее что-нибудь сказал.

— Ну почему же?

— А вот представьте себе, что вы уже досыта намучились за день и устали, как сукин сын, и вот наконец добрались до койки и заснули, запрокинувшись, и вдруг непрошеная рука тормошит вас: «Вставай!» И вы, измученный бессонностью, с отвращением глядя на ослепляющий мир, что скажете вы мучителю, как не выругаетесь как-нибудь пообиднее?» (*Поплавский Б.* Домой с небес. СПб.; Дюссельдорф: Logos; Голубой всадник, 1993. С.172).

С.196. *Тер-Апианец.* — Имеется в виду поэт и критик, основатель Союза молодых поэтов и писателей Юрий Константинович Терапиано (1892—1980).

В 1941 году я прочитал объявление в «Кандиде» о вернисаже выставки знаменитого художника Тер-Эшковича в Лионе... — Константин Андреевич Терешкович (1902—1978), живописец, в эмиграции с 1919, известность приобрел в двадцатые годы, после войны был одним из самых преуспевающих художников во Франции.

..Борис учился рисованию и хорошо разбирался в живописи, что, разумеется, не случайность в его жизни.. — Поплавский в 1921 посещал в Париже художественную академию «Гранд Шомьер», в 1922—1924 учился живописи в Берлине.

С.197. *..что писал, скажем, Салтыков-Щедрин о своем современнике Достоевском.* — С начала 1860 между Ф. М. Достоевским (идейным вдохновителем «почвеннических» журналов «Время» и

«Эпоха») и М. Е. Салтыковым-Щедриным (сотрудником «демократического» «Современника») разгорелась ожесточенная полемика, в ходе которой оба оппонента не скупились на сатирические выпады. Наиболее чувствительный удар по своему противнику Щедрин нанес в обзорной статье «Литературные мелочи» (1864), которая завершалась «драматической былью» «Стрижи», высмеивавшей сотрудников журнала «Эпоха». Заседание редакции журнала автор «драматической были» представил в виде слета стрижей в «запустелом сыром подвале». Ф. М. Достоевский был выведен как «стриж четвертый, беллетрист унылый», создатель «Записок о бессмертии души». Подробнее см.: *Борщевский С.* Щедрин и Достоевский: История их идейной борьбы. М., 1956.

С.198. *«Войти в литературу — это как бы протиснуться в переполненный трамвай... прицепившегося».* — По словам Гумилева в передаче Адамовича, в литературе действует «закон, который когда-то Гумилев, по советским уличным впечатлениям, называл «трамвайным»: последний уцепившийся на подножке отталкивает того, который хочет повиснуть за ним» (*Адамович Г.* Роман с кокаином // Последние новости. 1936. 3 декабря. № 5732. С.3).

С.199. *...Зеелеру (секретарь...* — Общественный деятель и журналист Владимир Феофилович Зеелер (1874—1954) до войны несколько сроков подряд избирался генеральным секретарем парижского Союза русских писателей и журналистов.

С.199. *Смоленский* Владимир Алексеевич (1901—1961) — один из самых популярных поэтов младшего поколения, участник объединения «Перекресток».

...Фельзена (председателя)... — Юрий Фельзен был председателем Объединения поэтов и писателей с 12 ноября 1935 по 30 октября 1937.

С.201. *...Однажды Адамович выделил строку Поплавского «Город спал, не зная снов, как Лета...»* — Строку из стихотворения Поплавского «Флаги» (1928) Г. Адамович привел в своей рецензии на 38-й номер «Современных записок»: «Надтреснутый, детски грустный звук его стихов прекрасен — несмотря на небрежность, на смысловую незначительность, на бесчисленные промахи, на такие, например, строчки:

Воздух спал, не видя снов, как Лета,

где вместо элегантного поэтического сравнения слушателю ясно может почудиться котлета» (*Адамович Г.* «Современные записки»,

кн.XXXVIII. Часть литературная»// Последние новости. 1929. 11 апреля. № 2941. С.2).

..Еще одна черта восточного Гамлета: культ недотеп, мстительное презрение к удаче... — Выражение «восточный Гамлет» позаимствовано из стихотворения Адамовича «Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда?..», впервые опубликованного в альманахе «Круг» (1936. № 1. С.111). Недоверие к удаче также возникло в Париже с легкой руки Адамовича, который много раз высказывался в статьях по этому поводу: «Можно предположить, что если брюсовское дело потерпело крушение, то, значит, в основе его была какая-то ложь, порок. Но, пожалуй, вернее было бы сказать, что Брюсов в конце концов оказался «неудачником» просто оттого и только оттого, что родился поэтом» (Звено. 1926. 4 апреля. № 166. С.2); «Конечно, Пушкин совершенен, более совершенен, во всяком случае, чем другие русские писатели. Но, утверждая это, мы имеем в виду не столько богатство, разнообразие, силу или гармоническую стройность его внутренней, умственно-душевной одаренности, сколько литературную его удачу. Прежде всего, это удача стиля... <...> это «чудо», непонятно-скороспелое, подозрительное, вероятно, с гнильцой в корнях, — ибо без этого слишком уж непонятное» (Числа. 1930. № 2/3. С.169—170). Ср. у Поплавского: «Нельзя и в жизни жульничать, и писать хорошие стихи. У жуликов не только особые повороты головы и особые манеры, но и особые стихи. А не жульничать — значит терпеть поражения. А все удачники жуликоваты, даже Пушкин» (*Поплавский Б.* О мистической атмосфере молодой литературы в эмиграции // Числа. 1930. № 2/3. С.309); у Варшавского: «Кроме блистательной удачи некоторых книг В.Набокова-Сирина, не назовешь ни одного произведения, художественно вполне законченного и без срывов. Но нужно быть совсем глухим, чтобы не чувствовать, что неудача, например, Поплавского бесконечно ближе к абсолютности подлинного искусства, чем успех, например, Эренбурга и ему подобных» (*Варшавский В.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956. С.165).

С.201. *...безобразная травля в Париже «берлинца» Сирина...* — По свидетельству Ю. Терапиано, «в среде младшего литературного поколения эмиграции, выразителями которого являлись Г. Адамович и Г. Иванов, некоторая внутренняя поверхностность идей Сирина и весь его блеск, как бы в ущерб серьезности и человеческой искренности, являющихся самым главным для молодой за-

рубежной литературы, для «Парижской ноты», стиль Сирина был приветствуем не столь горячо, как всем «старшим поколением». За исключением только «Приглашения на казнь», вызвавшего у «молодых» самые бурные восторги» (*Терапиано Ю.* В. В. Набоков-Сирин // Русская мысль. 1977. 28 июля. С.9). Наиболее полно критические отзывы о творчестве Сирина представлены в книге: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. Сост., подг. текста: Н. Г. Мельников, О.А.Коростелев. Предисл., преамбулы, коммент., подбор илл.: Н. Г. Мельников. М.: Новое литературное обозрение, 2000.

С.202. *Горгулов* Павел Тимофеевич (1895—1932) — русский эмигрант, врач по образованию, 6 мая 1932 г. выстрелом из револьвера смертельно ранивший французского президента Поля Думера на открытии благотворительного базара Союза писателей в особняке Соломона Ротшильда. Подробнее о нем см.: *Кудрявцев С.* Вариант Горгулова: Роман из газет. М.: Гилея, 1999.

...поэму, где черный кот все хотел кого-то или что-то умять... — Осенью 1931 Горгулов читал поэму «О диком сибирском коте Мур-Муре и Скифе» на собрании Союза молодых поэтов и писателей. «Он утверждал какую-то новую поэтическую группу — нечто вроде футуризма и натурализма вместе. Стихи его напоминали Маяковского и футуристов» (Г. Горгулов в союзе молодых поэтов // Возрождение. 1932. 8 мая. С.6).

С.202. *Дряхлов* Валериан Федорович — поэт «незамеченного поколения», печатался в «Числах», в сборниках Союза молодых поэтов и писателей, после войны в альманахе «Орион» и в «Возрождении». Единственную книгу стихов издал после войны: *Дряхлов В.* Проблески. Париж, 1972.

С.203. *Думер* Поль (Doumer; 1857—1932) — французский государственный деятель, генерал-губернатор Индокитая, президент Франции в 1931—1932 гг.

С.205. *...позднее кинулись в масонство...* — в эмиграции в масонских ложах состояли многие русские писатели как старшего, так и младшего поколения: Адамович, Газданов, Осоргин, Терапиано и др. Подробнее см.: *Серков А. И.* История русского масонства. 1845—1945. СПб., 1996; *Серков А. И.* История русского масонства после Второй мировой войны. СПб., 1999.

...Закович... ему Поплавский посвятил свою вторую книгу стихов... — Борису Григорьевичу Заковичу (1907—1995) была посвя-

щена вышедшая посмертно книга Поплавского «Снежный час: Стихи 1931—1935» (Париж: тип. «Coopérative Étoile», 1936).

С.206. *...Закович... в масонство...* — Закович был посвящен в масоны 21 марта 1932 и стал членом ложи «Гамаюн». Исключен за неуплату взносов 30 мая 1934.

...Софиев и Терапиано еще до того числились вольными каменщиками разных толков. — Терапиано всю жизнь продолжал интересоваться религиозной философией и мистикой, еще в Киеве до революции был посвящен в масонскую ложу «Нарцисс», в Париже регуляризовался как мартинист, состоял членом ложи «Юпитер» в 1930—1932. Вышел в отставку из ложи в декабре 1932, но продолжал интересоваться эзотерическими учениями, после войны часто обозревал теософские, антропософские и др. аналогичные издания в «Русской мысли» и «Новом русском слове», много писал о мартинистах. См. также: *Терапиано Ю.* Маздеизм: Современные последователи Зороастра. Париж, 1968; франц. изд.: La perse sekrete: Aux sources du mazdeisme. Paris: Le courrier du Livre, 1978. Софиев стал членом ложи «Юпитер» в мае 1931, быстро сделал карьеру, пройдя первые ступени и уже с 1933 занимая офицерские должности. В начале 1934 вступил также в ложу «Друзья любомудрия». 5 июля 1934 исключен за неуплату взносов.

...Осоргин собрал ложу, кажется, Северных братьев. — О созданной М. А. Осоргиным ложе «Северные братья» (Париж, 1934—1939) см.: *Серков А. И.* История русского масонства. 1845—1945. СПб., 1996. С.203—220.

...недавно приехавший в Париж берлинец «лезет» во главу русского масонства, в чем ему будто бы помог Авксентьев. — По предположению А. И. Серкова, речь идет о Владимире Евгеньевиче Татаринове (1891—1960), который в 1934 перешел в ложу «Астрея» из «Свободной России» и с 1936 стал досточтимым мастером «Астреи». Н. Д. Авксентьев, масон с большим стажем, был одним из организаторов и первым досточтимым мастером ложи Великого Востока Франции «Северная Звезда» с 1924 по 1930.

...Борис... неудачно влюбился. Барышня уезжала в Союз к своему жениху... — Имеется в виду Наталья Ивановна Столярова (1911—1984), с которой Поплавский познакомился в 1931. В СССР она уехала с отцом в 1934 и вскоре была арестована.

...Фельзен и я тогда организовали издательство при нашем — молодом — Объединении... — 13 декабря 1934 при Объединении

поэтов и писателей была организована издательская коллегия в лице Г. Газданова, Ю. Фельзена и В. Яновского, предполагающая выпустить ряд книг зарубежных беллетристов.

С.206. *Мы устроили Выставку книг зарубежных изданий...* — Первая Выставка книг русской зарубежной литературы, подготовленная Объединением писателей и поэтов, была открыта в Париже (12, rue de Poitiers, 7ᵉ) 1 января 1935. Вторая выставка издательской коллегии Объединения писателей и поэтов «17 лет эмиграции» открылась 19 декабря 1935.

...*«Письма о Лермонтове» и «Любовь вторая»...* — Книги Ю. Фельзена «Письма о Лермонтове» и В.Яновского «Любовь вторая» были выпущены Объединением поэтов и писателей в 1935.

С.207. *Вместо «Домой с небес» мы в следующий год выпустили Агеева «Роман с кокаином».* — Отдельное издание книги М. Агеева (наст. имя Марк Лазаревич (Людвигович, Леонтьевич) Леви; 1898—1973) «Роман с кокаином» было выпущено Объединением поэтов и писателей в 1936, роман Поплавского печатался в альманахе «Круг» (1936—1938. № 1—3), а в книжном издании впервые появился лишь недавно (СПб.; Дюссельдорф: Logos; Голубой всадник, 1993).

...*После гибели Поплавского его литературным наследством ведал Татищев...* — Николай Дмитриевич Татищев (1902—1980) был другом Поплавского, а после его смерти душеприказчиком и издателем.

...*Фондаминский, похоронив супругу, решил организовать «Круг»...* — Амалия Осиповна Фондаминская (урожд. Гавронская) умерла от туберкулеза в 1935. Объединение «Круг» возникло в том же 1935, первый номер одноименного альманаха вышел в 1936.

...*Притча о камне, отвергнутом строителями...* — Пс 117, 22.

С.208. *Весною я вдруг, манкируя экзаменами, начал писать рассказ о дьяволе...* — имеется в виду «Двойной нельсон», впервые опубликованный в «Русских записках» (1937. № 2. С.43—58).

Руднев Вадим Викторович (1879—1940) — общественно-политический деятель, член партии эсеров, публицист, соредактор журнала «Современные записки».

Из других редакторов только поэт М. Цетлин был на своем месте. — Формально редакторами «Современных записок» были Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков-Фондаминский, М. В. Вишняк, А. И. Гуковский и В. В. Руднев. М. О. Цетлин был «консультан-

том по стихотворному отделу» (*Вишняк М. В.* ««Современные записки»: Воспоминания редактора». СПб.; Дюссельдорф: Logos; Голубой всадник, 1993. С.69).

С.209. *...в разное время Ходасевич писал нежные письма и Вишняку, и Рудневу, а может быть, и Милюкову.* — Опубликованные письма Ходасевича к Вишняку и впрямь можно назвать если не нежными, то дружелюбными. См., например: *Ходасевич В.* Собр. соч.: В 4 т. М.: Согласие, 1997. Т.4.

...«Двойной нельсон». Адамович и Ходасевич потом на редкость единодушно и безоговорочно его похвалили. — В рецензии на второй номер «Русских записок» Ходасевич действительно высказался о «Двойном нельсоне» в самых комплиментарных выражениях: «Не раз я писал о подлинном, но необработанном даровании Яновского. Вот, наконец, перед нами отличная вещь, с которой надо решительно, безоговорочно поздравить автора. В «Двойном нельсоне» есть все, что долго не давалось Яновскому: стройная и законченная композиция, чувство меры, вкус и в довершение всего — мир с русским языком, с которым до сих пор Яновский был не в ладах» (Возрождение. 1937. 26 ноября. С.9). Адамович на этот раз высказался в том же духе, что и его вечный антагонист (Последние новости. 1937. 16 декабря. № 6109. С.3).

С.210. *...встретился с новым другом, отвратительным русским парижанином...* — Сергей Ярхо (1916—1935).

С.211. *...на квартиру Поплавских (семья жила тогда рядом с русским земгором, где, кстати, в каморке ютилась редакция «Современных записок»).* — Редакция «Современных записок» в это время располагалась по адресу: 6, rue Daviel, Paris, XIII[e].

В «Последних новостях» появился портрет Бориса. — «Последние новости» откликнулись на гибель Поплавского репортажем Андрея Седых: *А. С-х.* Трагическая смерть поэта Б. Поплавского // Последние новости. 1935. 10 октября. № 5313. С.2. Через неделю в газете была опубликована статья: *Адамович Г.* Памяти Поплавского // Последние новости. 1935. 17 октября. № 5320. С.2. Фотография (одна из немногих оставшихся) сопровождала анонимную статью «Трагическая гибель Б. Поплавского» (Возрождение. 1935. 10 октября. № 3781.

Кнут Довид (наст. имя Давид Миронович Фиксман; 1900—1955) — поэт, в Париже с 1920, участник литературных объединений «Палата поэтов», «Через», «Перекресток». Во время войны стал одним из организаторов еврейского Сопротивления, в 1949 уехал в Израиль.

С.211. *Служил о. Бакст — кажется из протестантской семьи...* — Панихида по Борисе Поплавском состоялась 13 октября 1935 года в церкви при РСХД, 10, бульвар Монпарнас. Служил панихиду о.Четвериков (Возрождение. 1935. 14 октября. № 3785. С.5). Отпевали поэта 19 октября 1935 в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на 77, рю де Лурмель. Заупокойную литургию служил о. Лев Жилле. А. А. Бакст, Яновский были среди пришедших отдать последний долг покойному (Возрождение. 1935. 20 октября. № 3791. С.5).

II

С.212. *...на собрании «Кочевья», в пору расцвета этого кружка, то есть в конце НЭПа и двадцатых годов.* — Молодежное литературное объединение «Кочевье» (1928—1938), которым руководил М. Слоним, устраивало вечера, посвященные творчеству эмигрантских, а чаще советских писателей, а также доклады, диспуты, «вечера устных рецензий» и коллективных читок, в начале тридцатых выпускало коллективные сборники. В работе объединения активно участвовали Б. Поплавский, Г. Газданов, А. Гингер, А. Присманова, В. Андреев и др. По словам современника, «никакой определенной идеологии «Кочевье» не выдвигало, поэтому на его вечерах выступали многие» (*Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974): Эссе, воспоминания, статьи. Париж; Нью-Йорк: Альбатрос; Третья волна, 1987. С.133), тем не менее руководитель и некоторые из участников «Кочевья» находились в оппозиции к другим молодежным группировкам русского Парижа — «Перекрестку» и «Парижской ноте», — «ориентируясь на Цветаеву, Пастернака и молодую советскую прозу, в первую очередь на «Серапионовых братьев», Бабеля и Леонова» (*Малевич О.* Три жизни и три любви Марка Слонима // Евреи в культуре русского зарубежья. Т. 3. Иерусалим, 1994. С.86). Наибольшей популярностью «четверги» «Кочевья» пользовались в первые пять лет, затем, к середине тридцатых годов, активность «Кочевья» снижается.

С.213. *...Свой первый рассказик Фельзен напечатал, кажется, еще в «Новом корабле»...* — Рассказ «Две судьбы», напечатанный в журнале «Новый корабль» (1928. № 4. С.7—13) под настоящей фамилией, был далеко не первой публикацией Фельзена. До того он опубликовал в 1926—1927 в «Звене» три рассказа и несколько

рецензий, а также статью «Французская эмиграция и литература» в первом номере «Нового корабля» за 1927.

С.214. *Все они старались хоть раз в год похвалить его...* — С 1929 по 1939 Адамович писал о Фельзене в «Последних новостях» двенадцать раз, Ходасевич немногим меньше. В сравнении со многими другими писателями младшего поколения это можно назвать хорошей прессой.

...со времени падения Парижа и гибели Фельзена никто из оставшихся в живых маститых критиков ни разу не посвятил статьи его романам... — Собственно, из упомянутых Яновским «маститых критиков» в живых после войны оставались лишь В. Вейдле и Г. Адамович. Отдельной статьи Фельзену ни тот, ни другой не посвятили, но упоминания в обзорах были: *Адамович Г.* Герои нашего времени // Новое русское слово. 1952. 9 ноября. № 14806. С.8.

Благодаря картам он свел и помирил таких исконных врагов, как Адамович и Ходасевич. — Многолетняя полемика между Адамовичем и Ходасевичем русскими эмигрантами воспринималась как одно из центральных событий литературной жизни. Она так или иначе затронула практически все темы, обсуждаемые литераторами эмиграции, оба критика высказывались обо всех интересных литературных явлениях, были зачинателями или принимали участие в большинстве литературных споров эмиграции. Юрий Терапиано утверждал, что «стоило Георгию Адамовичу похвалить кого-нибудь в своем критическом фельетоне в «Последних новостях», как в «Возрождении» тот же автор получал обратное» (*Терапиано Ю.* Об одной литературной войне // Мосты. 1966. № 12. С.373). Об этой полемике существует уже изрядная литература: *Струве Г. П.* Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956; *Hagglund R.* The Adamovich — Khodasevich polemics // Slavic and East European Journal. 1976. Vol. 20. № 3. P.239—252; *Bethea D.* Khodasevich: His life and art. Princeton, 1983; *Hagglund R.* A vision of unity: Adamovich in exile. Ann Arbor, 1985; *Коростелев О, Федякин С.* Полемика Г. В. Адамовича и В. Ф. Ходасевича (1927—1937) // Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С.204—250. *Коростелев О.* Георгий Адамович, Владислав Ходасевич и молодые поэты эмиграции (реплика к старому спору о влияниях) // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 11. С.282—292.

С.214. *Фельзен... в 1912 году, очень молодым, он окончил юридический факультет...* — Фельзен окончил юрфак Петербургского университета в 1916 в возрасте 22 лет.

С.216. ...*«Преображение»*... — Фрагмент романа Яновского «Любовь вторая» был впервые напечатан с подзаголовком «парижская повесть» (Современные записки. 1933. № 53. С.113—145). Целиком роман вышел в издательстве Объединения писателей (Париж, 1935).

Зуров Леонид Федорович (1902—1971) — прозаик «бунинской школы», приехал в Париж в 1929 по приглашению Бунина и жил в его доме до 1961.

С.217. *Рерих* Николай Константинович (1874—1947) — живописец, ученый, общественный деятель. Помимо Парижа, музеи Рериха еще до второй мировой войны были созданы в Нью-Йорке, Риге и Кулу.

Ширинский-Шихматов Юрий Алексеевич (1890—1942), князь, правовед, кавалергард, в эмиграции шофер такси, проповедник национал-максимализма, организатор «Пореволюционного клуба».

С.217. *Рерих в эти годы хлопотал о создании чего-то подобного Красному кресту в защиту произведений искусства.* — В 1929 по предложению Рериха Международная юридическая комиссия разработала Пакт Мира по защите произведений искусства и культурных ценностей, получивший название Пакт Рериха. Он был предоставлен в Комитет по делам искусств при Лиге Наций и одобрен в 1930. В 1931 в Брюгге состоялась 1-я конференция Международного союза Пакта Рериха. К 1935 его подписали правительства США, Франции, Японии, ряда стран Латинской Америки. В 1950 основные положения пакта были переданы ЮНЕСКО и легли в основу Заключительного акта Международной конвенции по защите культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов (подписан в Гааге в 1954).

С.219. ...*Иванов попался на «трансакции» с Буровым*... — речь идет о скандальной истории, связанной с финансированием парижского журнала «Числа». В центре скандала оказались: один из идейных вдохновителей «Чисел» Георгий Иванов и удачливый предприниматель (а заодно — прозаик и драматург) Александр Павлович Буров (Бурд-Восходов, 1876—1967), у которого за возможность напечатать в Журнале авангардистов послевоенной формации (Б. Поплавский) роман «Была земля» (явно не блещущий литературными достоинствами) обер-офицеры «Чисел» вытянули крупную сумму денег — на поддержание журнала. При этом первый отрывок графоманского романа, появившийся в

пятом номере «Чисел», оказался объемом всего в три странички: «числовцы» явно были заинтересованы в продолжении денежных поступлений от незадачливого беллетриста-коммерсанта. Терпение последнего в конце концов истощилось. Между ним и Георгием Ивановым (видимо, одним из самых активных участников «трансакции») вспыхнула ссора. В результате Иванов вызвал автора «Была земля» на дуэль, от которой тот робко уклонился — если верить ивановскому письму в редакцию газеты «Последние новости»: «...25 февраля между мной и г. Буровым действительно произошло столкновение. Обстоятельства последнего были, однако, таковы, что оснований считать себя оскорбленной стороной я отнюдь не имел. Три дня спустя до сведения моего дошло, что г. Буров рассылает различным лицам листки, где изображает происшедшее в извращенном и оскорбительном для меня виде. Осведомившись об этом, я немедленно обратился к капитану Е. Е. Александрову и поручику Д. К. Моэну с просьбой быть моими секундантами и передать Бурову мой вызов. Капитан Александров и поручик Моэн... <...> приступили к исполнению моего поручения 1 марта. Однако, несмотря на частые посещения г.Бурова и неоднократные телефонные звонки к нему, секундантам моим в течение 17 дней никак не удавалось застать г.Бурова дома. Только 18-го, проявив крайнюю настойчивость, им удалось наконец передать мой вызов, от принятия которого г.Буров категорически отказался» (Последние новости. 1932. 22 марта. № 4017. С.3).

С.221. *Адамович вел критический отдел в лучшей и более приличной газете...* — Адамович был литературным обозревателем газеты «Последние новости» в 1928—1940.

..Адамовичу, что тот перехвалил Шаршуна... — Адамович написал статью о романе Шаршуна «Долголиков» задолго до выхода книги в свет: «Этот причудливейший и внутренне своеобразнейший роман — одна из самых замечательных вещей, которые мне пришлось за последние годы читать» (*Адамович Г.* Об одной рукописи // Последние новости. 1929. 20 июня. № 3011. С.3).

..панегирик Иванову — это возмутительно! — из всех довоенных (кстати, весьма скудных и лаконичных) отзывов Г.Адамовича о творчестве Г.Иванова на статус «панегирика» может претендовать разве что отклик на журнальную публикацию романа «Третий Рим»: «Редко приходится читать произведение более увлекательное — и совсем не потому, чтобы в нем хитрая и таинственная интрига, а потому, что все в нем дышит причудливой и

неразложимой словесной жизнью. <...> Написан «Третий Рим» с тончайшим искусством, — тончайшим и незаметным. Все легко, свободно, как будто даже небрежно. Ни одного усилия, но каждое слово достигает цели» (Последние новости. 1929. 11 июля. № 3032. С. 3).

Иванов, по мысли Ходасевича, вышел из Фета (и не лучшего Фета). — По всей видимости, эта сентенция высказывалась Ходасевичем устно, — в его печатных откликах на произведения Георгия Иванова ее нет: *Ходасевич В.* «Отплытие на остров Цитеру» // Возрождение. 1937. 28 мая; *Ходасевич В.* «Распад атома» // Возрождение. 1938. 28 января.

...сплетню о богатой старушке, убитой в Петрограде. — Подробнее об этом см.: *Иванов Г.* Дело Почтамтской улицы // Королевский журнал (Нью-Йорк). 1997. №3; то же — Митин журнал. 1997. № 55; а также: *Иванов Г.* Девять писем к Роману Гулю / Публ. Г. Поляка. Комм. А. Арьева // Звезда. 1999. № 3. С.134—158).

С.221. *Народный фронт* — общественно-политическое движение, созданное по инициативе коммунистов в 1935 и объединившее ряд левых партий Франции; в апреле-мае 1936 партии Народного фронта одержали победу на парламентских выборах и сформировали правительство, продержавшееся у власти до 1938.

С.226. *Гершенкрон* Александр Павлович (1904—1978) — ученый-экономист и советолог. После эмиграции из России некоторое время жил во Франции, где принимал участие в деятельности религиозно-философского общества «Круг». С началом Второй мировой войны переехал в США; в 1945 получил американское гражданство. Преподавал в различных американских университетах: Гарварде, Беркли и др.

...130, авеню де Версай — адрес квартиры Фондаминского в Париже.

С.228. *Емельянов* Виктор Николаевич (1890—1963) — прозаик «незамеченного поколения», в эмиграции с 1920, автор единственной завершенной повести «Свидание Джима» (Париж: Дом книги, 1938).

С.229. *...открытке, полученной недавно Буниным от Б. ...* — Имеется в виду писательница Н. Н. Берберова (1901—1993). Вместе со своим мужем,Н. В. Макеевым, она была упомянута как коллаборационистка в нашумевшей статье Я. Полонского «Сотрудники Гитлера» (Новое русское слово. 1945. 20 марта. № 12016.

15 Зак. 2385

С.3). Подробнее см. статью О. В. Будницкого «Дело Нины Берберовой» (Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С.141—173). См. также письмо М. Алданова Адамовичу от 16 апреля 1946: «Поскольку же дело идет о Берберовой, то ведь отрицательное отношение к ней здесь года четыре тому назад установилось в значительной мере именно вследствие Вашего чрезвычайно резкого письма о ней к Александру Абрамовичу и почти столь же резкого отзыва о ней в разговоре с Яновским в Ницце. Ваше письмо и привезенный Яновским отзыв были, кажется, первыми, позднее последовали другие» (BAR. Coll Aldanov. Box 1); недатированное письмо А. Седых (Я. М. Цвибака) Н. А. Тэффи: «Обвинения против Берберовой основывались на письмах, которые она писала во время оккупации Бунину и Адамовичу» (BAR. Coll Teffi); письмо А. Седых Бахраху от 26 августа 1981: «Отлично помню, как Адамович принес на Променад де-з-Англэ ее открытку из Парижа: «Вам надо вернуться. Нас обманывали. Открываются громадные возможности работы в России». После чего Ив<ан> Ал<ексеевич>, Алданов и я решили порвать с ней всякие отношения. К бойкоту присоединился позже и А. А. Поляков. Ив<ан> Алексеевич, по слабости характера, ее позже амнистировал, но Алданов, я и Поляков сохранили к ней полнейшее презрение» (BAR. Coll. Bacherac. Box 5).

С.229. *..Е. Кускова в ее споре со мною...* — Екатерина Дмитриевна Кускова (1869—1958) — общественно-политический деятель, публицист, издатель, мемуаристка; в 3-м браке жена С. Н. Прокоповича. Выслана из России в 1922, жила в Берлине, в начале 1924 переехала в Прагу. Член совета Русского заграничного исторического архива, пражского Союза русских писателей и журналистов. С 1939 жила в Швейцарии. Полемика между Кусковой и Яновским была частью большой полемики, разгоревшейся после публикации глав из книги Владимира Сергеевича Варшавского (1906—1977) «Незамеченное поколение» (Новый журнал. 1955. № 41. С.103—121; Опыты. 1955. № 4. С.65—72); *Кускова Е. Д.* О незамеченном поколении // Новое русское слово. 1955. 11 сентября; *Яновский В. С.* Мимо незамеченного поколения // Новое русское слово. 1955. 2 октября. № 15436. С.2, 5. Основная полемика развернулась после публикации книги отдельным изданием (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956).

III

С.230. *Пушкин — это Империя и Свобода.* — См. статью Георгия Федотова «Певец Империи и Свободы»: «Как только Пушкин закрыл глаза, разрыв Империи и Свободы в русском сознании совершился бесповоротно. В течение целого столетия люди, которые строили или поддерживали Империю, гнали Свободу, а люди, боровшиеся за Свободу, разрушали Империю. <...> Российская Империя погибла, не решив этой пушкинской задачи. Она стоит и перед нами» (Современные записки. 1937. № 63. С.178—197).

С.232. *...статью о Пассионарии...* — Под именем Пассионарии секретарь коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури (1895—1989) в тридцатые годы занималась организацией Народного фронта, борьбы против фашизма и итало-германской интервенции. Федотов в упоминаемой статье счел нужным принять ее сторону, поскольку это и есть «подлинное лицо революции», хотя оно и внушает ужас, поскольку «все человеческое здесь сгорает: благородные чувства, идеи, идеалы» (*Федотов Г.* Passionaria // Новая Россия. 1936. № 14. 15 октября. С.14—15).

С.234. *Жаба* Сергей Павлович (1894—1982) — журналист, в эмиграции жил в Париже.

Манциарли Ирма Владимировна, теософ, журналистка; «...родилась в Санкт-Петербурге в семье немецких протестантов, вышла замуж за франко-итальянца, жила после революции во Франции и Гималаях, знала нескольких гуру, а также Ганди. Она была последовательницей определенных эзотерических учений и посвятила свои последние годы спиритуальным делам» (*Яновский В.* «Третий час» Елены Извольской // Время и мы. 1995. №127. С.238).

Извольская Елена Александровна (1896—1975) — публицист, переводчица; основательница экуменического общества «Третий час» и главный редактор одноименного журнала.

С.235. *Казем-Бек* Александр Львович (1902—1977) — лидер движения младороссов, националистической молодежной организации, оформившейся в «Союз молодой России» на мюнхенском съезде 1923 (с 1925 назывался «Союзом младороссов»), выступавшей с лозунгами «Лицом к России», «Царь и Советы» и поддерживавшей великого князя Кирилла Владимировича как императора. В 1937 Казем-Бек был уличен в связях с советским по-

сольством и отстранен от должности. После войны жил в Калифорнии, затем вернулся в СССР, работал в издательском отделе Московской патриархии; один из основателей «Третьего часа»; по словам Яновского — «персона с очень сложной биографией. Его мусульманские предки служили Романовым и в конце концов присоединились к русской православной церкви. В эмиграции он возглавлял политическую партию Младороссы, которая видела будущее России в формуле «Царь плюс Советы». К партии принадлежали патриоты в основном благородного происхождения. Когда немцы начали распоряжаться в Европе, Казем-Бек освободил своих последователей от верноподданнической клятвы и эмигрировал в Америку. <...> Казем-Бек после нескольких лет в Америке присоединился к Московской патриархальной церкви и, оставив жену, детей и старого коккер-спаниеля, вернутся в Советскую Россию, где снова женился» (*Яновский В.* «Третий час» Елены Извольской... С.238—239).

С.236. *...комиссара Черноморского флота Фондаминского.* — На третьем съезде партии эсеров Фондаминский был избран в состав ЦК и летом 1917 направлен комиссаром Черноморского флота. Подробнее см.: *Вишняк М.* Дань прошлому. Нью-Йорк, 1954.

С.236. *Чхеидзе* Николай Семенович (1864—1926) — политический деятель, один из основателей первой социал-демократической партии Закавказья, член РСДРП (м) с 1903, председатель Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов в 1917, председатель Учредительного собрания Грузии с 1919, в эмиграции с 1921.

С.239. *Риббентроп* Иоахим (Ribbentrop; 1893—1946), министр иностранных дел фашистской Германии в 1938—1945; в августе 1939 приезжал в Москву и подписал Пакт о ненападении («Пакт Молотова—Риббентропа»), а также секретные протоколы о разделе сфер влияния в Европе.

С.240. *...казнь Верещагина...* — Имеется в виду эпизод из «Войны и мира», в котором озверелая толпа, подстрекаемая московским генерал-губернатором Ф. В. Ростопчиным, «с горячей поспешностью» убивает купеческого сына М. Н. Верещагина, обвиненного в государственной измене (т. III , ч. 3, гл. 25).

С.241. *Марсель* Габриель Оноре (Marcel; 1889—1973), французский философ, драматург и литературный критик.

...семья Ольденбургов с Зоей, тогда скромной лицеисткой, а теперь знаменитой французской писательницей. — Историк,

публицист Сергей Сергеевич Ольденбург (1887—1940) с женой Адой Дмитриевной (урожд. Старынкевич; ?—1945) и пятью дочерьми, из которых старшая Зоя (р.1916).

С.243. *Иванович* — Псевдонимами Ст.Иванович и В. П. Талин подписывал свои статьи журналист Семен Осипович Португейс (1880—1944), сотрудник «Последних новостей» и «Современных записок». Подробнее о нем см. некролог (НЖ. 1944. № 8).

С.244. *...семья Гржебиных...* — Об издателе Зиновии Исаевиче Гржебине (1877—1929) и его семье подробнее см.: *Гржебина Е.* З. И. Гржебин — издатель (по документам и воспоминаниям его дочери) // Solanus. 1987. Vol.I. P.4—40; то же — в кн.: Евреи в культуре русского зарубежья. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. Вып.1. Иерусалим, 1992. С.146—168. Одна из дочерей З. И. Гржебина, Ирина Зиновьевна (домашнее имя: Бэби или Буба; р.1907), в 1920—30-е была близкой подругой Яновского.

Мочульский Константин Васильевич (1892—1948) — критик, литературовед, приват-доцент Петроградского (1917) и Саратовского (1918) университетов, с 1920 в эмиграции в Болгарии, преподаватель Софийского университета, с 1922 в Париже, преподаватель Сорбонны (1924—1941), участник собраний «Зеленой лампы» (1927—1939), объединения «Круг» (1935—1939), Религиозно-философской академии, преподаватель Богословского института (1934—1947), соучредитель объединения «Православное дело» (1935—1943).

С.244. *Андреев* Вадим Леонидович (1903—1976) — поэт, мемуарист, прозаик, с 1920 в эмиграции, с 1924 в Париже, в период Второй мировой войны участник Сопротивления, в 1949—1959 в США, затем в Швейцарии.

С.246. *...Татьяна... не могла объяснить, почему она любит крещенские морозы...* — Неточная отсылка к пятой главе «Евгения Онегина»: «Татьяна (русская душою, / Сама не зная почему) / С ее холодною красою / Любила русскую зиму...»

С.249. *...в «Новом журнале» еще печатался мой «Американский опыт»; и все, что было бездарного в нашей эмиграции, ополчилось против него.* — «Американский опыт» действительно вызвал ряд негативных отзывов в эмигрантской прессе. Наиболее показательным был отклик Г. Аронсона: «Впечатление первозданного хаоса, почти сумбура остается от последней части романа В. С. Яновского «Американский опыт». <...> Не знаю, может быть, найдется любитель, который теперь, с окончанием романа, перечтет его и наново его

оценит, вскроет его внутренний смысл и преодолеет его хаос. Несвязность отдельных глав, случайность и немотивированность их дает себя еще острее чувствовать в рецензируемой части. <...> Что это? Издевательство над читателем? Умышленный гротеск? Или столь глубокое проявление оригинальности, которое недоступно простым смертным?» (Новое русское слово. 1948. 10 октября. С.5).

Цетлина Мария Самойловна (1882—1977) — издатель, жена критика и поэта М. О. Цетлина, в эмиграции с 1919; жила в Париже; в 1939 переехала в США.

Карпович Михаил Михайлович (1888—1959), историк, журналист, сотрудник российского посольства в Вашингтоне (1917—1922), с 1923 жил в Нью-Йорке, преподавал русскую историю в Гарвардском университете (1927—1957), с 1943 соредактор, в 1945—1949 главный редактор «Нового журнала».

С.250. *Александрова* Вера Александровна (урожд. Мордвинова, по мужу Шварц; 1895—1966) — журналистка, литературный критик, сотрудник «Коммерческого телеграфа» и «Утра России». В 1922 выслана за границу вместе с мужем С.М.Шварцем. Жила в Берлине, сотрудничала с журналом «Социалистический вестник», перед второй мировой войной переехала в Нью-Йорк, в 1952—1956 была главным редактором Издательства имени Чехова.

С.251. *Шмеман* Александр Дмитриевич (1921—1983) — протопресвитер, богослов, общественный деятель.

Зубов Валентин Платонович (1894—1969) — историк искусства, мемуарист, в эмиграции с 1924.

IV

С.253. *Зензинов* Владимир Михайлович (1880—1953), общественно-политический деятель, публицист, член ЦК партии эсеров, в 1918 член Уфимской директории, выслан колчаковцами в Китай, с 1919 жил в Париже, соредактор «Воли России» (1920—1922), член редколлегии «Современных записок» (с 1920), с 1939 в США, соучредитель и член редколлегии журнала «За свободу» (1941—1947), один из организаторов «Лиги борьбы за народную свободу» (1949).

С.254. *Манухин* Иван Иванович — врач, ученик Боткина и Мечникова, в эмиграции с 1921.

...спас Горького и доконал Екатерину Мансфильд. — Английская писательница Кэтрин Мэнсфилд (наст. имя Кэтрин Бичем; 1888—

1923) болела туберкулезом легких: «проведя некоторое время на итальянской Ривьере... она в качестве последнего средства легла в конце концов в клинику Гурджиева в Фонтенбло и там в начале 1923 года скончалась» (*Моэм У. С.* Искусство слова. М., 1979. С.279). «В октябре 1922 года Мэнсфилд начала проходить курс нетрадиционного лечения во французском институте Гурджиева в Фонтенбло. По свидетельству биографа Энтони Алперса, курс включал «упражнения и танцы». Гурджиев предписал Мэнсфилд обрабатывать овощи в неотапливаемой кухне ежедневно до двух часов дня. Остаток дня ей было велено лежать на досках над коровником и «лечиться» испарениями» (*Дональдсон Н.* Как они умерли. М., 1995. С.199).

С.255. *«Исторические пути России».* — Имеется в виду цикл статей Фондаминского «Пути России», опубликованный в «Современных записках».

С.256. *Солоневич* Иван Лукьянович (1891—1953) — журналист, общественный деятель, участник Белого движения, заместитель председателя московского Всесоюзного бюро физической культуры (1928—1930), в 1933 арестован при попытке нелегального перехода границы, в августе 1934 вместе с сыном бежал из мест заключения в Финляндию, с 1935 в Париже, с 1936 в Софии, издавал газету «Голос России» (1936—1938), с 1938 в Берлине, издавал «Нашу газету» (1938—1941), с 1947 в Буэнос-Айресе, издавал газету «Наша страна». Документальное произведение Солоневича «Россия в концлагере», печатавшееся в «Последних новостях» с 20 января 1935 по 22 марта 1936, а затем опубликованное в двух томах (София, 1936).

С.258. *Иоанн Креста* (наст. имя Хуан де ла Крус; 1542—1591) — испанский монах, посвятивший свою жизнь объединению церквей в единую вселенскую церковь, канонизирован в 1776, анафематствован в 1870.

Стефан Пермский (ок.1345—1396) — миссионер, причислен к лику святых.

С.259. *Даже главу Сирина из «Дара», посвященную Чернышевскому, Фондаминский соглашался печатать...* — Больше других уговаривал редакцию «Современных записок» отказаться от печатания четвертой главы набоковского «Дара» член редколлегии журнала В. М. Зензинов.

Штейгер Анатолий Сергеевич, барон (1907—1944) — поэт, происходил из старинного швейцарского рода, одна из ветвей которого в начале XIX века переселилась в Россию; в эмиграции

с 1920; его поэтическое творчество в наибольшей мере соответствовало неписаным канонам «Парижской ноты».

С.260. *Жаботинский* (Зеев) Владимир Евгениевич (1880—1940), писатель, публицист, переводчик, идеолог сионизма, сотрудник «Одесских новостей», в начале Первой мировой войны уехал корреспондентом в Европу; создатель и глава Всемирного союза сионистов-ревизионистов.

Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952), историк античности, филолог-классик, , археолог, искусствовед, профессор древней истории Петербургского университета (1901—1918), летом 1918 командирован в Англию, руководитель лондонского Комитета освобождения России, с лета 1919 в Париже, один из организаторов Русской академической группы в Париже, с 1920 в США, профессор Висконсинского (1920—1925), Йельского (1925—1939) университетов.

С.261. *«Утверждения»* — орган объединения пореволюционных течений, выходивший под редакцией Ю. А. Ширинского-Шихматова в Париже в 1931—1932. Всего было выпущено три номера.

С.261. *...вдова Бориса Савинкова, Евгения Ивановна.* — Евгения Ивановна Зильберберг (в первом браке Сомова; 1883—1943), была гражданской женой Б. В. Савинкова с 1908, а после его гибели вышла замуж за кн. Ю. А. Ширинского-Шихматова.

С.263. *..Адамович в Table Talk...* — Речь идет об инциденте на собрании «Круга» Фондаминского; мать Марию возмутила натуралистическая сцена из рассказа Яновского «Розовые дети» в первом номере альманаха «Круг». В журнальной версии мемуаров Яновский заметил, что у Адамовича эта сцена была воспроизведена не совсем точно, на что Адамович возразил: «Эпизод с мат<ерью> Марией я, по-моему, передал вполне точно. Она негодовала, пыхтела, несколько раз сказала «Бог знает что» или даже «мерзость». Оттого Вы и рассвирепели. Вообще в моих «Table Talk» нет ни слова выдумки: все — правда» (Из письма Г. В. Адамовича В. С. Яновскому от 30 июля 1961 года // BAR).

С.264. *Савельев* (наст. имя Савелий Григорьевич Шерман; 1894—после 1939) — общественный деятель, литературный критик. В эмиграции с 1920, жил в Константинополе, затем в Берлине, сотрудничал в газете «Руль». В 1933 перебрался во Францию, печатался в журналах «Новый град», «Современные записки», «Русские записки»; посещал заседания литературного общества «Зеленая лампа».

С.264. *Алексеев* Николай Николаевич (1879—1964), правовед, общественный деятель, профессор права Московского коммерческого института (1912—1916), Московского университета (1917—1918), Таврического университета (1918—1919), в эмиграции с 1920, вице-председатель константинопольского Союза русских писателей и журналистов, профессор права в Праге (1922—1924), Берлине (1924—1931), Страсбурге (1931—1940), Белграде (1940—1943), участник евразийского движения, в годы Второй мировой войны участник французского Сопротивления, с 1948 жил и преподавал в Женеве.

С.265. *...Только что пробралась в Париж из Турции, где ее муж — Раскольников — советский полномочный представитель выпрыгнул из окна посольства...* — Здесь Яновский что-то путает. Федор Федорович Раскольников (наст. фам. Ильин; 1892—1939), морской офицер, революционер, после 1917 видный партийный функционер, командующий Балтийским флотом в 1920—1921, полпред РСФСР в Афганистане, редактор журналов «Молодая гвардия», «Красная новь», издательства «Московский рабочий», полпред СССР в Эстонии, Дании, Болгарии; остался за границей в апреле 1939 и объявлен врагом народа. Умер в Ницце.

С.265. *...Раскольников в октябре семнадцатого года пальнул с крейсера «Аврора» по Зимнему дворцу...* — Раскольников до октября 1917 сидел в «Крестах».

Наживин Иван Федорович (1874—1940) — писатель, с 1920 г. в эмиграции.

С.271. *Краснов* Петр Николаевич (1869—1947), генерал от кавалерии (1918), прозаик, публицист, военный историк, участник Первой мировой войны и Белого движения, в эмиграции с 1920, жил в Берлине, член Высшего монархического совета (с 1921), соредактор журнала «Русская правда», с лета 1941 сотрудник казачьего отдела, а с марта 1944 глава управления казачьих войск министерства восточных территорий, член Совета русской армии при генерале Власове, в начале мая сдался английскому командованию в Австрии, выдан советским властям и повешен.

Прегель Софья Юльевна (1894—1972) — поэтесса, прозаик, литературный критик, издательница, мемуаристка. В эмиграции с 1922, с 1932 постоянно жила в Париже, в 1942 переехала в Нью-Йорк. В 1942—1950 издавала и редактировала журнал «Новоселье». В 1948 вернулась в Париж, в 1957—1972 возглавляла издательство «Рифма».

С.273. *Конрад Валленрод* — гроссмейстер тевтонского ордена; избран в 1391, когда положение ордена, боровшегося с Литвой и Польшей, было особенно тяжелым. Предание сделало из Конрада Валленрода (потомка старинного франконского рода) литовца, который вступил в орден с единственной целью: изнутри подорвать его могущество, отомстив тем самым за разорение своей родины. Этот мифологизированный образ закрепился в культурном сознании благодаря поэме Адама Мицкевича «Конрад Валленрод» (1828).

V

С.275. *«Вы — тот посыльный в Новый год...»* — Из сонета Анненского «Пэон второй — пэон четвертый».

Мамченко Виктор Андреевич (1901—1982) — поэт, журналист. В Париже с 1923. Участник собраний «Зеленой лампы», объединения «Круг». После войны близок к движению советских патриотов.

С.275—276. *...Lagerkvist получил Нобелевскую премию за роман «Варавва»...* — Шведский писатель Пер Фабиан Лагерквист (1891—1974) получил Нобелевскую премию в 1951 году за роман «Варавва» (1950).

С.276. *...Мамченко... стихи его отметил Адамович...* — На самом деле до войны Г. Адамович относился к поэзии В. Мамченко без особого восторга. Об этом можно судить хотя бы по его ироничному отзыву на единственную довоенную книгу стихов Мамченко «Тяжелые птицы»: «Книга может взволновать, но книгу эту невозможно вполне понять, она похожа на какое-то трагическое мычание, и если гумилевское определение поэзии как «высокого косноязычия» хотелось бы к кому-нибудь отнести, то для стихов Мамченко оно как будто и создано. В тысячу раз предпочтительнее, конечно, такая поэзия всякого рода элегантным мадригалам на мистические темы, но как все-таки хочется взять поэта за плечи, встряхнуть, расшевелить, спросить: о чем? о ком? куда? для чего? что?.. Дело безнадежное, впрочем: он не ответит, он сам ничего не знает, кроме того, что написал» (Последние новости. 1936. 13 февраля. № 5439. С.2).

С.280. *...канареечные полы халата...* — Ознакомившись с журнальной версией воспоминаний, Адамович написал Яновскому: «Никакого «канареечного» халата у меня никогда не было, так что это Вы, а не я, в воспоминаниях своих собираетесь фантазировать»

(Из письма Г. В. Адамовича В. С. Яновскому от 30 июля 1961 // BAR). Яновский, однако, в книжной версии оставил текст без изменений.

С.281. *..Адамович, как это ни казенно звучит, создал школу, или, вернее, антишколу...* — Яновский, как и многие другие эмигрантские писатели младшего поколения, был убежден, что без Адамовича «не было бы парижской школы русской литературы. Я говорю «школы литературы», хотя сам Георгий Викторович брал на себя ответственность (и то неохотно) только за «парижскую ноту» в поэзии. Это недоразумение. Его влияние, конечно, перерастало границы лирики. Новая проза, публицистика, философия, теология — все носило на себе следы благословенной «парижской ноты»» (*Яновский В.* Ушел Адамович // Новое русское слово. 1972. 26 марта). Подробнее см.: *Коростелев О. А.* «Парижская нота» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). Т.2. Ч.II. М.: ИНИОН, 1997. С.158—164.

С.281. *..Адамович ставил на карту виллы и драгоценности...* — Адамович действительно почти до конца жизни много играл в казино и в клубах и чаще всего проигрывался, но слух о вилле, по словам Одоевцевой, все же был только слухом: «Из этого-то «рулеточного приключения», как Адамович впоследствии окрестил нашу поездку в Монте-Карло, и вырос миф о проигранной вилле, разорившей, по одной версии, его мать, по другой — его тетку». Подробный рассказ о «рулеточном приключении», вызвавшем этот слух, см.: *Одоевцева И.* На берегах Сены. М.: Художественная литература, 1989. С.128—151.

С.284. *..Розанов и Леонтьев оказали заметное влияние на нашего критика...* — Юрий Иваск опубликовал целую статью, вписывая Адамовича в ряд русских критиков вслед за К. Леонтьевым, В. Розановым и И. Анненским: *Иваск Ю.* Четыре критика // Новое русское слово. 1953. 1 марта. № 14918. С.3, 8.

С.285. *Головина* Алла Сергеевна (урожд. баронесса Штейгер, во втором браке Жиллес де Пеллиши; 1909—1987), сестра А. С. Штейгера; из России увезена в 1920, училась в Пражском университете; выйдя замуж за скульптора А. Головина, в 1929 уехала с ним в Париж, в начале Второй мировой войны переехала в Швейцарию; выйдя вторично замуж в 1952, уехала в Бельгию.

..я однажды, подойдя к бриджевому столу, сообщил: «А я сегодня читал «Бесы» Достоевского, малоталантливая книга». — Много лет спустя после войны Адамович писал Яновскому: «Помню, как, подойдя к столу, где я с Пирой Ставровым и еще кем-то играл

в бридж, сказали: «Читал вчера Достоевского, «Бесы». Малоталантливая книга». Это меня пронзило и потрясло на всю жизнь» (Из письма Г. В. Адамовича В. С. Яновскому от 30 июля 1961 г. // BAR).

...содержание письма одной «молодой» писательницы к Бунину... — Имеется в виду Н. Берберова.

С.287. *...рассказ Адамовича, напечатанный в «Числах», посвящен аргентинцу...* — Имеется в виду рассказ Адамовича «Рамон Ортис» (Числа. 1931. № 5. С.32—43).

С.288. *...Владислав Фелицианович... не будь Адамовича, сидел бы в приличных «Последних новостях».* — Это предположение Яновского не соответствует действительности. Ходасевич ушел из «Последних новостей» осенью 1926, после того как Милюков заявил, что тот «газете совершенно не нужен» (*Берберова Н.* Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. Т.1. С.258); Адамович же стал постоянным критиком милюковской газеты лишь через полтора года, весной 1928, после того как закрылся журнал «Звено», где он сотрудничал.

С.289. *...бывший сотрудник «Нового времени» Солоневич...* — Двадцатипятилетний И. Л. Солоневич после окончания Петроградского университета в 1916 успел недолгое время поработать обозревателем провинциальной печати в газете «Новое время».

...Андрей Белый в воспоминаниях сравнивает его с гусеницей. — См. пристрастный портрет Ходасевича, нарисованный Белым: «Жалкий, зеленый, больной, с личиком трупика, с выражением зеленоглазой змеи; мне казался порою юнцом, убежавшим из склепа, где он познакомился уже с червем; вздев пенсне, расчесавши проборчиком черные волосы, серый пиджак затянувши на гордую грудку, года удивлял нас уменьем кусать и себя и других, в этом качестве напоминая скорлупчатого скорпионика» (*Белый Андрей.* Между двух революций. М.: Художественная литература, 1990. С.223).

Ходасевич... Жил обособленно, гордо и обиженно, поддерживая связь, пожалуй, только с Цветаевой... — В эмиграции Ходасевич дружил с Вейдле, Набоковым и, судя по «камерфурьерскому дневнику», общался с литераторами, в том числе и с молодежью, ничуть не меньше других писателей старшего поколения; опекал литературное объединение «Перекресток». С Цветаевой у него завязались дружеские отношения лишь в середине тридцатых годов.

С.290. *...не любили ни его, ни даже его стихов, в целом. Близкие ему парижские поэты не всегда были самые интересные: Тера-*

пиано, Смоленский, Юрий Мандельштам. — О влиянии Ходасевича на молодых эмигрантских поэтов см.: *Коростелев О.* Георгий Адамович, Владислав Ходасевич и молодые поэты эмиграции (реплика к старому спору о влияниях) // Российский литературоведческий журнал. 1997. № 11. С.282—292.

...«та француженка, которая перевязывает чьи-то раны»... — Ходасевич имел в виду фрагмент «Комментариев» Адамовича, посвященный мадам Гранье: «Было это в середине прошлого века. Жила в Лионе молодая и богатая женщина — мадам Гранье. Сохранился портрет ее: глубокие темные глаза, улыбка, легкая рука в браслетах, небрежно лежащая на спадающей с плеч шали... Почти красавица. Мадам Гранье считала себя счастливой: муж, двое маленьких детей, любовь, спокойствие, верность. Но муж заболел раком и умер, а за ним в течение одной недели умерли и дети. Первой мыслью было — покончить с собой. Но самоубийство отталкивает натуры сильные и чистые, — и мадам Гранье решила жить. Не для себя, конечно: все «личное» было кончено, — а с тем, чтобы кому-нибудь быть полезной. Деньги свои она раздала — и стала ухаживать за больными. Но больные больным рознь: мадам Гранье искала безнадежных, одиноких, всеми забытых. Услышала она как-то про старуху, страдавшую раком лица — и пошла проведать ее. В подвале, на гнилой соломе лежал «живой труп», издающий нестерпимое зловоние. Ни глаз, ни носа, ни зубов — сплошная кровоточивая рана. Мадам Гранье промыла старухе лицо, кое-как одела — и привезла ее в госпиталь. Врачи и сиделки отшатнулись и не пожелали иметь дело с больной: никогда они такого ужаса не видели... Мадам Гранье убеждала, просила, умоляла их, и наконец, чуть не плача, сказала: «Да что с вами? чего вы боитесь? посмотрите, как она улыбается», и прижалась к старухе щекой к щеке — к гнойной багровой язве, а потом поцеловала ее в губы. <...> Что такое литература, что такое искусство? Я прочел рассказ о мадам Гранье — и мне кажется: искусство должно быть похоже на то, что сделала она. Или, точнее: на то, чем была она. Не в сострадании дело, — а в победе над материей, в освобождении. Скрипки Моцарта поют — об этом. И Павлова иногда — была об этом. «Бессмертья, может быть, залог» — иначе не скажешь» (Современные записки. 1935. № 58. С.323—324). На многих молодых эмигрантских писателей этот фрагмент произвел большое впечатление, к примеру, В.Варшавский и два десятилетия спустя считал его «одним из самых важных текстов не только эмигрантской, но и всей

русской литературы. <...> Если бы не было в мире того, что вдохновляло сердца мадам Гранье и матери Марии, то не было бы и всего великого европейского искусства и, в частности, не было бы русской литературы» (*Варшавский В.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956. С.182).

С.290—291. *...он уже разошелся с Берберовой, и новая жена его...* — Н. Берберова ушла от Ходасевича в 1932, и вскоре он женился на Ольге Марголиной.

С.291. *...Поэт жил в тесной квартирке в Пасси...* — В Париже Ходасевич жил на rue Lamblardie, в сентябре 1928 переехал на rue 4 Cheminees, в декабре 1932 — на 46, av.Victor Hugo.

С.293. *В день его юбилея друзья устроили обед по подписке.* — 4 апреля 1930 в честь 25-летия литературной деятельности В. Ф. Ходасевича состоялся банкет под председательством И. А. Бунина в редакции «Современных записок», а 10 апреля редакция газеты «Возрождение» устроила по этому случаю обед в ресторане La Maisonnette.

С.294. *«Пора, пора, покоя сердце просит...»* — неточно приведенная заглавная строка стихотворения (1834) Пушкина. У Пушкина: «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...»

Я вел тогда критический отдел в «Иллюстрированной России». — Во второй половине тридцатых годов Яновский вел литературную страничку в «Иллюстрированной России», однако его рецензия на «Некрополь» Ходасевича появилась не там, а в «Русских записках» (1939. № 18. С.198—199).

Я так и написал в своем отчете... — В целом высоко оценив «Некрополь», Яновский позволил себе несколько незначительных замечаний: не согласился с оценкой, данной Ходасевичем «жизнестроительству» символистов и высказал мнение, что «статьи о Сологубе и Есенине, где Ходасевич занимается отвлеченным разбором их творчества, несколько нарушают стройность книги» (Русские записки. 1939. №8. С.199).

Его отпевали в невзрачной протестантской церкви. — Ходасевича отпевали 16 июня 1939 в русской католической церкви (39, рю Франсуа-Жерар).

С.295. ... *«Числа» во главе с Ивановым травили автора «Подвига» самым неприличным образом.* — Начиная с первого номера, где появилась разгромная статья Г. Иванова о набоковском творчестве (в ней В. Сирин причислялся к типу «способного, хлесткого пошляка-журналиста, «владеющего пером» на страх и удивле-

ние обывателю, которого он презирает и которого он есть плоть от плоти» (Числа. 1930. №1. С.234) и заодно обвинялся в эпигонском подражании второстепенным образцам западноевропейской беллетристики), на страницах журнала было опубликовано еще несколько «антисиринских» материалов: резко негативные рецензии В. Варшавского на роман «Подвиг» (Числа. 1933. №7. С.266) и Ю. Терапиано — на роман «Камера обскура» (Числа. 1934. №10. С.287—288), а также «Литературные размышления» Антона Крайнего (З. Гиппиус), где Сирин прямо назывался «посредственным писателем» (Числа. 1930. №2/3. С.149). Подробнее о литературной войне между «Числами» и В. Набоковым см.: *Мельников Н.* «До последней капли чернил...» Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. №2. С.73—83).

С.297. *«Друзья, друзья, быть может, скоро...»* — заглавная строка стихотворения (1921) Ходасевича.

VI

С.298. *...Варшавский... пишет ругательную статью о Сирине...* — В рецензии на роман Набокова «Подвиг» Варшавский писал: «Это как бы сырой материал непосредственных восприятий жизни. Эти восприятия описаны очень талантливо, но неизвестно для чего. Все это дает такой же правдивый и такой же ложный, ни к какому постижению не ведущий мертвый образ жизни, как, например, ничего не объясняющее, лишенное реальности, графическое изображение движения. Хорошо написано, доставляет удовольствие. Но дальше ничего. Читателя приглашают полюбоваться, и это все. Его никуда не зовут. После чтения в его душе ничего не изменилось. Живописец или кинематографический оператор из Сирина вышел бы, вероятно, очень хороший, но вряд ли ему удастся создать un nouveau frisson. <...> Темное косноязычие иных поэтов все-таки ближе к настоящему серьезному делу литературы, чем несомненная блистательная удача Сирина» (Числа. 1933. № 7/8. С.265—267).

С.299. *...Иванов собирается немедленно записаться в Союз советских патриотов. Его отговаривает писательница Б.* — Н. Н. Берберова.

С.301. *«Распад атома» любопытен, пожалуй, с точки зрения автобиографической.* — 8 июня 1957 Одоевцева писала В. Ф. Маркову: «Для Г<еоргия> В<ладимировича> «Атом» и сейчас его люби-

мейшее произведение. Писал он его с каким-то несвойственным ему вдохновенным упоением и прямо бредил им. Он и сейчас считает «Распад атома» ключом ко всем его стихам» (Собрание Жоржа Шерона. Лос-Анджелес).

С.302. *...нашего единственного (платонического) гитлеровца — Лазаря Кельберина...* — Ср. в письме Адамовича Фельзену от 23 августа 1938: «Интересно и то, что думают поклонники Гитлера, в частности наш друг Кельберин, «дрожавший» за него, как за рыцаря белой идеи. Это все такая мерзость, глупость и грязь, что мутит физически» (BAR).

С.306. *...он ездил к Муссолини на поклон и получил аванс под биографию Данте...* — Впервые Муссолини удостоил Мережковского личной аудиенции в декабре 1934, встречу помог устроить А. В. Амфитеатров (1862—1938) при посредстве своего сына Даниила (1901—1983), служившего в личной охране Муссолини (отряд «Мушкетеров вождя»). См. письмо Гиппиус В. Злобину от 5 декабря 1934 (Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Comp. by Temira Pachmuss. München: Wilhelm Fink Verlag, 1972. P.251, 320). После первой аудиенции с Муссолини Мережковский получил от итальянского правительства субсидию для работы над книгой о Данте, что позволило ему с Гиппиус два года прожить в Италии. По словам Мережковского, Муссолини предлагал ему навсегда остаться в Италии (*Мережковский Д.* Маленькая Тереза. Ann Arbor, Mich.: Ardis. 1984. С.153). Вторая встреча Мережковского и Муссолини состоялась 11 июня 1936. «Вторым свиданием Дм<итрий> остался необыкновенно доволен, даже пронзился благородной «добротой» М<уссоли>ни, который обещал ему пристанище и помощь (и не только обещал). На «вопросы» он ответил «молчанием», но таким, что Дм<итрий> остался опять доволен (*Гиппиус З.* Дневники. М.: НПК «Интелвак», 1999. Т.2. С.391). Вскоре после приема у Муссолини синдикат фашистских писателей Италии устроил торжественный прием в честь Мережковского и Гиппиус. Фотография Мережковского и Гиппиус на торжественном приеме в их честь была воспроизведена в журнале «Иллюстрированная Россия» (1937. 13 февраля. № 8. С.3). В Италии Мережковские прожили до конца 1936, но еще одного свидания с Муссолини устроить не удалось. 9 ноября 1936 Гиппиус записала в дневнике: «Обещания М<уссоли>ни повисли в воздухе. Свидания с ним не добиться, оказывается (все «неполитические» будто бы от-

менены), никаких здесь перспектив больше нет» (*Гиппиус З.* Дневники. М.: НПК «Интелвак», 1999. Т.2. С.393). Надеясь получить все же новую аудиенцию у Муссолини, Мережковский еще раз приехал в Италию в 1937, прожил там с июня по октябрь, но безрезультатно.

С.306. *Кюфферле* Ринальдо (Kufferle; 1903—1955) — итальянский писатель, поэт, переводчик; родился в России.

С.307. *...Мережковский сравнивал Данте с Муссолини и даже в пользу последнего...* — Скорее всего Яновский имеет в виду статью Мережковского «Встреча с Муссолини: Из книги о Данте» (Иллюстрированная Россия. 1937. 13 февраля. № 8. С.3—6). Свой рассказ о двух встречах с Муссолини Мережковский намеревался включить в предисловие книги о Данте. Итальянский перевод книги (*Merezkovski D.* Dante / Trad. di Rinaldo Kufferle. Bologna, 1938) вышел в свет с посвящением Муссолини: «A Benito Mussolini. Realizzatore della profecia questo su Dante profero» (Бенито Муссолини. Исполнителю пророчества эта книга о Данте-пророке). Вскоре Мережковский успел разочароваться в Муссолини, вследствие чего в русском издании (Брюссель: Петрополис, 1939) посвящение и первые страницы предисловия, где упоминался дуче, были сняты. Об итальянском эпизоде в жизни Мережковского подробнее см.: Письма Д. С. Мережковского А. В. Амфитеатрову / Публ. М. Толмачева и Ж. Шерона // Звезда. 1995. № 7. С.158—169.

С.308. *...на большом, сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом...* — Вечер под названием «Андре Жид и СССР», организованный «Числами», состоялся 28 марта 1933 (5, rue Las-Cases). Согласно отчету, помещенному в «Числах», «после вступительного слова Г. Адамовича, пытавшегося уяснить психологические причины эволюции Андре Жида, Д. С. Мережковский красноречиво охарактеризовал советский строй как неслыханное рабство, уничтожающее и умертвляющее не только тело, но и дух. После выступлений А. Даманской и Г. Федотова слово было дано Вайяну-Кутюрье, выступившему с крикливой апологией советского строя и коммунизма. Вайяну-Кутюрье чрезвычайно убедительно возразил М. Слоним, подчеркнувший, что он говорит от лица соц<иал>-революционеров и критикует утверждения Вайяна-Кутюрье не справа, а слева, и, перефразировав слова самого А. Жида, заявил, что «коммунизм есть плохо играемая пьеса».

16 Зак. 2385

Речь Слонима вызвала шумное одобрение большинства и не менее шумные протесты многочисленных коммунистов, присутствующих в зале.

После вторичного, демагогического выступления В.-Кутюрье Н. Оцуп закончил прения, вновь их переведя в область литературно-психологическую» (Числа. 1933. № 9. С.199).

Ю. Терапиано в своих воспоминаниях описывает атмосферу диспута более напряженной: «Вечер был устроен на французском языке, и вот — под предводительством тогдашнего коммунистического лидера Вайяна-Кутюрье — коммунисты заполнили зал. Пользуясь своей многочисленностью, они устраивали обструкции всем «буржуазным ораторам», от докладчика Георгия Адамовича до Мережковского и Федотова, пытавшихся спасти вечер, который был все-таки сорван коммунистами» (*Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж; Нью-Йорк, 1987. С.127—128). См. также газетный отчет под названием «Диспут об Андрэ Жиде» (Последние новости. 1933. 30 марта. № 4390. С.3).

С.308. *«И я, такая добрая, Влюблюсь — так присосусь...»* — из стихотворения Гиппиус «Боль» (1906).

С.309. *...на большом собрании Иванович-Талин громил зарубежную литературу... имел в виду только двух: Бунина и Алданова...* — «Ст. Иванович» и «В. П. Талин» — псевдонимы Семена Осиповича Португейса (1880—1944), журналиста, сотрудника «Последних новостей», регулярно публиковавшего в «Современных записках» статьи на политические темы. Подробнее о нем см. некролог (НЖ. 1944. № 8). Вероятно, имеется в виду его выступление в прениях на собрании «Зеленой лампы» 25 марта 1929, посвященном собеседованию на тему «Спор Белинского с Гоголем». Ср. рассказ Адамовича об этом эпизоде:

«Зеленая лампа».

На эстраде Талин-Иванович, публицист, красноречиво, страстно — хотя и грубовато — упрекает эмигрантскую литературу в косности, в отсталости и прочих грехах.

— Чем заняты два наших крупнейших писателя? Один воспевает исчезнувшие дворянские гнезда, описывает природу, рассказывает о своих любовных приключениях, а другой ушел с головой в историю, в далекое прошлое, оторвался от действительности...

Мережковский, сидя в рядах, пожимает плечами, кряхтит, вздыхает, наконец просит слова.

— Да, так оказывается, два наших крупнейших писателя занимаются пустяками? Бунин воспевает дворянские гнезда, а я ушел в историю, оторвался от действительности! А известно господину Талину...

Талин с места кричит:

— Почему это вы решили, что я о вас говорил? Я имел в виду Алданова.

Мережковский растерялся. На него жалко было смотреть. Но он стоял на эстраде и должен был, значит, смущение свое скрыть. Несколько минут он что-то мямлил, почти совсем бессвязно, пока овладел собой» (*Адамович Г.* Table talk // Новый журнал. 1961. № 64. С.106).

С.312. *...стихи Бунина вызывали улыбку даже в среде редакторов «Современных записок». Он их, кажется, не печатал больше и не писал до Второй Отечественной войны...* — В тридцатые годы Бунин обращался к стихам реже, но вовсе писать их не бросил. Помимо отдельного издания «Избранные стихотворения: 1900—1925» (Париж: Современные записки, 1929), он включал стихи почти во все тома своего собрания сочинений, а также во многие сборники рассказов. В «Современных записках» после 1924 стихи Бунина и впрямь не появлялись, но в «Звене», «Иллюстрированной России» и некоторых других изданиях время от времени он стихи печатал, преимущественно, правда, написанные ранее.

С.314. *...поэма Бунина «Лес, точно терем расписной...» была посвящена в первом издании Максиму Горькому.* — Поэма Бунина «Листопад (Лес, точно терем расписной...)» (1900) была впервые опубликована с посвящением М.Горькому и подзаголовком «Осенняя поэма» в десятом номере журнала «Жизнь» за 1900.

...о. НН. .. постригся в монахи и вскоре стал выдающимся иереем... — Яновский имеет в виду князя Дмитрия Алексеевича Шаховского (1902—1988), находящегося в эмиграции с 1920. Будучи студентом Лувенского университета, издавал журнал «Благонамеренный» (Брюссель, 1926). Постригся в монахи на Афоне (1926), рукоположен в священники (1927). С января 1946 — в США, архиепископ Иоанн Сан-Францисский и Западно-Американский (с 1961). Летом 1923, когда Бунин писал «Митину любовь», Д. А. Шаховской гостил у него в Грассе, и, по словам В. Н. Муромцевой-Буниной, «Иван Алексеевич представил, что такого барчука сбивает староста, чтобы получить бутылку водки и еще что-нибудь» (Новый мир. 1969. № 3. С.215).

Адлер Альфред (Adler; 1870—1937) — австрийский врач-психиатр и психолог, ученик З. Фрейда.

С.315. *...Алданов писал пьесу для театра Фондаминского...* — Имеется в виду пьеса М. Алданова «Линия Брунгильды», впервые опубликованная в сборнике «Бельведерский торс» (Париж, 1938).

С.316. *...читая Пруста, похвалить симбирского самородка...* — Имеется в виду ответ Шмелева на анкету о Прусте, опубликованный в первом номере «Чисел», где Шмелев отказывал Прусту в новаторстве, утверждая, что задолго до него аналогичные новации были воплощены в творчестве Михаила Ниловича Альбова (1851—1911). «Симбирским самородком» Альбов назван ради красного словца; он родился и большую часть жизни прожил в Петербурге, окончил юридический факультет Петербургского университета.

С.316. *...во время оккупации в Ницце Адамович мне показал открытку от Бунина... приехал один господин и отделаться от него по нынешним временам нельзя...* — Речь идет об Александре Васильевиче Бахрахе (1902—1985), который прожил в Грассе у Бунина все военные годы (1940—1944).

С.317. *«И милость к падшим призывал...»* — из стихотворения Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

С.318. *...сотрудник «Возрождения», ныне москвич — Рощин...* — Николай Яковлевич Рощин (наст. фам. Федоров; 1896—1956) стал литературным сотрудником «Возрождения» в 1925 по приглашению П. Б. Струве и И. А. Бунина. На протяжении двадцати лет большую часть времени жил у Бунина в Грассе. Во время Второй мировой войны участник Сопротивления. В декабре 1946 вместе с 360 реэмигрантами вернулся в СССР, печатался в «Новом мире», «Огоньке», «Смене», а также публиковал очерки о послевоенной Москве в парижских «Русских новостях».

С.320. *...В Германии... его на границе обыскали...* — Возвращаясь из Праги через Германию, 26 октября 1936 в городе Линдау Бунин был подвергнут грубому и унизительному таможенному досмотру. Он рассказал об этом в рижской газете: «Я стоял перед ним раздетый, разутый, — он сорвал с меня даже носки, — весь дрожал и стучал зубами от холода и дувшего в дверь сырого сквозняка, а он залезал пальцами в подкладку моей шляпы, местами отрывая ее, пытался отрывать даже подошвы моих ботинок. <...> Меня долго вели через весь город под проливным дождем. Когда же привели, ровно три часа осматривали каждую малейшую ве-

щицу в моих чемоданах и в моем портфеле с такой жадностью, точно я был пойманный убийца, и все время осыпали меня кричащими вопросами, хотя я уже сто раз заявил, что не говорю и почти ничего не понимаю по-немецки» (Сегодня вечером. 1936. 3 ноября).

С.322. *«Грасский журнал»* — Имеется в виду «Грасский дневник» (Вашингтон, 1967) Галины Николаевны Кузнецовой (1900—1976).

«Всю дорогу туда и обратно он расспрашивал... почему не ловит рыбу...» — Цитируется запись Кузнецовой от 27 июня 1930 (*Кузнецова Г.* Грасский дневник. Рассказы. Оливковый сад. М., 1995. С.148).

С.323. *...Сургучев (чьи скрипки в июне 1940 г. зазвучали по весеннему).* — Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956), писатель, с апреля 1920 в эмиграции в Константинополе, с лета 1921 жил во Франции; в 1940 в оккупированном Париже был одним из организаторов и председателем писательской и драматической секций Объединения русских деятелей литературы и искусства (так называемого «сургучевского» союза писателей); сотрудник газет «Новое слово» и «Парижский вестник», организатор и руководитель парижского «Театра без занавеса» (1942—1944). Яновский иронично обыгрывает название самого популярного дореволюционного произведения Сургучева, пьесы «Осенние скрипки», поставленной в МХТ в 1915.

С.323. *Мейер* Георгий Андреевич (1894—1966) — публицист, критик, постоянный сотрудник «Возрождения».

С.324. *Маклаков* Василий Алексеевич (1869—1957) — адвокат, общественно-политический деятель, юрист, публицист, член ЦК партии кадетов, депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственной думы, в октябре 1917 выехал в Париж в качестве посла, глава Русского совета послов (с февраля 1921), председатель Русского эмигрантского комитета при Лиге Наций (с 1924); 12 февраля 1945 на волне патриотических настроений с рядом видных эмигрантских деятелей нанес визит в советское посольство, что произвело оглушительный эффект в русском зарубежье.

...ссоры Бунина с Зайцевым—Зеелером. — Речь идет о статье Бунина «К моим "Воспоминаниям"», постскриптум которой полон резких выпадов против газеты «Русская мысль» и ее ближайших сотрудников: «В Париже уже довольно давно выходит два раза в неделю газетка «Русская мысль», которую, помимо ее редактора, В. Лазаревского, возглавлял и возглавляет В. Зеелер, бывший

известен в свое время в качестве недоброй памяти учредителя «Казачьего банка», а морально — писатель Шмелев, такой горячий поклонник Гитлера, что даже отслужил однажды благодарственный молебен в Париже по случаю захвата Гитлером Севастополя, и писатель Зайцев... <...> целых три года, при безмолвном соучастии Зайцева, старалась опозорить меня «Русская мысль», начав со лжи о том, будто я совершил «сальто-мортале» к большевикам» (Новое русское слово. 1953. 17 мая. № 14995. С. 8).

С.325. *Вайль* Симона (1909—1943) — французский философ, участница Сопротивления.

VII

С.326. *Корде* (де Армон) Марианна-Шарлотта (1768—1793) — одна из героинь Великой французской революции, прославившаяся убийством Марата.

С.334. *...обеих Терез...* — испанские святые Тереза Авильская и Тереза Лизьеская (Маленькая Тереза; в миру Мари-Франсуаза-Тереза Мартен; 1873—1897), монахиня кармелитского ордена, канонизированная в 1925.

Екатерина Сиеннская (1347—1380) — дочь сиеннского красильщика, ставшая религиозной подвижницей; в 1461 причислена католической церковью к лику святых.

...Для русских, а может быть и для французов, Шестов «открыл» Киркегора. — Сам Шестов открыл для себя творчество датского религиозного мыслителя Сёрена Киркегора (Киркегаарда, Кьеркегора) в 1928, благодаря настойчивым советам немецкого философа Эдмунда Гуссерля. Итогом изучения философских сочинений Киркегора стал фундаментальный труд «Киркегаард и экзистенциальная философия: Глас вопиющего в пустыне». В 1936 благодаря усилиям «Комитета друзей Шестова», образованного по случаю семидесятилетия русского философа, книга была издана на французском языке тиражом 1000 экземпляров: Chestov Leon. Kierkegaard et la philosophie existentielle. Paris: Librairie J.Vrin, 1936. В 1939 совместными усилиями издательств «Дом книги» и «Современные записки» книга вышла на русском языке в количестве 400 экземпляров.

С.336. *...В обширной статье по поводу книги Шестова Бердяев писал назидательно: «Может быть, в план Бога именно вхо-*

дит, чтобы Киркегор не женился на девице Олсен...» — Неточная цитата из статьи Н.Бердяева, посвященной французскому изданию книги Шестова. У Бердяева: «Почему Л.Шестов так уверен, что Бог абсолютно свободный (свобода Бога почти отождествляется с произволом) хочет вернуть Регину Олсен Киркегаарду и дать принцессу бедному мечтательному юноше? А может быть, Бог этого совсем не хочет и предпочитает, чтобы Киркегаард лишился невесты, а бедный юноша не получил принцессы? В этом случае тщетны надежды Киркегаарда и Шестова на Бога» (*Бердяев Н.* Лев Шестов и Киркегаард // Современные записки. 1936. № 62. С. 380).

С.336—337. *...книжку Шестова о Брандесе...* — «Шекспир и его критик Брандес» (1898), первая книга Льва Шестова, опубликованная им за свой счет.

С.337. *Жена Шестова, врач, в Париже превратилась в сиделку...* — В 1897 в Италии Лев Шестов «встретил студентку-медичку Анну Елеазаровну Березовскую (1870—1962), которая стала его женой, но по тогдашним законам он не мог узаконить брак и должен был скрывать от родителей свою женитьбу, так как невеста была из православной семьи» (Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Paris: La Presse Libre, 1983. С.23).

С.338. *Мочульскому понравился мой рассказ «Служитель культа»...* — Рассказ «Служитель культа» был опубликован в еженедельнике «Иллюстрированная Россия» (1938. № 31).

С.340. *Начинал карьеру Вейдле очень скромно: статейка о лирике Ходасевича или «мозаика раннего Ренессанса».* — Имеется в виду работа Вейдле «Поэзия Ходасевича» (Современные записки. 1928. № 34. С.452—469). В том же году эта «статейка» была напечатана отдельной брошюрой (Париж, 1928). Десятки опубликованных до того в «Звене» и «Современных записках» статей о живописи и литературе входят в золотой фонд русской критики.

С.343. *...Степун был... талантливым беллетристом...* — Перу философа Федора Августовича Степуна (1884—1965) принадлежат два романа: «Из писем прапорщика-артиллериста» (Северные записки. 1916. №№ 7—9; отд.изд. — Берлин: Обелиск, 1923) и «Николай Переслегин» (Современные записки. 1923—1925. №№ 14—15, 17—18, 20—22, 25; отд.изд. — Париж: Современные записки, 1929), ряд литературно-критических статей и воспоминания «Бывшее и несбывшееся» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1956).

С.344. *Вскоре Фондаминский ушел из «Русских записок», хозяином стал Милюков...* — Первые три номера «Русских записок» (Париж; Шанхай, 1937—1939. №№ 1—21) выходили под редакцией Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова-Фондаминского, М. В. Вишняка и В. В. Руднева. Начиная с четвертого номера (апрель 1938) редактором стал П. Н. Милюков, секретарем М. В. Вишняк.

С.346. *...«залить горячий жир котлет»...* — «Евгений Онегин» (Гл.1. XVII).

Вышеславцев Борис Петрович (1877—1954) — философ, приват-доцент, с января 1917 профессор Московского университета, в 1922 выслан за границу; сотрудник Русского научного института в Берлине, соучредитель Религиозно-философской академии, в 1923 переехал в Париж, профессор этики Богословского института (1925—1940), деятель РСХД, в годы Второй мировой войны жил в Германии, с 1946 в Швейцарии, был упомянут как коллаборационист в статье Я. Полонского «Сотрудники Гитлера» (Новое русское слово. 1945. 20 марта. № 12016. С.3).

С.346. *Ларионов* Михаил Федорович (1881—1964) — художник-авангардист, уехал из России в составе дягилевской антрепризы в июне 1915 и поселился в Париже, в 1938 принял французское гражданство.

...повесть, не помню названия, Темирязева... — Юрий Анненков опубликовал в «Современных записках» несколько произведений за подписью Б.Темирязев: «Домик на 5-ой Рождественской» (1928. № 37. С.196—223); «Сны» (1929. № 39. С.139—169) и «Тяжести» (1935. № 59. С.167—196; 1937. № 64. С.79—97).

С.348. *В годы оккупации...Лифарь...* — Лифарь Сергей Михайлович (1905—1986), артист балета, хореограф, с 1923 жил во Франции, солист труппы Дягилева в 1923—1929. Во время второй мировой войны «был консультантом отдела пропаганды по постановке немецких спектаклей в парижской Опере. Он же ездил в Берлин по специальному приглашению Геббельса обсуждать от имени «французского искусства» вопросы организации зрелищ в новой Европе. Неизменный собутыльник чинов германского командования в Париже, участник гомерических попоек, которые гестапо устраивало в столичных кабаках, «хореавтор» Лифарь особенно отличился во время посещения Парижа Гитлером. В программу пребывания фюрера в столице Франции входил осмотр здания Оперы, по причинам полицейского характера осмотр этот был назначен в необычно ранний час (6 часов утра). Из 1500 человек

персонала парижской Оперы (артисты, служащие, механики и т. д.) не нашлось *никого*, кто согласился бы принимать зловещего гостя; никого — если не считать Сергея Лифаря, который был поздно ночью извещен своими немецкими друзьями. Он встретил Гитлера и его свиту внизу, у парадной лестницы, и водил гостей по всему зданию» (Скамья подсудимых без Лифаря // Русские новости. 1945. 10 августа. № 13. С.7). В августе 1945 постановлением министра внутренних дел Франции Лифарю было запрещено пребывание во Франции. Уже в 1947 Лифарь вернулся во Францию и вновь занял пост директора парижской Оперы, основав Институт хореографии.

С.348. *«Дневник моих встреч».* — Двухтомные воспоминания Анненкова «Дневник моих встреч: Цикл трагедий» вышли в Нью-Йорке в 1965—1966.

Толстой с восторгом отзывается о генерале 12-го года Дохтурове... — Война и мир. T.IV. Ч.2. Гл.15.

VIII

С.349. *Буткевич* Борис Васильевич (1895—1931) — штаб-ротмистр 5-го Александрийского гусарского полка, участник Первой мировой войны и Белого движения, в эмиграции с 1921, жил в Харбине, Шанхае, с 1924 во Франции. Умер в госпитале «Консежион» в Марселе.

Буткевич до «Чисел» печатался еще в другом журнальчике, редактируемом Адамовичем и, кажется, Винавером. — Яновский имеет в виду «Звено», редактором которого был М. М. Винавер, а после его смерти с 1926 — М. Л. Кантор (Адамович был ведущим критиком «Звена» и практически соредактором Кантора). Подробнее об издании см.: *Коростелев О. А., Федякин С. Р.* «Звено» (Париж, 1923—1928) // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). Т.2. Ч.1. М., 1996. С.240—262; *Коростелев О. А.* Парижское «Звено» (1923—1928) и его создатели // Русское еврейство в зарубежье: Статьи, публикации, мемуары и эссе. Том I (VI). / Сост., гл. ред. и изд. М. Пархомовский. Иерусалим, 1998. С.177—201. Б. Буткевич в «Звене» не печатался, но публиковал рассказы в журналах «молодых»: «О любви к жизни» (Новый дом. 1926. № 2. С.17—30), «Классон и его душа « (Новый корабль. 1927. № 1. С.11—14) и «План одного путешествия» (Новый корабль. 1927. № 1. С.15—19).

С.349. *...рассказ о бывшем гвардейском офицере...* — Имеется в виду рассказ Б. Буткевича «Классон и его душа» (Новый корабль. 1927. № 1. С.11—14).

С.350. *Евгения Ивановна... дружила с невестой Сазонова...* — Невеста члена боевой организации партии эсеров Егора Сергеевича Созонова (Сазонова) (1879—1910) Мария Алексеевна Прокофьева (—1913) после самоубийства жениха в горнозерентуйской тюрьме три последних года своей жизни (1910—1913) жила на вилле Савинкова, угасая от туберкулеза. Евгения Иванова Савинкова была не только ее подругой, но зачастую и сиделкой. По свидетельству В. М. Чернова, создававшийся в это время роман Савинкова «То, чего не было» написан в соавторстве с Прокофьевой.

С.351. *...отец его, обер-прокурор святейшего Синода...* — Князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов (1862—1930) был помощником юрисконсульта при обер-прокуроре святейшего Синода в 1890—1894, прокурором Московской конторы Синода (1894—1903), Тверским губернатором (1903—1905), товарищем обер-прокурора Синода (в мае—октябре 1905), обер-прокурором Синода в апреле—июле 1906, членом Государственного совета (1906—1917). После революции эмигрировал, на общероссийском съезде правых монархистов (1921, Рейхеналь, Германия) был избран одним из трех членов Высшего монархического совета.

С.352. *«В каком произведении Достоевского описана собака?.. Как ее звать?»* — собака Перезвон (Братья Карамазовы. Ч.IV. Кн.10. Гл.1).

«Из какой материи шаль, которою дорожила жена Мармеладова?» — драдедамовая шаль («Преступление и наказание». Ч.5. Гл.III).

Савинков Лев Борисович (1912—1987) — сын Б. В. Савинкова от второго брака, поэт, журналист, в 1937—1938 воевал в составе Интербригады в Испании.

С.356. *...Эренбург, повествующий в своих воспоминаниях... о деятельности матери Марии...* — См.: *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т.1. С.153—154.

С.360. *...ссора молодого Толстого с Тургеневым...* — Ссора между Толстым и Тургеневым, едва не завершившаяся дуэлью, произошла в мае 1861, когда оба писателя гостили в имении А. А. Фета. Толстой едко высмеял занятия благотворительностью дочери Тургенева Полины, заметив, что «разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю,

театральную сцену» (*Зайцев Б.* Жуковский. Жизнь Тургенева. Чехов. М., 1999. С.287—288).

С.361. *Болдырев* И. (наст. имя Иван Андреевич Шкотт; 1903—1933) — прозаик, автор единственной книги *«Мальчики и девочки»* (Париж: Новые писатели, 1929). Будучи студентом Московского университета, организовал независимую студенческую группу, которая «собиралась противодействовать разложению, вносимому в университетскую жизнь студенческой коммунистической ячейкой» (*Шаховская З.* В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С.156). Весной 1924 был арестован и после восьми месяцев тюрьмы сослан в Нарымский край, откуда бежал и в октябре 1925, пересек советско-польскую границу. «В Польше Шкотта арестовали, затем выпустили, и он смог добраться до Франции, где начал работать чернорабочим. <...> Условия побега тяжело отразились на его здоровье, он начал глохнуть, боялся, что потеряет и зрение» (*Шаховская З.* В поисках Набокова... С.157). Боясь наступления полной глухоты, покончил с собой, приняв смертельную дозу веронала.

С.362. *...Черток перебежал дорогу и получил рукопись для своего издательства («Парабола»).* — Книготорговец и издатель Лев Черток был помощником Михаила Семеновича Каплана по «Дому книги» (1929—1940, 1945—1984). Первая книга Газданова «Вечер у Клэр» вышла не в берлинской «Параболе», а в парижском издательстве Я. Поволоцкого в 1930.

С.363. *Кобяков* Дмитрий Юрьевич (1894—1977) — поэт, после революции в эмиграции в Белграде, редактор-издатель журнала «Медуза», с середины 1920 в Париже, редактор журнала «Ухват» (1926), участник литературного объединения «Кочевье» (с 1928), после Второй мировой войны участник движения советских патриотов, вернулся в Россию.

Струве Михаил Александрович (1890—1949) — литератор, с 1920 в эмиграции в Париже, участник литературных групп «Гатарапак», «Через»; с 1942 участник французского Сопротивления, после войны был близок к движению советских патриотов.

Поляков Александр Абрамович (1879—1971) — журналист, в эмиграции с 1920, в Париже с 1922, секретарь редакции, затем заместитель главного редактора газеты «Последние новости», с 1942 в США, сотрудник «Нового русского слова». Подробнее о нем см.: *Бирман М.* В одной редакции. (О тех, кто создавал газету «Последние новости») // Евреи в культуре русского зарубежья.

Вып.3. Иерусалим, 1994. С.150—151; *Дон Аминадо*. Поезд на третьем пути. М.: Книга, 1991. С. 289—297.

С.365. *Ремизова* Серафима Павловна (урожд. Довгелло; 1875—1943) — палеограф, жена А. М. Ремизова (с 1903), в эмиграции с 1921 в Берлине, с 1923 в Париже, преподавала славянско-русскую палеографию в Школе восточных языков при Сорбонне (1924—1939).

С.366. *...Ремизов опубликовывал эти сны с комментариями.* — Ремизов неоднократно печатал в газетах и журналах записи собственных снов, а в 1954 выпустил книги «Мартын Задека: Сонник» и «Огонь вещей: Книга снов».

С.367. *...одно исключение, кажется, Эртель.* — О писателе Александре Ивановиче Эртеле (1855—1908) И. А. Бунин в своих «Воспоминаниях» отозвался гораздо более лестно, чем о многих других литераторах: «Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твердости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как все мило в нем и вокруг него» (*Бунин И. А.* Собр. соч. В 9 т. М., 1967. Т.9. С.414).

«От стихов она требовала ямщик-не-гони-лошадиного...» — Неточная цитата из Набокова. У Набокова: «ямщик-не-гони-лошадейности».

С.368. *...сценарии для «русских» фильмов во Франции: «Les Batelliers de Volga»...* — Замятин написал сценарий к фильму «Волжские бурлаки», снятому в 1936 режиссером Владимиром Стрижевским (студия «Мило-фильм»). Подробнее см.: *Баскаков В. Е.* Евгений Замятин и кинематограф // Киноведческие записки. 1989. № 3. С.86—92; а также: *Гиндилис Е. В.* Кинематограф изгнанников: Русские во французском кино (1935—1939) // Киноведческие записки. 1996. № 29. С.142—157.

IX

С.371. *Кнорринг* Ирина Николаевна (1906—1943) — поэтесса, в эмиграции с 1920, жена Ю. Бек-Софиева (с 1928).

С.372. *Любимов* Лев Дмитриевич (1902—1976) — журналист, литератор, сын крупного чиновника, с 1919 в эмиграции во Франции, после Второй мировой войны примкнул к движению советских патриотов, вернулся в Россию, написал воспоминания «На чужбине» (М., 1963).

С.372. *...Терапиано с Раевским затеяли новый поэтический кружок и журнал «Перекресток».* — В поэтическое объединение «Перекресток» (1928—1937), ориентировавшееся на творческие позиции В. Ходасевича, помимо организаторов Г. Раевского и Ю. Терапиано входили парижане Д. Кнут, Ю. Мандельштам, В. Смоленский, П. Бобринский и белградцы И. Голенищев-Кутузов, А. Дураков, Е. Таубер, К. Халафов. Своего журнала они не выпускали, но в 1930 в издательстве Поволоцкого были выпущены два сборника «Перекресток» со стихами участников объединения.

С.372. *Раевский* Георгий Авдеевич (наст. фам. Оцуп; 1897—1963) — младший брат Н. Оцупа, поэт «незамеченного поколения», участник объединения «Перекресток».

С.373. *...тетрадь, куда члены кружка записывали коллективные стихи...* — О «перекресточной тетради» подробнее см.: *Терапиано Ю.* Встречи. Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С.104—112.

...Алферов... появился на Монпарнасе с одним рассказом «Дурачье». — Помимо рассказа «Дурачье» (Числа. 1933. № 7/8. С.27—33) Алферов опубликовал еще несколько рассказов в «Числах», «Встречах», «Мече» и «Круге».

С.374. *...Варшавского... за все довоенные годы он напечатал только два рассказа...* — Кроме двух рассказов (в «Воле России» и «Числах») Варшавский до войны опубликовал в «Числах» и в «Круге» две повести, а также несколько статей и рецензий.

...главу из «Записок писателя»... Мак-Магон «храбрый генерал»... «Когда про генерала...» — В разделе «Иностранные события» «Дневника писателя за 1873 год» Достоевский писал: «И вот вдруг столь много и столь обыкновенно известный маршал Мак-Магон с 24-го мая, то есть с выбором его в президенты Французской республики на место Тьера, становится необыкновенно известным, громадно, колоссально известным... <...> все газеты всего мира, а французские по преимуществу, взапуски принялись называть маршала всеми теми прозвищами, которые мы выписали несколько строк выше: «старый маршал», «честный маршал», «храбрый маршал», «честный старый солдат» и проч. Всего более упирали на два слова: «честный и храбрый»... <...> все эти прекрасные эпитеты — «честный, храбрый» и т. д. — появлялись как бы для того только, чтоб избежать слова "умный"».

С.375. *...Прожив много лет без отца... Варшавский...* — Журналист Сергей Иванович Варшавский (1879—после 1945) жил в

Праге. Его сын В. С. Варшавский (1906—1977), увезенный в эмиграцию в четырнадцатилетнем возрасте, с 20 лет жил в Париже.

С.375. *Денике* Юрий Петрович (1887—1964) — историк, профессор Московского университета с 1920, в 1922 командирован за границу, перешел на положение эмигранта, жил в Берлине, примыкал к социал-демократической группе, издававшей «Социалистический вестник», с 1933 в Париже, где занимался литературной, публицистической деятельностью, с 1941 в США.

Варшавский честно участвовал... военной медали... — В июле 1947 за мужество, проявленное в боях, В. С. Варшавский был награжден Военным крестом и Серебряной звездой (Русские новости. 1947. 16 июля. № 111).

С.375. *...написал и издал две ценные книги...* — Имеются в виду книги В. С. Варшавского «Незамеченное поколение» (Нью-Йорк, 1955) и «Ожидание» (Париж, 1972).

Грюневальд (наст. имя Матис Нитхардт; между 1470 и 1475—1528) — немецкий живописец.

«Кстати, право, еще не поздно Мандельштаму начать подписывать свои стихи каким-нибудь псевдонимом...» — Яновский неточно цитирует статью Адамовича «Литературные заметки». У Адамовича: «Юрий Мандельштам — стихотворец еще совсем юный. Ему следовало бы выбрать себе какой-либо псевдоним, и это, право, еще не поздно сделать. Иначе всегда, при всяком упоминании о «стихах Мандельштама», будут — как это бывает теперь — добавлять: «только, знаете, не того Мандельштама», или даже: «не настоящего Мандельштама» (Последние новости. 1932. 14 апреля. № 4040. С.2).

Штильман Татьяна Владимировна (урожд. Мандельштам) — поэтесса, сестра Ю. Мандельштама, с 1920 в эмиграции в Париже.

С.377—378. *...парижане одно время их всехбойкотировали... в... сборнике «Четырнадцать»... в «Эстафете».* — Сборник стихов «Четырнадцать» (Нью-Йорк, 1949) был издан Кружком русских поэтов в Америке и произведений парижан почти не содержал. В сборнике стихов русских зарубежных поэтов «Эстафета» (Париж: Дом книги, 1948), вышедшем под редакцией И. Яссен, В. Андреева и Ю. Терапиано, перечисленные Яновским писатели впрямь не участвовали, но многие из них публиковались ранее в «Русском сборнике» (Париж, 1946) и «Орионе» (Париж, 1947).

С.379. *Азеф* Евно Фишелевич (1869—1918) — профессиональный провокатор, тайный агент Департамента полиции с 1893,

один из основателей партии эсеров и руководитель ее Боевой организации, разоблачен в 1908, бежал за границу и стал крупным биржевым дельцом.

С.380. *...крепкая семья «Черновых»...* — Ольга Елисеевна Колбасина-Чернова (1886—1964) вторым браком вышла замуж за бывшего министра земледелия Временного правительства, председателя Учредительного собрания Виктора Михайловича Чернова (1873—1952). Все три ее дочери вышли замуж за парижских поэтов. На Ариадне Викторовне Черновой (1908—1974) был женат Владимир Брониславович Сосинский (наст. имя и фам.: Бронислав Брониславович Сосинский-Семихат; 1900—1987). На сестрах-близнецах Наталье (1903—1992) и Ольге (1903—1979), дочерях Черновой-Колбасиной от первого брака с художником М. С. Федоровым, носивших фамилию и отчество В. М. Чернова, были женаты соответственно Даниил Георгиевич Резников (1904—1970) и Вадим Леонидович Андреев (1903—1976).

С.381. *Булкин* — псевдоним Александра Яковлевича Браславского, журналиста, поэта, которому, как считал В.Ходасевич, «редко удавалось написать стихотворение, не испортив его какой-нибудь несуразностью или безвкусицей» (Возрождение. 1938. 10 июня).

С.382. *...Бориса Вильде... Какими-то узами он был связан с Андрэ Жидом...* — По рассказам Тамары Павловны Милютиной, приведенным Ритой Райт, «Борис познакомился с Андре Жидом еще в Берлине, на его лекции, и долго говорил с ним о его произведениях. Андре Жид сказал, что будет рад видеть его в Париже, и, когда Борис к нему зашел, писатель предложил ему пожить в пустовавшей мансарде, в своем доме» (*Райт-Ковалева Р.* Человек из Музея человека. М.: Советский писатель, 1982. С.105—106).

С.383. *...дочь профессора Сорбонны...* — Осенью 1932 Ирэн Лот, старшая дочь профессора истории Фердинанда Лота и лектора Сорбонны, сотрудника журнала «Путь» Мирры Ивановны Бородиной, откликнулась на вывешенное Борисом Вильде объявление о взаимных уроках языка в надежде увидеть знаменитого тогда Андре Жида. В июле 1934 состоялась свадьба. После войны Ирэн Вильде работала библиотекарем Сорбонны, издала труды отца.

С.384. *Иваск* Юрий Павлович (1907—1986) — поэт, критик, литературовед, с 1920 в эмиграции в Эстонии, участник таллиннского Цеха поэтов (1933—1935), с 1944 в Германии, с 1949 в США, ре-

дактор журнала «Опыты» (1955—1958), с 1960 преподаватель Канзасского, Вашингтонского, Вандербилтского университетов, в 1969—1977 профессор университета штата Массачусетс (Амхерст).

С.385. *Была в студии у балерины Гржебиной одна голландская танцовщица, ее сестрою увлекся Вильде.* — Две старшие дочери З.И.Гржебина были балеринами, ученицами Преображенской. В Париже они устроили «Студию русского танца», куда любили заходить молодые писатели: Вильде, Яновский, Варшавский и др.

С.386. *Перечитывая книги о Савинкове, я нашел там ту же особую подпольную смесь жертвенного подвига и шампанского...* — Представление о том, что Савинков жил на широкую ногу, расходуя деньги партии, созрело еще в бытность Савинкова руководителем Боевой организации эсеров, где он играл роль барина, богатого иностранца, жившего в дорогих гостиницах и много тратившего. В широких кругах это представление укоренилось после выхода книги Романа Гуля «Генерал БО».

С.387. *Рассказывал, как бежал из плена...* — Вильде был мобилизован во французскую армию в сентябре 1939, служил зенитчиком, в начале 1940 его часть была окружена и взята в плен. Эвелина Лот записала его рассказ о бегстве из плена: «Взяли его где-то в Эльзасе. Он повредил ногу, и у него долго болело колено. Их заперли в церкви, но охраняли довольно небрежно. Как-то Борис завязал разговор с немецким офицером и, сделав вид, что только провожает его, спокойно вышел вместе с ним на улицу. Проводив офицера до его квартиры, Борис, конечно, в церковь не вернулся, пошел по другой улице и исчез. Не помню, кто его спрятал. Но ему понадобилось около трех недель, чтобы добраться до Парижа» (*Райт-Ковалева Р.* Человек из Музея человека. М.: Советский писатель, 1982. С.170).

С.388. *Когда в коммунистическом Петрограде разнесся слух, что «Шатер задержан» — литераторы поняли, что арестовали Гумилева.* — Яновский пересказывает воспоминания Адамовича о Гумилеве: «Мне позвонили из «Всемирной литературы»:

— Знаете, «Шатер» задержан».

У Гумилева есть сборник стихов «Шатер». Как раз в это время печаталось его второе издание. Я подумал, что книга задержана цензурой. Но голос был тревожный, через две-три секунды я все понял. К условным телефонным разговорам все тогда были приучены» (*Адамович Г.* Гумилев: К предстоящему десятилетию со дня

его расстрела // Иллюстрированная Россия. 1931. 13 июня. № 25 (318). С.4).

В своем дневнике Вильде пишет, что предпочитает умереть теперь, в расцвете сил и решимости, а не «после»... — Написанный в тюрьме Фрэн дневник Вильде был впервые напечатан в 1946 в журнале «Europe» под названием «Диалог в тюрьме». По всей видимости, Яновский имеет в виду строки: «Вот и настала та самая минута — лучше не выберешь. Ты полон сил, и ты любишь эту жизнь со всем пылом новообращенного, со всей свежестью и жадностью молодости. Неужто ты думаешь, что сохранишь такую любовь в неприкосновенности навек? Неужели ты хотел бы стать свидетелем собственного своего обнищания, уходить из жизни медленно, ничего не чувствуя, ни о чем не жалея, и в последнюю минуту увидеть, что ты давно уже мертв» (*Райт-Ковалева Р.* Человек из Музея человека. М.: Советский писатель, 1982. С.29—30).

С.388. *Рогаля-Левицкий* Юрий Сергеевич — поэт, в эмиграции с 1918, жил в Париже.

...«И волна жары по ним бежала...»... — неточная цитата из стихотворения Поплавского «Флаги» (1928). У Поплавского: «И по ним волна жары бежала...»

В антологию зарубежной литературы «Якорь» Рогаля-Левицкий не попал, и я вел по этому поводу переговоры с Адамовичем. — Первую эмигрантскую антологию «Якорь» составляли Адамович и М. Л. Кантор. Подробнее см.: Как составлялась антология «Якорь» / Публ. и комм. Г. Струве // Новый журнал. 1972. № 107. С.222—254. В переписке составителей имя Рогаля-Левицкого не встречается, судя по всему, его кандидатура была отметена сразу же и без всяких сомнений.

...если «Булкин там, то и я имею право». — В «Якоре» было опубликовано одно стихотворение основателя Союза молодых поэтов и писателей в Париже А. Булкина (наст. имя Александр Яковлевич Браславский).

С.389. *..Мельгунов заказал ему статью, «уничтожающую» всю эмигрантскую литературу... эти строки Поплавского...* — Строфу из «Флагов» Рогаля-Левицкий привел как образчик бессмыслицы в своей нацеленной на скандал, снабженной эпиграфом из «Вырождения» Макса Нордау статье, развенчивающей Адамовича и всю «парижскую ноту» в целом: «В памяти нашей проходит ряд мизерных литературных силуэтов. <...> Прежде всего, Борис Поплавский, поэт par excellence «заумный», певший

сломанным голосом, в свое время немало нашумевший, впрочем. <...> Своими «срывами» он неоднократно нарушал умственное равновесие у самого Георгия Адамовича, который то называл его «талантливейшим» и даже «полугениальным», то советовал ему «посомневаться, подумать и *помолчать*». Нужно сказать, что даже лучшие стихотворения Поплавского, как «Флаги» или «Черная мадонна», содержали в себе, наряду со стилистическими погрешностями, очевидные нонсенсы» (*Рогаля-Левицкий Ю.* Гореавторы нашего зарубежья // Возрождение. 1953. № 30. С.179).

С.389. *...я хочу рассказать о его брате, погибшем рядом с Вильде...* — Анатолий Сергеевич Левицкий (1901—1942), в эмиграции с 1918, жил в Швейцарии, затем в Париже, работал шофером ночного такси и учился в Сорбонне, сотрудник Музея человека с 1931 (глава отдела сравнительной технологии с 1938), во время «смешной» войны офицер, командующий взводом, затем организатор французского Сопротивления, арестован гестапо 11 февраля 1941 и расстрелян вместе с Борисом Вильде и другими пятью товарищами.

X

С.389. *«Если бы Хлестаков задумал соперничать с Паскалем, то, вероятно, он бы писал в таком именно духе...»* — Яновский неточно цитирует отзыв Адамовича о статье Кельберина «Начало», опубликованной в изданном З. Н. Гиппиус сборнике «Литературный смотр» (Париж, 1939). У Адамовича: «Статья вообще замечательная, во всех отношениях. Если бы Хлестаков вообразил себя Паскалем, то ничего лучше не написал бы» (*Адамович Г.* Литературные заметки // Последние новости. 1939. 10 августа. № 6709. С.3).

С.390. *Гарбо* Грета (Garbo; 1905—1990) — американская киноактриса, начавшая сниматься с 1922 года.

С.391. *Блюм* Леон (Blum; 1872—1950) — лидер Французской социалистической партии, глава правительства Народного фронта в 1936—1938.

С.393. *Алехин* Александр Александрович (1892—1946) — русский шахматист, чемпион мира (1927—1935; 1937—1946), с 1921 жил во Франции.

Коварский Илья Николаевич — владелец книжного магазина на rue de la Source и хозяин издательства «Родник» при журнале «Современные записки».

С.393. *Соловейчик* Самсон Моисеевич — юрист, мировой судья в Одессе, член партии эсеров, в эмиграции с 1919, ближайший помощник Керенского по редактированию и изданию «Дней» и «Новой России», в Америке первое время работал токарем, затем по протекции Вишняка преподавал в Морской школе восточных языков (Боулдер, Колорадо), с чего и началась его академическая карьера в США.

С.395. *...о «деле» Червинской во французском резистансе и суде над нею...* — Факт ареста Л. Червинской французскими властями подтверждается в письме Н. Берберовой М. Алданову от 30 сентября 1945, в котором она опровергала сообщения о своем сотрудничестве с немцами: «Бедная Червинская до сих пор в тюрьме!» (Новое литературное обозрение. № 39. 1999. С.149).

На тех, доисторических вечерах гремели звезды раннего периода: Евангулов, Божнев, Гингер (Зданевич, Шаршун). — Первый период русской литературы в эмиграции был отмечен увлечением авангардными течениями. Вечера в то время организовывались молодежными объединениями «Палата поэтов» (Париж, 1921—1922), «Гатарапак» (Париж, 1921—1922), «Через» (1923—1924). Г. Адамович писал, что «в первое время эмиграции была смесь парижских эксцентрических утонченностей с увлечением дубовым отечественным футуризмом, уже кончавшимся в Москве. Париж и Москва были восприняты как бы из вторых рук и слиты механически, с расчетом кого-то удивить, кого-то раздражить и эпатировать. <...> Факт эмиграции еще не ощущался как тяжесть, как долг, как ответственность. История казалась результатом досадных случайностей, и избранники искусства не желали обращать на нее внимания. Господствовало легкомыслие» (*Адамович Г.* Парижские впечатления // Последние новости. 1934. 12 апреля).

С.396. *Шаршун... еще со времен Первой мировой войны обучался здесь живописи...* — Шаршун учился в Париже живописи в 1912—1913 в Русской академии и академии Ла Палетт у Ж. Метценже, Д. де Сегонзака и А. Ле Фоконье. Годы Первой мировой войны он провел в Испании, окончательно обосновавшись в Париже с 1917.

С.397. *Все в Слониме было провинциально и второклассно.* — Столь резкая характеристика Слонима отчасти объясняется тем, что в середине 1950 между ним и Яновским вспыхнула жаркая полемика по поводу литературы «незамеченного поколения»:

Яновский В. С. Мимо незамеченного поколения // Новое русское слово. 1955. 2 октября. № 15436. С.2, 5; *Слоним Марк.* Вынужденный ответ // Новое русское слово. 1955. 16 октября. № 15450. С.5; *Яновский В. С.* Еще о вкусах // Новое русское слово. 1955. 30 октября. № 15464. С.5; *Слоним Марк.* Все о том же // Новое русское слово. 1955. 13 ноября. № 15478. С.8.

С.399. *...мужа ее, Эфрона, чекиста, многолетнего бессменного председателя Союза студентов Советского Союза... Дочь Аля... сына...* — Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1941) и Ариадна Сергеевна Эфрон (1912—1975) в Париже в тридцатые годы были активными деятелями Союза возвращения на родину, в 1937 вернулись в СССР и в 1939 были репрессированы. Георгий Сергеевич Эфрон (1925—1944) погиб на фронте.

С.400. *Крымов* Владимир Пименович (1878—1968) — журналист, путешественник, популярный беллетрист, автор авантюрных, фантастических и детективных романов, уехал из России в апреле 1917, жил в Берлине, с 1933 под Парижем.

...его первый роман «Хорошо жили в Петербурге!»... — Вторая часть тетралогии «За миллионами», роман «Хорошо жили в Петербурге!» (Берлин: Петрополис, 1933), издававшийся также под названием «Миллион», был далеко не первым у В. П. Крымова. Первый его роман «Бог и деньги» вышел семью годами раньше (Берлин, 1926).

Поляков-Литовцев Соломон Львович (1875—1945) — журналист, общественный деятель, секретарь Союза русских писателей и журналистов в Париже.

С.401. *...Крымов окончил в XIX веке естественный факультет...* — Крымов окончил Петровско-Разумовскую земледельческую и лесную академию.

«Сидорово ученье» (Берлин: Петрополис, 1933) — первая часть тетралогии Крымова «За миллионами».

С.403. *По выходе в свет одного плохонького романа Крымова Юра Мандельштам основательно выругал его в «Возрождении»...* — Имеется в виду рецензия Ю. Мандельштама (Возрождение. 1935. 17 января. № 3515. С.4) на роман В. Крымова «Фуга» (Париж, 1935), представляющий собой четвертую часть его тетралогии «За миллионами».

С.404. *...Рейсс... Эфрон, муж Цветаевой, поэт Эйснер и чета Клепининых... их причастность к этому мокрому делу.* — Речь идет об убийстве резидента советской разведки Игнатия Рейсса

(1899—1937), решившего порвать с СССР и ставшего перебежчиком. Подробнее о деле Рейсса см.: *Хубер П., Кунци Д.* Смерть в Лозанне // Новое время. 1991. № 21. С.36—39. Сергей Эфрон подозревался в причастности к этому убийству, поскольку сразу после него бежал из Парижа в Москву. Николай Андреевич Клепинин (1899—1941), его жена Антонина Николаевна (урожд. Насонова; 1894—1941) и старший сын А. Н. Клепининой Алексей Васильевич Сеземан (1916—1989) бежали из Парижа вместе с ним, жили рядом на даче НКВД в подмосковном Болшеве под фамилией Львовы, почти одновременно были арестованы (Эфрон 10 октября 1939, Клепинин с семьей 7 ноября 1939). Поэт Алексей Владимирович Эйснер (1905—1984), в Париже член Союза возвращения на родину, в 1936—1939 воевал в Испании в качестве адъютанта командира 12-й Интербригады генерала Лукача (Матэ Залки), вернулся в СССР в 1940 и вскоре был репрессирован. По сведениям Судоплатова, «слухи о том, что Сергей Эфрон, муж поэтессы Марины Цветаевой, был одним из тех, кто навел НКВД на Рейсса, являются чистым вымыслом. Эфрон, действительно работавший на НКВД в Париже, не располагал никакими сведениями о местонахождении Рейсса» (*Судоплатов А.* Тайная жизнь генерала Судоплатова: Правда и вымыслы о моем отце. М.: Современник; Олма-Пресс, 1998. Кн.1. С.133).

С.405. *...у него мерин по ночам рассказывает жеребятам свою биографию...* — Имеется в виду «Холстомер».

Читал он в тот раз главу из «Отчаяния»... — Творческий вечер В.Набокова в Париже, на котором он читал свои стихи, рассказ Музыка» и две первые главы из романа «Отчаяние», состоялся 15 ноября 1932 в помещении Musee Social (5, rue Las Cases).

С.406. *Баум* Викки (1888—1960) — австрийская беллетристка, автор непритязательных любовно-приключенческих романов. С 1931 жила в США, фабрикуя сценарии для Голливуда.

С.407. *Жене своей он, вероятно, ни разу не изменил...* — опрометчивое заявление, если учесть, что зимой 1937, после того, как В. Набоков переехал из Германии во Францию, он сблизился с Ириной Юрьевной Гуаданини (урожденная Кокошкина; 1905—1976), которая вскоре стала его любовницей. Подробнее об их отношениях см: *Boyd B.* Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990. P.433—434, 437—444, а также: *Schiff S.* Vera (Mrs. Vladimir Nabokov). N.Y.: Random House, 1999. P. 85—92.

С.410. *...под конец Иванов спохватился: — Сравнивать Штейгера с Анненским!..* — Рецензируя 58-й номер «Современных записок», Адамович заявил: «Лучшее, что есть на этот раз среди стихов, принадлежит, на мой взгляд, поэту совсем молодому, Анатолию Штейгеру, еще года полтора тому назад тщетно искавшему «своих» слов и выпустившему книжку стихотворений довольно безличных. Теперь «свои» слова найдены. В этом невозможно ошибиться: в каждом из обманчиво-беспомощных стихотворений Штейгера есть как бы игла, внезапно ранящая и оставляющая след в сознании. Все лишнее же отброшено. <...> Тут, в этих двух коротеньких стихотворениях, больше чувства чутья и остроты, чем во многих широковещательных и «гениальнейших» поэмах. Учение у Иннокентия Анненского заметно, — но оно уже вышло за пределы ученичества» (Последние новости. 1935. 4 июля. №5215. С.3). После выхода статьи Адамовича «О Штейгере, о стихах, о поэзии и о прочем» (Опыты. 1956. № 7. С.26—36) Георгий Иванов написал В. Маркову 7 мая 1957: «...какого-нибудь Штейгера, о котором теперь подымают такой бум. Что Вы, кстати, думаете о Штейгере? Мило? Не спорю. Таланту на две копейки. Душонки на три. <...> Штейгер via Червинскую целиком идет от Кузмина—Ахматовой, притом от их наиболее уязвимых сторон. <...> Не хочу сказать лично о Штейгере поэте плохо — он мне скорее нравится. Но это посмертный триумф» (Georgij Ivanov / Irina Odojevceva. Briefe an Vladimir Markov 1955—1958 / Mit einer Einleitung herausgegeben von Hans Rothe. Köln; Weimar; Wien: Bochlau Verlag, 1994. С.56).

С.411. *...Кнут уже тогда успел с ней развестись... женился наконец на Ариадне Скрябиной...* — Довид Кнут расстался с первой женой Саррой (Софьей) Гробойс в середине тридцатых годов. С дочерью композитора Ариадной Александровной Скрябиной (1905—1944) Кнут познакомился во второй половине тридцатых и женился на ней 30 марта 1940.

...получил субсидию на издание французско-сионистской газеты... — Газета «Affirmation» под редакцией Кнута выходила в Париже с 13 января по 1 сентября 1939 (всего удалось выпустить 29 номеров).

Скрябина, дочь композитора, приняла еврейство, причем с таким «черносотенным» оттенком... — Ариадна Скрябина в мае 1940 перешла в иудейство, приняв имя Сарра. О ее фанатических настроениях в то время существует много свидетельств. Как вспо-

минал А. Бахрах, «о чем бы мы ни заговаривали — об общих друзьях, о поэзии, о погоде — она с нетерпимостью неофита все сразу же сводила к еврейскому вопросу» (*Бахрах А.* По памяти, по записям: Литературные портреты. Париж: La Presse Libre, 1980. С.132).

..умерла в 1944 на юге Франции, сражаясь с немецким патрулем... — Ариадна Скрябина погибла 22 июля 1944 от руки французского полицейского, застрелившего ее после того, как она попыталась оказать сопротивление при аресте. Подробнее об обстоятельствах ее гибели см.: *Деган М.* Благотворная жажда // Литературное обозрение. 1996. № 2. С.59—62.

XI

С.412. *Роль, которую играл во второй половине 30-х годов «Круг», до того выполняли «Числа», а еще раньше «Зеленая лампа».* — Если «Круг» (1935—1939) в каком-то смысле действительно сменил «Числа» (1930—1934), то «Зеленая лампа» просуществовала с 1927 по 1939, можно говорить лишь о том, что в тридцатых ее популярность несколько снизилась и количество собраний от сезона к сезону все уменьшалось (от шести—восьми в год поначалу до двух-трех перед самой войной). О «Зеленой лампе» подробнее см.: *Пахмусс Т., Королева Н. В.* «Зеленая лампа» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918—1940). Т.2. Ч.I. М.: ИНИОН, 1996. С.263—277).

Рейзини Николай (Наум) Георгиевич (1905—1979?) — в начале 1930 завсегдатай русского литературного Монпарнаса, вдохновитель журнала «Числа», после войны — предприниматель, американский миллионер. После высылки из Франции занялся нелегальным бизнесом, снискав себе славу международного авантюриста. Имеющиеся о нем сведения весьма противоречивы. Во время гражданской войны в Испании Рейзини «поставлял на греческих судах оружие Франко, затем занимался торговлей опиумом и другими делами в Данциге, Харбине и других местах»; во время Второй мировой войны «сотрудничал с японцами и числился в черных списках США» (Авантюрист Николай Рейзен // Русские новости. 1946. 29 ноября. № 81. С.2). После разгрома Японии Рейзини снова проявил «сумасшедшую изворотливость»: прибыв в Грецию, он стал вести «переговоры с министром авиа-

ции относительно основания греческой авиационной компании», а затем, получив соответствующие полномочия от греческого правительства, «выехал в Соединенные Штаты в роли экономического советника» (*Там же*). На протяжении сороковых—пятидесятых годов вокруг колоритной фигуры Рейзини периодически вспыхивали громкие скандалы, находившие отзвук в эмигрантской прессе. См., например, ряд заметок в «Новом русском слове» под общим названием «Дело Николая Рейзини», посвященных выяснению подробностей его биографии: «Рейзини уверяет, что он родился в Салониках, в Греции, в 1905 году. Учился в Париже и в Данциге, жил в Харбине с 1934 до 1946 года, когда он вернулся к себе на родину в Грецию. Греческое правительствю Цалдариса командировало Рейзини в С. Штаты в 1946 году в качестве экономического наблюдателя. Рейзини занялся в Нью-Йорке экспортными делами и быстро разбогател. Между прочим, ему принадлежит лицензия на кинематографический новый процесс «Синерама». <...> Иммиграционный департамент утверждает, что Рейзини родился не в Греции, что он русский еврей, родом из Харбина. Настоящее его имя либо Николай, либо Борис Рейзин» (Новое русское слово. 1955. 20 сентября. № 15451. С.1; 2 октября. № 15436. С.2, 5). После войны Рейзини нередко помогал своим бывшим приятелям (помимо Яновского об этом писали Г. Адамович, Ю. Терапиано и др.). 19 октября 1957 Адамович писал Л. Д. Червинской: «Кстати, о Рейзини: я не уверен совсем, что он так богат. При миллиардерном train'е жизни, он скорей запутан и может завтра оказаться без гроша. В каждом его слове это чувствуется. М. б. и сейчас 10 т. для него — «сумма», хотя он и делает вид, что это пустяк. В смысле блефа он забьет Германова» (Coll Adamovich. Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York). Спустя несколько лет Адамович писал Бахраху 27 декабря 1964: «Рейзини у меня в больнице действительно был... <...> он разорен. <...> Это все-таки мой настоящий друг, коих не много на свете» (Coll Bacherac. Bakhmeteff Archives. Columbia University. New York).

С.412. *Александрова* Вера Александровна (урожд. Мордвинова, по мужу Шварц; 1895—1966) — журналистка, литературный критик, сотрудник «Коммерческого телеграфа» и «Утра России». В 1922 выслана за границу вместе с мужем С. М. Шварцем. Жила в Берлине, сотрудничала с журналом «Социалистический вестник», перед Второй мировой войной переехала в Нью-

Йорк, в 1952—1956 была главным редактором издательства имени Чехова.

С.413. *Рецензии Адамовича в «Последних новостях», его участие в открытых вечерах «Чисел» и, главное, «Комментарии» в самом журнале отражали удары.* — Адамович рецензировал «Числа» не столь регулярно, как «Современные записки», но все же нередко выводил их из-под огня полемики своими статьями: «Числа». Книга четвертая // Последние новости. 1931. 13 февраля. № 3614. С.5; Стихи // Последние новости. 1932. 11 августа. № 4159. С.3; «Числа». Книга 7-8 // Последние новости. 1933. 19 января. № 4320. С.2; «Числа». Книга IX // Последние новости. 1933. 29 июня. № 4481. С.4; «Числа». Книга десятая // Последние новости. 1934. 28 июня. № 4844. С.2. Несмотря на то, что «Комментарии» Адамовича были опубликованы в «Числах» лишь четырежды (из двадцати трех аналогичных публикаций), в читательском сознании они устойчиво связаны именно с «Числами», и на то есть основания. Первые критики «Чисел» действительно отнеслись к «Комментариям» с уважением. А. Бем, не соглашаясь с Адамовичем по большинству пунктов, признавался: «Есть область, где Г. Адамовича приходится брать всерьез, где он говорит свое, и только свое. Но об этом пишет он изредка и не на страницах газеты. Его статьи в «Числах» показывают любопытный уклон его критической мысли, который может вызывать возмущение, но с которым надо посчитаться» (*Бем А.* Письма о литературе: О критике и критиках (Статья вторая) // Руль. 1931. 6 мая. № 3173. С.2—3). Позже А. Бем, перечисляя немногочисленные запомнившиеся ему публикации эмигрантских критиков, назвал только фельетоны Ходасевича и «вызывающие на отпор, но интересные и не лишенные остроты «Комментарии» Г. Адамовича в «Числах». <...> Остальное проваливается куда-то в серые будни эмигрантской жизни» (*Бем А.* Магический реализм // Молва. 1932. 2 октября). Ходасевич, разбирая все десять номеров «Чисел» в своей очередной статье, заявил, что в них «всерьез приходится считаться только с «Комментариями» (*Ходасевич В.* О задачах молодой литературы // Возрождение. 1935. 19 декабря). Подробнее о «Комментариях», отзывах на них и Адамовиче в «Числах» см.: *Адамович Г.* Собрание сочинений. «Комментарии» / Сост., послесл. и примеч. О. А. Коростелева. СПб.: Алетейя, 2000.

С.413. *...Одоевцева издала свой роман в английском переводе... цитаты из этих отзывов... в конце одного из номеров «Чисел»...* —

Выдержки из хвалебных отзывов англоязычных рецензентов на американское и английское издание романа «Ангел смерти» были напечатаны в четвертом номере «Чисел» (1930/1931. № 4. С.283).

С.414. *..Адамович, прозу Сирина искренне порицавший (с позиций «Толстого»), в этой склоке... прямого участия не принимал...* — Ссора Георгия Иванова с Набоковым и последовавшая антинабоковская кампания в «Числах» впрямь никак не сказались на тональности отзывов Адамовича о творчестве Набокова. Подборку этих отзывов см.: «...Наименее русский из всех русских писателей...» / Георгий Адамович о Владимире Сирине (Набокове) / Сост. О.А.Коростелева и С.Р.Федякина // Дружба народов. 1994. № 6. С.216—237.

С.414. *Набоков* Николай Дмитриевич (1903—1978), композитор, музыкальный критик, мемуарист, с 1919 в эмиграции в Париже, сотрудник «Чисел».

Гершенкрон Александр Павлович (1904—1978) — ученый-экономист и советолог. После эмиграции из России некоторое время жил во Франции, где принимал участие в деятельности религиозно-философского общества «Круг». С началом Второй мировой войны переехал в США; в 1945 получил американское гражданство. Преподавал в различных американских университетах: Гарварде, Беркли и др. Одна из его книг включена в список ста работ, оказавших наибольшее влияние на умственную жизнь Запада, который был подготовлен в рамках «Издательского проекта для Центральной и Восточной Европы» Робертом Кассеном, Ральфом Дариндэрфом и др.

..граф Чапский... с рекомендательными письмами от Философова... — Юзеф Чапский (Jyzef Hutten-Czapski; 1896—1993), художник, литератор, деятель польского освободительного движения, участник двух мировых войн. Во время учебы в Петербурге — в Университете (1915) и на ускоренных офицерских курсах Пажеского корпуса (1916—1917) — познакомился с Мережсковским, Гиппиус и Философовым. В двадцатые годы в Варшаве тесно сдружился с Философовым, пользовался его покровительством и в свою очередь влиял на него.

С.415. *Яковлев* Александр Евгеньевич (1887—1938) — живописец, ученик Д. Н. Кардовского, член объединения «Мир искусства» с 1915, начиная с 1917 много путешествовал, участвовал в нескольких экспедициях, подолгу жил в Париже, где стал кавалером ордена Почетного легиона и одним из самых модных художников в Европе, профессор Академии искусств в Бостоне с 1934.

С.416. *...Годы войны Оцуп провел в Италии...* — В 1939, вскоре после объявления войны, Оцуп ушел добровольцем во французскую армию. Во время отпуска в Италии был арестован по обвинению в антифашизме, в 1941 бежал, но был пойман и оказался в концлагере, в 1942 снова бежал, попал к итальянским партизанам, где и воевал вплоть до освобождения, удостоен военных наград союзных войск.

«Дневник в стихах» — гигантская (12 000 стихов, 366 стр.) поэма Н. Оцупа вышла отдельным изданием после войны (Париж, 1950).

«красавица», бывшая актриса немого синема... — Жена Н. Оцупа Диана Александровна Карен одно время была киноактрисой.

С.416. *...Прегеля, крупного банкира...* — Борис Юльевич Прегель (1893—1976) банкиром не был, но был крупным бизнесменом и меценатом, физиком-атомщиком, президентом Академии наук (Нью-Йорк). См. о нем: *Винокур Н.* Фотографии из семейного альбома // Евреи в культуре русского зарубежья. Вып. IV. Иерусалим, 1995. С.426.

С.417. *Яссен* Ирина (наст. имя и фам.: Рахиль Самойловна Чеквер; 1893—1957) — поэтесса, издательница, организатор и руководитель издательства «Рифма» в 1949—1957.

С.418. *...он бы докатился и до балета...* — в «Числах» неоднократно печатались материалы, посвященные балету.

Воловик Лазарь (1902—1977) — художник, с юности жил в Париже, был женат на Лии Гржебиной, родной сестре Ирины Гржебиной, за которой ухаживал Яновский.

...На собрании по случаю выхода номера 2—3 «Чисел»... — Организованный редакцией «Чисел» диспут на тему «Искусство и политика», на котором выступали Н.Оцуп, З.Гиппиус, Г.Адамович, П.Милюков, Г.Федотов, Д.Мережковский, состоялся в зале Дебюсси 12 декабря 1930. «По напряженности спора и по значительности высказанных идей и мнений вечер был знаменателен, быть может, не только для выяснения линии журнала, но и, до известной степени, отношения эмиграции к одному из самых живых для нее вопросов. Зал был переполнен, публика следила за диспутом с неослабевающим интересом» (Числа. 1930/1931. № 4. С.259).

«Тринадцатые» — рассказ Яновского, опубликованный в «Числах» (1930. № 2/3. С.129—147).

Сазонова Юлия Леонидовна (урожд.: Слонимская; 1887—1960) — историк театра и балета, критик, основатель Театра ма-

рионеток в Петрограде, в эмиграции с 1920, сотрудник «Последних новостей» и «Современных записок», с 1940 жила в США, преподавала в Колумбийском университете.

С.420. *...четверговые статьи Адамовича создавали подлинную литературную атмосферу...* — Ю.Иваск также неоднократно писал, что «парижская нота» была не школа в обычном смысле, но «лирическая атмосфера», а главную заслугу Адамовича усматривал именно в том, что тот «сумел создать литературную атмосферу для зарубежной поэзии» (*Иваск Ю.* О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журнал. 1950. № 23. С.196).

С.420. *Гиппиус долго вела подкоп, стараясь... проникнуть в «Последние новости».* — Гиппиус наиболее часто печаталась в «Последних новостях» в 1925—1927 и 1932—1935 годах, опубликовав в общей сложности 110 материалов.

С.421. Quai d'Orsay — Парижская набережная, на которой расположено Министерство иностранных дел Франции; здесь — иносказательное название французского МИДа.

...она приносила завидную прибыль. — «Последние новости» вышли на самоокупаемость далеко не сразу, да и позже не всегда могли просуществовать без партийных денег.

С.423. *...штабс-капитану Тимохину.* — персонаж «Войны и мира».

С.424. *Демидов* Игорь Платонович (1873—1946) — общественно-политический деятель, журналист, заместитель редактора «Последних новостей».

С.426. *...полковника генерального штаба Шумского...* — К. М. Шумский-Соломонов, до революции военный обозреватель «Биржевых ведомостей» и «Утра России», автор нескольких книг военно-морской тематики, в эмиграции сотрудник «Последних новостей».

Словцов Р. (наст. имя: Николай Викторович Калишевич; ?—1941) — журналист, до революции сотрудник «Киевских откликов» и «Киевской мысли», в эмиграции литературный обозреватель «Последних новостей» (с 1923).

С.427. *Могилевский* Владимир Андреевич (1879—?) — до революции городской голова Керчи, позже Севастополя, в эмиграции управляющий конторой, администратор «Последних новостей», после войны — «Русских новостей».

Седых Андрей (Яков Моисеевич Цвибак; 1902—1994) — журналист, с 1919 в эмиграции, с ноября 1920 в Париже, парламентский корреспондент газет «Последние новости» и «Сегодня», с

1942 в США, сотрудник, затем главный редактор (с 1973) «Нового русского слова».

Вакар Николай Платонович (1894—1970) — как участник белого движения был вынужден покинуть Россию. В эмиграции первое время зарабатывал на жизнь переводами. С 1922 сотрудник «Последних новостей»; после войны американский профессор, после выхода в отставку — профессиональный художник.

С.429. *...Вишняк (уже в США) хлопотал тогда о месте профессора истории...* — Марк Вениаминович Вишняк (1883—1975), перебравшись из Франции в Америку осенью 1940, с конца 1943 до начала 1946 преподавал русский язык в Корнеллском и Колорадском университетах, затем стал консультантом по русским вопросам в еженедельнике «Тайм».

С.430. *...Кондауров — тучный влиятельный масон...* — Об организаторе русского масонства в Париже Леонтии Дмитриевиче Кандаурове подробнее см.: *Серков А. И.* История русского масонства. 1845—1945. СПб., 1996.

С.431. *...Эдмунд Вильсон...* — Эдмунд Уилсон (Wilson; 1895—1972), американский критик, литературовед, немало сделавший для популяризации русской литературы в Америке; в 1940 оказал неоценимую помощь В. Набокову при адаптации в литературном мире США.

«Задание-выполнение» — рассказ Яновского, впервые опубликованный в журнале «Новоселье» (1943. № 1. С.19—27), позже был включен в сборник «Пестрые рассказы» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1953. С.403—411).

С.432. *Марсель* Габриэль Оноре (Marcel; 1889—1973), французский философ и писатель.

«Не жизни жаль с томительным дыханьем...» — из стихотворения Фета «А. Л. Бржеской» (1879).

Олег Коростелев,
Николай Мельников

СОДЕРЖАНИЕ

Яновский В.

Я-64 Сочинения: В 2 т. Т. 2.: По ту сторону времени. Поля Елисейские: книга памяти. М.: Издательство «Гудьял-Пресс», 2000. 496 с.

ISBN 5-8026-0099-3 (2 т.)
ISBN 5-8026-0086-1

Василий Яновский вошел в литературу русской эмиграции еще в тридцатые годы как автор романов и рассказов, но мировая слава пришла к нему лишь через полвека: мемуарная книга «Поля Елисейские», посвященная парижскому, довоенному, расцвету нашей литературы наконец-то сделала имя Яновского по-настоящему известным. Набоков и Поплавский, Георгий Иванов и Марк Алданов — со всеми Яновский так или иначе соприкасался, всех вспомнил — не всегда добрым, но всегда красочным словом. Его романы и рассказы никогда не были собраны воедино, многое осталось на журнальных страницах, и двухтомное собрание сочинений Яновского впервые показывает все стороны дарования этого ярчайшего писателя.

Издание снабжено обширными комментариями.

УДК 821.161.1-3Яновский
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Литературно-художественное издание

Василий Яновский

СОЧИНЕНИЯ В 2 ТОМАХ

Том 2

По ту сторону времени.
Поля Елисейские: книга памяти

Ответственный за выпуск *Е. Витковский*
Технолог *Г. Трушина*
Технический редактор *И. Маханёва*
Корректор *Л. Назарова*

**Изд. лиц. № 065333 от 7.08.97. Подписано в печать 21.05.2000.
Формат 84×108 1/32. Гарнитура гарамонд. Офсетная печать. Печ. л. 15,5.
Усл. п. л. 26,04. Тираж 5000 экз. Заказ 2385.**

Издательство «Гудьял-Пресс». 111524, Москва, ул. Электродная, 10.

**Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры.**

**Издание осуществлено при участии
ООО «Издательство АСТ».**

**При участии ООО «Харвест». Лицензия ЛВ № 32 от 27.08.97.
220013, Минск, ул. Я. Коласа, 35—305.**

**Налоговая льгота — Общегосударственный классификатор
Республики Беларусь ОКРБ 007-98, ч. 1; 22.11.20.300.**

**Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в типографии издательства «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Ф. Скорины, 79.**